Д.С. ЛИХАЧЕВ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ



ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Д.С. ЛИХАЧЕВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ) АН СССР

Д. С. ЛИХАЧЕВ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Ответственный редактор
О. В. ТВОРОГОВ



ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

Эта книга — сборник статей, каждая из которых представляет собой конкретное исследование какого-то отдельного памятника литературы Древней Руси: «Поучения» Владимира Мономаха, «Моления» Даниила Заточника, «Слова о погибели Русской земли», «Повести о разорении Рязани Батыем» и др.

Книга рассчитана на специалистов по древнерусской литературе, а также на читателей, интересующихся вопросами древнерусской литературы и культуры.

Рецензенты:

Л. А. ДМИТРИЕВ, В. В. КОЛЕСОВ

Л $\frac{4603010101-737}{042(02)-86}$ 295-87-I

ПРЕДИСЛОВИЕ

Статьи академика Д. С. Лихачева, вошедшие в этот сборник, содержат ряд важнейших концепционных положений, но в большей своей части это конкретно-исторические исследования отдельных памятников древнерусской литературы. Это сочетание теоретических работ и, казалось бы, частных исследований чрезвычайно поучительно в методологическом отношении. Только на основе таких конкретных, скрупулезных исследований и возможны глубокие обобщения, объективные суждения о магистральных направлениях и процессах литературного развития. В наибольшей степени это относится к изучению древнерусской литературы. И вот почему.

Когда мы обращаемся к произведениям нового времени, то сравнительно легко определить место каждого из них в литературной и общественной жизни. Известен автор произведения, и мы можем рассматривать его в ряду других сочинений писателя. Каждый литературный памятник несет на себе печать своего времени: он создается в русле того или иного литературного направления, его стиль может быть рассмотрен в контексте определенного «стилевого потока» (термин М. Б. Храпченко), каждый памятник связан тесными нитями с произведениями других писателей, современников или предшественников, так как автор либо подражает им, либо художественной манерой своей полемизирует с ними, либо дерзко прокладывает новый путь. Как правило, мы достаточно хорошо осведомлены в конкретной общественной и литературной обстановке того времени, когда произведение написано, и можем легко определить, какие именно идеи и настроения питали его автора. Наконец, нам обычно известны отклики современников — рецензии, литературно-критические статьи, суждения, высказанные в письмах или мемуарах.

Иное дело — литературный памятник Древней Руси. Обычно мы располагаем лишь самыми приблизительными сведениями о времени его создания, точную дату написания нам удается установить далеко не всегда. Часто мы ничего не знаем об авторе произведения, не знаем не только имени его, но даже социальной среды или профессионального круга, к которым он принадлежал.

Лучшим, а порой и единственным информатором о памятнике средневековой литературы является его текст. История текста во всех его редакциях и переделках дает нам сведения о том, как был воспринят памятник в читательских кругах, какие мнения — порой весьма отличающиеся друг от друга — побуждали к изменениям его текста. Только из самого текста, его реалий, литературных аллюзий, употребленных в нем цитат мы черпаем порой сведения для атрибуции и датировки самого памятника. Вот почему так дорог исследователям-медиевистам каждый факт внешней истории текста: его окружение в сборниках, среда его бытования и пр., каждый список его текста, отражающий ту или иную его редакцию или переделку, каждая обнаруженная в нем цитата, свидетельствующая о круге чтения и уровне осведомленности его автора. Из таких разрозненных фактов и наблюдений и слагается наше представление о памятниках литературы Древней Руси, а на этой основе о движении самой литературы, о древнерусской культуре в целом. Максимум внимания к тексту — основной тезис текстологии, науки, которая «и в своей теоретической, и в своей практической части — база литературоведения и исторического источниковедения».[1]

К скрупулезной тщательности в исследовании материала, к неторопливому и осмотрительному отбору фактов, к осторожности в построении обобщений и призывает нас книга академика Д. С. Лихачева, лежащая сейчас перед читателем.

В первый раздел книги вошли статьи Д. С. Лихачева, посвященные разработке сложнейших проблем истории и теории древнерусской литературы.

Одна из них — проблема второго южнославянского влияния. Это влияние балканского юга на древнерусскую культуру XIII—XIV вв. не ограничивалось проникновением новых идей, новых философских концепций, нового художественного метода, новых литературных приемов. Это влияние было материализовано в потоке литературных памятников, с которыми знакомились древнерусские книжники в те годы, когда позади остались ужасы монголо-татарского нашествия и Русь спешила восполнить тот колоссальный урон, который был нанесен вторжением Батыевых орд русской культуре и книжности. Процесс восприятия новых идей и новых памятников из Болгарии и Византии сочетался с интенсивным процессом самостоятельного литературного развития, с актуализацией культурного наследия Киевской Руси. Д. С. Лихачев подчеркивает необходимость тщательного текстологического изучения перенесенных и переведенных произведений для выявления культурных центров, непосредственных контактов, изучения характера восприятия и адаптации на Руси привнесенного литературного материала.

---

[1] Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы X—XVII веков. 2-е изд., перераб. и доп. Л., 1983, с. 6.

Другая проблема — вопрос о системе литературных жанров Древней Руси. Казалось бы, это проблема чисто теоретическая, ибо система жанров — как система, а не сумма — отражает мировоззренческие принципы русского средневековья и испытывает сильное влияние внелитературных факторов, в свою очередь отражающих систему социального устройства русского общества и его мировоззрения. Но и в этом случае, утверждает Д. С. Лихачев, проблема не может быть решена сколько-нибудь удовлетворительно до тех пор, пока мы не соберем и самым тщательным образом не изучим огромный материал — тысячи древнерусских памятников, оригинальных и переводных, которые и являются реальным отражением этой системы жанров. Исследователь побуждает нас не скользить по поверхности фактов, не строить беспочвенные теоретические концепции, руководствуясь лишь логическими соображениями, а, набросав эскиз будущего здания, строить его из реальных кирпичиков, на основе обширного конкретного материала. В настоящее время эти концепционные положения, выдвинутые Д. С. Лихачевым, подкрепляются фундаментальной базой в виде подготовленного к изданию Сектором древнерусской литературы многотомного «Словаря древнерусских книжников и книжности» (ответственный редактор Д. С. Лихачев), в котором будут приведены сведения о многих сотнях древнерусских литературных памятников, во всех их редакциях и вариантах.

Основная часть книги содержит статьи Д. С. Лихачева, посвященные анализу отдельных памятников древнерусской литературы.[2] Диапазон разысканий Д. С. Лихачева необычайно широк и в хронологическом, и в жанровом аспектах. И это чрезвычайно показательно: древнерусскую литературу нельзя изучать фрагментарно как отдельные памятники и отдельные жанры, хотя, разумеется, у каждого исследователя есть своя заповедная область, в которой он работает с особым энтузиазмом. Древнерусская литература — это именно система жанров, изменяющаяся во времени, и поэтому каждый элемент этой системы, каждый отдельно взятый памятник может быть понят и оценен лишь на фоне всей литературы. Статьи Д. С. Лихачева наглядно подтверждают эту мысль: в них раскрывается влияние устной речи на литературу, взаимовлияние литературы и фольклора, роль внелитературных факторов, регламентирующая функция «стиля эпохи», влияние одних памятников на другие. Читая эти статьи, мы видим, как необходимо взаимодействие различных приемов филологических исследований: текстологические наблюдения помогают нам понять эволюцию стиля, без археографической базы немыслим объективный текстологический анализ, без знания

---

[2] Читатель не встретит здесь работ о «Слове о полку Игореве»: они вошли в книгу: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд., доп. Л., 1985.

исторической обстановки времени создания памятника невозможно объяснить не только реалии, но и особенности сюжета, и т. д.

Многие из публикуемых в книге статей написаны давно, но все они не потеряли своей научной свежести. Причина их актуальности в том, что они содержат богатый фактический материал. Факты можно пополнять, можно корректировать, но их нельзя вычеркнуть из накопленной суммы знаний. Их нельзя отменить, как отменяются в науке те или иные выводы и концепции. Факты — это основа всех теоретических построений. Внимание к фактам науки, необходимость тщательного и глубокого осмысления их — вот к чему призывает эта книга.

Сборник статей Д. С. Лихачева будет полезен всем исследователям древнерусской литературы и всем интересующимся историей литературы и культуры Руси. Полезен не только тем, что объединяет статьи ученого, публиковавшиеся в различных, порой труднодоступных изданиях в течение почти сорока лет. Эта книга ценна прежде всего тем, что намечает перспективные направления, которые еще требуют дальнейшей разработки, и содержит лучшие образцы историко-литературного анализа и теоретических обобщений, принадлежащие перу крупнейшего исследователя древнерусской литературы — академика Д. С. Лихачева.

О. В. Творогов

I. ОБОБЩЕНИЯ

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ВТОРОГО ЮЖНОСЛАВЯНСКОГО ВЛИЯНИЯ В РОССИИ

Свой доклад я посвящаю теме, исключительно важной в истории культурного развития России XIV—XV вв., но очень мало исследованной.

До сих пор недостаточно определены те области культуры, в которых проявилось второе южнославянское влияние. Неясно, сказывалось ли это влияние только в графике письменности, орфографии, языке и стиле литературных произведений, как это определялось А. И. Соболевским,[1] или оно в той же мере касалось живописи, архитектуры, церковной жизни, идейных течений. Неясно, были ли эти отдельные стороны влияния объединены каким-либо общим культурным движением, охватившим все области культуры южно- и восточнославянских стран, или следует говорить об отдельных, разрозненных влияниях в отдельных областях культуры. Неясно также, в какой мере южнославянское влияние в России соединялось с византийским. Чрезвычайно важным представляется всесторонне изучить вопрос об органичности сочетания второго южнославянского влияния в России с русским влиянием в южнославянских странах. Наконец, совсем не сделано попыток отделить явления взаимовлияния славянских культур от явлений, вызываемых единством их происхождения и возможной синхронностью их развития.

Только по выяснении всех этих проблем можно будет во всеоружии отчетливых представлений о самом влиянии приступить к изучению исторических причин, его вызвавших, и ответить на вопрос о внутренней потребности и внутренней подготовленности русской культуры к восприятию южнославянского влияния.

Наиболее обстоятельная из работ, посвященных второму южнославянскому влиянию в России, — отмеченная выше работа

---

[1] Соболевский А. И. Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках. — В кн.: Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903, с. 1—14.

А. И. Соболевского — в большей мере констатировала это влияние, чем его изучала.

Само собой разумеется, что мое краткое сообщение ни в коей мере не может претендовать на окончательное разрешение какого-либо из тех сложнейших вопросов, которые стоят перед их будущими исследователями — лингвистами, литературоведами, искусствоведами и историками. Задача моего сообщения — обосновать правомерность постановки некоторых из вышеперечисленных вопросов изучения второго южнославянского влияния, в частности — вопросов об объеме влияния и о его характере.

1. Объем влияния

Какие же явления второго южнославянского влияния могут считаться в настоящее время достоверно установленными?

Проще всего решается вопрос в отношении графического оформления рукописей. Как известно, в XV в. старший полуустав сменяется младшим полууставом. Различия их достаточно четко выяснены в науке. Это почерки различного характера, смешать которые опытному палеографу невозможно. Существенно, что между ними нет никаких переходов. И вместе с тем младший полуустав, не завися от старшего, совершенно ясно выражает свою зависимость от южнославянской графики — от письма болгарских и сербских рукописей.

Различия младшего полуустава и старшего — это различия не только в начертаниях букв, но и в составе алфавита. Младший полуустав имеет ряд букв, которых не знают старший полуустав и устав (ѵ, *ы* с первой частью в виде *ь*, ȝ) и наоборот (иотированное ѥ, *е*, наклоненное к началу строки, *ы* с первой частью в виде *ъ* и др.). Различия младшего полуустава и старшего хорошо определены А. И. Соболевским [2] и довольно отчетливо сформулированы В. Н. Щепкиным,[3] и нет поэтому нужды останавливаться на них особо.

Существенное дополнение к положениям А. И. Соболевского и В. Н. Щепкина относительно влияния южнославянского полуустава на русский дает статья М. Н. Сперанского «„Греческое“ и „лигатурное“ письмо в русских рукописях XV—XVI веков»,[4] где устанавливается не только южнославянское, но и непосредственное греческое влияние на почерки русских рукописей (влияние греческого минускульного письма).

С той же степенью четкости определяются различия и в орнаменте рукописей. Рукописи, писанные старшим полууставом, орнаментируются в зверином (тератологическом, или чудовищ-

[2] Там же, с. 1—3.

[3] Щепкин В. Н. Учебник русской палеографии. М., 1920, гл. XI — Югославянская письменность, с. 108—117; гл. XII — Югославянское влияние в России, с. 117—121; гл. XIII — Русский полуустав, с. 121—124.

[4] Byzantinoslavica, 1932, t. 4, c. 58—64.

ном) стиле. Рукописи же, писанные младшим полууставом, сопровождаются орнаментом геометрическим. Опять-таки, как и в почерках, переходные формы отсутствуют и второй стиль (геометрический) стоит в явной связи с южнославянским орнаментом.

При этом различия обоих стилей сказываются не только в характере рисунка, но и в различном подборе красок.[5]

Можно заметить и некоторые различия в миниатюрах, но последние с точки зрения второго южнославянского влияния совершенно не изучены.

Наконец, М. Н. Тихомиров предполагает, что делопроизводственная манера склеивать документы в столбцы также пришла к нам от южных славян, у которых наиболее ранний документ в форме столбца датируется последней четвертью XIV в. (до 1382 г. — грамота Иоанна Шишмана Витошскому монастырю).[6]

Сложнее обстоит дело с орфографией и литературным языком. Явления в области орфографии и литературного языка, связанные с южнославянским влиянием, довольно отчетливо суммированы у А. И. Соболевского.[7] Они объединяют следующие тенденции: 1) отделить книжный язык от народного, 2) установить более или менее устойчивые правила правописания, 3) приблизить язык к первоначальному церковнославянскому языку, «очистив» его от позднейших народных элементов, 4) уничтожить в языке и орфографии местные русские особенности, 5) приблизить язык и орфографию к «материнскому» — греческому (в орфографии — употребление двух *г* вместо *нг*, *б* вместо *п* после *м*, *д* вместо *т* после *н*; подражание греческому в синтаксисе, в неологизмах и т. д.).

С изменениями в области орфографии и литературного языка связано также появление в России перенесенного из южнославянских стран «плетения словес» — особого литературного стиля, возникшего в Болгарии в Евфимиевскую эпоху и устойчиво сохранявшегося в России вплоть до XVII в.

На стиле второго южнославянского влияния нам придется особенно подробно остановиться в дальнейшем. Характер этого стиля представит существенный интерес для определения некоторых особенностей второго южнославянского влияния.

Уже из только что приведенных данных совершенно ясно, что южнославянское влияние тесно сочеталось с влиянием византийским. Это последнее сказывалось в России как опосредствованно (через южных славян), так и непосредственно. Следы византийского влияния могут быть отмечены в графике рукописи (см. выше), в орфографии (см. выше), в новообразованиях

---

[5] Наиболее авторитетный анализ обоих стилей см.: Щепкин В. Н. Учебник русской палеографии, с. 54—58.

[6] Тихомиров М. Н. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в. — В кн.: Славянский сборник. М., 1947, с. 177. Снимок см.: Ильинский Г. А. Грамоты болгарских царей. М., 1911, приложение 6.

[7] Соболевский А. И. Южнославянское влияние. . ., с. 3—4.

(например, сложные слова с начальным *добро: добронравие, доброгласие* и т. п.), в орнаменте (геометрический — неовизантийский орнамент) и т. д. Мало изучен вопрос о византийском влиянии в области стиля «плетения словес», но и здесь это влияние несомненно. Однако ярче всего сопутствовавшее южнославянскому византийское влияние может быть продемонстрировано на содержании письменности этого периода.

Большинство литературных произведений, перенесенных к нам в XIV—XV вв. от южных славян, — это переводы с греческого. Оригинальные южнославянские произведения (главным образом жития) [8] составляют сравнительно небольшую часть перенесенных к нам памятников письменности. Здесь новые редакции переводов Четвероевангелия, Апостола, Псалтыри, Служебных миней, гимнографической литературы, Песни песней, слов Григория Богослова, Лествицы Иоанна Лествичника, Пандектов Никона Черногорца, Вопросо-ответов псевдо-Афанасия, Жития Антония Великого, Жития Варлаама и Иоасафа, Синайского патерика, Слова Мефодия Патарского и др.[9] с другой стороны, переводы новых, ранее неизвестных в славянском тексте сочинений Василия Великого, Исаака Сирина, аввы Дорофея, Григория Синаита, Григория Паламы, Симеона Нового Богослова, Иоанна Златоуста и т. д.[10]

Замечательно, что наряду с болгарскими и сербскими переводами с греческого делаются и русские переводы: в Константинополе, на Афоне [11] и непосредственно в России. Переводами с греческого занимался сам митрополит Алексей [12] и многие церковные деятели его времени. Преемник Алексея на митрополичьей кафедре Киприан списал в константинопольском Студийском монастыре Лествицу Иоанна Лествичника (рукопись Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, собр. Моск. Дух. акад., № 152), а затем в Голенищеве под Москвой «многия святыя книги со греческаго языка на русьский язык преложи и довольна списания к пользе нам остави».[13]

---

[8] Смирнов С. Н. Сербские святые в русских рукописях. — В кн.: Юбилейный сборник Русского археологического общества в Королевстве Югославии : К 15-летию Общества. Белград, 1936, с. 161—264; Иванов Й. Българското книжовно влияние в Русия при митрополит Киприан (1375—1406). — Известия на Института за българска литература, 1958, кн. 6, с. 25—79; Ангелов Боню Ст. Из историята на руското културно влияние в България (XV—XVIII вв.). — Известия на Института за българска история, 1956, кн. 6, с. 291—323.

[9] Соболевский А. И. Южнославянское влияние. . ., с. 4.

[10] Там же, с. 5.

[11] Рукописи переписывались на Афоне, в частности и для Троице-Сергиевского монастыря (Некрасов И. Пахомий Серб, писатель XV века. Одесса, 1871, с. 18).

[12] Отчет о 34-м присуждении наград графа Уварова. СПб., 1892, с. 116; Голубинский Е. История русской церкви. М., 1900, т. 2, 1-я половина, с. 218—221.

[13] Книга Степенная царского родословия. — ПСРЛ, СПб., 1913, т. 21, ч. 2, с. 441. То же известие и в других летописях.

С фактами южнославянского и византийского влияния в области письменности должны быть сопоставлены и одновременные им факты южнославянского и византийского влияния в искусстве, с тем только различием, что если для письменности византийское влияние в XIV—XV вв. составляло в основном как бы часть южнославянского, то для живописи, напротив, южнославянское входило составной частью в объединяющее его византийское влияние. К сожалению, в распоряжении историков русского искусства нет сводной работы, подобной работе А. И. Соболевского «Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках». Между тем и в этой области есть бесспорные факты взаимообщения, сходные с теми, которые были констатированы для письменности А. И. Соболевским и В. С. Иконниковым.[14]

Около 1338 г. «гречин» Исайя «с другы» расписал церковь Входа в Иерусалим в Новгороде.[15] В 1334 г. греческие художники («греци, митрополичи письцы») работали у митрополита Феогноста в Москве, расписывая Успенский и Архангельский соборы.[16] В 1345 г. в Москве работал грек Гоитан с учениками, расписывая церковь Спаса на Бору.[17] Митрополит Алексей в 1357 г. вывез икону Нерукотворного Спаса из Константинополя и поместил ее в Андрониковом соборе в Москве.[18] В 1381 г. по повелению епископа Дионисия были сделаны две копии с иконы Одигитрии в Константинополе и помещены в Богородице-Рождественском соборе в Суздале и в церкви Спаса в Нижнем Новгороде.[19] В 1387—1395 гг. Афанасий Высоцкий прислал в свой Серпуховской монастырь «Деисус» поясной (ныне его части в Третьяковской галерее и в Русском музее).[20] В 1398 г. в Москву была прислана из Константинополя икона «Спас, и ангели, и апостоли, и праведницы, а вси в белых ризах», а в Тверь — «Страшный суд».[21] В 1378 г. Феофан Грек расписывает Спасо-Преображенскую церковь на Ильине улице в Новгороде.[22] В 1395/96 г. он переезжает в Москву и расписывает с Симоном Черным церковь Рождества Богородицы с приделом Лазаря;[23] работает в Нижнем и в других местах. В 1399 г. он расписывает Архангельский собор Москов-

---

[14] Иконников В. С. Опыт русской историографии. Киев, 1908, т. 2, кн. 2, с. 1088—1136.

[15] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950, с. 348.

[16] Приселков М. Д. Троицкая летопись : Реконструкция текста. М.; Л., 1950, с. 366.

[17] Там же, с. 367.

[18] Книга Степенная царского родословия, ч. 2, с. 358.

[19] Приселков М. Д. Троицкая летопись, с. 421—422.

[20] Лазарев В. Н. Новые памятники византийской живописи XIV века. 1. Высоцкий чин. — В кн.: Византийский временник. М., 1951, т. 4, с. 122—131.

[21] Приселков М. Д. Троицкая летопись, с. 448.

[22] Новгородские летописи (так называемая Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). СПб., 1879, с. 243.

[23] Приселков М. Д. Троицкая летопись, с. 445.

ского кремля,[24] а в 1405 г. вместе со старцем Прохором из Городца и Андреем Рублевым — Благовещенский собор там же.[25]

Таковы некоторые факты, свидетельствующие об интересе к византийской живописи на Руси, зарегистрированные данными письменных источников, крайне скупых для этого времени. Но помимо них имеются бесспорно установленные непосредственным анализом памятников факты византийского и южнославянского влияния. Связь русской живописи с «Палеологовским ренессансом» была настолько широкой, что значительно труднее найти памятник русской живописи второй половины XIV—начала XV в., в котором эта связь не могла бы быть отмечена, чем наоборот. Особенно наглядно эта связь наблюдается в новгородско-псковской монументальной живописи XIV в. (фрески Снетогорского монастыря, Сковородского монастыря, церкви Спаса на Ильине, Рождества Богородицы на Волотовом поле, Федора Стратилата на Ручью, Рождества Богородицы на Красном поле и т. д.). «Палеологовский ренессанс» принимает в России русские формы и порождает в соединении с местными национальными традициями новые школы русской живописи.[26]

Чрезвычайно существенно, что помимо византийской живописи в русской живописи сказались и воздействия непосредственно южнославянские, в первую очередь сербские. Сербская живопись XIV в. была охвачена тем же «Палеологовским ренессансом», но в ней могут быть отмечены и сильные национальные и местные черты, некоторые из них бесспорно сказались на отдельных русских памятниках XIV в. Сербская школа живописи переживает во второй половине XIV в. пору своего расцвета.[27] Она оказывает воздействие на Афон, на Болгарию.

---

[24] Там же, с. 450.

[25] Там же, с. 459.

[26] Лучшие характеристики стилистических признаков русской живописи XIV в. и ее связей с «Палеологовским ренессансом» принадлежат В. Н. Лазареву (История византийской живописи. М., 1947, т. 1, с. 242 и след.; Искусство Новгорода. М.; Л., 1947, с. 63 и след.; Живопись и скульптура Новгорода. — В кн.: История русского искусства. М., 1954, т. 2, с. 138 и след.), М. В. Алпатову (Всеобщая история искусств. М., 1955, т. 3, с. 146 и след.), Б. В. Михайловскому (Михайловский Б. В., Пуришев Б. И. Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV в. до начала XVIII в. М.; Л., 1941, с. 22 и след.), Н. Г. Порфиридову (Древний Новгород : Очерки из истории русской культуры XI—XV вв. М.; Л., 1947, с. 278 и след.).

[27] Лазарев В. Н. История византийской живописи, т. 1, с.137—138, 173—178, 236—240. О сербской живописи этой эпохи см. также: Waltrowits M. 'O πρόδρομος. Mitteilungen über neue Forschungen auf dem Gebiete serbischer Kirchenbaukunst. Wien, 1878; Millet G. L'art byzantin.— In: Histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'a nos jours. 1. Paris, 1903, p. 951—955; Окунев Н. Сербские средневековые стенописи. — Slavia, 1923, roč. 2, seš 2—3, с. 371—399; Okunev N. Monumenta artis serbicae. I—IV. Zagrebiae; Pragae, 1928—1932; Petković V. Die Wiederentdeckung und Erforschung der mittelälterlichen serbischen Kunst. — Slavische Rundschau, 1929, S. 425—433; Petković V. R. La peinture serbe du

В России сербское влияние с несомненностью установлено для Новгорода — в росписях церкви Спаса на Ковалеве (1380 г.), ныне погибших.[28] Росписи этой церкви поразительно близки фрескам сербской церкви Спасителя в Раванице (1381 г.). Эта близость устанавливается иконографически, стилистически, палеографически (на основании анализа почерка русских надписей, близкого сербскому полууставу), а также по языковым сербизмам в надписях. Основная заслуга в установлении этой близости принадлежит Д. В. Айналову [29] и Г. Милле.[30] Последний отметил связь цикла «Страстей» церкви Спаса на Ковалеве с памятниками македонского и сербского круга (росписи церкви Николая в Касторья, церкви Никиты близ Чурчера, церкви Ахилия в Арилье, церкви Богоматери в Грачанице). Широкий круг соответствий ковалевских фресок с сербскими росписями, преимущественно моравскими, констатирует и В. Н. Лазарев.[31] Он же отметил несколько менее ясные связи между монументальной живописью Сербии и росписями церкви Благовещения на Городище в Новгороде.[32]

Общая близость художественного стиля фресок Волотова (конец 70-х—начало 80-х гг. XV в.) и фресок Раваницкой церкви была отмечена Д. В. Айналовым.[33] Ее же отметил в иконографических типах Г. Милле.[34] Впрочем, непосредственное влияние сербской живописи на живопись Волотова не может считаться достоверно установленным.

---

moyen âge. I—II. Beograd, 1933—1934; Kašanin M. Altserbische Fresken. Wien; Leipzig, 1940; Millet G. La peinture du moyen âge en Jugoslavie. Fascules 1—2. Paris, 1954—1957.

[28] Церковь Спаса на Ковалеве разрушена в 1941 г. огнем фашистской артиллерии.

[29] Айналов Д. В. Византийская живопись XIV столетия. Пг., 1917.

[30] Millet G. Recherches sur l'iconographie de l'évangile aux XIV^e, XV^e et XVI siècles. Paris, 1916.

[31] Лазарев В. Н. 1) Искусство Новгорода, с. 88—89; 2) История византийской живописи, т. 1, с. 246 и 383, примеч. 155; 3) Живопись и скульптура Новгорода. — В кн.: Лазарев В. Н. История русского искусства. М., 1954, т. 2, с. 201—206; 4) Ковалевская роспись и проблема южнославянских связей в русской живописи XIV века. — В кн.: Ежегодник Института истории искусств АН СССР. М., 1958, с. 233—278. Ср. также: Порфиридов Н. Г. 1) Новые открытия в области древней русской живописи в Новгороде (1918—1928). — В кн.: Сборник Новгородского общества любителей древности. Новгород, 1928, т. 9, с. 5; 2) Древний Новгород, с. 289; Alpatov M., Brunov N. Geschichte der altrussischen Kunst. Augsburg, 1932, S. 298—299; Ainalov D. Geschichte der russischen Monumentalkunst der vormoskovitischen Zelt. Berlin; Leipzig, 1932, S. 53, 60—61; Некрасов А. И. Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937, с. 158—159.

[32] Лазарев В. Н. 1) Искусство Новгорода, с. 89—91; 2) История византийской живописи, т. 1, с. 246; 3) Живопись и скульптура Новгорода, с. 206.

[33] Айналов Д. В. Византийская живопись XIV столетия, с. 145—146.

[34] Millet G. Recherches sur l'iconographie de l'évangile aux XIV, XV et XVI siècles, p. 549, 632 и пр.

Усматривается «византийско-сербское» влияние и в иконописи, в частности в иконе «Деисус» из села Кривого конца XIV в.[35] и в иконе «Анна с девой Марией» (музей Троице-Сергиевой лавры),[36] связанной с сербскими особенностями культа богоматери в XIV в.[37]

Необходимо отметить, что не все из того, что в свое время было высказано в научной литературе о русско-сербских связях в области живописи, может быть в настоящее время принято. Так, например, не может быть принята предполагаемая М. Н. Тихомировым, вслед за Н. П. Кондаковым, связующая роль Сербии между Италией и Русью в передаче на Русь итало-критских икон: [38] концепция Г. Милле—Н. П. Кондакова—Н. П. Лихачева, крайне преувеличивавшая значение итало-критской школы и неправильно определявшая место Италии в «Палеологовском ренессансе», в данное время не имеет сторонников среди искусствоведов.[39] Влияние сербских зодчих на московскую архитектуру конца XIV—XV вв. предполагалось, но не исследовано.[40] Нет, однако,

---

[35] Некрасов А. И. Древнерусское изобразительное искусство, с. 225—226.

[36] Олсуфьев Ю. А. Дополнение I к Описи икон Троице-Сергиевой лавры до XVIII века и наиболее типичных XVIII и XIX веков. Сергиев, 1922, с. 3 (первоначально в Описи А. И. Анисимов неверно трактовал эту икону как «Умиление»). Ср. также: Искусство XIV и XV вв.: Выставка при музее б. Троице-Сергиевой лавры. Сергиев, 1924, с. 5, № 9. (Пользуюсь любезным указанием О. А. Белобровой).

[37] Ср. некоторые другие иконы сербского происхождения или написанные под сербским влиянием: Лазарев В. Н. Ковалевская роспись. . ., с. 260, 267—270.

[38] Тихомиров М. Н. Исторические связи русского народа. . ., с. 179—180.

[39] Критику концепции Г. Милле—Н. П. Кондакова—Н. П. Лихачева см. в кн.: Лазарев В. Н. История византийской живописи, т. 1, с. 211—213, 252, 256—257. Ср.: Лазарев В. Н. К вопросу о «греческой манере», итало-греческой и итало-критской школах живописи. — В кн.: Ежегодник Института истории искусств АН СССР, 1952. М., 1952, с. 152—200. См. также рецензию на эту работу В. Н. Лазарева: Банк А. — Византийский временник, 1956, т. 8, с. 374—377.

[40] Некрасов А. И. Древнерусское зодчество XI—XVII веков. М., 1936, с. 198—199; Воронин Н. Н., Максимов П. И. Каменное зодчество великокняжеской Москвы. — В кн.: История русского искусства. М., 1955, т. 3, с. 69—70: «В отношении интереса к композиции храмового верха московская архитектура сближалась не только с псковской, но и с балканской архитектурой того времени, в особенности с сербской. В зодчестве Сербии XIV—XV веков применялись иногда и повышенные подпружные арки (хотя и несколько иного характера, чем в русской архитектуре), и закомары второго яруса в подножиях барабанов. Встречалось там и расположение средних и боковых закомар на разных уровнях, как это можно видеть в церкви в Грачанице (1321) и ряде построек конца XIV—начала XV века. Такие особенности, как форма подпружных арок собора Троице-Сергиевой лавры, находят близкие аналогии в арках соборной церкви Студеницкой лавры (1190) или церкви в Арилье (XIII век). Возможно, что эти черты сходства были результатом культурных связей этого времени между Русью и южнославянскими странами, но самый процесс переосмысления старой крестовокупольной схемы следует рассматривать как органически русское национальное явление, коренившееся еще в истории русского зодчества XII—XIII веков и получившее дальнейшее закономерное развитие в изучаемое нами время».

сомнений, что считаться с возможностью этого влияния совершенно необходимо. Многозначителен, например, тот факт, что в 1404 г. серб Лазарь строит в Московском Кремле часозвоню.[41] Заслуживает поэтому некоторого внимания и отмеченное в искусствоведческой литературе сходство собора Андроникова монастыря в Москве с сербскими церквами XIV в.[42]

Южнославянское влияние предполагалось также в формах новгородских каменных крестов XIV—XV вв.[43]

Таковы некоторые факты, в большей или меньшей степени свидетельствующие о том, что второе южнославянское и визан-

---

[41] См. в Троицкой летописи под 1404 г.: «Въ лѣто 6912, индикта 12, князь великий Василей Дмитреевичь замысли часникъ и постави е на своемъ дворѣ за церковью за святымъ Благовѣщеньемъ. Сий же часникъ наречется часомѣрье; на всякий же часъ ударяетъ молотомъ въ колоколъ, размѣряя и разсчитая часы нощныя и дневныя. Не бо человѣкъ ударяше, но человѣковидно, самозвонно и самодвижно, страннолѣпно и нѣкако створено есть человѣческою хитростью, преизмечтано и преухищрено. Мастеръ же и художникъ сему бѣяше нѣкоторые чернецъ, иже отъ Святыя Горы пришедый, родомъ Сербинъ, именемъ Лазарь. Цѣна же сему бѣяше вящьше полуутораста рублевъ» (Приселков М. Д. Троицкая летопись, с. 457). М. Н. Тихомиров предполагает южнославянина в мастере Борисе, отлившем в Москве в 1346 г. три больших и два маленьких колокола, по известию Симеоновской летописи (ПСРЛ, СПб., 1913, т. 18, с. 95), но основания к этому спорны.

[42] Брунов Н. Русская архитектура X—XV вв. — Сообщения Кабинета теории и истории архитектуры, М., 1940, вып. 1, с. 6. М. Н. Тихомиров обращает внимание на то обстоятельство, что это внешнее сходство может быть объяснено тем, что собор строился по повелению митрополита Алексея после его поездки в Константинополь, где он мог встречаться с сербами (Тихомиров М. Н. Исторические связи русского народа. . ., с. 179). Надо, однако, отметить, что дата постройки собора не совпадает с временем поездки митрополита Алексея в Константинополь. Правда, А. Павлинов датировал собор 1360 г. (Павлинов А. М. История русской архитектуры. М., 1894, с. 113). Вслед за А. Павлиновым датирует собор 1360 г. и Н. И. Брунов, от которого и позаимствовал М. Н. Тихомиров эту датировку (Брунов Н. Русская архитектура X—XV вв., с. 5). Однако еще А. И. Некрасов (Города Московской губернии. М., 1928, с. 17) более правильно датировал собор 1420—1427 гг. Бесспорные доказательства того, что собор построен между 1410 и 1427 гг., приведены П. Н. Максимовым (Собор Спасо-Андроникова монастыря в Москве. — В кн.: Архитектурные памятники Москвы XV—XVII вв.: Новые исследования. М., 1947, с. 9). В «Истории русского искусства» (М., 1955, т. 3, с. 66—68) собор датируется «приблизительно 1427 годом» со ссылкой на П. Н. Максимова. Следует отметить, что и наиболее серьезный исследователь собора, П. Н. Максимов, отмечает аналогии собору в сербских церквах (особенно с церковью в Грачанице 1321 г. — см. в его работе, с. 29). П. Н. Максимов пишет: «Нельзя ли объяснить его (собора. — *Д. Л.*) обособленное положение среди других русских храмов тем, что он мог в какой-то мере отразить южнославянские влияния, столь понятные в то время, когда завоевание Балканского полуострова турками вынудило эмигрировать на Русь ряд видных южнославянских церковных деятелей и когда такие представители их, как митрополит Киприан и Пахомий Логофет, своими трудами оказали сильное влияние на русскую письменность XIV—XV веков» (с. 31).

[43] Шляпкин И. А. Древние русские кресты. Т. 1. Кресты новгородские, до XV века, неподвижные и не церковной службы. СПб., 1906, с. 33—34. Аргументация И. А. Шляпкина, впрочем, не отличается убедительностью и основывается главным образом на общих впечатлениях.

тийское влияние в России не ограничивалось письменностью. Однако само собой разумеется, перечисленных фактов крайне недостаточно, чтобы представить себе южнославянское влияние в его полном объеме. Решение вопроса об объеме южнославянского влияния в России, о его соотношении с византийским будет зависеть от того, насколько интенсивно будут проводиться в этой области частные конкретные исследования. Представляет значительный интерес для выяснения соотношения южнославянского влияния в России с византийским также и исследование самого характера многонациональной византийской культуры, в создании которой приняли участие и сами славяне, чем отчасти и объясняется легкость ее восприятия южными и восточными славянами.

Чрезвычайно существен для выяснения причин второго южнославянского влияния в России самый факт обратного, русского, влияния в южнославянских странах. Впервые на русское влияние в южнославянских странах обратил внимание академик М. Н. Сперанский в работе «Деление русской литературы на периоды и влияние русской литературы на югославскую» (Варшава, 1896).[44] Впоследствии он же более обстоятельно разработал эту тему в ряде частных и общих исследований.[45]

Кроме М. Н. Сперанского, которому принадлежит честь наиболее обстоятельной разработки вопроса о русском влиянии в южнославянской письменности, этим же вопросом занимался А. И. Соболевский, а в последнее время — Боню Ст. Ангелов.[46]

Следует отметить, что вопрос о русском влиянии в Болгарии и Сербии отмечен только для памятников письменности. В области искусства это влияние не отмечено, несмотря на попытки, которые в этом направлении делались.[47] С другой стороны, и в области письменности русское влияние на южнославянскую письменность представлено сравнительно небольшим числом фактов. Причины здесь ясны: это влияние было меньше, чем влияние южнославян-

---

[44] Отдельный оттиск «Русского филологического вестника», т. 36, № 3—4.

[45] Сперанский М. Н. 1) Откуда идут старинные памятники русской письменности и литературы? — Slavia, Praha, 1928, roč. 6, seš 3, с. 516—535; 2) Югославянские и русские тексты «Сказания о построении храма Софии цареградской». — В кн.: Сборник в чест на В. Златарски. София, 1925, с. 413—422; 3) К истории взаимоотношений русской и югославянских литератур: (Русские памятники письменности на юге славянства). — ИОРЯС, 1921 (1923), т. 26, с. 143—206; 4) Русские памятники письменности в югославянских литературах XIV—XVI вв. — ЦГАЛИ, ф. 439, оп. 1, № 73, 1938 г., и др.

[46] Ангелов Боню Ст. Из историята па руското книжовно проникване у нас (XI—XIV век). — Известия на Института за българска литература, София, 1955, книга трета, с. 37—65.

[47] Материалы, отмеченные для этой эпохи в книге Н. Мавродинова «Връзките между българското и руското изкуство» (София, 1955), слишком скудны, чтобы можно было говорить о русском влиянии на болгарское искусство XIV—XV вв.

ской письменности на русскую; скудость фактов объясняется и тем, что болгарское и сербское письменное наследие (так же, как и наследие в области искусства) сохранилось несравненно хуже, чем русское.

Мы знаем те центры, которые служили культурному общению славян и греков в XIV—XV вв. Это прежде всего Афон и Константинополь. Нет смысла перечислять факты этого общения: они неоднократно суммировались в исследовательской литературе.[48] Однако кроме Афона и Константинополя, где происходило общение между собой русских, болгар, сербов, греков и т. д., специально для XIV в. должны быть особо отмечены монастыри Болгарии.[49]

Болгария в XIV в. в целом была тем огромным центром, через который проходило византийское влияние в Сербию и Россию, центром, в котором это византийское влияние получало свою славянскую окраску, закреплялось в многочисленных переводах, освященных реформой письменности патриарха Евфимия.

Изучение русского влияния на южных славян чрезвычайно важно для определения сущности того культурного обмена, который совершался в XIV—XV вв. между Византией и славянскими странами. Особенно важно определить, существовало ли обратное влияние — русского искусства на южнославянское. Если это обратное влияние русской литературы и русского искусства на южнославянскую литературу и искусство совершалось в более или менее значительных размерах, то перед нами взаимообщение, культурный обмен, и причину его нельзя видеть в преимуществах одной литературы над другой, одного искусства над другим.

Обратим внимание на следующее: если влияния и взаимовлияния осуществлялись широким фронтом в самых различных областях культуры (как мы это уже видели), то, значит, перед нами явления единого умственного движения, достаточно мощного, чтобы охватить разные страны, и достаточно глубокого, чтобы сказаться одновременно в литературе, письменности в целом, живописи и религии.

Отсюда возникает особая задача: необходимо не только выявить факты этих взаимовлияний, но и изучить идейную сущность того умственного движения, которое за этими фактами, очевидно, скрывается.

---

[48] Литературу вопроса см. в кн.: Иконников В. С. Опыт русской историографии, г. 2, кн. 2, с. 1091, примеч. 3. Некоторые данные о святогорцах в России можно найти в кн.: Строев П. М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы. СПб., 1882, с. 46, 119, 121—122 и др., а также в трудах И. И. Срезневского, Макария, Филарета и др.

[49] Особенно следует отметить в этом отношении Парорийский монастырь, откуда учение исихастов усиленно распространялось и на Болгарию, и на Сербию. (Сырку П. Очерки из истории литературных сношений болгар и сербов в XIV—XVII веках. СПб., 1901, с. LXXIII и др.).

2. Характер нового стиля, появившегося в русской литературе с конца XIV в.

Для определения сущности второго южнославянского влияния в России большое значение имело бы выяснение философского смысла проникшей на Русь Евфимиевской книжной реформы — реформы принципов перевода с греческого, реформы литературного языка, правописания и графики.

К сожалению, мы не имеем теоретических сочинений XIV—XV вв. об этой реформе. О смысле ее мы можем только догадываться. Между тем несомненно, что реформа эта имела очень большое значение в культурной жизни южно- и восточнославянских стран и была, по-видимому, одним из проявлений умственных движений XIV в. Она распространилась с очень большой быстротой, свидетельствуя тем самым о том, что отвечала неким внутренним в ней потребностям, имела для своих современников какой-то важный смысл. Она возбудила усиленную переводческую деятельность, поскольку старые переводы стали считаться неточными. Неудовлетворенность старыми рукописями заставляла интенсивно заниматься их исправлениями, их перепиской с соблюдением новых правил, понуждала ввозить в Россию новые, реформированные рукописи. Перед нами очень крупное явление умственной жизни, смысл которого до сих пор остается неясным.

Судить о смысле реформы патриарха Евфимия Тырновского мы можем только отчасти, по единственному сочинению ученика его ученика, Константина Философа Костенческого. Сочинение это отнюдь не теоретическое, а скорее практическое, но в нем содержались и некоторые общие высказывания. Произведение Константина было в свое время издано академиком И. В. Ягичем в его обширном издании «Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке» (СПб., 1896). Издание сопровождается введением, в котором И. В. Ягич излагает и характеризует взгляды Константина, и последующим «Обозрением сочинения» с пересказом его содержания. К сожалению, характеристика, которую дает И. В. Ягич сочинению Константина, не раскрывает самую систему его взглядов, теснейшим образом связанную с мировоззрением того времени и взглядами исихастов, оказавшими значительное влияние на Евфимия Тырновского, а через него — и на Константина Костенческого.[50] Неудивительно, что рассмотрение содержания сочинения Константина вне исторической перспективы привело И. В. Ягича к отрицательной оценке его сочинений и его взглядов.

---

[50] Наиболее полное и объективное изложение содержания сочинения Константина Костенческого см. в книгах: Kujev K. M. Konstantin Kistenski w literature bułgarskiej i serbskiej. Kraków, 1950; Киселков В.Сл. Проуки и очерти по старобългарска литература. София, 1956, с. 266—303; но и здесь в задачу исследователей не входило установление связи взглядов Константина с общими воззрениями эпохи на язык.

Так, например, отмечая то огромное значение, которое придавал Константин греческому языку и греческому правописанию, И. В. Ягич объяснял это причинами чисто случайными: «Он сам был по воспитанию и образованию скорее грек, чем славянин; его уступчивость авторитету греков не знала пределов, он смотрел на них как на естественных посредников между евреями и славянами в отношении церковно-христианской письменности. . . Поэтому первым и главным правилом для Константина существовало безусловное подражание всему греческому. . . Эта зависимость от греков доходила у Константина до того, что он даже принятому порядку букв славянского алфавита не сочувствовал, считая более разумным познакомить мальчика с 24 буквами алфавита греческого. . .».[51]

И. В. Ягич так отзывается о сочинении Константина: «Сочинение написано языком удивительно тяжелым и по отношению к формам неправильным, обличающим рабскую зависимость от оборотов греческих, как это нередко встречается у писателей ученых, приобретших свое образование в чужой среде, привыкших мыслить и выражаться на чужом языке. Так и Константин был духом и образованием, образом мыслей и способом выражения скорее грек, чем болгарин или серб. Странное впечатление производят эти недостатки у писателя, затевавшего как раз исправление книг по отношению к языку. Поневоле возникает сомнение о его пригодности для такого предприятия: спрашивается, каковым могло выйти это исправление у человека, не умевшего выражать свои мысли просто и отчетливо и на понятном языке?».[52]

Между тем объяснять то предпочтение, которое отдавал Константин греческому языку, только его личным воспитанием, образованием и склонностями — значило бы не замечать той огромной роли, которую греческий язык и греческая письменность вообще сыграли в умственном славянском движении XIV и XV вв.[53] В самом деле, особенности греческой графики сказываются в русской письменности; кальки с греческого и греческие слова широко проникают в русский литературный язык; во многих случаях, как известно, в русских сочинениях XV—XVI вв. наблюдается следование греческим грамматическим конструкциям. Ясно, что явление это отнюдь не случайное и что личные вкусы Константина Костенческого должны найти себе объяснение в воззрениях на язык, свойственных целому кругу представителей нового направления в письменности.

---

[51] Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896, с. 84—85.

[52] Там же, с. 81.

[53] П. Сырку пишет: «Греческие редакции церковных книг и даже греческая грамматическая дисциплина считались образцом для славянской» (Сырку П. К истории исправления книг в Болгарии в XIV веке. СПб., 1899, т. 1, вып. 1, с. 247). Примеры подражания Евфимия Тырновского греческим синтаксическим конструкциям и отдельным оборотам речи см. в кн.: Радченко К. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. Киев, 1898, с. 293 и след.

В учении Константина Костенческого нас прежде всего привлекает то обостренное до фанатизма внимание, которое он уделяет значению каждого внешнего, формального явления языка и письма. Константин Костенческий исходит из убеждения, что каждая особенность графики, каждая особенность написания, произношения слова имеет свой смысл. Понять вещь — это правильно ее назвать. Познание для него, как и для многих богословов средневековья, это выражение мира средствами языка. Слово и сущность для него неразрывны. Отсюда его чрезвычайное беспокойство о каждом случае расхождения между ними, которое может получиться от неправильного написания, от неправильной формы слова. Эти расхождения могут привести к ереси и, во всяком случае, к неправильным воззрениям. Отсюда главной задачей науки он считает создание правильного языка, правильной орфографии, правильного письма. Именно от этого зависят его воззрения на язык и на письмо, а не от особенностей его личной психики и личного воспитания.

Он стремится уничтожить возможные неправильности в языке, орфографии и письме, пытается многочисленными примерами продемонстрировать теснейшую связь внешней формы слова и его значения, показать смысл мельчайших особенностей орфографии и графики. Ереси происходят, по его мнению, от недостатков или излишеств в письме: «. . .откуда прозебленіе ересем точію от улишеніа божественаго писаніа, или паки излишіа, си рѣч приложеніа» (КонстК., 107—108).[54] Его крайне беспокоят все разногласия между списками, и он призывает казнь божию на тех, кто делает описки в рукописях или, даже только зная об описках, не «обличает» их (КонстК., 108). Он исходит из положения, что каждая буква в слове имеет свое значение и способна изменить смысл речи. При этом он пытается видеть особый, внутренний смысл даже в буквах самих по себе, приписывает каждой из них свою индивидуальную роль. Он требует, например, соблюдать в письме строгое различие между *ѣ* и *е*, хотя отличия этих букв в произношении неясны для него самого, и говорит о «естестве» букв. Буква *ъ* для него «совершительная», и она препятствует слиянию слов. Он обращает внимание на то, что *ы*, *ъ*, и *ь* никогда не начинают собою слов, и видит в этом признак их особого существа (КонстК., 113—115). Существенные смысловые различия видит Константин между *θ* и *т* (КонстК., 116), устанавливает различия, присущие *ѵ* и *и*, например, в словах *мѵрный* и *мирны* (с. 124 и след.), устанавливает пять начертаний буквы *о* и т. д. Большое внимание уделяет он надстрочным знакам, каждый из которых подробно анализируется им в своем «естестве» («оксие», «даси», «вариа», «апостроф», «зернца», «периспомени» и т. д.). Он не просто педант и «формалист», ибо за формой видит существо.

Его чрезвычайно озабочивает реальное различие отдельных языков. Он понимает, что различия эти в корне подрывают его

[54] Список сокращений см. в конце доклада.

систему, и он стремится объяснить их, устанавливая своеобразные антропоморфические отношения языков: языки находятся в родственной зависимости друг от друга и, следовательно, должны в какой-то мере подчиняться своим «родителям». Еврейские «письмена и глаголы» — отцовские, греческие — материнские, славянские — дети: «Свѣдѣтеля привожу ти матерь твою грьчьскые глаголы и писмена, ею же яко сѣме от отца еврейскых писмень и глаголь прорасте. И подобает ти вь сих нравь сих подобіе дръжати по въсему естество родителей, аще ли же ни, то ни любодѣичища писмена наша достижуть, ибо не тькмо отца не вѣдет и отвращаютсе, нь и рождьшую их матерь» (КонстК., 125). Отсюда необходимость стремиться во всем следовать греческому языку и греческим письменам: нам «подобаеть вящшій страх и вънятіе о писаних паче ли грькь бисерь божій съдръжати. Не бо мы нашим кораблем пучину шьствовахом и възехом его (бисер божий. — *Д. Л.*) от еурей, нь сих (греков. — *Д. Л.*) кораблем прѣнесень даже и до нас дойде. Мы же яко корабльцем малѣм приобрѣтеннымии писмены въ пристанище срѣтше възехом» (КонстК., 122).

Надо иметь в виду, что антропоморфические отношения между языками — существенная сторона мировоззрения Константина. Он сравнивает с людьми не только языки, но и буквы. Согласные — это мужчины, гласные — женщины; первые господствуют, вторые подчиняются. Надстрочные знаки — головные уборы женщин; их неприлично носить мужчинам. Свои головные уборы женщины могут снимать дома в присутствии мужчин: так и гласные могут не иметь надстрочных знаков, если эти гласные сопровождаются согласными (КонстК., 134).

Соответствие слова и сущности и исходящее отсюда требование абсолютной точности внешней формы слова касались в представлениях Константина отнюдь не всех языков, а только тех, которые мы могли бы назвать церковными или «священными». Это касалось языка науки или, что то же в представлениях того времени, языка церкви, Священного писания и богослужения. Этот язык, по понятиям средневековья, не мог смешиваться с обыденным, он должен был быть возвышенным, духовным. Литература светская (летописные записи, описания путешествий и т. д.) пользовалась особым литературным языком, близким к языку деловой письменности, но в котором также могла быть своя литературность, не похожая на литературность церковного языка — языка церковнославянского.

Система Константина Костенческого вводила возвышенный и отнюдь не бытовой церковнославянский язык в семью немногих «священных» языков. Она устанавливала связь церковнославянского языка с «материнским» греческим языком, подчеркивала эту связь в начертаниях букв, в системе надстрочных и строчных знаков, в расположении алфавита и т. д. Для Константина Костенческого это не мелочи, не капризы вкуса и не просто следствие его греческого образования, как думал И. В. Ягич, а существенные элементы мировоззрения.

Малейшая неточность в письме, орфографическая неустойчивость в «священном» церковном языке были, с его точки зрения, способны породить ересь; по существу они были уже сами по себе ересью, ибо между языком и письменностью, с одной стороны, и явлениями мира — с другой, существовала, по мнению Константина, органическая связь. «Лучьше бо есть съ въсѣмь листь погрѣшити, — говорит Константин, — неже въ писменех едину хулу съставити: погрѣшеніе бо улишеніе есть божественые пшенице, хула же въ писменех врагь божій есть» (КонстК., 102). Константин сравнивает письмена с головой змеи и говорит, что подобно тому как змея прячет свою голову, подставляя для ударов тело (если голова ее будет цела, то и тело исцелится), так и мы должны сохранять правильность письмен, ибо «и въсякой книжевской вещи глава есть писмена и състоаніе правое» (КонстК., 96).[55]

Отсюда стремление Константина Костенческого к буквализму переводов, к полной унификации языка и письма, его многочисленные попытки орфографического разделения значений слов, близких в звуковом отношении.

Требование абсолютной точности (орфографической, языковой и пр.) в передаче текстов Священного писания объясняется и общим недоверием Константина к человеческому разуму. С точки зрения Константина, лишь Священное писание способно раскрывать истину, поэтому оно именно должно передаваться со всевозможной точностью: «Прѣмудрость мира — безуміе богу. Аще бо и тьмами любомудріемь украсимсе, бес страха же божествных повелѣніи, еда не уподобимсе еллином; иже пучину морскую потьщавшіих се грьстію измѣрити, или кромѣ корабля прѣплути, им же даже и въ ідолопоклоненіе съведошесе, подвизаніемь тварей. Тѣм же прѣмудрый онь от бога прѣмудрость просить, а не собою утвръждаетсе» (КонстК., 107).

Я уже говорил о том, что Константин Костенческий не был оригинален в своих воззрениях. Он был учеником ученика патриарха Евфимия Тырновского, а этот последний примыкал к исихастам.[56]

Исихасты видели в слове сущность обозначаемого им явления, в имени божьем — самого бога. Поэтому слово, обозначающее священное явление, с точки зрения исихастов, так же священно, как и само явление. Это учение о языке и слове было распространено Евфимием и его учениками на всю письменность. Вот почему буквализм и дословность (ἀκρίβεια) пронизывают собой всю пере-

---

[55] Иное объяснение идеализации греческого языка у Константина Костенческого и Евфимия Тырновского дает проф. П. Динеков (Стара българска литература. София, 1953, втора част, с. 57). С точки зрения П. Динекова, все дело во взаимоотношениях церковно-иерархических. Греческий язык — язык царьградской патриархии, претендовавшей на господство в православной церкви.

[56] См.: Сырку П. К истории исправления книг в Болгарии. . ., т. 1, вып. 1. Евфимий был близким учеником исихаста Феодосия Тырновского.

водческую деятельность, ведя к образованию калек с греческого, сложных заимствований синтаксических конструкций и различных неологизмов.

Константин Костенческий называет письмена «божественными» (КонстК., 106 и др.). Они предназначены для божественных истин. Учение исихастов о слове, молчании, божественном свете и имени божьем имело, как известно, неоплатонические корни.[57] По Проклу, имя — энергия сущности, отождествляющая факт и смысл и его выражение. «Неизрекаемое молчание» — исходное начало диалектики слова.

На системе Константина лежит тот же отпечаток «аристократизма», что и на всем стиле панегирической литературы XIV в.: это письменность для избранных, для небольшого числа ученых, и это литература для искушенных в чтении божественного писания. Евфимиевские правила отделяли церковную письменность от деловой точно так же, как стилистические приемы панегирической литературы возвышали ее над обыденной речью. Противопоставляя исправные книги «растленным», Константин утверждал, что первые предназначены для знатоков письменности, а вторые — для невежд. Знатоки будут чувствовать себя стесненными в неисправно написанных книгах, а невежды — в исправных: «. . .того бо ради невѣжде свободнѣйши суть въ растлѣнныих писаніох, паче ли въ первыих. . . такожде пакы вѣжде нѣ суть свободь въ развращенныих» (КонстК., 123).

Проникший в Россию в XVI в. южнославянский витийственный стиль был тесно связан с теми же воззрениями на язык, которые лежали в основе Евфимиевских реформ.

Слово, по этому учению, было сущностью явлений. Назвать вещи — значило понять их. С этой точки зрения языку (языку церковных писаний) отводилась первенствующая роль в познании мира. Познать явление — значит выразить его словом, назвать. Отсюда нетерпимое отношение ко всякого рода ошибкам, разноречиям списков, искажениям в переводах и т. д. Отсюда же чрезвычайная привязанность к буквализму переводов, к цитатам из Священного писания, к традиционным формулам, стремление к тому, чтобы словесное выражение вызывало такое же точно настроение, чувство, как и самое явление, стремление создавать из письменного произведения своеобразную икону, произведение для поклонения, превращать литературное произведение в молитвенный текст.

«Плетение словес» основано на внимательнейшем отношении к слову: к его звуковой стороне (аллитерации, ассонансы и т. п.), к этимологии слова (сочетания однокоренных слов, этимологически одинаковые окончания и т. п.), к тонкостям его семантики

---

[57] О связи философии исихастов с философией Платона и неоплатоников см. в кн.: Сырку П. К истории исправления книг в Болгарии. . ., т. 1, вып. 1, с. 236—238 и с. 187, примеч. 1. Ср.: Радченко К. Религиозное и литературное движение в Болгарии. . ., с. 123—126.

(сочетания синонимические, тавтологические и пр.), на любви к словесным новообразованиям, составным словам, калькам с греческого и пр. Кальки с греческого образуются из тех же побуждений, которые заставляли переводчиков буквально следовать греческим конструкциям (см. выше). Поиски слова, нагромождения эпитетов, синонимов и т. д. обусловливались представлениями о тождестве слова и сущности, божественного писания и божественной благодати, что лежали и в основе реформы. Напряженные поиски эмоциональной выразительности, стремление к экспрессии основывались на том же убеждении, что житие святого должно отразить частицу его сущности, быть написанным «подобными» словами и вызывать такое же благоговение, какое вызывал и он сам. Отсюда бесконечные сомнения авторов и полные нескрываемой тревоги искания выразительности, экспрессии, адекватной словесной передачи сущности изображаемого.

Связь реформы письменности — стремления к точности и буквализму переводов с греческого, стремления разграничить значение слов, придать каждому новому значению свою особую орфографическую форму — и нового, характерного для XIV—XV вв. стиля «плетения словес» несомненна. Задача будущих исследователей самым тщательным образом изучить и эту связь, и лежащие в ее основе общие представления о слове, о языке, о письменности, определить те философские воззрения, которые могут быть обнаружены в основе реформы письменности патриарха Евфимия пока еще в самой общей форме.

Что же представлял собой тот своеобразный новый стиль в литературе, который появляется в России с конца XIV в.? Обратимся прежде всего к его русской разновидности, так как именно русская разновидность этого стиля, как мы увидим в дальнейшем, оказалась наиболее последовательной в проведении новых художественных принципов, зародившихся у южных славян и в Византии в XIV в.

Имеющиеся в научной литературе характеристики стиля, пришедшего в Россию в конце XIV—XV вв. вместе со вторым южнославянским влиянием, не отличаются определенностью. Наиболее популярные из них говорят об «искусственных литературных приемах»,[58] об «искусственности, напыщенности и витиеватости» этого стиля,[59] о том, что «речь становится до невозможности вычурна, расплывчата, полна словесных ухищрений»,[60] характеризуют его как «торжественно-риторический стиль»,[61] как стиль «риторически-многословных и витиеватых панегири-

---

[58] Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871, с. 79.

[59] Петухов Е. Русская литература : Древний период. Пг., 1916, с. 114.

[60] Сперанский М. Н. История древней русской литературы : Московский период. М., 1921, с. 101.

[61] История русской литературы / Под ред. В. А. Десницкого. М., 1941, т. 1, ч. 1, с. 129.

ков»[62] и т. д. Все это в той или иной мере правильно, однако пышность, искусственность, вычурность, витиеватость, торжественность могут быть различной стилистической природы, преследовать различные цели, соответствовать разным художественным методам.

Наиболее оригинальная характеристика стиля времени второго южнославянского влияния дается в десятитомной «Истории русской литературы»,[63] но и она слишком кратка, чтобы быть сколько-нибудь исчерпывающей.

Существенно важны исследования стиля отдельных южнославянских писателей XIV—XV вв. Среди этих исследований наибольший интерес представляет весьма богатая собранным материалом книга Цветаны Вранской «Стилни похвати на патриарх Евтимий» (Сófия, 1942). Однако стилистический анализ, сводящийся к изолированному от содержания памятника описанию отдельных выразительных средств, обычных для любого литературного произведения (повторения, сравнения, антитезы, эпитеты, метафоры и т. д.), в их опять-таки обычных и наиболее общих художественных функциях (усиление изобразительности, картинности, эмоциональности и пр.), не в состоянии выделить индивидуальных особенностей стиля. Не случайно, что и Ц. Вранска постоянно подчеркивает связь стиля Евфимия Тырновского со стилем предшествующих ему болгарских писателей.

Некоторые, впрочем очень робкие, попытки объяснить новый стиль историческими условиями также не могут считаться удовлетворительными. В ряде общих работ по древнерусской литературе последнего времени отмечалось, что пышность югославянского стиля объясняется чувством торжества и приподнятости, якобы охватившим южнославянских писателей в связи с возвышением Болгарии и Сербии в XIV в., а русских — в связи с успехами Москвы.[64] Однако XIV и XV века знали столько же возвышений и расцветов славянских государств, сколько и падений, столько же национальных торжеств, сколько и национальных трагедий, главенство же Москвы недостаточно ясно определилось еще для современников в конце XIV—начале XV в., да и самое распространение этого стиля происходило не только в Москве, но и в соперничавших с ней центрах — особенно в Твери и Новгороде. Чувство же, каким бы сильным оно ни было, само по себе, без связи с мировоззрением, не может еще определить собою всех особенностей стиля, тем более, что и самая торжественность стиля времени второго южнославянского влияния весьма сомнительна. Как мы увидим ниже, этот стиль слишком динамичен, слишком

---

[62] Гудзий Н. К. История древней русской литературы. М., 1945, с. 225 (в последующих изданиях учебника Н. К. Гудзия характеристика второго южнославянского влияния отсутствует).

[63] История русской литературы: В 10-ти т. М.; Л., 1945, т. 2, ч. 1, с. 173—174.

[64] История русской литературы / Под ред. В. А. Десницкого, т. 1, ч. 1, с. 127.

насыщен лирическими авторскими отступлениями, выражениями авторской неудовлетворенности, чтобы быть торжественным и предназначаться для прославления государства.

Ясно, что стиль, столь характерный в России для эпохи второго южнославянского влияния, требует как своей более точной характеристики, так и своего более точного объяснения. Как увидим ниже, определение сущности стиля второго южнославянского влияния в России поможет объяснить и самые явления этого влияния.

Литература средневековья и, в частности, русского средневековья в жанрово-стилистическом отношении имеет несколько сфер, отчасти взаимопроникающих друг друга, оказывающих друг на друга заметное влияние, но тем не менее постоянно стремящихся к взаимообособлению. В литературе русского средневековья это литература высокого, церковнославянского стиля (жития святых, церковно-панегирическая литература, литература «слов» и поучений и т. д.), литература среднего стиля (жанры, близкие деловой письменности или обладающие, наряду с литературными, и чисто деловыми функциями: летописи, исторические повести, описания путешествий и паломничеств, составляющиеся в основном на языке, близком к языку деловой письменности) и литература низкого стиля (пока известная в сравнительно поздних сатирических произведениях, авторы которых пользуются по преимуществу разговорным языком или пародируют язык других жанров).[65] Впоследствии, в XVIII в., это жанрово-стилистическое деление литературы приобретает несколько особые черты, отраженные в учении Ломоносова о трех стилях.

Прежде чем обратиться к анализу стиля, характерного для времени второго южнославянского влияния, отметим, что стиль второго южнославянского влияния отразился только в «высокой» литературе средневековья, в литературе церковной по преимуществу. Вместе с тем следует обратить внимание на одну чрезвычайно важную особенность, пронизывающую все формы высокого, церковного стиля средневековья, которую своеобразно развивал новый стиль: основное, к чему стремятся авторы произведений высокого стиля, — это найти общее, абсолютное и вечное в частном, конкретном и временном, невещественное в вещественном, христианские истины во всех явлениях жизни. Стилистический принцип, следовательно, тот же, что и нравственный: «. . .въ веществънѣ телеси носити невещественое» (ЖГрСин., 5). Принцип этот диаметрально противоположен тому, который выдвигается искусством нового времени, — той «жажде конкретности», которую Карлейль считал вечной основой искусства и которая на самом деле относится по преимуществу к искусству XIX—XX вв. В средние века мы, напротив, можем отметить жажду отвлеченности, стремление к абстрагированию мира, к разрушению его

[65] Обоснование этого деления предполагаю изложить в другой своей работе.

конкретности и материальности, к поискам символических богословских соотношений и — только в формах письменности, не осознававшихся как высокие, — спокойную конкретность и историчность повествования.

Язык высокой, церковной литературы средневековья обособлен от бытовой речи, и это далеко не случайно. Это — основное условие стиля «высокой» литературы. «Иной» язык литературы должен был быть языком приподнятым и в известной мере абстрактным. Привычные ассоциации высокого литературного языка средневековья характерны тем, что они отделены от обыденной речи, возвышены над нею и оторваны от конкретного быта и бытовой речи. Чем больше разрыв между литературной речью и речью бытовой, тем больше литература удовлетворяет задачам абстрагирования мира. Отсюда проходящее через все средневековье стремление сделать язык высокой литературы языком «священным», неприкосновенным быту, не всем доступным, ученым, с усложненной орфографией. Из высоких литературных произведений по возможности изгоняются бытовая, политическая, военная, экономическая терминология, названия должностей, конкретных явлений природы данной страны, некоторые исторические припоминания и т. д. Если приходится говорить о конкретных политических явлениях, то писатель предпочитает называть их, не прибегая к политической терминологии своего времени, а в общей форме, предпочитает выражаться о них описательно, давать названия должностей в их греческом наименовании, прибегает к перифразам и т. д.: вм. «посадник» — «вельможа некий», «старейшина», «властелин граду тому» (ЖБиГ., 17); вм. «князь» — «властитель той земли», «стратиг» и т. д. Изгоняются собственные имена, если действующее лицо эпизодично: «человек един», «мужь некто» (ЖБиГ., 50), «нѣкая жена» (ЖБиГ., 58), «нѣкая дѣва» (ЖАврСм., 3), «нѣкде въ градѣ» (ЖБиГ., 59). Эти прибавления «некий», «некая», «един» служат изъятию явления из окружающей бытовой обстановки, из конкретного исторического окружения. Это вознесение действующих лиц над конкретной исторической обстановкой может совершаться и другими путями. Вот, например, характерное описание родителей Авраамия Смоленского: «Бѣ же сей блаженый Авраамей отъ вѣрну родителю рождься, бѣста и та въ законѣ Господни добрѣ живуща благочестно. Бѣ же отець его всѣми чтiмъ и любимъ, отъ князя честь приемля, бѣ бо воистинну отъ всѣхъ опознанъ, яко и правдою украшенъ и многымъ въ бѣдахъ помагая, милостивъ и тихъ къ всѣмъ, къ молитвѣ и ко церквамъ прилежа. Такоже и мати его всѣмъ благочестiемъ украшена» (ЖАврСм., 2). В этом описании не названы имена родителей святого, ни должность, которую занимал его отец, а добродетели, их «украшавшие», перечислены в самой общей форме.

Вводя по необходимости просторечные слова, писатель вынужден тут же рядом приводить их греческий эквивалент или оговаривать их просторечность: «единъ звѣрь, рекомый аркуда, еже

сказается медвѣдь» (ЖСерг., 55), «и дровы на всѣх, яко жеречеся, сѣчаше» (ЖСерг., 64). Феодосий Тырновский имел «недуг люто зѣло того удручавающь, по словенскыхь слогнехь глаголемый кашлица» (ЖФеод., 35). Боязнь «худых» и «грубых» слов (ЖСтПерм., 102), слов «зазорных», «неухищренных», «неустроенных», «неудобренных» (ЖСтПерм., 111) обусловлена стремлением поднять события жизни святого над обыденностью, рассматривать их под знаком вечности. Тому же абстрагированию служит обычная манера говорить об известном как о чем-то неизвестном, будет ли это обычай, имя исторического лица, название города и т. д.: «якоже обычай есть христіаномъ имя дѣтищу нарещи» (ЖАврСм., 3); «славнѣйшій град Бдинь, иже къ Істру лежащій» (ЖРом., 3); «бысть бо, рече, князь въ тыи годы, володый всею землею Рускою, именемь Владимеръ. Бѣ же мужь правдивъ и милостивъ к нищимъ и к сиротамъ и ко вдовичамъ, елинъ же вѣрою. Сему богъ спону нѣкаку створи быти ему христьяну, яко же древле Плакидѣ. . .» (речь идет о Владимире Святом; ЖБиГ., 4); князь «именемь Ярославъ» (речь идет о Ярославе Мудром; ЖБиГ., 14), и т. д.

Абстрагирование поддерживается постоянными аналогиями из Священного писания, которыми сопровождается изложение событий жизни святого. Эти аналогии заставляют рассматривать всю жизнь святого под знаком вечности, видеть во всем только самое общее, искать во всем наставительный смысл.

Для «высокого» стиля XIV—XV вв. характерны трафаретные сочетания, привычный «этикет» выражений, повторяемость образов, сравнений, эпитетов, метафор и т. д. Если «в основе поэтической лексики» нового времени «лежит подновление словесных ассоциаций»,[66] то в основе поэтической лексики средневековья лежат, напротив, именно привычные словесные ассоциации, но привычные не сами по себе, а в известной «высокой» ситуации — богослужебной или учено-богословской.

Условно-литературная привычность, повторяемость делают отвлеченными художественные образы и художественные понятия, тогда как необычность художественного образа, словосочетания обостряет читательское внимание к ним и конкретизирует их, делает их наглядными, материально-конкретными, подчеркивает их единичность. Формальная школа в литературоведении, как известно, обращала внимание только на второй прием в литературе, видя в нем вечную сущность искусства, обостряющего и обновляющего вйдение мира. Между тем этот прием в известной мере может быть отмечен лишь в конкретизирующем искусстве нового времени. Искусство же средневековья в своих церковных жанрах стремится разрушить конкретность явлений, характеризуется стремлением к отвлеченному изложению, к художественной абстракции.

---

[66] Томашевский Б. В. Теория литературы: Поэтика. Л., 1927, с. 14.

Литературно-шаблонные выражения и образы служат одним из существенных элементов «высокого» литературного стиля. Литературный язык средневековья полон условно приподнятых трафаретов, тесно связанных с теми, которые привычны читателю по языку богослужебному, языку Священного писания и сочинений отцов церкви. Эти условно приподнятые трафареты, закрепленные неподвижным, не подлежащим изменению «основным фондом» чисто церковной литературы, переходят из произведения в произведение. Заимствования и компиляции, стремление избегать индивидуальных особенностей стиля составляют характерную черту литературы церковных жанров. В «Слове похвальном Петру и Павлу» иерусалимского пресвитера Исихия следующим образом обосновывается необходимость пользоваться другими произведениями для создания своего собственного: «Добро убо цвѣтовъ пролѣтныхъ часомъ к себѣ приносящим объуховати, но аще ко крину преплетутся, в лѣпоту благоуханнѣши бывають, миро бо с миром смѣшаася сугубо еще отсюду благоуханиа наслажения бываеть» (ПСерб., 277). Работа писателя сравнивается, следовательно, с составлением букета цветов — цветов из других произведений. Чем авторитетнее круг произведений, из которых собираются писателем «цветы» его стиля, тем сильнее они настраивают читателя на благочестивый лад своею привычной приподнятостью, тем легче вызывают они благоговение и сознание высоты описываемого. Отсюда обилие цитат из Священного писания, особенно из псалтыри, стилистическая роль которых в «высокой» литературе средневековья огромна и своеобразна.

Традиционность сравнений, аналогий, эпитетов, метафор и т. д. имеет и еще одно основание: традиционность их зависит от традиционности тех богословских представлений, которые лежат в их основе. Художественные тропы стремятся не к облегчению конкретно-ощутимого восприятия читателем описываемого, а к указанию на внутреннюю, религиозную сущность явлений, сущность, уже раскрытую богословием, а в литературе лишь вновь и вновь напоминаемую.[67]

До сих пор я в самой общей форме говорил о явлении, более или менее свойственном всей церковной литературе русского средневековья. Однако стиль русской церковной литературы времени второго южнославянского влияния вносит в эту абстрагирующую тенденцию чрезвычайно сильную и характерную особенность: до экзальтации повышенную эмоциональность, экспрессию, сочетающуюся с абстрагированием, отвлеченность чувств, приложенную к отвлеченности богословской мысли.

Это сочетание абстрагирующей тенденции с повышенной эмоциональностью удобно показать на особенностях употребления различных поэтических тропов и, в первую очередь, синонимов.

---

[67] Подробнее см.: Лихачев Д. Средневековый символизм в стилистических системах древней Руси и пути его преодоления. — В кн.: Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию. М., 1956, с. 165—171.

Синонимика в литературе нового времени необходима главным образом потому, что она позволяет выделить оттенки значения.[68] Авторы нового времени пользуются синонимами, чтобы избежать повторения одних и тех же слов, чтобы подчеркнуть ту или иную сторону значения,[69] выделить в синонимах семантические различия. В русском фольклоре художественная функция синонимов очень разнообразна. Наиболее распространенный тип синонимических сочетаний — сращения типа «правда-истина», «род-племя», «честь-хвала» и т. д. В этих парных сращениях особенности значения каждого слова сохраняются, и само сращение приобретает в своем значении особый, дополнительный, новый оттенок. Перед нами по существу новое слово, с новыми особенностями значения, новым кругом поэтических ассоциаций и как бы усиленное в своем значении.

Совсем другое мы находим в синонимических сочетаниях высокого стиля XIV—XV вв. Здесь синонимы обычно ставятся рядом, не слиты и не разделены. Автор как бы колеблется выбрать одно, окончательное слово для определения того или иного явления и ставит рядом два или несколько синонимов, равноценных друг другу. В результате внимание читателя привлекают не оттенки и различия в значениях, а то самое общее, что есть между ними. Простое соседство синонимов устанавливает взаимоограничение между синонимами, стирает в них взаимоисключающие оттенки значения, позволяет выделить в них основное: «огню горящу и пламени распаляющуся» (ЖСтПерм., 52), «на благый онь путь и на нравоумышленное шествие» (ЖСтПерм., 14), «и желания сердца моего дал ми, и хотѣниа моего не лишил мя» (ЖСерг., 40).[70]

Тому же служит и обычное в этом стиле нанизывание синонимических сравнений: «младенца в утробѣ носящи, яко нѣкое съкровище многоцѣнное, и яко драгый камень, и яко чюдный бисеръ, яко съсуд избранъ» (ЖСерг., 12). Сочетание сходных сравнений лишает их конкретности, не позволяет вниманию читателя задержаться на их ощутимой стороне, стирает все видовые отличия, сохраняя лишь самое общее и абстрактное, с другой стороны (и это важно), оставляя у читателя ощущение значительности того, о чем идет речь, ставя стилистический акцент на том, что синонимически повторяется. Нагромождение синонимов, синонимических сочетаний, сходных сравнений, столь характерных для южнославянского стиля, не только абстрагирует изложение — оно до предела усиливает его экспрессивность и эмфатичность.

---

[68] Евгеньева А. П. Язык русской устной поэзии: (Синонимия). — ТОДРЛ, М.; Л., 1949, т. 7, с. 172.

[69] Там же.

[70] В русском фольклоре, где имеются довольно разнообразные формы синонимии, представлены, кстати (хотя и не часто), и такие синонимические сочетания, которые по своей стилистической функции совпадают с синонимическими сочетаниями в русской книжности XIV—XV вв.: «закручинилися и запечалилися» (Сборник Кирши Данилова. СПб., 1901, с. 21), «хитрая и мудрая» (там же, с. 151) и др.

Той же цели абстрагирования изложения, с одной стороны, и усиления его экспрессии — с другой, служат особенно распространенные в «плетении словес» близкие синонимическим сочетаниям парные соединения сходных по значению слов. Авторы избегают употреблять одно понятие, один образ — они стремятся создавать либо целую цепь близких понятий и образов, либо парные понятия и образы, причем одно из понятий может быть видовым и конкретным, а другое (или другие) — родовым и более абстрактным, либо все понятия могут являться видовыми по отношению к объединяющему их родовому, которое только подразумевается, но в тексте отсутствует: «птица обрѣте себѣ храмину и грълица гнѣздо себѣ» (ЖСерг., 46), «молчати и на устѣх своих пръст положити» (ЖСерг., 6), «слышавши и видѣвши» (ЖСерг., 12), «безмолствовал и единствовал» (ЖСерг., 48 и 57) и т. д.

С этим явлением сочетается потеря конкретного, вещественного значения слов; слова абстрагируются в своем значении, вступают в немыслимые, с нашей точки зрения, сочетания, например: волхв в Житии Стефана Пермского оказывается внуком египетской тьмы и правнуком разрушенного столпотворения (ЖСтПерм., 44). Такие необычные абстрактные образы создаются под влиянием того, что многие из понятий употребляются авторами в «духовном смысле». Автор Жития Стефана Пермского, Епифаний, говорит об этом прямо: он называет Пермскую землю «гладом одержимой» и тут же дает пояснение: «гладъ же глаголю не гладъ хлѣбный, но гладъ, еже не слышати слова божиа» (ЖСтПерм., 18).

Авторы стремятся избежать законченных определений и характеристик. Они подыскивают слова и образы, не удовлетворяясь найденным. Они без конца подчеркивают те или иные понятия и явления, привлекают к ним внимание, создают впечатление невыразимой словами глубины и таинственности явления, примата духовного начала над материальным. Зыбкость всего материального и телесного при повторяемости и извечности всех духовных явлений — таков мировоззренческий принцип, становящийся одновременно и принципом стилистическим. Этот принцип приводит к тому, что авторы широко прибегают и к таким приемам абстрагирования и усиления эмфатичности, которые, с точки зрения нового времени, могли бы скорее считаться недостатком, чем достоинством стиля: к нагромождениям однокоренных слов, тавтологическим сочетаниям и т. д. Таковы соединения однокоренных слов: «начинающу ми начинание» (ЖСерг., 5), «устрашистеся страхом» (ЖСерг., 28), «запрещением запретить» (ЖСтПерм., 56—57), «учить учением» (ЖСтПерм., 57) и т. д. Некоторые из подобных однокоренных сочетаний свойственны русскому языку вообще, однако в ряде случаев нарочитость однокоренных сочетаний видна вполне ясно: «и обрѣте и приобрѣте въ правду праваго правителя, могущаго управити мѣсто то» (ЖСерг., 66), «насытите сытых до сытости, накормите кръмящих вас, напитайте питающихъ вы» (ЖСерг., 88).

Говоря о сочетаниях однокоренных слов, мы должны сказать и еще об одном явлении, связанном с этим, — о своеобразной игре слов, их «извитии». Это игра слов особого характера, она должна придать изложению значительность, ученость и «мудрость», заставить читателя искать извечный, тайный и глубокий смысл за отдельными изречениями, сообщать им мистическую значительность. Перед нами как бы священнописание, текст для молитвенного чтения, словесно выраженная икона, изукрашенная стилистическими драгоценностями. «Печаль приат мя и жалость поят мя» (ЖСерг., 6), — говорит о себе автор Жития Сергия Радонежского. Одна из добродетелей того же святого — «простота без пестроты» (ЖСерг., 35). Ту же игру созвучиями, придающими речи особую афористичность, представляют и следующие примеры: «чадо Тимофѣе, внимай чтению и учению и утѣшению» (ЖСтПерм., 7); «един инок, един взъединенный и уединенный и уединяяся, един уединенный, един единого бога на помощь призывая, един единому богу моляся и глаголя» (ЖСтПерм., 72).

Все эти приемы не столько способствуют ясности смысла, сколько затемняют его, но одновременно придают стилю повышенную эмоциональность. Слово воздействует на читателя не столько своей логической стороной, сколько общим напряжением таинственной многозначительности, завораживающими созвучиями и ритмическими повторениями. Жития этого времени пересыпаны восклицаниями, экзальтированными монологами святых, внутренними монологами,[71] абстрагирующими и эмфатическими нагромождениями синонимов, эпитетов, сравнений, цитат из Священного писания и т. д.

Авторы житий постоянно говорят о своем бессилии выразить словом всю святость святого (ЖСерг., 6; ЖСтПерм., 102), пишут о своем невежестве,[72] неумении, неучености, молятся о даровании им дара слова (ЖСерг., 8), сравнивают себя с неговорящим младенцем, со слепым стрелком (ЖСтПерм., 111); то признают свою речь «неудобренной», «неустроенной» и «неухыщренной» (там же), то приравнивают свою работу к хитрой работе паука: «паучноточная простирати прядения, акы нити мѣзгиревыхъ тенет пнутати» (там же), при этом сами слова оказываются дороже «тысящь злата и сребра», дороже злата и «тимпазия» (топаза), дороже «камени самфира» и слаще меду (ЖСтПерм., 17).

---

[71] В книге М. Фридмана (Friedman M. Stream of consciousness: a study in literary method. New Haven, 1955) появление внутреннего монолога в русской литературе связывается с именами Толстого и Достоевского; между тем внутренний монолог чрезвычайно развит в древней русской литературе: он наличествует уже в Житии Бориса и Глеба, сильно развивается в эпоху второго южнославянского влияния и представлен великолепными образцами в творчестве протопопа Аввакума.

[72] Признание своего невежества автором — общее место многих литературных произведений и предшествующего времени, однако в XIV—XV вв. это признание из выражения монашеской скромности становится декларацией литературного характера: оно знаменует собой колебания в поисках слова, стремление адекватно выразить святость описываемого лица, благоговение к нему и т. д.

Тем же поискам слова отвечают и неологизмы, стремление к которым особенно усилилось в XIV и XV вв. Эти неологизмы необходимы писателям, с одной стороны, потому, что такие лексические образования не обладают бытовыми ассоциациями, подчеркивают значительность, «духовность» и «невыразимость» явления, а с другой стороны, будучи по большей части составлены по типу греческих, придают речи «ученый» характер: «зломудрец» и «злоначинатель» (ЖСерг., 54), «нищекръміе» (ЖСерг., 37), «благолиственно» (ЖСерг., 21), «многоплачие» (ЖСтПерм., 96), «бѣсомолци» (ЖСтПерм., 63), «горопленный» (ЖСтПерм., 87), «волкохищный» (ЖСтПерм., 87), и т. д. Неологизмы XIV—XV вв. вовсе не свидетельствуют о стремлении писателей этого времени к новизне выражения, они и воспринимаются не как нечто новое в языке, а как выражения ученые, усложненные и «возвышенные».

Как ни относиться к художественным целям, которые ставили себе авторы житийно-панегирических произведений конца XIV—XV вв., необходимо все же признать, что они видели в своей писательской работе подлинное и сложное искусство, стремились извлечь из слова как можно больше внешних эффектов, виртуозно играя словами, создавая разнообразные симметричные сочетания, вычурное «плетение словес», словесную «паутину» (ЖСт Перм., 111).

Особо следует остановиться на стремлении писателей XIV—XV вв. к словесной полноте. В Житии Сергия Радонежского находим замечательное высказывание автора: «Сытость бо и длъгота слова ратник есть слуху, яко и преумноженная пища телесем» (ЖСерг., 22). С точки зрения автора Жития Сергия, подобает «длъготою слова послушателем слухи лѣнивы творити» (ЖСерг., 21—22). Иными словами, цель писателя состоит в том, чтобы пространным словом, долгим описанием раскрыть уши слушателям, заставить их понять то, к чему они якобы неохотно, лениво прислушиваются. Это означает, что задача писателя — в экспрессии изображения, в настойчивом доведении до сознания читателя сведений о святом, создании у читателя благоговейного отношения к святому. Отсюда бесконечные повторения, крайнее замедление рассказа, заставляющее читателя обратить внимание на то именно, на что хотел его обратить автор, а с другой стороны, усиливающее эмфатичность повествования, так как замедление рассказа почти всегда повышает его эмоциональность. Поиски «словесной сытости» заставляют авторов давать длинные перечисления («слезы тъплыя, плакания душевъная, въздыханиа сердечная, бдѣниа повсенощная, пѣниа трезвенная, молитвы непрестанныя, стояниа несѣдалная, чтениа̇ прилѣжная, колѣнопоклонениа частаа» — ЖСерг., 49), прибегать к перифразам («не отбѣжа абие ту от места того, не оттече инамо камо, и не отиде никамо же оттуда» — ЖСтПерм., 27), сочетать отрицание с утверждением противоположного («не побѣдихо. . ., но паче весма побѣжени быхомъ» — ЖСтПерм., 41), разлагать родовое понятие на все входящие в него видовые (вм. «на богослужение» говорится «на заутренюю, и на литургию, и на вечерню» — ЖСерг., 31, ср. 41), приводить все

виды того или иного понятия («болваны истуканныя, изваянныя, издолбенныя, вырѣзомъ вырезаемыа» — ЖСтПерм., 35), перечислять признаки («кумиры глухии, болваны безгласныи, истуканны безсловесныи» — ЖСтПерм., 45) и т. д.

Последние примеры ясно показывают, кстати, что стремление к абстрагированию явлений касалось лишь тех из них, которые следовало абстрагировать согласно богословским представлениям того времени; в тех же случаях, когда надо было заставить читателя отчетливо ощутить конкретность и материальность явления, авторы XIV—XV вв. умели это делать в высшей степени экспрессивно. Стремясь, например, подчеркнуть, что кумиры мертвы, материальны, что они «древо суще бездушно», Епифаний пишет: «. . .уши имуть и не слышать, очи имуть и не узрят, ноздри имуть и не обоняють, руцѣ имуть и не осязають, нозѣ имуть и не поидуть, и не ходят, и не ступают ни с мѣста, и не возгласят гортанми своими, и не нюхают ноздрями своими, ни жертв приносимых принимають, ни пиют, ни ядут» (ЖСтПерм., 28—29). Такая конкретизация и раскрытие «материальности» явления достигаются с помощью той же «словесной сытости»: повторений, синонимических сочетаний, перечислений, разложения родового понятия на ряд видовых и т. д. Отличие от абстрагирования только в том, что для абстрагирования «духовное» характеризуется материальным, а материальное «духовным»; в том же случае, когда необходимо создать впечатление полной конкретности и материальности явления, материальное характеризуется сугубо материальным же. Впрочем, это последнее встречается крайне редко. Приведенный пример с пермскими идолами — едва ли не исключение. Отсюда ясно, что абстрагирующие приемы стиля конца XIV—XV вв. лежат в тесной связи с теми задачами, которые ставили себе писатели того времени, находятся в строгой зависимости от их мировоззрения и тотчас же отпадают, как только исчезает и сама необходимость в них.

Ту же строгую зависимость стиля от мировоззрения писателя видим мы и в употреблении эпитетов. К эпитетам этого стиля меньше всего может быть приложено определение их как «украшающих». Обычно они раскрывают такие качества, которые необходимы писателю как христианину и ученому богослову. Эпитеты этого южнославянского стиля не стремятся к изобразительности и наглядности. В них вскрываются не конкретные признаки явления, а его «вечная» сущность; одновременно с помощью эпитетов писатель добивается сильной эмоциональной окраски описываемых явлений. Эпитеты подчеркивают по преимуществу идеальный признак предмета, признак, составляющий его «вечный» и духовный смысл [73]: «радостотворный плач», «богопустный гнев», «боговещательные молитвы», «побѣдительная икона», «нестарѣемая благо-

[73] В стиле второго южнославянского влияния встречаются те же самые типы эпитетов, которые отмечены А. П. Евгеньевой и для народной поэзии. Основой этих типов служат: «1) подновление нарицательного значения, т. е. смысловая тавтология, 2) подчеркивание выдающегося качества предмета, 3) указание на идеальный, желаемый признак или на самую высокую

дать», «тлѣнная слава», «любомльчное иноческое житие» и т. д. Иногда эпитет вскрывает не церковную сущность предмета, а его основное качество («чадолюбивый отец», «скороріщущие слуги»), или представляет вместе с определяемым словом тавтологическое сочетание («многосвѣтлый свѣтильник», «воня благовонна» и пр.).

Стиль второго южнославянского влияния определяется художественными задачами, стоявшими перед писателями XIV—XV вв., главным образом перед агиографами. Художественное вúдение писателей этого времени значительно отличается от предшествующего, особенно в области агиографии, ставшей ведущим жанром эпохи. Это новое художественное вúдение — прежде всего новое отношение к человеку, сознание ценности его внутренней жизни, его индивидуальных переживаний — и заставляет писателей XIV—XV вв. обращать особое внимание на все стороны эмоционального выражения, на экспрессивность образов и т. д. Но при этом стиль остается по-прежнему абстрагирующим. Познание мира раздвигается, художественные задачи расширяются, статичность описаний предшествующих эпох сменяется крайним динамизмом, но искусство не выходит еще из пределов религиозности и отнюдь не стремится к конкретизации. Поэтому самое характерное и самое значительное явление в изображении людей в житийной литературе конца XIV—XV вв. — это своеобразный «абстрактный психологизм».[74]

Литература этого времени проникнута психологизмом: она описывает психологические состояния, главным образом чувства героя, стремится возбудить чувства читателя и говорит в первом лице о чувствах самого автора. Чувства героя, читателя и автора возбуждены до предела, экстатические состояния сменяют друг друга почти непрерывно, чувства ничем не сдерживаются и проявляются с необыкновенной динамичностью, психологические мотивировки поступков и событий проведены с полной прямолинейностью. Но этот психологизм абстрактен: отдельные психологические состояния не слагаются еще в цельную психологию действующего лица, характер человека еще не открыт в литературе. Поэтому самые психологические состояния человека не отличаются разнообразием: молитвенный экстаз, благоговение, духовная радость или, напротив, страсти, злоба, зависть, гнев и т. п. Чувства и страсти, развитые и преувеличенные до предела, живут как бы самостоятельной жизнью, способны к саморазвитию и к внезапным сменам. Они доведены до той степени экспрессии, при кото-

---

степень признака» (Евгеньева А. П. О некоторых поэтических особенностях русского устного эпоса XVII—XIX вв.: (постоянный эпитет). — ТОДРЛ, М.; Л., 1948, т. 6, с. 165—166). Но те же типы в стиле южнославянского влияния служат другому мировоззрению, чем в народной поэзии, и поэтому эпитет по существу своему является совсем иным.

[74] Подробнее о художественных методах изображения человека в житиях XIV—XV вв. я говорю в другой своей работе (Лихачев Д. С. Изображение людей в житийной литературе конца XIV—XV века. — ТОДРЛ, М.; Л., 1956, т. 12, с. 105—115). В данном докладе ограничиваюсь лишь самыми необходимыми сведениями.

рой исчезают все индивидуальные оттенки, все более или менее тонкие различия между психологическими состояниями, которые отчетливо видны, когда они рассматриваются в отдельном человеческом характере.

Описывая эти психологические состояния, писатели XIV—XV вв. озабочены не столько точностью описаний этих состояний самих по себе, сколько передачей своих впечатлений от них. Писатели стремятся подчеркнуть размеры своих чувств, их мистическую значительность и невыразимость. Отсюда постоянные рассуждения авторов о бессилии человеческого языка, об их личном бессилии описать всю святость святого; отсюда многочисленные указания на внешние проявления чувств: плач, крик, вопли, зубовный скрежет или, напротив, экстатическое безмолвие, длительное молитвенное бдение и т. д. Страсти до того сильны, что само тело человека то чернеет, то покрывается струпьями, люди то проливают «реки слез», то замирают в длительном безмолвии, пребывают в молитвенном восхищении. В этих условиях самые чудеса становятся не только фактами религиозного мировоззрения, но существенным и необходимейшим элементом литературного стиля. Ими оправданы и ими поддержаны внезапные изменения в поведении людей, резкие перемены в их душевном состоянии, общая экстатичность, эмфатичность стиля.

Итак, обычные характеристики стиля второго южнославянского влияния, отмечающие в нем одно только стремление к декоративности, пышности, украшательству и т. д., слишком узки и явно недостаточны. Предстоит очень большая работа по анализу этого стиля, но уже сейчас ясно, что стиль этот связан с особым художественным методом литературы.

Если в основе стиля высокой литературы времени второго южнославянского влияния лежит определенный художественный метод, то возникает возможность сравнить этот художественный метод с художественными методами других искусств, подвергшихся аналогичному влиянию в XIV и XV вв.

* * *

Вернемся к живописи XIV—начала XV в. и обратимся к рассмотрению ее стиля с точки зрения тех общих основ, которые объединяют стиль живописи этого времени со стилем литературы.

Выше уже было отмечено, что южнославянское влияние, в частности сербское, бесспорно сказалось не только в литературе, но и в живописи (фрески церкви Спаса на Ковалеве, Благовещения на Городище). Это южнославянское влияние в живописи пришло в Россию в недрах того восточно-европейского стиля живописи XIV в., который принято называть (не совсем удачно) «Палеологовским ренессансом».

Не вдаваясь в частные различия, которые существовали между отдельными художниками XIV в. и отдельными школами иконописи, нетрудно выделить то общее, что объединяет их всех между

собой и связывает их с новым южнославянским стилем в литературе.

Связь живописного стиля XIV в. с художественным методом житийно-панегирической литературы конца XIV—XV вв. обнаруживается в целом ряде общих явлений. «Абстрактный психологизм», свойственный южнославянскому стилю в литературе, сказывается и в живописи этого времени. Новгородские и псковские фрески XIV в. (Снетогорские, Мелетовские, Сковородские, Спаса на Ильине, Волотовские, Федора Стратилата, Спаса на Ковалеве и др.) отличаются преувеличенной эмоциональностью, экспрессивностью, попытками передать стремительное движение, абстрагировать образы людей и самый архитектурный стаффаж, сделать и то и другое как бы невесомым, движущимся в абстрактном пространстве, изобразить фигуры людей как бы летящими по воздуху в экстатическом порыве с сильно развевающимися одеждами, внести общий ритм во всю композицию росписи и т. д.

Характеризуя фрески Волотова, Б. В. Михайловский пишет: «Фигуры на волотовских фресках кажутся реющими в дымке, тающими, призрачными. . . У новгородских фрескистов и Феофана изображаемый материальный предмет выглядит „феноменом", иллюзией, созданной творящим духом и готовой вот-вот рассеяться. Эта живопись стоит ближе, чем рублевская, к средневековому спиритуализму. . .».[75]

Многие из фигур волотовских фресок полны «доходящим до исступления состоянием возбужденности и взволнованности»,[76] преувеличенными чувствами, стремительным движением.

Среди сюжетов, типичных для живописи XIV—XV вв., следует в первую очередь отметить сюжеты протоевангельского цикла: композиции, иллюстрирующие легенды и апокрифы из жизни богоматери. Н. Г. Порфиридов пишет об этом протоевангельском цикле: «Композиции протоевангельского цикла встречаются и в стенописях XI—XII вв.: Дафни, Киевской Софии, Старой Ладоги, Нередицы. Но тогда они являлись более или менее случайными и не играли той роли, как в стенописях XIV в. Здесь употребление их приобретает такое распространение и популярность, наполнено таким значением, что становится характерною чертою. Западные памятники: Капелла del Arena, расписанная Джотто; византийские, как Кахрие-Джами — б. монастырь Хоры в Константинополе; греческие росписи Мистры—Митрополия и Периблепта; македонские и сербские росписи — церковь Петра на острове Град, Кральева церковь в Студеницкой лавре; русские памятники — все они неизменно содержат в большем или меньшем обилии циклы богородичных композиций. В Волотове их 12,

---

[75] Михайловский Б. В., Пуришев Б. И. Очерки истории древнерусской монументальной живописи. . ., с. 24.

[76] Алпатов М. В. Фрески храма Успения на Волотовом поле. — В кн.: Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР. М.; Л., 1948, с. 135.

в Капелле del Arena — 14, в Кахрие-Джами — 19, в Периблепте Милле насчитал 21 композицию».[77]

Композиции протоевангельского цикла характерны своей человечностью, психологизмом, эмоциональностью.

Еще больше этой эмоциональности в композиции, известной под названием «Христос во гробе» («Pieta») и чрезвычайно распространенной в XIV в. как в Византии, южнославянских странах, так и в России (росписи Волотова, Ковалева, Благовещения на Городище, в ряде икон). Сюжет этот чрезвычайно эмоционален, чувства выражены в нем обычно с большой экспрессией. Эта экспрессия, драматизм, крайняя эмоциональность поражают зрителя во всех новгородских фресках XIV в., какие бы сюжеты они ни изображали: успение богоматери, положение во гроб, вознесение, сошествие в ад, вход в Иерусалим, рождество Христово, рождество богоматери и т. д.

Н. Г. Порфиридов [78] и В. Н. Лазарев [79] видят в этой эмоциональности, повышенной психологичности и экспрессивности выражения «опрощение» церковных сюжетов, их конкретизацию, очеловечение и общее приближение к реализму. В. Н. Лазарев определяет даже в волотовских фресках «то реалистическое направление, которое питалось живыми народными источниками и давало наименее церковное толкование религиозным темам».[80]

Несмотря на резко выраженный психологизм, умение передавать сильные душевные волнения, экстатические порывы, движение, жесты и составлять сложные многофигурные композиции, художники XIV в. лишь приближаются к более проникновенному пониманию действительности, к более сложному ее изображению, стремление же к отвлеченности отнюдь не уменьшается, а отчасти даже возрастает. Живопись XIV в. полна мистики, устремления к потустороннему, отрешенности от всего материального. Изображения по-прежнему отвлеченны, человеческие фигуры «дематериализованы» в еще большей степени, чем раньше. Если раньше, в росписях и мозаиках XII—XIII вв., фигуры святых изображались фронтальными рядами, неподвижными, как бы повисшими в абстрактном пространстве (синий или золотой фон), с прямо устремленными перед собой глазами, то теперь человеческие фигуры охвачены сильным движением, лишены прежней торжественности и «корпусности»; они изображаются во всевозможных ракурсах, их одежды развеваются, их жесты широки, резки, они охвачены овладевшими их чувствами, но эти изображения не менее, чем раньше, абстрактны, отрешены от всего материального.

Во всем этом русская живопись XIV в. близко сходится с русской литературой XIV в., хотя эта связь, само собой разумеется, может быть отмечена только в самой общей форме: там, где литература и живопись соприкасаются между собой в сфере художе-

[77] Порфиридов Н. Г. Древний Новгород, с. 277.
[78] Там же, с. 278 и след.
[79] Лазарев В. Н. Живопись и скульптура Новгорода, с. 159.
[80] Там же.

ственного ви́дения мира и идеологии. Но есть и отличия: новые веяния в русской живописи, вследствие интернациональности языка изобразительного искусства, сказываются очень рано — уже в начале и середине XIV в. (фрески Снетогорского монастыря 1313 г. и фрески Михайло-Сковородского монастыря середины XIV в.[81]), тогда как в литературе черты новой, южнославянской манеры появляются не ранее конца XIV в. Может быть, именно потому, что в живописи черты нового сказались раньше, чем в литературе, в первой они оказались и более зрелыми. В частности, в живописи может быть отмечен гораздо больший интерес к индивидуальному, чем в литературе. Вот что пишет о творце волотовских росписей Н. Г. Порфиридов: «Мастеру хочется индивидуально характеризовать каждое изображаемое лицо. Имеют свои, непохожие друг на друга облики пророки. Неожиданны в их острой характеристике цари Давид и Соломон, в особенности последний. Большое человеческое разнообразие придано святителям в алтаре. Изображения двух новгородских владык-ктиторов, Моисея и Алексея, отмечены чертами портретности. Мастер сумел индивидуализировать, предварительно очеловечив, даже ангелов».[82] Сходную индивидуализацию отдельных образов отмечает Н. Г. Порфиридов и для росписей Феофана Грека в церкви Спа́са на Ильине: «Щедро рассыпанное в Волотове мастерство индивидуальных характеристик в живописи Спаса достигает совершенно изумительного уровня. Пророки в барабане здания, святители в диаконике, в особенности святые в северо-западном приделе на хорах (Макарий, Акакий, столпники), являются образцами острых психологических характеристик, способных казаться почти невероятными для своего времени.

В этой любви к характерному, почерпнутому из жизненных наблюдений чувствуются эллинистические традиции. Отдельные типы и головы фресок Спаса (как и Волотова) по силе и выразительности не уступают созданиям великих мастеров Возрождения, микельанджеловской силе».[83]

Мы видели, что так называемый «Палеологовский ренессанс» в живописи и южнославянский стиль в литературе XIV в. во многом схожи, хотя многие общие черты сказались в живописи раньше и сильнее. Это вселяет в нас надежду, что те объяснения, которые давались в искусствоведении новым, особым чертам восточноевропейской живописи XIV в., смогут дать на́м ключ к пониманию и явлений письменности того же периода.

---

[81] В датировке фресок Михайло-Сковородского монастыря соглашаемся не с Ю. А. Олсуфьевым, относившим их к концу XIV в. (Олсуфьев Ю. А. Вновь раскрытые фрески в Новгороде. — Архитектурная газета, 1937, 18 октября), а с В. Н. Лазаревым, относящим их к концу 50-х гг. XIV в. (Лазарев В. Н. 1) Росписи Сковородского монастыря в Новгороде. — В кн.: Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР. М.; Л., 1948, с. 91 и след., особенно с. 100; 2) Живопись и скульптура Новгорода, с. 142).

[82] Порфиридов Н. Г. Древний Новгород, с. 280—281.

[83] Там же, с. 287.

Мне представляется, что правы те, кто видит определенную связь между мистическими течениями общественной мысли XIV в. на Балканах и новыми явлениями в области живописи. Связь живописи Феофана Грека с еретическими и мистическими движениями XIV в. была отмечена уже Б. В. Михайловским. «Творчество Феофана, — пишет Б. В. Михайловский, — было проникнуто тем мрачным дуализмом, теми представлениями о могуществе зла в мире, тем экстатическим порывом к освобождению от материального и к слиянию с духовным, которые несли в мир утонченной византийской культуры еретические секты переднеазиатского Востока (вроде богомилов, гезихастов и др.)».[84]

В более осторожной форме ту же связь отмечает и В. Н. Лазарев: «В век, когда еретические движения разлились широким потоком по территории Западной и Восточной Европы, остро субъективное искусство Феофана должно было пользоваться большим успехом».[85]

Связь живописи Феофана Грека с определенными идеями была замечена и его современниками, называвшими его «философом». Но не одна только живопись Феофана была связана с мистическими движениями XIV в. Те же типично еретические особенности были отмечены исследователями и для волотовских росписей, выполненных по повелению ставленника новгородских ремесленников архиепископа Василия Калики.[86]

Связь нового стиля в литературе с новыми умственными течениями отчетливо может быть замечена на самом составе переводной литературы XIV—XV вв.

Далеко не полный список литературных произведений, появившихся в нашей литературе после первой половины XIV в. вследствие сношений с южными славянами, прилагаемый А. И. Соболевским к его работе «Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках»,[87] совершенно ясно показывает направление интересов, которыми обусловливалось это влияние: перед нами по преимуществу новинки созерцательно-аскетической литературы исихастов или сочинения, ими рекомендованные и им

---

[84] Михайловский Б. В., Пуришев Б. И. Очерки истории древнерусской монументальной живописи. . ., с. 28.

[85] Лазарев В. Н. Живопись и скульптура Новгорода, с. 159.

[86] Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М., 1948, с. 767—776. Василию Калике, по-видимому, принадлежит «Сказание о святых местах, о Костянтинограде» (Сперанский М. Н. Из старинной новгородской литературы XIV века. Л., 1934, с. 106), где он проявляет многознаменательное внимание к памятникам искусства, затем «Послание епископу Федору о земном рае» (см. Софийскую вторую летопись и др.), где он высказывает не совсем каноническую идею земного рая и опирается на апокрифы. Сделанные в 1336 г. Васильевские золоченые врата Софийского собора (ныне в Александрове) отражают апокрифические сюжеты (см.: Вестник археологии и истории. СПб., 1885, вып. 1—4, табл. IV—V; Толстой И. И., Кондаков Н. П. Русские древности в памятниках искусства. СПб., 1889, вып. 6, рис. 104—106; Древности Российского государства. М., 1854, отд. VI, № 33).

[87] Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков, с. 15—24.

близкие. Здесь произведения Григория Синаита [88] и Григория Паламы, а также их жития, произведения патриарха Каллиста и Евфимия Тырновского, Филофея Синаита, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника («Лествица»), Максима Исповедника, Василия Великого, Илариона Великого, Аввы Дорофея, инока Филиппа («Диоптра»), Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Богослова и др.

Печать интереса к христианско-аскетическим темам лежит и на произведениях полусветского характера, распространившихся на Руси именно в это время: на сербской христианизованной Александрии, на Повести о Стефаните и Ихнилате, на апокрифической литературе этого времени и т. д.

Мистические течения XIV в., охватившие Византию, южных славян и в умеренной форме Россию, ставили внутреннее над внешним, «безмолвие» над обрядом, проповедовали возможность индивидуального общения с богом в созерцательной жизни и в этом смысле были до известной степени противоцерковными. И это относится прежде всего к учению исихастов.[89]

Необходимо учитывать, что глава нового движения в письменности тырновский патриарх Евфимий, известный своими книжными реформами, был учеником Феодосия Тырновского — друга константинопольского патриарха Каллиста и ученика основателя исихастского движения Григория Синаита. Отсюда понятно, почему Евфимий был воспитан «в строгих началах исихастов».[90]

Школа исихастов сыграла выдающуюся роль в культурном общении между болгарами и сербами в XIV в. Это общение частично осуществлялось с конца первой половины XIV в. через Парорийский монастырь преподобного Григория Синаита, где были монахи — сербы, болгары и греки.

В России исихазм оказывал воздействие главным образом через Афон. Центром новых мистических настроений стал Троице-Сергиев монастырь, основатель которого Сергий Радонежский «божественныя сладости безмолвіа въкусив» (ЖСерг., 57).

Из этого монастыря вышли главный представитель нового литературного стиля Епифаний Премудрый и главный представитель нового течения в живописи Андрей Рублев (безмолвная беседа ангелов — основная тема рублевской иконы Троицы).

«Безмолвие» исихастов было связано с обостренным чувством слова, с сознанием особой таинственной силы слова и необходимости точного выражения в слове сущности явления, с учением о творческой способности слова.

---

[88] О славянских рукописях с творениями Григория Синаита см.: Сырку П. К истории исправления книг в Болгарии. . ., т. 1, вып. 1, с. 239—240.

[89] О связи учения исихастов с еретическими движениями XIII—XIV вв. и о последующем отношении их к русским ересям см.: Onasch K. Renaissance und Vorreformation in der Byzantinischslawischen Orthodoxie. — Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik. I. Berlin, 1957.

[90] Сырку П. Очерки из истории литературных сношений болгар и сербов. . ., с. LXXIII.

Сложное учение исихастов, возрождавшее неоплатонические идеи, нуждается во внимательном изучении. Ясно одно: в нем сказался тот же интерес к психологии человека, к «внутреннему человеку» (термин одного из основателей исихазма — Григория Синаита), к его индивидуальным переживаниям, к возможностям личного общения с богом, а также те поиски интимного в религии, которые были характерны для многих культурных явлений XIV в. Изучая исихазм, мы не должны выделять его из других умственных и религиозных течений того же времени. В частности, несмотря на вражду паламитов и варлаамитов в учении последних также могут быть отмечены черты нового, как они могут быть отмечены и в собственно еретических движениях XVI в. — в болгарском богомильстве и русском стригольничестве.

Исихазм отнюдь не был ересью в собственном смысле этого слова. Больше того, отдельные исихасты и, в первую очередь, сам Евфимий Тырновский деятельно боролись с ересями.[91] Но живая связь этого мистического течения с неоплатонизмом, свободное отношение к обрядовой стороне религии, своеобразный мистический индивидуализм делали его типично предвозрожденческим явлением, характерным для эпохи поздней готики на Западе.

Говоря о мистических течениях XIV в., мы не можем считать правильной ту их характеристику, которая в свое время была предложена Н. С. Державиным[92] и поддержана Д. Ангеловым.[93] Д. Ангелов пишет: «В период, когда беды и несчастия грозили со всех сторон, в период феодальных распрей и чужеземных вторжений большая часть людей вообще отказалась от борьбы и сопротивления. Эти люди, охваченные страхом перед загробной жизнью и будущим возмездием, помышляли только о „делах небесных“. Для борьбы у них не хватало ни сил, ни желания. Они все более и более помышляли о спасении души, стремились к бегству от мира, к молчаливому и пассивному отказу от земных утех, а равно и от земных забот. . . Религиозно-мистические настроения толкали людей на уход от реальной жизни, от „ужасного и неисправимого мира“, уход, который, по их мнению, был необходим для „спасения души“. Выражением подобных настроений, разделяемых не только болгарским народом, но и соседними балканскими народами, которые шли тем же путем политического и экономического упадка и разложения, был исихазм. Это было новое религиозно-философское учение, конечной целью которого было отвлечь человека от реальной действительности и поставить его в прямое соприкосновение с некоей „божественной энергией“.[94] Однако исихазм — это сложное богословское учение, испытавшее

---

[91] См.: Киселков В. Сл. Проуки и очерти по старобългарска литература, с. 178—180.

[92] Державин Н. История Болгарии. М.; Л., 1946, т. 2, с. 134 и след.

[93] Ангелов Д. Богомильство в Болгарии. М., 1954.

[94] Правильная оценка исихазма дана в кн.: Державин Н. История Болгарии, т. 2, с. 134 и след. (примеч. Д. Ангелова).

влияние не только неоплатонизма, но и других философских систем, созданных многими поколениями, — не мог получить распространения в широких народных массах. Он оставался достоянием лишь избранного круга мыслителей из среды византийского и болгарского духовенства. Наоборот, богомильское учение — более простое и понятное, вновь начало распространяться в народе, однако на этот раз оно развивалось уже в новых формах, отвечающих духу времени и преисполненных мистическими и аскетическими настроениями».[95]

Мне представляется, что устанавливать непосредственную связь между «бедами и несчастиями», с одной стороны, и идейными движениями — с другой, охватившими «большую часть людей», нет фактических оснований. Вместе с тем трудно поверить, чтобы у большинства народа не хватало «ни сил, ни желания» для борьбы и что только в результате этой общественной апатии народа возникло его умственное движение, которое, как мы знаем, хотя и пропагандировало пассивность, но само распространялось путем ожесточенной борьбы и охватило в той или иной мере письменность, литературу, живопись и т. д. Мистицизм в истории общественных движений играл различную роль. Он был характерен для раннего Возрождения на Западе, служил выражением общественного протеста против подчинения личности церковным обрядам, свидетельствовал о стремлении человека к различным переживаниям помимо церкви и т. д.

Характеризуя явления подобного рода, Ф. Энгельс писал: «Революционная оппозиция феодализму проходит через все средневековье. Она выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания. Что касается мистики, то зависимость от нее реформаторов XVI века представляет собой хорошо известный факт. . .».[96]

Связь между мистическими и мистико-еретическими учениями XIV в. и различными явлениями литературы и искусства может быть показана на отдельных примерах.

Мне представляется в высшей степени удачным предложенное М. В. Алпатовым толкование общей системы волотовских росписей как системы, изображающей путь к совершенству. Это толкование ясно показывает связь волотовских росписей с исихастскими учениями об индивидуальном восхождении человека к божеству. М. В. Алпатов указывает на связь этих идей с предвозрожденческими тенденциями XIII—XIV вв.: «Прежде чем средневековый человек решился объяснить человеческую природу достойной прославления, а реальный мир главным предметом искусства, он долгое время искал на „грешной земле“ хотя бы отблеск высшего блага. В XIII—XIV вв. в искусстве Запада многократно разрабатывалась тема земного странствия Христа. В XIII в. среди

[95] Ангелов Д. Богомильство в Болгарии, с. 184—189.

[96] Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 361.

скульптуры Реймского собора нашло себе место изображение Христа в войлочной шляпе с посохом в руке.[97] В 1358 г. Гильом де Гельвиль пишет поэму о странствии Христа; в иллюстрациях к ней представлено, как бог-отец передает суму и посох голому юноше — Христу.[98] В XIII—XIV вв. на Западе получают широкое распространение рассказы о явлении Христа отдельным людям».[99] В этой связи М. В. Алпатов закономерно рассматривает и волотовскую композицию «явления Христа в образе нищего некоему игумену».

Мистические озарения, экстаз, сильные душевные движения, чувство благоговения и непосредственной связи с богом столь же отчетливо сказываются в темах «Палеологовского» стиля живописи, как и в стремлении авторов житий возбудить аналогичные переживания у их читателей.

Мы не должны доверять спорам XIV в. и делить представителей различных течений XIV в. так, как их делили в XIV в., противопоставляя одних другим: варлаамитов — паламитам или наоборот. Мы не должны считать одних только прогрессивными, других только реакционными, одних еретиками, других ортодоксами. И у тех, и у других мы можем заметить «знамения нового времени» — явления, типичные для эпохи восточноевропейского Предвозрождения. Как это часто бывает, история вершит свой суд, признавая правыми обе стороны, но правыми не в абсолютном смысле, а в чисто историческом: мы видим сейчас то, чего не видели спорящие, — историческую оправданность воззрений тех и других (и варлаамитов и паламитов). Единство явлений в области литературы, искусства, философско-богословской мысли, охватывающих Византию, южнославянские страны и Россию, позволяет говорить не об отдельных направлениях в искусстве, в литературе и в философско-богословской мысли, а о едином восточноевропейском движении, которое лучше всего было бы определить как восточноевропейское Предвозрождение, которое охватило Византию, Болгарию, Сербию, Россию, Кавказ и, в известной мере, Малую Азию.[100]

---

[97] Воспроизведено П. Витри (V i t r y P. La cathédrale de Reims. Paris, 1916). Д. Айналов (Византийская живопись XIV столетия, с. 144) писал: «Я не знаю более раннего изображения Христа-нищего, чем Дуччио в его Сиенской иконе» (примеч. М. В. Алпатова).

[98] D i d r o n A. Historie de Dieu. Paris, 1843, p. 27 (примеч. М. В. Алпатова).

[99] В е р т е л о в с к и й А. Западная средневековая мистика и ее отношение к католичеству. Харьков, 1888, с. 258 и след. (примеч. М. В. Алпатова). Цит. по: А л п а т о в М. В. Фрески храма Успения на Волотовом поле, с. 123—124.

[100] Вопрос о восточноевропейском Предвозрождении требует особых исследований. Укажу только, что в изучении Предвозрождения Закавказья необходимо не упустить из виду серьезную работу Г. Габриэляна «К вопросу об армянском Возрождении» (Изв. Академии наук Армянской ССР. Общественные науки, 1956, № 6, на арм. яз.). Статья направлена против концепции В. Чалояна, утверждающего, что Возрождение возникло в Армении раньше, чем в Западной Европе.

Это не Возрождение, так как оно носит еще в значительной мере религиозный характер, связано с позднеготическим мистицизмом, с позднеготической эмоциональностью и экспрессивностью. Это движение еще не противостоит средневековью. Религиозное начало не оттесняется на второй план, как это было в западноевропейском Возрождении. Напротив, оно развивается в пределах религиозной мысли и религиозной культуры.[101] Оно также полно интереса к античной и эллинистической культуре, носит уже отчетливо выраженный «ученый» характер и связано в Византии с филологическими штудиями.[102]

Предлагаемый мною термин «восточноевропейское Предвозрождение» представляется мне более удачным, чем термин «Палеологовский ренессанс», принятый у искусствоведов в отношении одной части культурных явлений этого порядка в живописи. Другая терминология, предложенная в последнее время немецким исследователем Конрадом Онаш — «Ренессанс» и «Предреформация»,[103] также представляется мне не совсем точной. В силу ряда причин, рассмотрение которых выходит за пределы данного доклада, восточноевропейское Предвозрождение не перешло у нас в настоящее Возрождение. Россия, балканские страны и Византия не знали ни гуманизма, ни настоящего Ренессанса.

Во всяком случае задача будущих исследователей внимательно отнестись к тем росткам нового, которые могут быть определены в умственной жизни восточноевропейских стран: у южных славян, в Византии и в России.

3. Национальные русские черты в движении Предвозрождения

Были ли в этом движении национальные отличия? Безусловно, были. Национальные отличия в области живописи восточноевропейского Предвозрождения достаточно подробно изучены в искусствоведческой литературе.[104] Национальные отличия в литера-

---

[101] О связи византийско-болгарских мистических учений с предвозрожденческой мистикой и еретичеством на Западе см. в кн.: Радченко К. Религиозное и литературное движение в Болгарии. . . Гл. II. Религиозно-нравственное состояние Византии в XIV столетии и влияние развивавшихся в это время философско-богословских идей ее на духовную жизнь в Болгарии, с. 51—168.

[102] Успенский Ф. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891, с. 246—365.

[103] Onasch K. Renaissance und Vorreformation in der Byzantinischslawischen Orthodoxie. — Aus der byzantinistischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik, I. Berlin, 1957.

[104] Характеристику национальных школ в живописи «Палеологовского ренессанса» и литературу вопроса см.: Лазарев В. Н. История византийской живописи, т. 1, с. 236—258. Следует особо отметить то обстоятельство, что черты нового стиля в связанном с византийской живописью монументальном изобразительном искусстве Кавказа появились раньше, чем в самой Византии. См.: Амиранашвили Ш. Я. История грузинского искусства. М., 1950, т. 1, с. 186 и след.

турах, к сожалению, не изучены. Не сделано даже попыток хотя бы в самой общей форме охарактеризовать отличия русского стиля «плетения словес» от южнославянского. Отчасти это объясняется тем, что русские приемы «плетения словес» считались механическими заимствованиями у южных славян без каких-либо признаков самостоятельного их развития. Между тем зависимость русского панегирического стиля от стиля южнославянского заключается не столько в заимствовании отдельных приемов (этих заимствований, конечно, было много), сколько в переносе к нам самой системы стиля и лежащего в основе этой системы художественного метода, нового отношения к внутреннему миру человека.

В характеристике стиля, типичного для времени второго южнославянского влияния в России, мы опирались выше главным образом на жития Епифания Премудрого. Это сделано было сознательно: Епифаний дает нам наиболее яркие и последовательные, внутренне цельные образцы нового стиля. Сравнивая Епифания с южнославянскими авторами XIV и XV вв., мы убеждаемся, что новый стиль достиг своего наибольшего и последовательнейшего развития именно в России (у Епифания).

Южнославянские жития XIV в., как переводные, так и оригинальные, отнюдь не могут считаться образцами русских житий Епифания. Возьмем, например, Житие исихаста Ромила, написанное исихастом же монахом Григорием.[105]

Прежде всего отметим, что в Житии Ромила нет собственно «плетения словес», т. е. пользования однокоренными и созвучными словами, ассонансами, синонимикой и ритмикой речи для создания своеобразного словесного орнамента. Есть только некоторые подступы к этому «плетению». Особенно часто пользуется Григорий парными сочетаниями близких по значению слов («трудника и страдальца» — ЖРом., 9; «поруганіа и уничиженіа» — ЖРом., 9; «рыдающа и плачюща» — ЖРом., 12 и т. д.).

Конкретных описаний событий с упоминаниями бытовых подробностей в Житии Ромила несравненно больше, чем в произведениях Епифания. Неоднократно отмечалась в исследовательской литературе картинность описания рыбной ловли зимой, строптивого нрава старца, которому служил Ромил, и т. д. Кроме того, в Житии Ромила встречаются, как уже отмечалось в литературе, народные речения и народные поговорки.[106] Это не значит, что автор Жития Ромила отказывается от попыток абстрагировать

---

[105] Уже первый издатель его славянского текста П. А. Сырку предположил, что житие Ромила могло бы быть и переводным (Монаха Григория Житие преп. Ромила. СПб., 1900, с. XV). Открытый И. Дуйчевым текст этого жития на греческом языке (D u j č e v Iv. Un manuscrit grec de la vie de St. Romile. — Studia Serdicensia, 1940, II, p. 88—92; Д у й ч е в И. Из старата българска книжнина. София, 1944, II, с. XXIX) подтверждает это предположение, но окончательное решение этого вопроса будет принадлежать филологическому анализу обоих текстов.

[106] С ы р к у П. А. Монаха Григория Житие преп. Ромила, с. IV и след.; Д и н е к о в П. Стара българска литература, втора част, с. 47.

изложение. Эти попытки встречаются постоянно: описывая тот или иной случай, автор делает это в выражениях, подчеркивающих его общий смысл, «духовный» характер. Это сказывается главным образом в употреблении оценочных эпитетов, определяющих нравственный характер того или иного явления: «здраводушевный» (ЖРом., 1), «доброплачевный» (ЖРом., 13, 16, 17), «злолютный» (ЖРом., 12), «любобожественный» (ЖРом., 14) и т. д., или же в употреблении составных существительных, первая часть которых усиливает имеющийся в самом понятии элемент оценки или прямо определяет его с нравственной стороны: «жестокословие» (ЖРом., 9), «злопомнение» (ЖРом., 25), «острогневие» (ЖРом., 25) и т. д. Вместе с тем житие обильно насыщено общераспространенными в христианской литературе символами и образами.

Если новое отношение к человеку, к его психологии, к эмоциональной стороне его внутренней жизни не достигло еще в самом стиле Жития Ромила той же степени законченности, что в произведениях Епифания Премудрого, то в содержании оно отражено в полной мере. Григорий усиленно интерпретирует и обобщает все частные события Жития в духе учения исихастов («ибо безмльвіе принимнеть плачь» — ЖРом., 17; «аще ли же от прьваго прилога супротивнаа сѣмена сиа пріимемь, въ сьчетаніе абіе приходимь, от съчетаніа же въ сьложеніе, от сего же въ злодѣаніе приходяще» — ЖРом., 26—27 и т. п.), подытоживает конкретные факты (часто приводимые в порядке перечисления) общей сентенцией, объединяет их в одну отвлеченную категорию и т. д.

Учение исихастов дает себя знать в несравненно большей степени в Житии Ромила, написанном монахом Григорием, чем в житиях, написанных Епифанием.

То же мы можем сказать и о других житиях этого времени — оригинальных и переводных. Конкретные описания и бытовые сцены отличают жития Григория Синаита, Феодосия Тырновского, Илариона Мегленского и Ивана Рыльского от последующих русских житий. Вместе с тем исихасты святые выступают в них наставниками «умного делания» и борцами с ересями (с богомилами, с Акиндином и Варлаамом — см., например, ЖФеод., 18 и след.), они отличаются обостренным вниманием к внутренней жизни людей, рисуют по преимуществу историю душевного развития святых, их «внутреннюю биографию», для которой внешние события жизни служат только своего рода знаками. Но стилистически это внимание к внутренней жизни человека, к его эмоциям не находит себе еще столь яркого выражения, как в житиях Епифания Премудрого.

И в стиле этих житий следует отметить парные сочетания близких по значению слов, например: «моля и призывая» (ЖИвР., 481), «вѣра и усрьдіе» (ЖИвР., 488), «дивнаа и ужаснаа» (ЖИвР., 488), «изгнание и заточение» (ЖИлМ., 500), «непрѣклонни и неумолими» (ЖИлМ., 501), «страхом и ужасом» (ЖИлМ., 502) и др.

Но главную роль, как это мы отмечали и в Житии Ромила, играют абстрагирующие образы и сочетание абстрактных понятий с конкретными: «свѣтъ богоразумія» (ЖИлМ., 493), «древо сажденное при исходищих вод духа» (ЖИлМ., 499), «облако мятежа» (ЖИвР., 483) и т. д. Особенно излюблены сочетания с эпитетом «душевный» или «духовный»: «духовное веселие» (ЖИвР., 489), «душевные очи» (ЖИвР., 481 и 483; ЖИлМ., 491), «духовное питіе» (ЖФеод., 13), «радости духовние» (ЖФеод., 13) и др.

Гораздо большее отношение к новому стилю житийной литературы в России имеют не южнославянские жития, а панегирические сочинения южнославянских писателей, в первую очередь Григория Цамблака. Панегирический стиль Григория Цамблака не только абстрагирующий, но и необычайно экспрессивный. В его произведениях мы встречаем почти все те элементы нового стиля, которые так характерны для произведений Епифания. Особенно изумляют пышные и развитые сравнения. Здесь и тучи слез, и тьмы стрел, пронзающих душу (ГрЦамбл., 56), и «живые камени» (ГрЦамбл., 29), и «тръпѣніа пламень» (ГрЦамбл., 36), и «умная гора» (ГрЦамбл., 41) — все то, что до крайности увеличивает экспрессивность изложения, гиперболизирует чувства и усиливает динамичность. Заботится Григорий Цамблак и о «гладкости к течению глагольному» (ГрЦамбл., 41), его речь стремится к известной ритмичности, он насыщает ее единоначатиями,[107] нагромождает сравнения, синонимические сочетания и т. д. Однако надо все же сказать, что самое искусство «плетения словес» Григория Цамблака не достигает такой изощренности, как у Епифания Премудрого. В этом отношении Епифаний не знает себе равных ни среди южнославянских, ни среди других русских писателей XIV—XV вв., хотя искусство «плетения словес» и достигает у последних очень высокого развития (ср., например, «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского»).

По-видимому, дело обстоит таким образом, что стиль «плетения словес» получил свое наибольшее развитие именно в России. Здесь же он получил самостоятельное распространение в житиях, идеи же, его питавшие, получили равное развитие в Византии и в южнославянских странах, а вслед за ними и в России, но в последней — без столь резких специфично-исихастских черт. Отсюда ясно, что в области стиля «плетения словес» русские писатели далеко не механически следовали за южнославянскими образцами, творчески их развивая в духе нового предвозрожденческого сознания ценности внутренней жизни человека, ценности его эмоциональных переживаний.

Само собой разумеется, что точнее ответить на вопрос о том, что именно в новом панегирическом стиле русские заимствовали

---

[107] Ср., например: «Еда низпаде печалію паче подобающаго? Еда умякчи ся страхом? Еда малодушьствова или разлѣнися? Еда отбѣже, стадо расхищаемо видя? Еда провѣща малъ или великъ тогова любомудріа недостоинъ глаголъ?» (ГрЦамбл., 51).

у южных славян, а что творчески развили и углубили, будет возможно только тогда, когда будут произведены соответствующие частные исследования.

Некоторые национальные черты объединяют русскую литературу, подвергшуюся южнославянскому влиянию, и русскую живопись, подвергшуюся воздействию так называемого «Палеологовского ренессанса». Установить эти национальные черты нетрудно, сравнив параллельно Епифания Премудрого с Пахомием Сербом и Андрея Рублева с Феофаном Греком.

Пахомий Серб и Феофан Грек были на Руси «захожими талантами», много сделавшими на своей второй родине, много от нее позаимствовавшими,[108] но в целом сохранившими свое национальное своеобразие. Если сравнить художественные методы Пахомия Серба и Феофана Грека с художественными методами Епифания Премудрого и Андрея Рублева и при этом постараться отбросить чисто индивидуальные особенности их творчества, то станет ясно, что в творчестве обоих последних сказываются художественные традиции домонгольской Руси: в творчестве Андрея Рублева — традиции владимиро-суздальской живописи XII в., которые он усвоил,[109] в произведениях же Епифания Премудрого — традиции домонгольского ораторства и домонгольской агиографии. Через голову своих непосредственных предшественников Епифаний Премудрый обращается к традициям Киевской Руси времен ее расцвета. Иларион и Кирилл Туровский — два писателя, ораторские приемы которых сказываются в произведениях Епифания, не столько в механических заимствованиях из них, сколько в самой системе использования христианских символов и в искусстве построения речи.

Различия стиля Епифания Премудрого и Пахомия Серба были довольно метко подмечены В. П. Зубовым.[110] Епифаний был непревзойденным мастером «плетения словес», с рифмами, ассонансами, ритмическими повторениями и т. д. Стиль произведений Пахомия Серба более прост и лишен талантливой изощренности Епифания. Особое пристрастие Епифаний Премудрый имеет к плачам («плач пермских людей», «плач церкви пермския», «плачеве и похвала инока списающа»), к длинным речам действующих лиц, к внутреннему монологу. В произведениях Пахомия преобладают драматические ситуации, многофигурная живописная композиция, сложные диалоги действующих лиц.

В. О. Ключевский отметил, что похвала Стефану Пермскому, составленная в форме плачей, относится всецело к литературной

---

[108] Пахомий Серб занимался, главным образом, переделкой предшествующих русских произведений. Естественно, что он многому научился у их авторов и частично воспринял старые русские традиции (см.: Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908).

[109] Грабарь И. Андрей Рублев. — В кн.: Вопросы реставрации. М., 1926, сб. 1, с. 65.

[110] Зубов В. П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб: (к вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского»). — ТОДРЛ, М.; Л., 1953, т. 9, с. 145—158.

манере Епифания: «Такая оригинальная форма похвального слова безраздельно принадлежит одному Епифанию: ни в одном греческом переводном житии не мог он найти ее, и ни одно русское позднейшее, заимствуя отдельные места из похвалы Епифания, не отважилось воспроизвести ее литературную форму».[111] Плачи, выраженные в произведении иного жанра, вообще говоря, очень характерны для домонгольской литературы, где они встречаются в летописи, в ораторских произведениях, в житиях, несколько раз упоминаются и приводятся в «Слове о полку Игореве». Но они характерны и для литературы конца XIV—XV вв. Сравнительно большое место занимает плач Евдокии в «Слове о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского», в начале XV в. он вставляется в текст «Повести о разорении Рязани Батыем» (плач Ингваря Ингоревича) и др.

И плачи, и внутренний монолог, и известная ритмичность речи были характерны уже для домонгольской литературы; в ней же присутствовало и то сильное лирическое начало, которое при всей монументальности домонгольского литературного стиля широко давало себя знать и в «Слове о законе и благодати» Илариона, и в произведениях Кирилла Туровского. Епифаний весь замкнут в мягких плавных линиях орнаментальной ритмической речи. Нечто подобное видим мы и в творчестве Андрея Рублева: красочная гамма его зависит от владимиро-суздальской живописи домонгольской поры, он мягче, лиричнее Феофана Грека. В его «Троице» как бы происходит безмолвный разговор трех ангелов, движения плавны и настроение скорбно.

Случайно ли это обращение двух крупнейших представителей русской культуры на рубеже XIV—XV вв. к художественным традициям домонгольской Руси? Полагаю, что явление это в высшей степени характерно для того времени, к которому оно относилось.

Вторая половина XIV—начало XV в. характеризуется повышенным интересом к домонгольской культуре Руси, к старому Киеву, к старым Владимиру и Суздалю, к старому Новгороду. К Киеву и киевскому князю Владимиру усиленно обращается в это время былевой эпос, продолжается создание Киевского цикла былин. Народная мысль видит в Киеве и в его князе Владимире символ независимости, единства и силы Руси.[112]

В области политической мысли Москва претендует на все политическое наследие Киева и Владимира Залесского. В области летописания Тверь, Москва, Нижний и Ростов претендуют на продолжение традиций киевского летописания: в начало их летописей кладется киевская «Повесть временных лет», татары отождествляются в летописи с половцами, призывы киевской летописи к объединению Руси и борьбе со степью воспринимаются как

---

[111] Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник, с. 94.

[112] См.: Лихачев Д. С. Национальное самосознание древней Руси. М.; Л., 1945, с. 78—81.

призывы к борьбе с татарским игом («Повесть об Едигее», 1404 г.).[113] В подражание «Слову о полку Игореве» и как своеобразный ответ на него создается «Задонщина».[114] Литературными реминисценциями произведений домонгольской поры пользуются авторы и других произведений («Слово» инока Фомы,[115] московские летописи[116] и т. д.). Составляются новые редакции таких крупных домонгольских произведений, как «Киево-Печерский патерик» (Арсениевская редакция, созданная в Твери в 1406 г.), «Летописец Еллинский и Римский».[117] С княжения Дмитрия Донского проявляется усиленный интерес к памятникам владимирского зодчества. Москва в своем каменном зодчестве продолжает домонгольские традиции Владимира Залесского.[118] В княжение сына Донского — Василия Дмитриевича — открывается первая в русской истории эпоха архитектурных реставраций и реставраций памятников живописи. В 1403 г. обновляется древний собор в Переславле-Залесском. В 1408 г. Андрей Рублев и Даниил Черный по приказу Василия Дмитриевича возобновляют древние росписи владимирского Успенского собора. Полоса этих реставраций тянулась в течение всего XV в. Она захватила Тверь и Ростов. Особенно заметна она была в Новгороде, где с чрезвычайной интенсивностью восстанавливались «на старой основе» архитектурные сооружения эпохи национальной независимости.[119]

Реставрация памятников времен независимости Руси вносит своеобразную черту в русское Предвозрождение. Обращение к национальной древности — характерная черта Возрождения и Предвозрождения в Европе, но в каждой стране она имела свои формы и свое содержание, когда обращалась к своей национальной старине. То обстоятельство, что русские не только заимствовали предвозрожденческие идеи в их византийских и южнославянских истоках, но творчески, в соответствии со всем духом предвозрожденческого движения обратились к своей собственной старине, лучше всего доказывает, что южнославянское влияние не было механическим, что перед нами единое предвозрожденческое движение, в котором Россия, воспринимая многое из южнославянских стран и Византии, занимала отнюдь не подчиненное место.

---

[113] См.: Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947, с. 297 и след.

[114] См.: Лихачев Д. С. «Задонщина». — Литературная учеба, 1941, № 3, с. 87—100.

[115] См.: Лихачев Н. П. Инока Фомы Слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче. СПб., 1908.

[116] См.: Марков А. В. Один из случаев литературного вымысла в московском летописании. — ИОРЯС, 1913, т. 18, кн. 1, с. 41—48.

[117] См.: Лихачев Д. С. Еллинский летописец второго вида и правительственные круги Москвы конца XV в. — ТОДРЛ, М.; Л., 1948, т. 6, с. 100—110.

[118] См.: Грабарь И. Андрей Рублев, с. 65 и след.; Воронин Н. Н. Владимиро-суздальское наследие в русском зодчестве. — Архитектура СССР, 1940, № 2, с. 66—69.

[119] Дмитриев Ю. Н. К истории новгородской архитектуры. — В кн.: Новгородский исторический сборник. Л., 1937, с. 120—123.

4. Причины возникновения Предвозрождения в России и значение его в развитии русской культуры

Черты национального своеобразия русского Предвозрождения с несомненностью доказывают, что влияние византийско-южнославянского Предвозрождения пало на подготовленную почву, что оно в известной мере отвечало потребностям русского общества, закономерно слилось со сходными явлениями в общем развитии русской культуры.

Появление предвозрожденческих элементов в ряде восточноевропейских стран находит свое объяснение в социально-экономическом их развитии.

В России предвозрожденческие элементы в письменности, искусстве и религиозно-богословской мысли обязаны своим возникновением целому кругу социально-экономических факторов. Здесь сказался и рост производительных сил, развитие городов и городской жизни, ремесла (особенно в Новгороде и Москве), внутренней торговли. Вызванные всем этим первые победы в национально-освободительной борьбе повлекли за собой подъем национального самосознания, национального самоуважения, усилили интерес к национальным традициям и национальной старине. Кризис системы феодальной раздробленности, при которой ценность человеческой личности определялась только ее внешним положением на лестнице феодальной зависимости, привел к осознанию ценности личности самой по себе, ее внутренних переживаний, правда, еще в рамках строго религиозного сознания и в зависимости от все той же лестницы феодальных отношений, продолжавшей сохраняться, но над которой уже постепенно вырастала сильная центральная власть, способная менять положение людей по своему усмотрению, в зависимости от их внутренних качеств.

Все эти явления русской действительности XIV—начала XV в. были родственны тем, которые имели место и в жизни южнославянских стран, чем и было обусловлено свободное взаимопроникновение их культур, но окончательное решение вопроса о причинах возникновения предвозрожденческого движения в Византии, у южных и восточных славян может явиться только тогда, когда будет более детально изучена социально-экономическая жизнь XIII—XV вв. К сожалению, эти века наиболее скудны историческими источниками.

* * *

Какова же была ценность культурного общения южных и восточных славян в XIV и начале XV в. для развития русской литературы?

Отрицательное отношение к южнославянскому влиянию в русской письменности может быть отмечено уже для XVI в. Так, в 1552 г. Нил Курлятев в предисловии к переводу с греческого

Псалтыри, выполненному Максимом Греком, писал: «и ныне многыя у нас и вся время на книгы пишут, а пишут от неразумия все по сербски. И говорити по письму по нашему языку прямо не умеют, и многыя неразумныя смущаются. Где надобет по нашему *а*, а по сербски ѣ или ѫ по нашему *ю*, а сербски ѧ, по нашему *о*, а сербски ѫ, у нас *ы*, а сербски *и*, а речи по нашему не замедли, а сербски, или буде болгарски не замуди, по нашему косно медленноязычен, или гугнив, а сербски мудноязычен, и прочия речи нам не разумны: бохма, васнь, реснотивие, цѣщи, ашут; и много таковых мы не разумеем — ино сербски, а ино болгарски, и сия доселе недостанет нам лето на повествование».[120]

Резко отрицательную характеристику значения второго южнославянского влияния для развития русской литературной речи дает А. С. Орлов: «Русские книжники подражали только новой югославянской лексике и фразеологии, засорив этим литературный язык и своих самостоятельных произведений и затруднив его понимание».[121] Далее А. С. Орлов отмечает, что страны Балканского полуострова, обогнав Россию в своем общественном развитии, не смогли якобы передать последней свой изысканный литературный стиль во всей его полноте: «Очевидно, на Балканском полуострове движение общественной жизни уже прошло ту стадию, которая только что намечалась в России. Это и отразилось на качестве подражательной русской агиографии, которая не вполне разобралась в настоящих ценностях югославянского стиля и усвоила преимущественно бьющие в глаза его элементы как наиболее доступные подражанию. Кроме того, русским в данном случае пришлось учиться у югославянских эмигрантов, которые составляли для приютившей их земли образцы не первого сорта потому, что русские сюжеты не затрагивали до глубины югославянских авторов, да и сами заказчики не умели еще быть требовательными».[122] Среди первых «югославянских выходцев», принесших к нам новый «югославянский стиль», А. С. Орлов отмечает Киприана, «родом серба», и Пахомия, «также серба», а первым их подражателем выставляет Епифания Премудрого.[123] Все это нам представляется неправильным.

---

[120] Амфилохий, архим. Что внес св. Киприан, митрополит Киевский и всея России, а потом Московский и всея России, из своего родного наречия и из переводов его времени в наши богослужебные книги? — Труды Третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 г., Киев, 1878, т. 2, с. 231—232.

[121] Орлов А. С. Древняя русская литература XI—XVI вв. М.; Л., 1939, с. 185.

[122] Там же, с. 187.

[123] Там же. Отмечу, что в «Очерках истории СССР» Епифаний Премудрый прямо назван «подражателем» Пахомия Серба (Очерки истории СССР. Ч. 2. Период феодализма, IX—XV вв. М., 1953, с. 385). Между тем Епифаний Премудрый, как уже указывалось, был глубоко оригинальным писателем и никак не мог учиться у Пахомия Серба (тем более подражать ему), который был значительно моложе и сам переделывал произведения Епифания, в значительной степени снижая при этом их ценность. См.: Зубов В. П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб, с. 145—158.

Новый «югославянский» стиль литературных произведений явился на Русь вместе с целым комплексом новых представлений, вместе с новым художественным методом и новым пониманием задач тех литературных произведений, в которых он применялся, в соседстве с близкими по своему характеру явлениями в области искусства и религиозной мысли.

Поэтому не следует говорить, что русские книжники только подражали «югославянской лексике и фразеологии». На самом деле они были захвачены теми же идеями и настроениями, тем же интересом к внутренней жизни человека. Новые художественно-познавательные открытия в области внутренней жизни человека с несомненностью сказались на стиле, явственно приспособленном к передаче того нового эмоционального мира, который открылся писателям и художникам XIV в.

Новое культурное движение, которое было перенесено на Русь вовсе не механически отдельными «югославянскими эмигрантами», а возникло в результате широкого культурного взаимообщения и книжного обмена, наиболее крупными центрами которого были Константинополь, Афон и монастыри Болгарии, имело внутренние корни в каждой стране.

Следовательно, нет оснований говорить об «образцах не первого сорта» и механических заимствованиях лишь внешних черт стиля.

Отметим вместе с тем, что те новые художественно-познавательные ценности, которые принесло с собою южнославянское влияние, в значительной мере способствовали поступательному развитию самой русской культуры. Внутренняя жизнь человека должна была быть осознана, искусство и литература должны были быть обеспечены элементами динамизма и экспрессии. Поэтому художественно-познавательные открытия XIV в. должны были быть рано или поздно сделаны, если только сохранялся поступательный ход исторического развития.

С этой точки зрения южнославянское влияние принесло в Россию сильную струю нового, объективно ценного в искусстве и в литературе. Оно ответило внутренним потребностям развития самой русской культуры и не могло рассматриваться как случайное.

Конечно, элементы случайности в явлениях второго южнославянского влияния были, их даже было немало, как и во всех случаях иноземных влияний, но не все они были определяющими.

Почерк, орфография могли быть и не такими, если бы они развивались только на своей почве. Но самый характер орфографической реформы, как и самый характер нового литературного стиля, не были результатом одного только механического воздействия, они были связаны с общим умственным движением эпохи.

Если же говорить только о стиле «плетения словес», то и здесь нужно отметить крупнейшую положительную роль этого стиля в развитии искусства слова, в выработке богатых и разнообразных

форм художественной выразительности, в обогащении русского литературного языка. Новый стиль заставлял внимательно относиться к значению слов и к оттенкам этого значения, к эмоциональной стороне слова, к ритмике речи, к ее звучанию, обогащая язык неологизмами, новыми заимствованными словами, разнообразными прилагательными, дав обильное количество новых сочетаний слов, новых эпитетов, развив формы прямой речи, монологической и диалогической, расширив эмоциональную выразительность языка.

Заканчивая свой доклад, мне хотелось бы указать на крайнюю необходимость внимательного изучения восточноевропейского Предвозрождения во всех его проявлениях и особенно на необходимость широкого изучения культурного общения славян в XIV и начале XV в. Предстоит провести целый ряд исторических, историко-культурных, лингвистических, текстологических и литературоведческих исследований, прежде чем второе южнославянское влияние в России станет для нас ясным хотя бы в самых общих чертах. У нас еще слишком мало конкретных исследований по частным вопросам. В основу этих конкретных исследований, как мне представляется, должны быть положены следующие первоочередные задачи: во-первых, изучение объема южнославянского влияния, сферы его распространения на различные области культуры; во-вторых, изучение идейного содержания того умственного движения, которое мы условно определили выше как византийско-славянское Предвозрождение;[124] в-третьих, изучение самого стиля, который был связан со вторым южнославянским влиянием; в-четвертых, текстологическое изучение переведенных и перенесенных в Россию произведений. Текстологическое изучение памятников письменности XIV—XV вв. и их списков поможет осветить пути конкретного проникновения в Россию южнославянского и византийского влияния, степень и характер творческой переработки, поможет изучить происхождение отдельных литературных заимствований как в стиле, так и в содержании, и т. д.

Пока эти конкретные исследования не произведены, приходится ограничиваться только постановкой вопросов, цель которых — вывести изучение второго южнославянского влияния на более широкий путь, чем тот, которым оно шло до сих пор.

СОКРАЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ

ГрЦамбл. — Григориа, архиепископа Росийскаго, похвально иже в святых отца нашего Еуфимиа, патриарха Тръновскаго. — Kałužniacki E. Aus der panegyrischen Literatur der Südslaven. Wien. 1901.

ЖАврСм. — Жития препод. Авраамия Смоленского и службы ему / Пригот. к печ. С. П. Розанов. СПб., 1912.

---

[124] Само собой разумеется, учитывая при этом страны Малой Азии и Кавказа.

ЖБиГ. — Жития св. муч. Бориса и Глеба и службы им / Пригот. к печ. Д. И. Абрамович. СПб., 1916.

ЖГрСин. — Житие Григория Синаита, составленное константинопольским патриархом Каллистом / Посмертный труд П. А. Сырку. — ПДПИ, СПб., 1909, № 172.

ЖИвР. — Житие Св. Ивана Рыльского. — В кн.: Ангелов Б., Генов М. Стара българска литература (IX—XVIII вв.) в примери, преводи и библиография. София, 1922, с. 480—490.

ЖИлМ. — Житие и жизнь преп. Илариона, епископа Мегленского. — В кн.: Ангелов Б., Генов М. Стара българска литература (IX—XVIII вв.) в примери, преводи и библиография. София, 1922, с. 491—503.

ЖРом. — Монаха Григория Житие преподобнаго Ромила, по рукописи XVI в. имп. Публичной библиотеки, собрания Гильфердинга / Сообщение П. А. Сырку. — ПДПИ, СПб., 1900, № 126.

ЖСерг. — Житие Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV в. / Сообщил архим. Леонид. — ПДП, СПб., 1885, № 58.

ЖСтПерм. — Житие Стефана, епископа Пермского, написанное Епифанием Премудрым / Подгот. к печ. В. Г. Дружининым. СПб., 1897.

ЖФеод. — Житие и жизнь преп. отца нашего Феодосия. — В кн.: Златарски В. Н. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, издава Българското книжовно дружество, кн. XX. Нова редица, книга втора. София, 1904.

КонстК. — Книга Константина Философа и Грамматика о письменах. — В кн.: Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1896.

ПСерб. — Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания: Биографический и библиографически-литературный очерк. СПб., 1908.

СИСТЕМА ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Категория литературного жанра — категория историческая. Жанры появляются только на определенной стадии развития искусства слова и затем постоянно меняются. Дело не только в том, что одни жанры приходят на смену другим и ни один жанр не является для литературы вечным, — дело еще и в том, что меняются самые принципы выделения отдельных жанров, меняются типы и характер жанров, их функции в ту или иную эпоху.

Современное деление на жанры, основывающееся на чисто литературных признаках, появляется сравнительно поздно. Для русской литературы чисто литературные принципы выделения жанров вступают в силу в основном в XVII в. До этого времени литературные жанры в той или иной степени несут, помимо литературных функций, функции внелитературные.

Сходные явления мы наблюдаем в фольклоре, где внефольклорные признаки жанров имеют очень большое значение, особенно в древнейшие периоды (в обрядовом фольклоре, в историческом, в сказке и т. п.).

Поскольку жанры в каждую данную эпоху литературного развития выделяются в литературе под влиянием совокупности меняющихся факторов, основываются на различных признаках, перед историей литературы возникает особая задача: изучать не только самые жанры, но и те *принципы*, на которых осуществляются жанровые деления, изучать не только отдельные жанры и их историю, но и самую *систему жанров* каждой данной эпохи.

В самом деле, жанры живут не независимо друг от друга, а составляют определенную систему, которая меняется исторически. Историк литературы обязан заметить не только изменения в отдельных жанрах, появление новых и угасание старых, но и изменения самой *системы* жанров. Подобно тому как в ботанике мы можем говорить о «растительных ассоциациях», в литературоведении существуют *жанровые ассоциации*, подлежащие внимательному изучению. Жанры составляют определенную систему в силу того, что они порождены общей совокупностью причин, и потому еще, что они вступают во взаимодействие, поддерживают существование друг друга и одновременно конкурируют друг с другом.

К сожалению, жанры каждой данной эпохи литературного развития не рассматривались в их взаимоотношениях, как система, призванная обслуживать определенные литературные и нелитературные потребности и обладающая некоей внутренней устойчивостью.

В литературе каждой эпохи существует внутреннее равновесие жанров внутри определенной системы, постоянно нарушаемое извне и постоянно восстанавливаемое на новой основе, вступаю-

щее в свою очередь в своеобразные сочетания с отдельными видами письменности, с жанровой системой фольклора и с отдельными видами других искусств. Существует это равновесие и в русской литературе XI—XVII вв. В будущем, когда жанровые системы Древней Руси будут внимательно рассмотрены, мы сможем решить не только целый ряд вопросов историко-литературного развития, но и ряд вопросов истории русской культуры XI—XVII вв. Так, например, при определении того, какие из элементов — светские или церковные — преобладают в культуре Древней Руси и в какой мере те и другие сказываются в литературе, характерны для нее, первостепенную роль будет играть изучение жанровых систем древнерусской литературы. Не менее важную роль в объяснении причин, почему в русской литературе XI—XV вв. было слабо развито стихотворство и театральные жанры, будет играть, как мы это и покажем в дальнейшем, выяснение взаимоотношений систем литературных жанров с фольклорными. Изучение систем литературных жанров поможет раскрыть характерные для Древней Руси особенности связей литературы и других видов искусства (в частности, музыки и живописи), литературы и науки, литературы и различных видов деловой письменности. Не перечисляем других вопросов, которые находятся в тесной связи с проблемой изучения литературных жанров как определенных, находящихся в сложном взаимодействии явлений.

Приступая к предварительному, лишь в порядке постановки вопроса, рассмотрению жанровых систем Древней Руси, мы должны прежде всего отвлечься от наших современных представлений о жанрах. Обычно жанры Древней Руси воспринимаются с известной долей модернизации, и это крайне вредит их исследованию.

Необходимо изучить прежде всего те названия жанров, которые могут быть извлечены из самого материала средневековой письменности. Задача эта, конечно, необыкновенно трудна и, думается, никогда не будет разрешена в полной мере и с бесспорной ясностью.

В самом деле, жанровые указания в рукописях отличаются необыкновенной сложностью и запутанностью: «азбуковник», «алфавит», «беседа», «бытие», «воспоминания» (например, записи о святом или рассказ о происшедшем чуде: «Воспоминания о бывшем знамении и чюдеса иконы. . . богородицы. . ., еже в Великом Новеграде»), «главы» («Главы о послусех», «Главы отца Нила», «Главы поучительны» и пр.), «двоесловие», «деяние», «диалог», «епистолия», «житие», «житие и жизнь», «завет» и «заветы» («Завет Данов о ярости и о лжи», «Завет Иосифов о премудрости», «Заветы венадцати патриархов»), «избрание», «изборник», «исповедание», «исповедь», «история», «летовник», «летопись», «летописец», «моление», «моление и мольба», «обличение», «обличительное списание», «описание», «ответ», «память», «повесть», «позорище», «показание», «похвала», «прение», «притча», «размышление», «речи», «речь», «сказание», «слово», «спор», «творение», «толкование»,

«чтение» и др. Точное перечисление всех названий жанров дало бы цифру примерно в пределах сотни. Характерно, что в древней русской литературе постоянно происходит интенсивное самовозрастание количества жанров. Это длится до тех пор, пока в XVII в. принципы средневековой системы жанров не начинают частично отменяться и на месте средневековой системы не появляется новая система — система жанров новой русской литературы.

Как видно из вышеприведенного перечисления древнерусских названий жанров, названия эти различаются между собой далеко не точно. Под одним названием могут находиться совершенно различные произведения (см., например, «С л о в о о полку Игореве», «С л о в о на антипасху» Кирилла Туровского и «С л о в о похвальное» инока Фомы). Поэтому книжники очень часто ставят в заглавие произведения по два жанровых определения, а иногда и больше: «Сказание и беседа премудра. . .», «Сказание и видение. . .», «Сказание и начертание епистолиям. . .», «Сказание и повесть. . .», «Сказание и послание. . .», «Сказание и поучение. . .», «Повесть и писание. . .», «Повесть и чюдеса. . .», «Наказание или поучение к сыну. . .», «Повесть, сказание о великом царе Дракуле Мытьянские земли», «Житие и деяние и хождение известно и вся избранная славнейшаго и премудрейшаго добродетелна и велеумна мужа самодержьца Александра, великаго царя макидоньскаго», «Житие и повесть досточюдно и дивно о макидонском цари Александре, иже к воинству устремляющимся», «Повесть, сиречь история о великом и храбром Александре, царе макидонском», «История, сиречь повесть или сказание, о русских царях и князьях от Владимира Святого до Алексея Михайловича», «Житие и жизнь преподобных отец наших Варлаама и Иоасафа», «Житие и хожденье Даниила Рускыя земли игумена», «Моление ко царю инока и страдальца Авраамия, сиречь челобитная» и др.

Иногда одно и то же произведение в разных списках имело различные жанровые определения: так, например, «П о с л а н и е м к брату столпнику» и «С л о в о м к брату столпнику» озаглавлено одно и то же произведение Илариона Великого, Житие Александра Невского в разных списках определяется то как «житие», то как «сказание», то как «повесть».

Соединение нескольких жанровых определений в названиях произведения указывает не только на колебания книжника — какое определение выбрать, — но является иногда результатом того, что древнерусские произведения действительно соединяли в себе несколько жанров. Одно и то же произведение могло состоять, например, из жития, за которым следовала служба святому, посмертные чудеса и т. д. Множество произведений «нанизывали» на одну тему отдельные, различные по своему жанру, более мелкие произведения, например: «Сказание и страсть и похвала святою мученику Бориса и Глеба», где были действительно соединены житие («сказание и страсть») с «похвалой»; или «Поучение к ленивым, иже не делают, и похвала делателем». Составной

характер имеют и многие церковные жанры. Так, например, канон состоит из нескольких песен, а каждая песня представляет собой соединение нескольких стихов: первого — ирмоса, последующих — тропарей и последнего — катавасии.[1] Однако главная причина смешения и неясного различения отдельных жанров в древнерусской литературе состояла в том, что основой для выделения жанра, наряду с другими признаками, служили не литературные особенности изложения, а самый предмет, тема, которой было посвящено произведение. В самом деле, жанровые определения Древней Руси очень часто соединялись с определениями предмета повествования: «видение», «житие», «подвизи», «страсть», «мучение», «хожение», «чюдо», «деяния» и пр. (ср. «Мучение Варвары и Иулиании», «Мучение Елеазарово», «Мытарства Феодоры», «Видение Григория»).

На судьбе многих названий русских жанров можно проследить, как постепенно определение предмета повествования обрастало совокупностью литературных признаков, с которыми этот предмет должен был быть связан по средневековому литературному этикету, и только тогда становилось жанровым определением в собственном смысле этого слова.

Возьмем хотя бы такое хорошо известное название жанра, как «житие». Из обычных сочетаний в названии произведений — «житие и мучения», «житие и терпение», «житие и жизнь и преставление» — ясно, что древнерусский книжник вкладывал в понятие «житие» несколько иное содержание, чем вкладываем мы. Для древнерусского книжника слово «житие» было очень часто не столько указанием на жанр произведения, сколько указанием на предмет повествования. Только впоследствии (не ранее XIV в.) слово «житие» начинает твердо обозначать определенный жанр повествовательной литературы. Процесс разграничения между определением жанра и определением предмета повествования был очень сложным. Надо надеяться, что литературоведам в исследовании истории жанровой терминологии Древней Руси со временем помогут лексикографы.

* * *

Отметим также, что произведения древнерусской письменности находятся в сложных отношениях взаимопроникновения. Подобно тому как в феодальном обществе каждая политическая ячейка составляет часть более крупной, в древнерусской письменности одни произведения входят в состав других. Соответственно и жанры не равноправны и не однородны, а составляют своеобразную иерархическую систему.

---

[1] Никольский К. Обозрение богослужебных книг православной российской церкви по отношению их к церковному уставу. СПб., 1858, с. 23.

В научной литературе обычно принято называть более или менее крупные объединения письменных произведений сборниками — устойчивого и неустойчивого состава. Обратим внимание на другое: и устойчивые и неустойчивые сборники различаются по жанру, некоторые из них не могут даже быть названы просто сборниками — настолько устойчив их тип: патерики, четьи-минеи, хронографы, прологи, торжественники, цветники, азбуковники и пр. Я перечислил едва ли десятую часть всех тех типов «сборников», каждый из которых также может рассматриваться как определенный жанр. Состав их может быть весьма различен, но тип сохраняется неизменным. Эти типы сборников в свою очередь могут быть разделены на подтипы. Несколько подтипов имеют четьи-минеи, патерики, азбуковники, палеи, летописи и т. д.

Все эти типы и подтипы сборников должны также рассматриваться как жанры, но жанры особые — объединяющие другие жанры. Включаемые в состав этих объединяющих жанров произведения отнюдь не однородны по жанру. Жанр сборника только отчасти определяется жанрами входящих в него произведений: если бы мы попытались определить жанровый состав произведений, входящих в хронографы, четьи-минеи, летописи и пр., то нам пришлось бы перечислить почти все первичные жанры древнерусской письменности. Сложный состав таких объединяющих жанров подчеркивается иногда в самих названиях произведений. Вот, например, как определяется «Дорофея митрополита Монемвасийского хронограф»: «Книга историчная или хронограв, сиречь летописец, объемля вкратце различныя и изрядныя истории, сиречь повести. . .».[2] Или определение содержания Синайского патерика — «Патерик, сиречь Отечник, святыя горы Синайския: жития и словеса, поучения и чюдеса живущих тамо отец».[3] Иногда сложный и пестрый характер сборников отражается в самих их названиях: «Вертоград», «Виноград» (т. е. сад), «Венец» (например, «Венец молитв»), «Цветослов» (например, «Анфологион, сиречь Цветослов»), «Брашно духовное» (под таким названием известен сборник слов, изданный Иверским монастырем в 1661 г.), «Пчела» и др. Метафора, заключенная в каждом из этих названий, указывает, что перед нами произведение собранное, составное, соединяющее лучшее и полезное. Отдельные объединяющие жанры включают первичные жанры в определенной пропорции. Так, например, в состав хронографа, летописи, степенной книги входят годовые статьи, исторические повести, жития, грамоты, поучения и пр., но пропорции их в каждом из упомянутых объединяющих их жанров будут особые. Годовые статьи будут преобладать в жанре летописи, жития —

---

[2] Востоков А. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842, с. 167—168.

[3] Строев П. М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы. СПб., 1882, с. 94.

в жанре степенной книги, историческое сюжетное повествование — в жанре хронографа и т. д.

Кроме того, при включении первичных жанров в объединяющие жанры первые очень часто приспосабливаются для вторых. Иногда это приспособление выражается в изменении заглавия произведения, в других случаях — объема произведения (при включении в летопись из жития часто отбрасывались «чудеса», риторические вступления и пр.), в третьих случаях изменялся самый стиль произведения, в четвертых из произведения извлекались лишь определенные сведения. В результате произведения изменялись иногда до неузнаваемости, почти всегда включение произведения в состав объединяющего его «сборника» сопровождалось идеологической его проверкой — произведение подчинялось идейной направленности «сборника» в целом.

Характерно, что в XVI и XVII вв., когда иерархия жанров начинает претерпевать значительные изменения и частные произведения из состава объединяющих их крупных произведений начинают переписываться отдельно, принадлежность их к составу объединяющих жанров настолько еще ощущалась, что в названии их очень часто указывали тот объединяющий жанр, из которого они были взяты: «из книги степенной. . .», «от книг бытейских», «от книги глаголемыя библии», «из Лимониса», «от Шестодневника преписано», «от соборьника азбучнаго», «История из Римских деяний переведена ново», «от книги летописной повесть о царе Мамере» (Сны Шахаиши), «Притча о богатых от болгарских книг», «Выписано из летописи, в которое лето прииде благоверный великий князь Владимир Святославичь Киевский в Залескую землю», «Выписано из рымских кронномов повесть о царе древнем Дариане, како хотя назватися богом» (Повесть об Адариане) и пр.

Каждый исследователь рукописей знает, однако, что эти определения могут быть и ложными, что в степенной или патерике могут вовсе и не найтись данные произведения; их там могло и не быть вовсе. Очень часто эти указания следует рассматривать как указания на жанровую принадлежность и только.

Сложные структурные взаимоотношения жанров составляют характерную особенность древней русской литературы, резко отличающую ее от новой литературы, где существует своеобразное равноправие жанров. Правда, и в новой литературе мы можем встретить вставные новеллы в романе («Пиквикский клуб» Диккенса), лирическую песнь в драме или стихи в романе, но это включения иного типа — они не составляют системы и тем или иным образом должны быть мотивированы автором (повесть в романе рассказывает один из его героев, лирическую песнь поет действующее лицо драмы и т. д.). В средневековой же русской литературе мы находим включение одних произведений в состав других без внешней мотивировки, как особенность самой жанровой структуры произведения. Хронограф, патерик, торжественник потому включают в свой состав произведения других первичных

жанров, что такова сама природа их жанров. Это особенность жанрового сосуществования Древней Руси, своеобразной «феодальной иерархии» жанров.

* * *

Хорошо известно, что в Древней Руси не было руководств по написанию литературных произведений, не было в собственном смысле литературной критики и литературной науки. Мы можем лишь говорить об элементах того и другого. Каким же образом древнерусские книжники могли разобраться в великом множестве жанров и поджанров, находящихся к тому же в сложных иерархических взаимоотношениях? Каким образом это многообразие не превращалось в хаос? Каковы были те ориентиры, которые помогали древнерусским книжникам легко находить нужный жанр для составления новых произведений и определять жанр уже написанных?

Эти ориентиры были в основном внелитературного порядка. Они находились в бытовом укладе феодального общества и поэтому обладали в известной мере и бытовой же, «этикетной», принудительностью.[4]

Литературные жанры Древней Руси имеют очень существенные отличия от жанров нового времени: их существование в гораздо большей степени, чем в новое время, обусловлено их применением в практической жизни. Они возникают не только как разновидности литературного творчества, но и как определенные явления древнерусского жизненного уклада, обихода, быта в самом широком смысле слова.

Вряд ли мы можем усмотреть в литературе нового времени существенное различие между рассказом и романом по их употреблению в обиходе. Тот и другой предназначены для индивидуального чтения. Несколько более существенны в литературе нового времени, с точки зрения обиходного употребления, различия между лирикой и художественной прозой — в совокупности всех ее жанров. Это сказывается, в частности, в возрастных различиях интереса к лирике. Роль лирики в обиходе несколько иная, чем роль других жанров (лирику и стихи вообще не только читают, ее декламируют и пр.). Однако даже при всех различиях «употребления» жанров последнее не составляет их коренной особенности.

В русской средневековой литературе иное: жанры различаются по тому, для чего они предназначены. Слова произносятся в церкви, и в зависимости от того, по каким дням они произносятся, можно различать отдельные их поджанры. Жития святых

---

[4] О принудительности «литературного этикета» см.: Лихачев Д. С. Литературный этикет древней Руси: (к проблеме изучения). — ТОДРЛ, М.; Л., 1961, т. 17, с. 5—16.

также связаны с церковным богослужением и монастырским обиходом. Мы можем различать жития минейные и проложные не по тому только, что первые включаются в четьи-минеи, а вторые в прологи, но и по тому, что первые и вторые читаются в различной обстановке. Священное писание было в ходу в виде сборников с указаниями, что и когда читать при богослужении. Не случайно, что полный перевод Библии появился только в конце XV в. при Геннадии Новгородском. Ветхий завет до конца XV в. был у нас известен только в переработке для церковного чтения («Паремийники», «Палеи» и пр.). Творения отцов церкви также располагались в сборниках по периодам церковного года (сборники «Златоструй», «Златая цепь», «Златоуст», «Торжественник» и др.). Кроме того, до нас дошли сборники церковных служб, молитв, песен, житий святых (прологи, патерики, различных типов минеи), толкований на отдельные книги Священного писания, изречений, церковных законов, а также кормчие, номоканоны, уставы, требники и т. д. — все в той или иной степени определявшиеся в своем составе потребностями церковного обихода. Многие виды церковных песнопений различались не по форме и содержанию, а по тому, в какой церковной службе и в какой части этой службы они исполнялись. Другие виды — по тому, как они исполнялись (троичные гласы, трижды исполнявшиеся на утрени после шестопсалмия и ектении, антифоны, певшиеся попеременно на двух клиросах). Некоторые виды церковных песнопений назывались по тому, как положено было вести себя при их исполнении. Таковы седальны (при пении их начинали садиться),[5] катавасия (последний стих, для которого певцы сходились на середину церкви).[6] В Древней Руси существовали разные виды Апостола в зависимости от его употребления в церковном обиходе. Существовали и разные виды Псалтири, также возникшие из потребностей церковного уклада: [7] 1) Псалтирь с следованием, Псалтирь с восследованием, Псалтирь следованная, 2) простая Псалтирь, Псалтирь малая, или Псалтирь келейная, 3) Псалтирь гадательная.[8]

Служебный характер жанров выразительно демонстрируется преобладанием евангелий апракос над евангелиями тетр. По подсчетам Н. В. Волкова, почти все списки дошедших до нас пергаменных евангелий (всего их в конце XIX в. было известно 139) во главе с евангелием Остромировым 1057 г. представляют собой евангелия для служебных чтений — апракос, тогда как тетроевангелий сохранилось всего несколько, из них древнейшее — Галицкое 1144 г.[9]

---

[5] Никольский К. Обозрение богослужебных книг. . ., с. 31.

[6] Там же.

[7] См.: Употребление книги Псалтирь в древнем быту русского народа. — Православный собеседник, Казань, 1857, кн. 4, с. 814—856.

[8] Сперанский М. Из истории отреченных книг. — ПДПИ, СПб., 1899, № 129.

[9] Волков Н. В. Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI—XIV веков. — ПДП, СПб., 1897, № 123, с. 41.

Если мы от церковной книжности обратимся к книжности светской, то и здесь заметим ее подчиненность быту, обиходу, деловым интересам. Состав светских жанров в большей мере отличался в Древней Руси от византийского, поскольку светский быт Древней Руси был более своеобразен, чем быт церковный. Формирование новых жанров в Древней Руси, особенно в первые века ее существования, было в основном подчинено практическим, деловым потребностям. В отношении некоторых жанров это выяснено в последние, послевоенные годы с полной достоверностью и обстоятельностью: возникают различные жанры путешествий (хождения,[10] статейные списки[11]); происходит формирование особых жанров под влиянием жанров деловых грамот и деловой переписки,[12] рождаются различные жанры демократической сатиры из пародирования документов, церковных служб и пр.[13]

Требует дополнительных разысканий возникновение жанра летописи. В этом отношении очень много может дать исследование обстоятельств, при которых та или иная летопись возникла. Некоторые летописи возникли в связи с вокняжением того или иного князя, другие — в связи с учреждением епископства или архиепископства, третьи — в связи с присоединением какого-либо княжества или области, четвертые — в связи с построением соборных храмов и т. д. Все это наводит на мысль, что составление летописных сводов было моментом историко-юридическим; летописный свод, рассказывая о прошлом, закреплял какой-то важный этап настоящего. Что представляло собой это летописное закрепление настоящего, не совсем ясно. Оно было, по-видимому, не только явлением исторического сознания, но в какой-то мере юридического и художественного. Для истории самого жанра летописи очень важно точно выяснить, при каких обстоятельствах обращались к летописям, определить функции этого жанра. Мы знаем, что летописцами были по преимуществу официальные лица: служащие княжеские и владычнии, уставщики, псковские

---

[10] Данилов В. В. О жанровых особенностях древнерусских «хождений». — ТОДРЛ, М.; Л., 1962, т. 18, с. 21—37.

[11] См.: Каган М. Д. «Повесть о двух посольствах» — легендарно-политическое произведение начала XVII века. — ТОДРЛ, М.; Л., 1955, т. 11, с. 218—254.

[12] См.: Дробленкова Н. Ф. Новая повесть о преславном Российском царстве и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.; Л., 1960; Каган М. Д. Легендарная переписка Ивана IV с турецким султаном как литературный памятник первой четверти XVII в. — ТОДРЛ, М.; Л., 1957, т. 13, с. 247—272; Робинсон А. Н. Поэтическая повесть об Азове и политическая борьба донских казаков в 1642 году. — ТОДРЛ, М.; Л., 1948, т. 6, с. 24—59; Назаревский А. А. О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала XVII века. Киев, 1961.

[13] См.: Адрианова-Перетц В. П. Очерки по истории русской сатирической литературы XVII века. М.; Л., 1937 («Праздник кабацких ярыжек», «Калязинская челобитная», «Лечебник, как лечить иноземцев» и пр.).

посадники, впоследствии — дьяки. Летописание велось при княжеских и епископских дворах, в монастырях, затем — в Посольском приказе, в XVII в. был создан особый Записной приказ.

Важно отметить, что когда летописание начинает применяться для частного чтения, оно меняет свой характер: становится беллетристичнее и назидательнее.

Ясно, что употребление хронографов было иным, чем употребление летописи. Хронографы предназначались для неофициального, индивидуального чтения, и поэтому элементов беллетристичности, внешней занимательности, философских и общеисторических назиданий в них гораздо больше, чем в летописи. Когда летопись приближается к частному чтению, в ней усиливаются «хронографические» приемы изложения (в XV—XVII вв.).[14]

Большой интерес представляет выяснение причин возникновения жанра повестей о княжеских преступлениях в XI—XIII вв.: таких как «Повесть об ослеплении Василька Теребовльского», «Повесть об убийстве Игоря Ольговича», «Повесть о клятвопреступлении Владимирки Галицкого» боярина Петра Бориславича, «Повесть об убийстве Андрея Боголюбского» и пр. Все эти повести возникли из потребностей феодальной борьбы: для доказательства нравственной и юридической справедливости войны одного князя против другого, виновности одних и правоты других.[15] Характерно, что одно из первых русских житий — житие Бориса и Глеба — с самого начала было в жанровом отношении деформировано этими потребностями: оно приближалось по своему типу к повестям о княжеских преступлениях. Основное место в нем заняло описание убийства святых братьев Святополком. Перед этим описанием преступления Святополка отступили на второй план традиционные жанровые признаки жития. В дальнейшем рассказы о княжеских преступлениях полностью или частично эмансипировались от житийного жанра. То же самое произошло и с летописью. Первое произведение этого жанра на русской почве еще тесно примыкало к жанру патерика, но патерика деформированного историко-юридическими задачами.[16] В дальнейшем эта деформация привела к кристаллизации жанра летописи. Аналогичную картину возникновения хроник видим мы и в чешской литературе.[17]

Преобладание в Древней Руси обиходных, «обрядовых», «деловых» жанров сказалось, между прочим, на одной их особенности, резко обозначившейся в их стиле: все они рассчитаны для произнесения вслух.[18] Это сказывается в ритме, рассчитанном для

---

[14] См. подробнее: Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947, с. 331—353.

[15] См. подробнее: Там же, с. 247—267.

[16] Там же, с. 35 и след.

[17] Кралик О. Повесть временных лет и легенда Кристиана о святых Вячеславе и Людмиле. — ТОДРЛ, М.; Л., 1963, т. 19, с. 117—207.

[18] В Слове Иоанна Златоуста «О лживых учителех» специально предписывалось читать книги вслух для других: «Горе же тому, иже не почитает св.

пения или для чтения вслух, в обилии ораторских оборотов речи, ораторских обращений к слушателям и т. д. Этим объясняется, между прочим, что риторики даже в XVII в. играли роль поэтик.

В силу своего внелитературного употребления, служебной предназначенности жанры литературы выходили за пределы литературы и имели тесные контакты с жанрами других искусств: живописи, архитектуры и в особенности музыки.

Контакты с жанрами живописи и формами архитектуры могут на первый взгляд показаться странными, однако я напомню о литературном жанре «чудес от икон», «сказаний об иконах», иконах и росписях на сюжеты песнопений или рассказов «Лимониса», патериков и пр., подписей в житийных клеймах, подчинении росписей храмов в их целом литературным схемам, подчинении архитектуры церемониальным схемам богослужения и пр. Все эти контакты жанров и видов различных искусств требуют внимательного изучения. В последнее время по этому вопросу публикуется много статей в разделе «Литература и искусство» Трудов Отдела древнерусской литературы. К сожалению, однако, у нас все еще мало изучаются связи жанров литературы и музыки. Это особенно важно для древнерусского стихотворства, и об этом недавно напомнил в своей книге «Зачем и кому нужна поэзия» Н. Н. Асеев (М., 1961, с. 94—95).

Отмечая единство жанров музыкально-словесных, А. В. Преображенский писал: «На месте своего происхождения этот поэтический материал неизбежно облекался немедленно же, если не под пером одного и того же автора, в форму музыкально-певческую, ибо это было „песно-пение“, гимно-графия. Здесь гимн как хвала не мог оставаться исключительно в оболочке слова, не доходя до завершения в мелодии, песне. Такой характер творчества в конце концов приводил к тому, что *в основе музыкального изложения лежала та же самая форма, какая была положена в основу словесного* (курсив мой. — *Д. Л.*). Поэтому, например, лежавший в основе конструкции псалмов словесный параллелизм целиком отражался и в музыкальной форме, так должно было быть и в христианских стихирах. Элементами необходимого контраста выступали дополнительные части в виде запевов, припевов, вводных и заключительных частей».[19]

Отсюда ясно, что изучение жанров музыкально-словесных не может ограничиваться только их словесной стороной. Это особенно важно в тех случаях, когда дело касается возникновения стихотворных жанров.

книг писания пред всеми, но яко Иуда скрываяй талант рекше учение господне, сведению, толкованию испытывающу, яко Арий безумный ино хранящe книги... и моряще инех гладом духовным» (Яковлев В. А. К литературной истории древнерусских сборников: Опыт исследования «Измарагда». Одесса, 1893, с. 46—47).

[19] Преображенский А. В. Култовая музыка в России. Л., 924, с. 10.

* * *

Другим стимулом существования жанров и образования новых был интерес познавательный. Он в известной мере наличествовал уже в первые века русской письменности и затем все более и более возрастал, способствуя развитию индивидуального чтения.

Познавательный характер многих жанров может быть замечен даже по их названиям. Вот несколько типичных: «Сказание, чего ради Великого Новагорода архиепископы на главах носят белые клобуки. . .», «Исповедание въкратце, како и коего ради дела отлучишася от нас латыни. . .»,[20] «Познати, как кружали держати»,[21] «О городах, где которые стоят, или островы».[22]

Характерно, что познавательный интерес в русской литературе сильно возрастает в XV, XVI и XVII вв. Это заметно по составу сборников XV—XVII вв., так называемых сборников неустойчивого содержания, создаваемых писцами для себя или для продажи, но и в том и в другом случаях предназначенных для индивидуального, необрядового чтения, широко распространяющегося в это время. В сборниках этих, объединяющих разнородный материал, очень часто познавательный интерес является преобладающим. Появляются сборники, посвященные истории того или иного города, всемирной истории, сборники, объединяющие географические статьи, отражающие интерес к некоторым религиозным вопросам, и т. д. Такие сборники заключают самый разнообразный в жанровом отношении материал, а иногда дают даже неполный текст произведения, выбирая из последнего только то, что имеет познавательное значение. Это все сборники неопределенного состава, количество которых особенно сильно увеличивается в XV—XVII вв.

* * *

Характер жанров Древней Руси отнюдь не следует объяснять особенностями «средневекового мышления». Мне представляется, что постановка вопроса об особом характере средневекового мышления вообще не правомерна: мышление у человека во все века было в целом тем же. Менялось не мышление, а мировоззрение. В области же мировоззрения, конечно, следует в первую очередь иметь в виду, что средневековая христианская эстетика отрицала искусство как источник эстетического наслаждения. Поэтому христианская эстетика в значительной степени прикладная.

---

[20] Востоков А. Описание русских и словенских рукописей. . ., с. 41.

[21] См.: Музейное собрание рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., 1961, т. 1, с. 160.

[22] Там же.

Усиленное развитие в средние века обряда и церемониала[23] подчинило процессы жанрообразования церемониальной стороне феодального быта. С другой стороны, сказывались познавательные интересы средневекового читателя. Тот и другой стимулы сохранения старых жанров и образования новых не противоречили друг другу, они были взаимосвязаны.

* * *

Если возникновение и существование жанров в литературе Древней Руси определяются в основном внелитературными причинами, то означает ли это, что и самые жанры средневековой письменности — явление в основном нелитературное?

Если бы все дело сводилось к проблеме «средневекового мышления», то ответ был бы именно таким: литературы нет, есть явления внелитературные, заключающие в себе элементы литературности. Положение же, однако, в действительности гораздо сложнее. Оно почти парадоксально.

Несмотря на преобладание внелитературных факторов жанрообразования, специфически литературный характер жанров сказывается очень сильно. Можно даже сказать, что он имеет чрезвычайное значение, и роль жанров в литературном развитии средневековой Руси исключительно велика, как и роль чисто литературных признаков в самих средневековых жанрах.

Попытаюсь обосновать свою мысль. Прежде всего отмечу, что чисто литературные различия жанров сказываются в Древней Руси иногда даже сильнее, чем в литературе нового времени.

Так, например, в отличие от литературы нового времени в Древней Руси жанр определял собой образ автора. В литературе нового времени мы не встречаем единого образа автора для жанра повести, другого образа автора для жанра романа, третьего единого образа автора для жанра лирики и т. д. Литература нового времени имеет множество образов авторов — индивидуализированных, каждый раз создающихся писателем или поэтом заново и в значительной мере не зависимых от жанра. Произведение нового времени отражает личность автора в создаваемом им образе автора.

Иное в искусстве средневековья. Оно стремится выразить коллективные чувства, коллективное отношение к изображаемому. Отсюда многое в нем зависит не от творца произведения, а от жанра, к которому принадлежит последнее. Автор в гораздо меньшей степени, чем в новое время, озабочен внесением своей индивидуальности в произведение. Каждый жанр имеет свой строго выработанный традиционный образ автора, писателя, «исполнителя».

---

[23] Об этом см. в другой моей работе: «Литературный этикет древней Руси».

Один образ автора в проповеди, другой — в житиях святых (он несколько меняется по поджанровым группам), третий — в летописи, иной в исторической повести и т. д. Индивидуальные отклонения по большей части случайны, не входят в художественный замысел произведения. В тех случаях, когда жанр произведения требовал его произнесения вслух, был рассчитан на чтение или на пение, образ автора совпадал с образом исполнителя — так же, как он совпадает в фольклоре.

Я лишен сейчас возможности подробно остановиться на проблеме образа автора в древней русской литературе. Это потребовало бы специальных больших исследований. В мою задачу входит только указать, что проблема жанра в литературе Древней Руси тесно связана с устойчивыми, «жанровыми» образами автора.[24]

В связи со сказанным мне хотелось бы напомнить о проблеме образа автора «Моления» Даниила Заточника. Попытки найти в этом образе черты реального автора, как мне представляется, противоречат художественному методу древнерусской литературы, выставляющему всегда «жанровый» образ автора. Даниил Заточник — образ, типичный для определенного жанра произведений, жанра, проникшего в литературу из фольклора. Это образ скомороха: балагура и умного попрошайки. Это образ, типичный для скоморошьих произведений[25] и отчасти схожий с возникшим в той же ситуации образом певца-поэта средневекового Запада. Е. В. Аничков пишет: «Столько трубадуров, труверов и миннезингеров тратят пафос своего поэтического вдохновения, чтобы просьбами, угрозами, лестью, примерами, воображаемыми или достоверными, легендами и прямым наставлением заставить тех „богачей и баронов", от которых они зависели, проникнуться этим правилом светской жизни, что „широта", как они выражались, т. е. расточительность — показатель и высшая добродетель знатности; у нас „Моление Даниила Заточника", особенно первой версии, где он вовсе не представляет себя заточенным на озере Лач, а лишь бедняком и „нищим мудрым", силится „извитием словес" убедить своего князя оценить и оплатить работу служилого человека, который „на рати не хоробр", зато силен в „сладости словесной"».[26]

Литературная структура жанров резко выступает и в следующем явлении: древнерусские жанры в гораздо большей степени связаны с определенными типами стиля, чем жанры нового времени. Мы можем говорить о единстве стиля праздничного слова, панегирического жития, летописи, хронографа и пр. Нас поэтому не удивят выражения «житийный стиль», «хронографический стиль», «летописный стиль», хотя, конечно, в пределах каж-

---

[24] Проблеме образа автора и образа читателя в русской литературе XI—XVII вв. я предполагаю посвятить особую работу.

[25] См.: Лихачев Д. С. Социальные основы стиля «Моления» Даниила Заточника (наст. изд., с. 185—200).

[26] Аничков Е. В. Западные литературы и славянство. Прага, 1926, очерк 1, с. 68.

дого жанра могут быть отмечены индивидуальные отклонения и черты развития. Для литературы нового времени было бы совершенно невозможно говорить о стиле драмы, стиле повести или стиле романа вообще. Следовательно, и в этом отношении средневековые жанры обладают более резкими, чисто литературными различиями, чем жанры нового времени. Они вбирают в себя большее количество литературных признаков.

Характерно также, что различные жанры по-разному относились к проблеме авторской собственности. «Чувство авторства» было различно в жанре проповеди и в жанре летописи, в жанре послания и в жанре повести. Первые предполагают индивидуального автора и часто надписывались именами своих авторов, а при отсутствии данных об авторе приписывались тому или иному авторитетному имени. Вторые очень редко имели имена авторов; авторской принадлежностью их читатели мало интересовались.

Можно отметить различное отношение к «литературному времени» в проповеднической литературе и в летописи и даже различное отношение в пределах каждого жанра к решению некоторых мировоззренческих вопросов.

Литературное развитие совершается иногда по-разному в пределах отдельных жанров. Есть жанры более консервативные и менее консервативные, придерживающиеся традиционных форм и менее зависимые от традиции.[27]

* * *

Древнерусские жанры были хорошо организованы в том отношении, что они обычно декларативно обозначались в самих названиях произведений: «С л о в о Иоанна Златаустаго о глаголющих, яко несть мощно спастися живущим в мире», «С к а з а н и е о небесных силах», «Книга глаголемая В р е м е н н и к, Никифора патриарха Цариграда, сиречь Л е т о п и с е ц, изложен вкратце», «П р о с т и т е л ь н а я г р а м о т а к мощам Филиппа митрополита», «Книга П а т е р и к, Словеса душеполезна, извещение преподобному отцу нашему Макарию египтянину», «С т р а с т ь святаго мученика Иякова Персянина» и т. п.

Иногда о жанре произведения читатель мог судить по вступительным строкам, по отметке — когда и где читать данное произведение: «Августа в 3 день, преподобнаго отца нашего Антониа Римлянина, иже в Великом Новеграде новаго чюдотворца», «Слово 2-е Кирилла Александрийскаго в неделю мясопустную», «Слово на Дмитриев день, да избудем зла» и т. п.

Стремление выставлять название жанра в заглавие произведения вызвано было, очевидно, особенностями самого художествен-

[27] См. об этом.: Л и х а ч е в Д. С. К вопросу о зарождении литературных направлений в русской литературе. — Русская литература, 1958, № 2, с. 3—13.

ного метода древнерусской литературы. Традиционность литературы исключала использование неожиданного образа, неожиданной художественной детали или неожиданной стилистической манеры как художественного приема. Напротив, именно традиционность художественного выражения настраивала читателя или слушателя на нужный лад. Поэтому читателя необходимо было заранее предупредить, в каком художественном ключе будет вестись повествование. Отсюда эмоциональные предупреждения читателю в самих названиях: «повесть преславна», «повесть умильна», «повесть полезна», «повесть благополезна», «повесть душеполезна» и «зело душеполезна», «повесть дивна», «повесть дивна и страшна», «повесть изрядна», «повесть известна», «повесть известна и удивлению достойна», «повесть страшна», «повесть чюдна», «повесть утешная», «повесть слезная», «сказание дивное и жалостное, радость и утешение верным», «послание умильное» и пр. Отсюда же и пространные названия древнерусских литературных произведений, как бы подготовлявшие читателя к определенному восприятию произведения в рамках знакомой ему традиции. Той же цели предупреждения читателя служат названия произведений, в которых кратко излагается их содержание: «О некоем злодее, повелевшем очки купити», «О невесте, которая двое детей своих порезала, абы замужем была», «О житии и о смерти и о страшном суде» (Слово митрополита Даниила), «Повесть о блаженем старце Германе, спостнице преподобным отцем Зосиме и Саватию, како поживе с ними на острове Соловецком».

Тому же подготовлению читателя к определенному восприятию произведения служат и предисловия к произведениям. Вот начальные стихи одного из многих: «Приидите честное и святое постник сословие, приидите отци и братиа, приидете празднолюбци, приидите овчата духовная, приидете стадо христоименитое, всяка бремена мирьских вещей отвергше и чести непорочъному да явимся. Се бо съвыше наше звание прииде, се духовная трапеза предлежить, се хлеб неистощаемыа пища, и масло милованиа, се целомудрьнаа пъшеница, и вино тело и душю веселяще. . .».[28] В этом вступлении, которое, впрочем, мы не привели полностью, указывается адресат произведения — читатели и слушатели, а также в самой общей форме — предмет повествования и восхваления, но, самое главное, сообщается тот эмоциональный ключ, в котором должно восприниматься все дальнейшее. Читатель как бы подготовлялся к дальнейшему чтению.

Приготовление к чтению занимало в Древней Руси серьезное место. В одном из слов о книжном учении «Измарагда» читаем: «Седящу ти на почитании и послушающу божественных слов, то первее помолися богу, — да ти отверзет очи сердечныя, не токмо написанное чести, но и творити я, и да не во грех себе учения свя-

---

[28] Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908, с. 44 (вступление к Житию Сергия Радонежского).

тых прочитаем».[29] Чтение книг входило в обиход жизни, во многих случаях было связано с обрядом и обычаем; поэтому не всякое произведение и не во всякое время можно было читать; читатель должен был быть предуведомлен в названии произведения: о чем в нем пойдет речь, какого жанра произведение и на какой лад следует настроиться.

Можно было бы указать и другие признаки, по которым древнерусский читатель мог узнавать жанр произведения, его стилистическую и сюжетную принадлежность, его эмоциональную настроенность.

Жанры обладали различными собственными атрибутами, как обладали ими изображения святых. Средневековое искусство есть искусство знака. Знаки принадлежности произведения к тому или иному жанру играли в нем немаловажную роль. При этом бывали случаи, что знак жанра употреблялся в самом прямом смысле этого слова — как особый фигурный значок. Отмечу, что в Типиконе и в Месячной минее отдельные последования имеют знаки («знамения»), указывающие на то, к какому разряду они принадлежат, как должны совершаться (крест в круге, крест с полукружием, один крест, три точки полуокруженные; знаки эти красные и черные).[30]

Если сравнить литературные жанры с родами оружия в войске, то можно сказать, что войско средневековой литературы отличалось обилием и разнообразием оружия. Все роды оружия несут различные знаки: здесь и хоругви, выносные кресты и иконы церковных жанров и различные стяги и знамена — светских. Среди них можно различить и «черленую челку» «Слова о полку Игореве»: тут и крупные знамена объединяющих жанров и значки первичных жанров и поджанров. Каждый род оружия одет в свою форму, т. е. обладает своим стилистическим строем, «жанровым мундиром». Парчевые церковные облачения и военные доспехи воинских повестей перемежаются более бедными, обиходными формами светских, деловых жанров.

Как я уже указывал, жанры средневековой литературы подчинены определенной иерархии: есть жанры объединяющие и жанры первичные. Поэтому, продолжая сравнение, можно было бы сказать, что средневековая литература и построена, как некое войско: роды оружия группируются в войсковые объединения, входят в состав более крупных и т. д.

Вся эта пышная армия литературы церемониально проходит перед нами, строго подчиненная церковному уставу, феодальному светскому этикету, значение которого не менее велико для определения природы древнерусских литературных жанров, чем для выяснения ее других сторон.

---

[29] Яковлев В. А. К литературной истории древнерусских сборников, с. 42.

[30] Никольский К. Обозрение богослужебных книг. . ., с. 61 и след.

Сравнение можно продолжить. Литературное войско обладало громадной силой сопротивляемости. Оно не впускало произведения чуждых жанров, защищая себя от наплыва жанров переводной, иностранной литературы, не связанных с книжным обиходом Древней Руси. Произведения других жанров, не похожих на те, которые имели хождение на русской почве в те или иные века, почти не могли проникнуть на Русь. Прививалось лишь то, что так или иначе было уже знакомо по жанру.

А. С. Орлов писал о переводной литературе: «Принимались, должно быть, преимущественно книги, по темам, сюжетам и формам напоминавшие привычную старую книжность».[31] Далее А. С. Орлов приводит следующие примеры. К нам пришли сродные с летописью «кроники» и анналы, сходные с Козьмой Индикопловом, статейными списками и хождениями космографии, сходные с Домостроем нормативные книги частного, профессионального и общественного уклада: «Экономики Аристотелесовой, сиречь домостроения, книги две» (польское печатное издание 1603 г.), «Гражданство обычаев детских», «Рейнгарда Лорихия книги о воспитании и наказании всякого начальника» (польское печатное издание 1558 г.) и пр. По образцу сборников, служивших материалом для проповедников, к нам перешли «Римские деяния», «Великое зерцало», «Звезда пресветлая», «Небо новое» Галятовского и пр.

То же отмечает и Е. В. Петухов относительно Синодика, когда говорит о той «горячей готовности», с которой древнерусские книжники «брали новый иноземный материал, поскольку он мог служить выражением старых тенденций».[32] Самозащитой жанровой системы должно быть объяснено и то обстоятельство, что в XVII в. западная литература проникла к нам далеко не в новых образцах, а в образцах устаревших для Запада жанров. Эти устаревшие жанры были стадиально близки русской литературе: рыцарские романы, второстепенные произведения провинциального театра, «Римские деяния», которые уже не пользовались ко времени их успеха на Руси особой популярностью в Чехии и Польше, и пр.

При переводе произведения на древнерусский язык происходило одновременно и его приспособление к системе жанров Древней Руси. Характерно, что такой замечательный византийский памятник, как поэма о Дигенисе Акрите, утратил в древнерусском переводе (вернее, переделке) черты принадлежности к жанру героических народных поэм византийского типа, которых не было в древнерусской литературе, и стал в одном ряду с такими произведениями повествовательной прозы, как «Александрия» или «Повесть о разорении Иерусалима».

---

[31] Орлов А. С. Книга русского средневековья и ее энциклопедические виды. — Доклады АН СССР, «В» 1931, № 3, с. 49.

[32] Петухов Е. В. Очерки из литературной истории Синодика. СПб., 1895, с. 284.

Средневековая литература других стран также знала подобные приспособления к действующей системе жанров. «Переходы» произведения из одного жанра в другой мы найдем, например, в различных национальных версиях сюжета о Тристане и Изольде: в английской литературе «Sir Tristram» выполнен в манере английской народной баллады, в исландской — «Сага о Тристане и Изольде» выполнена в жанре исландских семейных саг. Мировая литература знает многочисленные примеры переделок поэм в романы, народных рассказов в новеллы и пр. Грузинский средневековый роман «Висрамиани» (XII в.) является переделкой поэмы «Вис и Рамин» Гургани (XI в.).

Литературы средневековья обладали гораздо более замкнутыми жанровыми системами, чем литературы нового времени.

* * *

Чрезвычайно сложный и очень ответственный вопрос — о взаимоотношении системы литературных жанров Древней Руси и системы жанров фольклорных. Без ряда больших предварительных исследований вопрос этот не только не может быть разрешен, но даже более или менее правильно поставлен. Тем не менее попытаюсь указать на некоторые особенно важные стороны этого вопроса.

Прежде всего обращу внимание на следующее. Если литература нового времени в своей жанровой системе независима от системы жанров фольклора, то того же нельзя сказать о системе литературных жанров Древней Руси. В самом деле, мы видели уже, что система литературных жанров определялась в значительной мере потребностями обихода — церковного и светского. Однако светский обиход обслуживала не только литература, но и фольклор. Высшие слои общества в Древней Руси в эпоху феодализма продолжали еще пользоваться фольклором. Они не были свободны от язычества,[33] они частично участвовали в исполнении традиционных обрядов, слушали и пели лирические песни, слушали сказки и пр.

Конечно, фольклор, бытовавший в господствующем классе общества, был особым, отобранным, может быть, измененным. Само собой разумеется, что фольклор в целом был очень далек от мировоззрения господствующего класса. В. П. Адрианова-Перетц пишет: «Проблема взаимоотношения в Древней Руси литературы и фольклора — это проблема соотнесения двух мировоззрений и двух художественных методов, то сближавшихся до полного совпадения, то расходившихся по своей принципиальной непримиримости».[34] Фольклор и литература противостоят друг

---

[33] См.: Комарович В. Л. Культ Рода и Земли в княжеской среде XI—XIII вв. — ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 19, с. 84—104.

[34] Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор: (К постановке проблемы). — ТОДРЛ, М.; Л., 1949, т. 7, с. 5.

другу не только как две в известной мере самостоятельные системы жанров, но и как два различных мировоззрения, два различных художественных метода. Однако как бы ни были различны фольклор и литература в средние века, они имели между собой гораздо больше точек соприкосновения, чем в новое время. Фольклор, и часто однородный, был распространен не только в среде трудового класса, но и в господствующем. Одни и те же былины мог слушать крестьянин и боярин, те же сказки, те же лирические песни исполнялись повсюду. Несомненно были произведения, которые не могли исполняться для представителей феодальной верхушки: некоторые языческие обрядовые песни, сатирические произведения, песни разбойничьи и т. д. Те произведения, в которых «мировоззрение фольклора» оказывалось антифеодальным, не могли быть распространены в господствующем классе, однако это были только некоторые произведения — отнюдь не все.

Бытование фольклора в среде господствующего класса облегчалось тем, что феодальное мировоззрение по самой своей природе было противоречивым. В нем могли уживаться элементы идеалистические и натуралистические, разные художественные методы. Этой пестротой могли быть пронизаны даже отдельные памятники. Вот почему некоторые фольклорные произведения могли исполняться и для господствующего класса, иногда с теми или иными пропусками.

Давно обращавшее на себя внимание отсутствие в древней русской литературе некоторых жанров — любовной лирики, развлекательных жанров (романа, авантюрных повествований), театра и пр. — объясняется, как мне представляется, не тем, что русская литература была подавлена церковностью (другие светские жанры существовали и достигали зрелого развития, например летопись), а тем, что из этих областей еще не отступил фольклор.

В самом деле, почему до XVII в. у нас не было регулярного театра? Мне представляется, что театр образовался в XVII в. не потому, что его кто-то более или менее случайно «перенес» с Запада или самобытным способом «изобрел» в России, а потому, что в XVII в. в нем появилась потребность. До XVII в. потребность в театре еще не выкристаллизовалась, не отделилась еще от других потребностей в самостоятельную область. Театральность была «разлита» во многих фольклорных жанрах, смешана с ними; элементы театральности пронизывали собой лирические песни и обрядовые, сказку и былины; театральность была представлена и искусством скоморохов.

Когда в XVII в. под влиянием углубления классовой дифференциации общества и роста городов фольклор отступает из господствующей части общества, те стороны эстетической жизни общества, которые питались фольклорными жанрами, потребовали для себя особых форм удовлетворения.

Новые жанры появляются в XVII в. в результате вакуума, созданного отступлением фольклора. Конечно, причины появле-

ния новых жанров не только в этом, они многообразны. Однако отступление фольклора должно быть принято во внимание.

Рыцарский роман в известной мере приходит на место былины и сказки. Именно поэтому он воспринимает черты обоих этих фольклорных жанров. Занимательные рассказы «Римских деяний», «Звезды пресветлой» и т. д. также в известной мере восполняют недостаток сказки. Потребность в сатире перестает удовлетворяться одним фольклором, и в литературе создается демократическая сатира, с одной стороны, и «аристократическая сатира» Симеона Полоцкого — с другой.

Записи былин в XVII в. начинают производиться потому, что в некоторой верхушечной части общества былину перестают слушать. Исполнение былин все более ограничивается сельской местностью и городским посадом.

Если система жанров ф о л ь к л о р а была системой цельной и законченной, была способна в какой-то мере полно удовлетворять потребности народа, в массе своей неграмотного, то система жанров л и т е р а т у р ы Древней Руси была неполной. Она д о п о л н я л а с ь фольклором. Литература существовала параллельно ряду фольклорных жанров: любовной лирической песне, сказке, историческому эпосу, скоморошьим представлениям. Мы знаем, что даже в XVII в. при царском дворе жили старики-сказочники, Дмитрий Пожарский покровительствовал скоморохам. Нам совершенно ясно, почему для Ричарда Джемса были записаны русские песни. Они были записаны прежде всего потому, что он хотел записи их увезти с собой в Англию, где он был лишен возможности их слушать. Не позволяет ли этот факт предположить, что многие записи народных произведений в XVII в. были сделаны также потому, что в какой-то мере (пусть самой малой) в известной среде они становились редкостью. Появление в городской демократической среде, связанной с фольклором, демократической литературы явно зависело от того, что с развитием городов фольклор отступил за пределы городской черты. На смену фольклору пришла его замена — записи фольклора и демократическая полуфольклорная по своему происхождению литература. Вот почему до XVII в. систему литературных жанров мы не можем рассматривать как самостоятельную. Она дополнялась системой жанров фольклора.

Если мы говорим об отсутствии в литературе XI—XVI вв. любовной лирики, то это не значит, что русские люди не имели этой лирики вообще. Как только из некоторой части общества ушла фольклорная лирика, появились любовные песни П. А. Квашнина-Самарина.

Удивлявшее исследователей обстоятельство, что в народном, фольклорном стиле пишет дворянин, аристократ П. А. Квашнин-Самарин, не только не должно нас удивлять, но само по себе очень показательно: в сочинениях фольклорных по своему характеру песен нуждался прежде всего тот, для кого исполнение и слушание их было затруднено в пышных стенах боярских хором.

По той же причине именно при царском дворе и палатах бояр Милославских [35] начинает заводиться театр.

Конечно, не только в аристократической среде появились записи фольклора или замены фольклора новыми литературными жанрами. Мы уже говорили о демократической сатире и о появлении ее вследствие отступления фольклора из города. В данном случае это отступление надо уточнить. Церковь преследовала скоморохов. Из крупных городов они были изгнаны. Тем самым церковь подготовила почву для своего гораздо более сильного врага — театра. Театральность скоморохов передавалась театру Алексея Михайловича, их сатира — демократической литературной сатире городских низов. В первом случае (в театре) связи с фольклором нет. Во втором (в демократической сатире) она налицо. Здесь фольклор выступал как мировоззрение, и сохранить его могли только трудовые слои города.

Во всяком случае можно предположить, что некоторое отступление фольклора породило разнообразные явления в разных жанрах и в разных классах общества.

* * *

Все, о чем я говорил выше, требует еще дальнейших исследований. В частности, не более чем гипотеза изложенные выше взгляды на соотношение жанров литературы и жанров фольклора и на появление книжной любовной лирики, театра, записей фольклорных произведений в результате частичного отступления фольклора из верхов феодального общества в XVII в. Бесспорен, как мне представляется, однако, следующий факт: жанры литературы составляют в совокупности определенную систему, и эта система в разные исторические эпохи различна. Если я смог показать выше необходимость и важность изучения совокупности жанров литературы Древней Руси как определенной системы, меняющейся в процессе развития литературы, я буду считать задачу своего доклада выполненной.

1963

---

[35] Фактически в доме И. Д. Милославского представлений не было, хотя помещение отделывалось.

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖАНРОВ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Распространенные представления о том, что Русь заимствовала в X—XIII вв. жанры своей литературы из Византии и Болгарии, верны только в известной мере. Жанры действительно были заимствованы из Византии и Болгарии, но далеко не все: часть не перешла на Русь, другая часть создавалась здесь самостоятельно начиная с XI в. И объясняется это прежде всего тем, что Русь и Византия стояли на разных стадиях общественного развития. На Руси были свои общественные потребности в литературе. Значительно бо́льшая близость существовала, по-видимому, между Русью и Болгарией, но и тут были крупные различия.

Так, например, Русь не заимствовала из Византии стихотворных жанров. Переводы стихотворных произведений делались прозой и переосмыслялись в жанровом отношении. Хотя первые болгарские писатели и составляли, как это хорошо показано в трудах А. И. Соболевского, Р. О. Якобсона, Н. С. Трубецкого и Д. Костича, стихотворные произведения, но опыт их не вызвал подражаний и продолжения на Руси.

Не составлялись на Руси и придворные хроники, различные философские произведения. Иным было взаимоотношение литературы и фольклора. Так, например, в Византии уже в XII в. велось собирание греческих пословиц. В это время был составлен Федором Продромом сборник пословиц. Их снабдил своими комментариями Михаил Глика. В России же собрание пословиц началось только в XVII в.

Итак, византийская литература и русская были разностадиальны. Поэтому просто возводить жанровую систему Руси к византийской было бы неправильным. Известное стадиальное различие существовало и с болгарской литературой, опередившей русскую более чем на столетие.

Жанры средневековой русской литературы были тесно связаны с их употреблением в быту — светском и церковном. В этом их отличие от жанров новой литературы, образующихся и развивающихся не столько из потребностей обихода, сколько под влиянием внутренних законов литературы и литературных требований. Действительность в новое время воздействовала шире и глубже.

Богослужение требовало собственных жанров, предназначенных для определенных моментов церковной службы. Некоторые жанры имели назначение в сложном монастырском быту. Даже келейное чтение имело свою жанровую регламентацию. Отсюда несколько типов житий, несколько типов церковных песнопений, несколько типов книг, регламентирующих богослужение, церковный и монастырский быт, и т. д. В жанровую систему входили даже такие жанрово не повторяющиеся типы,

как служебные евангелия, несколько типов палеи и паремийников, апостольские послания и пр.

Уже из этого беглого и крайне обобщенного перечисления церковных жанров ясно, что часть жанров могли развивать в своих недрах новые произведения (например, жития святых, которые должны были создаваться в связи с новыми канонизациями), а часть жанров были строго ограничены существующими произведениями, и создание новых произведений в них было невозможно.

Однако и те и другие не могли изменяться: формальные признаки жанров были строго регламентированы особенностями их употребления и внешними традиционными признаками (например, обязательные девять частей канонов и их обязательное отношение с ирмосами).

Несколько менее стеснены внешними формальными и традиционными требованиями были «светские» жанры, перешедшие на Русь из Византии и Болгарии. Эти «светские» жанры (я беру слово «светские» в кавычки, так как по существу они были тоже церковными по содержанию, а «светскими» они были только по их назначению) не связывались с определенным употреблением в быту и поэтому были более свободными в своих внешних, формальных признаках. Я имею в виду такие познавательные жанры, как хроники, апокрифические рассказы (они очень различны по жанровым признакам) и большие исторические повествования типа «Александрии», «Повести о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, «Девгениева Деяния» и т. д.

Обслуживая регламентированный средневековый быт, жанровая система литературы, перенесенная на Русь из Византии и Болгарии, не удовлетворяла, однако, всех человеческих потребностей в художественном слове. Первым обратил внимание на это обстоятельство Р. М. Ягодич в своем интереснейшем докладе на IV Московском Международном съезде славистов в 1958 г.[1] В частности, Р. М. Ягодич указал на недостаточность развития лирики и лирических жанров.

На следующем международном съезде славистов, в 1963 г. в Софии, в своем докладе о жанровой системе Древней Руси я высказал предположение, что этот недостаток отчасти объясняется тем, что потребности в лирике и развлекательных жанрах удовлетворялись жанровой системой фольклора. Система книжных жанров и система устных жанров как бы дополняли друг друга.[2] При этом система устных жанров, не охватывая собой

---

[1] Jagoditsch R. Zum Begriff der «Gattungen» in der altrussischen Literatur. — Wiener slavistisches Jahrbuch, 1957/58, Bd 6, S. 112—137.

[2] Лихачев Д. С. 1) Система литературных жанров древней Руси. — В кн.: Славянские литературы. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963 г.) . М., 1963, с. 47—70; 2) Поэтика древнерусской литературы. М.; Л., 1967, с. 40—65. См. об этом же: Панченко А. М. Истоки русской поэзии. — В кн.: Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. Л., 1970, с. 10.

потребностей церкви, была, тем не менее, более или менее цельной, могла иметь самостоятельный и всеобщий характер, заключала лирические и эпические жанры.

Грамотные верхи феодального общества имели и книжные, и устные жанры. Неграмотные народные массы удовлетворяли свои потребности в художественном слове с помощью более универсальной, чем книжная, устной системы жанров, а в церковном обиходе имели в своем распоряжении и книжные жанры, но только в их устной трансформации. Книжность была доступна народным массам через богослужение, а во всем остальном они были исполнителями и слушателями фольклорных произведений.

Необходимо, однако, обратить внимание на следующее: жанровая система фольклора в средние века, по моему убеждению, была так же, как и литературная система жанров, тесно связана с обслуживанием быта. По существу весь средневековый фольклор был обрядовым. Обрядовыми были не только все лирические жанры (разные типы свадебных песен, связанных с определенными моментами церемоний, похоронных, праздничных и т. д.), но и эпические. Былины и исторические песни выросли из прославлений умерших или героев при определенных обрядах, оплакиваний поражений и других общественных бедствий. Сказки произносились в определенные бытовые моменты и могли иметь магические функции. Только в XVIII и XIX вв. часть эпических жанров освободились от обязательности их исполнения в определенной бытовой обстановке (былины, исторические песни, сказки). В средние же века весь быт был тесно связан с обрядом и обряд определял собой жанры — их употребление и их формальные особенности.

Литературно-фольклорная жанровая система русского средневековья была в отдельных своих частях более жесткой, в других — менее жесткой, но если ее брать в целом, она была традиционной, сильно формализованной, мало меняющейся. В значительной мере это зависело от того, что система эта была по-своему церемониальной, тесно связанной с обрядовым ее употреблением.

Чем более она была жесткой, тем настоятельнее она подвергалась изменению в связи с изменениями быта, обряда, требований применения. Она была негибкой, а следовательно, ломкой. Она была связана с бытом, а следовательно, должна была реагировать на его изменения. Связь с бытом была настолько тесной, что все перемены общественных потребностей и быта должны были отражаться в жанровой системе.

Первое, на что следует обратить внимание, — это появление решительного несоответствия между светскими потребностями феодализирующегося общества в XI—XIII вв. и той системой литературных и фольклорных жанров, которая должна была эти новые потребности удовлетворять.

Система фольклорных жанров, достаточно определенная, была приспособлена по преимуществу для отражения потребностей язы-

ческого родового общества. В ней не было еще жанров, в которых могли бы отражаться потребности христианской религии. В ней не было также жанров, которые отражали бы потребности феодализирующейся страны. Однако русским светским потребностям не могли, как мы уже отмечали вначале, полностью соответствовать и жанры церковной византийской литературы.

В чем же заключались эти потребности светского общественного быта Древней Руси XI—XIII вв.

В княжение Владимира I Святославича окончательно оформилось огромное раннефеодальное государство восточных славян. Это государство, несмотря на свои большие размеры, а может быть, отчасти и именно из-за этих размеров, не имело достаточно прочных внутренних связей. Экономические связи, и, в частности, торговые, были слабы. Еще слабее было военное положение страны, раздираемой усобицами князей, которые начались сразу же после смерти Владимира I Святославича и продолжались вплоть до татаро-монгольского завоевания. Система, с помощью которой киевские князья стремились удержать единство власти и оборонять Русь от непрерывных набегов кочевников, требовала высокой патриотической сознательности князей и народа. На Любечском съезде 1097 г. был провозглашен принцип: «Пусть каждый князь владеет землей своего отца». При этом князья обязались помогать друг другу в военных походах в защиту родной земли и слушаться старшего. В этих условиях главной сдерживающей силой, противостоящей возрастающей опасности феодального разобщения княжеств, явилась сила моральная, сила патриотизма, сила церковной проповеди верности. Князья постоянно целуют крест, обещая помогать и не изменять друг другу.

Раннефеодальные государства вообще были очень непрочными. Единство государства постоянно нарушалось раздорами феодалов, отражавшими центробежные силы общества. Единство государства при недостаточности связей экономических и военных не могло существовать без интенсивного развития личных патриотических качеств. Чтобы удержать единство, требовались высокая общественная мораль, чувство чести, верности, самоотверженность, патриотическое самосознание и высокое развитие искусства убеждения, словесного искусства — жанров политической публицистики, жанров, развивающих любовь к родной стране, жанров лиро-эпических. Помощь литературы была в этих условиях так же важна, как и помощь церкви. Нужны были произведения, которые ясно свидетельствовали бы об историческом и политическом единстве русского народа. Нужны были произведения, в которых решительно обличались бы раздоры князей.

Для пропаганды этих идей было недостаточно одной литературы. Создается культ святых братьев князей Бориса и Глеба, безропотно подчинившихся руке убийц, подосланных их братом Святополком Окаянным. Создается политическая концепция согласно которой все князья-братья происходят от одного из трех братьев: Рюрика, Синеуса и Трувора.

Эти особенности политического быта Руси были отличны от того политического быта, который существовал в Византии и Болгарии. Идеи единства были отличны уже по одному тому, что они касались Русской земли, а не Болгарской или Византийской. Нужны были поэтому собственные произведения и собственные жанры этих произведений. Вот почему, несмотря на наличие двух взаимодополняющих систем жанров — литературных и фольклорных, русская литература XI—XIII вв. находилась в процессе жанрообразования. Разными путями, из различных корней постоянно возникают произведения, которые стоят особняком от традиционных систем жанров, разрушают их либо творчески объединяют.

В результате поисков новых жанров в русской литературе и, я думаю, в фольклоре появляется много произведений, которые трудно отнести к какому-нибудь одному прочно сложившемуся, традиционному жанру. Эти произведения стоят вне жанровых традиций.

Ломка традиционных форм вообще была довольно обычной на Руси. Дело в том, что новая, явившаяся на Русь культура, очень высокая, создавшая первоклассную интеллигенцию, легла тонким слоем на народную культуру — слоем хрупким и слабым. Это имело не только плохие последствия, но и хорошие: образование новых форм, появление внетрадиционных произведений были этим сильно облегчены. Все более или менее выдающиеся произведения литературы, основанные на глубоких внутренних потребностях, вырываются за пределы традиционных форм.

В самом деле, такое выдающееся произведение, как «Повесть временных лет», не укладывается в воспринятые на Руси жанровые рамки. Это не хроника какого-либо из византийских типов. «Повесть об ослеплении Василька Теребовльского» — это тоже произведение вне традиционных жанров. Оно не имеет жанровых аналогий в византийской литературе — тем более в переводной части русской литературы. Ломают традиционные жанры произведения князя Владимира Мономаха: его «Поучение», его «Автобиография», его «Письмо к Олегу Святославичу». Вне традиционной жанровой системы находятся «Моление» Даниила Заточника, «Слово о погибели Русской земли», «Похвала Роману Галицкому» и многие другие замечательные произведения древней русской литературы XI—XIII вв.

Таким образом, для XI—XIII вв. характерно, что многие более или менее талантливые произведения выходят за традиционные жанровые рамки. Они отличаются младенческой мягкостью и неопределенностью форм. Новые жанры образуются по большей части на стыке фольклора и литературы. Такие произведения, как «Слово о погибели Русской земли» или «Моление» Даниила Заточника, — полулитературные-полуфольклорные. Возможно даже, что зарождение новых жанров происходило в устной форме, а потом уже закреплялось в литературе.

Типичным мне представляется образование нового жанра в «Молении» Даниила Заточника. В свое время я писал о том, что это произведение скоморошье.[3] Скоморохи Древней Руси были близки к западноевропейским жонглерам и шпильманам. Близки были и их произведения. «Моление» Даниила Заточника было посвящено профессиональной скоморошьей теме. В нем «скоморох» Даниил выпрашивает «милость» у князя. Для этого он восхваляет сильную власть князя, его щедрость и одновременно стремится возбудить жалость к себе, расписывая свои несчастья и пытаясь рассмешить слушателей своим остроумием. Но «Моление» Даниила Заточника — это не просто запись скоморошьего произведения. В нем есть и элементы книжного жанра — сборника афоризмов. Сборники афоризмов были одним из излюбленных чтений в Древней Руси: «Стословец Геннадия», разного вида «Пчелы», частично — «азбуковники». Афористическая речь вторгалась в летопись, в «Слово о полку Игореве», в «Поучение» Владимира Мономаха. Цитаты из Священного писания (и чаще всего из Псалтири) тоже употреблялись как своего рода афоризмы. Любовь к афоризмам типична для средневековья. Она была тесно связана с интересом ко всякого рода эмблемам, символам, девизам, геральдическим знакам — к тому особого рода многозначительному лаконизму, которым были пронизаны эстетика и мировоззрение эпохи феодализма. В «Молении» подобраны афоризмы, близкие к скоморошьим шуткам. В них есть элементы той «смеховой культуры», которая была столь типична для народных масс средневековья.[4] Автор «Моления» издевается над «злыми женами», иронически перефразирует Псалтирь, в шутовской форме подает советы князю и т. д. «Моление» искусно соединяет в себе жанровые признаки скоморошьего балагурства и книжных сборников афоризмов.

Другой тип произведения, серьезного, даже трагического, но вышедшего из той же среды княжеских певцов, представляет собой «Слово о полку Игореве».

«Слово о полку Игореве» принадлежит к числу книжных отражений раннефеодального эпоса. Оно стоит в одном ряду с такими произведениями, как немецкая «Песнь о Нибелунгах», грузинский «Витязь в тигровой шкуре», армянский «Давид Сасунский» и т. д. Это все произведения одностадиальные. Они принадлежат единой стадии фольклорно-литературного развития. Но особенно много общего в жанровом отношении у «Слова о полку Игореве» с «Песнью о Роланде». Автор «Слова о полку Игореве» причисляет свое произведение к числу «трудных повестей», т. е. к повествованиям о военных деяниях (ср. «chansons de geste»). О близости «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде» писали многие русские и советские ученые — Полевой, Погодин, Буслаев, Май-

---

[3] Лихачев Д. С. Социальные основы стиля «Моления» Даниила Заточника (см. наст. изд., с. 185—200).

[4] См.: Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.

ков, Каллаш, Дашкевич, Дынник и Робинсон.[5] Прямая генетическая зависимость «Слова» от «Песни о Роланде» отсутствует. Есть только общность жанра, возникшего в сходных условиях раннефеодального общества. Но между «Словом о полку Игореве» и «Песнью о Роланде» есть и существенные отличия, и они не менее важны для истории раннефеодального эпоса Европы, чем сходства.

В свое время я уже не раз писал о том, что в «Слове» соединены два фольклорных жанра: «слава» и «плач» — прославление князей с оплакиванием печальных событий. В самом «Слове» и «плачи», и «славы» упоминаются неоднократно. И в других произведениях Древней Руси мы можем заметить то же соединение «слав» в честь князей и «плача» по погибшим. Так, например, близкое по ряду признаков к «Слову о полку Игореве» «Слово о погибели Русской земли» представляет собой соединение «плача» о гибнущей Русской земле со «славой» ее могущественному прошлому. Это соединение в «Слове о полку Игореве» жанра «плачей» с жанром «слав» не противоречит тому, что «Слово о полку Игореве» как «трудная повесть» близко по своему жанру к «chansons de geste». «Трудные повести», как и «chansons de geste», принадлежали к новому жанру, очевидно, соединившему при своем образовании два более древних жанра — «плачей» и «слав». «Трудные повести» оплакивали гибель героев, их поражение и прославляли их рыцарские доблести, их верность и их честь.

Как известно, «Песнь о Роланде» не есть простая запись устного фольклорного произведения. Это к н и ж н а я обработка устного произведения. Во всяком случае такое соединение устного и книжного представляет текст «Песни о Роланде» в известном Оксфордском списке. То же самое мы можем сказать и о «Слове о полку Игореве». Это книжное произведение, возникшее на основе устного. В «Слове» органически слиты фольклорные элементы с книжными.

Характерно при этом следующее. Больше всего книжные элементы сказываются в начале «Слова». Как будто бы автор, начав писать, не мог еще освободиться от способов и приемов литературы. Он недостаточно еще оторвался от письменной традиции. Но по мере того как он писал, он все более и более увлекался устной формой. С середины он уже не пишет, а как бы записывает некое устное произведение. Последние части «Слова», особенно «плач Ярославны», почти лишены книжных элементов. Перед нами случай, когда фольклор вторгается в литературу и выхватывает произведение из системы литературных жанров, но все же не вводит его в систему жанров фольклора. В «Слове» есть близость к народным «славам» и «плачам», но по своему динамическому

---

[5] См.: Л и х а ч е в Д. С. Жанр «Слова о полку Игореве». — В кн.: La Poesia epica e la sua formazione. Roma, 1970, с. 315—330; Р о б и н с о н А. Н. Литература Киевской Руси среди европейских средневековых литератур: (типология, оригинальность, метод). — В кн.: Славянские литературы. VI Международный съезд славистов. М., 1968, с. 73—81.

решению оно приближается к сказке. Это произведение исключительное по своим художественным достоинствам, но его художественное единство достигается не тем, что оно следует, как это было обычным в средневековье, определенной жанровой традиции, а, напротив, нарушает эту традицию, отказывается от следования какой-либо устоявшейся системе жанров, которые определяются требованиями действительности и сильной творческой индивидуальностью автора.

Таким образом, тонкий слой традиционных жанров, перенесенных на Русь из Византии и Болгарии, все время ломался под влиянием острых и динамичных потребностей действительности. В поисках новых жанров древнерусские книжники в XI—XIII вв. часто обращались к фольклорным жанрам, но не переносили их механически в книжную литературу, а создавали новые из соединения книжных элементов и фольклорных.

В этой обстановке интенсивного жанрообразования некоторые произведения оказались единичны в жанровом отношении («Моление» Даниила Заточника, «Поучение» — автобиография и письмо к Олегу Святославичу Владимира Мономаха), другие произведения получили устойчивое продолжение («Начальная летопись» — в русском летописании, «Повесть об ослеплении Василька Теребовльского» — в последующих повестях о княжеских преступлениях), третьи — имели лишь отдельные попытки их продолжить в жанровом отношении («Слово о полку Игореве» и в XV в. «Задонщина»).

В наиболее тяжелый период татаро-монгольского ига — от середины XIII в. и до середины XIV в. — новые произведения создаются по преимуществу в жанрах исторической повести, отражающих коллективно-эмоциональное отношение народа к событиям татаро-монгольского нашествия. Летописное повествование «сжимается» до информации чисто делового назначения: преобладают записи об исторических событиях над рассказами о них. Исключение составляют по преимуществу рассказы о Батыевом нашествии, а в дальнейшем — о событиях борьбы с татарами.

Решительный перелом наступает в последней четверти XIV в. Веяния восточноевропейского Предвозрождения принесли с собой новое отношение к литературе. Индивидуализация религии (исихазм с его молчальничеством, развитие скитничества, уединенной молитвы и пр.) изменила отношение и к чтению. Широко развивается, наряду с обрядовым и «деловым», чтение индивидуальное. Появляется множество келейных книг, а затем и келейных библиотек.[6] Создаются сборники для индивидуального чтения, отражающие индивидуальные интересы составителя. С этим связано появление большого числа новых переводов и новых списков богословских сочинений — сочинений, рассчитанных

---

[6] См. подробнее: Дмитриева Р. П. Четьи сборники XV в. — как жанр. — ТОДРЛ, Л., 1972, т. 27, с. 150—180.

на индивидуальное чтение, на индивидуальное размышление и индивидуальную эмоциональную настроенность. Переводная литература XIV—XV вв. принесла с собой волну новых жанров, широко раздвинувших границы жанровой системы Руси.

Национальный подъем последней четверти XIV в. вызвал появление многих исторических произведений. В связи с государственно-объединительными тенденциями жанр повестей о княжеских преступлениях не возобновляется, но появляется много военно-исторических повестей с публицистическими идеями (повести о битвах на Пьяне и на Воже, повесть о Едигее и пр.) или идеями национально-патриотического характера (цикл повестей о Куликовской битве). Эти исторические произведения имеют свои жанровые особенности, которых не было в исторических произведениях домонгольской Руси.

Развитие индивидуального чтения, о котором мы сказали уже выше, принесло с собой не только огромное расширение репертуара чтения, но и репертуара жанров. Индивидуальное чтение поддерживало интерес к новым произведениям, развивало познавательные жанры, развивало жанры, в которых главную роль начинали играть занимательность, сюжетность, воображаемые события.

Потребность в новых жанрах отчасти удовлетворялась в конце XV и в XVI вв. внесением в литературу жанров деловой письменности. Эти же деловые жанры «оправдывали» появление фантастических сюжетов, с которыми долго и упорно боролось средневековое литературное сознание, но которого настойчиво требовало индивидуальное чтение. Вступая в свои права, фантастика долго маскируется изображением бывшего, действительно существовавшего или существующего. Вот почему в XVI в. жанры различного рода «документов» как формы литературного произведения входят в литературу одновременно с вымыслом. Забегая несколько вперед, скажем, что в начале XVII в. появляются статейные списки посольств, которые никогда не существовали. Эти статейные списки долго считались в науке «подложными», на самом деле — это литературные произведения, в которых вымысел подается читателю как действительно бывшее в форме документа.[7] В летопись входит элемент выдумки. В уста исторических лиц вкладываются измышленные речи. С одной стороны, в традиционные жанры (в летопись, в степенную книгу, в «истории» и «сказания») широко проникает документ (грамоты, ярлыки, послания, разряды), а с другой стороны, жанры деловых документов входят в литературу и получают здесь чисто литературные функции.

Сложные и разносторонние искания в области жанров могут быть прослежены и в публицистике. Устойчивость жанров нарушена и здесь. Темы публицистики — темы живой, конкретной

---

[7] Каган М. Д. «Повесть о двух посольствах» — легендарно-политическое произведение начала XVII века. — ТОДРЛ, М.; Л., 1955, т. 11, с. 218—254.

политической борьбы. Многие из них, прежде чем проникнуть в публицистику, служили содержанием деловой письменности. Вот почему формы деловой письменности становятся также и формами публицистики. Пересветов пишет челобитные. Художественные и публицистические элементы в значительной степени внесены в «Деяния» Стоглавого собора. Стоглав — факт литературы в той же мере, как и факт деловой письменности.

В литературных целях используется и дипломатическая переписка. Форма дипломатической переписки используется в литературных целях в выдуманной, литературной переписке первой четверти XVII в., якобы бывшей между турецким султаном и Иваном Грозным.[8] Итак, дипломатические послания, постановления собора, челобитные, статейные списки, даже деяния собора становятся формами литературных произведений.

Новым жанровым явлением следует признать «Историю о великом князе московском» Андрея Курбского. Впервые в русской историографии появился труд, цель которого заключалась в том, чтобы вскрыть причины, происхождение того или иного явления в характере и поступках Ивана Грозного. В «Истории о великом князе московском» все изложение было подчинено этой единой цели.

Новым в жанровом отношении явлением следует признать и политическую легенду, получившую интенсивное развитие в XV и в XVI вв. К числу политических легенд надо отнести «Сказание о князьях владимирских». Это официальное произведение, темы которого были изображены на барельефах царского престола в Успенском соборе Московского Кремля. На этом «Сказании» основывались государственные акты и чин венчания на царство. Другие политические легенды — «Повесть о Вавилонском царстве» и «Повесть о новгородском белом клобуке». Эти произведения сходны между собой во многих отношениях. Они выдают исторический вымысел за действительность и поэтому стремятся быть документальными по форме. В них рассказываются авно прошедшие события, но ими оправдываются политические притязания сегодняшнего дня. В них типично соединение вымысла с исторически достоверными событиями.

Наконец, для XVI в. могут быть отмечены и некоторые своеобразные в жанровом отношении явления, связанные с образованием значительного слоя официальных произведений. Вмешательство государства в литературные дела создает официальный стиль «второго монументализма», который в жанровом отношении выражается в создании огромных компилятивных памятников, соединяющих в своем составе разнородные жанровые произведения. Это не было полной новинкой XVI в., так как и ранее в летописи и хронографе мы встречались с аналогичным явлением, вообще характерным для средневековья. Но в XVI в. в связи

[8] Каган М. Д. Легендарная переписка Ивана IV с турецким султаном как литературный памятник первой четверти XVII в. — ТОДРЛ, М.; Л., 1957, т. 13, с. 247—272.

с образованием русского централизованного государства компилятивность развивается до возможных пределов официальной пышности. Создается свод всех книг на Руси, рекомендуемых для частного чтения, — многотомные «Великие четьи минеи» митрополита Макария, создается «Степенная книга царского родословия», многотомный «Лицевой летописный свод» и т. д.

XVII век — это век подготовки радикальных перемен в русской литературе и, прежде всего, в ее жанровой структуре, которая приблизительно со второй трети или с середины будущего столетия начинает совпадать с жанровой структурой западноевропейских литератур.

Изменения, которые подготавливаются в XVII в., обязаны главным образом решительному расширению социального опыта литературы, расширению социального круга читателей [9] и авторов. Прежде чем отмереть, средневековая жанровая структура литературы крайне усложняется, количество жанров возрастает, их функции дифференцируются, и происходит консолидация и выделение литературных признаков как таковых.

Чрезвычайно расширяется количество жанров за счет введения в литературу форм деловой письменности, которым в это время все в большей степени придаются чисто литературные функции. Количество жанров увеличивается за счет фольклора, который начинает интенсивно проникать в письменность демократических слоев населения, и за счет переводной литературы. Новые виды литературы, появившиеся в XVII в. — силлабическое стихотворство и драматургия, — постепенно развивают свои жанры. Наконец, происходит трансформация старых средневековых жанров в результате усиления сюжетности, развлекательности, изобразительности и расширения тематического охвата литературы. Существенное значение в изменении жанровых признаков имеет усиление личностного начала, совершающееся в самых различных областях литературного творчества и идущее по самым различным линиям.

Деление литературы на официальную и неофициальную, появившееся в XVI в. в результате «обобщающих предприятий» государства, в XVII в. теряет свою остроту. Государство продолжает выступать инициатором некоторых официальных исторических сочинений, однако последние не имеют уже того значения, что раньше.

---

[9] Изучению социального состава читателей сравнительно позднего времени посвящены работы: Б у ш В. В. Древнерусская литературная традиция в XVIII в.: (К вопросу о социальном расслоении читателя). — Учен. зап. Саратовского ун-та, 1925, т. 4, вып. 3, с. 1—11; Б е р к о в П. Н. К вопросу об изучении массовой литературы XVIII в. — Изв. АН СССР. Отделение общественных наук, 1936, № 3, с. 459—471; С п е р а н с к и й М. Н. Рукописные сборники XVIII века. М., 1962; М а л ы ш е в В. И. Усть-Цилемские рукописные сборники XVI—XX вв. Сыктывкар, 1960; Р о м о д а н о в с к а я Е. К. О круге чтения сибиряков в XVII—XVIII вв. в связи с проблемой изучения областных литератур. — В кн.: Исследования по языку и фольклору. Новосибирск, 1965, вып. 1, с. 223—254.

Частично литературные произведения создаются при дво Алексея Михайловича или в Посольском приказе, но они выражают точку зрения среды придворных и служащих, а не выполняют идейные задания правительства. Здесь, в этой среде, могли быть и частные точки зрения или, во всяком случае, известные варианты. . .

Таким образом, огромные официальные жанры — «левиафаны», типичные для середины XVI в. с его стилем «второго монументализма», в XVII в. отмирают. Зато в жанрах усиливается индивидуальное начало. Автобиографические элементы проникают в исторические сочинения, посвященные событиям Смуты, в жития, и во второй половине XVII в. появляется уже жанр автобиографии, вобравший в себя элементы житийного жанра и исторического повествования. Главный, но не единственный представитель этого жанра автобиографии — «Житие» протопопа Аввакума.

Типичный пример образования в XVII в. нового жанра — это появление жанра «видений» в период Смуты. Видения были известны и раньше как часть житий святых, сказаний об иконах или как часть летописного повествования. В эпоху Смуты жанр видений, исследованный Н. И. Прокофьевым,[10] приобретает самостоятельный характер. Это остро политические произведения, рассчитанные на то, чтобы заставить читателей безотлагательно действовать, принять участие в событиях на той или иной стороне.

Характерно, что в видении соединяется устное начало и письменное. Видение возникает в устной молве и только после этого предается письму. «Тайнозрителями» видения могли быть простые посадские люди: сторожа, пономари, ремесленники и т. п. Но тот, кто предает это видение письму, автор, — еще продолжает принадлежать высшему церковному или служилому сословию. Однако и те, и другие уже не столько заинтересованы в том, чтобы прославить святого или святыню, сколько в том, чтобы подкрепить авторитетом чуда свою политическую точку зрения, свои обличения общественных пороков, свой политический призыв к действию. Перед нами один из характерных для XVII в. примеров начавшегося процесса секуляризации церковных жанров. Таковы «видения» протопопа Терентия, «Повесть о видении некоему мужу духовну», «Нижегородское видение», «Владимирское видение», «видение» поморского крестьянина Евфимия Федорова, и др.

Огромное значение для образования новой структуры литературных жанров имело разделение научной литературы и художественной. Если раньше «Шестоднев», «Топография» Козьмы Индикоплова или Диоптра, как и многие другие произведения естественнонаучного характера, имели равное отношение как

---

[10] Прокофьев Н. И. «Видения» крестьянской войны и польско-шведской интервенции начала XVIII века: (Из истории жанров литературы русского средневековья): Автореф. дис. . . . канд. филол. наук. М., 1949.

к науке, так и к художественной литературе, то теперь, в XVII в., такие переводные сочинения, как «Физика» Аристотеля, «Космография» Меркатора, зоологический труд Улисса Альдрованди, анатомический труд Везалия, «Селенография» и многие другие, стоят обособленно от художественной литературы и никак с нею не смешиваются. Правда, это различение еще отсутствует в «Урядникe Сокольничьего пути», в котором художественные элементы смешиваются с обрядовыми, но это объясняется спецификой самой сокольничьей охоты, интересовавшей русских людей XVII в. не только с утилитарной, но главным образом с эстетической точки зрения.

Нечетким остается различение научных задач и художественных в области истории, но это смешение литературы с наукой будет существовать в исторической литературе в течение всего XVIII в. и частично перейдет в XIX и даже XX вв. (ср. истории Карамзина, Соловьева, Ключевского).

Одной из причин начавшегося более строгого различения между научной и художественной литературой и соответственного «самоопределения» жанров была профессионализация авторов и профессионализация читателя. Профессиональный читатель (врач, аптекарь, военный, рудознатец и пр.) требует литературы по своей профессии, и эта литература становится настолько специфичной и сложной, что ее автором может стать только ученый или техник-специалист. Переводная литература на эти темы создается в специальных учреждениях для специальных целей переводчиками, знакомыми с сложным существом переводимого сочинения.

На Руси в XVII в. усваивается ряд переводных жанров: рыцарский роман, роман авантюрный (ср. повествования о Бове, Петре Златых Ключей, об Оттоне и Олунде, о Василии Златовласом, Брунцвике, Мелюзине, Аполлонии Тирском, Валтасаре и т. п.), нравоучительная новелла, веселые анекдоты (в первоначальном смысле этого слова анекдот — это историческое происшествие) и др.

В XVII в. происходит новое, очень значительное социальное расширение литературы. Наряду с литературой господствующего класса появляется «литература посада», литература народная. Она и пишется демократическими авторами, и читается массовым демократическим читателем, и по содержанию своему отражает интересы демократической среды. Она близка фольклору, близка разговорному и деловому языку. Она часто антиправительственна и антицерковна, принадлежит «смеховой культуре» народа.[11] Частично она близка «народной книге» Западной Европы. Социальное расширение литературы дало новый толчок в сторону ее массовости. Демократические произведения пишутся деловой скорописью, неряшливым почерком, долго остаются и распространяются в тетрадочках, без переплета. Это вполне дешевые рукописи.

[11] См. об этой «смеховой культуре»: Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.

Все это не замедлило сказаться на жанрах произведений. Демократические произведения не связаны какими-либо устойчивыми традициями, особенно традициями «высокой» церковной литературы. Происходит новый прилив в литературу деловых жанров — жанров делопроизводственной письменности. Но, в отличие от использования в литературе деловых жанров в XVI в., новое использование их в XVII в. отличалось резко своеобразными чертами. До появления демократической литературы в жанры деловой письменности вкладывалось литературное содержание, которое не ломало самые жанры. В демократической же литературе деловые формы письменности употребляются иронически, их функции резко нарушены, им придано литературное значение. Деловые жанры употребляются пародически. Сама деловая форма является одним из выражений их сатирического содержания. Так, например, демократическая сатира берет реально существовавшую форму росписи о приданом и стремится именно с ее помощью выразить абсурдность содержания. . . То же отличает, например, церковную форму «Службы кабаку» или «Калязинской челобитной». В произведениях демократической пародии пародируется не автор, не авторский стиль, а форма и содержание, жанр и стиль делового документа.

Новое содержание не вкладывается в деловые жанры, как это было раньше, а взрывает эту форму, делает ее предметом осмеяния, как и ее привычное содержание. Жанр приобретает здесь не свойственное ему значение. По существу перед нами уже не деловые жанры, а новые жанры, созданные путем переосмысления старых и существующие только как факты этого переосмысления. Поэтому каждая из этих форм может быть использована один-два раза. В конечном счете употребление этих «перевернутых» и переосмысленных жанров ограничено. Жанр органически связан с существом замысла и поэтому не может быть повторен многократно.

Процесс использования жанров деловой письменности в демократической литературе имеет типичный для XVII в. разрушительный характер.

Демократическая литература во всем том новом, что она внесла в процесс жанрового развития русской литературы, не стоит обособленно. Многое в ней перекликается по своему значению с тем, что дает, например, для этого развития силлабическое стихотворство.

Силлабическое стихотворство тоже связано с процессом социального расширения литературы, но расширения совсем в другую сторону — в сторону создания литературной элиты: профессионального, образованного автора и читательской интеллигенции.

Единичные и короткие стихотворные тексты, известные еще в рукописях XV и XVI вв.,[12] сменяются в XVII в. регулярным стихотворством: силлабическим и народным.

---

[12] Ср., например, у монаха Кирилло-Белозерского монастыря Ефросина; см. о нем: Седельников А. Д. Литературная история Повести о Дра-

Силлабическое стихотворство принесло с собой множество стихотворных жанров, некоторые из которых явились сюда из прозы: послания (эпистолии), прошения, челобитные, «декламации», поздравления, предисловия, подпись к портрету, благодарения, напутствия, «плачи» и т. п. Силлабическое стихотворство в жанровом отношении было близко к риторике. Оно долго не обретало своей поэтической функции и своей собственной системы жанров. Стихотворная речь воспринималась как не совсем серьезная, как шутливая, церемониальная и церемонная. Риторика явно ощущается, например, в стихотворных «декламациях» Симеона Полоцкого, обращенных к царю Алексею Михайловичу. Стихотворная форма воспринималась как «иронический этикет» и служила смягчению грубости, невежливости, резкости. В стихотворной форме можно было отговорить адресата от женитьбы, попросить денег взаймы, похвалить и восхвалить адресата, не слишком роняя свое достоинство. Это личина, которой автор высказывает свою ученость, свое мастерское владение словом. Силлабическое стихотворство служило также педагогике, поскольку в педагогике XVII в. большую роль играло заучивание наизусть. В стихотворениях Симеона Полоцкого — те же темы и мотивы, что в прозаических «прикладах», включавшихся в такие переводные сборники, как «Римские деяния», «Великое зерцало», «Звезда пресветлая», но поданные читателю с оттенком эмоциональной отчужденности.

В силлабическом стихотворстве был элемент игры. Оно не должно было настраивать читателя эмоционально, а больше — удивлять его словесной ловкостью и игрой ума. Поэтому новые стихотворные жанры ассоциировались с теми традиционно прозаическими, которые требовали витийственности, — жанрами по преимуществу панегирическими (похвалами, эпистолиями и пр.). Даже распространенные в западной поэзии барокко акростихи воспринимались на Руси как традиционная тайнопись и употреблялись главным образом, как и прежде, для сокрытия имени автора из монашеской скромности и смирения.

К силлабическому стихотворству близок по своим жанровым особенностям и раешный стих. Здесь также преобладает шутливость и некоторая, но в данном случае «сниженная» риторичность. В раешный стих также переносятся жанровые формы прозы: «Послание дворительное недругу», «Послание дворянина дворянину», «Сказание о попе Саве», «Повесть о Ерше», «Повесть о Фоме и Ереме» и пр. Характерно, что часть этого рода раешных произведений известна была сперва в прозе и только потом переложена в стихи.

Поэзия, лирика, требующая полного самовыражения автора, не сразу пришла в стихотворство. Впервые поэтическое содержание

куле. — ИпоРЯС, Л., 1928, т. 2, № 2, с. 621—659; Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. — ТОДРЛ, М.; Л., 1961, т. 17, с. 130—168.

согласуется со стихотворной формой только в жанрах народного стиха. Именно от народного стиха с его лирическими жанрами ведет свое начало русская поэзия. Жанры проникшего в письменность народного стиха строже согласуются с поэтичностью задания. Таковы лирические песни Самарина-Квашнина [13] или стихотворная поэма «Горе Злочастие», в которой жанровые особенности представляют собой не свойственное самой народной поэзии необычное соединение признаков лирической песни, духовного стиха и былины.

Изучение жанров с точки зрения их функций (функциональный подход) позволяет выявить основные линии в изменении жанровой системы Древней Руси.

Развитие жанровой системы русской литературы X—XVII вв. демонстрирует процесс постепенного освобождения жанров от их деловых и обрядовых функций и приобретения ими функций чисто литературных. Углубление литературных функций каждого из жанров увеличивает значение этих жанров в общественной жизни страны. Литературные произведения начинают оказывать разностороннее воздействие на действительность, вместо того, чтобы быть частью обряда, частью политики государства, княжества или церкви.

Освобождаясь от узкой предназначенности, литературные жанры приобретают широкое общественное значение.

Этот процесс изменения самого существа жанровой системы связан с двумя явлениями в развитии литературы как таковой: социальным расширением литературы и постепенной индивидуализацией чтения. При этом индивидуализация чтения тесно связана с социальным расширением литературы и, наоборот, — социальное расширение — с индивидуализацией чтения.

Социальное расширение литературы — это расширение социального контингента ее авторов и читателей, расширение социальной тематики и социальной (общественной) предназначенности жанров. Именно в этих условиях своего социального расширения литературные жанры не только теряют связь с обрядом и с узко деловыми функциями, но и приобретают индивидуального читателя, читающего «для себя» и «про себя». Читатель остается с литературным произведением один на один. От индивидуального читателя, а не от значения произведения в той или иной деловой и обрядовой стороне жизни начинает зависеть размножение списков произведения и их судьба. Вот почему в литературе возрастает стремление удовлетворить индивидуальные вкусы, быть разносторонне интересной, а таким образом она приобретает и большее общественное значение.

Развитие системы литературных жанров Древней Руси представляет собой также систему, но только динамическую, действующую и функционально связанную с развитием общественной жизни.

---

[13] Филиппова И. С. Песни П. А. Самарина-Квашнина. — ИОЛЯ, 1972, т. 31, вып. 1, с. 62—66.

Появление новой системы жанров — основной признак перехода русской литературы от средневекового типа к типу нового времени.

Чем в общих чертах различаются эти два типа? Средневековая литература выполняет свое общественное назначение непосредственно и прямо. Жанры средневековой литературы несут определенные практические функции в устоявшемся быте, в укладе церковном, юридическом. Жанры различаются главным образом по своей предназначенности для выполнения тех или иных жизненно необходимых, но более или менее узких функций. Они практически необходимы в разных сторонах общественной жизни. Художественность как бы дополняет и вооружает литературные жанры, способствуя осуществлению ими своих непосредственно жизненных задач. Литература нового времени выполняет свое общественное назначение прежде всего через свое художественное начало. Жанры литературы определяются не своей деловой предназначенностью, а своими чисто литературными свойствами и отличиями. Литература отвоевывает свое независимое место в культурной жизни общества. Она получает свободу от обряда, уклада, от деловых функций и тем самым становится способной выполнять свое общественное призвание не дробно, не в связи с тем или иным конкретным предназначением произведения, а тоже непосредственно, но непосредственно художественно и на более свободном от деловых функций уровне. Она поднялась высоко и стала царить в жизни общества, не только выражая уже сформировавшиеся за ее пределами взгляды и идеи, но и формируя их.

Весь историко-литературный процесс предшествующего времени есть процесс формирования литературы как литературы, но литературы, существующей не для себя, а для общества. Литература — необходимая составная часть общественной жизни и истории страны.

1973

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАНРА РОМАНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1

Существовал ли роман в древнерусской литературе? Если понимать этот термин широко и признавать законность термина «позднеэллинистический роман», то ответить на этот вопрос безусловно следует положительно.

В одном из последних исследований «Девгениева деяния» довольно убедительно доказывается, что слово «деяние» следует переводить как «роман».[1] Слово «деяние», утверждает исследователь, «как нельзя лучше подходит к значению греческого слова δρᾶμα, но не в его классическом смысле, т. е. в смысле драматического представления, а в позднем, византийском значении романа».[2] Исследователь пишет: «Деяние, о котором говорится в заглавии, покрывает собой и историю любви родителей Девгения, арабского эмира, имя которого (Амир) оказывается просто его титулом, и безымянной дочери безымянной же вдовы, историю ее похищения эмиром, рассказ о поисках ее братьев, о переговорах между ними и эмиром, о его переходе в христианство и уходе из Аравии, о его свадьбе, о печали его матери, о посылке ею послов к эмиру, о возникших из этого недоразумениях мѐжду эмиром и его шурьями, наконец, о рождении Девгения и его быстром возмужании, о его доблестном поведении, выказанном на охоте, о его столкновении с Филипапой (Хилиопаппой) и амазонкой Максимо, о его победе над ними, далее историю его любви к безымянной стратиговне, о его похищении ее, о битве между ним и отцом и братьями ее и о его свадьбе и под конец историю его конфликта с византийским царем, его победы, его воцарения».[3]

По существу переведенный у нас «роман» о Девгении был романом позднеэллинистического типа, романом византийским. Это был роман приключений или роман «деяний» одного героя. Типичным представителем этого романического искусства было и другое переведенное у нас еще в Киевской Руси произведение—«Александрия». Здесь главною приманкой для читателя служили не только подвиги героя, Александра Македонского, но и описание чудесных стран, в которых он был со своим войском. Это был не только «роман приключений», но и «роман путешествий».

В переводной литературе найдем мы и другие произведения, близкие к отмеченным нами «романам»: «Повесть о Казарине» или «Повесть о Варлааме и Иоасафе», но «романы» эти были романами

---

[1] Стендер-Петерсен А. И. О так называемом «Девгениевом деянии». — Scando-Slavica, 1954, t. 1, с. 87—97.

[2] Там же, с. 96.

[3] Там же, с. 95—96.

только в условном значении, и рассмотрение их должно по существу интересовать историков эллинистической и византийской литератур больше, чем русской, ибо, как бы ни пытались мы найти нечто похожее в литературе оригинальной, чисто русской, нам это не может удасться.

Правда, в Киево-Печерском патерике читается романическое повествование «О блаженном Моисее Угрине», но это нечто другое: здесь рассказана романическая история любовных домогательств знатной полячки к незнатному венгерскому юноше Моисею, но особых перемен в судьбе обоих не наступает, и все развитие повествовательного сюжета приостанавливается перед неприступным целомудрием юноши.

В сущности мы должны признать, что древняя русская литература (не переводная, а оригинальная) на всем протяжении ее развития, вплоть до XVII в., не знает ничего, что хотя бы отдаленно напоминало собой роман: роман ли приключений, роман ли путешествий, роман любовный или какой-либо другой в его эллинистических, византийских или западноевропейских средневековых формах.

На основании ряда признаков мы можем думать, что роман об Александре Македонском интересовал древнерусских читателей не как роман, а как историческое произведение об одном из самых крупных лиц мировой истории. «Повесть о Варлааме и Иоасафе» была для древнерусского читателя прежде всего житием святых. «Девгениево деяние» воспринималось также прежде всего не как роман, а как произведение об историческом прошлом: своей романтической стороной оно заинтересовало читателей только в XVII в., а отчасти и в XVIII в., когда оно становится особенно популярным. Следовательно, позднеэллинистический и византийский роман не был у нас романом и новых романов этого типа у нас не создавалось.

Почему же это так происходило?

Причиной тому — особый взгляд на письменность, господствовавший и в раннем, и в зрелом периоде феодализма на Руси, вплоть до XVII в. Читатели этого времени предъявляли литературе требование касаться только наиболее значительного, важного — важного и в религиозно-нравственном, и в историческом смысле. Литература была училищем благочестия и училищем патриотизма. Она должна была говорить об устройстве мира и о его истории. Из этих повествований должны были вытекать назидательные выводы. Развлекательность допускалась лишь постольку, поскольку она оправдывалась любознательностью и прикрывалась «серьезностью» излагаемых в произведении мыслей и нравоучений.

В литературе можно было говорить лишь самую непосредственную правду. Вымысел же, открытый вымысел во всяком случае, в литературе не допускался. Все, о чем писалось в произведениях Древней Руси, выдавалось за действительно происшедшее или действительно существующее.

Читая о чуде в Невской битве, когда ангелы, летая над полем битвы, с высоты избивали вторгшихся на Русь шведов, читатели верили или обязаны были верить в полную правдивость этого рассказа. Читая о чуде, которое посмертно совершили Борис и Глеб, освободив из затвора узника, читатели не только верили этому чуду, но и находили в нем определенный политический смысл, отклик на свои антикняжеские настроения. Вера в чудо была настолько велика, что она могла соединяться с юмором: читателей восторгала догадливость киево-печерского монаха Федора, заставившего докучавших ему бесов вертеть жернов и смолоть за ночь пять возов пшеницы, а в другой раз — перетаскать от Днепра на гору бревна для строившейся церкви и даже разложить эти бревна по сортам.

Летописи, жития, различные сказания очень часто ссылаются в Древней Руси на свидетелей, на «послухов» и на письменные источники своих повествований. Украшая свое повествование о прошлых событиях стилистически, они не рискуют снабжать его откровенно вымышленными, оживляющими подробностями, всем тем, что со средневековой точки зрения не могло быть увидено, услышано свидетелями или описано в письменных источниках — в предшествующих повествованиях о том же, в документах, в летописи и т. д. В этом проявлялся особый, средневековый историзм русской литературы XI—XVI вв., историзм, не столько подчиненный средневековым представлениям об истории и расширявший познание исторической действительности, сколько его сужавший, ограничивавший художественное обобщение, подчинявший изложение единичному факту, документу и как бы скрывавший вымысел там, где он фактически все же имелся.

Древнерусские читатели могли с увлечением читать «Александрию», ее рассказы о диковинных людях и диковинных странах, о великанах с львиным обличьем, о безголовых людях, амазонках и стране блаженных, но они не могли «Александрию» сочинить, ибо, переведенная с греческого, она казалась им исторически правдивой, почти документом; в сочинении же подобного произведения выступили бы явственно выдумка и ложь.

Литературное повествование в Древней Руси в некотором отношении претендовало быть документом, притязало на строгую фактичность, поскольку, впрочем, эта фактичность была доступна средневековью. Различие между повествовательным произведением и документом до известной степени стиралось.

Вот почему все новые произведения о прошлом носили в Древней Руси в той или иной мере характер компиляций, сводов предшествующих произведений, новых их редакций, сохранявших фактическую сторону старых произведений и не вносивших новых.

Естественно, что все это ограничивало вымысел и сковывало воображение. Средневековый «историзм» препятствовал развитию повествовательных жанров, развивая обостренное чувство факта и заставляя ценить грубую достоверность.

С этим «историзмом» был связан и ряд других явлений, касавшихся уже самого художественного метода литературы, особенностей жанровой природы произведений и т. д. Явления эти постепенно преодолевались, но, чтобы понять их преодоление, надо присмотреться к ним самим, так как только это поможет нам понять, почему самый жанр романа не мог появиться в XI—XVI вв. и почему он стал возможен на переходе от древней литературы к новой.

Прежде всего отметим, что со средневековым «историзмом» древнерусской литературы сочеталась и известная ограниченность в изображении внутренней, душевной жизни. Приверженные факту повествователи предпочитали говорить о поступках своих героев, об их подвигах, исторических деяниях, о всем значительном, исторически важном, но не о душевной жизни героев, о которой у них не было свидетельств и свидетелей. Повествовательная литература отмечала по преимуществу события и поступки, и то только наиболее значимые с точки зрения исторических воззрений своего времени. Она почти не касалась быта, она не вводила описаний природы самой по себе, ее интересовали не душевные колебания, а решения, не чувства героев, а их внешние проявления, не внутренний смысл того или иного душевного движения, а лишь его «результат», если только при этом он имел какие-то «исторические» последствия. Такой подход к изображаемому делал повествование особенно лаконичным, особенно «монументальным». Литература различала только крупное, мыслила всякое явление только в масштабах всей Русской земли, всего княжества или всего города.

В повествованиях XI—XIII вв. вместо живого человека часто выступает как бы его эмблема, геральдический знак. Общественное положение человека узнается по присущим этому общественному положению признакам и по тем особым добродетелям, которые с этим положением связываются. Перечисляя добродетели князя, автор пишет, что он был «хоробр», «крепок на рати», «страдал от всего сердца» за свою отчину, был милостив к сиротам и «думен», т. е. советовался со своей дружиной. Это добродетели князя; другие добродетели у епископа, святого монаха, у святого отшельника, у мученика за веру и т. д. Почти так же в церковной живописи: апостол Петр узнается по ключу, который он держит в руке, пророки опознаются по свиткам в их руках, отдельные святые — по форме бороды, по форме волос на голове, по одеждам и т. д.

Говоря о своем князе, летописец постоянно изображает его в парадных и официальных положениях: князь во главе своего войска; князь въезжает в город, его радостно встречают жители; князь первым кидается в битву и первым «ломает копье», его сажают на «стол», он принимает послов, ведет переговоры о мире и т. д. Перед нами несколько церемониальных положений, из которых каждое годилось бы для печати князя как его эмблема.

Князь предстает перед читателем в ореоле власти, во всем блеске своего княжеского достоинства. Летописец фиксирует его слова, передает их в наиболее обобщенной форме — почти как сентенции, подчеркивает их мудрость и дальновидность князя.

С другой стороны, враг изображается обычно в момент своего гордого и самонадеянного выступления в поход или в момент своего поражения, когда он с позором бежит, «обернув плечи», или обнимает ноги победителя.

Личным вкусам, привязанностям, привычкам, личным событиям жизни своих героев, бытовой обстановке писатель уделяет место в исключительно редких случаях: когда это отражается на судьбе героя или на исторических событиях.

Душевная жизнь, психология человека интересовали на первых порах только авторов церковно-назидательных сочинений, но и там эти душевные движения трактовались как некие вечные явления человеческой души, свойственные в той или иной степени самой природе человека. И в этой церковно-назидательной литературе отдельные психологические наблюдения никогда не применялись к какому-либо конкретному человеку. Литература, следовательно, либо описывала конкретных, исторически значительных лиц, но только в их исторически значительных поступках, либо говорила о внутренних душевных переживаниях, но не соотносила их с каким-либо конкретным, реальным носителем, а обсуждала их в назидательных целях под знаком вечности. И в том, и в другом случае, с двух противоположных сторон, литература избегала всего того, что могло показаться незначительным, узко частным. Все частное казалось неинтересным, и повествование переносилось в сферу грандиозного, крупного, значительного. Так выработался стиль «монументального историзма», безраздельно господствовавший в XI—XIII вв. и не допускавший появления всех тех элементов, из которых мог сложиться будущий роман. Вся эта система стиля «монументального историзма» была строго подчинена интересам феодального класса, защите основ иерархического устройства феодального общества, защите идеи главенствующей роли князей и крупнейших представителей церкви во всех исторических событиях. Все посторонние вторжения в этот стиль шли снизу — от народа и сыграли, как это мы увидим в дальнейшем, огромную роль в прогрессивном движении литературы к более сложному изображению действительности.

Далее, с чем мы должны считаться, рассматривая причины, по которым жанр романа был совершенно чужд литературному творчеству Древней Руси, это особая природа самих литературных жанров. Жанры в древней русской литературе имели не только литературные функции. Летописи были произведениями историческими и юридическими, необходимыми в политической жизни княжества. Их даже возили в обозе войск, как это было в походе Ивана III на Новгород. Жития святых читались в церкви и в монастыре. Они подразделялись на несколько видов в зависимости от их чисто церковного назначения (жития проложные, патерич-

ные, минейные и др.). Проповеди, послания, поучения, как это видно уже по самим их названиям, применялись в церковной жизни по преимуществу, имели утилитарно-церковное назначение. Сборники типа «Пчелы», «Златоструя», «Златой цепи» и т. д. предназначались для чтения назидательного и церковно-практического, как пособия для произнесения нравоучений и как материал для самообразования. Космографии, физиолóги, «хождения» и пр. были явлениями не только средневековой литературы, но и средневековой науки. Только постепенно вырабатываются жанры чисто литературные. Этот процесс идет крайне медленно в XI—XVI вв. и совершается с изумительной быстротой в веке XVII — на переходе к новому времени.

Роман мог возникнуть только на известной, при этом вполне развитой, стадии развития литературы, в пору, когда в свои законные права вступил художественный вымысел, когда литература стала действительно литературой и полностью отделилась от своих деловых и церковных функций, стала стремиться к занимательности, а затем и к широкому художественному обобщению. Теперь вниманием литературы стал пользоваться рядовой, лишенный высокого общественного положения, ничем не примечательный человек. Литература получила возможность интересоваться его внутренней жизнью, а потому отнюдь не «исторические», а обычные, присущие каждому человеку чувства, мысли, заботы и волнения заняли в литературных произведениях соответствующее место. Стало понятным желание человека выделиться из своей среды, человек вступил в борьбу за свое личное счастье и вошел в конфликт с окружающим миром.

Судьба рядового человека, сперва понимаемая в магическом смысле, с магической персонификацией этой судьбы в виде Горя Злочастия или беса, а затем вполне позитивно — как следствие его личных качеств, став центром литературных интересов, создала первые повествовательные произведения, включившие в себя элементы будущего романа.

Рассмотрим, как постепенно, шаг за шагом создавались задолго до первых романов предпосылки для их появления.

2

Внутренняя жизнь отдельного человека (человека церкви или человека государства) начинает усиленно интересовать составителей житийно-панегирических и исторических произведений с конца XIV—начала XV в.

По существу и в XI—XIII вв. стиль «монументального историзма» был только господствующим стилем, но не единственным. В литературе XI—XIII вв. мы найдем множество исключений, свидетельствующих о воздействии фольклора на литературу, о живых интересах писцов рукописей к психологии людей, к их частной жизни и личным чувствам, к изображению быта и при-

роды. Эти исключения мы найдем и в летописи, и в житиях святых, и в проповеди, но больше всего их в наиболее известном произведении древнерусской литературы — «Слове о полку Игореве». В «Слове» мы видим по существу соединение двух стилей — монументально-исторического и народно-поэтического, судить о котором мы можем лишь отчасти по неполным остаткам его в том же «Слове о полку Игореве», в летописи и в некоторых других исторических произведениях, но отнюдь не по позднейшему народно-поэтическому творчеству XVII—XX вв., представляющему поздний, исторически сложившийся этап в развитии фольклора.

Вполне новый и цельный стиль в литературе развивается только с конца XIV—начала XV в., и строится он на основе интереса к психологическим состояниям человека.

Под влиянием начавшейся централизации государственной власти, новых социально-экономических условий, выдвинувших государственные интересы выше феодально-иерархических и породивших потребность в людях с высокими психологическими качествами, могущих преданно служить единому складывающемуся государству, интерес к внутренней жизни человека достиг крайней степени напряжения. Этот интерес усиливался веяниями южнославянского и византийского Предвозрождения, явившимися на Русь вместе со вторым южнославянским влиянием.[4]

Писатели живописуют с необыкновенной экспрессией гнев, ярость, любовь, терпение, зависть, ужас, чувство преданности до гроба, стойкость в вере, молитвенный экстаз, благоговение, непомерное честолюбие и т. д. Описание этих чувств, их бурных проявлений достигает очень большой экспрессии в литературе этого времени, особенно в Русском хронографе, в произведениях Епифания Премудрого и Пахомия Серба.

Стиль хронографа экспрессивен и чрезвычайно эмоционален. Автор прерывает себя восклицаниями, говорит о своих чувствах и о чувствах своих героев. Поступки людей, согласно хронографическому повествованию, обусловлены внутренними побуждениями. Христианские добродетели или пороки направляют людей в их деятельности. Неистовая злоба, ярость, гнев, зависть, гордость двигают поступками злых. Благочестие и нищелюбие, вера и смирение двигают силой добрых. Властители мечутся, обуреваемые страстями, или совершают подвиги благочестия. Характеристики людей крайне экспрессивны. Стремление к грандиозности изображения, к гиперболам пронизывает изображение. Под влиянием страстей властители совершают чудовищные злодеяния, преодолевают необычайные препятствия. Внешние проявления чувств всегда преувеличены. Люди проливают «тучи слез», плачут по восьми месяцев подряд. Описания рыданий необыкновенно экспрессивны: люди руками «терзают» волосы на голове и бороду, бьются головами о землю.

---

[4] См. подробнее: Лихачев Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России (наст. изд., с. 7—56).

Гнев, зависть до того велики, что служат иногда причиной смерти человека. Одержимые страстями, люди бессильны совладать с ними. Страсти персонифицируются, предстают в виде диких зверей (ярость — лев; хитрость — лисица и т. д.). Отсюда сравнение человеческого сердца со звериным логовом.

Литературное повествование пронизывается панпсихологизмом. Даже предметы мертвой природы, даже отвлеченные явления оказываются злыми, добрыми, награждаются людскими пороками и добродетелями. Земля не выносит злодейств императора Фоки-мучителя и испускает «безгласные вопли». При ослеплении императора Константина «сами стихии о беде плакали». Как одушевленные существа, ведут себя и города — Рим, Константинополь, Антиохия, Иерусалим. При этом все движется резко и бурно, ничто не стоит: всепожирающие звери, бушующее море, тучи, ветер. Все полно одушевленного движения, все смятенно, все ужасно, все полно тайн и скрытого смысла.

Новый эмоционально-экспрессивный стиль в изображении человека находит отклик и в словесной форме, отличающейся резкой эмоциональностью. Изложение пронизывают многочисленные синонимы, сравнения, тавтологические сочетания, восклицания. Авторы часто твердят о том, что они бессильны описать события, внутреннюю жизнь человека, что им недостает слов и т. д.

Интерес к человеческим чувствам, страстям, резким душевным движениям, бурным проявлениям внутренней жизни человека привел к значительному обогащению литературы, однако характер человека еще не был открыт, внутренняя жизнь человека не имела еще развития — она была намечена только экстатическими взрывами чувств. В душевной жизни человека не замечалось развития, изменения происходили в нем мгновенно, под влиянием внезапных решений. Чудо занимало в этих переменах заметную роль, особенно в житиях святых, когда святой крестил язычников, когда сам он обращался к богу, принимал решение искать уединения в отдаленной местности и т. д. Чудо приходило на помощь писателю в тех случаях, когда ему надо было описать резкие перемены в человеке.

Жития святых и хронографическая литература начинали живописать кризисы душевной жизни человека. Человек, деятель истории (это особенно касается хронографа, а с XVI в. и летописи) предстал перед читателем не как вневременная неизменяемая сущность, а со своей личной историей: одним он был в юности, другим оказывался в среднем и старческом возрасте.

Именно этот внезапный перелом, но уже не объясняемый чудом, изобразил в XVI в. А. Курбский в «Истории о великом князе московском». У Курбского Иван Грозный в начале своего царствования добродетельный и мудрый государь, в конце же — злодей, мучитель и безрассудный тиран.

XVI век отмечен чрезвычайным интересом к биографиям исторических деятелей. Создается грандиозная портретная галерея деятелей русской истории — «Книга степенная царского родо-

словия». В этих биографиях есть уже некоторые попытки изобразить душевные перемены без обращения к чуду как литературному приему. Еще больше этого стремления в «Летописце начала царства», посвященном биографии современника — царствующего Ивана Грозного, где с педантической обстоятельностью описываются все важнейшие события его царствования в приподнятом стиле и с пышной торжественностью, но где решениям Грозного приданы уже некоторые объяснения.

Несколько позднее «Летописца начала царства» создается и другой памятник, где идеализированная история Грозного играет существенную роль, — «История о Казанском царстве».

Изложение всех этих исторических сочинений XVI в., и в первую очередь Степенной книги, густо насыщено краткими характеристиками действующих лиц. В них отмечаются и внутренние побуждения, внутренние свойства действующих лиц, но психологизм этот только этикетный — не более. Русские князья в них получают характеристики вполне официальные: они «благоверны», «премудрости и разума исполнены», «кипят духовным благовонием» и пр. Похвала князьям и церковным деятелям демонстрирует трудолюбивые усилия авторов создать пышные образы деятелей русской истории, обессмертить их память.

Придворный этикет подчиняет себе все попытки описать внутреннюю, душевную жизнь. Действующие лица ведут себя так, как им полагается в том или ином случае. Робкое «самосмышление» повествователя никогда не выходит за границы дозволенного и рекомендованного тому высокопоставленному лицу, о котором он рассказывает.

3

События Смуты начала XVII в. сыграли выдающуюся роль в росте новых представлений о человеческой личности и в развитии повествовательного искусства. В число исторических деятелей самой историей были введены отнюдь не родовитые личности: «говядарь» Минин, безродный Болотников, многочисленные авантюристы-самозванцы и т. д. Сама действительность способствовала широкому обсуждению на земских соборах личностей, характеров, политических убеждений отдельных претендентов на царский престол. На «всенародных собраниях», в ополчениях и среди восставшего народа обсуждались те или иные деятели Смуты; политические «переметы» перебегали из одного лагеря в другой, а затем каялись, оправдывались, объясняли перемены своих убеждений и своей ориентации, выставляя тем самым напоказ все дремучие закоулки своих несложных душ.

В 1598 г. состоялись первые выборы русского государя «всею землею». Характер государя стал предметом горячего обсуждения и споров. Будущий монарх, его способности, убеждения обсуждались в боярской думе, на соборах, среди ратников, в толпе народа у стен Новодевичьего монастыря, когда народ, подгоняемый

приставами, «молил» Годунова царствовать в стране. Все это вместе с последовавшей затем крестьянской войной вытравило из народного сознания прежнее отношение к монарху как к наследственному, богоизбранному и человеческому суду неподсудному началу. Отсюда и изменение представлений о государственных деятелях. Было открыто, что человек совмещает в себе и хорошие, и дурные черты, что черты эти складываются в определенный характер, что характер человека слагается постепенно под влиянием событий личной жизни и т. п.

Совершенно новое высказывание о правителях можно встретить в начале XVII в. во многих произведениях, касавшихся событий Смуты: в «Словесах дней и царей» Ивана Хворостинина, в «Повести» Катырева-Ростовского, в «Сказании» Авраамия Палицына и др. Но особенно интересны эти высказывания во второй редакции Русского хронографа: «. . .никто из земнородных не бывает чист от дьявольских ухищрений», «. . .у каждого из земнородных ум может ошибаться и от доброго нрава совращаться злыми людьми» и т. д. Характеристики людей впервые становятся сложными, противоречивыми, сотканными из добрых и злых свойств характера. Авторы некоторых произведений (Иван Тимофеев) прямо заявляют, что они обязаны писать о добродетелях Годунова, поскольку они писали и о его злонравии. Тимофеев считает даже, что только тогда никто его не упрекнет в несправедливости, когда он похвалу Борису Годунову будет соединять с упреками. Если же характеристика его будет только положительной или только отрицательной, то тем самым «обнажится» его «неправдование», т. е. необъективность.

Очень много внимания уделяют авторы начала XVII в. различного рода мнениям о том или ином правителе, слухам о том, как относились в народе к тому или иному государственному деятелю. Говорится, например, о слухах, которыми сопровождались убийство царевича Дмитрия, ссылка Нагих в Углич, возведение на патриаршество Филарета Никитича (отца будущего Михаила Романова) и т. д.

Человеческий характер показывается, следовательно, на фоне толков о нем. Народная молва окружает исторического деятеля. Государственный деятель перестает, следовательно, быть единственным вершителем исторических судеб своей страны. Постоянно все больше и больше осознается роль народа.

Открытие писателями человеческого характера еще отнюдь не походило на то настоящее его открытие, которое произошло у писателей-реалистов XIX в., но и оно было достаточно выразительным.Было обнаружено, что свойства человеческой личности противоречивы, что эти свойства в известном смысле неповторимы, слагаются в целостное явление, в только данному человеку свойственное сочетание, что характер человека воспитывается средой, обстоятельствами его биографии и в какой-то степени может меняться, определяя в то же самое время его поведение.

4

Замечательно, что чем сложнее становилось изображение внутренней жизни человека, тем сложнее становилось и описание окружающего его мира, природы, быта, народа, исторической изменяемости мира и т. д.

Связь появления литературного пейзажа с усложнением представлений о душевной жизни человека несомненна. В XI—XIII вв. отдельные, очень краткие картины природы (в «Поучении» Владимира Мономаха, в «Слове на антипасху» Кирилла Туровского) имели своею целью раскрыть символическое значение тех или иных явлений природы, скрытую в ней божественную мудрость, моральные уроки, которые она преподает человеку. Птицы летят весной из рая на уготованные им места, большие и малые, так и русские князья должны довольствоваться своими княжениями, большими и малыми, и не искать бо́льших, — так рассуждает на рубеже XI и XII вв. Мономах. Весеннее пробуждение природы — символ весеннего праздника Воскресения Христова, — так рассуждает в XII в. Кирилл Туровский. Вся природа, с точки зрения авторов природоведческих сочинений средневековья, лишь откровение божие, книга, в которой можно читать о чудных делах всемогущего. Природа не имеет индивидуальных черт. Индивидуальность места никогда не описывается. Природа имеет значение только постольку, поскольку она — дело божие или воздействует на людей засухой, бурей, холодом, грозой, ветром и т. д.

Однако еще в XV в. в изображении природы намечаются новые черты: буря в природе как бы вторит бурным излияниям человеческих страстей; тихая окружающая природа соответствует умиротворенному безмолвию подвижника. Пейзаж приобретает новое символическое значение: он уже символизирует собой не мудрость бога, а самые душевные состояния, как бы аккомпанирует им. В XVI в. в «Казанской истории» мы найдем описания страданий русского войска от жажды на фоне изумительного описания жаркой безводной степи.

В XVII в. роль пейзажа еще более возрастает, и здесь он приобретает конкретные местные черты. Описание природы Сибири в сибирских летописях не может уже относиться к другой местности, кроме Сибири. Даурский пейзаж в жизни Аввакума есть именно даурский пейзаж, и вместе с тем это описание природы Даурии имеет уже все функции пейзажа, свойственного литературе нового времени. Он служит своеобразным обрамлением для душевных переживаний самого Аввакума, подчеркивает его смятенное душевное состояние, живописует титаничность его борьбы, его одиночество, создает эмоциональную атмосферу, пронизывающую весь рассказ.

Вместе с тем с того времени, как герои литературных произведений «спускаются на землю», перестают ходить на ходулях своих должностных положений, описываются как обычные люди, а не

как князья, бояре, воины, святые, иерархи церкви и т. д., их все теснее окружает быт. Этот быт плотнее всего обступает героев невысокого положения. Он помогает созданию тех все усложняющихся обстоятельств, в которые попадают герои литературных произведений, объясняет их мучения и служит той сценической площадкой, на которой разыгрываются перед читателем их страдания от окружающей несправедливости.

Быт проникает даже в чисто церковные произведения. С этой точки зрения особенно показательны два церковных произведения, которым литературоведы присвоили название «повестей»: «Повесть о Марфе и Марии» и «Повесть о Ульянии Осорьиной».

«Повесть о Марфе и Марии» в сюжетной своей основе — типичное сказание о перенесении святыни из Царьграда на Русь, но этот сюжет вставлен в раму сугубо бытовых отношений. Перед читателем проходят местнические споры мужей обеих сестер, бытовая обстановка длинного путешествия, погоня за чудесными старцами и т. д.

Так же как и в «Повести о Марфе и Марии», в «Повести о Ульянии Осорьиной» идеализируется «средний человек» — вполне «бытовая личность».

Ульяния внешне ничем не примечательная женщина: она родилась в семье служилого человека; как и все в те времена, она выходит замуж очень рано, в шестнадцать лет; муж ее — также обычный служилый человек. Ульяния рожает ему детей, ведет все «домовное строение» с помощью многочисленной челяди. Ее окружает семья — муж, свекор, свекровь, дети. Ей не только не удается осуществить своего заветного желания постричься в монахини, но порой нет даже возможности посещать церковь.

Идеализация ее образа идет своими путями, далекими от прежних житийных трафаретов. Она идеализируется в своих хозяйственных распоряжениях, в своих отношениях к слугам, которых она никогда не называла уменьшительными именами, не заставляла подавать себе воды для умывания рук или развязывать свои сапоги, а всегда была к ним милостива и заботлива, наказывая их «со смирением и кротостию».

Она идеализирована и в своих отношениях к родителям мужа, которым она кротко подчинялась. Она слушает и своего мужа, хотя он запрещает ей идти в монастырь. Свекор и свекровь передали ей в конце концов ведение всего хозяйства, увидев ее «добротою исполнену и разумну». И это несмотря на то, что она потихоньку обманывала их, правда, с благочестивыми намерениями. Не обходится в доме и без крупных конфликтов: один из слуг убивает ее старшего сына.

Прядение и «пяличное дело» рассматриваются в ее житии как подвиги благочестия. Ночная работа приравнивается к ночной молитве: «Точно в прядивном и в пяличном деле прилежание велие имяше, и не угасаша свеща ея вся нощи».

Соединение бытовых подробностей с идеализацией придало последней особую убедительность, пленившую в свое время и

В. О. Ключевского. Его известная лекция «Добрые люди древней Руси» (1907) была составлена отчасти и на основании «Повести о Ульянии Осорьиной», свидетельствуя тем самым об особой художественной силе этого первого приобщения быта к литературе.

Думается, что и «Житие» протопопа Аввакума в той его части, в какой оно связано с житийной литературой, развивает традиции именно этого типа житий — житий, пронизанных бытом.

В XVII в. совершался процесс перехода от средневековых художественных методов в литературе к художественным методам литературы нового времени. Причина этого — в общеисторических переменах, позволивших В. И. Ленину относить к XVII в. начало «нового периода русской истории».[5] Эти общеисторические изменения были связаны с обострением классовой борьбы и повышением роли народа во всех областях общественно-политической и культурной жизни страны.

В литературе XVII в., в ее демократической части, как бы отражающей то наступление низов, которое выразилось в XVII в. в массовых городских и крестьянских восстаниях, есть своеобразные «прорывы в будущее», как бы отдельные предчувствия открытий, к которым придет литература XIX в. К таким своеобразным «прорывам в будущее» принадлежит в демократической литературе XVII в. открытие ценности человеческой личности самой по себе, независимо от ее официального положения на лестнице феодальных отношений.

Человек, изображенный в произведениях демократической литературы, не занимает никакого официального положения, ибо его положение очень низко и тривиально. Это просто страдающий человек. При этом он окружен горячим сочувствием автора и читателей. Его положение такое же, какое может иметь или имеет сам простой читатель. Он не поднимается над читателями ни своим официальным положением, ни ролью в исторических событиях, ни какой бы то ни было моральной высотой. Человек этот отнюдь не идеализирован. Напротив! Если во всех предшествующих средневековых стилях изображения человека этот последний был приподнят над читателем, представлял собой в известной мере отвлеченный персонаж, витавший в каком-то своем, особом пространстве, куда читатель в сущности проникнуть не мог, то теперь действующее лицо выступает вполне ему равновеликим, а иногда даже униженным, требующим жалости, а не восхищения.

Этот новый персонаж лишен какой бы то ни было позы, какого бы то ни было ореола. Это опрощение литературного героя, доведенное до пределов возможного: он наг, если же и одет, то в «гуньку кабацкую», он голоден, не имеет где преклонить голову, не признан родными и изгнан от друзей. Натуралистические подробности делают эту личность совершенно падшей, «низкой», почти уродливой. Но замечательно, что именно в этом стиле изо-

---

[5] **Ленин В. И.** Соч., т. 1, с. 137.

бражения больше всего выступает ценность человеческой личности самой по себе.

Этот человек всегда умен. На самой низкой ступени падения он сохраняет чувство своего права на лучшее положение. Он иронизирует над собой и окружающими, он вступает в конфликт с окружающей средой. Но его борьба лишена внешнего героизма. Он описывается вполне бытовым языком. Он сам говорит этим бытовым языком. Опрощение человека ведет к изображению всех грубостей быта, описываемых также грубо. Сам автор не занимает позы проповедника, не поучает читателя. Он с ним беседует как с равным.

Человеческая личность эмансипировалась в России в XVII в. не в пышных одеждах людей, завоевавших себе в жизни высокое положение, не в ореоле славы, не под эгидой удачи, а в образе несчастного, погибшего, страдающего человека.

И этот художественный метод изображения человека был предвестием великого гуманистического начала, лежащего в основе русской литературы XIX в., с ее живым сочувствием ко всем «униженным и оскорбленным», ко всем, кто страдает и кто не смог найти себе места в жизни.

5

Здесь не место объяснять всю сложность изменений, охвативших литературу XVII в. на пути ее движения от средневековья к новому времени. Одним из ее величайших достижений было узаконение художественного вымысла, создание первых произведений, в которых действовали вымышленные герои с вымышленными именами в вымышленных обстоятельствах. С этим связано появление собственно литературных жанров, не отягощенных никакими практическими функциями, не предназначавшихся ни для чтения в церкви, ни для делового употребления. Появляются стихотворство, драма, переводятся приключенческие повести, окончательно оформляется жанр историко-бытовой повести и т. д.

Это появление чисто литературных форм и жанров сопровождалось характерным явлением: обилием пародий. Долго сдерживаемый юмор нашел себе выход в этих вполне несерьезных поделках, в этом вполне бесцельном, с точки зрения сурового и серьезного взгляда на литературу предшествующего времени, жанре.

Демократические писатели XVII в. забавлялись созданием пародий на челобитные, судопроизводственный процесс, лечебники, азбуки, дорожники, росписи о приданом и даже богослужение. Вместе с тем в литературу вступали разные «прохладные» и потешные сюжеты, различные забавные повестушки и описания приключений героев.

Все эти внешне несерьезные произведения были очень серьезны по существу. Только серьезность их была особая, и вопросы в них стали подниматься совсем иные, не те, которые волновали торжест-

венную политическую мысль предшествующего времени или проповедничество церковной литературы.

Серьезность вопросов, стоявших перед новой, демократической литературой XVII в., была связана с социальными проблемами своего времени. Авторов непритязательных демократических произведений XVII в. начинали интересовать вопросы социальной несправедливости, «безмерная» нищета одних и незаслуженное богатство других, страдания маленьких людей, их «босота и нагота». Впервые в русской литературе грехи этих людей вызывали не осуждение, а симпатию. Безвольное пьянство и азарт игры в «зернь» вызывали сочувствие или сострадательную усмешку. Беззлобие в отношении одних оборачивалось величайшей злостью против других, которые «внидоша в труд» бедных, «черт знает на что деньги берегут» и не дают есть голым и босым.

Новый герой литературных произведений не занимает прочного и самостоятельного общественного положения: то это купеческий сын, отбившийся от занятий своих родителей (Савва Грудцын, герой повести о Горе Злочастии, герой повести о купце, купившем мертвое тело), то это недовольный своим положением певчий (в «Стихе о жизни патриарших певчих»), то спившийся монах, то домогающийся места иерей и т. д. Отнюдь не случайно появление в литературных произведениях XVII в. огромного числа неудачников или, напротив, героев, которым, что называется, везет, — ловкачей вроде Фрола Скобеева или благородных искателей приключений вроде Еруслана Лазаревича. Эти люди становятся зятьями бояр, они легко женятся на царских дочерях, получают в приданое полкоролевства, переезжают из государства в государство или оказываются на необитаемом острове. Их неустроенность, фатальная неудачливость или, напротив, необыкновенное счастье позволяют развивать сложные и занимательные сюжеты совершенно нового типа.

Представления об удачливости или неудачливости героя развиваются параллельно с представлениями о судьбе героя. Судьба, доля, приставленный к человеку бес или персонифицированное Горе Злочастие заступает место пышного общественного положения, которое было характерно для героя предшествующих веков. Это то новое, устойчивое начало, которое начинает играть в сюжетном развитии повествовательных произведений XVII в. исключительную, важную роль.

Исследование народных представлений о судьбе-доле показывает, что представления родового общества об общей родовой, прирожденной судьбе, возникшие в связи с культом предков, впоследствии сменяются идеей личной судьбы, судьбы, индивидуально присущей тому или иному человеку, судьбы не прирожденной, но как бы навеянной со стороны, в характере которой повинен сам ее носитель.

В русской книжности предшествующих веков (XI—XVI) отразились по преимуществу пережитки идей прирожденной судьбы, судьбы рода. Это родовое представление о судьбе редко персони-

фицировалось, редко приобретало индивидуальные контуры. Эти представления о родовой судьбе служили средством художественного обобщения в «Слове о полку Игореве». «Слово» характеризует внуков по деду. Образ множества внуков воплощался в одном деде. Ольговичи характеризуются через Олега Гориславича, полоцкие Всеславичи через Всеслава Полоцкого. Автор «Слова» прибег к изображению родоначальников для характеристики князей, их потомков, причем для характеристики их общей судьбы — их «неприкаянности».

В XVII в. с развитием индивидуализма судьба человека оказывается его личной судьбой. Судьба человека воспринимается теперь как его второе бытие и часто отделяется от самого человека, персонифицируется. Эта персонификация происходит тогда, когда внутренний конфликт в человеке — конфликт между страстью и разумом — достигает наивысшей силы. Судьба отнюдь не прирождена человеку. Вот почему и в «Повести о Горе Злочастии» Горе появляется перед молодцем только на середине его жизненного пути. Оно сперва является ему в ночном кошмаре, а затем внезапно, из-под камня, предстает перед ним наяву в момент, когда молодец, доведенный до отчаяния нищетой и голодом, пытается утопиться в реке. Оно требует от молодца поклониться себе до «сырой земли» и с этой минуты неотступно следует за ним. Горе показано как существо, живущее своей особой жизнью, как могучая сила, которая «перемудрила» людей и «мудряе» и «досужае» молодца. Молодец борется с самим собой, но не может преодолеть собственного безволия и собственных страстей, и вот это ощущение ведомости чем-то посторонним, вопреки голосу разума, порождает Горе. Избыть Горе, освободиться от беса можно только с помощью божественного вмешательства, и вот молодца избавляет от Горя монастырь.

Еще более многозначительна сюжетная роль беса в «Повести о Савве Грудцыне». Бес также возникает перед Саввой внезапно, как бы вырастает из-под земли тогда, когда Саввой полностью вопреки рассудку овладевает страсть и когда он перестает владеть собой. Савва носит в себе «великую скорбь», ею он «истончи плоть свою», он не может преодолеть влекущей его страсти. Бес — порождение его собственного желания, он появляется как раз в тот момент, когда Савва подумал: «. . .еже бы паки совокупитися мне с женою оною, аз бы послужил диаволу». Так же как и в «Повести о Горе Злочастии», героя освобождает только божественное вмешательство. Савву спасает чудо, свершившееся с ним в церкви.

«Повесть о Савве Грудцыне» не случайно называют первым русским романом. В ней и в самом деле есть в зародыше многие элементы будущего романа. Это произведение могло явиться только в результате многовекового развития литературы, в результате допущения в литературу открытого вымысла, вымышленного героя, в результате полного освобождения литературных жанров от деловых, внелитературных функций, в результате появления глубокого интереса к человеческой личности самой по

себе, вне ее служебного положения, и внедрения в литературу быта, бытового окружения. В «Повести о Савве Грудцыне» налицо развитие сюжета нового типа, обусловленного не событиями истории, а личными качествами героя, его страстью, его безволием, его личной удачливостью или неудачливостью.

Освобождение личности, рассматривавшейся в средневековье только как часть корпорации, и освобождение литературы от подчинения внелитературным функциям явились главнейшими предпосылками для возникновения первых предшественников русского романа.

1962

II. ИЗУЧЕНИЯ

«УСТНЫЕ ЛЕТОПИСИ» В СОСТАВЕ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

1

В составе Повести временных лет и в последующей Киевской летописи (в Лаврентьевском списке) встречается ряд летописных статей, содержащих в себе сведения о Добрыне Мстишиче — Добрыне Никитиче русского былевого эпоса.

1. Под 6478 (970) г.: «В се же время придоша людье ноугородьстии просяще князя собе: „аще не поидете к нам, то налезем князя собе"; и рече к ним Святослав: „а бы ношел [*Р* пошел] кто к вам". И отпреся Ярополк и Олег; и рече *Добрыня*: „просите Володимера". Володимер бо бе от Малуши, ключнице Ользины; сестра же бе *Добрыни*, отець же бе има Малк Любечанин; [и] бе *Добрына* уй Володимеру. И реша Ноугородьци Святославу: „въдай ны Володимира"; он же рече им: „вото вы есть". И пояша Ноугородьци Володимера к собе, и иде Володимир с [*До*]*брынею*, воемь (*РА*: уем) своимь, Ноугороду».[1]

В этой статье, следовательно, подробно рассказывается о родстве Добрыни и Владимира. Добрыня — уй (дядя) Владимира. Затем говорится о том, что Владимир I Святославич стал новгородским князем благодаря рекомендации Добрыни. Добрыня сделал Владимира новгородским князем.

По поводу этого рассказа Повести временных лет Шахматов замечает: «Не может быть сомнения, что перед нами народное новгородское предание. В нем сказывается и некоторый юмор сознающего свой перевес новгородца и гордость по поводу сделанного выбора, ибо Владимир оказался победителем Ярополка и могущественнейшим князем русским. Кроме того, здесь в актив-

[1] Здесь и ниже цит. по: Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. — ПСРЛ, 2-е изд., Л., 1926, т. 1. Орфографию несколько модернизирую; разночтения даются по Радзивиловскому списку (*Р*), Московско-Академическому (*А*), Ипатьевскому (*И*) и Хлебниковскому (*Х*) спискам Ипатьевской летописи и Комиссионному (Комм.) Новгородской I летописи.

ной роли выступает Добрыня — один из популярных посадников новгородских».[2]

2. С этим рассказом о Добрыне явно связано сообщение Повести временных лет, помещенное под 6488 (980) г., о сватовстве Владимира к Рогнеде: «И седе в Новегороде. И посла ко Рогъволоду Полотьску, глаголя: „хочу пояти тъчерь твою собе жене". Он же рече тъчери своеи: „хочеши ли за Володимера?" Оно (*РА*: она) же рече: „не хочю розути робичича, но Ярополка хочю". Бе бо Рогъволод пришел и-заморья и имеяше власть свою в Полотьске, а Туры Турове, от негоже и Туровци прозвашася. И придоша отроци Володимерови, и поведаша ему вьсю речь Рогънедину и дъчерь Рогъволожю, князя Полотьскаго. Володимер же собра вои многи: Варяги и Словени, Чюдь и Кривичи, и поиде на Рогъволода. В се же время [хотяху] Рогънедь вести за Ярополка. И приде Володимер на Полотеск, и уби Рогъволода и сына его дъва, и дъчерь его [Рогънедь] поя жене».

Рассказ этот о сватовстве Владимира к Рогнеде, дочери полоцкого князя Рогволода, об отказе Рогнеды пойти замуж за сына рабыни, о последующем походе Владимира на Полоцк и о захвате Рогнеды в то самое время, когда ее уже хотели вести к Ярополку, явно связан с другим рассказом Лаврентьевской летописи под 6636 (1128) г., тоже о сватовстве Владимира к Рогнеде, в котором в активной роли выступает Добрыня, «храбор и наряден мужь». Рассказ этот связан и с предшествующим, приведенным нами выше рассказом о приглашении Владимира в Новгород: Рогнеда укоряет здесь Владимира именем робичича, а там, в предшествующем рассказе, указано на рождение Владимира от ключницы Ольги. Затем, и тут и там Владимир оказывается впереди своего брата Ярополка. Ярополк выше своего брата Владимира по рождению, но Владимир, хоть и сын рабыни, удачливее его. Преимущества рождения Ярополка не имеют особого значения.

3. Под 6488 (980) г. имеется в Повести временных лет и другое известие о Добрыне: «Володимер же посади *Добрыну*, уя своего, в Новегороде; и пришед *Добрына* Ноугороду, постави кумира над рекою Волховом, и жряху ему людье Ноугородьстии аки богу». В рассказе этом важны два момента: во-первых, поставление Добрыни посадником в Новгороде и, во-вторых, новое упоминание о том, что Добрыня приходился дядей («уем») Владимиру.

4. В связи с тем, что в рассказе этом говорится о поставлении Добрыни посадником, А. А. Шахматов, думается, правильно признает связанным с ним и предшествующий рассказ той же погодной статьи 6488 (980) г. о том, как Владимир выгнал из Новгорода посадников Ярополка:[3] «Приде Володимер с Варяги Ноугороду, и рече посадником Ярополчим: „идете к брату моему и рцете ему: Володимер ти иде[ть] на тя, пристра[и]вайся противу биться"».

---

[2] Шахматов А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, с.173 (в дальнейшем: Разыскания).

[3] Там же, с. 173—174.

Это известие объединено тематически с предшествующим известием; вместе они составляют цельный рассказ о смене посадников Ярополчьих на Владимирова Добрыню. Отметим небезынтересную деталь: «соперник» Владимира по рождению — Ярополк — в третий раз оказывается посрамленным, и кем же? — дядею Владимира по матери-рабыне — Добрынею.

5. Под 6493 (985) г. рассказывается о походе Владимира на болгар с Добрынею, «с уем своим»: «Иде Володимер на Болгары с *Добрыною*, с воем (*РА*: уем) своим, в лодьях, а Торъки берегом приведе на коних; и победи Бол[г]ары. Рече Добрына Володимеру: „съглядах колодник, оже суть вси в сапозех; сим дани намъ не даяти, поидем искат лапотников". И створи мир Володимер с Болгары, и роте заходиша межю собе, и реша Болгаре: „толи не будеть межю нами мира, елико камень начнеть плавати, а хмель почнеть тонути"». Вновь Добрыня выступает в активной роли; покровительственно относится к пассивному Владимиру. Вновь подчеркивается, что Добрыня приходился дядей («уем») Владимиру.

Таковы известия Повести временных лет о будущем герое русского народного эпоса Добрыне. Однако известия эти не стоят в Повести временных лет одиноко и обособленно, они связаны и с другими известиями: либо тематически, либо по своей тенденции. Поэтому, чтобы выяснить происхождение известий о Добрыне, необходимо выделить в Повести временных лет и эти примыкающие известия. Испорченный текст известия 6525 (1017) г.: «Ярослав иде и погоре церкви» А. А. Шахматов на основании росписи князей новгородских в поздних новгородских сводах, имеющей запись «и идя к Кыеву, и посади в Новегороде Коснятина Добрынича», предлагает читать с известной долей вероятности следующим образом: «Ярослав идя Киеву, посади Новегороде Костянтина Добрынича».[4]

Речь, следовательно, снова возвращается к новгородским посадникам; на этот раз к сыну Добрыни — Константину.

В следующих новгородских известиях посадник Константин, сын Добрыни, играет в новгородских событиях ту же активную роль, что и его отец. Отношения Константина к Ярославу во многом подобны отношениям Добрыни к Владимиру. Видим в этом признак сознательно проведенной точки зрения на роль новгородских посадников; точка зрения, во всяком случае, не киевская, а новгородская.

Эта точка зрения на значение новгородских посадников особенно ясна в следующем известии Повести временных лет под 6526 (1018) г., рассказывающем о бегстве Ярослава после победы Болеслава: «Ярославу же прибегшю Новугороду, и хотяше бежати за море, и посадник Коснятин, сын Добрынь, с Новгородьци расекоша лодье Ярославле, рекуще: „хочем ся и еще бити с Болеславом и с Святополкомь"». Вспомним аналогичное обращение

---

[4] Там же, с. 178.

новгородцев к Ярославу после избиения на Ракоме: «Аще, княже, братья наша исечена суть, можем по тобе бороти». В дальнейшем новгородцы «начаша скот събирати от мужа по 4 куны, а от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен; и приведоша Варягы [и], вдаша им скот, и совокупи Ярослав воя многы». Силами, собранными новгородцами во главе с посадником Константином Добрыничем, Ярослав побеждает Святополка.

Выделив в Повести временных лет летописные статьи, касающиеся новгородского посадника Добрыни и его сына Константина Добрынича, обратим внимание, что они составляют основное ядро тех известий Повести временных лет, которые А. А. Шахматовым были возведены по их происхождению к новгородским летописям, использованным на Юге летописателем Киево-Печерского монастыря. Представляется поэтому целесообразным для решения вопроса о происхождении этих известий о Добрыне и его сыне Константине выделить в Повести временных лет и другие из оставшихся в ней новгородских летописных статей.

Перечислим новгородские известия Повести временных лет в том их составе, в котором они обнаружены в последней наблюдательным глазом А. А. Шахматова.

Пропускаю известие 6496 г. о распределении волостей между сыновьями Владимира, которое А. А. Шахматов считает новгородским. Новгородское происхождение его сомнительно, и аргументация А. А. Шахматова в этом вопросе неубедительна.

Явно новгородский характер носит отмеченное А. А. Шахматовым известие 6522 (1014) г.: «Ярославу же сущю Новегороде, и урокомь дающю Кыеву две тысяче гривне от года до года, а тысячю Новегороде гридем раздаваху; а тако даяху посадници Новъгородьстии, а Ярослав сего не даяше отцю своему. И рече Володимер: „требите путь и мостите мост“, хотяшеть бо на Ярослава ити, на сына своего, но разболеся».

Отметим, что известие это также связано с новгородскими посадниками и явно примыкает к статье 6523 г., где сказано о том, что Ярослав, «бояся отца своего», послал за море за варягами. Дальше в той же статье рассказывается о избиении этих варягов восставшим населением Новгорода «во дворе Поромони», о гневе Ярослава, который «шед за Роком, седе въ дворе», о избиении новгородцев и примирении с ними Ярослава на вече: «и реша новгородци: „аще, княже, братья наша иссечена суть, можем по тобе бороти“». Обратим внимание на топографическую точность этого рассказа, указывающую на то, что она принадлежит новгородцу. Замечу, кстати, по поводу этого сообщения Лаврентьевской летописи, что нельзя считать на основании случайного искажения в ней слов «На Раком» — «нароком», что текст аналогичного рассказа новгородских летописей, где это искажение отсутствует, имеет самостоятельное происхождение, как это думает А. А. Шахматов.[5] Искажение в Лаврентьевской летописи могло быть сделано

[5] Там же, с. 177.

либо самим Лаврентием, либо кем-то из сравнительно поздних летописцев, предшественников Лаврентия.

Обратим внимание на типично новгородскую форму вечевого обращения народа к князю: «Аще, княже, братья наша иссечена суть, можем по тобе бороти». Формула эта встретилась нам уже в новгородских известиях Повести временных лет под 6526 (1018) г.

Следующее известие, с новгородским происхождением которого можно согласиться, под 6524 (1016) г.: «Ярослав же седе Кыеве на столе отьни и дедни. И бы тогда Ярослав Новегороде лет 28».

Опускаем известие 6529 (1021)г. о нападении Брячислава на Новгород и о победе Ярослава над Брячиславом на реке Судомире. Новгородский характер этого известия возможен, но не обязателен.

Погодная статья 6532 (1024) г. чрезвычайно многозначительна для того решения вопроса о новгородских известиях в Повести временных лет, которое мы намерены предложить ниже. Рассказ о новгородских событиях и о Лиственской битве искусно соединен здесь с предшествующим рассказом о единоборстве Мстислава с Редедею в Тмутаракани, с рассказом о восстании волхвов в Суздале. Непосредственно после рассказа о тмутараканских событиях сообщается: «Ярославу сущю Новегороде, приде Мьстислав ис Тьмутороканя Кыеву, и и (в *РА* одно «и») не прияша его Кыяне; он же шед седе на столе Чернигове Ярославу сущю Новегороде тогда». Затем идет рассказ о восстании волхвов в Суздале, подавлять которое отправился Ярослав из Новгорода. Рассказ этот представляет собой как бы схему пространного повествования Яна Вышатича о восстании волхвов в Белозерье, помещенного под 6579 (1071) г.

После подавления восстания Ярослав снова возвращается в Новгород: «И възвративъся Ярослав, приде Новугороду, и посла за море по Варягы. . .»

Затем следует известный рассказ о Лиственской битве и о Якуне: «. . .и бе Якун слеп, [и] луда бе у него золотомь истъкана». Обратим внимание на то, что рассказ о Якуне и о его золотой луде имеет все признаки устного происхождения. Шахматовым приведены справедливые соображения о том, что смерть Якуна не могла произойти в 6532 (1024) г., а произошла не раньше 1030 г. «Судя по Печерскому Патерику, Якун изгнал своих племянников Фрианда и Шимона по смерти брата своего Африкана; это событие едва ли имело место раньше 1030 г. (года рождения Всеволода Ярославича, на службу к которому Ярослав определил прибывшего к нему после смерти Африкана Шимона)».[6] И в Лаврентьевской летописи, и в Печерском патерике упоминается «златая луда» Якуна, причем в патерике в такой форме, которая явно заставляет предполагать наличие каких-то хорошо известных рассказов о ней: «Бысть в земли Варяжьскои князь Африкан,

[6] Там же, с. 511.

брат Якуна Слепаго, иже отбеже от златые луды».[7] Не можем согласиться с А. А. Шахматовым в том, что упоминания в этом рассказе «златой луды» — позднейшие вставки.

Наконец, к числу новгородских известий в Повести временных лет А. А. Шахматов относит по ряду признаков и пространный рассказ 1042 г. о неудачном походе Владимира Ярославича на Царьград, в котором, как известно, принимал участие Вышата, все упоминания о котором А. А. Шахматов считает позднейшими.

Мы перечислили все главнейшие известия Повести временных лет, которые А. А. Шахматов возводит к новгородскому источнику. Сделаем теперь суммарную характеристику приведенных выше новгородских известий Повести временных лет.

Во-первых, они не носят характера систематического обзора событий новгородской истории. Они рассказывают главным образом о событиях, связанных с двумя лицами — посадником Добрыней и его сыном, посадником Константином, роль которых в исторических событиях постоянно подчеркивается.

Во-вторых, отметим, что рассказы об этих двух лицах носят изустный, а не письменный характер. Устный источник рассказов о Добрыне неоднократно подчеркивался исследователями, связывавшими их с позднейшим эпосом о Добрыне Никитиче. Не отрицается этот устный характер и А. А. Шахматовым, высказавшим по этому поводу ряд весьма интересных гипотез. Однако А. А. Шахматов относит этот устный источник к Новгороду, считая, что он был использован Новгородской летописью, хотя Новгородская летопись никогда на протяжении всех веков, вплоть до XV в. (точнее, до свода 1448 г.), не пользовалась ни устными преданиями, ни рассказами старожилов. Использование эпического материала — черта Киевской летописи. Вс. Миллер считал предания о Добрыне киевскими. А. А. Шахматов полемизировал с Вс. Миллером, считая предания о Добрыне новгородскими.[8] Действительно, Добрыня принимает участие только в новгородских событиях, но в Новгородской летописи он не отмечен, а отмечен лишь в Киевской. Примирить это противоречие мы могли бы, только предположив, что новгородские предания о Добрыне были записаны киевским летописцем. В таком случае нам стало бы понятно, что биографические сведения о новгородском герое Добрыне, в особенности данные о его родстве с Владимиром Святославичем через Малушу, поставлены в ближайшее отношение к преданиям Киевской летописи о Люте-Мстише Свенельдиче.[9]

В-третьих, характер новгородских известий обнаруживает, что все они стоят в прямом отношении к известиям Киевской летописи. «Новгородский свод, — пишет А. А. Шахматов, — стоял в прямой зависимости от Древнейшего Киевского свода. . . киевское известие о распределении волостей между сыновьями

---

[7] Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. Київ, 1930, с. 1.
[8] Разыскания, с. 173.
[9] Там же, с. 371 и след.

Святослава вызывает новгородскую статью о том, как новгородцы добыли себе в князья Владимира; киевское известие о поставлении Владимиром кумиров в Киеве вызывает известие новгородское о поставлении кумира в Новгороде Добрынею; киевское известие о походе Владимира на болгар вызывает новгородское предание о спутнике Владимира в его походах, Добрыне; киевский рассказ об убиении Бориса и Глеба и последовавшем столкновении Ярослава с Святополком вызывает новгородские подробности об этом столкновении и некоторых предшествовавших ему обстоятельствах. Такого рода известия Новгородского свода наводят на мысль, что он представлял из себя переработку Древнейшего Киевского свода; новгородский редактор этого свода дополнил Киевский свод новгородскими подробностями и известиями; быть может, он и продолжил этот свод».[10] Таким образом, Шахматов предлагает сложное объяснение происхождения новгородских известий в Повести временных лет. Думается, что тесная связь новгородских известий с киевскими, их хронологическая «прикрепленность» к последним легче и проще могут быть объяснены не сложной работой новгородского летописца, пользовавшегося якобы Киевской летописью как основой, а тем, что одним из сводчиков Киевской летописи были использованы устные рассказы о новгородских событиях. Эти устные рассказы киевский летописец, хронологически распределяя их, «прикрепил» к событиям Киевской летописи.

Итак, А. А. Шахматов отметил ту связь, которая существует в Повести временных лет между новгородскими известиями и киевскими событиями. Отметим также и ту связь, которая существует между рассказами о Добрыне и тмутараканскими известиями Повести временных лет. Предание о Добрыне под 6493 (985) г. явно связано с тмутараканским преданием о добровольном отказе хазар от дани. Рассказ о новгородских событиях 6532 (1024) г. поставлен в связь с рассказом о единоборстве Редеди с Мстиславом в Тмутаракани же под 6530 (1022) г. Наконец, вне сомнения связь тмутараканской по своему происхождению Корсунской легенды[11] с преданием о сватовстве Владимира к Рогнеде через Добрыню. Связь эта подробно прослежена исследованием Н. Серебрянского[12] и не вызывает сомнений. Немногочисленные новгородские известия Повести временных лет трижды, следовательно, стоят в связи с известиями, касающимися Тмутаракани.

Таким образом, новгородские по своему происхождению известия Повести временных лет тесно связаны с киевскими известиями, с одной стороны, и тмутараканскими — с другой.

---

[10] Разыскания, с. 181—182.

[11] Тмутараканское происхождение Корсунской легенды о крещении Владимира I Святославича доказано В. Л. Комаровичем (История русской литературы: В 10-ти т. М.; Л., 1941, т. 1, с. 268—270).

[12] Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. М., 1915, с. 71—78 и др.

Обратимся теперь к вопросу о том, кто мог быть новгородским корреспондентом киевского летописца.

Определить новгородского корреспондента южного летописца помогает нам сама хронология новгородских известий в Киевской летописи. Новгородские известия имеются в Повести временных лет только до 60-х гг. XI в. «После указанной статьи 6574 (1066) года, — пишет А. А. Шахматов, — мы не находим более в Повести вр. лет (Начальном своде) *ни одного* известия, которое можно было бы возвести к Новгородской летописи».[13] Дату, приводимую А. А. Шахматовым — 1066 г., следует отодвинуть назад еще на два года. Известие 6574 г. («Заратися Всеслав, сын Брячиславль, Полочьске и зая Новъгород») и известие 6573 г. («. . .в се же лето Всеслав рать почал»), как это признано и В. М. Истриным, нельзя считать безусловно новгородскими. Они касаются Новгорода в той же мере, как и Киева, Полоцка, Чернигова и других городов Руси.

С 1064 по 1066 г., как известно, летописец Никон находился в Тмутаракани. На основании тмутараканских рассказов были составлены многие летописные статьи в своде Никона. Никон широко и смело пользовался народными преданиями и устными рассказами. Народные предания использованы Никоном в рассказах о поединке Мстислава Храброго с касожским князем Редедей, о хазарской дани и т. д. Несомненно, с чужих слов[14] записаны Никоном неточно датированные известия об уроде, выловленном в Сутомле (под 6573 г. вместо 6574 г.), о солнечном затмении (под 6573 г. вместо 6572 г.) и др.

После всех сделанных нами наблюдений обратим внимание на известие 6572 (1064) г. Никон записал: «Бежа Ростислав Тмутороканю, сын Володимерь, внук Ярославль, и *с нимь бежа Пореи и Вышата, сынь Остромирь, воеводы Новъгородскаго*».[15]

Ростислав прибыл в Тмутаракань не только с двумя спутниками (об этом свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что сразу же по прибытии в Тмутаракань Ростислав оружием свергает Святослава),[16] однако только этих двух спутников отмечает летописец. Кто был Пореи, мы не знаем, о Вышате же отмечено: «сынь Остромирь, воеводы Новъгородскаго», и впоследствии неоднократно упоминаемый в летописи Ян называется «сын Вышатин» (6573 г.), что указывает на то, что и Вышата был знаком летописцу.

Итак, вот ясное свидетельство о возможном источнике новгородских известий Киевской летописи: новгородец Вышата — отец

[13] Разыскания, с. 181 (курсив мой. — *Д. Л.*).

[14] См. там же, с. 453.

[15] Текст, данный курсивом, читается в Ипатьевском списке.

[16] «Как видно, около Ростислава собралось немалое число искателей счастья или недовольных, — пишет С. Соловьев, — он имел возможность, пришедши в Тмутаракань, изгнать оттуда двоюродного брата своего, Глеба Святославича, и сесть на его место» (Соловьев С. История России с древнейших времен. СПб., б. г., кн. 1, с. 291).

Яна Вышатича, рассказами которого, как это доказано А. А. Шахматовым, пользовался Никон,[17] прибыл в Тмутаракань, когда там находился Никон — в 1064 г. Как раз на 1064 г. в Повести временных лет прерываются новгородские известия. Нашему предположению будто бы противоречит то обстоятельство, что Вышата в последние годы перед прибытием в Тмутаракань не жил в Новгороде. Однако как новгородец Вышата мог интересоваться событиями новгородской жизни и передать тот же интерес Никону.

Пожалуй, самым важным в решении вопроса о том, кто был новгородским корреспондентом киевского летописца, является для нас то обстоятельство, что в двух случаях новгородские статьи Повести временных лет рассказывают о событиях, участником которых был (в одном случае несомненно, а в другом случае вероятно) именно Вышата. Мы имеем в виду рассказ о неудачном походе новгородского князя Владимира Ярославича на Царьград и известие о конском море во время похода того же Владимира Ярославича на Емь. Не случаен также интерес новгородского рассказчика к восстаниям волхвов (см. выше об относительном сходстве новгородского рассказа о восстании волхвов в Суздале под 6534 (1026) г. с аналогичным рассказом под 6579 (1071) г.), объясняемый тем, что Вышата сам участвовал в подавлении восстания волхвов.

К новгородскому князю Владимиру Ярославичу, в дружине которого состоял Вышата, в Повести временных лет относятся еще два известия, определяемые А. А. Шахматовым как новгородские. Под 6558 г. сообщено о кончине жены Ярослава — матери Владимира Ярославича, а под 6560 г. — о кончине самого Владимира Ярославича в Новгороде, причем отмечено и место его погребения: храм Софии «юже бе сам создал».

Укажем также, что в ряде других случаев Вышата выступает как несомненный источник устных рассказов киевского летописца (отсылаю к «Разысканиям» Шахматова).

Мы выяснили выше, что устные сведения о новгородских событиях изложены, по-видимому, киевским летописцем, искусно приурочившим рассказ Вышаты к рассказу о событиях Южной Руси. Кроме того, мы выяснили, что они вместе с тем носят новгородский характер: рассказывавший их выказывает близкое знакомство с топографией Новгорода и по преимуществу интересуется событиями, так или иначе связанными с новгородскими посадниками.

В последнее время новгородское происхождение Вышаты, несмотря на прямое указание летописца под 1064 г., подвергнуто некоторому сомнению. «Отмечу как ошибку, — пишет М. Д. Приселков, — попытку истолковать этого Вышату как сына Остромира, воеводы Новгородского, упомянутого в „Повести“ под 1064 г., едва ли известного в Киеве. Вышата, отец Яна, был свер-

---

[17] «В числе лиц, сообщавших Никону материалы для летописи, можно с уверенностью назвать боярина Яна Вышатича» (Разыскания, с. 531).

стником Остромира. Ян родился в 1016 г., и ему было уже 27 лет, когда состоялся поход на Царьград».[18] Действительно, если Ян родился в 1016 г., то он никак не мог быть внуком Остромира. Либо ошибочно утверждение летописи, что Вышата был сын Остромира, либо ошибочно известие Повести временных лет под 1106 г. о том, что к моменту смерти Яну исполнилось 90 лет. М. Д. Приселков безоговорочно считает ошибочным первое известие летописи — о родстве Вышаты. Однако следует, очевидно, предположить ошибочность второго известия — о возрасте Яна Вышатича. В самом деле, летописцу естественнее было ошибиться в определении возраста Яна Вышатича, чем придумать, неизвестно с какими целями, родственные отношения Вышаты к Остромиру, которые в условиях еще далеко не отжившего родового быта должны были особенно прочно запоминаться современниками. Между тем определение возраста Яна Вышатича тем более недостоверно, что число 90 обычно употребляется в качестве эпического определения преклонного возраста (ср., например, в былине о Василии Буслаевиче: «А и жил Буслай до девяноста лет» [19] или «Жил Святослав девяносто лет» [20]).

Следует помнить также, что число девяносто играло в русском счете, по свидетельству С. Герберштейна, совершенно особенную роль: «Способом счета они (русские. — *Д. Л.*) пользуются таким, что считают и делят все предметы по сорока или девяноста (sorogk aut devuenosto), т. е. или по сороковому, или по девяностому числу, так же, как мы по сотням».[21] Естественно, что летописец, записавший от Яна Вышатича ряд рассказов о весьма отдаленных временах, несколько преувеличил возраст своего корреспондента и прибегнул к эпическому определению его преклонных лет. Исходя из указанного летописцем возраста Яна, мы должны были бы предположить, что в 50 лет Ян пользовался еще очень малой известностью, состоя дружинником черниговского князя; в 70 лет Ян достиг поста тысяцкого в Киеве; в 80 лет был в зените своей деятельности и вел чрезвычайно энергичную политику и только после был отстранен от политической деятельности «уными» дружинниками Всеволода, а затем и Святополка по политическим соображениям, хотя и после стремился по-прежнему вступить в политическую борьбу своего времени, а накануне своей смерти участвовал в походе против половцев, победил их и преследовал на огромном расстоянии от Заречьска и до самого Дуная: «Воеваша половци около Заречьска, и посла по них Святополк Яня и Иванка Захарьича, Козарина; и угониша половце, и полон

---

[18] Приселков М. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, с. 18.

[19] Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым/ Изд. подгот. А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. М.; Л., 1958, № 9.

[20] Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 3-е изд. М.; Л., 1938, № 73.

[21] Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб., 1908, с. 90.

от[ъ]яша» (Лаврентьевская летопись).[22] Аналогичная ошибка в определении возраста идеализируемого князя имеется в «Слове о князех»: возраст Давида Святославича определен в «Слове» как девяностолетний; [23] на самом деле Давид умер, будучи гораздо моложе.

Отсюда ясно, что летописец ошибся не в определении отца Вышаты, а в определении возраста его сына — Яна. Будь Ян моложе на 15—20 лет, чем это указано летописцем, он вполне мог бы быть внуком Остромира.

Укажу еще на одно обстоятельство, подтверждающее новгородское происхождение Вышаты. Вышата участвовал, как известно, в походе Владимира Ярославича на Византию. Поход был организован Владимиром из Новгорода, где перед тем Владимир княжил. Как известно, организация походов на Византию постоянно занимала новгородцев. После этих походов новгородцы усиленно оседали в Киеве или по берегам Черного моря. Владимир, организовав с помощью новгородцев поход на Византию, вывез из Новгорода в числе прочих новгородцев и Вышату. Как обычно в таких случаях, после неудачного похода Владимира, возможно ослепленный, Вышата осел на юге, опасаясь своим возвращением в Новгород возбудить недовольство новгородцев.

На новгородское происхождение Вышаты указывает и само имя его. Сокращение Вышата из Вышеслав типично новгородское, как Гюрята — из Георгий, как Жидята — из Жидислав, как Воята — из Воислав и т. д. Такого рода сокращения были широко распространены в Новгороде. Это типично новгородское имя Вышата продолжал носить и в Киеве, где оно вошло в отчество его сына (Ян Вышатич). Наличие имени Вышаты в Новгороде доказывается следующим местом Новгородской летописи: «. . .ходиша на Емь молодьци о Вышате о Василевици» (Новгородская I лет. под 1186 г.).

Установив новгородское происхождение Вышаты, вопреки утверждениям М. Д. Приселкова, мы не можем одновременно не вспомнить весьма интересного соображения Д. И. Прозоровского об Остромире как сыне посадника Константина и внуке, следовательно, Добрыни. Д. И. Прозоровский доказывает последнее припиской в так называемом Остромировом евангелии 1056—1057 гг.: «Написахъ же еуглие се рабу бжию наречену сущу въ крщении Иосифъ, а мирьскы Остромиръ. близоку сущу Изяславу кънязу. Изяславу же кънязу тогда прѣдрьжящу обѣ власти и отца своего Ярослава и брата своего Володимера. Сам же Изяславъ кънязь правляаше столь оца своего Ярослава Кыевѣ.

[22] Ср.: «Повоева половци около Заречьска и посла по них Святополк Ян Вышатича и брата его Путяту, Иванка Захарьича и Козарина; и вългонивъше половце до Дуная, полон отъяша». Слова «Вышатича и брата его Путяту» надписаны. (Ипатьевская летопись. — ПСРЛ, СПб., 1908, т. 2, стб. 257).

[23] Слово похвальное на перенесение мощей святых Бориса и Глеба / Изд. Х. Лопарев. ПДП, СПб., 1894, вып. 98, с. 9.

А брата своего столъ поручи правити близоку своему Остромиру Новѣгородѣ».

Итак, Остромир был «близóк», т. е. дальний родственник, Изяслава. Остромир — не князь и не мог быть князем как посадник. Среди посадников мы вообще почти не встречаем людей княжеских фамилий. Поэтому, — утверждает Д. И. Прозоровский,[24] — Остромир был сыном Константина и, следовательно, внуком Добрыни[25] — «уя» Владимира I.

Если Вышата был действительно потомком посадника Добрыни, то нам становится понятным включение в текст Киевской летописи ряда новгородских известий с участием Добрыни. Так же, как и Остромир, подчеркнувший свое родство с князем Изяславом в приписке к евангелию 1056—1057 гг., Вышата подчеркивает родство Добрыни и Владимира. Понятна поэтому настойчивость в проведении этого указания во всех рассказах о Добрыне. Не один раз повторяется в этих рассказах, что Добрыня приходился «уем» Владимиру,[26] и точно указывается, как это родство осуществлялось: «. . .бе бо Володимер от Малъфеди (от Малуши — в Лавр. и Комм.), ключьнице Ользины, сестра же бе Добрынина, отьць же бе има Мьстиша Свенельдичь (Малък Любечанин — в Лавр., Малко Любцанин — в Комм. и *Р*), и бе Добрыня уй Володимеру».

В рассказах о Добрыне подчеркивается всюду, что Владимир слушается советов Добрыни, последний же выполняет его наиболее сложные поручения.

Тот же эгоцентрический характер носят и вставки в статью 1043 г. о поражении сына Ярослава — Владимира — греками. В отношении этих вставок можно считать прочно установленным, что события, изложенные в них, рассказаны были Никону Яном Вышатичем или, может быть, самим Вышатой. В этих вставках подчеркнуто воеводство Вышаты, причем так, точно Вышате принадлежало главное воеводство, хотя в первоначальном рассказе воеводой значился Иван Творимиричь.

В новгородских известиях Киевской летописи определенно чувствуется нарочитое внимание к истории новгородских посадников по преимуществу. Эти посадничьи и одновременно семейные воспоминания носят явно тенденциозный характер.

Можем ли мы, однако, считать, что новгородские известия были записаны в южную летопись именно Никоном? Прекращение их на 1064 г. не указывает ли на то, что именно в этом году прервались связи Вышаты и его сына Яна Вышатича, а что самый рассказ их о новгородских событиях был записан значительно

---

[24] Прозоровский Д. Новые разыскания о новгородских посадниках. СПб., 1892, с. 3.

[25] Константин как сын Добрыни отмечен в Повести временных лет под 1018 г.

[26] «И иде Володимер с Добрынею, *уемь своимь*, Новугороду» (6478); «и посади Добрыню, *уя своего*, Новегороде» (6486); «иде Володимер на българы с Добрынею, с *уемь своимъ*, в лодиях» (6493).

позднее? Думается, что нет. Дело вовсе не в том, что только у одного или двух лиц на Юге могли быть тесные связи с Новгородом и что эти связи могли затем внезапно прерваться — связь Киева с Новгородом поддерживалась постоянно, и ни о каком перерыве в ней говорить нельзя. Дело, как нам думается, в том, что все сообщения о новгородских событиях до 1064 г. носят характер рассказа одного лица, доведшего его до своего времени.

Только Никон мог связать рассказ о Добрыне с Тмутараканью, как это явно чувствуется в статье 6493 г. о Добрыне, который, осмотрев взятых в плен болгар, сказал Владимиру: «Съглядах колодник. . ., поидем искать лапотников». Рассказ этот связан общим мотивом добровольного отказа от дани с тмутараканским преданием о хазарах, также добровольно отказавшихся брать дань с полян. Может ли это быть случайностью? Может ли быть случайностью связь принадлежащей Никону Корсунской легенды с преданием о сватовстве Владимира через Добрыню, а также связь рассказа о новгородских событиях 6532 (1024) г. с рассказом о единоборстве Редеди с Мстиславом Тмутараканским 6530 (1022) г.?

Интерес к Новгороду вообще характерен для Никона. Кроме Вышаты у Никона был, несомненно, и другой источник сведений о новгородских событиях. В 1067 г. Никон по просьбе жителей Тмутаракани ездил в Чернигов просить на тмутараканское княжение сына Святослава — Глеба, бывшего одно время новгородским князем. Вторично побывав в Тмутаракани с Глебом, Никон вернулся в Печерский монастырь. Рассказ о появлении волхва в Новгороде при князе Глебе, как справедливо утверждает А. А. Шахматов, записан Никоном от Глеба. «Никон, посадивший в 1067 г. Глеба на тмутараканский стол, мог поддерживать с ним так или иначе сношения и по переходе его в Новгород в 1068 или 1069 г.». Так же точно, по устному рассказу какого-то новгородца, под 1071 г. дано описание бесов со слов кудесника из племени Чуди. Итак, вполне в духе Никона было пользоваться устными рассказами близких ему лиц. Особенно много этих рассказов записано им в Тмутаракани: очевидно, и в силу отсутствия у Никона письменных источников, и в силу особых условий жизни Никона в Тмутаракани, где он находился в самом центре политических событий и общался с большим числом лиц из самых разных областей Руси.

Итак, корни близких впоследствии отношений между Вышатой, Яном Вышатичем и летописцами Печерского монастыря — Никоном, Иоанном и Нестором — восходят еще к тмутараканскому периоду жизни Никона. Здесь, в Тмутаракани, в 1064—1066 гг. отец Яна — Вышата сообщал Никону недостававшие ему новгородские известия. Возможно, впрочем, что многие из внесенных Никоном в свою летопись известий были записаны им позднее, но в целом, надо думать, новгородские известия, встречающиеся в Киевской летописи только до 1074 г., были собраны Никоном приблизительно около этого же времени.

Если встреча Никона с Яном Вышатичем произошла в год приезда в Тмутаракань его отца — Вышаты, то это могло бы объяснить и помещение рассказа о ростовских волхвах, начинающегося неопределенным указанием на время «бывши единою скудости в Ростовьстей области», именно под 1064 г., годом встречи Никона и Яна.

2

Итак, мы можем проследить в Повести временных лет на протяжении пяти поколений судьбу новгородского посадничьего рода, переехавшего в Южную Русь и здесь занявшего видное положение при дворе киевских князей. Добрыня, Константин, Остромир, Вышата, Ян — таковы представители этого рода, сведениями о которых снабдили летописца два последних его представителя. Однако этими именами родовое предание не ограничивалось, оно уходило в глубь времен еще на два поколения, с которыми связан ряд значительнейших эпизодов киевской истории.

Глава XIV «Разысканий» А. А. Шахматова — «Мстиша Свенельдич и сказочные предки Владимира Святославича», чрезвычайно ценная по своим материалам и выводам, целиком посвящена отцу и деду Добрыни — Мстише-Люту Свенельдичу и Свенельду. Выводы этой главы «Разысканий» А. А. Шахматова дают важный материал, подтверждающий и обогащающий новыми данными все изложенное нами выше.

В своем исследовании А. А. Шахматов пришел к выводу о резком расхождении между Древнейшим Киевским сводом 1039 г. и Начальным Киево-Печерским сводом 1095 г. в сведениях о Мстише-Люте и Свенельде. В обоих этих сводах отразились два различных ряда исторических преданий о Свенельде и его сыне.

Первоначальный вариант исторических преданий о Свенельде тесно связывал имя Свенельда с убийством Игоря. Игорь дал Свенельду право сбора дани в Деревской земле. По-видимому, в Древнейшем своде читалось об Игоре: «И бе у него воевода именьмь Свенельд. И иде Игорь. . . И примучи Угличе и възложи на ня дань и въдасть Свенельду; и дасть же дань деревьскую Свенельду; и имаше по чьрне куне от дыма. И реша дружина Игореви: се дал еси единому мужеви мъного; отроци Свенельжи изоделися суть оружием и пърты, а мы нази» и т. д.[27]

Побуждаемый ропотом дружины, Игорь идет походом в Деревскую землю. Свенельд не отказывается от прав на деревскую дань. Игорева дружина сражается с дружиной Свенельда и подданными Свенельда — древлянами. В произошедшем столкновении Игорь убит сыном Свенельда — Мстиславом Лютым.[28]

Этот ход событий резко изменен в Начальном своде — в том самом своде, к которому восходят, по Шахматову, все новгород-

[27] Разыскания, с. 106 и след.
[28] Там же, с. 365.

ские известия Повести временных лет. Изменения эти любопытны своею тенденциозностью. Исключено начало рассказа об уступке Игорем дани Свенельду. Иному освещению подвергся самый ход столкновения Игоря с древлянами. Исключено имя Мстиши, однако сохраненное для ближайшего определения Святославова воеводы Свенельда как отца этого Мстиши. В противоположность Древнейшему своду в Начальном своде Свенельд — воевода Ярополка, а не Игоря; Мстиша-Лют находится на службе у киевского князя; не он убивает киевского князя, а его самого убивает древлянский князь, когда он зашел на его землю. А. А. Шахматов так характеризует произведенные в Начальном своде изменения: «Исключен всякий намек на то, что убиение Игоря возникло в конце концов на почве соревнования дружины Игоревой с дружиной Свенельда; для этого опущено сообщение о том, что Игорь уступил своему воеводе Свенельду Угличскую и Деревскую дани; правда, в речи дружины Игоревой сохранена фраза: „отроци Свенелжи изоделися суть оружьемь и порты, а мы нази“, но из этой фразы не видно, чтобы Свенельд и его дружина кормились именно деревской данью и чтобы поход Игоря нарушил интересы Свенельда; опущение фразы: „се дал еси единому мужеви много“ в начале той же речи Игоревой дружины доказывает стремление редактора Нач. свода устранить всякую мысль о неудовольствии между Игорем и Свенельдом. Редактор Нач. свода вместо этого исключенного им начала вставляет в свой рассказ фразу: „И приспе осень, и нача мыслити на Древляны, хотя примыслити большюю дань“, и его не смущает то обстоятельство, что он приписал в этой фразе инициативу похода на Деревскую землю Игорю, а в нижеследующем тексте выставил виновником похода дружину Игореву, а не самого Игоря. Итак, Игорь пошел в Дерева в дань. Редактор, устраняя мысль о столкновении Игоря со Свенельдом, спешит тотчас же к изображению таких данных, которые объясняют развязку Игорева похода. Игорь „примышляше к первой дани“; здесь брошен намек или на то, что Игорь стал брать лишнее, большую дань, или на то, что он стал брать вторую дань; если, действительно, мы имеем намек на то, что Игорь брал вторую дань, то ясно, что составитель Нач. свода исходил не из предложенного им самим текста, а из текста своего источника, из которого можно было заключить, что Игорь пошел за данью, уже отданной другому, и, может быть, уже собранной этим другим. Но от намека редактор Первонач. свода переходит уже к прямому изображению тех обстоятельств, которые, по его мнению, могли послужить причиной недовольства древлян: Игорь „насиляше им и мужи его“. Итак, дело близится к развязке: древляне восстали и убили Игоря. Так хотел рассказать редактор Нач. свода. Но он вовремя спохватывается: и в Древн. Киевском своде Игоря побеждают древляне, но с ними, во главе их, Свенельд и лютый Мстислав (Мистиша-Лют); этим объясняется поражение Игоря и его убиение; в Нач. своде названные герои устранены из рассказа — они не враждебны киевскому князю, они его верные

слуги; как же понять перевес древлян и несчастный исход Игорева похода? Мы видели, к какому приему прибег редактор Нач. свода: Игорь побит вследствие малочисленности своей дружины. Составитель Начального свода так прямо и говорит в конце рассказа: „Убиша Игоря и дружину его: бе бо их мало“; малочисленность же дружины объясняется тем, что большую часть ее Игорь отпустил от себя; отпустил же он ее от себя для того, чтобы поживиться данью с древлян в свою пользу. Нужды нет, что редактор впал в противоречие: Игорь идет на древлян для своей корысти, между тем как выше к походу его побуждают жалобы той самой дружины, в угоду которой предпринят поход и которая потом оказывается помехой для наживы самого князя; редактор не чувствителен к этим противоречиям: и выше Игорь выставлен инициатором похода («хотя примыслити большюю дань», ниже: «желая больша именья»).

Для редактора важно одно: благополучно довести до конца свой рассказ, отступивший от основного источника, и устранить мысль о том, что Игорь убит Свенельдом и Мистишей — этими народными героями, а не самими древлянами».[29]

Все изменения в тексте свода, касающиеся Свенельда и Мстиши, А. А. Шахматов считает сделанными на основании какого-то устного источника, героизировавшего Свенельда и Мстишу, подчеркнувшего их преданность роду киевских князей и устранившего всякое участие и Мстиши и Свенельда в убийстве Игоря.

«Устраняя из лагеря противников киевского князя Свенельда и Мистишу, — пишет А. А. Шахматов, — составитель Нач. свода руководствовался таким источником, который прямо называл их слугами и приверженцами этого князя».[30] Именно для этого в рассказе о погребении Игоря и о вокняжении Ольги «с детьском» Святославом редактор Начального свода к словам «и кормилець его Асмуд» прибавил: «и воевода бе Свенельд, тъ же отець Мистишин».

Нам знакома тенденция данных переделок, стремящихся подчеркнуть роль представителей этого древнего киевско-новгородского рода при дворе киевского князя, их верность роду последнего. Знакома и сама манера добавления одного имени к имени другого: этим же самым способом Вышата сделан главным воеводой в походе Владимира Ярославича на Константинополь, а настоящему воеводе Владимира — Ивану Творимиричу придано второстепенное значение. Нельзя не отметить того же стремления подчеркивать родственные отношения по нисходящей линии. Подобно тому как Вышата определяется как отец Яна (под 6551 г. и др.), здесь в рассказе о Свенельде этот последний определяется как отец Мстишин. Подчеркивание родственных отношений играет существенную роль как в рассказах о Свенельде и о его сыне Мстише, так и в рассказе о Добрыне, Константине, Вышате и Яне.

---

29 Разыскания, с. 367—369 (курсив мой. — *Д. Л.*).
30 Там же, с. 369.

Мы видим и тут, и там одну и ту же тенденцию возвеличивания рода, тенденцию подчеркивания его политической лояльности и феодальной преданности роду киевских князей.

Обратим внимание на еще одну тенденциозную вставку, сделанную в рассказе о возвращении Святослава на Русь из Болгарии: «И рече [Святослав]: поиду в Русь и приведу больши дружине; и поиде в лодьях. Рече же ему воевода отень Свенельд: поиди, княже, около на конях: стоять бо Печенези в порозех. И не послуша его, нъ поидоша в лодьях».

А. А. Шахматов считает вставленными слова «рече же ему. . . в лодьях»[31] и остроумно доказывает это рядом соображений. Тенденциозный характер этой вставки также ясен: Свенельд выступает главным советчиком Святослава, подобно тому как Добрыня являлся главным советчиком Владимира, а Константин — Ярослава. Ослушание Святослава ведет к его гибели.

Нет надобности приводить другие факты, доказывающие, что все вставки и изменения в летописных известиях о Свенельде и его сыне Мстише-Люте сделаны под влиянием все того же родового предания, которое снабдило позднейших летописцев сведениями и о других представителях этого рода.

Кем и когда были подсказаны летописцу эти изменения? Мы знаем, что и Вышата, и Ян Вышатич — два последних представителя этого рода — имели тесное общение с тремя поколениями киевских летописцев. Рассказами Вышаты и его сына Яна пользовался составитель свода 1073 г., свода 1095 г., Повести временных лет. А. А. Шахматов считает, что вставки эти принадлежат редактору Начального свода 1095 г.: редактор Начального свода охотно пользовался устными сведениями от Яна Вышатича. Однако одно обстоятельство заставляет нас склониться в пользу того мнения, что все изменения в рассказе о Свенельде сделаны в Тмутаракани Никоном. В самом деле, нельзя обойти вниманием тот поразительный факт, что составитель новой редакции сведений о Свенельде и Мстише-Люте упорно стремится отождествить сына Свенельда Люта с тмутараканским князем Мстиславом Лютым и дать новое имя Люту — Мстиша (сокращенное от Мстислав).[32] Мстиша-Лют, как убедительно показывает Шахматов,[33] — не кто иной, как Мстислав Владимирович Лютый — князь тмутараканский, известный по Киево-Печерскому патерику (в рассказе о Якуне: «иже отбеже златы руды (вм. луды), бьяся полком по Ярославе с лютым Мстиславом») и по Софийской I (под 6532 (1024) г.: «Ярослав Владимирович в Суздали изби вълхвы, а брат его Лютый Мьстислав седе в Чернигове»).

Летописец явно слил в одно лицо тмутараканского князя Мстислава и сына Свенельда. Сделать это мог, конечно, Никон, проведший в Тмутаракани годы изгнания и обогативший летопись тмутараканскими преданиями.

---

[31] Там же, с. 370—371.
[32] Там же, с. 358.
[33] Там же, с. 357.

3

Итак, судьба семи поколений предков Яна Вышатича отмечена составителями Киево-Печерских сводов на основании рассказов двух последних представителей этого рода. Эти рассказы, неточные хронологически, иногда несущие в себе следы влияния сказочных мотивов, отмечены тем не менее единой тенденциозной мыслью, героизирующей этот род, подчеркивающей его весомость в общем раскладе сил Киевского государства. Определить основы этой тенденциозности помогает выяснение политических взглядов Вышаты и Яна Вышатича, отраженных летописью.

Служебная карьера Вышаты и его сына Яна может быть раскрыта на основании данных Повести временных лет следующим образом. Сын новгородского посадника Остромира, Вышата участвовал, по-видимому, в 1042 г. в походе сына Ярослава — новгородского князя Владимира — на Емь. В следующем году он участвовал в неудачном походе Владимира Ярославича на Константинополь, был взят греками в плен и, по-видимому, ослеплен вместе с другими участниками похода. В греческом плену Вышата пробыл три года и после своего освобождения не решился вернуться в Новгород, боясь своим возвращением возбудить недовольство новгородцев. Вышата осел на Юге, но здесь его служебная карьера не удалась. В 1064 г. мы видим Вышату в Тмутаракани в свите князя Ростислава.

Если считать, что сын Вышаты Ян умер в девяностолетнем возрасте, то год рождения его должен быть определен как 1016 г. Однако выше мы привели уже ряд соображений о том, что Ян Вышатич родился, по-видимому, несколько позже и умер более молодым, чем это указано летописцем. Если наше предположение правильно, то понятно, почему ранние годы его службы в дружине киевского князя остались нам неизвестны. Впервые летописец приводит сведения о Яне Вышатиче только под 1071 г., где рассказывает со слов самого Яна об усмирении им восстания волхвов в Белозерье. «Туда Ян прибыл с юга со своею небольшою дружиною (12 отроков и поп) для сбора „полюдья“ от князя Святослава, — пишет М. Д. Приселков. — Определить точно год этого факта трудно, так как летописатель, приводя под 1071 г. ряд известий о волхвах, дает умышленно неопределенные указания на время, подчеркивая тем, что эти известия не относятся прямо к этому году; так, для первого известия он употребил выражение: „В си же времена,“ а для второго (рассказ Яна) еще более расплывчатое: „однажды“ («единою»). Вероятнее всего, впрочем, думать, что эта поездка Яна относится ко времени после 1067 г., когда трое Ярославичей, заманив и арестовав семью полоцких князей, переделили свои владения в связи с захватом в свое обладание Полоцкого княжества. Старый текст этого рассказа Яна, сохраненный нам Лаврентьевскою летописью, не оставляет сомнения, что в этом Белозерском крае, где только что установилась власть Святослава Ярославича, Ян получил от князя зимний

прокорм для себя и своей дружины и сбор „полюдья“, почему Ян называет жителей Белозерья на языке Киева своими смердами и смердами его князя («выдайте волхва та семо, яко смерда еста моя и моего князя»), но волхвы, как известно, не признавали себя смердами Яна и требовали над собой суда князя».[34]

Святослав Ярославич, у которого служил в это время Ян, был черниговским князем. Надо думать, что Ян Вышатич попал на службу к черниговскому князю, пользуясь издавними связями Тмутараканского княжества с Черниговом. В дальнейшем мы видим Яна в Киеве, куда он переехал, очевидно, вместе со Святославом Ярославичем черниговским, когда последний овладел Киевом. Здесь Ян прочно оседает, успешно выдвигаясь в первые ряды киевских дружинников. После смерти Святослава он пережил в Киеве короткое княжение Изяслава, а при Всеволоде достиг поста киевского тысяцкого (см. под 1089 г.: «воеводьство Кыевьскыя тысяща»).

«Смерть Всеволода, — пишет М. Д. Приселков, — была концом служебной карьеры Яна, хотя еще в последние годы жизни Всеволода положение Яна, видимо, пошатнулось. Указание летописи (несомненно, со слов Яна), что Всеволод стал „любить смысл уных“ дружинников и отодвигать „первых“ (т. е. прежних), которые могли на это только негодовать, надо сопоставить с дальнейшим известием летописи (со слов того же Яна), что основным принципом построения киевской дружины нового князя Киева Святополка, севшего на стол после смерти Всеволода, был тот же набор и приближение юных и отстранение дружинников старых. Такое единомыслие в дружинном вопросе двух князей, представителей двух враждебных ветвей княжеского дома, представителей двух сменяющих друг друга поколений, нельзя, конечно, отнести к личному капризу их, как казалось это Яну, а проистекало из того, что условия жизни круто менялись, и новые условия требовали новых исполнителей. Легко догадаться, сопоставляя этот факт с „Правдою“ Ярославичей, что князья Русской земли переходили от сборов полюдья и даней к феодальной эксплуатации, что, конечно, существенно меняло весь строй жизни и князей и дружинников, из которых „первые“ не умели и не могли приспособиться к условиям новой жизни, упрекая князей в том, что они „вирами и продажами“ разоряют население, забыв о былых покорениях чужих земель как лучшем средстве содержания себя и дружины. Ян, как и все старики, срывал свой гнев на „юных“ дружинниках тем, что в рассказе о заседаниях боярской думы Святополка (1093 г.) делил дружину (как, смягчая выражения Яна, записал летописец) на „смысленных“ (т. е. стариков) и „несмысленных“ (т. е. новых дружинников)».[35]

Служебные неудачи Вышаты и его сына Яна Вышатича, их воззрения на политические события своего времени превосходно

[34] Приселков М. История русского летописания XI—XV вв., с. 18—19.
[35] Там же, с. 19.

объясняют характер сообщенных ими сведений о своих предках. С упорством обиженных подчеркивают Вышата и Ян Вышатич свое родство роду киевских князей. Выяснение этого родства через Малушу составляет один из существенных моментов летописных известий о Добрыне. Свое родство с Изяславом подчеркивает Остромир; напомнить о своих родственных отношениях входило в задачи Вышаты и Яна. И Вышата, и Ян упорно говорят о тех мудрых советах, какие давали их предки киевским князьям. Нежелание послушать совета Свенельда послужило причиной гибели Святослава. Владимир неоднократно исполнял советы Добрыни и даже добился руки полоцкой княжны Рогнеды благодаря содействию Добрыни. Владимир — вообще любимейший князь этих устных преданий. Неоднократно подчеркивается его большая удачливость сравнительно с братом от другой матери — Ярополком. Это и понятно: именно Владимир, а не Ярополк был племянником Добрыни по матери Малуше. Владимир же изгнал из Новгорода посадников Ярополка, посадив на их место Добрыню. Слушается советов сына Добрыни Константина и Ярослав. Именно Константину был обязан Ярослав своей победой над Святополком и дальнейшим вокняжением в Киеве. Тенденциозность этих рассказов ясна: в них подчеркивается, что киевские князья не гнушались советов «смысленных людей», как гнушаются ими нынешние, предпочитающие им молву «несмысленных».

Наконец, нельзя не обратить внимания на то, что в деятельности всех решительно представителей рода Вышаты и Яна отмечаются их дальние походы, их сборы даней и полюдья, что должно было служить косвенным упреком современным им князьям, которые не думают о сборе дани с соседних народов, предпочитая «вирами и продажами» разорять собственное население. О походах за данью повествуется в известиях о Свенельде и Мстише-Люте. О сборах дани с болгар рассказывается в летописных статьях о Добрыне. В собственной деятельности Вышата и Ян отмечают именно эти далекие походы, участниками которых они были: на Емь, на Константинополь (Вышата), за сбором полюдья в Белозерье (Ян).

Исследователями давно отмечена связь былинных сюжетов о Добрыне с летописными известиями о нем же. Обратим внимание на некоторые стороны этой связи, на которые до сих пор не обращалось достаточного внимания. Добрыня и в былинах и в летописи занимается сбором дани с соседних народов. Как в тмутараканском предании о хозарах, Добрыня заставляет платить киевскому князю дань даже те народы, которые раньше сами собирали дань на Руси (ср. Лавр. летопись под 6493 (985) г.). Так и в былинах Добрыня вместо того, чтобы отвезти дань Идолищу, сам собирает ее и привозит Владимиру.

Вместе с тем былины подчеркивают родство Добрыни и Владимира, подобно тому как это делает летопись. В былинах Добрыня — «племянник» Владимира, т. е. его родственник, «соплеменник». Старое народное значение слова «племянник» означает

дальнего родственника.[36] Значение этого слова в древнерусском также не вызывает сомнений: это родственник, соплеменник (см.: Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893—1912, т. 2). Наше значение слова «племянник» передавалось в Древней Руси словом «сыновец».

Итак, нельзя не заметить ту связь, которая существует между некоторыми моментами современных эпических сказаний о Добрыне и тенденцией Вышаты и Яна. Что же могло послужить причиной широкого распространения в народной среде родовых преданий старого киевского дружинника Яна и его отца Вышаты?

Летописная статья 1093 г., заключавшая собой Начальный свод, подробно повествует о борьбе с половцами. Летописец стремится указать общие причины неудач русских и заключает свою статью поучением Феодосия «О казнях божиих», отдельные части которого имели затем широкое распространение в последующем летописании. Эта заключительная статья Начального свода полна высокой скорби о бедах русского народа. В полных трагизма словах описывает летописец страдания русских пленников в половецком плену: «. . .стражюще, печални, мучими, зимою оцепляеми, в алчи и в жажи, и в беде, опустневше лици, почерневше телесы, незнаемии (в *ИХ:* незнаемою) страною, языком испаленым, нази ходяще и боси, ногы имуще сбодены търнием, со слезами, отвещеваху друг к другу глаголюще: „Аз бех сего города“ и другыи: „А аз сея вси“. И тако соупрошаются со слезами».

Летописец всячески пропагандирует в этой статье необходимость согласованного отпора степи соединенными усилиями князей. С уважением рассказывает летописец о Владимире Мономахе, который после смерти отца своего Всеволода не занял киевского стола, но послал за своим братом Святополком: «яко есть стол преже отца его был». Многое в этой статье было написано летописцем под влиянием суровых речей Яна Вышатича. Трижды ссылается летописец на речи «смысленных людей», состав которых определяется самим летописцем так: «Янь и прочии». В уста этих «смысленных людей» летописец влагает совет Святополку не выступать против половцев в одиночку, а предварительно соединиться с войсками Владимира (Мономаха): «. . .и не всхотеша Половци мира, и ступиша Половци воюючи. Святополк же поча сбирати вое, хотя на не. И реша ему мужи смыслении: „Не кушаися противу им, яко мало имаши вои“. Он же рече: „Имею отрок своих 800, иже могуть противу им стати“. Начаша же друзии несмыслении глаголати: „Поиди, княже“; смыслении же глаголаху: „Аще бы пристроил [их] и 8 тысячь, не лихо то есть: наша земля оскудела есть от рати и от продажь; но послися к брату своему Володимеру [Мономаху] да бы ти помоглъ“». «Смыслении мужи», и между ними Ян, обращаются к русским князьям с при-

[36] Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1882, т. 3, с. 125.

зывом: «Почто вы распря имате межи собою? А погании губять землю Русьскую; последи ся уладита, а ноне поидита противу поганым, любо с миром, любо ратью».

Эти призывы «смысленных мужей» к согласованному отпору степным кочевникам роднят заключительную статью Начального свода со «Словом о полку Игореве». Не может быть сомнения в том, что речи этих «смысленных людей» записаны летописцем со слов Яна Вышатича, пожелавшего заявить свое мнение в летописи от лица многих («Янь и прочии»), явиться выразителем «смысленных людей», отстраненных Святополком.

Не может быть сомнения и в том, что записанные летописцем со слов Вышаты и Яна рассказы о походах Святослава со Свенельдом, Владимира с Добрыней, Ярослава при содействии Константина, Владимира Ярославича с Вышатой, наряду с родовой тенденцией, служили этой же цели пропаганды активной политики по отношению к врагам Русской земли. Именно эти-то идеи и привели к широкому распространению в народе отдельных эпизодов этого первоначально узкого родового предания.

Уже в 1128 г. летописец привлек историческое предание о Добрыне для объяснения родовой вражды полоцких князей — рогволодовичей с ярославичами. Изложив под этим годом некоторые события в Полоцком княжении, летописец (по-видимому, составитель летописца Изяслава Мстиславича, впоследствии через ряд сводов включенного в состав Лаврентьевской летописи) переходит к изложению исторического предания о Владимире I Святославиче и Рогнеде, в котором в активной роли выступает Добрыня — «храбор и наряден мужь». Историческое предание это летописец передает не со слов какого-либо представителя рода Добрыни, а как народную молву. На это прямо указывают первые же слова рассказа: «О сих же Всеславичих сице есть яко сказаша ведущии преж». Далее летописец рассказывает, как Владимир, княживший еще в Новгороде, послал своего воеводу Добрыню к Рогвальду просить руки его дочери Рогнеды. Рогнеда не пожелала выходить замуж за «робичича» — сына Малуши («она же рече: не хочю розути робичича»). Владимир гневается и жалуется Добрыне. Добрыня же, «исполнися ярости», идет походом на Полоцк, берет город приступом, а Рогвальда, жену его и дочь — в плен. Владимир убивает Рогвальда и женится на Рогнеде, назвав ее Гориславой. Эпизод этот сохранен русским героическим эпосом в ближайшем сюжете о Добрыне-свате. Но рассказ на этом не прерывается, и дальше сообщается легендарная история ссоры Владимира и Рогнеды, во время которой малолетний сын их Изяслав вступается за мать с мечом в руках.

Приведя это историческое предание о Владимире и Рогнеде — Гориславе, летописец замечает: «. . .и оттоле мечь взимають Роговоложи внуци противу Ярославлим внуком», мотивируя тем самым вставку в летописный текст народного сказания.

Итак, перед нами ясное свидетельство того, что уже в начале XII в. предания о Добрыне, выделившись из родового предания

потомков Свенельда, получили широкое распространение в народе и бо́льшую сюжетную законченность, чем это имело место в предшествующих известиях Повести временных лет.

4

В русский былевой эпос проникли из родовых преданий Вышаты и Яна Вышатича не только воспоминания о Добрыне. В разное время в нем отразились следы каких-то припоминаний об отце Добрыни — Мстише, его сестре Мальфредь Мстинишне, брате Яна Вышатича — Путяте, о самом Яне Вышатиче и др.

На исторический прообраз Никиты Залешанина в лице Мстиши Древлянина было указано еще А. А. Шахматовым в «Разысканиях»: «. . .былины сохранили отчество Добрыни, вытекавшее из первоначального о нем рассказа в Древнейшем Киевском своде: они называют его Никитичем, а Древнейший Киевский свод указывал, что он был сыном Мистиши. Ввиду этого мы вправе искать в былинах воспоминаний и о самом Мистише, которого ждем, между прочим, в виде Никиты. Предполагаю, что образ Никиты Залешанина (Заолешанина) отразил в себе образ Мистиши Древлянина;[37] замечательно, что он богатырь не киевский, — поэтому, когда Илья Муромец выдал себя за Никиту, его никто не узнал в княжеском тереме, кроме, впрочем, Добрыни Никитича, очевидно, не в пример другим киевским богатырям, знавшего Никиту Залешанина. Впрочем, в некоторых былинах он назван в ряду других киевских богатырей.[38] Мальфредь Мистинишну, или Мстиславну, следует, быть может, видеть в Марфиде Всеславьевне, хотя, по-видимому, самый свой образ Марфида заимствует у Запавы Путятичны».[39]

В числе воевод, разбивших в 1106 г. половцев у Заречьска, Ипатьевская летопись упоминает брата Яна Вышатича — киевского тысяцкого Путяту, двор которого был разграблен во время восстания киевлян против Святополка. Это известное в свое время лицо Вс. Миллер считал возможным отождествлять с былинным Путятиным Путятовичем[40] в былине о Даниле Ловчанине,[41] возводить к нему отчество Запавы Путятичны и некоторые отголоски народных сказаний о Добрыне и Путяте в «Истории» Татищева.[42] Иоакимовская летопись, как известно, делает Путяту сотоварищем

---

[37] Ср. Песни Киреевских, ч. 4, 46 (примеч. А. А. Шахматова).

[38] Например, Песни Киреевских, ч. 4, 44 (примеч. А. А. Шахматова).

[39] Разыскания, с. 378.

[40] Миллер Вс. Очерки русской народной словесности. М., 1910, т. 2, с. 28 и след.

[41] Песни, собранные П. В. Киреевским. 2-е изд. М., 1878, вып. 3, с. 28—38.

[42] Миллер Вс. Очерки. . ., т. 2, с. 28 и след. Необходимо отметить, что время княжения Владимира описано в Иоакимовской летописи: «со многими пирами и веселием» (Татищев В. История Российская. М., 1768,

Добрыни и современником Владимира I Святославича. Нельзя видеть в этом исторического свидетельства существования какого-то второго Путяты, отличного от Путяты времени Владимира Мономаха, так как сама Иоакимовская летопись использует народные предания, в которых отождествлены Владимир Святославич и Владимир Всеволодович Мономах.

Характерно, что Запава Путятична называется иногда племянницей князя Владимира, чем подчеркивается принадлежность обоих к одному роду (о слове «племянник, -ца» см. выше).

С Путятой Вышатичем связан и другой герой русского эпоса — Казарин, которого Вс. Миллер не без оснований отождествляет с летописным воеводой Казариным — сотоварищем Путяты Вышатича и Яна Вышатича по походу на половцев 1106 г.[43]

Ближайшее отношение к указанным былинным сюжетам имеют также и былина о Глебе Володьевиче (Марков, № 50 и 80) и былина «Поход на Корсунь» (Астахова, № 15). Как это установлено Марковым[44] и подтверждено Вс. Миллером, сюжет этих былин отражает поход Глеба Святославовича и Владимира Всеволодовича на Корсунь в 1077 г. Глеб был впоследствии тмутараканским князем, дважды сидевшим в Тмутаракани при Вышате. Ряд совпадений мотивов при этом рассказе Глеба Вышате с былиной несомненен (например, мотив загадывания загадки и последующего убийства отгадчика, и др.).[45]

Наличие в XI в. развитого родового предания, проникшего в летопись и отраженного в русском былевом эпосе, — факт большого историко-культурного значения. Перед нами своеобразная устная летопись. С разрушением родового быта часть родовых преданий этих устных летописцев переходит в состав письменной летописи — хранительницы исторических преданий русского народа в целом.

Думается, что те многочисленные родовые, семейные и личные летописцы, которые возникают в практике летописания в XII в. и держатся в течение всего XIII, XIV и отчасти XV вв., составляя существенную и отличительную особенность русского летописания в эти века, возникали так легко на русской почве именно потому, что форма их была подсказана летописцам изустной практикой родовых и семейных преданий. Во всяком случае, Византия не знала ни родовых, ни семейных, ни личных хроник. Эта летописная форма вполне самобытная, русская, возникшая под влиянием потребности русской жизни, а, возможно, и подсказанная практикой родовых преданий.

1945

кн. 1, с. 38) и описание это подверглось, очевидно, значительному влиянию со стороны былин.

[43] Миллер Вс. Очерки. . ., т. 2, глава «К былине о Казарине», с. 1—31.

[44] Марков А. Из истории русского былевого эпоса. М., 1905, вып. 1, с. 30—66.

[45] Миллер Вс. Очерки. . ., т. 3, с. 57—58.

«ШЕСТОДНЕВ» ИОАННА ЭКЗАРХА И «ПОУЧЕНИЕ» ВЛАДИМИРА МОНОМАХА

В начале своего «Поучения» Владимир Мономах пишет об обстоятельствах, побудивших его приняться за перо («Усрѣтоша бо мя слы от братья моея на Волзѣ. . .»), и о том, что он собрал полюбившиеся ему слова и расположил их по порядку. Действительно, вслед за этим кратким введением в «Поучении» находим большое собрание выписок из Псалтыри и из других книг:[1] это и есть «полюбившиеся» ему слова («словца си любая»). Одно только место этой части «Поучения» было неясно по своему происхождению: приведя выдержки из Псалтыри, живописующие величие божественного домостроительства, Мономах пишет, обращаясь к богу: «Иже кто не похвалить, ни прославляеть силы твоея и твоих великых чюдес и доброт, устроеных на семь свѣтѣ: како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звѣзды, и тма и свѣт, и земля на водах положена, господи, твоимъ промыслом! Звѣрье разноличнии, и птица, и рыбы украшено твоимъ промыслом, господи! И сему чюду дивуемъся, како от персти создавъ человѣка, како образи розноличнии въ человѣчьскыхъ лицих, аще и весь миръ совокупитъ, не вси въ одинъ образ, но кыи же своимъ лиць образом, по божии мудрости. И сему ся подивуемы, како птица небесныя изъ ирья идут, и первѣе, *въ* наши руцѣ, и не ставятся на одиной земли, но и сильныя и худыя идут по всѣмъ землямъ, божиимь повелѣньемь, да наполнятся лѣси и поля. Все же то далъ богъ на угодье человѣкомъ, на снѣдь, на веселье. Велика, господи, милость твоя на нас, *иже* та угодья створилъ еси человѣка дѣля грѣшна. И ты же птицѣ небесныя умудрены тобою, господи: егда повелиши, то вспоють, и человѣкы веселять тобе; и егда же не повелиши имъ, языкъ же имѣюще онемѣють».[2]

Приведенный отрывок занимает очень важное место в «Поучении». Он заканчивает собой выборку «словец» из авторитетных источников, после чего следует собственное «наказание» Мономаха; в нем выражена основная политическая мысль Мономаха: каждый должен быть доволен своим уделом — сильный и слабый.[3] Эта мысль была провозглашена на Любечском съезде 1097 г. как политический принцип нового феодального порядка: «каждо да держит отчину свою». Мономах в своем «Поучении» философски обосновывает этот принцип, согласуя его с восхищением перед разнообразием мира.

---

[1] Сначала идут выписки из покаянных псалмов, читаемых в церкви накануне Великого поста и в первые его недели, затем выдержки из «Поучения» Василия Великого, из одного поучения, включаемого в русские прологи XII—XIII вв., из пророчеств Исайи и из молитвословий, читающихся в «Триодях».

[2] «Поучение» цит. по: ПСРЛ, 2-е изд., Л., 1926, т. 1. Орфография упрощена; конъектурные исправления выделены курсивом.

[3] См. подробнее: История русской литературы: В 3-х т. / Под ред. Д. Д. Благого. М.; Л., 1958, т. 1, с. 78—85.

Однако в данном месте «Поучения» Мономаха мысль эта помещена им в раздел чужих «словец». Он не считает ее собственным «худым наказанием», которое следует ниже. Тем важнее было указать ее источник. Источники приведенного выше отрывка «Поучения» указывались С. Протопоповым [4] и Н. В. Шляковым [5] в «Беседах на Шестоднев» Василия Великого. Однако буквальных совпадений между сочинением Василия Великого и приведенным отрывком «Поучения» Владимира Мономаха замечено все же не было. Совпадение отмечалось лишь в общих мыслях о божественной целесообразности и красоте устройства мира, широко распространенных вообще в средневековье.

В. В. Данилов в статье «„Октавий“ Минуция Феликса и „Поучение“ Владимира Мономаха» [6] указал, что мысль Владимира Мономаха о разнообразии человеческих лиц как о проявлении божественного искусства была весьма популярна в средневековье и вероятнее всего имеет своим источником «Октавий» Минуция Феликса. Но и В. В. Данилов отмечает не текстовые совпадения и заимствования, а лишь общее сходство мысли: отрывок из «Поучения» кажется ему конспектом «Октавия»: Мономах как бы по памяти передает содержание мыслей Минуция Феликса относительно разнообразия человеческих лиц.[7]

Наиболее вероятный источник цитированного места «Поучения» Владимира Мономаха отыскивается все же в «Шестодневе» — в переводе и переработке Иоанна Экзарха Болгарского. «Шестоднев» Иоанна Экзарха был весьма популярен в древнерусской литературе. Изучение его влияния на русскую литературу XI—XIII вв. представит в будущем очень большой историко-литературный интерес.

Отметим, что влияние «Шестоднева» Иоанна Экзарха на «Поучение» Владимира Мономаха касается не только общего смысла размышлений по поводу мудрости божественного мироустройства, но и самой стилистической манеры восхищения перед разнообразием мира, выражающейся в нагромождении риторических вопросов и восклицаний, перечислении и постановке глаголов в конце предложений: «И како не хотять радоватися възнекающии того, и разумѣвше кого дѣля се есть: небо солънцемь и звѣздами украшено; кого ли ради и земля садом, и дубравами, и цвѣтомь утворена, и горами увяста; кого ли дѣля море, и рѣкы, и вся воды рыбами исплънены; кого ли дѣлма ради само то царство уготовано, таче разумѣвьше яко же не иного никого же цѣща, но тѣхъ како се не имуть радовати и веселити славещеи к тому нужда тѣмь

---

[4] Протопопов С. Поучение Владимира Мономаха как памятник религиозно-нравственных воззрений и жизни на Руси в дотатарскую эпоху. — ЖМНП, 1874, февраль, с. 253.

[5] Шляков Н. В. О Поучении Владимира Мономаха. — ЖМНП, 1900, июнь, с. 240—248.

[6] ТОДРЛ, М.; Л., 1947, т. 5, с. 97—107.

[7] Там же, с. 105.

и се помыслити, кацѣмь суть сами образомь сътворени. . .» (л. 1).[8]

Особенно ярко совпадение «Шестоднева» с «Поучением» в рассуждении о разнообразии человеческих лиц: «Аще и сего не разумѣеши, — пишет Иоанн, — откуду изидоше образи, и чудиши се божии твари, яко толико многочисме, ти в толикахъ несвѣдѣхъ личьныхъ, ти на едино подобъство несть истое; аще и до края земле доидеши ище то, — не обрещеши; аще ли и обрещеши, то будетъ, или носомъ неподобьнъ, или очима, или инѣмъ нь чимъ многащи же да се и чюдно явитъ и блазне тѣ се родите от единое утробы — тоже не будете подобьнѣ саме къ себѣ, таче не бывьшю толику многу образу нъ повелѣниемъ изведену бывьшу. . .» (л. 155).

Есть в «Шестодневе» Иоанна Экзарха и основная политическая мысль «Поучения»: каждый должен довольствоваться своим уделом, не завидовать чужому и не покушаться на достояние соседа. В «Поучении» эта мысль проводится на примере поведения птиц, в «Шестодневе» — на сходном примере из жизни рыб.

Говоря о них, Иоанн замечает, что и «великы живот и малы» созданы повелением божиим: «единем же то повелѣниемъ божиемъ все родило се — и великое и малое» (л. 162). Рыбы живут в разных местах и разным обычаем — каждая рыба находит свое место: «въ сихъ рыбахъ суть овы по ширинѣ плавающе, а другые по краю, а другые по глубинѣ, а другые подъ камениемъ. Ови же стады ходетъ, и другые разно. И кити еже суть леже си без года велици и дробнице малые. Все то равномъ повелѣньемъ: и великы животъ, и малы» (л. 165).

Иоанн Экзарх указывает в «Шестодневе», подобно тому как это сделал впоследствии Владимир Мономах в своем «Поучении», что каждый человек должен быть доволен своим уделом, как довольны им животные, и не претендовать на землю соседа: «. . .подобает и подражати ихъ; како ти родове рыбнии: кыждо, акы раздѣливъше мѣста, другъ другу не отемлеть ихъ, нъ своемъ кождо прѣдѣлѣ живет . . . нъ мы нѣсмъ таци, иже отнемлемъ уставы вѣчныи, юже суть положиша отци наши, урубьяемъ земь, съкупьяем домъ къ дому и село къ селу да от въскраиньаго отимемъ» (л. 168).

В «Поучении» можно найти и иные следы знакомства его автора с «Шестодневом» Иоанна Экзарха. По-видимому, Владимир Мономах хорошо знал «Шестоднев» и опирался на него не только в своих сведениях о природе или размышлениях о красоте мироустройства, но и в своих общественных взглядах, пропагандируя новый политический порядок держания земли многими князьями-вотчинниками, провозглашенный Любечским съездом 1097 г.

1963

[8] Здесь и ниже цит. по: «Шестоднев», составленный Иоанном Ексархом Болгарским. По харатейному списку Московской Синодальной библиотеки. — ЧОИДР, М., 1879, кн. 3.

РУССКИЙ ПОСОЛЬСКИЙ ОБЫЧАЙ XI—XIII вв.

1

И в XI, и в XII, и в XIII вв., а частично и значительно позднее практика сохраняла такие формы дипломатических переговоров русских князей, которые были выработаны на Руси еще до введения письменности. Важнейшее в этих формах состояло в том, что все переговоры велись устно, через устные передачи послов. Русские князья исключительно редко пересылались между собой грамотами. Их вполне заменяли «речи», точно передававшиеся послами и более или менее точно заносившиеся в летопись.

Повесть попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского, включенная в Повесть временных лет под 1097 г., живо и конкретно передает самую процедуру посылки посла и выполнения им дипломатического поручения; поп Василий был непосредственным участником переговоров 1097 г., и свидетельство его представляет поэтому особенный интерес.

В то время, когда ослепленного Василька Теребовльского держали под стражею во Владимире Волынском, там находился и Василий. «В одну ночь, — говорит Василий, — прислал за мной князь Давыд. Я пришел к нему и застал около него сидящую дружину. Князь посадил меня и начал говорить: „Се молвил Василко си ночи к Уланови и Колчи, рекл тако: се слышю, оже идеть Володимер и Святополк на Давыда: да же бы мене Давыд послушал, да бых послал мужь свой к Володимеру воротиться, веде бо ся с ним что молвив; да се, Василю, шлю тя, иди к Василкови, тезу своему, с сима отрокома, и молви ему тако: оже хощеши послати мужь свой, и воротится Володимер, то вдам ти который ти город люб, любо Всеволожь, любо Шеполь, любо Перемиль“. Я пошел к Васильку, — продолжает Василий, — и поведал ему все речи Давыдовы. Он же сказал: „Сего есм не молвил; но надеюся на бог, пошлю, да быша не прольяли мене ради крови; но сему имя (в Радзивиловской и Ипатьевской — ми) дивно, даеть ми город свой, а мой Теребовль, моя власть, и ныне и пождавше“.

Так оно и случилось, — добавляет Василий, — так как вскоре получил он свою волость. Затем, — говорит Василий, — обратился Василько ко мне со словами: „Иди к Давыдови и рци ему: пришли ми Кульмея, то пошлю к Володимеру“. И не послушал его Давыд, и послал меня вновь, сказав: „Нету Кулмея“. И сказал мне Василько: „Поседи мало“, повелел слуге своему итти вон, и сел со мною с глаза на глаз, и начал говорить мне. . .» (Лаврентьевская лет., 1097).

И Давыд, и Василько призывают Василия, усаживают его как равного, беседуют с ним и отдельно сообщают ему те «речи», которые Василий должен был передать по назначению. Замечательно, что поручение сообщается послу в форме прямой речи

от лица посылающего: «Иди к Давыдови и рци ему: „пришли ми Кульмея“» (слова Василько Василию).

Из этого рассказа попа Василия выясняется, что посол посылался не с грамотами, а с «речьми». Это выражение «послать с речьми» встречается в летописи неоднократно; оно есть и в Ипатьевской летописи, и в Лаврентьевской, и в Новгородской I. Так, например, под 1140 г. в Ипатьевской летописи рассказывается: «. . .и посла Вячьслав и Изяслав Мьстиславичь послы свои к Всеволоду, *с речьми*, рядитися. . .». Под 1151 г. в той же Ипатьевской летописи говорится, что Изяслав Мстиславич послал «с речьми» к венграм, причем следует отметить, что одни из этих «речей» предназначены для венгерского короля, а другие, отдельно, для его подданных.

Когда переговаривающиеся стороны взаимно посылают друг к другу послов, летопись применяет выражение «сослаться речьми»: «. . .и ста Святополк в граде, а ляхове на Бугу, и сослася речьми Святополк с ляхы» (Лаврентьевская лет., 1097).

Из летописи видно, что послу давался общий наказ о том, как должен себя вести посол в том или ином случае, и отдельно поручались «речи», которые посол не мог изменять по-своему и передавал, соблюдая грамматические формы первого лица, от лица пославшего. В общий наказ послу входило, например, поручение передать поклон, спросить о здоровье и т. д.

Вот как, например, отряжал своего посла к Юрию Долгорукому Вячеслав Киевский. Вячеслав передает Юрию весь ход своих отношений с Изяславом, а потому просит его и его брата Ростислава присутствовать при самом «отряжении» своего посла как живых поручителей его правдивости: «Вячеслав же рече мужеви своему: „Поеди к брату Гюргеви, брата от мене поцелуй; а вы брата и сына, Изяслава и Ростислава, слушайте, перед вами и отряжю; тако молви брату моему: аз есмь, брате, тобе (т. е., конечно, Юрию, а не послу. — *Д. Л.*) много молвил и Изяславу, обеима вама, не пролейта крови хрестьяньскы, ни погубита Рускы земле. . .“» и т. д. (Ипатьевская лет., 1151).

Приехав по назначению, и перед тем, как передать порученные ему «речи», посол обычно объявлял: «тако ти молвить князь», «а тако ти глаголеть» и т. п. В 1149 г. посол Изяслава явился к Святославу: «. . .и рече ему [Святославу] посол Изяславль: *тако ти молвить* Изяслав, брат твой. . .» (Ипатьевская лет., 1149), а затем объявил и самые «речи» Изяслава. Послы князя Глеба, отправленные к Михалку Переяславскому, «усретоша и́ (Михалка)» «рекуще»: «Глеб ся кляняеть, *река*: аз всемь виновать, а ноне ворочю все. . .» и т. д. (Лаврентьевская лет., 1176). Посол Болеслава к Шварну так выполнил свое поручение: «. . .посол же рече Шварнови: *тако ти молвить* князь Болеслав *я* на Литву не жалую. . .» и т. д. (Ипатьевская лет., 1268).

Характерно, что термин «править посольство» относился первоначально только к той части переговоров, в которой посол передавал порученные ему «речи», но не к выполнению других обязан-

ностей посла. Это отчетливо видно из подробного описания под 1288 г. в Ипатьевской летописи посольства перемышльского епископа Мемнона к Владимиру Васильковичу: «Присла же потомь ко Володимеру Лев епископа своего перемышлескаго, именемь Мемнона. Слуги же его поведаша ему: „Владыка, господине, приехал“. Он же рече: „Который владыка?“ Они же поведаша: „Перемышлеский, ездить от брата ть ото Лва“. Володимер же бе разумеа древняя и задняя, на што приехал, посла по него. Он же войде к нему и поклонився ему до земле, река: „Брат ти ся кланяеть“. И веле ему сести. И *нача посольство правити*: „Брат, ти, господине, молвить: стрый твой Данило король, а мой отець, лежить в Холме. . .“» и т. д. (Ипатьевская лет., 1288).

Записывая в летопись о том или ином посольстве, о тех или иных переговорах, летописец обычно опускал подробности отъезда и приезда посла, даже иногда самые сведения о после, не упоминал его вовсе, но стремился сохранить самое существенное: «речи». Летописец всегда записывал их в той форме, в которой они были поручены послу или произнесены им, т. е. в форме обращения от лица пославшего, и никогда не передавал их от лица посла. «И посла Мьстислав по Ярослава, глаголя: „Сяди Кыеве, ты еси старейшей брат, а *мне* буди си сторона“» (Лаврентьевская лет., 1024).

Поручая «речи» послу, посылавший всегда употреблял форму прямого обращения к тому, к кому он посылал посла. Например: «Володимери же мужи [и] Изяслави рекоша ему (послу): „Брат *ти* (Изяславу, а не послу.— *Д. Л.*) молвить Володимер и Изяслав мы есме хрест целовали, яко всим нам быти за один, а *ве*, *брате*, *доспеваеве*, а *ты*, *брате*, такоже доспевай“» (Ипатьевская лет., 1149). Так же строго от лица князя обращается и посол Изяслава Мстиславича к черниговским князьям Владимиру и Изяславу Давидовичам: «И рече им Изяславль посол: „Аже устоите у крестьном целованьи, и *яз* (Изяслав, а не произносящий эти слова посол Изяслава. — *Д. Л.*) *вам*, брата, *являю*; тако *ми* вошло во уши, оже *мя* ведете льстью, а ко Святославу есте хрест целовали к Олговичю, яко на сем пути *вам* любо *мя* яти, любо убити в Игоря место, а есть ли то, *братья* (братьями опять-таки мог называть Владимира и Изяслава Давидовичей, конечно, только сам Изяслав Мстиславич, а не посол. — *Д. Л.*) тако, или не тако?“» (Ипатьевская лет., 1147).

Такое игнорирование личности посла, передача через него «речей» в форме строго личного обращения очень часто приводили исследователей к мнению, что «речи» эти пересылались в письменной форме. Между тем порядок этих пересылок «речьми» отмечен в летописи еще для такого периода, когда русские послы явно не могли передавать письменных поручений. В тех же выражениях рассказывает летописец о посольских сношениях Ольги, Святослава и др. (ср. под 946 г.: «И стоя Ольга лето, не можаше взяти града, и умысли сице: *посла* ко граду, *глаголющи*. . .»; ср. также под 971, 980 и другими годами).

Передача «речей» от лица посылающего со строгим соблюдением форм личного обращения князя не была вызвана тем, что посол рассматривался как безличный и механический передатчик. Послы в Древней Руси никогда не были только гонцами. В послы выбирались «лепшие» люди (ср. Лаврентьевская лет., 971). Известны случаи, когда князья посылали послами своих сыновей. В 1128 г. Мстислав Владимирович отправил послом сына своего Ростислава; в 1151 г. Изяслав Мстиславич отправил в посольство сына Мстислава и т. д.

Объяснение, думается, лежит в ином: посол, передавая «речи» князя, во всех случаях являлся его заместителем, фактотумом. Посол говорил от лица пославшего, как будто бы сам являлся в момент передачи «речей» этим пославшим. Поэтому-то и оскорбление, нанесенное послу, было равнозначно оскорблению того лица, которое его послало.

Вот как рассказывается в Ипатьевской летописи об оскорблении, нанесенном Андрею Боголюбскому в лице его посла: «Того же лета Андрей, князь Суждальский, разгневася на Ростиславичи. . . исполнивься высокоумья, разгордевься вельми, надеяся плотной силе и множеством вой огородивсе, ражегся гневом и посла Михна мечьника, рек ему: „Едь к Ростиславичемь, рци ти им: не ходите в моей воли, ты же, Рюриче, пойди в Смоленск, к брату во свою отцину"; а Давыдови рци: „А ты пойди в Берладь, а в Русьской земли не велю ти быти"; а Мьстиславу молви; „В тобе стоить все, а не велю ти в Руской земле быти"». Приказ об изгнании из Русской земли Мстислав воспринял как тягчайшее оскорбление и ответил на него равным оскорблением: «. . .повеле Андреева посла емьше постричи голову перед собою и бороду, рек ему: „Иди же ко князю своему и рци ему: мы тя до сих мест акы отца имели по любви; аже еси с сякыми речьми прислал, не акы к князю, но акы к подручнику и просту человеку, а что умыслил еси, а то дей, а бог за всем". Андрей же то слышав от Михна, — продолжает летописец, — и бысть образ лица его попуснел [осунулся]; и возострися на рать» (Ипатьевская лет., 1174).

Нанесение одним князем другому особого оскорбления в лице посла, при этом обставленное со всеми явными знаками личного оскорбления, в присутствии самого оскорбителя, что каралось особенно сурово, как об этом свидетельствует «Правда Ярославичей», ясно говорит о том, что посол не являлся только механическим передатчиком «речей», но представительствовал личность самого князя.

Подтверждение этому *личному* представительству посла можно видеть и в том, что в случае, если посольство посылалось от группы князей-союзников, каждый из князей посылал своего посла, хотя бы всем послам вместе и поручалась одна и та же «речь». «И сдумавше послаша к Давыду мужи свое, — рассказывает летописец под 1100 г., — Святополк Путяту, Володимер Орогостя и Ратибора, Давыд и Олег Торчина»; «. . .послании же придоша к Давыдови и рекоша ему: „Се ти молвять братья: не хочем ти дати

стола Володимерьскаго. . .“» и т. д. (Лаврентьевская лет., 1100).

Насколько известно из новгородских летописей, новгородцы всегда посылали по нескольку послов. В 1224 г. послами новгородцев едут Полюд, Вячеслав Прокшинич, Иванка Ярышевич; в 1229 г. — Нездила Прокшинич, Иванка Тудоркович и т. д. Тот же новгородский обычай посылать по нескольку послов отражен и в Повести временных лет (под 1102 г.). Очевидно, послы новгородцев отправлялись отдельно от каждого конца (как это было впоследствии в Пскове) или от каждой вечевой партии. Новгородские послы вместе правили свои посольства и вместе передавали одну общую, порученную им «речь», которую произносили от лица всех новгородцев в той же форме первого лица (но не единственного числа, а в этих случаях — множественного, поскольку они представительствовали несколько концов или несколько партий). Послы отдельно от каждого князя посылались и половцами (ср. в Лаврентьевской лет. под 1101 г.: «. . .и прислаша половци слы от *всих князей* ко всей братьи. . .»). Половцы, так же как и русские, пересылались устными сообщениями — «речьми».

Таков был общий порядок исправления посольских обязанностей в Древней Руси XI—XIII вв. Порядок этот был резко отличен от греческого, где все дипломатические сношения велись грамотами. Русская летопись отметила это различие. Под 1164 г. летописец рассказал, что епископ Антон, «родом гречин», послал *грамоту* к Святославу Всеволодовичу. Характерно при этом, что, передавая содержание этой грамоты, летописец прибегает к тому же термину «река», к которому привык и при передаче устных «речей» послов: «. . .исписав грамоту и посла к Всеволодичю, *река* тако:. . .» (Ипатьевская лет., 1164). Из русских князей только Владимир Мономах, также по матери «гречин», посылал «грамотицу» князю Олегу Святославичу. Однако с другими русскими князьями Мономах никогда не пересылался грамотами, строго придерживаясь русского обычая пересылки «речьми».

Характерна встреча обоих обычаев — греческого письменного и русского устного — при заключении договоров с греками в 945 и 971 гг. Русские послы правили свое посольство согласно русскому обычаю — устно, но греки записывали «речи» русских послов, вводя тем самым «речи» русских послов в традиции своей собственной посольской практики. «Посла Игорь муже своя к Роману, Роман же созва боляре и сановники. Приведоша Руския слы, и велеша глаголати [и] псати обоих речи на харатье» (Лаврентьевская лет., 954). «[И] повеле писцю писати вся речи Святославле [переданные через посла] на харатью; нача глаголати сол вся речи, и нача писець писати. Глагола сице. . .» (Лаврентьевская лет., 971).

Русский обычай «ссылаться речьми», а не грамотами был очень прочным. Хотя происхождение его восходит, несомненно, к дописьменному периоду истории Руси, тем не менее и позднее, даже спустя несколько веков после введения письменности, русские послы по-прежнему изустно говорят порученные им «речи», не

заносят их на грамоты. Развитие письменности не изменило этого обычая, хотя не подлежит сомнению, что большинство русских послов, как, например, поп Василий, игумен Федос, Петр Бориславич и др., были людьми хорошо грамотными, а иногда и незаурядными писателями: поп Василий составил повесть об ослеплении Василька Теребовльского, Петр Бориславич запечатлел в письменном отчете переговоры с Владимиром Галицким, игумен Федос принимал участие в летописании Киево-Печерского монастыря и т. д.

Поразительно, что даже тогда, когда русские послы стали составлять подробные и литературно безупречные отчеты о выполненных ими дипломатических поручениях, включавшиеся иногда и в летопись и составляющие в ней одну из самых ярких страниц, — даже и тогда русские послы продолжали по-прежнему изустно передавать поручаемые им «речи». Так, например, поп Василий, составивший блестящий отчет о своей дипломатической деятельности — живую, драматическую, психологически наблюдательную повесть об ослеплении Василька Теребовльского, все посольские поручения выполнял исключительно устно. Устно же передавал поручаемые ему «речи» и Петр Бориславич, также составивший подробный отчет о своей миссии к галицкому князю Владимиру. В Ипатьевской летописи в изложении событий XII в. можно обнаружить фрагменты нескольких письменных отчетов послов о выполненных ими поручениях, [1] но передача «речей» неизменно велась по заведенному исстари обычаю устно.

Посольские «речи» от лица князей настолько вошли в практику русской жизни, что летописец нередко, говоря о посольских «речах», не упоминал о после, который эти «речи» передавал. Поэтому очень часто при чтении русской летописи создается впечатление, что князья, разделенные огромными расстояниями, свободно переговариваются друг с другом. Так, например, Святослав Ольгович в 1149 г. передавал «речи» послу Изяслава Мстиславича; летописец рассказывает об этом так, будто бы Святослав обращался к Изяславу непосредственно: «И рече Святослав Ольгович к Изяславу Мстиславичю: „А вороти ми товара брата моего со што любо, а яз с тобою буду“» (Ипатьевская лет., 1149). Только из предшествующего и последующего изложения ясно, что «речь» эта была передана Святославом через посла. Точно так же Святополк и Владимир Мономах из разных мест обращаются к Олегу Святославичу в Чернигов, как будто бы всех троих не разделяли никакие расстояния: «Святополк же и Володимер *рекоста к нему*: „. . .да се ты ни на поганыя идеши, ни на свет к нама, то ты мыслиши на наю и поганым помагати хочеши, а бог промежи нами будеть“» (Лаврентьевская лет., 1096). «Речи» эти были, конечно, составлены Святополком и Владимиром в результате предварительного сговора

---

[1] Ср., например, в Ипатьевской летописи под 1147 г. отчет посла Изяслава, ездившего для переговоров к Давидовичам в Чернигов.

через послов, пересылавшихся между Киевом и Переяславлем (Русским), и через послов же переданы Олегу в Чернигов.

Эта летописная манера — не упоминать о послах, передавая лишь самые «речи», сказывалась и в «Слове о полку Игореве». Киевский князь Святослав обращается с «речами» к русским князьям, отделенным от него огромным расстоянием. Нет нужды видеть в этом поэтическую вольность автора «Слова». Напомним, что и в летописи Святослав так же обращается к русским князьям.

2

Насколько точно передавал посол поручаемые ему «речи» и насколько точно заносились эти «речи» в летопись?

Оба эти вопроса тесно связаны между собой. Если «речи» передавались послами в более или менее законченных формулировках, то и в отчетах послов, которые, как мы видели, включались иногда в летопись, и в записях самих летописцев формулировки эти, конечно, сохранялись не менее бережно. Они могли передаваться из уст в уста как своего рода готовые, официальные определения создавшейся ситуации.

Необходимо отметить, что уже самая процедура передачи «речи» послу, а затем воспроизведение ее послом перед лицом, к которому она обращена, свидетельствуют о стремлении к максимальной точности. Мы видели выше, что посол всегда передавал поручаемые ему «речи» в первом лице — от пославшего, а не от себя. «Речь» посол предварял словами «тако ти глаголет» или «тако ти молвит», как бы подчеркивая ими цитатный характер передаваемых слов. Посылающий или отвечающий, требуя передать свои «речи», также произносят их от своего лица и обращаются в них не к послу, а непосредственно к тому, к кому его посылают.

На точность и продуманность формулировок указывает и ряд других косвенных признаков. Эти формулировки повторяются в переговорах, передаются из «речи» в «речь», их цитируют — следовательно, считают установившимися и как бы закрепленными применительно к отдельным фактам.

Так, например, отпуская в 1151 г. венгров, Изяслав Мстиславич велел им передать венгерскому королю Беле: «Бог ти помози, брате, оже нам еси тако помогл, толико можеть так учинити брат роженый или сын отцю, како же ты нама еси учинил». Изяслав предупредил венгров, что отрядит вслед им особого посла к королю — своего сына Мстислава. Очевидно, что венгры не могли представительствовать личность Изяслава. И действительно, отпустив венгров, Изяслав, посоветовавшись с Вячеславом, от лица обоих посылает Мстислава, повторяя свои слова, уже переданные однажды через венгров, но теперь в посольстве Мстислава облеченные официальностью: «Ты нама еси тако учинил, якоже можеть так брат роженый брату своему, или сын отцю, акоже ты нама помогл» (Ипатьевская лет., 1151).

Другой факт свидетельствует о том, что отдельные формулировки посольской речи запоминались не только самим пославшим, но и теми, к кому они были обращены. Когда Владимир Мономах послал послов к Давиду и Олегу Святославичам (1097), он передал следующие «речи»: «. . .да поправим сего зла, еже ся створи се в Руськой земьли и в нас, в братьи, *оже вверже в ны ножь*». Яркая образность этой формулы — «оже вверже в ны ножь» — запомнилась и Давиду, и Олегу. В свою очередь, посылая к Святополку, они передают ему: «. . .что се зло створил еси в Руськой земли, и вверг еси ножь в ны?»

Точность, с которою запоминались посольские «речи», допускала иногда довольно длинное их цитирование. Так, например, киевский князь Вячеслав обратился к Юрию Долгорукому через посла с «речью», в которой процитировал слова Изяслава Мстиславича: «. . .любо дай Изяславу чего ти хочеть, пакы ли, амо (в Ипатьевской ошибочно — «яз») поиди полкы своими ко мне, заступи же волость мою; *Изяслав ми то молвить*: „Ты ми буди в отца место, поиди сяди же в Киеве, а с Гюргем не могу жити; не хочешь ли мене в любовь прияти, ни Киеву поидеши седеть, яз хочю волость твою пожечи“; ныне же, брате, поеди, а видеве оба по месту, что нам бог дасть, любо добро, любо зло; пакы ли, брате, не поедеши, на мя не жалуй, аже моей волости пож[ж]ене быти» (Ипатьевская лет., 1149).

Точность подобного рода цитирования поддается проверке. Так, например, когда в 1149 г. Изяслав киевский вел переговоры с сыном Юрия Долгорукого Ростиславом, он прислал к нему послов и те передали Ростиславу следующие «речи», в которых Изяслав вспомнил свои переговоры с ним, ведшиеся в 1148 г.: «Се, брате, ты еси ко мне от отца пришел еси, оже отець *тя приобидил и волости ти не дал*; яз же тя приях в правду, яко достойного брата своего, и волость ти есмь дал, ако ни отець того вдал, что я тобе вдал, и еще есмь и Руской земли приказал стеречи тобе; а то ти есмь рекл: се аз, брате, иду на отца твоего, а на своего стрыя, *а ты постерези Руской земли, любо ся с ним умирю, пакы ли, а како мя с ним бог управить*» (Ипатьевская лет., 1149).

Выделенные курсивом места точно повторяют содержание «речей» Ростислава и Изяслава, занесенных в летопись под 1148 г. Когда Ростислав бежал от отца своего Юрия и явился в Киев к Изяславу, он сказал ему: «Отець мя переобидил и волости ми не дал» (Ипатьевская лет., 1148), а когда Изяслав отправился в поход на отца Ростислава Юрия, он оставил Ростислава в пограничном со степью Божеске, сказав ему: «Пребуди же тамо, доколе я схожю на отца твоего, а любо с ним мир възму, пакы ли а како ся с ним улажю, а ты постерези земле Руской оттоле» (Ипатьевская лет., 1148).

Как видно из этого примера, несмотря на то, что «речи» послов прошли и через передачу летописца, и приводились (через год) по памяти Изяславом, отдельные формулировки продолжали сох-

раняться, хотя порядок этих формулировок и оказался нарушенным в этой тройной передаче (посла, Изяслава и летописца).

Об относительно точном воспроизведении «речи» послов в летописи свидетельствуют различные наблюдения. Характерно, например, что «речи» новгородских послов сохраняют весь свой северный, новгородский колорит даже в передаче Киевской летописи. Так, например, в Повести временных лет рассказывается под 1102 г., что новгородские послы (их несколько, как всегда от Новгорода) явились к киевскому князю Святополку и сказали ему: «Се мы, княже, прислани к тобе, и ркли ны тако: не хочем Святополка, ни сына его; аще ли 2 главе имееть сын твой, то пошли и́; сего ны дал Всеволод, а въскормили есмы собе князь, а ты еси шел от нас» (Лаврентьевская лет., 1102). Эта речь новгородских послов настолько насыщена типичными новгородизмами, что точность ее воспроизведения в стилистически иной — южной, Киевской летописи не вызывает сомнений. В ней и характерная новгородская формула изгнания князя, не принятая в других русских областях («а ты еси шел от нас»), и понятное только в устах новгородца определение «а въскормили есмы собе князь», и типично новгородское пристрастие к грубоватым поговоркам: «аще ли 2 главе имееть сын твой, то пошли и́» и т. д.

Такая же точность в передаче новгородских «речей» явственно ощущается в другой летописи — в киевском продолжении к Повести временных лет. Под 1148 г. в ней записан очень характерный для новгородцев ответ на обращение Изяслава Мстиславича. Новгородцы отвечали в формуле, характерной и понятной только для новгородцев и, следовательно, правдиво отраженной в Киевской летописи. «Ты нашь князь, ты нашь Володимир, ты нашь Мьстислав! Ради с тобою идем своих деля обид» (Ипатьевская лет., 1148). Под Владимиром новгородский ответ разумел, очевидно, не Владимира Мономаха, а Владимира Ярославича, а под Мстиславом — Мстислава Владимировича, чья деятельность как новгородского князя была слабо отмечена в Киевской летописи, но зато хорошо памятна самим новгородцам. Так же типичен для новгородцев и другой их ответ, приведенный в Ипатьевской летописи под тем же годом, несколько ниже: «Княже! Ать же поидем, и всяка душа, аче и дьяк, а гуменце ему пострижено, а не поставлен будеть (и тьи поидеть, а кто поставлен),[2] ать Бога молить» (Ипатьевская лет., 1148).

Итак, можно думать, что и сами послы передавали поручаемые им «речи» в более или менее устойчивой форме, и летописцы заносили их в свои летописи в той же почти дословной передаче. Летописец не выдумывал «речи» послов, а записывал слышанное.

Устойчивость формы «речей» послов, их донесений и отчетов была такова, что даже через многоустную передачу она сохранялась нередко неизменной. Так, например, сообщение русских ле-

---

[2] Нет в Ипатьевском списке, восстанавливается по Хлебниковскому и Погодинскому спискам.

тописей о первом появлении татар на границах Руси облетело все русские области и отразилось в летописях Новгородской, Переяславля Русского, Владимирской, Ростовской и Галицкой в более или менее сходной форме. И это сходство сохраняется даже в тех летописях, между которыми нельзя установить непосредственной письменной связи.

Мало того, сообщение о появлении татар достигло в том же году и западноевропейских стран и там отразилось в хрониках в формулах, опять-таки сходных с русской. Цезарий Гестербахский в 47-й главе X книги своей хроники пишет о Калкской битве: «В прошедшем году еще какой-то народ вошел во владения Руссов и истребил там весь народ унский: нам неизвестно, что это за народ, откуда идет и куда стремится».[3] Ср. в Новгородской I летописи по Синодальному списку: «Том же лете, по грехом нашим, придоша языци незнаеми, их же добре никто же не весть, кто суть и отколе изидоша, и что язык их, и котораго племене суть, и что вера их. . .»; «Бог един весть, кто суть и отколе изидоша. . : мы же их не вемы, кто суть. . .»; «. . .и не съведаем, откуду суть пришла, и где ся деша опять; бог весть, отколе приде на нас, за грехы наша».

3

Само собой разумеется, что «речи», изустно передаваемые при переговорах, иногда очень сложных, могли точно запоминаться только при условии, если самые формулировки отдельных обстоятельств дела отличались лаконизмом, выразительностью и в известной мере традиционностью формы, облегчавшей и их понимание, и их передачу.

Есть все основания думать, что еще в дописьменный период русской истории существовало высокое искусство устной речи, поэтической и деловой. В существовании искусства поэтической речи убеждает наличие фольклора, развитого и сложного; в существовании высокого искусства деловой речи убеждает самый характер русской политической и социальной истории до XI в.: развитость норм обычного права, наличие обширных дипломатических сношений с соседними народами и между отдельными племенами.

Летопись донесла до нас многочисленные образцы различных типов устной речи. Яркою выразительностью и в известной мере традиционностью отличались, например, воинские речи, которыми русские князья перед битвой «подавали дерзость» своим воинам.

Вот, например, известные речи князя Святослава своим дружинникам: «. . .уже нам сде пасти; потягнем мужьски, братья и

---

[3] Quaedam etiam gens anno praeterito intravit regna Ruthenorum et totam ibidem gentem Unam delevit: de qua nobis non constat, quae sit, unde veniat, vel quo tendat. — Учен. зап. АН по I и III отд., 1854, т. 2, с. 760. Ср. также в летописи речь Святослава к воинам под 971 г. и передачу ее же у Льва Диакона.

дружино» (Лаврентьевская лет., 971); «. . .уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посрамим земле Руские, но ляжем костьми, мертвии бо срама не имем. . .» и т. д. (там же). Но речи Святослава в известной мере традиционны. «Аще жив буду, [то] с ними, аще погыну, то с дружиною», — говорит Вышата о своей дружине (Лаврентьевская лет., 1043). «Потягнете, уже нам не лзе камо ся дети», — говорит Святослав Ярославич перед битвой с половцами (Лаврентьевская лет., 1068). «Да любо налезу собе славу, а любо голову свою сложю за Русскую землю», — говорит Василько Теребовльский (Лаврентьевская лет., 1097). «Луче, братье, измрем сде, нежели сесь [сей] сором възмем на ся», — говорит Изяслав Мстиславич черным клобукам (Ипатьевская лет., 1150). С такими же речами обращается к своей дружине и Игорь Святославич Новгород-Северский перед битвой с половцами: «Братья! Сего есмы искале, а потягнем» (Ипатьевская лет., 1185) или: «Оже побегнемь, утечемь сами, а черныя люди оставим, то от бога ны будеть грех сих выдавше пойдемь; но или умремь, или живи будем на единомь месте» (там же). «Братья моя милая Русь! Потягните за едино сердце», — говорит своим воинам Кондрат (Ипатьевская лет., 1281). Такие же речи встречаем и в Псковской летописи: «Братия мужи псковичи, потягнете за святую троицу и за святыа церкви и за свое отечьство» (Псковская I лет., 1323); или: «Братие, не посрамим отець своих и дедов, кто стар той отець, кто млад той брат; се же, братие, живот и смерть нам предлежит; постражем за свой живот» (Псковская I лет., 1230).

Все эти речи свидетельствуют о высокой культуре устной «воинской» речи. В них чувствуется и княжеская ласка к дружинникам в назывании их «братьями», и отчетливое представление о воинской чести и чести Родины, и мудрость воина (например, в словах Мстислава Ростиславича: «Мы бо аще ныне умрем, умрем же всяко» — Ипатьевская лет., 1178). Но больше всего поражают они стройностью и исключительным лаконизмом выражения.

Своеобразие этого воинского ораторства станет особенно ясным, если сравнить приведенные выше обращения князей перед битвами с речью, произнесенной в аналогичных обстоятельствах владимирским епископом Митрофаном. Епископ Митрофан, задавшийся тою же целью — приободрить людей перед решительным сражением, выражает те же мысли о равнодушии к смерти, о необходимости мужественной защиты. Но речь его лишена и лаконизма, и искусства, «навычного» для князей. «Чада, — говорит Митрофан, — не убоимся о прельщеньи от нечестивых, и ни приимемь си во ум тленьнаго сего и скороминующаго житья, но ономь не скороминующемь житьи попечемься, еже со ангелы житье; аще и град нашь пленьше копиемь возмуть и смерти ны предадуть, аз о том, чада, поручьник есмь, яко венца нетленьнаа от Христа Бога приимете» (Ипатьевская лет., 1237).

Особым лаконизмом, выработанностью формул, отчетливостью и образностью отличались и речи, произносившиеся на вечевых собраниях. Несомненно, что вече выработало свои формы публич-

ного обращения, умение сжато и энергично выразить политическую программу в легко доступной и легко запоминающейся формуле. Образность и пословичность отличают эти вечевые обращения.

В ответ на зов Мстислава Мстиславича пойти на Киев против Всеволода Чермного новгородское вече отвечало ему: «Камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими връжем» (Новгородская I лет., Синод. сп., 1214). Так же энергична и речь посадника Твердислава на новгородском вече: «Даже буду виноват, да буду ту мертв; буду ли прав, а ты мя оправи, Господи» (Новгородская I лет., Синод. сп., 1218 и др.).

Можно привести много других случаев, в которых сама действительность настойчиво требовала высокой культуры устной речи. Вспомним речи, произносившиеся при клятвенных заверениях на кресте,[4] речи на княжеских снемах и т. д.

По самому своему содержанию «речи», передаваемые через послов, были гораздо более разнообразны и сложны, чем речи воинские, крестоцеловальные, чем даже произносившиеся на вече. В них меньше традиционных формул, шаблонных оборотов. Вместе с тем они легко заимствуют отдельные формулы из практики иной устной речи — вечевой, воинской, даже разговорной. Дипломатическая практика XI—XIII вв. так же соприкасалась со всеми областями жизни, как она соприкасается и сейчас. Тем сложнее были те задачи, которые ставились дипломатическому языку XI—XIII вв., и тем более блестяще они разрешались.

«Речи», передававшиеся изустно через послов, были очень ответственным моментом политической жизни Древней Руси. Чтобы не быть искаженными в устной передаче, они должны были хорошо запоминаться, быть в достаточной мере краткими и выразительными. Действительно, посольские «речи», занесенные в различные списки русских летописей, во всех случаях отличаются высоким уровнем культуры устной речи.

Прежде всего поражает своеобразный образный лаконизм поручаемых послам «речей». «Аз уже бородат, а ты ся еси родил», — вспоминает Вячеслав Киевский «речи», переданные им Изяславу Мстиславичу (Ипатьевская лет., 1151). «Оже есте мой Городець пожгли и божницю, то я ся тому *отъожгу* противу», — «говорит» Юрий Долгорукий Святославу Ольговичу (Ипатьевская лет., 1152). Юрий Всеволодович следующим образом формулировал свое требование, переданное через новгородских послов: «Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, Сдилу Савиниця, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поил есмь коне Тьхверью, а еще Волховомь напою» (Новгородская I лет., Синод. сп., 1224). Не менее выразителен и лаконичен ответ Ярослава Всеволодовича новгородским послам: «Мира не хочем, мужи у мене; а далече есте шли, и вышли есте акы рыбы на сухо» (Новгородская I лет., Синод. сп., 1216).

---

[4] Например, крестоцеловальные речи на Любечском съезде (Лаврентьевская лет., 1097); ср. также: Новгородская I лет., Синод. сп., 1132 и др.

Особенное значение в посольских «речах» имела всегда выразительная антитеза: «. . .да аще [вам] любо, да седита, аще ли ни, да пусти Василка семо» (Лаврентьевская лет., 1100); «а поиди, а мы с тобою, не идеши ли, а мы есмь в хрестьном целовании правы» (Ипатьевская лет., 1148); «годно ти ся с ним [Юрием] умирити, — умиришися, паки ли а рать зачнеши с ним» (Ипатьевская лет., 1154); «аще ты ратен — си ратни же, аще ты мирен, а си мирни же» (Лаврентьевская лет., 1186) и т. д.

Нелишне отметить, что и самое построение посольской «речи» в известной мере отличается традиционностью. Так, например, если «речь» посла содержала в себе описание существующих феодальных отношений, то оно всегда ставилось впереди, а предложение или требование, предъявляемое послом на основании этой констатации, — в конце «речи». Всеволод Суздальский прислал в Новгород к Мстиславу Мстиславичу следующие «речи»: «Ты ми еси сын, а яз тьбе отець: пусти Святослава с мужи, и все, еже заседел, исправи; яз гость пускаю и товар» (Новгородская I лет., Синод. сп., 1210). В 1186 г. владимирцы послали к Всеволоду следующее обращение: «Ты отець, ты господин, ты брат; где твое обида будеть, мы переже тобе главы своя сложим. . .» (Лаврентьевская лет., 1186). Иногда описание положения заменялось в начале «речи» ораторским вопросом: «Пошто еси приехал и кто тя позвал? Еди же у свой Чернигов» (Ипатьевская лет., 1154).

Не следует думать, что посольские «речи» на всем протяжении XI—XIII вв. оставались неизменными по своей форме: традиционность их претерпевала существенные изменения. Так, начиная с XII в. в связи с ростом христианского влияния в княжеском быту заключительные концовки в требованиях ультимативного характера приобретают резко церковный оттенок: «што нам бог даст» (Ипатьевская лет., 1194); «не хощеши ли того створити, а за всим бог» (там же); «ныне же, брате, поеди, а видеве оба по месту, что нам бог дасть, любо добро, любо зло» (там же); «а како нам бог дасть» (Ипатьевская лет., 1150); «акоже ти с ним бог дасть» (там же); «ать вси по месту видим, што явить ны бог» (Ипатьевская лет., 1151); «а тогда како ны бог дасть с ним» (там же); «да бог за всим» (там же); «оже бог дасть» (там же); «а то богови судити» (там же); «како нам с ним бог дасть» (Ипатьевская лет., 1152); «како ми с ним бог дась, да любо аз буду в Угорьской земли, любо он в Галичьской» (там же); «а нама с королем с тобою како бог дасть» (там же); «како ны с ними бог дасть и святая богородица» (Лаврентьевская лет., 1176); «как ны бог дасть» (Ипатьевская лет., 1185); «но како ны бог дасть» (там же) и т. д.

4

Итак, во-первых, дипломатические переговоры велись в XI—XIII вв. через послов устно. Во-вторых, «речи», передаваемые через послов при переговорах, обладали устойчивой формой: от-

дельные формулировки удерживались и в дипломатической практике, и в летописной записи. В-третьих, посольские «речи» обладали своеобразной и высокой культурой.

К этим трем выводам можно прибавить и еще один. Поскольку летописцы брали эти «речи» из живой действительности и включали их в свои летописи, летописи как бы находились в зависимости от самой жизни. Воздействие дипломатической практики своего времени на летопись сказалось в обилии включенных в нее «речей», передававшихся через послов. Обилие «прямой» речи и ее жизненно-реальный, а не вымышленный характер составляют одно из резких отличий русской летописи и от византийских, и от западноевропейских хроник.

В заключение следует отметить, что татаро-монгольское иго внесло существенные сдвиги в посольский обычай Древней Руси, но вопрос этот требует специального исследования.

1946

«СОФИЙСКИЙ ВРЕМЕННИК» И НОВГОРОДСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1136 г.

1. «Софийский временник» и Начальный киево-печерский свод 1095 г.

Новгородские летописи занимают в системе восстанавливаемой А. А. Шахматовым истории русского летописания центральное место. На основании новгородских летописей А. А. Шахматов уточняет историю летописания московского, тверского, псковского, смоленского и др. Но особенное значение имеет открытие А. А. Шахматовым в начале Новгородской I летописи младшего извода (а отсюда и в других новгородских летописях) свода более древнего, чем Повесть временных лет. Свод этот А. А. Шахматов назвал Начальным и отнес его составление к 1095 г. Утверждение, что в новгородских летописях был использован свод более древний, чем сама Повесть временных лет, лежит в основе всей реконструкции А. А. Шахматовым древнейшего русского летописания. Оно-то именно и явилось его исходной точкой. Это открытие А. А. Шахматова — одно из самых замечательных в истории изучения русских летописей и едва ли может вызывать серьезные, продуманные возражения.[1]

Однако до сих пор не выяснен вопрос, когда и при каких обстоятельствах был привлечен к новгородскому летописанию киевский Начальный свод. Как известно, А. А. Шахматов определил, что Начальный свод был использован в Новгородской I летописи младшего извода с перерывами, и при этом только до 1074 г.[2] Первоначально А. А. Шахматов считал, что Начальный киевский свод был введен в Новгороде в первой четверти XIII в., когда был составлен из соединения новгородской владычней летописи и Начального свода «Софийский временник»[3] (название «Софийский временник» с точки зрения А. А. Шахматова представляет собою переделку названия Начального свода — Русский временник). Позднее А. А. Шахматов пересмотрел этот вопрос и пришел к выводу, что Начальный свод был привлечен к новгородскому летописанию в 1423 г.[4] Еще позднее А. А. Шахматов считал, что На-

[1] См. подробнее: Лихачев Д. С. 1) Шахматов как исследователь русского летописания. — В кн.: А. А. Шахматов. 1864—1920: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1947, с. 272 и след.; 2) Русское летописание в трудах А. А. Шахматова. — ИОЛЯ, 1946, т. 5, вып. 5, с. 420.

[2] См.: Шахматов А. А. 1) О Начальном киевском летописном своде. — ЧОИДР, 1897, кн. 3, с. 1—58; 2) Предисловие к Начальному киевскому своду и Несторова летопись. — ИОРЯС, 1909, т. 13, кн. 1, с. 213—270; 3) Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, гл. 1 и 15; 4) Повесть временных лет: Вводная часть. Текст. Примечания. Пг., 1916; 5) Киевский Начальный свод 1095 года. — В кн.: А. А. Шахматов: Сборник статей. . ., с. 117—160.

[3] Шахматов А. А. Хронология древнейших русских летописных сводов. — ЖМНП, 1897, апрель, с. 463—482.

[4] Шахматов А. А. Разыскания. . ., с. 380 и др.

чальный свод был использован в 1432 г.[5] Наконец, в недавно опубликованной работе А. А. Шахматова последних лет его жизни — «Киевский Начальный свод 1095 г.» [6] — он вернулся к некоторым из своих прежних выводов о времени использования в новгородском летописании Начального свода. А. А. Шахматов считает в этой работе, что включение в состав Новгородской I летописи Начального летописного свода относится к 1433—1434 гг. Однако по ряду признаков А. А. Шахматов предполагает, что Начальный свод имелся в Новгороде в соединении с киевской летописью и какою-то новгородской уже в начале XIII в. Свод, соединивший Начальный свод, его продолжение — киевскую летопись и новгородскую летопись, отразился, между прочим, и в Синодальном списке (или его протографе): из этого свода в Синодальный список были включены «Повесть о взятии Царяграда латинами», рассказ о Калкской битве и некоторые южнорусские известия.[7]

Таким образом, Начальный свод имелся в Новгороде в соединении с какой-то новгородской летописью уже в начале XIII в., однако вопрос о времени составления этого соединения А. А. Шахматов оставил в этой своей работе открытым. Заметим тут же, что А. А. Шахматов, в противоположность другим своим выводам, выводы о времени и причинах соединения Начального свода с Новгородской летописью нигде не обосновывает исторически. С точки зрения А. А. Шахматова в Новгороде просто «нашелся» текст давно вышедшего из употребления Начального свода и притом в дефектном экземпляре.[8] Этот случайный текст и был случайно же (в начале XIII в. или раньше; 1421, 1424, 1432 или 1434 гг.) привлечен для обновления официальной, чрезвычайно важной в новгородской политической жизни владычней летописи. Ниже мы увидим, однако, что использование в Новгороде антикняжеского Начального свода было далеко не случайным, что это произошло непосредственно после антикняжеского переворота 1136 г., в резко антикняжеских целях.

Обратимся прежде всего к самим событиям 1136 г.

2. Установление в XII в. нового политического строя в Новгороде и роль в нем Нифонта

Работы акад. Б. Д. Грекова в значительной мере выяснили обстоятельства установления в Новгороде в середине XII в. нового политического строя.[9] До середины XII в. князь представляет

[5] В статье «Летописи» для Нового энциклопедического словаря. См.: Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938, с. 366. См. также: Шахматов А. А. Повесть временных лет, с. XI.

[6] А. А. Шахматов: Сборник статей. . ., с. 117—160.

[7] Там же, с. 148—149.

[8] Шахматов А. А. Повесть временных лет, с. XLIX.

[9] Греков Б. Д. Революция в Новгороде Великом в XII веке. — Учен. зап. Института истории РАНИОН, 1929, т. 4, с. 13—21.

собой основную силу в государственной и культурной жизни Новгорода. В первой четверти XII в. старший сын Владимира Мономаха — Мстислав, а затем сын Мстислава — Всеволод стоят во главе политических предприятий Новгорода, покровительствуют искусствам, книжности, обстраивают Новгород двумя крупнейшими монастырями — Антониевым и Юрьевым, укрепляют детинец, обстраивают Ярославово дворище, покровительствуют культурному влиянию киевских книжников и киевского монашества. Хотя в XI и в начале XII в. новгородцы неоднократно вмешиваются в княжескую политику и самовольно выводят от себя посадников, общая организация государственного строя остается пока непоколебленной.

К середине XII в. относится установление нового социального и политического строя в Новгородской области. Новгород становится независимой боярской республикой. Процесс образования Новгородского государства сопровождается рядом бурных потрясений в жизни Новгорода, частыми сменами князей, посадников, тысяцких и заканчивается установлением всех тех новых форм правления, которые составляют затем на протяжении ряда веков характерную особенность Новгорода. С этой поры новгородский князь привлекается вечем только в качестве военного специалиста и ограничивается в своих правах особым договором; главенство в управлении Новгородом отныне принадлежит первому феодалу области — епископу, который приобретает некоторую независимость от киевского митрополита и должность которого, наряду с должностью посадника, становится выборною, зависимою от веча. Меняются не только политический и социальный строй Новгорода, но и привычные формы новгородской жизни. Обычным становится в Новгороде исполнение различных работ постоянными коллективами (артелями — «дружинами»), что накладывает сильный отпечаток на новгородское искусство и литературу. Архитектура и живопись испытывают процесс некоторой демократизации, обусловленный выдвижением новых социальных слоев в политической жизни города (главным образом ремесленников и купцов).

Внутренние потрясения новгородской жизни и новые политические силы, выдвинувшиеся в Новгороде в середине XII в., отчасти обусловлены изменениями в международном положении новгородской торговли и чрезвычайным усилением боярством феодальной эксплуатации своих владений, постепенно расширяющихся до Балтийского моря на северо-западе, до Ледовитого океана и Белого моря на севере, до Урала на востоке и до впадения Оки в Волгу на юго-востоке. В XII в. намечается перемещение путей европейской торговли. Средиземноморская торговля переходит от Византии в руки французов и итальянцев. Киев остается в стороне от европейской торговли, Новгород же оказывается в выигрыше: через Новгород и Суздаль направляются новые пути европейской торговли на Востоке. Новгородцы вывозят пушнину из северо-восточных областей, ввозят сукно, железо, соль, хлеб,

лошадей, предметы роскоши. XII век — это время, когда новгородцы сами держали в руках свою заморскую торговлю и когда новгородских купцов можно было встретить почти во всех торговых центрах Балтики. Одновременно и, очевидно, не в меньших масштабах, чем развитие торговли, идет развитие в Новгороде ремесел. По вполне понятным причинам развитие новгородской торговли сильнее отразилось в документальном материале, однако на развитие ремесел указывают топонимические и археологические данные и постоянное участие во второй половине XII—XIII вв. ремесленников в политической жизни города. На время интересы богатеющих торговцев и ремесленников объединяются в общем им всем стремлении освободиться из-под политической опеки Киева и проводника этой опеки — ставленника киевского стола — новгородского князя.

По-видимому, около этого времени князь теряет свои права на Софию Новгородскую, бывшую перед тем княжеским храмом, и обосновывается на другой стороне Волхова — на Ярославовом дворище, уступая детинец вечу. В уставе Всеволода о церковных судах, который В. О. Ключевский относит к 1135 г.,[10] впервые проводится отчетливый взгляд на Софию как на удел епископа: «. . .а дом святей Софии владыкам строити с сочьскыми. . . А се приказываю своим наместником и тиуном суда церковного не обидети, ни судити без владычня наместника. А се дах в олтарь святей Софии и притчу церковьному вседеньник сенаник вецьне; что суды церковныя, то святей Софии. А кто нашего роду пограбити или отъиметь, того повелехом владыце събором в синанице проклинати».[11] С переходом Софии в ведение одного епископа храм этот становится центральным палладиумом молодой вечевой республики. Епископ Нифонт вскоре значительно расширяет его, обстраивая с трех сторон галереями, и расписывает фресками.[12] По-видимому, предпринимались и другие работы в детинце, но они остались неизвестными из-за скудости источников.

Потеряв Софию, Всеволод пытается перенести ее значение на выстроенную им церковь Ивана на Опоках и упоминает ее в уставной грамоте о привилегиях ивановского купечества как новую новгородскую святыню. Всеволод дает ряд преимуществ ивановскому купечеству, организованному им из купцов, заинтересованных в торговле с Киевом.[13] Грамота эта направлена против нового хо-

---

[10] Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. М., 1909, с. 180.

[11] Памятники истории Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1935, с. 44.

[12] См.: Новгородская первая летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 1888, под 1144 г., с. 135.

[13] Новгородские связи с Киевом были в XII в. настолько интенсивны, что новгородцы составляли в Киеве как бы особую колонию, имевшую свою церковь (ср. Лаврентьевскую летопись под 1147 г.: «И повеле Лазарь взяти [тело] Игоря и понести и в церковь св. Михаила, в новгородскую божницю. . .»). Из Киева в Новгород ввозились мед и воск, следовательно, ивановская корпорация купцов «вощанпков» была заинтересована в торговле с Киевом.

зяина Софийского двора — новгородского епископа, главного антагониста князя: «А городу, ни владыце, ни боярам весу не отъимати у святаго великого Ивана, ни продавати моего данья великого князя Всеволода; а кто почнет вес отъимати, или продавати, или дом обидити святаго великого Ивана и святаго Захарьи, на того Спас и пречистая и святыи великыи Иван, будет им тма и съблазнь и казнь божия».[14] В «Уставе князя Всеволода о церковных судех, и о людех, и о мерилах торговых» говорится, что «живот» провинившихся в некоторых проступках делится: «треть живота святей Софии, а другая треть святому Ивану, а третьая треть сочьскым и Новугороду»,[15] т. е. Иван на Опоках и София ставятся в равные отношения — получают равную долю.[16]

Попытка Всеволода опереться на часть новгородского купечества, организованного им вокруг церкви Ивана на Опоках, не удалась. В 1136 г. происходят бурные волнения. Собравшееся вече, на котором, как и в 1132 г., присутствуют не только новгородцы, но псковичи и ладожане, смещает князя.[17] Князя сажают в «епископль двор, с женою и с детьми и с тьщею, месяца маия в 28; и стражье стрежаху день и нощь с оружиемь, 30 мужь на день».[18] Ему предъявляются следующие обвинения: «1) не блюдеть смерд; 2) чему хотел еси сести Переяславли; 3) ехал еси с пълку переди всех».[19] В этой краткой формулировке критикуются одновременно внутренняя и внешняя политика князя и высказывается отрицательная оценка его личных качеств.

Переворот 1136 г. окончательно ослабил княжескую власть и закрепил господствующее положение в управлении городом епископа. Князь лишается в Новгороде большинства своих доходов, прав и земельных владений. С этой поры он ограничен в охоте и в суде. Эти права, доходы и земельные владения переходят, по предположению акад. Б. Д. Грекова, к новгородскому епископу, который с этой поры становится богатейшим землевладельцем Новгорода и, очевидно, председателем совета господ, «начальником» новгородских бояр.[20] «Патрональный храм св. Софии стал

---

[14] Около 1134—1135 гг. См.: Памятники истории Великого Новгорода и Пскова, с. 42—43. Грамота сохранилась в списках конца XVI—начала XVII в.

[15] 1125—1137 гг. Там же, с. 45.

[16] Роль Ивановской организации купечества в процессе установления своеобразного новгородского государственного устройства довольно широко (но не всегда точно) обрисована в работе А. И. Никитского «Очерки из жизни Великого Новгорода. II. Святой великий Иван на Опоках» (ЖМНП, 1870, август, с. 201—224). По выражению А. И. Никитского, организация эта явилась «чистою революцией в жизни Великого Новгорода» (там же, с. 215).

[17] См. Новгородскую первую летопись по Синодальному списку: «Новгородьци призваша пльсковиче, и ладожаны, и сдумаша, яко изгонити князя своего Всеволода» (с. 128).

[18] Там же, с. 128—129.

[19] Там же, с. 129.

[20] Это положение епископа как первого феодала области отметил в своем «Путешествии» Гильбер де Ланнуа (в начале XV в.): Ung évesque, qui est comme leur souverain. . . (Voyages et ambassades de Guillebert de Lannoy, 1399—1450. Paris, 1840, p. 190).

средоточием государственной жизни Новгорода, естественно, что к нему перешло много княжеских прав, в том числе и право на прежние княжеские земли».[21]

В 1137 г. от нового, на этот раз уже приглашенного, а не поставленного князя Святослава Ольговича Нифонт добивается для софийской казны устава о десятине, регулировавшего доходы владыки и дававшего ему бо́льшую независимость от новгородского князя.[22] Акад. Б. Д. Греков предполагает, что «Устав Святослава Ольговича» ущемлял интересы владыки и был составлен к выгоде князя. Однако в уставе Святослава в числе его возможных нарушителей называется только «князь или ин кто сильны новгородцев», но не называется епископ, что вполне естественно в документе, выгодном именно последнему. Затем в уставе Святослава есть определенный признак того, что он был составлен именно в епископской канцелярии: это применение в нем времяисчисления по индиктам — «В лето 6645 индикта 15».[23] Времяисчисление по индиктам было введено при владычнем дворе доместиком Антониева монастыря Кириком и разработано им в 1136 г. в работе «Учение, им же ведати человеку числа всех лет».[24] Оно отразилось, как это мы увидим в дальнейшем, в Новгородской I летописи под 1136 г. В пользу того мнения, что устав Святослава был продиктован интересами владычнего двора, а не князя, можно привести и следующее соображение. Обычно нарушителю условия в грамотах угрожает кара со стороны патрона того учреждения, чьи интересы более всего страдают от его нарушения. Так, например, в грамоте о привилегиях церкви Ивана на Опоках (1134—1135) нарушителю угрожает святой Иван,[25] в купчей игумена Благовещенского монастыря Антония Римлянина (1147) угрожает «мати божия»,[26] во вкладной грамоте Варлаама Хутынского монастыря Спаса (1192) угрожает Спас,[27] в уставе же Святослава 1137 г. угрожает София: очевидно, потому, что именно храм Софии страдал при его нарушении.[28] Таким образом, устав Святослава 1137 г. должен, очевидно, считаться одним из завоеваний епископа в перевороте 1136 г.

В характеристике новгородских событий середины XII в., приведших к установлению нового политического строя в Новгороде, обычно недостаточное внимание уделяется церковной политике Новгорода в это время и роли в ней новгородского епископа Нифонта. Между тем новгородский политический переворот XII в., вызвав значительные изменения во внешней политике Новгорода,

---

21 Греков Б. Д. Революция в Новгороде Великом в XII в., с. 20.
22 См.: Русские достопамятности. М., 1815, ч. 1, с. 83 и след., а также: Памятники истории Великого Новгорода и Пскова, с. 47—48.
23 Памятники истории Великого Новгорода и Пскова, с. 48.
24 См.: Труды и летописи ОИДР, 1828, ч. 4, кн. 1.
25 Памятники истории Великого Новгорода и Пскова, с. 43.
26 Там же, с. 48.
27 Там же, с. 50.
28 «А будеть богу противен и святеи Софии» (там же, с. 48).

отнюдь не замкнулся пределами этого города. В середине XII в. княжеские междоусобицы Киевской Руси достигли своей наибольшей сложности и остроты. В это время происходила упорная борьба между Византией и венграми. В борьбу эту, захватившую также Германию, Чехию и Сицилию, были втянуты и русские княжества.[29] Хотя основные перипетии этой борьбы разыгрались начиная с 1152 г., однако и раньше отношения сторон были уже вполне определившимися. В 1149 г. Гейза заявил, что он «ратен царю», и поддерживал своих родственников в Сербии и Боснии против Мануила. Киевский митрополит Михаил, грек по происхождению, стоял на стороне Юрия Долгорукого и его зятя Владимирко Галицкого против великого князя Всеволода, пользовавшегося расположением киевлян. В 1145 г. Михаил, резко проводивший византийскую политику, покинул Киев и уехал к «Цесарюгороду», как видно, не вполне добровольно, возможно, под давлением князя Всеволода, насаждавшего русский епископат. 13 августа 1146 г. Киевом завладел Изяслав Мстиславич. Основной заботой его во внутренней политике было замещение митрополичьей кафедры природным русским, без сношений с Константинополем, так же, как за столетие перед этим был поставлен Ярославом русский митрополит Иларион. Момент для этого был выбран удачный. Византия испытывала в это время величайшие внешние затруднения. В 1144 г. переход во власть мусульман Эдессы вызвал второй крестовый поход. Весной 1147 г. через Византийскую империю прошли полчища немецких крестоносцев; в октябре — французы. И те и другие не прочь были поживиться византийскими богатствами. Сицилийский флот захватил Корфу и подверг грабежу Фивы и Коринф. Не менее тяжелое положение создалось в Византии и в области церковных дел. Патриарх Михаил Охсит сам признал себя недостойным патриаршего престола и в 1146 г. удалился в монастырь Следующий патриарх Косьма Аттик (1146—1147) был низложен патриаршим синодом после крупного скандала. И византийскому императору, и византийской церкви было не до русских дел. Изяслав выбрал кандидатом на митрополичью кафедру знаменитого Климента Смолятича. Ипатьевская летопись дает следующую характеристику Клименту: «. . .бе бо черноризечь скимник и бысть книжник и философ так, яко же в Русской земли не бяшеть». Климент, по-видимому, пользовался довольно большим авторитетом: к нему обращались за разрешением всякого рода церковных вопросов, он известен различными посланиями.[30] Таким образом, мы должны признать, что русский кандидат на митрополичью кафедру был выбран обдуманно: он во всяком случае

---

[29] Европейские союзы распределялись следующим образом: вместе с Византией были Чехия, Конрад в Германии, Галицкая земля и Суздаль; вместе с Венгрией были Сицилия, Гвельфы в Германии, Изяслав Мстиславич и Давидовичи черниговские.

[30] См.: Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII в. СПб., 1892.

был человеком незаурядным и мог с честью заменить своих предшественников — греков. Однако русские церковные иерархи не были единодушны в вопросе о поставлении митрополита-русского. Распрями византийской и антивизантийской партий решили воспользоваться новгородцы, во главе с Нифонтом, чтобы добиться независимости от киевского митрополита. Нифонт был поставлен в Новгород епископом в 1130 г. Очень быстро он примкнул к суздальской ориентации и всячески удерживал новгородцев от проявления вражды к суздальцам. Так, в 1134 и 1135 гг. Нифонт пригласил даже к себе на помощь митрополита-грека Михаила, чтобы помирить суздальцев с новгородцами, но напрасно. Новгородцы не только пошли ратью на суздальцев, несмотря на запрещение митрополита, но насильно задержали его в Новгороде до возвращения из похода (впрочем, неудачного). Летом 1147 г. Изяслав Мстиславич собрал в Киеве собор, на котором присутствовало большинство русских епископов (пять — по Лаврентьевской летописи). Епископ Онуфрий выступил на этом соборе с предложением поставить митрополитом Климента (или Клима, как называет его Ипатьевская летопись). Онуфрия оспорил Нифонт, взявший сторону греков и заявивший сомнение в возможности поставления митрополита без участия патриарха: «Не есть того в законе, яко ставити епископом митрополита без патриарха, но ставить патриарх митрополита: а мы не поклониве ти ся, ни служиве с тобою (Климентом. — *Д. Л.*), зане не взял еси благословения у святое Софьи, ни от патриарха; еще ли ся исправиши, благословишися, и тогда ти ся поклониве: мы взяли от Михаила от митрополита рукописание, яко не достоить нам без митрополита в святей Софьи служити».[31] Нифонт вернулся с собора в Новгород; во всяком случае, мы не имеем сведений о его присутствии на соборе в дальнейшем. В отсутствие Нифонта Онуфрий выступил с новым казуистическим предложением, которое должно было позволить обойти возражения Нифонта: «Аз сведе, достоить ны поставити, а глава у нас есть святаго Климента, якоже ставять Греци рукою святаго Ивана».[32] Обычай, о котором говорит Онуфрий, был следующий: греки ставили своих патриархов, благословляя их рукою патриарха Германа I — знаменитого противника иконоборцев.Обряд этот установился в уверение того, что и новый патриарх будет продолжать дело Германа.[33] На этот раз предложение Онуфрия имело успех, и Климент был поставлен в день именин Изяслава Мстиславича (христианское имя которого было Пантелеймон) — 27 июля. Приурочение поставления митрополита-русского ко дню именин великого князя показывает, какое большое политическое значение

---

[31] Ипатьевская лет., под 1147 г.

[32] Там же.

[33] Об этой руке Германа см. в «Хождении Антония» (Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. СПб., 1867, вып. 2, с. 341). Что касается мощей Климента, то они в IX в. были найдены в Корсуни и увезены в Рим. Из Рима голова Климента была затем привезена в Киев посольством папы Иоанна XV в 988 или 989 г.

придавалось этому событию. Тотчас после поставления Климента Нифонт порывает с киевской митрополией и едет в Суздаль к союзнику Византии Юрию Долгорукому «мира деля». В Суздале Нифонт освящает церковь Богородицы и снова хлопочет, по-видимому, о союзе с Новгородом. Замысел Нифонта и вся серьезность создавшегося для Киева положения были в полной мере оценены Изяславом Мстиславичем. В 1148 г. осенью Изяслав вывел из Новгорода Святополка, посадил на его место своего сына Ярослава и спустя недолгое время приехал вслед за сыном сам. Новгородцы, в среде которых боролись две партии, встретили Изяслава дружелюбно, и он смог их уговорить отправиться в поход на Юрия Долгорукого. Вернувшись в Киев, Изяслав вызвал к себе из Новгорода Нифонта и подверг его заключению в Печерском монастыре. Отметим, что заключение в Печерском монастыре не было для Нифонта тягостным. Позднее, во время своего вторичного приезда в Киев, Нифонт на этот раз уже добровольно останавливался в Печерском монастыре. У него были, по-видимому, насколько можно об этом заключить из его позднейшего жития, дружественные отношения с игуменом монастыря Федосом. В своих «Вопрошаниях» Кирик ссылается на Федоса как на лицо, хорошо известное Нифонту и близкое митрополиту: «И Феодос, рече, у митрополита слышав, напсал. — Такоже не ни напсав, рече, ни митрополит, ни Феодос, разве неделя празьдник».[34]

Печерский монастырь, бывший оплотом русской церковной политики против киевского митрополита-грека, всегда искал независимости от своей митрополии. Надо думать, что предшественнику Климента — митрополиту Михаилу удалось сломить сопротивление монастыря, поставив в него игумена-грека Федоса. При новом, на этот раз уже русском митрополите Клименте Федос продолжал борьбу своих предшественников за независимость Печерского монастыря, но митрополитом был уже не грек, а русский, игуменом же Печерского монастыря был на этот раз грек, и прежняя политика оппозиции митрополиту оказалась теперь прямо противоположна предшествующей по своему значению. В изменившейся ситуации ставропигия Печерского монастыря была при Федосе основой его византийской ориентации, дававшей ему право на преимущественное внимание сторонников византийской ориентации: Владимирко Галицкого и Юрия Суздальского (связанного с Нифонтом дружественными узами). Эта политика Печерского монастыря, пытавшегося приобрести положение в русской церкви, аналогичное положению Афонского монастыря в византийской,[35] очевидно, и навела Нифонта, постриженика Печерского монастыря, на мысль о необходимости для новгородской церкви добиться непосредственного подчинения патриарху через голову киевского митрополита. Вызов Нифонта из Новгорода был обусловлен исключи-

---

[34] Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1. Памятники XI—XV вв. — РИБ, СПб., 1880, т. 6, стб. 38.

[35] См. об этом: Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв. СПб., 1913, с. 307.

тельно желанием обезвредить его политически; коль скоро Нифонт очутился в Киеве, Изяслав находит достаточным «посадить» его в том самом Печерском монастыре, постриженником которого Нифонт являлся и из которого, как не мог не знать Изяслав, Нифонт был поставлен в новгородские епископы.[36]

Нифонт был освобожден из заключения Юрием Долгоруким, занявшем Киев 26 августа 1149 г. Новгородская летопись в следующих выражениях записала о возвращении Нифонта под 1150 (6658) г.: «Приде археписком Нифонт ис Кыева, пущен Гюргемь князем; и *ради быша людье Новегороде*». Митрополит Климент был изгнан из Киева, но, по-видимому, вернулся в 1151 г. и встретил Изяслава, еще раз победителем вошедшего в Киев. В 1153 г. Киев вторично был завоеван Юрием, снова прогнавшим Климента и пославшим за митрополитом в Константинополь. Вероятно, ко времени освобождения Нифонта Юрием следует отнести получение Нифонтом из Константинополя титула архиепископа, переводившего его из подчинения киевскому митрополиту-схизматику в непосредственное ведение патриарха. В Константинополе, очевидно, в связи с поставлением митрополита-русского решили дать независимость Нифонту от всяких притязаний Киева. Надо думать, что и сам Нифонт добивался в Константинополе своей независимости от митрополита, идя в этом отношении по пути Печерского монастыря. К этому времени относится антиминс Николо-Дворищенского собора [37] (1149), в котором Нифонт называет себя архиепископом. Антиминс этот ясно свидетельствует о том, что именно Нифонт, а не Иоанн, как это обычно принято считать, был первым новгородским архиепископом. Архиепископия давала Нифонту права на непосредственные сношения с патриархом, минуя митрополита, что в данной ситуации было выгодно и Новгороду и Константинополю. О том, как политика Нифонта была оценена в Константинополе, дает представление грамота, присланная ему патриархом Николаем Музалоном.[38] Под 1156 (6664) г. Ипатьевская летопись записала о Нифонте: «Патриарх же присла к нему грамоты, блажа и *причитая к святым его*; он же боле креплющеся, послушивая грамот патриаршь». Возможно, что в одной из присланных Нифонту патриархом грамот ему даровался и титул ар-

---

[36] См. об этом III Новгородскую летопись.

[37] Антиминс этот упоминает И. К. Куприянов (Прогулка по Новгороду. Новгород, 1862, с. 88—89). Сведения о нем даны: Орлов А. С. Библиография древнерусских надписей. М.; Л., 1936, с. 13 (тут же библиография вопроса, кроме работы И. К. Куприянова).

[38] Послание патриарха Николая Музалона «господину епископу Новаграда Нифонту»: «Слышахом, господине, о твоем праведном страдании, иже бога ради страждеши противу Клима митрополита, иже без нашего благословления взял на ся Киевскую митрополию своим изволением. . . и много от него досаждения злаго и укоризны претерпел еси. И ты, страдальче, и еще терпе о правде бога ради и не пренемогай от злаго сего аспида Клима и от его злых советник и будеши причтен от бога, брате, к прежним святым. . . Мир тебе, отче. . . страдальче Христов. . .» (Макарий. История русской церкви. 3-е изд. СПб., 1888, т. 3, прил. № 7, с. 297).

хиепископа.[39] Как были поняты в Новгороде патриаршии грамоты, показывает тот факт, что, по последующей легенде, Нифонт якобы был признан патриархом «святым» еще при жизни. Отметим, что Синодальный список Новгородской I летописи называет Нифонта под 1144 г. «святым» («археписком святый Нифонт»). Это не позднейшая вставка, обусловленная канонизацией Нифонта: канонизирован Нифонт был сравнительно поздно — в XVI в., дошедший же до нас Синодальный список Новгородской I летописи не может быть позднее XIV в.

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Оригинальная новгородская система избрания владык, которой мы не найдем аналогии ни в одном из княжеств и которая отстраняла киевского митрополита от всякого фактического участия в поставлении новгородского епископа, установилась, как это указывает П. Соколов, как раз после смерти Нифонта.[40] Естественно думать, что и учредителем ее был именно Нифонт. В том же убеждает нас и сама юридическая сторона этих выборов, свидетельствующая о глубоком знакомстве ее учредителя с византийским церковным правом. В самом деле, выборы эти представляли собой, по утверждению П. Соколова, оригинальное соединение системы Юстиниановых новелл о замещении епископской кафедры (выбор трех кандидатов избирательной комиссией) и системы монастырских типиков Византии XII в. (выбор игумена, а в Новгороде епископа, по жребию из трех кандидатов).[41] Во всяком случае Нифонт сумел извлечь из своего положения единственно признанного в Византии русского епископа все выгоды и установил для Новгорода если и не формальную (признанную и митрополитом), то во всяком случае фактическую церковную независимость.

Политика Нифонта была далеко не случайной для Новгорода. Если Киев боролся за самостоятельную русскую митрополию, то Новгород, для которого опасность подчинения константинопольскому патриарху не была такой осязательной, неоднократно искал опоры против Киева именно в Константинополе. Акад. Б. Д. Греков так объясняет введение выборного начала в поставление новгородского епископа: «Время первого избрания епископа (1156 г. — *Д. Л.*) не совпадает с временем вероятного политического переустройства Новгорода, потому что епископ Нифонт, принимавший непосредственное участие в политической жизни Новгорода, очевидно, сразу признал совершившийся переворот, может быть, даже ему содействовал, что весьма вероятно, так как от нового порядка храм св. Софии и его глава — епископ, несомненно, выигрывали, да и позиция, занятая Нифонтом, насколько можно ее наблюдать, нисколько не противоречит такому предположению. Смещать

[39] Точка зрения на Нифонта как на первого архиепископа, впрочем, без достаточного углубления в вопрос, высказана еще И. Д. Беляевым (Рассказы из русской истории. М., 1864, т. 2, с. 115—116).

[40] См. Синодальный список Новгородской I летописи под 1156 (6664) г.

[41] Соколов П. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, с. 319—320.

Нифонта не было, следовательно, никакого смысла, но если бы он оказался неподходящим лицом для нового порядка, конечно, новгородцы теперь не обращались бы в Киев, а проделали бы тогда же, т. е. в конце 30-х годов, ту же процедуру, которая силою вещей была отодвинута до 1156 г., когда он, Нифонт, „к весне преставился" (апреля в 18 день), т. е. собрался бы весь град, люди поставили бы себе епископа и вместе со всем клиросом св. Софии, с городскими попами, игуменами и чернецами ввели бы его во двор святые Софии и поручили бы ему епископью и потом радовались своему владыке».[42] Таким образом, акад. Б. Д. Греков считает введение начала выборности в замещении новгородской кафедры вполне аналогичным с введением выборной должности посадника.

Тем самым церковная реформа Нифонта связывается с аналогичной реформой в поставлении посадников.

Однако мы должны принять во внимание, что в замещении епископской кафедры присутствует чрезвычайно важный для средневекового сознания сакраментальный момент. Этот сакраментальный момент отсутствовал в выборах посадника, но присутствовал в акте поставления епископа. Вряд ли новгородцы стали бы рисковать быть объявленными схизматиками, устанавливая свою отдельную от киевской церковь, если бы вопрос этот не был продуман с точки зрения церковного законодательства. Установлению выборного замещения новгородской епископской кафедры должна была предшествовать большая церковно-юридическая и церковно-историческая работа. Клерикальный характер средневекового мировоззрения не мог позволить новгородцам с тою же легкостью нарушать церковные установления, с какою они нарушали политические права князей и посадников, и стихийно устанавливать новые формы церковной жизни. Оригинальная и сложная реформа церковного управления Новгородом была, по-видимому, продумана и установлена знатоком церковного законодательства Нифонтом, который, очевидно, и завещал провести ее в жизнь при первом же случае, т. е. сразу же после своей смерти. Такое объяснение устраняет хронологический разрыв между «избранием первого епископа» и «временем вероятного политического переустройства Новгорода».[43]

Установление новых порядков в новгородской церкви связано, таким образом, с установлением нового политического строя Новгорода, в котором новгородская церковь с этой поры начала играть главенствующую роль.

Вместе с тем сама новгородская церковь подпала под контроль веча и устранялась от влияния на нее Киева.

Итак, в середине XII в. в Новгороде совершается политический переворот, с которым связывается образование большинства основных новгородских республиканских учреждений, составлявших отличительную особенность Новгорода в течение более трех

---

[42] Греков Б. Д. Новгородский Дом св. Софии, ч. 1, с. 20—21.
[43] Там же, с. 20.

столетий. Главнейшие результаты новгородского переворота XII в. сводятся к следующему. Князь теряет часть своих прав и доходов, теряет свои земельные владения, которые с этой поры принадлежат софийской казне. Роль князя сводится к роли военного специалиста, приглашаемого усилившимся вечем и ограничиваемого особым договором — «рядом». Новгородская церковь приобретает некоторую независимость («архиепископию») от киевского митрополита и вместе с тем становится в известной мере зависимой от веча, которое с этой поры принимает участие в поставлении епископа. Последний делается главой новгородского государства, председателем «совета господ», хранителем новгородской государственной казны и обширных государственных земель, основной фонд которых составился из конфискованных владений князя. Вместе с тем новгородский епископ становится безраздельным обладателем новгородского детинца и патронального храма Новгорода — Софии. Епископ приобретает право суда, право контроля и право наблюдения за торговыми мерами. Епископ ведает внешней политикой города и защищает интересы иноземной торговли в Новгороде. Ища популярности у населения, епископ с этой поры усиленно покровительствует искусствам и письменности.

Нельзя не отметить во всем этом переустройстве выдающейся роли самого епископа Нифонта. Крупный политический деятель, Нифонт был вместе с тем и незаурядным культурным деятелем. Его инициативе принадлежит постройка ряда зданий в Новгороде, в Старой Руссе, Ладоге и во Пскове.[44] Его инициативе, как увидим в дальнейшем, принадлежит и развитие летописания, поставленного им на службу новому политическому порядку в Новгороде: надлежало пересмотреть всю новгородскую историю, отношения Новгорода к Киеву, отношения к княжеской власти, найти исторические основания новому политическому устройству Новгорода. Как и в других аналогичных случаях, получение титула архиепископа было ознаменовано составлением нового летописного свода.

3. Княжеский свод Всеволода 1119—1135 гг.

Основной вехой новгородского летописания XII в. А. А. Шахматов считает 1167 г. — время составления новгородского епи-

[44] В многочисленных постройках Нифонта впервые проявились многие новые архитектурные приемы и новые архитектурные вкусы, определяемые М. К. Каргером следующими чертами: «Вместо грандиозных, но единичных сооружений появлялись небольшие по величине, но строящиеся в огромном количестве. Здания эти по своему художественному выражению значительно проще, скромнее и интимнее репрезентативных, парадных сооружений начала века» (Каргер М. Новгород Великий. М., 1946, с. 40). Изменения в новгородской архитектуре нельзя, конечно, приписывать личным вкусам Нифонта, как это делает А. И. Некрасов (Великий Новгород и его художественная жизнь. М., 1924), однако самое появление новых архитектурных приемов при Нифонте — симптоматично.

скопского свода. Однако вопрос об этом своде по-разному освещен в различных работах А. А. Шахматова. Автором этого свода А. А. Шахматов первоначально[45] считал Германа Вояту, а затем какого-то владычнего летописца.[46] По-разному восстанавливается А. А. Шахматовым и состав этого свода. Так, например, в «Обозрении. . .» А. А. Шахматов считал возможным, что Герман Воята соединил текст новгородского Владычнего свода с текстом какой-то южнорусской летописи, доведенной до 70—80 гг. XII в. (точнее, 1174 г.). Впоследствии же А. А. Шахматов нашел более вероятным относить южнорусские известия Новгородской летописи за счет устной передачи. Недостаточно обоснована А. А. Шахматовым и самая датировка составления новгородского свода — апрель—май 1167 г. А. А. Шахматов считает эту дату наиболее вероятной, так как перечень князей киевских в начале статьи 6497 г. в новгородском своде 1448 г., включившем в свой состав и свод XII в., доведен только до Ростислава Мстиславича. «Перечень и свод, — пишет А. А. Шахматов, — составлены до 1167 г., ибо в Новгороде знали бы в 1167 г., что великим князем сделался Мстислав Изяславич».[47] Искусственность этой аргументации А. А. Шахматова станет ясной, если мы вспомним, что все списки Новгородской I летописи младшего извода и предшествующих сводов, в которых эти перечни уже читались, переписывались по многу раз вплоть до XV—XVI вв., и тем не менее список киевских князей пополнен не был. Почему же то, что не делалось позднее в течение ряда столетий, должно было быть сделано непременно в июне 1167 г., как только в Новгороде узнали, что великим князем киевским стал Мстислав Изяславич? А. А. Шахматов рассчитывает при этом, что для получения известия в Новгороде о вокняжении Мстислава Изяславича должно было потребоваться полтора месяца: в середине мая произошло вокняжение Мстислава Изяславича — следовательно, в июне это вокняжение должно было стать известным в Новгороде и получить отражение в Новгородской летописи.[48] Наиболее как будто бы убедительный аргумент в пользу составления Новгородского свода XII в. в 1167 г. извлекается А. А. Шахматовым из приписки, первоначально входившей, очевидно, во владычную летопись, откуда она попала затем в общерусский Новгородско-Софийский свод 30-х гг. XV в. (свод 1448 г.: Софийская I, Новгородская IV и другие летописи). Мы разумеем приписку к известию о пожаре Софии новгородской в 1049 (6557) г., которая стояла «идеже ныне постави Сотко церковь камену святого Бориса и Глеба». Церковь Бориса и Глеба

[45] Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938, с. 129.

[46] Шахматов А. А. Разыскания. . ., с. 186 и др.

[47] Там же, с. 195.

[48] На дату 1167 г. как на знаменательную в новгородском летописании впервые и по тем же основаниям указывал, впрочем, еще до А. А. Шахматова М. Погодин (Исследования, лекции и замечания по русской истории. М., 1857, т. 5, с. 344).

была заложена в 1167 г. «Слово „ныне“, — пишет А. А. Шахматов, — прямо указывает на время около 6675 года (1167 г. — *Д. Л.*): мы не читаем „идеже ныне стоить церковь“, а читаем „идеже ныне постави“. Итак, вот ясное свидетельство в пользу того, что древние новгородские известия подвергались обработке во второй половине XII в. или, что то же, что во второй половине XII в. возник новгородский летописный свод. Время составления свода определяется приведенным известием. Оно указывает на то, что свод составлен около 1167 г.».[49] Обратим внимание на одну деталь в этой аргументации А. А. Шахматова: в Новгородско-Софийском своде (Софийской I и Новгородской IV) ясно сказано: «идеже ныне постави Сотько церковь камену святого Бориса и Глеба». Между тем весной 1167 г. церковь эта была только «заложена», но не «поставлена», освящена же она была 14 октября 1173 г.[50] Таким образом, церковь строилась шесть с половиной лет. Форма «постави» точно указывает, что ко времени написания этих слов постройка церкви Бориса и Глеба была уже завершена. Кроме того, А. А. Шахматов приводит известие 1049 г. в качестве доказательства составления свода XII в. точно в апреле—мае 1167 г. и приписывает эту работу Герману Вояте. Между тем известие 1049 г. и сведения о Германе Вояте принадлежат двум различным стволам новгородского летописания и, следовательно, не могут быть сопоставляемы. Сведения о пожаре Софии в 1049 г. читались в общерусском Новгородско-Софийском своде (в Синодальном списке они читаются в иной форме и под другим годом — 1045 г.), сведения же о Германе Вояте имеются только в Синодальном списке и отсутствуют в Новгородско-Софийском своде. Не выдерживает критики и третий аргумент А. А. Шахматова в пользу составления новгородского свода в XII в. в 1167 г.: это связь его составления с тем, что в 1165 г. новгородский епископ получил титул архиепископа и пожелал, по мнению А. А. Шахматова, подвести итог всему предшествующему периоду новгородской истории. В самом деле, как мы видели выше, архиепископом именует себя Нифонт уже в 1149 г.

Новгородское летописание не получило освещения и в работе М. Д. Приселкова «История русского летописания XI—XV вв.».[51]

Незавершенность изучения истории новгородского летописания и важность занимаемого новгородскими сводами места в общей истории русского летописания делают необходимым внимательное рассмотрение именно этого раздела истории русского летописания.

Установить этапы новгородского летописания XII в. поможет самый состав новгородских летописей. Отметим прежде всего, что в тех из своих работ, где утверждалось, что Начальный свод был

---

[49] Шахматов А. А. Разыскания. . ., с. 203.

[50] См. Синодальный список Новгородской I летописи под 1173 г.

[51] В «Истории русского летописания XI—XV вв.» (Л., 1940) М. Д. Приселков на с. 34 обещал рассмотреть историю новгородского летописания в особой главе, но обещания этого в своей работе не выполнил.

использован в Новгороде в XV в., А. А. Шахматов отрывал Синодальный список (XIV в.) от младшего извода Новгородской I летописи. А. А. Шахматов предполагал, что Синодальный список имел в своем начале не Начальный свод, а только Повесть временных лет в третьей редакции. Такого же взгляда продолжал держаться А. А. Шахматов и в последней своей работе «Киевский Начальный свод 1095 г.», где утверждал, что Начальный свод имелся в Новгороде в соединении с какою-то новгородской летописью еще в начале XIII в., т. е. до составления протографа Синодального списка, причем это соединение отразилось и в самом Синодальном списке, но только не в той части, где был использован в нем Начальный свод. И в этой своей работе А. А. Шахматов предполагал, что утраченная часть Синодального списка восходит к Новгородской летописи в соединении не с Начальным сводом (как все остальные новгородские летописи в пределах до 1074 г.), а с третьей редакцией Повести временных лет.

Действительно, в Синодальном списке мы находим ряд известий, явно восходящих к Повести временных лет именно в третьей, последней редакции 1118 г.[52] Приведем примеры.

Третья редакция Повести временных лет (цит. по изд. А. А. Шахматова 1917 г.)	Синодальный список I Новгородской летописи (цит. по изд. 1888 г.)
6615 (1107). А февраля 5 трясеся земля пред зорями в нощи.	6615 (1107). Трясеся земля 5 февраля.
6620 (1112). Ярослав ходи на Ятвягы, сын Святопълчь, и победи я, и пришьд с воины, посъла Новугороду, и поя Мьстиславлю дъщерь собе жене. . . Того же лета преставися Давыд Игоревичь, месяца маия в 25. . .	6621 (1113). Ходи Ярослав на Ятвягы, сын Святопълчь; и пришьд с войны поя дъчерь Мстиславлю. В се же лето преставися Давид Игоревиць.
6621 (1113). В сеже лето Мьстислав заложи цьркъвь камяну святаго Николы на къняжи дворе у търговища Новегороде.	6621 (1113). В то же лето заложена бысть церкы Новегороде святаго Николы.
6622 (1114). Преставися Святослав, сын Володимерь, месяца марта в 16 дьнь. . .	6622 (1114). Преставися Святослав Переяславли.
6623 (1115). В лето 6623, индикта 8, съвъкупишася братия, Русьстии кънязи, Володимерь, завемыи Мономах, сын Вьсеволожь, и Давид Святославичь и Ольг, брат его, и сьдумаша перенести мощи Бориса и Глеба; бяху бо създали церкъвь има камяну на похвалу и чьсть телесома ею и на положение. Пьрвое же	6623 (1115). Съвъкупишася братья Вышегороде: Володимир, Ольг, Давид, и вся Руськая земля, и освятиша церковь камяну маия в 1, а в 2 перенесоша Бориса и Глеба, индикта в 8.

[52] Редакция 1118 г. иногда называется также второй. Будем придерживаться новейшей терминологии и называть эту редакцию третьей. Отметим, однако, что дата 1118 г. также должна быть признана условной: в «Разысканиях. . .» А. А. Шахматова на с. 669 имеется примечание к с. 209, где составление этой редакции отнесено к 1119 г.

освятиша цьркъвь камяную, маия в 1 дьнь, в суботу; наутрия же, в 2 дьнь, перенесоша святая. . .	
В сеже лето бысть знамение: погыбе сълньце и бысть, яко месяць, еже глаголють невегласи сънедаемо сълньце. В сеже лето преставися Ольг Святославичь, месяца августа в 1 дьнь, а в въторыи погребен бысть у святаго Съпаса, у гроба отьца своего Святослава.	В то же лето бысть знамение в солнци, якоже погыбе; а на осень преставися Ольг, сын Святославль, августа в 1.
6622 (1114). В сеже лето Мьстислав заложи Новъгород болии пьрваго. В сеже лето заложена бысть Ладога камениемь на присъпе Павьлъмь посадьникъмь при князи Мьстиславе.	6624 (1116). В то же лето Мьстислав заложи Новъгород болий пьрваго. Том же лете Павьл, посадник Ладожьский, заложи Ладогу город камян.
6624 (1116). В сеже лето Мьстислав Володимеричь ходи на Чюдь и Новъгородьци и с Пльсковичи, и възя город их именьмь Медвежа Глава, и погост без числа възяша, и възвратишася в свояси с мъногъмь полонъмь.	6624 (1116). Иде Мьстислав на Чюдь с Новгородьци, и възя Медвежю Голову на 40 святых.
6625 (1117). Приведе Володимер Мьстислава из Новегорода, и дасть ему отьць Белъгород, а Новогороде седе Мьстиславичь, сын его, вънук Володимеров.	6625 (1117). Иде Мьстислав Кыеву на стол из Новагорода марта в 17; а сын посади Новегороде Всеволода на столе.

Итак, в Синодальном списке в известиях начала XII в. явно отразилась третья редакция Повести временных лет. Но эта же третья редакция Повести временных лет отразилась и во всех остальных новгородских летописях. В известиях этих Синодальный список представляет собой полное тождество со списками младшего извода Новгородской I летописи. Чтобы объяснить это совпадение, А. А. Шахматов прибегает к искусственному построению: он считает, что с 1074 г. младший извод Новгородской I летописи переходит от пользования Начальным сводом к Синодальному списку, откуда и заимствует все эти известия. В своей работе «Киевский Начальный свод 1095 г.» А. А. Шахматов утверждает, что младший извод Новгородской I летописи в пределах от 1055 до 1074 г. использовал иную летопись, кроме Синодального списка. Действительно, в пределах 1055—1074 гг. в младшем изводе Новгородской I летописи довольно много лишних против Синодального списка известий; но, во-первых, лишние известия имеются в младшем изводе также в пределах и с 1016 г. (с которого начинается Синодальный список) до 1055 г. (1044, 1047, 1049, 1050, 1051 гг.) — следовательно, здесь также нужно предполагать пользование особой летописью, но уже без Начального свода; а, во-вторых, эти лишние в младшем изводе известия могли получиться не в результате добавления их в младший извод из какой-то другой летописи, при этом с Начальным сводом в своем составе, а как результат сокращения Синодального списка. Это тем более вероятно, что Синодальный список, судя по числу утраченных ли-

стов, и в пределах до 1016 г. почти равнялся по объему младшему изводу; да и сама наполовину сохранившаяся в Синодальном списке статья 1016 г. не сокращена, а идентична той же статье младшего извода (за исключением одного обычного — в духе воинских повестей — распространения в младшем изводе).

Итак, различие между Синодальным списком и Новгородской I летописью младшего извода в использовании Начального свода А. А. Шахматовым не доказано. Утрата первых тетрадей не позволяет с полным основанием говорить о том, что старший извод Новгородской I летописи (т. е. Синодальный список) имел то же начало, что и младший извод, однако все же в краткой части Синодального списка от 1016 до 1074 г. есть признак того, что Синодальный список, так же как и младший извод, имел в своем протографе соединение какой-то летописи с Начальным сводом. В самом деле, под 1068 г. в Начальном своде было вставлено «Поучение о казнях божиих». Реминисценция этого «Поучения» сохранилась в Синодальном списке в словах «гнев божий бысть», составленных, очевидно, под влиянием начальных слов «Поучения»: «Наводит бо бог поганыя, по гневу своему. . .». Обратим внимание также на разницу в формулировке этого известия 1068 г. в Синодальном списке и в Повести временных лет (курсив мой. — *Д. Л.*).

Синодальный список (изд. 1888 г.)	Повесть временных лет (изд. А. А. Шахматова 1917 г.)
В лето 6576. Гнев божий бысть: придоша *Половци* и победиша Руськую землю.	В лето 6576. Придоша *иноплеменьници* на Руську землю, половци мнози. . .

А. А. Шахматов считает в этом известии Повести временных лет слово «иноплеменьници» вставленным под влиянием начала «Поучения»: «Наводить бо бог по гневу своему иноплеменьникы на землю». Как известно, «Поучение о казнях божиих» разрывает статью 1068 г. посредине, после приведенного известия. Отсюда следует, что слово «иноплеменьници» могло появиться только в Повести временных лет. Но слова «иноплеменьници» нет в Синодальном списке, а сохраняется, как и в других списках, слово «половци», что служит доказательством того, что в Синодальном списке использован текст предшествующего Повести Начального свода. Отсюда предполагаем, что «Софийский временник», т. е. соединение Начального свода с софийской владычней летописью, отразился не только в позднейшей части Синодального списка,[53] но и в его начальной части, что и естественно.

Итак, во всех новгородских летописях (в том числе и в Синодальном списке, но отчетливее всего в младшем изводе Новгородской I летописи), в пределах до 1074 г., был использован Начальный киевский свод, а от 1074 и до 1118 г. Повесть временных лет

[53] См. неоднократно нами упоминавшуюся работу А. А. Шахматова «Киевский Начальный свод 1095 года» (вып. 1, с. 148, 149 и др.).

в третьей редакции. Какой же из этих киевских сводов был использован в Новгороде раньше и какой после? Если бы новгородское летописание воспользовалось сперва Начальным сводом, а затем стало бы пользоваться третьей редакцией Повести временных лет, то последняя неизбежно отразилась бы и в части до 1074 г. (хотя бы в известиях о Рюрике в Ладоге, в определении княжения или воеводства Олега и т. д.). Между тем нет и намека на отражение Повести временных лет третьей редакции в пределах до 1074 г. Вряд ли мы можем предположить, что Повесть временных лет была известна в Новгороде в дефектном экземпляре, который начинался как раз с того года, на котором кончался экземпляр Начального свода — 1074. Такое совпадение мало вероятно. Поэтому приходим к тому же выводу, к которому пришел и А. А. Шахматов при изучении младшего извода Новгородской I летописи, т. е. что в начале новгородских летописей была сперва использована Повесть временных лет в третьей редакции, а затем уже в пределах до 1074 г. эта часть была изъята и заменена текстом Начального свода. Для такой замены в Новгороде XII в. имелись серьезные основания.

Ниже мы увидим, что пересмотр новгородского летописания по Начальному своду произошел в 1136 г. Отсюда ясно, что свод новгородской летописи с Повестью временных лет в третьей редакции был составлен до 1136 г. Но он не мог быть составлен и ранее 1118—1119 гг. — времени составления третьей редакции Повести временных лет. Следовательно, он был составлен в пределах от 1118—1119 гг. до 1136 г. Именно в этот промежуток времени в Новгороде княжил Всеволод Мстиславич — последний представитель старого княжеского порядка в Новгороде, изгнанный в 1136 г. вечем. Факт этот чрезвычайно знаменателен. В самом деле, если свод собственно новгородской летописи с третьей редакцией Повести временных лет был составлен именно при Всеволоде, тогда нам станет понятной и та нетерпимость, которая была проявлена к нему после переворота 1136 г. со стороны представителей нового порядка в Новгороде. Едва ли когда-либо впоследствии (как мы покажем это ниже), даже во времена уничтожения новгородской независимости, имелись случаи более упорного вытравливания прошлого летописания и замены его новым, по новым источникам. Что же это был за свод князя Всеволода, возбудивший к себе такое нетерпимое отношение в новом республиканском Новгороде? Вспомним, что представляла собой третья редакция Повести временных лет в том виде, как это вскрыто А. А. Шахматовым. А. А. Шахматов устанавливает тесную связь этой редакции Повести со старшим сыном Владимира Мономаха — Мстиславом, бывшим до 1117 г. новгородским князем, выразившуюся, между прочим, в усиленном интересе летописца к этому князю. Наряду с интересом к Мстиславу составитель третьей редакции Повести временных лет проявляет значительный интерес и к Новгороду — месту его первоначального княжения. Так, например, мы узнаем из третьей редакции Повести, что состави-

тель ее бывал в Новгородской области и под 1114 г. записал рассказы о северных странах от посадника Гюряты Роговича, а также ладожское предание об основании Ладоги Рюриком.

Не будем останавливаться на подробностях, характеризующих состав третьей редакции Повести. Для нас важен лишь самый факт связи третьей редакции Повести временных лет с новгородским князем Мстиславом и с Новгородом. Факт этот тем более замечателен, что начало княжеского летописания и в Переяславле Русском, где также одно время княжил Мстислав, так же, как и в Новгороде, связано с инициативой Мстислава, положившего в его основу третью редакцию Повести временных лет.[54]

Теперь пора вспомнить, что Мстислав был отцом изгнанного в 1136 г. князя Всеволода. Всеволод заменил отца на новгородском княжении тотчас по оставлении его Мстиславом. Таким образом, после приведенной характеристики третьей редакции Повести временных лет должно стать ясным, что она была привлечена Всеволодом к новгородскому летописанию в качестве своей фамильной, «придворной» летописи. Итак, новгородское летописание до ревизии его в 1136 г., обусловленной установлением нового республиканского строя в Новгороде (см. об этом ниже), было не только княжеским, но и фамильным, связанным с именами двух новгородских князей — Мстислава и Всеволода.

В заключение наших соображений о своде Всеволода вспомним об одном очевидном признаке проделанной при нем летописной работы. Под 1106 г. в Синодальном списке упоминается киевский князь Святоша как «тесть Всеволожь». Упоминание это могло быть уместным только при Всеволоде до 1136 г. В 1136 г. Всеволод был изгнан, и имя его стало одиозным.[55] Итак, до 1136 г. Всеволод имеет прямое касательство к летописанию, продолжая в этом отношении линию своего отца Мстислава и деда Владимира Мономаха. По примеру своего отца и деда Всеволод строит в Новгороде «княжой» Юрьев монастырь, приводя для него монахов из Киева[56] и снабжая его книгами (Юрьевское евангелие). Немного позднее Всеволод строит церковь Ивана на Опоках, в дан-

---

[54] См.: Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв., с. 68. Таким образом, кроме Новгорода, третья, Мстиславова, редакция Повести временных лет положена в основу летописания и тех двух других городов, где княжил Мстислав: Киева (откуда третья редакция во главе киевской летописи XII в. — см. Ипатьевскую летопись) и Переяславля Русского.

[55] Не соглашаемся в этом отношении с А. А. Шахматовым, который считал возможным рассматривать это упоминание как один из признаков составления свода 1167 г. Вряд ли даже в 1167 г., т. е. спустя 60 лет, Святоша мог быть памятен как «тесть Всеволожь». Сам Всеволод к этому времени уже около 30 лет как сошел с политической арены (умер в 1139 г.). После него в Новгороде перебывало немало князей. В работе «Киевский Начальный свод 1095 г.» А. А. Шахматов, впрочем, отказался от такого толкования этого места (ср. вып. 1, с. 123).

[56] См. об этом: Голубинский Е. История русской церкви. М., 1881, т. 1, с. 631.

ной грамоте которой отмечено, что он ее «всеми книгами испольнь». Понятно теперь, что интерес к летописи отнюдь не был у Всеволода случаен.

4. Пересмотр княжеского мономашьего летописания и составление «Софийского временника» при Нифонте

К какому времени могло относиться составление «Софийского временника», соединившего Новгородскую летопись с Начальным сводом и легшего в основание всего известного нам новгородского летописания? Мы видели, как после долгих колебаний А. А. Шахматов пришел к выводу, что Начальный свод в соединении с Новгородской летописью был известен в Новгороде уже в начале XIII в. Следовательно, составление «Софийского временника» следует искать где-то в промежутке времени между 1119 г. (время составления третьей редакции Повести временных лет) и началом XIII в. Чтобы уточнить еще более, когда именно произошло это использование, необходимо обратиться к предисловию «Софийского временника».

Передаем содержание предисловия «Софийского временника»: «Киев назван по имени Кия, подобно тому как Рим назван по имени царя Рима и др. Промыслу божию было угодно, чтобы на месте, где прежде приносили жертвы бесам, возникли златоверхие каменные церкви и монастыри, наполненные черноризцами, проводящими время в молитвах. Если мы прибегнем к святым церквам, то получим большую пользу душе и телу». Засим автор обращается к читателям с просьбой уделить внимание его рассказу о том, каковы были древние князья и их мужи, как они обороняли Русскую землю и покоряли под себя другие страны. «Те князья не собирали себе большого имения и не теснили людей вирами и продажами. А дружина князя кормилась, воюя другие страны, и не обращалась к князю с жалобой на то, что ей мало предложенного жалованья. За наше несытство бог навел на нас поганых». Далее следуют благочестивые увещания. Предисловие оканчивается, как в Комиссионном списке Новгородской I, так и в сводах, восходящих к Новгородско-Софийскому своду 30-х гг. XV в., словами: «Мы же от начала Руски земля до сего лета и все по ряду известно да скажем от Михаила царя до Олексы и Исакья».[57] Предисловие, как явствует из его содержания, состав-

---

[57] Шахматов А. А. Предисловие к Начальному киевскому своду и Несторова летопись, с. 218. По-видимому, это имена греческих императоров начала XIII в. — Алексея и Исаака Ангелов (соправительство Исаака II Ангела и сына его Алексея IV падает на 1203—1204 гг.). Об этих царях хорошо знали новгородские летописцы по повести о взятии Царьграда крестоносцами. Имена эти были вставлены в предисловие при присоединении к «Софийскому временнику» повести о взятии Царьграда. Такой точки зрения А. А. Шахматов держался первоначально и в последней своей работе «Киевский Начальный свод 1095 г.» (вып. 1, с. 147—148).

лено в Киеве.[58] Яркая антикняжеская окраска предисловия позволяет А. А. Шахматову отнести его ко времени размолвки Киево-Печерского монастыря с князем Святополком (1093—1113).

Перейдем к вопросу о том, при каких политических обстоятельствах предисловие со столь ярко выраженными антикняжескими тенденциями могло быть перенесено в Новгород и стать здесь во главе государственной летописи, центральной летописи города. Косвенным указанием на время этого перенесения могут служить те явные изменения, которые были допущены в тексте предисловия. Помимо отмеченного уже Шахматовым изменения названия «Русский временник» на «Софийский временник», считаем, что только в Новгороде могли появиться слова: «прежде Новъгородьская волость и по томь Киевьская. . .». Мысль эта была типична для Новгорода XII—XIII вв. В 1206 г. Всеволод III (Большое Гнездо) говорил: «. . .а Новгород Великый старейшинство иметь княженью во всей Русьской земли».[59] Можно предполагать также, что в предисловии были пропущены упреки князьям за междоусобные войны и плохую оборону русской земли от половцев. Мотив этот чрезвычайно существен для Начального свода, идею которого воспроизводило предисловие. Начальный свод заканчивался яркой картиной разорения русской земли от половцев, которым князья открыли дорогу на свою родину распрями, которами и плохой организацией защиты. Почему же все эти упреки русским князьям в распрях и плохой обороне русской земли, отразившиеся в самом тексте Начального свода, остались замолчены в предисловии? Предполагаем, что они имелись в нем, но были пропущены составителем «Софийского временника» — новгородцем, для которого раздоры князей между собой и половецкие набеги на южнорусские княжества не имели существенного значения. Новгород — единственный из русских городов, который выигрывал от ослабления княжеской власти в процессе борьбы князей между собой, но он существенно страдал от поборов, продаж, вир и других тягот, которыми князья облагали население. Указание на то, что в предисловии к «Софийскому временнику» были пропущены упреки князьям в междоусобной войне, видим в том тексте Повести временных лет под 1097 г., в котором читается явное заимствование из предисловия к Начальному своду. Посланцы киевлян к Владимиру говорят: «. . .молимъся, къняже, тобе и братома твоима, не мозете погубити Русьскые земле; еще бо възьмете рать межю собою, погании имуть радоватися, и възьмуть землю нашю, юже беша сътяжали отьци ваши и деди ваши трудъмь великъмь и храбрьствъмь, и *побарающе по русьстей земли, и ины земли* приискываху, а вы хощете погубити

---

[58] В обстановку Киева переносит нас не только сообщение об основании Киева, но и фраза: «Куда же древле погани жряху бесом на горах, ныне же пакы туды святыя церкви златоверхия каменнозданные стоят и монастыреве велицы поставлени быша». Затем следовало описание полян.

[59] Лаврентьевская летопись, 1206 г.

землю руськую».[60] Эта замечательная речь киевлян, полностью приведенная в Повести временных лет, звучит явно куцо в предисловии к Начальному своду в ее новгородской редакции. Между тем (как это доказано А. А. Шахматовым),[61] именно предисловие Начального свода было одним из источников статьи 1097 г. в Повести временных лет. Сравните с вышеприведенным отрывком статьи 1097 г. нижеследующее место в предисловии: «Вас молю, стадо христово, с любовию, приклоните ушеса ваша разумно, како быша древьнии князи и мужие их и како отбараху (русь)скыя земле и ины страны придаху (приимаху) под ся».[62]

Надо думать, что Повесть временных лет заимствовала из предисловия к Начальному своду упреки князьям в более полном и последовательном составе, чем они читаются теперь в предисловии к «Софийскому временнику». Текст Повести временных лет логичнее: он-то, следовательно, или близкий к нему и читался первоначально в предисловии к Начальному своду. Совершенно очевидно, что здесь мы имеем дело с искажением первоначального текста предисловия Начального свода. Это искажение было произведено рукою того летописца, которому выгодно было подчеркнуть насилия князей в поборах, их «несытство», но невыгодно было пропагандировать сильную княжескую власть и незачем требовать активной наступательной политики по отношению к степи.

Мы уже показали выше, что именно такие антикняжеские тенденции характерны для Новгорода середины XII в. В это время как раз происходит борьба веча и епископа с князьями как собственниками. Одни за другими отбираются от князя его доходы, земли и права. Этому урезыванию княжеских доходов и прав, очевидно, предпосылалась пропаганда против алчности и «несытства» князей. Упреки князьям в братоненавидении, в раздорах и наведении кочевников (упреки, обычные в летописании киевском) не были бы так понятны в Новгороде, как упреки в эксплуатации населения и в роскоши. Тема Киевской летописи — это тема патриотической скорби; тема Новгородской летописи — тема политического переворота.

Таким образом, злободневность предисловия «Софийского временника» в середине XII в. не подлежит сомнению. Именно в середине XII в., очевидно, и понадобилось перенести слегка переработанное предисловие Начального свода, сделав его предисловием «Софийского временника», т. е. летописи софийского двора. Отметим, что внесение в Новгородскую летопись предисловия Начального свода со специальной, антикняжеской целью могло иметь смысл лишь в самые первые годы после изгнания Всеволода, так как преемник Всеволода Святослав и последующие князья,

---

[60] Шахматов А. А. Повесть временных лет, т. 1, с. 307.

[61] Шахматов А. А. Предисловие к Начальному киевскому своду и Несторова летопись, с. 226—227.

[62] Цит. по: Новгородская первая летопись по Синодальному харатейному списку.

приглашаемые вечем, хотя и изгонялись из Новгорода чрезвычайно часто, не могли, тем не менее, рассматриваться как олицетворение старого порядка. Это были неудачные исполнители воли веча, но не его принципиальные политические враги, как Всеволод. Поэтому начинать государственную летопись с упреков по адресу представителей старого порядка имело смысл лишь в самые первые годы после переворота. Так это мы и видим.

В самом деле, в 1136 г. князь Всеволод собравшимся вечем новгородцев, ладожан и псковичей был изгнан из Новгорода. В ведение владыки окончательно переходит средоточие новгородской политической жизни — детинец с патрональной святыней Новгорода — храмом Софии. Именно в это время мы видим участие в летописи нового лица софийского двора — Кирика. В 1136 г. Кирик предпринимает подготовительный для реформы летописания труд — «Учение им же ведати числа всех лет».[63] И именно в этом же году Новгородская летопись ясно отражает его участие в ее составлении.[64]

Хронологическая статья, составленная Кириком, обнимала собой следующие разделы: «Ведание месячное», «Хитрость числом недельным», «Како есть разумести числу дневному», «Испытание часовное», «А се учение о индикте» и т. д. Приведенный нами перечень разделов говорит о том, что работа Кирика имела существенное значение для летописания, для которого, очевидно, и предназначалась. Отметим, что Кирик с явным сочувствием отзывается в этой своей работе о представителе нового республиканского порядка в Новгороде — о князе-изгое Святославе. В заключительной приписке, упомянув, что хронологическая статья написана им (Кириком) в первое лето княжения Святослава Ольговича, Кирик прибавляет: «бог же ему да продължит лета». Обратим также внимание на то, в какой торжественной и необычной форме объявляет тот же Кирик и в летописи о приезде в город нового князя Святослава Ольговича вместо изгнанного Всеволода: «В то же лето приде Новугороду князь Святослав Олговиць ис Цернигова, от брата Всеволодка, месяця июля в 19, преже 14 каланда августа, в неделю, на сбор святыя Еуфимие, в 3 час дне, а луне небесней в 19 день».[65] Точностью и подробностью датировки Кирик явно стремится подчеркнуть начало новой эры в жизни Новгорода. Естественно, что с переходом Софии от князя к владыке должно было перестроиться и все новгородское софийское летописание. Княжеское летописание перерабатывается в духе новых требований, Софийская летопись получает новое название и новое предисловие, наиболее ответственная вступительная часть летописи перерабатывается по Начальному своду. Привлечение Начального свода для ревизии и переработки предшествую-

---

[63] Труды и летописи ОИДР. М., 1828, кн. 1, ч. 4.

[64] Шахматов А. А. Разыскания. . ., с. 185 и 669.

[65] Новгородская первая летопись по Синодальному харатейному списку, с. 129.

щего княжеского летописания было, таким образом, вполне логичным и последовательным шагом.

Повесть временных лет в своей третьей редакции, использованная в предшествующем летописании, была летописью княжого Выдубицкого монастыря. Начальный же свод не только был антикняжеским по своим тенденциям, но и принадлежал как раз тому самому Печерскому монастырю, чьим постриженником являлся главный деятель нового «республиканского» Новгорода Нифонт. Печерянин Нифонт не мог не знать, что именно киево-печерский Начальный свод использовал при своем составлении Новгородскую летопись, доведенную до 80-х гг. XI в. Привлекая к составлению новой летописи Начальный свод, Нифонт, очевидно, рассчитывал на полноту новгородских известий в киево-печерском Начальном своде. Заменить известия первых нескольких столетий новыми погодными записями, взятыми из «надежного» и «своего» источника, очевидно, казалось Нифонту особенно необходимым ввиду того, что именно на этой части летописи основывались политические права и претензии Новгорода: здесь рассказывалось и о призвании варягов, и об Ольге, имевшей непосредственное отношение к Новгороду и Пскову, и, главное, — о Ярославе Мудром, на грамоты которого всегда опирались новгородцы, когда им приходилось отстаивать свою независимость. Начальный свод импонировал Нифонту своими грекофильскими тенденциями и установлением зависимости Печерского монастыря непосредственно от Афона,[66] которая, подобно зависимости Новгорода от Константинополя, давала ему некоторую свободу от великого князя. Итак, выбор Нифонтом Начального свода для проверки и реконструкции Новгородской летописи отнюдь не может быть признан случайным. Это глубоко продуманный шаг, за которым кроются не только вкусы печерянина, но и политические убеждения человека, устанавливающего новые социальные порядки в Новгородском государстве. Именно этим использованием Начального свода для новгородского летописания и строгой ревизией предшествующей летописи можно отчасти объяснить тот поразительный факт отсутствия у нас полных текстов новгородских летописей XI в., который отмечали почти все исследователи Новгородской летописи. Есть все основания думать, что предшествовавшее своду Всеволода и своду Нифонта новгородское летописание XI в., использованное в киевских летописях XI в., отличалось большей полнотой и последовательностью, чем те летописные известия XI в., которые дошли до наших дней. Возможно, что именно поэтому киевские летописи сохранили нам больше новгородских известий от XI в., чем сами новгородские. Нет оснований возводить эту пресловутую краткость новгородских летописей в части XI и начала XII в. к позднейшей московской цензуре

---

[66] Автор Начального свода вставил в житие Антония рассказ о его путешествии на Святую гору (Афон), где он якобы принял монашество и получил сан.

конца XV в., как это делает Н. Н. Яниш.[67] Цензура новгородских известий была, но она была проведена не только в конце XV в., а и в середине XII в., когда события XI в. звучали еще вполне актуально. Цензура эта сказалась уже, следовательно, и в Синодальном списке Новгородской I летописи.

Политические устремления составителя свода 1136 г. (так мы будем называть проверку Новгородской летописи, произведенную после изгнания Всеволода, и переработку ее с помощью Начального свода) отчасти видны и в погодных записях. Известие 1132 г. явно иронически и недоброжелательно изображает уход Всеволода в Полоцк: пошел в Полоцк, «а целовав крест к новгородцем, яко хоцю у вас умерети».[68] Летописец несочувственно относится к князьям и после Всеволода. Так, например, под 1148 г. летописец записал, что новгородцы вывели от себя Святополка Мстиславича «злобы его ради».[69] Под 1154 г. летописец укоряет брата его Ростислава за то, что он «не створи им ряду, нъ боле раздьра»[70] и т. д. Надо, впрочем, иметь в виду, что строгие рамки новгородского летописного стиля не позволяли летописцу вдаваться в оценку изображаемых событий. Составитель свода 1136 г. лишь регистрирует события и не останавливается на их причинах. Эта характерная черта Новгородской летописи прямо противоположна полемической манере Киевской летописи. Киевский летописец по большей части обращал свою летопись к лицам, которых он хотел заставить разделить свои убеждения; новгородский же летописец обращает летопись к лицам одинаковых с ним взглядов. От этого сочувствие или несочувствие новгородского летописца можно определить порой лишь косвенно: по тому вниманию, с которым он следит за тем или иным действующим лицом своей летописи. Так, например, Синодальный список не упоминает о поставлении епископа Стефана. Вряд ли это случайно. Стефан был удавлен своими слугами во время поездки в Киев. Очевидно, Стефан не пользовался симпатиями народных масс в Новгороде. Характерно, что Стефан не удостоился погребения в церкви Софии.[71] Нет упоминаний и о другом из непохороненных в церкви Софии епископе — Германе. Зато особым, прямо исключительным вниманием пользуется в Новгородской летописи Нифонт. Летописец меняет свою скупую фактографическую манеру, когда говорит о прибытии Нифонта в Новгород,[72] и останавливается

---

[67] Новгородская летопись и ее московские переделки. М., 1874.

[68] Новгородская первая летопись по Синодальному харатейному списку, с. 126.

[69] Там же, с. 137.

[70] Там же, с. 140.

[71] Муравьев М. В. Св. София — Новгородский пантеон. — В кн.: Сборник Новгородского исторического общества любителей древности. Новгород, 1980, вып. 1, с. 53.

[72] «И поставиша архиепископа Нифонта, мужа свята и зело боящся бога; и приде Новугороду месяця генъваря в 1 день, на святаго Василья, на обедьнюю» (Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку, с. 125).

даже на таких из его поступков, которые могли иметь лишь канонический юридически-церковный интерес, но отнюдь не исторический. Таково, например, известие 1145 г. о том, что Нифонт отказался отпевать двух утонувших попов.[73] Кстати, вопрос о том, следует ли предавать христианскому погребению утопленников, так же как и вопрос о том, можно ли крестить кости мертвецов (известие Начального свода 1044 г. о том, что Ярослав выгреб из могил и крестил кости своих предков, тщательно сохранено в Синодальном списке),[74] характерны для круга интересов того же Кирика как автора известных канонических «Вопрошаний». Общность канонических интересов Кирика и летописи и в «Вопрошаниях», общность интереса к Нифонту и общность языка (юридических терминов и некоторых просторечных оборотов) свидетельствуют о самом активном участии в составлении нового новгородского свода 1136 г. именно Кирика. Кирик не только перерабатывал и сокращал предшествующую ему летопись — кое в чем он ее и дополнял. Так, например, записи об Антониевом монастыре под 1117, 1125 и 1127 гг. вряд ли современны событиям: во всех них Антоний назван игуменом, тогда как игуменом он был поставлен Нифонтом только в 1131 г. Очевидно, что доместик Антониева монастыря Кирик присоединил к своему своду также и свои местные отметки по истории Антониева монастыря.

Итак, все факты говорят о том, что «Софийский временник», использовавший при своем составлении киево-печерский Начальный свод, возник с установлением в Новгороде в середине XII в. нового социального и политического порядка. Составителем этого «Софийского временника» был, по-видимому, Кирик — приближенное лицо Нифонта.

Замечательно, что этот перелом в характере новгородского летописания, падающий на 1136 г., с полной ясностью интуитивно ощутил Н. Костомаров: «. . . тут летописец начинает непрерывную историю, а все, что внесено в летопись прежде этого события, изъято или из церковных заметок или из особых записей, писанных не для того, чтобы предать памяти прошлые события, а для особых целей. . . Кажется, что именно *с этого времени начинается* собственно *новгородская летопись*».[75] Костомаров отмечает также, что с 1137 г., *именно после изгнания Всеволода*, повествование о политических новгородских событиях делается еще пространнее.[76]

* * *

Чем же, однако, объяснить, что Начальный свод 1095 г. был использован только до 1074 г.? Думается, что ответ на этот вопрос

---

[73] «В то же лето утопоста 2 попа, и не да епископ над нима пети» (там же, с. 135).

[74] «В лето 6552. Погребена бысть 2 князя, сына Святославля: Яропълк, Ольг; и крестяща кости ею» (там же, с. 90).

[75] Костомаров Н. Лекции по русской истории. СПб., 1861, ч. 1, с. 63.

[76] Там же.

должен быть не в том, что в Новгороде «нашелся» дефектный экземпляр Начального свода с оборванными последними страницами. Ответ на этот вопрос должен лежать в самом составе Начального свода. Вспомним, что Начальный киевский свод включал новгородские известия только в пределах до 1066 г. «После указанной статьи 6574 (1066) года мы не находим более в Повести временных лет (Начальном своде) ни одного известия, которое можно было бы возвести к новгородской летописи».[77] Подавляющую часть выборок из Начального свода в Синодальном списке составляют сообщения общерусские. Преобладание сведений общерусских, думается нам, объясняется общерусским характером источника, из которого они брались. За общерусскими известиями (большинство из которых, тем не менее, имеет особый интерес для Новгорода) по численности идут новгородские известия: всего их попало в Синодальный список с 1016 по 1095 г. — восемь. Пропущены лишь те новгородские известия, которые касаются поражений новгородцев. Так, например, под 6529 (1021) г. в Начальном своде читалась статья о нападении Брячислава на Новгород и о победе над ним Ярослава на реке Судомире. В Синодальном списке оставлен только факт победы Ярослава над Брячиславом («победи Ярослав Брячислава»). Очевидно, летописцу-новгородцу важны были лишь победы новгородцев как одно из оснований новгородских претензий на независимость от Киева.

Итак, в работе над Начальным сводом новгородец-летописец руководствовался специальной целью сделать из него выборки, касавшиеся Новгорода. А раз так, то в этом находит себе объяснение тот факт, что Начальный свод не был использован до конца, и получает еще одно подтверждение гипотеза о переработке традиционной Новгородской летописи со специальной целью заменить ее выборками из Начального свода.

Выводы, к которым мы пришли выше, позволяют нам по-новому поставить вопрос о том, что было в утраченной части Синодального списка Новгородской I летописи в пределах до 1016 г. А. А. Шахматов говорит о «полном несходстве» Синодального списка в части от 1016 г. до 1074 г. включительно[78] и о невозможности восстановить начало Синодального списка на основании списков Новгородской I летописи младшего извода (Комиссионного, Толстовского и Академического). Мы видим, однако, что это несходство старшего и младшего изводов Новгородской I летописи не имеет принципиального характера. В основе Синодального списка лежит тот же «Софийский временник», что и в основе Новгородской I летописи младшего извода. На этом основании мы можем предположить, что и до 1016 г. в своей утраченной

---

[77] Шахматов А. А. Разыскания. . ., с. 181. См. также нашу статью «Устные летописи в составе Повести временных лет» (наст. изд., с. 113—136).

[78] Шахматов А. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв., с. 129.

части Синодальный список представлял собою какую-то переработку Начального свода.

В какой форме было представлено в Синодальном списке это изложение Начального свода до 1016 г.? Ответу на этот вопрос отчасти может помочь нумерация рукописи Синодального списка. Судя по отметкам внизу на листах Синодального списка Новгородской I летописи, утрачено 15 тетрадей, по 8 листов в каждой, т. е. 240 страниц! Это огромное количество страниц в утерянной части не вяжется с дальнейшим лаконизмом Синодального списка. Объем утраченной части Синодального списка почти *равняется в тех же хронологических пределах объему Новгородской I летописи младшего извода*. Обращая внимание на этот объем, мы можем считать, что Синодальный список в своей утраченной части имел, так же как и Новгородская I младшего извода, не сокращенное, а полное или почти полное воспроизведение текста Начального свода.

Но если Синодальный список в части до 1016 г. (вернее, до 1017 г., так как статья 1016 г. не сокращена) заключал в себе полное или почти полное воспроизведение Начального свода до 1016 г., то что заставило новгородского летописца сокращать его начиная с 1017 г.? Ответ на этот вопрос опять-таки лежит в самом составе Начального свода начиная с 1016 г., вернее, даже в характере событий русской истории после 1016 г. На протяжении ряда веков, вплоть до московского завоевания, новгородцы связывали начало своей независимости с Ярославом Мудрым и теми грамотами, которыми он якобы снабдил Новгород. В самом Новгороде свято сохранялась память о Ярославе в названии «Ярославова дворища» — вечевой площади Новгорода. Патрональная святыня Новгорода — София была основана при Ярославе; с Ярославом же, наконец, была связана память о походах на Чудь и об основании Юрьева. С именем Владимира в Новгороде связывалось не только крещение новгородцев, но и одна из самых больших святынь Новгорода — Владимиров крест, появление которого 23 октября 1069 г. на полатех в церкви Софии специально отмечал Синодальный список. Ближайшее отношение к Новгороду имела и княгиня Ольга, сани которой стояли во Пскове, а ловища и перевесища находились в ближайшем расстоянии от Новгорода. Итак, Начальный свод в части до 1016 г. представлял огромный интерес для Новгорода; он был теснейшим образом связан с деятельностью тех князей, которые в своей политике непосредственно соприкасались с Новгородом. С 1016 г., после битвы со Святополком, судьбы Киевского княжества и Новгородской области расходятся. Киев не играет уже прежней роли в судьбе Новгорода. Естественно поэтому, что новгородский летописец, закончив изложение существенных для Новгорода событий киевской истории битвой Ярослава со Святополком и спеша перейти к собственно новгородской истории, сильно сократил известия 1016—1074 гг. Это сокращение, как мы уже указали, особенно значительно в Си-

нодальном списке; не исключена возможность, что оно было произведено составителем протографа Синодального списка.

Итак, утверждение А. А. Шахматова о «полном несходстве» Синодального списка с Новгородской I младшего извода и о невозможности восстановить утраченное начало Синодального списка вряд ли верно. В вопросе о том, что представляла собою утраченная часть Синодального списка, мы должны вернуться к тому положению, что она восстановима в общих чертах на основании Комиссионного, Толстовского и Академического списков Новгородской I летописи.

Наконец, попробуем сделать некоторые предположения и о таком, казалось бы, неразрешимом вопросе: почему была утрачена начальная часть Синодального списка? Обратим внимание на то, что Синодальный список утратил свое начало как раз до того года, с которого летописец приступил к резкому сокращению своего источника. Вряд ли можно предположить в этом факте простую случайность, но и объяснение может быть различным.

Во-первых, мы можем предположить, что подробная и пространная часть Синодального списка могла понадобиться какому-нибудь позднейшему летописцу в новом своде, для составления которого эта часть и была изъята из рукописи. Обратим при этом внимание на то, что Троицкий список Новгородской I летописи заканчивается как раз на 1015 г. В последующих сводах протограф Синодального списка часто использовался начиная с 1074 г., т. е. опять-таки с «переломного» пункта от сокращенной к более пространной части (см., например, Тверской сборник). Естественно, что Синодальный список мог быть использован и в части до 1016 г.

Во-вторых, Синодальный список мог утратить свое начало в результате цензурования новгородских сводов Москвой в конце XV—начале XVI в. Подробно взгляд этот был высказан Н. Н. Янишем в цитированной его работе. Н. Яниш допускает преднамеренное истребление, порчу и обезглавление новгородских летописей в пору завоевания Новгорода Москвой. Н. Яниш предполагает, что именно в начальной части Новгородской летописи находились те Ярославовы грамоты, на которых новгородцы основывали свою независимость, находились «новгородские предания о начале Новгорода и Русского Государства, предания, в которых отразились политические представления новгородского общества о характере отношений народа к княжеской власти».[79] Если так, то далеко не случайно, а по сознательной воле московского «цензора» древнейший из списков Новгородской летописи оказался начатым с насмешки по адресу новгородцев: «А вы плотници суще, а приставим вы хором рубити».[80] Наличие

---

[79] Я н и ш Н. Новгородская летопись и ее московские переделки, с. 81—82.

[80] Новгородская первая летопись по Синодальному харатейному списку, с. 83.

такой московской цензуры в Синодальном списке может быть продемонстрировано следующим примером: под 6840 (1332) г. в Синодальном списке читается: «Иван [Калита] приде из Орды и възверже гнев на Новъгород, прося у них серебра Закамьского, и в том взя Торжек и Бежичьскый верх за новгородскую измену». Однако слова «за новгородскую измену» оказываются написанными по выскобленному, а первоначально, как это видно из чтений других списков Новгородской I летописи, в нем стояли слова: «через крестное целование».[81] Это означает, что новгородец-летописец обвинял Ивана Калиту в нарушении крестного целования; москвич же «цензор», в руках которого побывал в конце XV или, может быть, в начале XVI в. Синодальный список, обвинил самих новгородцев в измене, выскоблив обвинения против Калиты. Не тот ли же самый москвич уничтожил и первые 15 тетрадей Синодального списка?

Свод, составленный Кириком, не был при Нифонте единственным. Выдающуюся роль в летописании Новгорода XII в. сыграл другой ставленник Нифонта — настоятель церкви Якова в Неревском конце Герман Воята, но его работа требует особого рассмотрения.

1948

---

[81] Там же, с. 328.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТИЛЯ «МОЛЕНИЯ» ДАНИИЛА ЗАТОЧНИКА

Как бы мы ни смотрели на происхождение отдельных редакций «Моления» Даниила Заточника, ясно одно: «Моление» не только читалось и переписывалось — оно постоянно перерабатывалось, дополнялось, из него делались выборки,[1] оно жило, творилось в течение ряда веков. При этом удивительно следующее: всякий из его соавторов умел попадать в стиль «Моления» и не расходиться с его идеологией. Вновь дописанное или переработанное почти не отличалось по своему характеру от основной части, точно стиль, в котором было написано «Моление», был хорошо знаком всем, кто так или иначе вмешивался в работу автора этого произведения. «Моление» ценилось и за свою идейную направленность, и за свой стиль. Во всех редакциях оно оставалось тем же самым, отличалось выработанностью, устойчивостью формы. При чтении «Моления» остается такое ощущение, точно оно написано в хорошо знакомой в Древней Руси манере, продолжает какую-то традицию, тесно связанную с русской жизнью. Безвестные соавторы и «редакторы» «Моления» отлично ощущали тот стиль, ту манеру, ту идейную направленность, в которых было оно написано, ценили их и стремились их не нарушить. Это дает нам право в общей характеристике «Моления» не различать особо отдельных редакций «Моления», рассматривать их как схожие по стилю. Детали происхождения отдельных редакций, их хронологическая приуроченность, отдельные различия будут в дальнейшем для нас не существенны. Не существенен будет для нас и вопрос о протографе «Моления» и об авторе этого протографа. В нашем дальнейшем изложении мы условно берем памятник в целом и условно говорим о его авторе (вернее, следовало бы говорить о его авторах).

Было сделано несколько попыток определить ту социальную среду, к которой принадлежал автор «Моления». Эти попытки приводили к внешне противоречивым результатам. Одни из исследователей считают его дворянином,[2] другие — дружинником князя,[3] третьи — холопом,[4] четвертые предполагают, что Даниил вообще не имел устойчивого социального положения.[5] И вместе с тем, несмотря на свою внешнюю противоречивость выводов о том, кем был автор «Моления» по социальному происхождению, одно

---

[1] Из неучтенных в науке выборок из «Моления» укажем на выборки в рукописи ГПБ, Кирилло-Белозерское собр., № 27/1104, XVI в.

[2] Будовниц И. У. Памятник ранней дворянской публицистики: («Моление» Даниила Заточника). — ТОДРЛ, М.; Л., 1951, т. 8, с. 138—157.

[3] Миндалев П. Моление Даниила Заточника и связанные с ним памятники. Казань, 1914.

[4] Гудзий Н. К. К какой социальной среде принадлежал Даниил Заточник? — В кн.: Сборник статей к 40-летию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Л., 1934, с. 477—485.

[5] Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. Л., 1947.

не представляет сомнений: автор «Моления» принадлежал не к господствующим классам общества, а к зависимым. Он называет себя «холопом». Называл ли он себя так в точном и узком значении этого слова, которое постоянно встречается в актовом материале Древней Руси, или в более общем и более неопределенном значении «слуга», «подданный», «зависимый человек», которое встречается по преимуществу в памятниках литературы, — все равно в этом слове автор «Моления» подчеркнул свое невысокое социальное положение. Называет себя автор «Моления» и «дворянином» («всякому дворянину имети честь и милость у князя» [6]), но и эта его самохарактеристика не должна пониматься слишком буквально. Положение «дворянина» для XII—XIII вв. было не выше положения любого представителя княжеской дворни. Многочисленные «редакторы» «Моления» постоянно подчеркивают только одно: зависимое, низкое положение Даниила, не уточняя этого положения никакими конкретными социальными определениями.

Однако к какой бы категории зависимых людей не принадлежал Даниил, одна черта выделяет его из всех: Даниил подчеркивает свою полную зависимость только от князя. Только в князе видит он возможный источник своего благополучия, только князя восхваляет, превозносит до небес. Это обстоятельство позволяет видеть в Данииле типичного княжеского «милостника», которых особенно много было во Владимиро-Суздальской земле и которые как раз вербовались из самых различных категорий зависимых людей. Княжеские «милостники» были и из холопов, и из крестьян, и из ремесленников, из разорившихся людей самых различных профессий. Это были люди часто пришлые, неустроенные в жизни, единственную свою надежду возлагавшие на князя, на его милость. Не случайно и самое слово «милость», и обращение к этой «милости» так часты в «Молении». В дальнейшем мы увидим, что определение автора «Моления» как княжеского «милостника» имеет и другие основания.

Даниил сравнивает князя с весной, украшающей землю цветами,[7] с рекой, напояющей людей и зверей.[8] Князь посылает тучу, грозу. Он так богат, что богатства его нельзя истощить, как чашею нельзя вычерпать море.[9] Щедрый князь — отец слугам,[10] он «заступник теплый»,[11] он дает богатства и славу, как земля — плод, как дерево — «овощь».[12] К нему все приходят и «обретают от печали избавление».[13]

---

[6] Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам / Приготовил к печати Н. Н. Зарубин. М., 1932, с. 68.
[7] Там же, с. 14.
[8] Там же, с. 20.
[9] Там же, с. 16.
[10] Там же, с. 19.
[11] Там же, с. 63.
[12] Там же.
[13] Там же.

В тоне этого панегирика только очень опытное ухо могло уловить элементы легкой иронии. Во всяком случае князь не был для Даниила Заточника ни фигурой священной, ни непогрешимой. Его отношение к князю определяется сравнениями из животного мира. Князь подобен орлу над птицами, осетру над рыбами, льву над зверями.[14]

Почему же князь для автора «Моления» все-таки положительная фигура? Князь может своей властью вызволить зависимого человека из нищеты, поднять его по лестнице социальных отношений, защитить от произвола богатых.

Князь вместе с тем защитник родины от внешних врагов, и не случайно «Моление» в одной из редакций заканчивается похвалой князю, соединенной с мольбой к богу о защите Руси от врагов: «Силу князю нашему укрепи; ленивые утверди; вложи ярость страшливым в сердце. Не дай же, господи, в полон земли нашей языком, незнающим бога, да не рекут иноплеменницы: „где есть бог их?“. Бог же нашь на небеси и на земли. Подай же им, господи, Самсонову силу, храбрость Александрову, Иосифово целомудрие, Соломоню мудрость, Давидову кротость, умножи люди своя во веки под державою твоею, да тя славит вся страна и всяко дыхание человече».[15]

Мы знаем, что в XII и XIII вв. княжеская власть пользовалась активной поддержкой зависимых слоев населения в ее борьбе с боярством. Так было в Галицко-Волынской земле и особенно во Владимиро-Суздальской.

Однако при всей демократичности идейных позиций автора «Моления» мы не стали бы называть их народными в той же мере, в какой мы называем народными идейные позиции автора «Слова о полку Игореве». Для этого позиции автора «Моления» были связаны со слишком узкими, временными и местными задачами. Понятие Родины оттеснено в его произведении на второй план. Его кругозор ограничен, и идеалы затемнены слишком личными интересами. Однако элементы народности несомненно присутствуют в «Молении»: в его идейном содержании, как это мы увидим ниже, в его художественной основе. Обе эти стороны слиты в «Молении» и представляют собой нерасторжимое единство. Но как в содержании «Моления» его народность выступает в некотором ограничении, так и в его художественной основе она также отчасти ограничена.

Если автор «Слова о полку Игореве» черпает свои художественные средства из народной лирики и народной исторической песни, то автор «Моления» гораздо больше связан с поэзией профессиональных скоморохов. Это и не случайно. Автор «Моления» «служит» у князя, он и связан, главным образом, с этим своим положением у князя. Его идеология ограничена как раз этим его

---

[14] Там же, с. 66.

[15] Там же, с. 72 (редакция XIII в., Чудовский список; ср. Ундольский список и редакцию XII в. — списки Кирилло-Белозерский и др.).

положением у князя. Он «зависимый» человек не только юридически и материально, но до известной степени и идейно. Очень может быть, что именно этим обусловлена стилистическая связь его произведения с искусством той группы скоморохов, которая также принадлежала к числу княжеских «милостников».

В дальнейшем мы обратим главное внимание на самую устойчивую сторону «Моления» в его различных редакциях — на его стиль. Отдельные высказывания автора «Моления» о своем положении слишком неопределенны для того, чтобы можно было с полной уверенностью решить, к какой категории зависимых людей он относился. Здесь много зависело от вставок, доработок и переделок, учесть которые за те почти пятьсот лет, которые отделяют время его создания от времени написания дошедших до нас списков, почти невозможно. Зато определенность стиля многое позволяет разгадать и в самой идейной сущности этого произведения. Ведь стиль и идейная сторона произведения теснейшим образом взаимосвязаны. Между тем стиль «Моления» почти не изучался. Изучались заимствования, параллели, источники осведомленности его автора, но не стиль. Удивительнейшим образом не обратили на себя должного внимания исследователей «Моления» юмор этого произведения, элементы пародийности, ирония. «Серьезность» исследователей доходила до того, что они называли заимствованиями из псалмов то, что явилось их пародированием, видели в иронии серьезнейшие интонации и т. д.

В дальнейшем главным аргументом в пользу нашего определения социальных воззрений автора «Моления» будет служить самый стиль «Моления».

* * *

«Моление» Даниила Заточника в своей образной системе больше, чем какое-либо другое произведение русской литературы XI—XIII вв., опирается на явления русского быта. Эти историко-бытовые черты в «Молении» впервые были суммированы Д. В. Айналовым в его работе «Очерки и заметки по истории древнерусского искусства».

Д. В. Айналов отмечает, что автор «Моления» «очень ясно упоминает два строя полков: „на ступ“ и „яко ловца разсыпашася по земли“. Эти два приема военной тактики, т. е. сражение строем и врассыпную (конницы), хорошо известны из летописи, в которой встречается тот же термин „ступ“, „ступишася“ и из „Слова о полку Игореве“: „разсушась стрелами по чистому полю“».[16]

«В древнейших редакциях сообщаются некоторые сведения о железе, олове, меди. Примечательны термины: *варить* олово, искушать огнем золото. „Олово гинет“, т. е. уменьшается в количестве от переплава, а железо нельзя варить.

---

[16] ИОРЯС, 1908, т. 13, кн. 1, с. 353.

Из других бытовых терминов упомяну: „углы опали“ для старого деревянного строения, термин важный в том отношении, что „на углы“ ставились как терема, так и деревянные храмы. Затем „солило“ (солонка), „тенета“, „невод“, „кляпца“ (петля), „собольи одеяла“, „мягкия постели“, „паволочито возглавие“ (т. е. шелковая длинная подушка для головы, известная по византийским и древнерусским живописным памятникам. — Примеч. Д. В. Айналова), „небо полстяное и звезды лутовяныя“, выражение важное для описания украшений древних хоромов и палат, заслуживающее специального исследования. Такое выражение, как „долотити камень“ указывает на знакомство с техникой обделки камня (впоследствии «выдолото», инструмент «долото» здесь является в таком же значении, как и «сечиво»). Ему известны: „нога в лычнице“ и „червлен сапог на боярском дворе“, „усерязь злат“ — золотая серьга, „трость писца (книжника) скорописца“, по-видимому, в таком же значении, как и κάλαμος ταχυγράφου в Византии. С другой стороны, только у Даниила Заточника находим наиболее точное определение паволоки: „паволока, испещрена многими шелки, красно лице являет“. . . Слово „рай“ он употребляет для обозначения фруктового сада вообще, а не библейского парадиза: „прекрасный рай многоплодовит“ . . . Он еще знает языческого „рода“ (и рожаницу?): „дети бегают рода, а господь пьяного человека“. . . Ему известны румяна и зеркала, употребляемые женщинами. Наряду с такими выхваченными из жизни чертами быта особенного внимания заслуживают указания на гадание по псалтыри и на гусли как на предмет очень знакомый Даниилу: „гусли бо строятся персты“».[17]

Замечательно, что все эти бытовые черты выхвачены автором «Моления» из жизни не для целей повествования (в этом случае летопись представила бы еще больше материалов из области русской жизни), а для построения сравнений, метафор, отдельных образов. Русский быт, при этом самый обыденный, проникает в поэтическую систему. В этом отношении «Моление» представляет собой для XII—XIII вв. явление из ряда вон выходящее. «Железо уваришь, а злы жены не научишь»;[18] «яко же бо олово гинеть часто разливаемо, тако и человек, приемля многия беды»;[19] «злато съкрушается огнем, а человек напастьми; пшеница бо много мучима чист хлеб являеть, а в печали обретаеть человек ум свръшен»;[20] «яко же бо невод не удержит воды, точию едины рыбы, тако и ты, княже, не въздержи злата, ни сребра, но раздавай людем»;[21] «дивиа за буяном кони паствити, тако и за добрым князем воевати»;[22] «не сей бо на бразнах жита, ни мудрости на сердци безумных»;[23]

---

17 Там же, с. 353—354.
18 Слово Даниила Заточника. . ., с. 31.
19 Там же, с. 12.
20 Там же, с. 13.
21 Там же, с. 16.
22 Там же, с. 18.
23 Там же, с. 23—24.

«не огонь творить ражежение железу, но надымание мешное; тако же и князь не сам впадает в вещь, но думцы вводять»;[24] «Да не буду аки мех утел, роня богатство в руци неимущим; да не уподоблюся жерновом, яко тии многи люди насыщают, а сами себе не могут насытитися жита»;[25] «убогии же человек, аки древо при пути растет: мнози бо подсекают его и на огнь мечют»;[26] «лутчи бо на необуздане коне ездити, нежели со злою женою жити»;[27] «не оперив стрелы, прямо не стрелити, ни леностию чести добыти»;[28] «лучше бы ми железо варити, нежели со злою женою быти»;[29] «ни работа в работех под женами повозничати».[30]

Откуда это обилие образов, взятых из различных трудовых профессий? Даниил говорит о литье железа, олова, золота, о выделке муки, ловле рыбы неводом, пастбе коней, сеянии жита, ковке железа, заготовке дров, стрельбе из лука, оперении стрел и повозничестве.

Очевидно, что это обилие образов, взятых из быта, из трудового быта народа, лежит в непосредственной связи с так остро и настойчиво декларированной Даниилом его принадлежностью к низшим слоям населения. Низкое положение Даниила на лестнице общественных отношений — это не только факт его личной жизни, оно определяет и его литературную позицию, самый стиль его произведения и его идеологию.

Даниил — не представитель того или иного определенного сословия, профессии. Он зависимый человек, представитель низших слоев общества. И это социальное положение его соответствует и его литературной позиции. Он вносит в литературу черты трудового быта, народной мудрости — «мирских притч»: «Не скот в скотах коза; ни зверь в зверях ожь; ни рыба в рыбах рак; ни потка в потках нетопырь; не мужь в мужах, иже ким своя жена владееть».[31]

Наряду с бытовым словарем, с простой разговорной речью в «Моление» Даниила властно вторгается и самый русский быт. И не случайно, что «Моление» всегда привлекало внимание исследователей, изучавших быт и социальные отношения XII—XIII вв. «Не имей собе двора близ царева двора и не дръжи села близ княжа села: тивун бо его, аки огнь трепетицею накладен, и рядовичи его, аки искры. Аще от огня устрежешися, но от искор не можеши устеречися и сождение порт»,[32] — перед нами любопытная картина социальных отношений. «Доброму бо господину служа, дослужится слободы, а злу господину служа, до-

---

[24] Там же, с. 25—26.
[25] Там же, с. 34.
[26] Там же, с. 41.
[27] Там же, с. 46.
[28] Там же, с. 68.
[29] Там же, с. 69.
[30] Там же.
[31] Там же, с. 26.
[32] Там же, с. 20—21.

служится большей работы»,[33] «з добрым бо думцею думая, князь высока стола добудеть, а с лихим думцею думая, меншего лишен будеть».[34] Даниил как бы щеголяет своей грубостью, нарочитой сниженностью стиля, не стесняясь бытового словаря.

Не случайно в одной из редакций «Моление» называется: «Слово о мирских притчах и о бытейских вещах; подобно есть сему житье наше, и како ся в нем льстим».[35] Это были «простые» речи «простого» человека. Что-то было в них хорошо знакомое читателям и переписчикам, если можно было так легко входить в стиль этого произведения, дополняя его новыми вставками, почти не отличающимися от основного текста.

Прислушаемся к стилистической манере Даниила. Вот, например, самое начало произведения. Этим началом Даниил как бы зазывает к себе слушателей — именно слушателей, так как в его произведении отчетливо чувствуется непосредственное к ним обращение: «Въструбим, яко во златокованыя трубы, в разум ума своего и начнем бити в сребреныя арганы возвитие мудрости своеа. Въстани слава моя, въстани в псалтыри и в гуслях. Востану рано, исповем ти ся. Да разверзу в притчах гаданиа моя и провещаю в языцах славу мою. Сердце бо смысленаго укрепляется в телеси красотою и мудростию».[36]

Перед нами явная переделка псалмов 56 и 107,[37] но переделка, выполненная отнюдь не в молитвенных целях.

За этим метафорическим вступлением еще Д. В. Айналов отметил черты реальной действительности. Псалтырь слишком явно сбивается на скоморошьи гусли. Д. В. Айналов писал: «Трубы, органы, свирели навеяны в „Слове“ Даниила княжескими играми и их потехами, участником которых он был, сам ставши славным игрецом на гуслях. Только таким пониманием приступа можно хорошо объяснить и следующую непосредственно за приступом фразу: „Востани слава моя в псалтыри и в гуслях“».[38]

Не об этих ли скоморошьих гуслях идет речь и в дальнейшем: «Гусли бо страяются персты, а тело основается жилами»; «гусли строятся персты, а град нашь твоею державою».[39]

Из всех упоминаемых профессий именно скоморошьей уделено в «Молении» наибольшее внимание. «Яко орел, ин, воспад на отояр (фар?), бегает чрез потрумие, отчаявся живота; а иный летает с церкви или с высокие палаты, паволочиты крилы имея; а ин наг течет во огнь, показающе крест сердец своих царем своим; а ин,

[33] Там же, с. 19—20.

[34] Там же, с. 26.

[35] Там же, с. 39.

[36] Ср. в псалме 56, стих. 9: «Востани славная моя, востани псалтири и гусли» или псалом 107, стихи 3—4: «Востани слава моя, востани псалтирю и гусли: возстану рано. Исповемся тебе в людех, господи, пою тебе во языцех».

[37] Слово Даниила Заточника. . ., с. 4.

[38] Айналов Д. В. Очерки и заметки по истории древнерусского искусства. — ИОРЯС, 1908, т. 13, кн. 1, с. 361.

[39] Слово Даниила Заточника. . ., с. 19, 66.

прорезав лысты, обнажив кости голеней своих, кажет цареви своему, являет ему храбрость свою; а иный, (ск)очив, метает вся в море со брега высока со отцем своим; отче, накрив о ферeви, ударяет по бедрам, глаголет сице: ту фенадрус! за честь и милость короля нашего отчаяхомся живота; а ин, привязав вервь ко кресту церковному, а другой конец к земным отнесет далече и с церкви по тому бегает долов, единою рукою за конец верви той держит, а в другой руце держаще мечь наг; а ин обвився мокрым полотном, борется с лютым зверем».[40]

В «Молении» обращают на себя внимание постоянные взывания к щедрости князя, мольбы о подаянии. Если Даниил — «заточник», то он не молит о свободе; если он — случайно попавший в опалу человек, то он не молит князя о восстановлении своего былого общественного положения. Единственное, о чем он молит князя с полной определенностью, — это о подаянии. И форма этой мольбы как бы вводит нас в обстановку пира: «И егда же веселишися многими брашны, а мене помяни, сух хлеб ядущи; или пиешы сладкое питие, а мене помяни, теплу воду пьющи».[41] Он просит милости, вернее, милостыни, у князя. «Но не възри на мя, господине, аки волк на ягня, но зри ни мя, аки мати на младенец. Возри на птица небесныа, яко тии ни орять, ни сеють, но уповають на милость божию; тако и мы, господине, жадаем милости твоея».[42] Мы — это, очевидно, целая категория зависимых от князя людей. Это не один «заточник», якобы впавший в личную немилость. О немилости, собственно, и речи нет в «Молении». Даниил, напротив, подчеркивает щедрость князя, взывает к его щедрости: «Тем же вопию к тобе, одержим нищетою: помилуй мя, сыне великаго царя Владимера, да не восплачюся рыдая, аки Адам рая; пусти тучю на землю художества моего».[43]

«Господине мой! — взывает Даниил. — Не лиши хлеба нища мудра, ни вознесе до облак богата несмыслена».[44] Он просит не раздавать золото и серебро кому попало: «Псом бо и свиниам не надобе злато, ни сребро».[45] Он уверяет князя, что если бы не горькая нужда, он не стал бы просить его: «Аще бых украсти умел, то толко бых к тобе не скорбил».[46] На протяжении всего «Моления» Даниил просит князя только о материальной милости — о золоте, серебре, о подачке с княжеского стола. «Княже мой, господине! Избави мя от нищеты сея, яко серну от тенета, аки птенца от кляпци, яко утя от ногти носимого ястреба, яко овца от уст лвов»;[47] «Княже мой, господине! Вси напитаются от

---

[40] Там же, с. 71.
[41] Там же, с. 41.
[42] Там же, с. 8.
[43] Там же, с. 11.
[44] Там же, с. 21.
[45] Там же, с. 24.
[46] Там же, с. 25.
[47] Там же, с. 12.

обилия дому твоего, аки потоком пища твоея; токмо аз един жадаю милости твоея, аки елень источника водного».[48]

Из всех качеств князя больше всего привлекает Даниила щедрость. О ней-то постоянно и напоминает Даниил: «Князь щедр отець есть слугам многиим: мнози бо оставляють о(т)ца и матерь, к нему прибегають»;[49] «князь щедр, аки река, текуща без брегов сквози дубравы, напояюще не токмо человеки, но и звери».[50]

Даниил восхваляет богатства князя: «Княже мой, господине! Яко же море не наполнится, многи реки приемля, тако и дом твой не наполнится множеством богатьства, приемля, зане руце твои, яко облак силен, взимая от моря воды, — от богатьства дому твоего, труся в руце неимущих. Тем и аз вжадах милосердия твоего» (здесь и далее разрядка наша. — *Д. Л.*).[51]

Даниил объясняет, что он явился к князю, рассчитывая на его щедрость: «Но видих, господине, твое добросердие к собе и притекох к обычной твоей любви».[52] Даниил, следовательно, пользуется «обычной» любовью князя и находится при его дворе, а не пишет ему издалека.

По контрасту с богатством князя Даниил всячески подчеркивает свою нищету: «и покры мя нищета, аки Чермное море фараона»;[53] Даниил, «аки трава блещена, растяще на застении, на нюже ни солнце сиаеть, ни дождь идет», он «всяким обидим»,[54] он «одеянием оскуден есмь»,[55] для него «лепше смерть, ниже продолжен живот в нищети».[56] Даниил размышляет о том, как бы ему избыть нищеты. Эти размышления нарочито нелепы: жениться на «злообразной», но богатой жене, украсть и т. д. Чем нелепее его проекты, тем безвыходнее кажется его положение.

Приглядевшись ближе к положению Даниила, взывающего к щедрости князя, мы заметим любопытные черточки в самой стилистической форме его просьб. Даниил не один; он сравнивает себя и своих товарищей с птицами небесными, которые «не орют, не сеют»: «И воззри на птица небесныя, — обращается Даниил к князю, — яко тии ни орют, ни сеют, но уповают на милость божию; тако и у тебя, господине, желают милости твоей».[57] Даниил скитается, и где бы он ни находился — всюду ему плохо: «Кому Боголюбово, а мне горе лютое; кому Бело-озеро, а мне черней смолы; кому Лаче-озеро, а мне на нем седя плачь горький; и кому ти есть Новъ-

---

[48] Там же, с. 54.
[49] Там же, с. 19.
[50] Там же, с. 20.
[51] Там же, с. 64.
[52] Там же, с. 6.
[53] Там же.
[54] Там же, с. 7.
[55] Там же, с. 22.
[56] Там же, с. 10.
[57] Там же, с. 39.

город, а мне и углы опадали; зане не процвите часть моя».[58] Даниил хвалит щедрость князя по отношению к пришельцам из других стран, и в этом опять-таки нельзя не усмотреть личного момента: «Восплачет, рече, ряп, созовет птенца, их же роди и их же не роди; тако и ты, княже, многи слуги совокупи, не токмо своя домочадца, но и от инех стран совокупи, притекающая к тебе, ведуще твою обычную милость».[59] Князь, следовательно, собирает не только слуг своих домочадцев, но и слуг из других стран и на них распространяет свою «обычную милость». В случае получения милости от князя Даниил обещает: «Да возвеселюся о царе своем, яко обретая корысть многу злата, воспою, яко напоен вина, возвеселюся, яко исполин тещи путь».[60]

В другом месте своего «Моления» Даниил требует платы за свои «слова», за свое «глаголение», за свой «ум», который считает богатством. Описав различных слуг, увеселяющих королей и салтанов, Даниил говорит: «Ту бо остану глаголати, да не во мнозе глаголании разношу ум свой и буду, яко мех утл, труся богатьства, а в руце не имех, уподоблюся жернам, иже люди насыщают, а в себе не могут наполнити жита».[61] Следовательно, князь своей щедростью должен оплатить его «многоглаголение», его «разнесение ума» — очевидно остроты, советы, «мудрость». Далее Даниил сравнивает себя с птицей «частящей песнями». Близко познакомившийся при дворе князя с его скоморохами, Даниил как бы ставит себя в положение тех, кто получал «милости» за увеселения князя, и, находясь в таком же положении, вводит в свой стиль элементы типично скоморошьих шуток: «дуть в утлу кадь», «гоняться после шершня с метлою о крохи», «скакать со столпа по горохово зерно», «ездить верхом на свинье» и т. д.

Балагурство Даниила особенно ярко проявляется там, где он рисует один из путей, которым ему придется пойти, если князь не избавит его от нищеты. Этот выход из нищеты — женитьба на богатой, но «злообразной» жене. Тут все пущено в ход Даниилом, чтобы поярче нарисовать свое семейное «счастье» и тем посмешить и разжалобить князя. «Жена бо злообразна подобна перечесу: сюда свербит, сюда болит». Она «кривозорока, подобна черту, ртаста, челюстаста, злоязычна».[62] В довершение всего Даниил представляет ее в наиболее смешном для нее положении: любующейся на себя в зеркало. «Видех жену злообразну, приничюще к зерцалу и мажущися румянцем, и рех ей: „Не зри в зерцало, видевше бо нелепоту лица своего, зане болшую печаль приимеши“».[63] Другая, не менее комическая сценка рисуется Даниилом с этой же безобразной женой. Она объясняется в любви

[58] Там же, с. 8.
[59] Там же, с. 66—67.
[60] Там же, с. 63.
[61] Там же, с. 72.
[62] Там же, с. 69.
[63] Там же, с. 27.

нелюбящему ее мужу: «И рече мужу своему: „Господине мой и свете очию моего! Ах на тя не могу зрети: егда глаголеши ко мне, тогда взираю и обумираю, и въздержат ми вся уды тела моего, и поничю на землю“». Отсюда вывод: «Ту лепше ми вол бур вести в дом свой, неже зла жена поняти: вол бо ни молвить, ни зла мыслить; а зла жена бьема бесеться, а кротима высится, в богатстве гордость приемлеть, а в убожестве иных осужаеть».[64]

Острословие Даниила носит признаки скоморошьего балагурства. Сюда могут быть отнесены многочисленные небылицы, которыми пересыпает свою речь Даниил. «Не едал бо есми от песка масла, а от козла молока, ни безумного мудрости глаголюща»;[65] «ни мертвеца росмешити, ни безумного наказати»; «коли иметь свиниа на белку лаяти, тогда безумный уму научится»;[66] «ни моря уполовнею вычерпати, ни нашим иманием дому твоего истощити»;[67] «не лепо у свинии в ноздрех рясы златы, тако на холопе порты дороги»; «аще бо были котлу во ушии златы колца, но дну его не избыти черности и жжения»;[68] «кто видал небо полстяно и звезды лутовяные, а безумных, мудрости глаголюща»; «ни камень по воде плавает. Тако же ни псом, ни свиниям не надобно злато, ни безумным мудрыя словеса. Ни мертвеца розсмешити, ни блуднаго наказати. Коли поженет синица орла, тогда безумный уму научитца. Яко же бо во утлу кадь дути, тако безумного наказати. Безумных бо ни сеют, ни орют, ни прядут, ни ткут, но сами ся ражают»;[69] «или речеши, княже, пострищися в чернцы. То не видал есмь мертвеца, на свинии ездячи, ни черта на бабе; не едал есми от дубья смоквей, ни от липъя стафилья».[70]

Профессиональный скоморошеский юмор сказывается в переиначивании географических названий: «Кому Переславль, а мне гореславль; кому Боголюбово, а мне горе лютое; кому Бело-озеро, а мне чернее смолы, кому Лаче-озеро, а мне много плача исполнено».[71]

Пользуется Даниил также и народными загадками, но опять-таки для того, чтобы посмешить, построить гротесковый образ. «Что лва злеи в четвероногих, и что змии лютеи в ползущих по земли? — спрашивает Даниил и отвечает: Всего того злеи зла жена».[72]

Наличествуют в «Молении» и следы рифм: «Лутче бы коему человеку изволи дом п о г р е с т и, нежели злу жену в дом п р и в е с т и»;[73] «зла бо жена ни учения слушаеть, ни церковника ч т и т ь, ни бога ся б о и т ь, ни людей ся с т ы д и т ь, но всех

---

[64] Там же, с. 29.
[65] Там же, с. 72.
[66] Там же, с. 24.
[67] Там же, с. 67.
[68] Там же, с. 60—61.
[69] Там же, с. 67.
[70] Там же, с. 70.
[71] Там же, с. 61.
[72] Там же, с. 32.
[73] Там же, с. 47.

укоряет и все осуждает».[74] Скоморошье балагурство входит как часть в общую сниженную, нарочито грубоватую образность «Моления». Здесь и «дерюга», «лычен сапог» (лапоть),[75] «колбаса», «жернов»,[76] «утлая кадь», «уполовня», «пес»,[77] «бурый вол»,[78] «козел», «дымная горесть»,[79] «перечес»[80] и многое другое. Здесь и целые сценки того же грубоватого характера: «свинья с рясами золотыми в ноздрях»,[81] «кривозорокая» жена, ротастая, челюстастая, смотрящаяся в зеркало,[82] черт верхом на бабе,[83] собачья драка за моклок, погоня за шершнем с метлою[84] и т. д.

Даниил довольно точно передает слова князя Андрея Владимировича Переяславского: «Леплее ми того смерть с своею дружиною на своей отчине и дедине, нежели Курьское княжение».[85] Даниил пишет: «Не лгал бо ми Ростислав[86] князь: „Лепше бы ми смерть, ниже Курское княжение"; тако же и мужеви: лепше смерть, ниже продолжен живот в нищети».[87] Но точность передачи слов Андрея (подчеркнутая словами «не лгал бо ми. . .») только маскирует насмешливую передачу смысла этих слов. Андрей ответил этими словами на предложение Всеволода Юрьевича Суздальского отступиться от своей отчины, приняв взамен нее Курское княжество. Даниил придал этим словам Андрея другое значение: насмешливое по отношению к Курскому княжению. Курское княжение приравнено к жизни «в нищети».

Тот же оттенок иронии приобретают под пером Даниила и слова псалмов в тех случаях, когда Даниил снижает их значение, применяя их возвышенную и «духовную» тему к своему положению просителя милостыни. Псалмопевец Давид обращается к богу: «Имже образом желает елень на источники водныя: сице желает душа моя к тебе, боже».[88] Даниил Заточник обращается к князю: «Токмо аз един жадаю милости твоея, аки елень источника водного».[89] В первом случае речь идет о стремлении души к богу, во втором — о стремлении Даниила получить «милость» от своего князя.

---

[74] Там же, с. 31. П. Н. Берков справедливо видит здесь элементы будущего раешного стиха (Русская народная драма XVII—XX вв. / Ред., вступ. ст. и коммент. П. Н. Беркова. М., 1953, с. 31).
[75] Слово Даниила Заточника. . ., с. 85.
[76] Там же, с. 95.
[77] Там же, с. 67—68.
[78] Там же, с. 27.
[79] Там же, с. 68.
[80] Там же, с. 69.
[81] Там же, с. 60.
[82] Там же, с. 27, 69.
[83] Там же, с. 70.
[84] Там же, с. 68.
[85] Летописец Переславль-Суздальского. М., 1851, с. 54 (под 1139 г.).
[86] Имя Ростислава (а в Копенгагенском списке имя Ярослава) заменило в дошедших до нас редакциях имя Андрея.
[87] Слово Даниила Заточника. . ., с. 10.
[88] Псалом 41, стих 1.
[89] Слово Даниила Заточника. . ., с. 54.

Слово «господин» заменило «господа» псалмов здесь и во многих других случаях в «Молении» Даниила: «Там, господине, приклони ухо твое во глаголы уст моих и от всех скорбей моих избави мя»;[90] «Княже мой, господине! Не возри на внешняя моя, но вонми внутренняя моя».[91] Даниил пародирует даже слова разбойника ко Христу. Он пишет: «Княже мой, господине! Помяни мя во княжении своем».[92] Церковное значение слова «раб» (в смысле «раб божий») Даниил обращает в буквальное юридическое понятие «раба» — холопа. Он пишет: «Яко аз раб твой и сын рабы твоя», переиначивая слова псалма (65 стих 7): «О господи, аз раб твой, и сын рабыни твоея». Библейские образы постоянно употребляются Даниилом все с тем же оттенком легкой пародии. Этот оттенок пародии создается несоответствием грандиозности образа с тривиальностью и мелочностью того, к чему он применен: «и покрыи мя нищета, аки Чермное море фараона»;[93] «се бежа от лица скудости моея, аки Агар рабыня от руки Сарры госпожа своея».[94] Не случайно Даниил, как мы уже отметили, начинает свое «Моление», применяя к себе слова Давида-псалмопевца: «Востани слава моя, востани псалтыр и гусли. Да развергу в притчах гадания моя и провещаю во языцех славу мою».[95]

Многочисленные соответствия «Моления» в отдельных местах со Священным писанием давно были замечены исследователями. Эти соответствия рассматривались только в плане заимствований. Исследователи не обратили внимания на тот шутливый оттенок, который приобретали все эти выдержки из Священного писания под пером Даниила. Функции всех этих цитат заключались в том, чтобы выпросить милостыню у князя, а не милость у бога. Даниил шуткой выпрашивает у князя материальной помощи, а не в молитвенном горении обращается к богу о духовной помощи. В этой перемене функции всех этих цитат и заключен элемент комичности, заключена самая природа стиля «Моления». Шутливое самоунижение, которое чувствуется в этом переосмыслении цитат из Священного писания, пронизывает собой «Моление». Оно явственно ощущается и там, где он говорит о своей трусости, о своей нищете, о безвыходности своего положения, о том, что он сын раба и рабыни князя. Оно ощущается и там, где Даниил ставит себя в положение то вора, то мужа «злообразной» жены и т. д. Оно ощущается и во всех преувеличениях силы князя, которые едва ли могли понравиться князю, если бы они были сказаны всерьез: «Лев рыкнет, кто не устрашится; а ты, княже, denотречеши, кто не убоится. Яко же бо змии страшен свистанием своим, так и ты, княже нашь, грозен множеством вои».[96]

[90] Там же, с. 54; ср. псалом 85, стих 1.
[91] Там же, с. 55.
[92] Там же, с. 54.
[93] Там же, с. 53.
[94] Там же, с. 54.
[95] Ср. цитации из псалмов 56 и 107 на с. 111.
[96] Слово Даниила Заточника. . ., с. 66.

Одного только не отнимает у себя Даниил — ума. Отнять у себя право на ум — это значило бы отказаться и от права на остроумие, на юмор. Поэтому многие из сообщаемых Даниилом о себе биографических сведений, жалобы на свои несчастия, на свое безденежье, трусость, на свою жену и пр. строго соответствуют литературной позиции Даниила как юмориста, смешащего читателя, а, может быть, и зрителя собой самим, своим положением, стремящегося выпросить у князя подаяние, вызвать его на щедрость самоунижением и преувеличенными похвалами.

Эта литературная позиция Даниила и вовлекла в его стиль элементы скоморошьих прибауток, народного юмора бедняка, иронизирующего над своей судьбой, склонность обращать в шутку даже слова Священного писания, украшать речь рифмой и т. д.

Однако с искусством скоморохов «Моление» сближается не только своим шутливым тоном. Скоморохи развивали в своем репертуаре и сатирическую стихию народной поэзии, в течение всей эпохи феодализма направлявшуюся на обличение господствующего класса. Как отмечает В. П. Адрианова-Перетц, «под внешней маской княжеского „милостника“, шуткой выпрашивающего у своего „господина“ „милости“, в „Молении“ Даниила Заточника скрываются сатирические выпады и против богатых, противопоставленных беднякам, и против богатой „жены злообразной“, и против друзей, которые „в напасти, аки врази обретаются“. . . „Тиун“ и его „рядовичи“ тоже попали под острый язык „заточника“. . . Даже „князь скуп“ насмешливо изображается „аки река в брезех; а брезы камены — нелзе пити, ни коня напоити“. Так с помощью неожиданных, но метких уничижительных сравнений, построенных на сугубо обыденных образах, Даниил Заточник осуждает „немилостивых“ представителей господствующего класса, делая их смешными в глазах читателя».[97] Эта сторона «Моления» подтверждает наше предположение о том, что Даниил Заточник вышел не из среды господствующего класса.

Как бы ни были сильны элементы скоморошьего стиля в «Молении» Даниила Заточника, «Моление» — не скоморошья речь, записанная писцом. Это не скоморошеское произведение в его целом. Оно только сохраняет налет скоморошьих прибауток, скоморошьего искусства. Отбор сентенций и шуток как бы только корректируется привычкой к скоморошьим прибауткам. Книжные элементы в «Молении» дают себя знать сильнее, чем в «Слове о полку Игореве». Так, например, в «Слове» природа по-фольклорному непосредственно вмешивается в жизнь людей, одухотворена, поэтизирована, а в «Молении», согласно с христианскими воззрениями, лишь подает моральный пример. «Моление» не чуждается книжных образов, отдельных книжных тем. «Моление» — произведение безусловно книжное и вместе с тем в известной мере возникшее на началах народного творчества.

---

[97] Русская демократическая сатира XVII века / Подгот. текстов, ст. и коммент. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1954, с. 144—145.

Даниил — это своего рода «интеллигент» Древней Руси XII—XIII вв., «интеллигент», принадлежащий к эксплуатируемым слоям общества.

«Кто бы ни был Даниил Заточник, — писал В. Г. Белинский, — можно заключить не без основания, что это была одна из тех личностей, которые, на беду себе, слишком умны, слишком даровиты, слишком много знают и, не умея прятать от людей свое превосходство, оскорбляют самолюбивую посредственность; которых сердце болит и снедается ревностию по делам, чуждым им, которые говорят там, где лучше было бы молчать, и молчат там, где выгодно говорить; словом, одна из тех личностей, которых люди сперва хвалят и холят, потом сживают ее со свету и, наконец, уморивши, снова начинают хвалить».[98]

Даниил только учился у скоморохов, но сам он скоморохом не был. Вот почему юмор Даниила так близок юмору народному и очень своеобразен. Даниил мог быть холопом, мог быть и дворянином, он мог просить князя не о подачке, а об избавлении из заточения. Вся его самохарактеристика и все упоминаемые им в его «Молении» детали его биографии могли быть вполне реальными фактами. Важно, однако, что в своем «Молении» Даниил отразил стиль представителей народного юмора — скоморохов. Вот почему «Моление» вызывало к себе такой активный интерес у русских читателей, все время дополнявших и переделывавших это произведение, но неизменно делавших это «в стиле» самого «Моления», безошибочно угадывавших его стиль, тип его юмора, бывшего у всех на виду, — юмора скоморошеского.

Холоп или дворянин, Даниил нашел средства отшутиться у князя, нашел привычный путь шуткой вымолить себе «милость» в виде ли материальной поддержки или прощения, он нашел его в той среде, которая была столь близка к народу и князю.

Искусство скоморохов в Древней Руси вызывало подражание, о чем выразительно свидетельствует одно найденное Л. С. Шептаевым место в «Поучении», приписываемом Иоанну Златоустому: «Аще бо кто пустошник глумяся что изрече, тогда вси болма восмеются. Подобает бо злословного кощуника биюще отгнати, но зряще чудятся. . . друзии же мзды игрецом дают. . . не токмо дивятся зряще, но и словеса их изучили, да егда в пиру или инде где соберутся. . . все вещают: се глаголет он си скоморох или он си кощунник и игрец».[99]

Кем бы Даниил ни был — холопом или дворянином (в значении, свойственном XII—XIII вв.), он во всяком случае вышел из низших слоев общества, принадлежа к тем его представителям, которые могут быть названы княжескими «милостниками».

Если автор «Слова о полку Игореве» мог быть дружинником или боярином, выражая тем не менее народную точку зрения,

---

[98] Белинский В. Г. Русская народная поэзия. — Отеч. зап., 1841, т. 19, № 11, с. 19—20.

[99] Шептаев Л. С. Русский раешник XVII века. — Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та, 1949, т. 87, с. 36.

то Даниил ими быть не мог. Отождествить свой стиль со стилем скоморошьим, заставить смеяться над собой: балагурить и выпрашивать у князя «милости» — не мог в это время ни представитель родовитого боярства, ни подлинный представитель народа — крестьянин-земледелец, ремесленник.

Даниил мог принадлежать только к той прослойке города, которая энергично поддерживала сильную княжескую власть. Скорее всего он был княжеским «милостником». Именно здесь могли зародиться и общественные взгляды Даниила, и самый стиль его «Моления», вылившийся в скоморошье претворение книжных элементов, — стиль, стоящий на грани народного и книжного. Вместе с тем как княжеский «милостник» он сблизился, конечно, не с теми скоморохами, которые развлекали народ и были подлинными представителями народного искусства, а с теми, которые развлекали князя и его приближенных, смешиваясь с толпой тех же княжеских «милостников» при дворе князя. Княжеские скоморохи принадлежали к княжеским «милостникам», к ним принадлежал и Даниил. Вот почему «Моление», воплотив в себе отдельные народные элементы, не стало произведением подлинно народным, отражающим интересы всего народа, подобно тому как отражало эти интересы «Слово о полку Игореве».

1954

ГАЛИЦКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ В ЖИТИИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Изучение литературной традиции в житии Александра Невского значительно затруднено тем обстоятельством, что история текста жития недостаточно прояснена. Исследование редакций жития Александра Невского только началось и не имеет еще сколько-нибудь прочных общих решений.

Крупный труд В. Мансикки «Житие Александра Невского. Разбор редакций и текст» (СПб., 1913) имеет существенные недостатки. Несмотря на всю тщательность и добросовестность произведенной в нем работы две неверные методологические установки свели на нет многие из выводов этого труда. Во-первых, рассматривая летописные редакции жития, В. Мансикка объединяет их историю с историей тех летописных сводов, в которые они заключены. История летописных редакций для него лишь частный случай истории летописания. История же летописания всецело подчиняется им схеме, предложенной А. А. Шахматовым; при этом В. Мансикка не отделяет твердых достижений исследования А. А. Шахматова от некоторых его шатких гипотез. Во-вторых, В. Мансикка по большей части исходит из предположения, что чем моложе список или летописный свод, тем моложе и заключенная в них редакция жития. Обе эти предпосылки, неверные по существу, в особенности оказались ошибочными при применении к житию Александра Невского, в истории редакций которого древние версии жития неожиданно оказывались в поздних летописных сводах и в поздних списках.

Вместе с тем следует заметить, что хотя история летописания должна приниматься во внимание во всех случаях, когда исследуются произведения, вошедшие в состав летописей, однако, поскольку литературные памятники, включаемые в летопись, имели не только летописную, но и внелетописную письменную традицию, изучения состава свода, приемов переработки летописцем своего материала недостаточно для объяснения всех их особенностей. Как известно, русские летописцы никогда не ограничивали своей компилятивной работы только летописными материалами. Летописцы могли привлекать для своего труда и внелетописные редакции жития, естественно предпочитая старшие списки более новым.

Вследствие неверных методологических предпосылок в работе В. Мансикки оказалась явно неправильно освещенной редакция жития в Софийской I летописи. В. Мансикка рассматривал текст жития Александра Невского из Софийской I летописи исключительно в рамках летописной традиции и причислял его к вариантам редакции новгородского свода 1448 г.[1] Все особенности редакции

[1] В работе «Киевский Начальный свод 1095 года» (Архив АН СССР, ф. 134, оп. 1, № 227) А. А. Шахматов отказался от датировки Новгородско-

офийской I, как, например, обширное заглавие, сравнение с «царем Алевхысом» и пр., В. Мансикка считает изделием самого составителя списка «Софийской первой летописи»,[2] хотя и отозвался в неопределенных выражениях о древности многих чтений Софийской I летописи. Составитель Софийской I летописи, — говорит он, — «дорожит выражениями жития», «не пренебрегает выражениями жития»,[3] включает «черты из списков старого типа».[4] Между тем редакцию жития Софийской I следует явно объединять с так называемой «новой редакцией» (в списках собрания Уварова, № 514, л. 289; Рукописного отделения БАН, № 13.4.8). Близость[5] эта не укрылась и от наблюдений В. Мансикки. Считая, однако, на основании внешней истории летописных сводов и по датировке списков «новую редакцию» сравнительно поздней, В. Мансикка предположил, что составитель «новой редакции» жития пользовался житием Софийской I летописи. Между тем многие из древнейших черт «новой редакции» (древность их нащупывалась самим В. Мансиккой и была подтверждена наблюдениями Н. Серебрянского[6]) не находят себе параллелей в Софийской I, а древние чтения Софийской I не находят себе параллелей в «новой редакции». Поэтому вероятнее предположить, что и редакция Софийской I летописи, и «новая редакция» имеют какую-то более сложную историю, восходя (обе самостоятельно) к древнейшей редакции жития. Слепое следование схеме А. А. Шахматова не позволило, однако, В. Мансикке объединить версии жития Александра Невского в Софийской I и в «новой редакции» в одну группу и увидеть в ней остатки древнейшей редакции.

Не ясны также соотношения редакций жития Лаврентьевской летописи и Псковской II. Исходя из соображений бо́льшей древности Лаврентьевского списка, В. Мансикка находил Лаврентьевскую редакцию более старой. Между тем, как уже отметил Н. Серебрянский,[7] нет оснований считать текст жития в Псковской II летописи более поздним, чем в Лаврентьевской. Отметим попутно, что изучение Лаврентьевского списка М. Д. Приселковым нисколько не подвинуло разрешения вопроса о том, когда была составлена редакция, включенная в Лаврентьевскую летопись. Не считаясь с явными указаниями текста летописи на то, что мы имеем дело со вставкой жития,[8] М. Д. Приселков предполагал,

Софийского свода 1448-м годом под влиянием разъяснений А. В. Маркова. (см.: А. А. Шахматов. 1864—1920: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1947, с. 135).

[2] Мансикка В. Житие Александра Невского: Разбор редакций и текст. СПб., 1913, с. 69.

[3] Там же, с. 72.

[4] Там же, с. 73.

[5] Близок к ним и текст жития в сборнике XV в. из собрания Н. П. Лихачева. Издан: Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 126—137.

[6] Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития: (обзор редакций и тексты). М., 1915, с. 195 и след.

[7] Там же, с. 176.

[8] Первоначальный летописный текст заключал, по-видимому, только известие о смерти Александра, житие же вставлено позднее. См. в Лаврентьев-

что житие Александра Невского было включено в летопись одновременно с составлением основного текста вскоре после смерти Александра (свод 1263 г.).[9]

До сих пор не выяснено, к какой редакции — к Лаврентьевской или к Псковской II — ближе текст жития Александра в известном Псковско-Печерском сборнике, где он находится непосредственно вслед за «Словом о погибели Русской земли». Между тем особенно теперь, после открытия В. И. Малышевым нового списка жития в таком же сочетании, выступает важность именно этого типа жития.

Таким образом, житие Александра, разбор его редакций и текста, ждет еще своего исследователя. Чрезвычайно важными, но беглыми замечаниями Н. Серебрянского изучение редакций жития Александра Невского ограничиться не может. Предполагаем, что некоторые историко-литературные наблюдения, излагаемые нами ниже, помогут в изучении редакций жития, так же как изучение редакций могло бы помочь в исследовании чисто историко-литературном.

В дальнейшем мы пользуемся в основном так называемой Лаврентьевской редакцией в списке МДА, № 208, XVI в. (издана у В. Мансикки), а в некоторых случаях прибегаем к так называемой «новой», или второй, редакции в списке Уварова, № 514 (369), XVI в. (издана у В. Мансикки) и к Псковско-Печерской редакции (издана у Н. Серебрянского с дополнениями из Пролога Румянцевской Библиотеки, № 1772 (ныне ГБЛ, собр. Олонецкой семинарии, № 15), XVI в. и вариантами из рукописи МДА, № 208, XVI—XVII вв.).

1

Во всех основных списках жития Александра Невского приводится известный ответ Александра послам папы: «от Адама до потопа, от потопа до разделения язык. . .» и т. д. Исследуя литературную традицию в житии Александра Невского, В. Мансикка приводит, между прочим, этот ответ в качестве примера влияния на житие летописи. «Подобное „Сказание въкратце су-

---

ской летописи под 1263 г.: «Того же лета. Преставися великий князь Олександр сын Ярославль. Скажем же мужство и житье его. О Господе нашемь Иисусе Христе аз худый, грешный, недостойный начинаю писати житье великого князя Олександра. . .».

[9] «Смерть Александра Невского в 1263 г. вызвала попытку создать как бы продолжение того великокняжеского летописца, который был создан Ярославом в 1239 г. . . .общий состав известий за время великого княжения Александра Невского был так беден, что у составителя свода 1263 г. явилась мысль дать особое приложение, в котором очевидец и сотрудник покойного князя вскоре после смерти последнего рассказывал бы о его жизни и деятельности» (П р и с е л к о в М. Д. Лаврентьевская летопись: История текста. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1939, № 32. Сер. исторических наук, вып. 2, с. 130).

щиимь от Адама до днешняго времене“, — пишет В. Мансикка, — напечатано в прибавлениях к 1 тому Полного Собрания Летописей. Ход мировой истории распределен на периоды, соответствующие перечню событий в ответе Александра. Под г. 6360, когда летописец впервые начинает „числа положить“, он обозначает время между названными событиями: от Адама до потопа лет 2242, а от потопа до Оврама лет 1000 и 82, а от Аврама до исхоженья Моисеева лет 430 и т. д. В виде особой статьи встречается подобный отрывок, между прочим, в сборнике Московской типографской библиотеки (№ 396, л. 126 об., XVII в.) . . .» [10]

Уточним сделанное В. Мансиккой сопоставление. Приведенный им отрывок читается в Повести временных лет под 852 г. и восходит к «Никифорову летописцу вскоре».[11] Греческий текст Никифорова летописца, как доказано его издателем С. De-Boor'ом,[12] распадается на две редакции. Кроме того, отдельные списки летописца имели продолжения (основной текст доведен до года смерти Никифора — 829-го). Текст вставки в Повести временных лет из Никифорова летописца соответствует его второй редакции. Как сразу видно, ответ Александра Невского послам папы от текста Повести временных лет отличается следующими тремя особенностями: 1) в нем отсутствуют хронологические данные, опущение которых, в сущности, понятно: оно вызвано самим характером ответа, не нуждавшимся в них; 2) в нем отсутствуют две хронологические вехи: пленение Иерусалима Веспасианом и царствование Александра Македонского; 3) периодизация мировой истории продолжена в нем указаниями на первый и на седьмой (последний) вселенские соборы.

С последним добавлением, т. е. с указаниями на первый и последний соборы как на два этапа мировой истории, этот отрывок входил в состав Русского Хронографа. Именно этот хронографический отрывок из Никифорова летописца и является наиболее близким к ответу Александра Невского послам папы. Привожу оба текста параллельно.

Русский Хронограф (ПСРЛ, т. 22, ч. 1, 1911 г., с. 19—20)	Житие Александра Невского (ГБЛ, собр. Олонецкой семинарии, № 15, XVI в., л. 667)
Летописчик вкратце.[13] *От Адама до потопа* лет 2242, *от потопа до разделения язык* лет 500 и 30, от разделениа язык *до начала Авраамля* лет 552, а от Адама 3300 и 22, *от* перваго лета *Авраамля до пришествиа Чрьмнаго моря* лет 500 и 5, а от Адамиа 3827, а от *исхо*[*да*]	*От Адама до потопа, от потопа до разделения язык, до начала Авраамля, от Авраама до проития* Израиля сквозе *Чермное море, от исхода*

[10] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 47.

[11] См.: Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники. — ТОДРЛ, М.; Л., 1940, т. 4, с. 64 и след.

[12] Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica. Lipsiae, 1880.

[13] Ср. греческое название Никифорова летописца вскоре: χρονογραφικὸν σύντομον.

сынов Иизраилев до умертвиа царя Давида лет 600 и 30, а от Адама лет 4000 и 457, а от конца Давыдова до Христова Рождества 1000 и 43, *от начала царьства Соломона* до взятиа Иерусалима лет 448, а от Адама 4906, от пленениа Иерусалимъска до умертвиа Александра Македонскаго лет 261, а от Адама лет 5168, а от пленения до Рождества Христова, а от (у)мертвия Александрова *до Авгоустова царствиа* лет 295, а от начала царства Авгоустова *до Рождества Христова* лет 42, а от Александра,[14] а от Адама до Рождества Христова лет 5500, а от Рождества до Страсти и *до Воскресениа Христова* 33, от Воскресениа до перваго лета царя Констянтина лет 279, а от Адама 5812, от перваго лета царя Констянтина *до перваго собора* лет 12, от перваго до втораго лет 60, от втораго до третьяго лет 50, а от третьяго до четвертаго лет 30, а от четвертаго до пятаго лет 100, от пятого до шестаго лет 130, от шестаго *до седмаго* лета 122, а от Адама 6296 до седмаго собора, а от Рождества Христова лет 805, а до крещениа Болгарьского от Адама лет 6377, от крещениа до преложениа книг лет 30 на Словенский язык святым Кирилом, а от Адама 6407. . .

сынов Израилев до умертвия царя Давида, от начала царствия Соломоня до Августа царя и до рождества Христова, до смерти и *до Воскресения Господня, от Воскресения и* до Возшествия на небеса и *до царства Константинова, до первого собора и до седмаго*, си вся добре сведаем. . .

Из приведенного сопоставления явствует, что ответ Александра представляет собою систематическую и вполне логическую выборку из хронографического (а не летописного) отрывка Никифорова летописца. Недоумение вызывает лишь пропуск в ответе Александра двух этапов мировой истории: царствования Александра Македонского и взятия Иерусалима, обычно соответствующих в самом хронографе Александрии и Повести Иосифа Флавия о взятии Иерусалима. В качестве догадки предполагаем, что эти два этапа мировой истории имелись в первоначальной редакции жития Александра Невского, в которой были сравнения Александра с образами Александрии и повести Иосифа Флавия, но исчезли при ее оцерковлении,[15] при удалении из нее образов Александрии и повести Флавия.

Нас не должно удивлять то, что Александр Невский избрал для своего ответа послам папы столь странную и не идущую к делу на первый взгляд форму: хронографы в Древней Руси постоянно рассматривались как история вероисповедания по преимуществу. Хронографы обычно открывались статьями «Изложение о вере», «Святого Феодорита, как подобает креститися», «Указ, чесо ради поклоняемся на въсток».[16] В состав древних компилятивных хронографов (Еллинского летописца второй редакции) входила, например, «Повесть въкратцe полезна о Латынех, когда отлучишася

---

[14] Год пропущен. Примеч. издателя.

[15] См. гипотезу Н. Серебрянского (Древнерусские княжеские жития, с. 191 и след.), объясняющую особенности так называемой «особой» редакции (в списках Уваровском, № 514 (369), XVI в. и БАН, № 13.4.8. второй половины XVI в.).

[16] См.: ПСРЛ, СПб., 1911, т. 2, ч. 1, с. 14—19.

от Грек и святыа Божиа церкви». В ней рассказывалось о Коруловых еретиках, развративших своим учением Рим, о судьбе Михаила Сингела и учеников его Феофана и Феодора, о папе Формосе; излагались основные заблуждения Латинской церкви (некоторые — фантастические), а затем рассказывалось о крещении Болгар, Руси (якобы во время похода Владимира на Царьград) и Угров с последующим их отпадением в латинство. Успехи латинства объяснялись, между прочим, военной слабостью Византии, вызванной нападением магометан. Здесь же упоминалось и о покорении Руси агарянами.

Как идейный оплот православия хронографы рассматривались и в византийской литературе. В предисловии к хронике Георгия Амартола говорилось о том, что цель книги — рассказать о «елиньских философ еретичьстве и складание басньных вер» и дать историю православия в борьбе с ересями: «манихейско бесовьствие», «на иконы шибеная ересь» — «откуду начатъся и где погрязе».[17]

Самые хронографические статьи, посвященные тому или иному византийскому императору, обычно имеют сведения о его православии или еретичестве, иногда выделяемые киноварью.[18] Таким образом, в ответе Александра Невского папе римскому заключалась по существу хронографическая история православия и еретичества. Ссылка Александра Невского на всемирную историю должна, таким образом, рассматриваться как ссылка на Хронограф; по существу ответ Александра Невского, как мы видели, и был взят из Хронографа.

Тот же «Никифоров летописец вскоре», вернее его продолжение, отразился не только в основном тексте жития Александра Невского, но и в «Слове о погибели Русской земли». В самом деле, в «Слове о погибели Русской земли», как известно, император Мануил сделан современником Владимира Мономаха («жюр Маноуил царегородскый опас имея, поне и великыя дары посылаша к нему, абы под ним великый князь Володимер Царягорода не взял»),[19] тогда как на самом деле он царствовал с 1143 по 1180 г. Объяснение этому находим в продолжении «Никифорова летописца вскоре». В русских рукописях [20] вслед за Никифоровым летописцем встречаем перечень византийских императоров с обозначением,

[17] Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 1920, т. 1, с. 28.

[18] См. например, Еллинский летописец из собрания Плигина: Рук. отд. БАН, № 33.8.13, л. 118, 118 об., 119, 121, 122, 123 об., 124, 124 об., 125, 125 об., 160, 204 об., 207, 230, 243 об. и др.; помню также о двух гипотезах, связывавших возникновение отдельных видов компилятивных хронографов с вероисповедными спорами: гипотеза В. М. Истрина о связи составления «Иудейского» хронографа со спорами против иудейства и гипотеза А. А. Шахматова о возникновении «Русского хронографа» в 1442 г. в связи с Флорентийской унией 1439 г.

[19] Лопарев Х. Слово о погибели Рускыя земли. Вновь найденный памятник литературы XIII в. — ПДП, 1892, т. 84, с. 24.

[20] См.: ПСРЛ, СПб., 1862, т. 9, с. XX. Ср. Еллинский летописец второй редакции (БАН, 33.8.13, л. 294—294 об.).

кто из них был православным, и кто нет. Перечень этот носит название: «Цари царствующии в Константине граде, православнии же и еретицы». Хронологические указания взяты в нем из Никифорова летописца. Важно при этом, что царствование Алексея Комнина определено в нем в семь лет и шесть месяцев вместо тридцати лет и пяти месяцев.[21] Благодаря этой ошибке царствование Мануила отодвигалось на тридцать лет назад, и он оказывался современником Владимира Мономаха.[22] И действительно, в Русском Хронографе, в части, взятой, по-видимому, из Еллинского летописца, мы встречаем следующий текст: «По Никифоре Ватаниоте царствова Алексей Комнин лет 7 и месяць 7. Православен»;[23] а затем, в связи с этой хронологией, в следующей, 189-й, главе: «При сем цари Мануиле в лето 6620 преставися Святополк Изяславичь, быв на великом княжении лет 21, и седе на великом княжении в Киеве Владимер Манамах, сын Всеволожь. . . и преставися Владимер Манамах в лето 6633. . . его же вся страны трепетаху».[24]

Итак, «Никифоров летописец вскоре» дважды отразился в житии Александра Невского. Один раз в самом тексте жития, а другой раз в «Слове о погибели. . .», которое теперь уже, после открытия нового списка этого памятника, с известной долей вероятности можно считать вводной статьей к житию.

Сразу же отметим одно обстоятельство, которое окажется для нас важным в последующем изложении. «Никифоров летописец вскоре» в отдельных списках не встречается, он всегда входил в состав компиляций, цитировался в составе летописей, хронографов, кормчих. В частности, он входил в состав компилятивных хронографов домонгольской поры.[25] Мы видели выше, что летописный отрывок Никифорова летописца не мог оказать влияния на житие Александра, так как нами отмечено влияние тех его частей, которые в летопись не входили. Следовательно, остается предположить, что «Никифоров летописец вскоре» был известен автору жития либо в составе компилятивного хронографа, либо в составе кормчей.[26] Ряд признаков, как увидим ниже, указывает, что таким источником был именно компилятивный хронограф.

---

[21] ПСРЛ, т. 9, с. XXI.

[22] На Хронограф как на источник ошибки «Слова о погибели. . .» впервые указал И. Жданов (Русский былевой эпос. СПб., 1895, с. 97—98).

[23] ПСРЛ, т. 22, ч. 1, с. 381.

[24] Там же, с. 386—387.

[25] «В состав этой энциклопедии (Еллинского летописца, по Шахматову. — *Д. Л.*) входил, между прочим, Никифоров летописец, что видно из его постоянной связи с Еллинским летописцем: ср. тожественное содержание в изложении данных о позднейших византийских императорах между некоторыми списками Никифорова летописца и списками II вида Еллинского летописца» (Шахматов А. Древнеболгарская энциклопедия X века. — В кн.: Византийский Временник. СПб., 1900, т. 7, вып. 1—2, с. 34).

[26] О Никифоровом летописце в последней см.: Степанов Н. В. Летописец вскоре патриарха Никифора в Новгородской кормчей. — ИОРЯС,

2

В своем исследовании Ипатьевской летописи акад. А. С. Орлов, указав влияние компилятивного (Еллинского и Римского) хронографа на вторую половину Ипатьевской летописи (за XIII в.), считал возможным предположить, что «если два—три произведения, отразившиеся на летописи, в то же время входили совместно в состав хронографа, то скорее всего они влияли на нее не своим отдельным текстом, а именно через хронограф, откуда иные из них нам только и известны».[27]

В. Мансикка установил влияние на житие Александра Невского «Повести о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия,[28] Н. Серебрянский — «Александрии» псевдо-Каллисфена [29] и «Повести о Троянском пленении».[30] Все эти произведения, а также «Летописец Никифоров вскоре», влияние которого мы отметили выше, входили в обычный состав компилятивных хронографов домонгольской поры. Больше того, все перечисленные выше произведения в отдельном виде не встречались. О «Никифоровом летописце вскоре» в этом отношении мы уже говорили выше. Троянская история Дигениса Критского была известна только по 5-й книге Хроники Малалы, вошедшей в компилятивные хронографы домонгольской поры. Псевдо-Каллисфенова «Александрия» также входила в состав домонгольских компилятивных хронографов; отдельные поздние списки ее являются извлечениями из хронографов. Наконец, только в составе компилятивных хронографов была известна и «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия (в Еллинском летописце второй редакции; также в Архивском хронографе). Поэтому мы вправе предполагать, что перечисленные произведения, влияние которых на житие Александра может считаться прочно установленным, влияли не порознь, а в составе того же компилятивного хронографа.

Наше предположение может быть подкреплено и тем обстоятельством, что большинство указанных В. Мансиккой библейских параллелей к житию также входили в состав компилятивного хронографа. Например:

Хроника Георгия Амартола по изд. В. М. Истрина	Житие Александра Невского по списку МДА, № 208
И увеличися Соломон *паче* всех *цесарь* земьных богатьством и умомь; и вси цесареве *искаху видети лице*	Но возраст его *паче инех человек, а глас его, яко труба в народе. . .* И се некто от западныя страны, иже

[27] Орлов А. С. К вопросу об Ипатьевской летописи. — ИОРЯС, 1926, т. 31, с. 96.

[28] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 26—32. Ср. также: Барсов Е. В. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси. М., 1887, т. 1, с. 217.

[29] Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития, с. 184 и след.

[30] Там же, с. 210 и др.

его и послушати *глас его*, и прихожаху приносяще кождо их на вся лет дары своя. . . (с. 145).

И глас слова его яко глас многаго народа (с. 161).

И царица Саваньская. . . услышавши имя его, приде в Иерусалим (с. 145).

Царица Ужеска приде от конець земли, да видить премудрость Соломоню (с. 146).

И бе владыка [Соломон] всем царствам от реки Ефрата доже и до земли иноплеменьник и до предел Египетьских (с. 145).

Описание славы Соломона: «и далних стран доиде память твоя» (с. 146).

нарицаютца слуги Божиа, и от тех приидоша, *хотя видети* дивный возраст его, *якож древле царица Южская приходила к Соломоню царю*, хотя слышати премудрость его, яко сей, именем Андрейашь, видев князя Александра Ярославичя, и возвратися ко своим и рече . . . (Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 2).

И начаша слышати имя великаго князя Александра Ярославича по всем странам и до моря Пешескаго и до гор Аравитских, обону страну Вяряжьскаго и до Рима (Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 7).

Упоминаемый в житии Александра библейский рассказ о помощи ангелов царю Езекии против полчищ Сеннахерима также имеется в Хронике Амартола,[31] входившей в состав компилятивных хронографов домонгольской поры. Впрочем, последняя параллель приводится также и в «Повести о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, также, как было уже упомянуто, входившей в состав компилятивных хронографов.

Кроме перечисленных выше произведений — «Александрии», «Повести о пленении Иерусалима», Троянской истории, Летописца Никифора и отдельных библейских параллелей, входивших в состав домонгольских компилятивных хронографов, — в житии Александра Невского отразилась также стилистическая манера повести о Девгении Акрите. Сопоставление повести о Девгении Акрите и жития Александра Невского было подробно проведено Н. Серебрянским,[32] и основательность его не вызывает сом-

[31] Истрин В. М. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. 1, с. 159.

[32] Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития, с. 210 и др. Приведем некоторые параллели между житием и повестью о Девгении дополнительно к тем, которые были указаны Н. Серебрянским. «Сказание, како победи Девгений Василия царя» начинает рассказ так: «Некто бысть царь именем Василий и слышав о дерзости и храбрости Девгениеве, бысть яростен зело и желание имея велие како бы его добыти. . . и услышав Девген(и)еву дерзость, яростен бысть, борзе нарядив послы своя, посла грамоту, написав с ласканием прелестью. . .» (Сперанский М. Н. Девгениево деяние: К истории его текста в старинной русской письменности. — СОРЯС, 1922, т. 99, № 7, с. 145). Ср. начало рассказа жития о Невской битве: «И се слыша краль части Римскиа, от полунощныя страны, таковое мужество князя Александра Ярославичя, и рече: Пойду, попленю землю Александрову» (Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 2). Повесть и житие совпадают и в отдельных выражениях, например, в повести о Девгении: «един от них на сто наедет» (в сп. *М.-П.* и *Т.*), «един на сто человек наедет» (в сп. Пып.) и в житии: «сей наехавше на шняку», «сей наехав многажды бьяшася», «сей наехав на полк с мечем и мужествовал» (Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 4). В. Мансикка сопоставлял житие с Мусин-Пушкинским, Тихонравовским и Погодинским (изданным А. Н. Пыпиным) списками «Девгениева Деяния». Некоторые общие места между ним, житием Александра Невского и Галицкой летописью отметим ниже.

нений. Между тем это едва ли не единственное крупное произведение (кроме, впрочем, Паремийного чтения о Борисе и Глебе, заимствования из которого в житии Александра Невского не показательны для его литературной традиции), отразившееся в житии помимо компилятивного хронографа: повесть о Девгении Акрите в состав древнейших компилятивных хронографов не входила.

Отметив влияние на житие Александра Невского ряда произведений, не порознь, а через компилятивный хронограф, и отдельно повести о Девгении Акрите, обратим внимание на следующее обстоятельство. Компилятивный хронограф сходного состава, как выяснено акад. А. С. Орловым, отразился в Ипатьевской летописи первой половины и середины XIII в. Тем значительнее, что повесть о Девгении Акрите, как это отмечено в исследовании М. Н. Сперанского, также сходна по своей стилистической манере с Ипатьевской летописью за тот же период.

Повесть о Девгении Акрите принадлежит к числу типично южнорусских памятников, близких по своим художественным средствам и языку к таким произведениям, как «Александрия» (в I ред.), как «Повесть о пленении Иерусалима», Ипатьевская летопись и хроника Малалы.[33] По уточнению акад. А. С. Орлова, перевод повести о Дигенисе сделан, вероятнее всего, в Галицко-Волынской области.[34]

Таким образом, не может быть сомнения в том, что повесть о Дигенисе входила в тот же круг южнорусских памятников, литературная манера которых отразилась и в житии Александра, и в Галицкой летописи.

Такое соответствие литературных памятников, отразившихся в Галицкой летописи и в житии Александра, вынуждает нас поискать, помимо окольных, и непосредственных сходств между Галицкой летописью и житием Александра.

3

Приведем примеры параллелей к житию Александра Невского, отыскиваемых только в Галицкой летописи. В житии Александра дважды говорится о степных народах, которые пугают своих детей именем русского князя: в «Слове о погибели. . .» говорится о Мономахе, «которым то половоци дети своя ношаху (описка вм. «страшаху») в колыбели»;[35] и в собственно житии то же говорится об Александре: «. . .проиде весть до усть Волги, и начаша жены Маявидскиа полошати дети своя рекуще, едет князь Александр

---

[33] Сперанский М. Н. Девгениево Деяние, с. 59 и след. М. Н. Сперанский отмечает «особенно частое совпадение в выражениях и способе их употребления с южно-русскими летописями XII—нач. XIII в.» (там же, с. 78).

[34] Орлов А. С. К вопросу об Ипатьевской летописи, с. 93.

[35] Лопарев Х. Слово о погибели Рускыя земли, с. 22.

Ярославичь».[36] Единственная параллель к этим двум местам жития может быть указана только в Галицкой летописи под 1252 г., где об отце Даниила — Романе вспоминается: «. . .иже бе изострился на поганыя, яко лев, им же половци дети страшаху».[37]

Так же только в Ипатьевской летописи находятся самые близкие параллели к встрече Александра псковичами: «. . .и сретоша его со кресты игумене и попове в ризах, народ мног пред градом, подавающе хвалу богови, *поюще песнь и славу государю*, великому князю Александру Ярославичу».[38] Встречи победителя ликующим народом не редкость в летописях,[39] но только в Галицкой летописи, как и в житии Александра, победителю при встрече поют славу. Такова в Галицкой летописи концовка повествования о походе Даниила и его брата Василька на ятвягов под 1251 г.: «. . .и *песнь славну* пояху има, богу помогшу има, и придоста со славою на землю свою, наследивши путь отца своего великого Романа. . .».

Путешествие Даниила к Батыю в Орду и путешествие Александра к Батыю в Орду сопровождаются сходными замечаниями о славе Даниила и Александра; в Галицкой летописи о Данииле: «. . .бысть же ведомо странам приход его всем ис татар»;[40] в житии об Александре: «И бысть грозен приезд его. Проиде весть до усть Волги».[41]

Послы папы пришли к Даниилу с благословением, королевским венцом и саном королевства, «*хотяще видети* князя Данила».[42] Так же точно к Александру приходит «некто от западныя страны», «*хотя видети* дивный возраст его».[43]

Между житием Александра и Галицкой летописью отчетливо устанавливается сходство в стиле, в манере описывать военные действия, битвы, подвиги князя. «Краль части Римскиа» в житии Александра идет на него, собрав «силу велику» и наполнив корабли полками, «и поиде в силе велице, пыхая духом ратным. И преиде реку Неву, шатаяся безумием, посла послы разгордевся ко князю Александру Ярославичю в Новъгород в Великий и рече: Аще можеши ми противитися, уже есмь зде, пополеню землю

---

[36] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 22.

[37] Ипатьевская летопись, 1252 г.; даты второй части Ипатьевской летописи, как известно, неверны. К этому месту жития В. Мансикка (с. 20) приводит следующие библейские параллели: «. . .пронеслось имя Давидово по всем землям и Господь сделал его страшным для всех народов» (I Пар., XIV, 17); сам Давид говорит о себе: «. . .по слуху обо мне повинуются мне; иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих» (II Цар., XXII, 45). Однако параллели эти, как сразу видно, весьма далеки от соответствующих мест жития.

[38] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 6—7 (здесь и далее курсив мой. — *Д. Л.*).

[39] Лаврентьевская лет., 6654 г.; Ипатьевская лет., 6611, 6620, 6654, 6659 гг.

[40] Ипатьевская лет., 1250 г.

[41] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 7.

[42] Ипатьевская лет., 1254 г.

[43] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 2.

твою».[44] Ср. в Галицкой летописи выступление венгерского короля против Даниила: «Изыде же Бела рикс, рекъмый король Угорьскый, в силе тяжьце, рекшю ему: яко не иметь остатися град Галичь, несть кто избавляя и от руку моею».[45]

Александр, прежде чем выйти навстречу шведам, отправляется в Софию Новгородскую, молится там, а затем устремляется на врагов с немногою дружиною: «. . .и поиде на ня *в мале дружине*, не сождавъся со многою силою своею, уповая на святую Троицу».[46]

Так же точно поступает и Даниил перед битвой с венграми: «Помоливщу же ся ему [богу] и святей пречистей богородици, Михаилу архангелу божию, устремися изыти *со малом ратник*».[47]

Александр «*скоро поеха*» навстречу врагам, «*ускори князь велики поити*»;[48] так же и Даниил: «Данилови же рекшу, яко же Писание глаголеть: мьдляй на брань страшливу душю имать, — понудив их [своих ратников], *ускори* снити на не».[49]

Сама битва Александра со шведами описывается с тою же подробностью, что и битва Даниила с венграми 1231 г. В описании битвы Даниила с венграми говорится о подвигах его самого («вободе копье свое в ратьного изломившу же ся копью и обнажи мечь свой») [50] и некоторых участников, о захвате королевского стяга и т. д.

В житии Александра в древнейшей его версии (в Софийской I летописи) подчеркивается незначительность потерь в войске Александра и перечисляются наиболее известные из убитых: «. . .новгородцев же ту паде: Костянтин Луготиничь, Юрята Пинящиничь, Намест, Дрочило Нездилов сын кожевников, а всех 20 мужь паде и с Ладожаны, или менши, то бог весть».[51] Ср. в Галицкой летописи: «. . .тех бо падших много угор, а Даниловых мало бояр, их же имена се быша: Радислав Юрьевичь, Моиси, Степан брат его, Юрьи Яневичь».[52]

В житии Александра перечисляются храбрецы («храбрые») из дружины Александра: «Первый именем Гаврило Олексенич. . . Другый новгородец именем Збыслав Якунович. . . Третий Яков полочанин, ловец бе у князя. . . Четвертый новгородец именем Миша. . . Пятый от молодых людий, именем Сава. . . Шестый

---

[44] Там же.

[45] Ипатьевская лет., 1229 г. Ср. также: «Выйде Филя, древле прегордый надеяся объяти землю, потребити море» (там же, 1221 г.); «Филя же строяшеся па брапь, мняше же бо яко никто можеть стати противу ему на брапи» (там же, 1219 г.).

[46] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 2.

[47] Ипатьевская лет., 1231 г. Ср. еще: «Данилови же приехавшю *в мале дружине*» (Ипатьевская лет., 1219 г.).

[48] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 3.

[49] Ипатьевская лет., 1231 г. Ср. также: «Данил же. . . *скоро* собрав полкы поиде» (1234 г.); Данипл и Василько «*скоро* собравше вои, поидоста» (на Литву; под 1249 г.).

[50] Ипатьевская лет., 1231 г.

[51] Софийская I летопись, 1240 г.

[52] Ипатьевская лет., 1232 г.

от слуг его, именем Ратмил».[53] Перечисление ратников или воевод не редкость в летописях, но только в Галицкой летописи находим аналогичное перечисление с порядковыми числами в описании выступившего в поход войска венгерского короля: «. . .имена же бывши(м) воеводам с ним: первый Петр Туровичь, вторый Банко, трети Мика Брадатый, четвертый Лотахарот, пятый Мокъян, шестый Тибрець, седмы Мароцел, и инии мнозии. . .».[54] Между Ипатьевской летописью и житием Александра можно наблюдать и некоторые фразеологические соответствия. Сравним, например, эпитет «милый», вообще характерный для южнорусских памятников (повесть о Дигенисе, «Слово о полку Игореве»), но и в житии Александра, и в Галицкой летописи употребленный в одном и том же сочетании: «милый сын». В Галицкой летописи: «. . .приял бо бе Данила, како *милаго сына своего*»;[55] ср. в житии: «. . .не бе ведал таковаго востаниа на *сына своего милаго*».[56] Ср. также эпитет «острый» в Галицкой летописи: «. . .*острый мецю*, борзый коню» [57] и в житии: «. . .*острым* своим копием».[58] И для Галицкой летописи, и для жития Александра характерны тавтологические сочетания; например, в Галицкой летописи Даниил «победою победи Ростислава»,[59] «многом множьством силы своей»;[60] сравним в житии Александра: «укори а укором»,[61] «побеждая непобедим» [62] и др.

Обращает на себя также внимание близкое сходство традиционных формул воинских повестей. Формулы эти, как было исследовано А. С. Орловым, часты в летописи. Замечательно, однако, что, приводя параллели к воинским формулам жития, В. Мансикка останавливается по преимуществу на примерах из Ипатьевской летописи. Дополнительно к материалам В. Мансикки укажем еще на некоторые. Так, например, для Галицкой летописи характерно определение множества войска по тому, что войско покрывает все поле битвы: «якоже покрыти воде быти от множества людей»,[63] «наутрея же собрашася вси Ятвязе, пешци и снузници, мнози зело, яко и лесом их наполънитися»;[64] «и бысть рать велика, якоже наполнити болота Ятвяжьска полком».[65] Ср. в житии Александра: «. . .поиде противу их, и множеством обоих вои

---

[53] Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития, с. 113—114.

[54] Ипатьевская лет., 1208 г.

[55] Там же, 1202 г.

[56] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 3. Ср. также в повести о Дигенисе «чадо мое милое» (Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития, с. 136).

[57] Ипатьевская лет., 1217 г.

[58] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 4.

[59] Ипатьевская лет., 1250 г.

[60] Там же, 1240 г.

[61] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 2.

[62] Там же.

[63] Ипатьевская лет., 1224 г.

[64] Там же, 1251 г.

[65] Там же, 1256 г.

покрыша езеро, глаголемое Чюдское».[66] Отметим также некоторые общие и для жития, и для Галицкой летописи заимствования из Иосифа Флавия. Например, в житии Александра: «и бысть сеча зла и труск от копей (в рукописи: «коней») и ломление и звук от мечнаго сечениа»;[67] ср. в Галицкой летописи: «и ту беаше видити лом копейны и щит скепание»,[68] или: «копьем же изломившимся, яко от грома тресновение бысть, и от обоих же мнози падше с коний и умроша, и инии уязвени быша от крепости ударения копейного»;[69] ср. у Иосифа Флавия при осаде Иотопаты: «и быс[ть] видети лом копийн[ы] и скрежтание мечное и щит искепани».[70]

Наконец, между житием Александра и Галицкой летописью есть существенное композиционное сходство. Как отмечено Л. В. Черепниным,[71] Ипатьевский список в части с 1202 г. по 50-е гг. XIII в. заключает в себе жизнеописание Даниила. Это жизнеописание не было разделено на погодные статьи (даты, как известно, проставлены уже составителем Ипатьевской летописи) и начиналось с лирического вступления, посвященного предкам Даниила и былому могуществу Русской земли. Характерно, что это вступление к жизнеописанию Даниила многими чертами напоминает «Слово о погибели Русской земли», которое также носит характер своеобразного лирического вступления к житию Александра.

Предисловие к жизнеописанию Даниила начинается с воспоминаний о былом могуществе Русской земли при отце Даниила Романе и деде его Владимире Мономахе. Мономах погубил поганые Измаильтяны, «рекомыя половци», и изгнал их хана Отрока «во Обезы за Железная врата».[72]

Тем же прославлением былого могущества Русской земли начинается и «Слово о погибели. . .». Здесь перечисляются пространства, покоренные «деду» Александра — Владимиру Мономаху. Главная заслуга Мономаха и тут и там — это страх, который он нагнал на врагов Руси, в первую очередь на половцев: в «Слове о погибели. . .» Владимиром «половоци дети своя ношаху (очевидно испорченное из «страшаху») в колыбели, а Литва из болота на свет не вьникываху, а угры твердяху камении городы железными вороты, абы на них великыи Володимер тамо не въехал, а немци радовахуся, далече будуче за синим морем».[73]

От величественного прошлого оба вступления переходят к печальному настоящему: вступление к жизнеописанию Даниила

[66] Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития, с. 115.
[67] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 6.
[68] Ипатьевская лет., 1240 г.
[69] Там же, 1249 г.
[70] Istrin V. La prise de Jérusalem de Josèphe le Juif. Paris, 1934, t. 1, p. 220 et 222.
[71] Черепнин Л. В. Летописец Даниила Галицкого. — Исторические записки, 1941, № 12, с. 228—253.
[72] Ипатьевская лет., 1201 г.
[73] Лопарев Х. Слово о погибели Рускыя земли, с. 22—23.

говорит о великом мятеже в земле Русской; «Слово о погибели. . .» напоминает о «болезни крестияном» последних дней.[74]

В дальнейшем и жизнеописание Даниила, и житие Александра в моменты наибольшей опасности для своих героев вспоминают их предков. Так, например, описание пребывания Даниила в Орде сопровождается следующим лирическим восклицанием автора: «О злая честь Татарьская! *Его же отець* бе царь в Руской земли, иже покори Половецькую землю и воева на иные страны все, сын того не прия чести, то иный кто можеть прияти?» [75] Ср. в житии Александра перед битвой со шведами: «Жалостно слышати, яко *отец его* Ярослав честный, великий, не бе ведал таковаго востания на сына своего милаго, великаго князя Александра Ярославича».[76] Еще ближе к жизнеописанию Даниила то место «новой» (древнейшей) редакции жития Александра, где воспоминание об отце Александра — Ярославе — связано с путешествием Александра к Батыю, т. е. в том же сочетании, что и в жизнеописании Даниила: «Якоже бо по первем велицем взятьи Тотарьстем *отец его* великый князь Ярослав. . . сам себе не пощаде, предасть бо ся сам за люди своя в великую и темную и пагубную землю и много пострадав за землю отьчины своея, обажен бысть Федором Ароновицем и многы дни пострадав, и тако с миром дух предасть. Тако же и сын Александр не остави пути отца своего за люди своя, за тыя же много пленения прият. . .».[77]

К сожалению, жизнеописание Даниила Галицкого не было доведено до его смерти; поэтому мы лишены возможности судить о композиции жизнеописания Даниила в целом, но предполагать, что житие Александра заканчивалось в южнорусской манере, некоторые основания все же имеются. Дело в том, что к известному образному сравнению митрополитом Кириллом Александра с закатившимся солнцем Суздальской земли в исследованиях жития Александра Невского [78] были приведены лишь две параллели — и обе из Ипатьевской летописи. Одна — в описании смерти Мстислава Ростиславича под 1179 г.: «уже бо солнце наше заиде ны и во обиде всим остахом»; другая — в описании смерти Володимера Васильковича под 1288 г.: «уже бо солнце наше заиде ны и во обиде всем остахом». В последнем случае мы имеем не простое совпадение или заимствование, а несомненную южнорусскую литературную традицию в описании смертей, что доказывается другими словами в описании смерти Володимера Васильковича: «и приложися ко отцемь своим и дедом, отдав общий долг, его же

---

[74] Возможно, что имеется также связь между стоящими в начале «Слова о погибели. . .» словами «о смерти великого князя Ярослава» и первыми словами статьи 1201 г. Ипатьевской летописи: «По смерти же великого князя Романа». В «Слове о погибели. . .» значение упоминания смерти Ярослава не ясно.

[75] Ипатьевская лет., 1250 г.

[76] Мансикка В. Житие Александра Невского, с. 3.

[77] Там же, с. 13.

[78] Там же, с. 39.

несть убежати всякому роженому».[79] Приведенные слова читаются также в описании смерти Святослава Ростиславича,[80] Мстислава Ростиславича,[81] Романа Ростиславича,[82] Всеволода Святославича [83] и Давыда Ростиславича.[84]

Сравнением умершего Александра с закатившимся солнцем сходство описания смерти Александра с соответствующими местами Ипатьевской летописи, однако, не ограничивается. В житии Александра автор его горюет: «аще бы жив с ним во гробе влезл»,[85] так же точно плачут по Мстиславе новгородцы: «добро бы ны, господине, с тобою умрети. . .» [86] и так же плачут по Владимиру Васильковичу владимирцы: «добро бы ны, господине, с тобою умрети. . .». [87] Таким образом, в житии Александра оба эти места находятся в том же сочетании, что и в Ипатьевской летописи (сперва желание умереть вместе с погребаемым, затем сравнение его с солнцем); это говорит о том, что перед нами не случайное совпадение, а литературная традиция.

Однако в целом между жизнеописанием Даниила и житием Александра имеется весьма существенное различие. Жизнеописание Даниила, несомненно, подробнее и пространнее. Оно составлено очевидцами всего жизненного пути Даниила до 50-х гг. XIII в. и осталось не законченным. Житие Александра несравненно короче. Оно написано «самовидцем» его «возраста», но все его начало (до 50-х гг. XIII в. во всяком случае) принадлежит не очевидцу, а воспроизведено по рассказам самого Александра или его современников.[88] Как увидим ниже, именно это различие на самом деле теснее и конкретнее всего связывает жизнеописание Даниила с житием Александра.

---

[79] Ипатьевская лет., 1288 г.
[80] Там же, 1172 г.
[81] Там же, 1179 г.
[82] Там же, 1180 г.
[83] Там же, 1196 г.
[84] Там же, 1198 г.
[85] М а н с и к к а В. Житие Александра Невского, с. 9.
[86] Ипатьевская лет., 1179 г.
[87] Там же, 1288 г.
[88] Вполне отчетливо представить себе, кто был автором, по житию нельзя, но некоторые сведения о нем все же могут быть добыты. Напомню основные: автор был «самовидец возраста» Александра (С е р е б р я н с к и й Н. Древнерусские княжеские жития, с. 110; М а н с и к к а В. Житие Александра Невского, с. 1), т. е. его внешности (а не юности или роста, как толкует В. Л. Комарович (История русской литературы: В 10-ти т., т. 2, ч. 1, с. 55); ср. у Малалы: «и видев ю и доброту ея и *възраст*» (И с т р и н В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. Одесса, 1903, кн. 2, с. 45)). О первоначальных годах княжения Александра автор писал по рассказам (в списке ГБЛ, собр. Олонецкой семинарии, № 15 в предисловии сказано, что он писал то, что слышал «от своих отец домочадец» (С е р е б р я н с к и й Н. Древнерусские княжеские жития. Тексты, с. 110)). Автор не был очевидцем битв Александра. В рассказе о Невской битве он говорит: «. . .сии же вся слышав (вар. слышахом) от господина своего князя Александра Ярославича и от иных же в то время обретошася в той же сечи» (М а н с и к к а В. Житие Александра Невского, с. 5). В рассказе о Чудской битве он говорит, что все сведения о ней он получил от «самовидца» (там же, с. 6). Автор не сопровождал Александра и в его поездке к Батыю.

4

Возможные пути книжных связей Галича и северо-востока Руси начала второй половины XIII в. могут быть прослежены довольно точно. Звеном, связующим Галицкую Русь и Владимиро-Суздальскую, был митрополит Кирилл II,[89] переехавший в 1250 г. с юга от Даниила к Александру Невскому.

Кирилл II, как известно, был на митрополичьей кафедре ставленником Даниила Галицкого. Близость Кирилла к Даниилу возникла, по-видимому, задолго до его поставления в митрополиты. М. Д. Приселков видит будущего митрополита Кирилла в «печатнике», т. е. канцлере, Даниила. М. Д. Приселков пишет: «Кирилл был киевский митрополит, ставленник галицкого князя Даниила из числа его ближайших сотрудников, бывший печатник Даниила».[90] На чем основывает М. Д. Приселков такое категорическое отожествление, осталось у него нераскрытым, но правдоподобность его не вызывает сомнений: совпадение имени «печатника» Кирилла, действовавшего, по летописи, в 1241 г., и имени Кирилла, названного в летописи под 1243 г. «митрополитом» (очевидно, будущим митрополитом — «нареченным»), но выполнявшего те же функции «печатника» — канцлера, думается, не случайно.

«Печатниками», или канцлерами, в Византии обычно были духовные лица. «Печатник Кирилл» — также лицо духовное. Это можно заметить по разным косвенным признакам. Так, например, предводительствуя войсками, Кирилл, во-первых, не водит их непосредственно сам в битву и, во-вторых, стремится действовать миролюбивыми средствами. В Бакоте Кирилл сперва обращается к своим противникам с пространною речью. Приведя часть его речи, летописец прибавляет: «инеми словесы мудрыми глаголаста ему много».[91] Видя отступление противников, печатник Кирилл отказывается от их преследования и удерживает за собой Бакоту «мудростью и крепостью». В другой раз, подойдя к Дядькову с 3000 пехоты и 3000 конницы, Кирилл не ведет их в бой непосредственно сам, а как лицо духовное лишь «разрешает» им взять Дядьков: «и водасть им взяти Дядьков град».[92]

Насколько мы можем судить по кратким заметкам Ипатьевской летописи под тем же 1241 г., «печатник» Кирилл выполнял и чисто литературные поручения Даниила. Даниил послал Кирилла в Бакоту «исписати грабительства нечестивых бояр».[93] Как доказывает Л. В. Черепнин (в существо его доказательств

---

[89] Следует иметь в виду, что митрополит Кирилл II в литературе иногда также называется Кириллом III.

[90] Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, с. 104.

[91] Ипатьевская лет. под 1241 г.

[92] Там же. См.: Соколов Пл. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, с. 160.

[93] Ипатьевская лет. под 1241 г.

сейчас не вхожу), выполненный Кириллом литературный отчет о боярских крамолах и о борьбе Даниила с Польшей и Венгрией составляет основное содержание Ипатьевской летописи почти за два десятилетия.[94]

Кириллу неоднократно приходилось выполнять сложные дипломатические поручения Даниила еще прежде своего поставления в митрополиты. Наконец, в 1250 г. Кирилл отправился на посвящение в Никею.[95] Проезжая через Венгрию, он вел переговоры с венгерским королем Белой IV о женитьбе сына Даниила — Льва на дочери Белы, что было связано с рядом важных государственных вопросов.

Не будем вдаваться в подробности отношений Кирилла и Даниила. Как известно, отношения эти были очень тесными, и поставление Кирилла на пустовавшую митрополичью кафедру входило в планы Даниила распространить свое влияние на Киев. Тем более странным кажется то обстоятельство, что Кирилл вскоре после своего поставления навсегда покидает Даниила и переезжает на северо-восток к Александру Невскому. Поездка Кирилла совершается с согласия Даниила, так как он взял с собой дочь Даниила — невесту Андрея Ярославича.[96] Однако вряд ли в планах Даниила было навсегда отпустить из-под своего влияния митрополичью кафедру.

Как правильно предполагал М. Д. Приселков, почти тридцатилетнее проживание Кирилла на севере не было случайностью.[97] Не буду вдаваться во все тонкости объяснения М. Д. Приселковым политики Даниила и Александра Невского, приведшей к тому, что Кирилл предпочел остаться у Александра. Для цели настоящей статьи важен лишь один несомненный факт, засвидетельствованный и русскими и иностранными источниками, — факт начавшегося в 1250-х гг. (после отъезда Кирилла) союза Даниила и папы — союза, который не мог встретить и не встретил сочувствия в русском духовенстве.[98]

Действительно, в середине 40-х гг. XIII в. в период вакантности митрополичьей кафедры между Даниилом и папой велись

---

[94] Начиная с 20-х гг. XIII в. См.: Черепнин Л. В. Летописец Даниила Галицкого, с. 245—252.

[95] О поставлении Кирилла см. Ипатьевскую и Лаврентьевскую летописи под 1250 г.; Голубинский Е. История русской церкви. М., 1900, т. 2, вып. 1, 2, с. 53—55; Терновский Ф. Изучение византийской истории и ее тенденциозное приложение к Древней Руси. Киев, 1876, вып. 2, с. 12 и др.

[96] В последнее время был высказан взгляд, что Кирилл отправился к Александру Невскому в качестве посланца Даниила. Возможно, конечно, что у Кирилла были дипломатические поручения, но чем объяснить, что Кирилл остается на севере и после смерти Александра Невского? См.: Югов А. Даниил Галицкий и Александр Невский. — Вопросы истории, 1945, № 3—4, с. 99—107. В статье много неточностей. Смешаны, например, два митрополита Кирилла (известия 1228 и 1230 гг., приведенные на с. 103 статьи, относятся не к митрополиту Кириллу II, а к Кириллу I, умершему на митрополии в 1233 г., и т. п.).

[97] Приселков М. Д. История русского летописания. . ., с. 104.

[98] Замечательно, например, что все переговоры об унии ведутся исключительно от лица самого Даниила.

переговоры. В частности, посольство Иннокентия IV в Монголию вело переговоры об унии с Васильком, а на обратном пути с Даниилом. Эти переговоры не были успешными.[99] Однако в 1252 г. в отсутствие Кирилла переговоры Даниила с Римом о союзе и о королевском венце возобновились. Даниил согласился принять от папы королевский титул на условиях помощи против татар: «рать татарьская не престаеть зле живущи с нами, — отвечал Даниил папе: — то како могут прияти венець без помощи твоей».[100]

В 1253 г.[101] произошла коронация Даниила,[102] совпавшая с усиленной пропагандой папой крестового похода на татар. Грамоты папы были получены в Богемии, Моравии, Сербии, Померании. Грамоту папы получил, очевидно, и Александр Невский: ту самую, отрицательный ответ на которую так подчеркнут в его житии. Кирилл находился в это время у Александра Невского. Естественно, что он навсегда порвал с Даниилом, связав свою дальнейшую судьбу с Александром Невским. С ним он был в тесных дружественных отношениях. Его он ставил на великое княжение во Владимире.[103] Тело его он встретил и отпел во Владимире в 1262 г. Наконец, его, Александра, назвал он «солнцем земли Суздальской», выразив тем самым высшую меру своей любви к нему.

На северо-востоке Кирилл не оставляет своих литературных трудов. Как предполагает М. Д. Приселков,[104] по его инициативе ведется в Переяславле-Залесском митрополичье летописание. Во всяком случае, Лаврентьевская летопись за 70-е гг. сохраняет многочисленные признаки близости летописца к митрополиту. Между прочим, в 1274 г. во Владимире митрополит Кирилл созвал церковный собор, на котором обсуждались различные недостатки тогдашней церковной жизни. Результатом этого собора явилось «Правило Кирилла, митрополита русского», дошедшее до нас, очевидно, лишь частично. Во вступлении к «Правилу» дана известная картина положения Руси: «Не расея ли ны бог по лицю всея земля? — говорит Кирилл. — Не взяти ли быша гради наши? Не падоша ли сильнии наши князи остриемь меча? [105] Не поведени ли быша в плен чада наша? Не запустеша ли святыя божия церкви? Не томими ли есмы на всяк день от безбожьных и нечистых

---

[99] Отсылаю за подробностями к обстоятельной работе Н. Дашкевича «Переговоры пап с Даниилом Галицким об унии юго-западной Руси с католичеством» (Университетские известия, Киев, 1884, № 8, с. 136—181).

[100] Ипатьевская лет., под 1255 г.

[101] Грушевський М. Хронольогія подій Галицько-Волинської Літописи. — Записки Наукового Товариства імени Шевченка, Львів, 1901, т. 41, кн. 3, с. 36—37.

[102] «Он же венець от бога прия, от церкве святых апостол и от стола святаго Петра, и от отца своего папы Некентия» (Ипатьевская лет., под 1255 г.).

[103] «И посади его (Александра) пресвященный Кирилл митрополит на великом княжении во Владимире на столе отца его» (Никоновская лет., под 1252 г.).

[104] Приселков М. Д. История русского летописания. . ., с. 104.

[105] Ср. в Ипатьевской лет. под 1217 г.: «Острый мецю, борзый коню».

поган? Си вся бывають нам, зане не храним правил святых наших и преподобных отець».[106]

Кирилл явился к Александру не один. Недовольных церковною политикою Даниила было, очевидно, немало. Естественно, что многие из них спаслись от угрозы унии, переехав на северо-восток Руси под покровительство своего сильного земляка Кирилла. Среди этих переехавших к Кириллу представителей духовенства были, очевидно, и люди книжные.[107] Знаменательно, что с середины 50-х гг. XIII в. официальное галицкое летописание явно хиреет.[108]

Вне всякого сомнения, Кирилл имел отношение к составлению жизнеописания Александра. Он мог быть и автором, но вернее всего он заказал житие кому-нибудь из проживавших на севере галицких книжников. Во всяком случае в Псковско-Печерской редакции жития Александра, одной из самых важных для определения первоначального его вида, прямо говорится: «. . .се же бысть проповедано всем от Кюрила митрополита святителя и от иконома его Савастиана».[109]

Тем самым объясняются многие особенности жития Александра Невского. Житие несет в себе западнорусскую, галицкую литературную традицию, так как из Галича был его автор. Оно близко по форме к жизнеописанию Даниила, так как именно это жизнеописание было ближе всего знакомо самому Кириллу, когда-то вложившему свой труд в его составление. Оно пользуется как своим литературным образцом компилятивным хронографом типа Еллинского летописца, так как именно на этом образце воспитывались литературные вкусы его автора. Оно носит по преимуществу светский характер, так как следовало светским образцам. Оно написано не очевидцем подвигов Александра, так как автор его приехал на северо-восток после 1250 г. В нем многое написано со слов самого Александра, и это понятно, так как сам митрополит Кирилл и его двор были близки к Александру. Автор его радуется тому, что Александр ответил папе решительным отказом, и это также понятно, так как именно согласие на унию с папой Даниила вынудило автора покинуть Даниила и остаться у Александра. Вот почему и враги Александра — шведы — называются в житии не по национальному, а по вероисповедному признаку «римлянами». В своем ответе римскому папе Александр пользуется советом своих «мудрецов»,[110] т. е. несомненно тех же вновь

[106] РИБ, 1880, т. 6, с. 83.

[107] Переезд этот совершался не только в 50-х гг. XIII в., но и значительно позднее. Так, под 1274 г. в Симеоновской летописи записано, что Серапион (знаменитый Серапион Владимирский) был поставлен епископом «Ростову, Владимиру и Новугороду».

[108] Л. В. Черепнин считает, что упадок галицкого летописания начинается с 1256—1257 гг. (Летописец Даниила Галицкого, с. 232 и след.).

[109] Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. Тексты, с. 120.

[110] Книжники и писатели постоянно называются в хронографе «мудрыми», «премудрыми» и т. д. См.: Истрин В. М. Первая книга Хроники Иоанна

переехавших на север из Галичины книжников, сумевших использовать в своем ответе папе главный источник своей литературной учености — хронограф.

5

Мы рассмотрели выше западнорусскую литературную традицию в житии Александра Невского и возможные пути, по которым эта литературная традиция могла передаться из Галичины на северо-восток. Нам остается только показать на конкретном примере, что такая передача была действительно возможна и осуществлялась в других случаях.

В своем исследовании «К вопросу об Ипатьевской летописи» акад. А. С. Орлов для определения переводных хронографических источников Ипатьевской летописи преимущественное значение отдает так называемому Архивскому хронографу (Архив М-ва иностр. дел, № 902—1468, теперь № 279—658), составленному в 1262 г., как раз накануне смерти Александра Невского. Подведем итоги тем данным, которые могут считаться прочно установленными в отношении этой рукописи.

Состав этого Архивского сборника определяется акад. А. С. Орловым следующим образом: судя по оглавлению, он «состоял из пяти статей: 1) Толковый Апокалипсис; 2) Компилятивный Хронограф, составленный из Библейских книг, хроники Георгия Амартола и Иоанна Малалы, Александрии и Истории Иудейской войны Иосифа Флавия;[111] 3) Русский „летописец" (посл. соб. 1213 г.); 4) „Соборьник" типа Изборника Святославова 1073 г., с добавлением впереди полемической статьи о латине и статьями церковно-юридическими; 5) болгарский перевод „Пчелы", сделанный по манере Евфимия Тырновского. Из этих статей сохранились лишь 2-я и 3-я, т. е. хронограф и русский „летописец", названный „Летописцем русских царей". Можно с достаточной вероятностью ут-

---

Малалы. — Зап. имп. АН, сер. VIII, историко-филологическое отд., СПб., 1897, т. 1, № 3: с. 6, 8 (трижды), 14, 17, 18 (дважды); Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе, кн. 2: с. 465, 467, 469, 471, 473 (четырежды), 474, 476 (дважды), 478 (дважды), 481 (трижды), 483 (дважды), 486 (трижды) и т. д. В Ипатьевской летописи, очевидно, не без влияния хронографа, книжник Тимофей также называется «премудрый» (Ипатьевская лет., под 1205 г.). В употреблении этого термина в житии Александра Невского видим, следовательно, еще один пример влияния компилятивного хронографа типа Еллинского летописца с Малалой, как одной из главных его составных частей.

[111] На л. 199—210 в Архивском хронографе имеется пятая книга Малалы с Троянской историей; на л. 311—342 — «Александрия»; «Повесть о разорении Иерусалима» перемежается с выписками из Малалы. На л. 280—281 дан рассказ о нашествии Сенахирима из хроники Амартола; на л. 246—247 перечисляются храбрейшие из воинов Давида (из хроники Амартола). Кроме того, в Архивском хронографе имеются и те места Библии, с которыми сопоставляется житие Александра. Таким образом, основной круг литературных источников жития Александра Невского (за исключением повести о Девгении — о ней выше) в Архивском хронографе налицо.

верждать, что первоначальный сборник, которым воспользовалась Архивная рукопись, состоял из Толк. Апокалипсиса, Хронографа, Русского летописца и Соборьника, происходил из Галицко-Волынской области и относился ко 2-й половине XIII в.; веке же в XV к этим статьям была присоединена „Пчела“. О Галицко-Волынском происхождении и о XIII в. этого сборника свидетельствует следующее. В той части Хронографа, где рассказ из хроники Малалы разрезывает XI главу книги Бытия, помещено сведение о литовских божествах с датою, которая объясняется как 1262 г.[112] Это сведение совпадает отчасти именами литовских божеств с заметкой, помещенной в Галицкой летописи под 1252 и 1258 гг. по Ипатьевскому списку».[113]

Особую важность для нас имеет определение состава того Летописца, который входил в этот галицко-волынский сборник второй половины XIII в. Летописец этот хорошо известен в научной литературе под названием «Летописца русских царей», или «Летописца Переяславля Суздальского», в издании кн. Оболенского.[114]

Акад. А. С. Орлов так резюмирует данные о его происхождении: «„Летописец русских царей“, известный пока в двух списках XV—XVI вв., в Архивском (изд. кн. М. Оболенским в 1851 г.) и в дефектном Никифоровском (изд. С. Белокуровым в 1894 г.), судя по обоим спискам, начинался сокращенною Повестью временных лет, которая в Архивском соединена с выписками из Киевской летописи (XII в.) и с Суздальской летописью (кончена 1213 г.) в *Переяславской переделке* (курсив мой. — *Д. Л.*), а в Никифоровском — соединена с западнорусской летописью (сост. 1428—1430 гг.)».[115]

Итак, «Летописец русских царей» представляет собою соединение южнорусской летописи и суздальской в переяславской обработке.

Надо, впрочем, отметить, что переяславец, составлявший «Летописец русских царей», не был чужд культурных традиций юга. Сравним, например, употребление слова «царь», «царство-

---

[112] На л. 25 об. Архивского хронографа помещена статья «Оуказ же поганской прельсти сице, иже Совия богом нарицають». В ней сказано, что от Авимелеха и Совья до сего лета, «в няже начахом писати книги сия» — лет 3446. Считая по «Летописцу вскоре» Никифора до Авимелеха 3324 г. получим 6770 (1261 или 1262) год.

[113] Орлов А. С. К вопросу об Ипатьевской летописи. — ИОРЯС, 1926, гл. 31, с. 95.

[114] Летописец Переяславля Суздальского, составленный в начале XIII в. (между 1214 и 1219 гг.), издан М. А. Оболенским (М., 1851).

[115] «Общие по содержанию части Архивского и Никифоровского списков независимо восходят к одному общему оригиналу с юго-западными диалектическими чертами. Этот оригинал, судя по замене имени Печенегов и Половцев Татарами, восходил ко времени позже 1240 г. (см. опустошение последними Галицко-Волынских земель)». Примеч. акад. А. С. Орлова. См.: Орлов А. С. К вопросу об Ипатьевской летописи, с. 94.

вати» вместо «князь», «княжити»,[116] отразившееся в самом заглавии («Летописец русских царей») и находящее себе аналогию в Галицкой летописи, где Роман называется «царем в Русской земли, иже покори Половецькую землю и воева на иные страны все».[117] Западные источники постоянно называют галицкого князя «rex Russiee» еще до коронования Даниила, в отличие от князей других княжеств, которых титулуют обычно «dux». Северо-восточные летописи никогда не называют русских князей царями.

Не лишним будет также отметить, что составитель «Летописца русских царей» или переписчик его в протограф Архивского сборника не упустил из виду в своей работе предшествующий в сборнике компилятивный хронограф. Так, под 980 г. летописец сослался на переводчика Малалы или более обширных компиляций Григория: вместо «бе, бо, рече, у Соломана» (ср. в Лаврентьевской и с перестановкой слов в Ипатьевской) он вписал: «рече бо книга Царская Григорием мнихом о Соломоне».[118]

Укажем также и на другие юго-западные элементы (как в языке, так и в содержании), подробно отмеченные выше в Летописце Переяславля Суздальского в статье А. С. Орлова (см. с. 30). Факты эти безусловно утверждают составление Летописца Переяславля Суздальского южноруссом. В истории русского летописания, однако, не найдется случая, чтобы летопись, перенесенная в другую область, переписывалась и переделывалась в ней в отдельном виде без местных дополнений и продолжений. Поэтому вряд ли возможно предположить редактирование Летописца Переяславля Русского в Галицко-Волынской Руси. Предполагаем, что Летописец Переяславля Суздальского был поставлен рядом с юго-западным компилятивным хронографом и переработан летописцем южноруссом в том же Переяславле Суздальском. Это положение для нас проясняется, как только мы вспомним, что в Переяславле Суздальском, где после смерти Александра Невского жил великий князь владимирский Дмитрий, находился двор митрополита Ки-

---

[116] «И седе Олег княжа и царствоуа в Киеве» (882 г.); «и поставил над собою царствовати» (862 г.).

[117] Ипатьевская лет., 1250 г. Ср. запись в синодике (Necrologium) монастыря Петра в Эрфурте: «Romanus rex Ruthenorum dedit nobis XXX marcas» под датой смерти Романа 19 июня 1205 г. (Грушевский М. История Украины—Руси. 2-е изд. Киев; Львов, 1905, т. 2, с. 485, примеч.). Или в хронике Оберика середины XIII в.: «Rex Russiae, Romanus nomine. . .» (там же, т. 3, с. 507).

[118] Имя Григория входит, как известно, в заглавие пятой книги Малалы Архивского хронографа: «Книгы завета божиа Ветхаго, сказающе образы Новаго завета истинну соущу, преложеныя от греческаго языка в словенскый при князи блъгарстем Симеоне сыне Борисии Григорием презвитером мнихом, всех церквиик българскых церкви повелением того книголюбца князя Семиона, истине же рещи боголюбца». См.: Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. Одесса, 1909, кн. 5, с. 7. О том, кто был Григорий, см.: Истрин В. М. Александрия русских хронографов. М., 1893, с. 354—355.

рилла, осуществлявший живую связь юго-западной Руси с северо-восточной.[119]

В начале нашей работы мы упоминали о том, что в житии Александра Невского и в «Слове о погибели Русской земли» отразился «Никифоров летописец вскоре». Небезынтересно в связи с этим, что этот самый «Никифоров летописец вскоре» в расширенной редакции (а в житии Александра и в «Слове о погибели. . .» отразилась именно расширенная редакция) читался перед тем же «Летописцем русских царей».[120]

6

Житие Александра Невского давно привлекало внимание своею необычайною формою. По мнению С. М. Соловьева, оно не относится к литературе житий святых.[121] В. О. Ключевский называл древнейшие жития Александра Невского «исключительным, своеобразным опытом жития, не повторившимся в агиобиографии».[122] Н. Серебрянский предполагал в основе жития Александра особую светскую повесть о «мужестве» Александра,[123] но не мог указать ей аналогичных.

Акад. А. С. Орлов указал на южнорусскую литературную традицию в основе жития: «. . .к числу Владимиро-Суздальских произведений, писанных все еще в южнорусской манере, с привлечением книжных источников, популярных в Киевской Руси, от-

---

[119] На связь «Летописца русских царей» с митрополичьим двором намекает также то обстоятельство, что в нем читаются два законодательных памятника: «Завет Володимиров о судех» и «Суд Ярослава», в которых перечисляются преступления, подлежащие суду духовному, а не гражданскому. Об интересе митрополита Кирилла к церковному законодательству вообще см.: Соколов Пл. Русский архиерей из Византии, с. 159—192.

[120] На л. 478—480 Архивского сборника перед «Летописцем русских царей» (начинающимся на л. 481) находится статья «Начало царства Константина града греческаго», содержащая список византийских императоров до первой половины X в. Статья эта представляет собой конец распространенной редакции «Никифорова летописца вскоре». Помещение статьи из «Никифорова летописца вскоре» перед «Летописцем русских царей» не является случайным: в полном виде распространенная редакция «Никифорова летописца вскоре» читалась в протографе Архивского сборника. Это явствует из того, что начало распространенной редакции «Никифорова летописца» (обрывается на статье из Амартола «О Аврааме како позна искати бога») находится в сборнике XV в., принадлежавшем Никифорову (БАН, 45.11.16), и снова перед сохранившимся в нем началом «Летописца русских царей» (л. 211об.—225об.). Кроме того, между распространенной редакцией «Никифорова летописца вскоре» и «Летописцем русских царей» наблюдается тесная связь (см.: Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938, с. 121).

[121] В. О. Ключевский: биографический очерк, речи и пр. М., 1914, с. 67 (Диспут г. Ключевского).

[122] Там же, с. 63.

[123] Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития, с. 200 и след.

носится светская биография Александра Невского. . .».[124] Уточнение южнорусской литературной традиции как галицко-волынской было сделано Н. К. Гудзием: «Некоторые стилистические приемы, особенно наблюденные в Галицко-Волынской летописи, — пишет Н. К. Гудзий, — найдем и в памятнике Суздальской Руси — житии Александра Невского (ср., например, выражение «в силе тяжьце», встречающееся в житии и излюбленное в Галицко-Волынской летописи; или слова митрополита Кирилла при погребении Александра: «Чада моя, разумейте, яко уже зайде солнце земли Суждальскыя», близкие к словам «лепших людей володимирских», сказанным ими при погребении Владимира Васильковича, в свою очередь восходящим к словам плача по Мстиславе Ростиславиче в Киевской летописи)».[125]

Нам думается, что приведенные сопоставления и реальные исторические факты позволяют уточнить многие из наблюдений, сделанных исследователями (акад. А. С. Орловым, В. Мансиккой, Н. И. Серебрянским, Н. К. Гудзием и др.). По-видимому, прав Н. Серебрянский, предполагая в основе жития Александра светское жизнеописание. Правы также и те, кто указывали на южнорусскую литературную традицию в житии Александра. Эта южнорусская литературная традиция должна быть уточнена как галицкая: светское жизнеописание Александра Невского продолжало литературную традицию, отложившуюся в светском же жизнеописании Даниила Галицкого.

1947

---

[124] Орлов А. С. Курс лекций по истории древней русской литературы. 2-е изд. М.; Л., 1939, с. 127.

[125] История русской литературы: В 10-ти т. М.; Л., 1945, т. 2, ч. 1, с. 32.

«СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ» И «ШЕСТОДНЕВ» ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО

Любовь к родине одним из важнейших проявлений своих имеет любовь к природе родной страны. Не случайно поэтому «Слово о погибели Русской земли» начинается с описания русской природы. В этом описании одни исследователи пытаются усмотреть пейзаж северо-запада Руси — Новгородской области, другие — пейзаж ее северо-востока — Владимиро-Суздальской Руси, третьи — пейзаж Киевского юга.

Типична в этом отношении интерпретация русского пейзажа «Слова» А. В. Соловьевым. Он пишет: «Картина природы в „Слове о погибели" очень последовательна: она начинается со „многих озер", за ними следуют реки и кладези-источники, затем крутые горы, высокие холмы, всюду частые дубравы и дивные, плодородные поля. Это скорее северный пейзаж озерной полосы, где с холмов сбегают истоки рек, где среди березовых и хвойных лесов стоят кладези, блестит гладь озер и ширь полей, та страна, где встречают Весну счастливые берендеи Островского, т. е. жители Суздальской области».[1]

Эта попытка интерпретации пейзажа «Слова о погибели» дает возможность показать принципиальное отличие пейзажей в древнерусской литературе от литературных пейзажей нового времени. А. В. Соловьев вполне откровенно имеет в виду «Снегурочку» Островского, но не «Слово о погибели». Древнерусские произведения не могут говорить о «глади» озер (тем более — о блеске этих гладей), ни о сбегающих истоках рек, и совершенно ничего общего не имеют они с восторгами счастливых берендеев. Русская литература XIX в. создала свой «оперный» трафарет в изображении древней Руси, ее истории, людей и природы, оказывающий непреоборимое влияние даже на весьма тонких знатоков древнерусской истории и литературы.

В самом деле, различие в изображении природы между новой русской литературой и древней очень велико. Пейзаж в новой литературе носит «портретный» характер, в нем отмечаются индивидуальные, характерные только для той или иной местности черты. «Пейзажист» смотрит пристально и с небольшого расстояния: он замечает и блеск водной глади, он видит, как поставлены «кладези», может определить породы деревьев. Писатель-пейзажист стремится увидеть реальную картину природы, дать ее описание как бы из одной неподвижной видовой точки, создать перед читателем иллюзию реального ви́дения. Иллюзионизм — так можно было бы определить принципы изображения пейзажей

---

[1] Соловьев А. В. Заметки к «Слову о погибели Рускыя земли». — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 15, с. 79—80.

в литературе нового времени. Древнерусская литература выражает иное отношение к природе: либо природа изображается в движении как участница событий человеческой жизни; либо превозносится как проявление божественной мудрости. При этом она никогда не является самодовлеющим центром описания. В первом случае говорится только о тех ее действиях, которые оказывают прямое или косвенное (как приметы, предзнаменования) воздействие на судьбу человека, — о засухе, о грозе, о землетрясении, о появлении комет и «знамений» на солнце, о падении звезд и пр. Во втором случае — это философические размышления о мудрости божественного мироустройства.

А. В. Соловьев справедливо относит «Слово о погибели Русской земли» к одному из самых ранних в европейской литературе описаний и прославлений своей родины. У автора «Слова о погибели» не было предшественников в такого рода прославлении. В Повести временных лет описываются географические пределы Русской земли. В «Слове о полку Игореве» есть описания действий природы, на основе которых читатель нового времени составляет свои представления о пейзажах, где развивалось действие «Слова о полку Игореве». «Пейзажи» «Слова о полку Игореве» — это плоды нашего воображения, действующего под влиянием воспитанной на литературе нового времени потребности «видеть» то, что описывается в литературном произведении.[2]

Отсюда ясно, что «Слово о погибели Русской земли» не имело предшественников в изображении картины Русской земли. Но то, что оно не имело предшественников, не означает, что у него не было образцов. Свои образцы «Слово о погибели» находило в близких по времени произведениях, творчески их перерабатывая.

Так, например, то, что говорится в «Слове о погибели» о могуществе Русской земли, автор «Слова» мог найти в некрологических статьях, посвященных прославлению того или иного русского князя. То же, что говорится в «Слове» о русской природе, автор в известной мере заимствовал из «Шестоднева» Иоанна Экзарха Болгарского.

«Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского — один из самых поэтических памятников мировой литературы — оказал огромное влияние на всю русскую литературу XI—XVII вв. Восхищение мирозданием захватывало, заражало, властно подчиняло себе не одного русского писателя, воспитывало любовь к природе и ко всему живущему.

Художественный метод описания Русской земли в «Слове о погибели» тот же, что и в «Шестодневе»: это восхищение «мудростью», «разумностью» и красотой мироустройства — в данном случае

---

[2] А. С. Орлов на основании «Слова о полку Игореве» и отчасти Ипатьевской летописи воссоздал замечательный пейзаж дикой степи XI в., но этот пейзаж только потенциально заложен в «Слове» и в летописи: специально пейзажных зарисовок ни то, ни другое произведение не знает (Орлов А. С. Слово о полку Игореве. М.; Л., 1938, с. 12—14).

не всего мира, а Русской земли. Описание ведется путем перечисления главных ее объектов: гор, холмов, дубрав, полей, рек, кладезей, зверей, птиц, а затем — творений рук человеческих: городов, сел, «виноградов» (садов), домов. Объекты эти те же, что и в «Шестодневе», и порядок, в котором они перечисляются, часто совпадает с порядком их перечисления в «Шестодневе». Так, например, в «Шестодневе» говорится, что бог разделил воды «и на морѣ, и на рѣкы, и на источникы, и на езера, и на кладезе»,[3] далее в перечислении даров книжного учения соблюден тот же порядок: «рѣкы и езера, и источници, и кладези».[4] Не случайно, думается, «Слово о погибели» перечисляет те же объекты: «И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми удивлена еси, рѣками и кладязьми мѣсточестьными». Следовательно, кладези, реки и озера отнюдь не являются принадлежностью какого-либо определенного русского пейзажа — северного или южного. То же самое нельзя сказать и о садах («виноградах»), горах и дубравах, упоминаемых в «Слове»; ср. в «Шестодневе»: «Кого ли ради и земля садом и дубравами и цвѣтомь утворена и горами увяста» (л. 1). Совпадает и терминология описаний: «украшено» (л. 1), «красотами» (л. 65 об.), «удобри» (л. 65 об.), «ухытри» (л. 65 об.), «исплънены» (л. 1 об.). Ср., например: земля «украшена же бысть абие и различными цвѣтци садовы и бечисмеными трѣвами. Таче потомъ оутворено бысть и небо великыима свѣтилома и всѣхъ звѣздь добротами» (л. 160 об.).

Эпитеты, которые прилагаются к перечисленным объектам, носят не конкретизирующий, а идеализирующий характер: они подчеркивают их главные, основные свойства: горы — крутые, холмы — высокие, дубравы — частые (т. е. густые), звери — различные, птицы — бесчисленные, города — великие, села — дивные, «винограды» (сады) — «обителные» (т. е. принадлежащие обителям, обиталищам, иными словами — возделанные, незаброшенные), князья — «грозные», бояре — «честные» (окруженные почестями), вельможи — «многие» и пр. Особенно характерны для «Шестоднева» эпитеты «бесчисленные» (а также «бескрайнии», «неизглаголемые»), «многие» и «различные» — это эпитеты, в которых точнее всего раскрывается основная идея «Шестоднева» — восхищение разнообразием мира, неповторимостью отдельных его объектов, их многочисленностью: «всу тварь *разьличными* добротами ухытри» (л. 65 об.), «птице, еже *бечисмене*» (л. 5 об.), «*бечисмене* рѣкы» (л. 3 об.), «пучинами же *безмѣрными* одѣвши се и *бечисменным* и полияна» (л. 61), «*бечименными* рѣками» (л. 61) и т. д.

---

[3] Шестоднев, составленный Иоанном Ексархом Болгарским, по харатейному списку Московской Синодальной библиотеки 1263 года. М., 1879, л. 149. — Ниже «Слово» цитируется по реконструкции в кн.: Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965, с. 182—184.

[4] Шестоднев, составленный Иоанном Ексархом Болгарским. . ., л. 235 (далее листы обозначены в тексте).

Автор «Шестоднева» рассматривает мироздание как некий ковчег, дом, наполненный («исполненный») и «удйвленный» рачительным хозяином всевозможными «красотами». Те же термины видим мы и в «Слове о погибели»: «И многыми красотами удйвлена еси»; «. . .всего еси испольнена, земля Руськая».

Однако между «Словом о погибели» и «Шестодневом» имеются и серьезные различия: автор «Слова» ни разу не говорит о творце всего сущего. Он восхищается не творцом, а самим творением. Творение это — не весь мир, а только его часть — Русская земля, и соответственно этому в «Слове» не говорится о том, что не имеет к ней отношения, — о солнце, месяце, звездах, ни о море (море упоминается, но не как часть Русской земли), о чем так много говорится в «Шестодневе». Наконец, еще одно отличие и, может быть, самое любопытное: в «Слове о погибели» гораздо чаще употребляются эпитеты. Именно в эпитетах, думается, больше всего сказывается связь «Слова» с народной поэзией — связь, особенно многозначительная для произведения, посвященного прославлению родины: «О свѣтло-свѣтлая и украсно украшена земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми удивлена еси, рѣками и кладязьми мѣсточестьными, горами крутыми, холми высокыми, дубровами частыми, польми дивными, звѣрьми разноличьными, птицами бещислеными, городы великыми, селы дивными, винограды обителными, домы церковьными, и князьми грозными, бояры честными, вельможами многами!» А далее: «тоймичи погании», море «дышючее», «каменыи городы», «синее море», «великыя дары» . . .

1966

К ВОПРОСУ О СУДЬБЕ РУКОПИСИ ИЗБОРНИКА 1073 г. в XIV в.

Для реконструкции текста сборника болгарского царя Симеона, послужившего протографом для Изборника Святослава 1073 г., необходимо полное текстологическое сличение между собой всех сохранившихся рукописей того же состава и выяснение всех фактов их внешней истории, в первую очередь древнейшей из рукописей — известного Изборника Святослава 1073 г.

До сего времени мы знаем о внешней истории рукописи Изборника 1073 г. только то, что она была найдена К. Ф. Калайдовичем во время его первой археографической поездки в 1817—1818 гг. в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, куда, как известно, особенно щедро жертвовал древние рукописи патриарх Никон. Однако кое-какие указания на свою судьбу может дать и сама рукопись Изборника 1073 г. На л. 122 об. читается в ней следующая приписка, сделанная почерком, отличным от остальной рукописи: «Благовѣрный и христолюбивый и священый епископъ Дионисий, первое болшимь бысть долженъ штое».[1]

В наиболее полном и авторитетном описании Изборника 1073 г., сделанном А. Горским и К. Невоструевым, об этой приписке говорится: «Проба пера, сделанная писцом XII или XIII вв.».[2] Прежде всего следует сказать, что перед нами вряд ли «проба пера»: приписка сделана аккуратным почерком; первая буква «Б» выведена инициалом. Рукопись Изборника парадная, и она не могла быть использована для пробы пера писца какой-то другой рукописи. Далее, может быть подвергнуто сомнению утверждение А. Горского и К. Невоструева, что приписка сделана почерком XII—XIII вв. Писец приписки стремился подражать почерку основного текста того же листа. Он сделал контурный инициал «Б», сходный с рисунком концовки на той же странице и с другими «малыми» инициалами рукописи в целом, стремился выдержать размеры столбца, к которому он присоединил свою приписку, и подражал в написании отдельных букв. Именно этим и следует объяснить архаический характер почерка приписки. Тем не менее поздние элементы вкрались в его почерк: в написание омеги, букв «есть», «рцы», «хер» (последние две буквы пишутся с перечеркнутыми мачтами) и некоторых других. Приписка вполне могла быть сделана в XIV или даже в XV в.

Обратимся к анализу приписки по содержанию. Приписка не закончена. Загадочным остается последнее ее слово. Однако то, что в ней имеется, весьма любопытно. Кто этот «христолюбивый и священый» епископ Дионисий, который «бо́лшимь бысть

---

[1] Привожу текст приписки с раскрытием титлов.

[2] Горский А., Невоструев К. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отдел второй. Писания святых отцев. 2. Писания догматические и духовно-нравственные. М., 1859, с. 374.

долженъ»? Из известных нам русских епископов до XV в. включительно единственный Дионисий — это тот самый епископ Дионисий Суздальский и Нижегородский, о котором говорится в другой, более известной приписке к знаменитой Лаврентьевской летописи 1377 г. При этом и в приписке к Изборнику 1073 г., и в приписке к Лаврентьевской летописи 1377 г. одинаково говорится о нем как о «христолюбивом» и «священом».[3]

Дионисий был киево-печерским монахом, затем архимандритом нижегородского Печерского монастыря. После этого он был поставлен епископом Суздаля и энергично добивался в 1377 г. возвращения Суздальской епископии Нижнего и Городца. К этому времени в связи с притязаниями нижегородского князя Дмитрия Константиновича на титул великого князя относится, как это показал В. Л. Комарович,[4] написание Лаврентьевской летописи. В 1381 г. Дионисий ездил в Константинополь, где добивался признания Суздальской епархии второй (после Новгородской) архиепископией Руси. К лету 1381 г. Дионисий выслал из Константинополя две иконы Одигитрии для кафедральных соборов Суздаля и Нижнего Новгорода.[5]

В 1382 г. Дионисий с торжеством вернулся из Константинополя, получив архиепископию и вывезя оттуда много церковных ценностей, которые должны были подкрепить авторитет новой русской архиепископии. В летописи сообщалось об этом событии так: «Тое же зимы прииде изъ Царяграда на Русскую землю Дионисий, епископъ Суждальскый, а въ Суждаль приеха мѣсяца генваря въ 6 день и воду крестилъ на Богоявление, а исправилъ себѣ архиепископью, и благослови его вселеньскый патриархъ Нилъ и великая съборная апостольская церковь, и весь священьскый вселеньскый съборъ, повелѣ е зватися и быти архиепископомъ въ Суждалѣ и въ Нижнемъ Новѣгородѣ и на Городцѣ, и по немъ пребыти сущим въ тыхъ дѣлѣхъ такоже и инымъ епископомъ; еще вда ему патриархъ и вселеньскый съборъ фелонь съ четырми кресты, а стихарь съ источникы; еще же вынесе из Царягорода и Страсти Спасовы и мощи многыхъ святыхъ».[6]

Упомянутые в летописи «Страсти Спасовы» были включены в серебряный реликварий. Этот реликварий был обнаружен московскими воеводами через 18 лет, в 1401 г., замурованным в стене Суздальского собора. Он также заключал надпись с упоминанием Дионисия и великого князя нижегородского Дмитрия Константиновича, по повелению которого и был сделан реликварий «в честь

---

[3] Лаврентий сообщает в своей приписке, что он пишет «и при епископѣ христолюбивѣмъ священномъ Дионисьѣ». См.: ПСРЛ, 2-е изд., Л., 1927, т. 1, вып. 2, с. 487—488.

[4] История русской литературы: В 10-ти т. М.; Л., 1945, т. 2, ч. 1, с. 90—96.

[5] Симеоновская летопись. — ПСРЛ, СПб., 1913, т. 18, с. 131.

[6] Там же, с. 134.

и славу святемъ страстемъ Христовымъ, в лѣто 6 ное 8 сотъ 91 е индикта въ 6 тъ» (т. е. в 1383 г. н. э.).[7]

Все эти иконы, реликварий, мощи святых, книги с надписями на них должны были укрепить церковный авторитет Нижегородской архиепископии, Нижегородского великого княжения, архиепископа Дионисия и его князя Дмитрия Константиновича.

В 1383 г. Дионисий вторично ездил в Константинополь. Из Константинополя Дионисий направился в Киев, но был арестован киевским князем Владимиром Ольгердовичем и умер в 1383 г.

Ко времени управления Дионисием Суздальско-Нижегородской епархией относится подъем культурной жизни в Нижнем. Князь Дмитрий Константинович строит в Нижнем храмы. В Нижнем работает Феофан Грек. Не случайно, думается, сподвижник Андрея Рублева старец Прохор происходил из нижегородского Городца. Сам Дионисий был высокообразованным человеком, хорошо знал греческий язык. В Константинополе он произвел хорошее впечатление своей образованностью, знанием богословия и церковных канонов.[8] Дионисий был близок с Павлом Высоким, проживавшим в Нижегородском Печерском монастыре и устроившим здесь нечто вроде лекций.[9]

Приписка в Изборнике 1073 г. могла быть сделана во время первой поездки Дионисия в Константинополь в 1381 г. или непосредственно перед ней. Только тогда Дионисий мог быть назван «епископом», а не «архиепископом», каковым он стал по возвращении. Слова «большим бысть долженъ», очевидно, относились к ясно выраженной цели этой первой поездки в Константинополь: добиться архиепископии для своей епархии и быть признанным архиепископом.

Итак, при епископе Дионисии Изборник Святослава 1073 г. находился в Суздальско-Нижегородской епархии. Едва ли не сам Дионисий, бывший киево-печерским монахом в молодости и знавший киевские книжные ценности, привез его к себе из Киева.

1976

---

[7] Реликварий хранился впоследствии в ризнице Благовещенского собора в Московском Кремле. Надпись издана: Орлов А. С. Библиография русских надписей XI—XV вв. М.; Л., 1952, с. 94.

[8] См. об этом: Соколов Пл. Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV века. Киев, 1913, с. 520 и др.

[9] Симеоновская летопись, с. 134.

ПОВЕСТЬ «О ВЗЯТИИ ГРАДА ТОРЖЬКУ» И ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРЕВОД «ИСТОРИИ ИУДЕЙСКОЙ ВОЙНЫ»

Древнерусский перевод «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, как известно, пользовался в древней русской литературе очень большой популярностью. Несмотря на то что дошедшие до нас рукописи «Истории» сравнительно поздние (самая древняя относится к середине XV в.[1]), древнерусские литературные произведения и летописи содержат довольно много свидетельств о знакомстве их авторов с «Историей». Компетентный исследователь древнерусского перевода Н. А. Мещерский приводит полную сводку всех ставших известными ко времени его исследования (1958 г.) заимствований из «Истории» в древнерусских памятниках.[2]

От внимания исследователя ускользнуло, однако, одно место в Рогожском летописце под 1372 г. в повести «О взятии града Торжьку». В заключительном поучении к этой повести говорится: «Разумѣите же, братіе, силу Божію и разгнѣваніе Божіе, якоже бысть в прежняя лѣта, на градѣ Иерусалимѣ. А которыи сице бысть так твердъ градъ или селико людіи имѣя, или толь храбры, нѣсть бо на свѣтѣ толь силна града и толь крѣпка, якоже Иерусалимъ былъ, бяшеть бо около его 4 стѣны камены и сице храбри быша въ немъ: единъ на сто муж выхожашет и без раны вхожашет въ градъ. Единою же, егда Титъ оступилъ бяшет градъ, 7 улиць просѣкоша сквозѣ полкы, даже до самаго Тита, и возвратишася неврѣжени. И въ второе лѣто Титъ поплѣни градъ Иерусалимъ и опусти его 60 лѣтъ, разумѣите же силу ихъ, аще быша и горами ворочали, и без Божіа помощи, то ничто же успѣетъ».[3] Тот же текст, но несколько сокращенный имеется и в так называемом Тверском сборнике.[4]

Данные истории летописания позволяют относить рассказ «О взятии града Торжьку» ко времени вскоре после событий.[5]

Несмотря на то что автор рассказа «О взятии града Торжьку» излагает события по памяти весьма неточно, можно думать, что он был знаком с ними по статье «О взятии Иерусалиму третье,

---

[1] ГБЛ, Музейное собр., № 3271. Список неполный, сохранил лишь части текста книг V и VI.

[2] Мещерский Н. А. «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958, с. 97—115.

[3] Рогожский летописец. — ПСРЛ, 2-е изд., Пг., 1922, т. 15, вып. 1, стб. 103.

[4] Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. — ПСРЛ, СПб., 1863, т. 15, стб. 432—433.

[5] О Тверской летописи см.: Лихачев Д. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947, с. 459 (в пределах до 1375 г. в Рогожском летописце можно видеть сокращение современной ведшейся Тверской летописи).

Титово», включенной в обширнейший «Еллинский и римский летописец» второй редакции.[6] Эта статья представляет собой перевод VI книги «Иосиппона».[7] Почему мы можем думать, что автор рассказа «О взятии града Торжьку» знал о событиях пленения Иерусалима именно из этой статьи? Основание тому — его рассуждения о четырех стенах Иерусалима. Только в статье «О взятии Иерусалима» изложение делится на разделы, каждый из которых посвящен взятию одной из стен. Всего стены три, но римляне, овладев тремя стенами, неожиданно оказались перед четвертой — новой, возведенной осажденными. В обычных переводах «Иудейской войны» количество стен вокруг осажденного Иерусалима не акцентировано.

Последнее, на что следует обратить внимание в этом пассаже о взятии Иерусалима, — это то, что о нем говорится по памяти с известной долей фольклоризации. Особенно характерно для этой фольклоризации упоминание семи храбрых, выходивших по одному против ста врагов и просекавших улицы через полки. Образ богатыря, просекающего улицы и переулки в толпе окружающих его врагов, очень характерен для былин.

«Куда ни махнет — тут и улицы лежат,
Куды отвернет — с переулками».[8]

«В которую сторону махнет — улица».[9]

«А он стал как силы с крайчика потаптывать,
Как куда проедет — падет улицмы,
Перевернется — дак переулками».[10]

Если мы просмотрим все случаи заимствований в памятниках древней русской литературы из древнерусского перевода «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, мы должны обратить внимание на одну характерную особенность: подавляющее большинство из них сделано по памяти и носит характерные черты фольклоризации. Указанный нами рассказ «О взятии града Торжьку» дает возможность ярко ощутить эту черту, присущую и другим отражениям древнерусского перевода «Истории Иудейской войны». Черта эта свидетельствует о широкой популярности этого произведения и о том, что оно постоянно вспоминалось в случаях военных поражений, разорений городов и народных бедствий.

1971

---

[6] Еллинский летописец, к сожалению, до сих пор не издан. О нем см.: Лихачев Д. Еллинский летописец второго вида и правительственные круги Москвы конца XV в. — ТОДРЛ, М.; Л., 1948, т. 6, с. 100—110.

[7] О древнерусском переводе «Иосиппона» см.: Мещерский Н. А. К вопросу об источниках Повести временных лет. — ТОДРЛ, М.; Л., 1957, т. 13, с. 57—65.

[8] Илья Муромец / Подгот. текстов, ст. и коммент. А. М. Астаховой. М.; Л., 1958, с. 82.

[9] Там же, с. 91.

[10] Там же, с. 105.

ПОВЕСТИ О НИКОЛЕ ЗАРАЗСКОМ

Цикл повестей о Николе Заразском принадлежит к выдающимся явлениям древней русской литературы. По своему составу цикл этот неоднороден. Отдельные его части составлены разными авторами, дополнялись, изменялись и корректировались, разрастались новыми эпизодами, новыми повествованиями о событиях, связанных с иконой Николы Заразского. Внешняя история этого цикла во многом напоминает собою движение и развитие летописных сводов. Цикл этот и в самом деле заключает в себе много летописного, кое в чем отражая и летописные стилистические трафареты («В лето 6730», «В лето 6733», «В лето 6745» и др.). Он носит характер свода — в данном случае свода различных рязанских повестей, разновременно слившихся и разновременно связанных с иконою Николы Заразского. Все вместе эти повести и составляли, очевидно, ту «летописную книгу», по «рассмотрении» которой в 1665 г. князь Никита Григорьевич Гагарин поставил три каменных креста на месте предполагаемых могил Федора, Евпраксии и Ивана.[1] Такой оригинальный характер свода, или летописца, имел не один только цикл повестей о Николе Заразском. Можно привести в пример аналогичные своды повестей и житий: «Соловецкий летописец», «Китежский летописец», исследованный В. Л. Комаровичем,[2] различные сибирские «летописи» (по существу — своды повествовательного исторического материала); в составе таких же сводов дошли до нас в рукописях и многие другие местные повести — новгородские, муромские и т. д. Этот принцип подбора повествовательного исторического материала в своды, по местному или какому-либо другому объединяющему принципу, составляет важную особенность древнерусского литературного сознания и требует внимательного изучения в его соотнесении с аналогичной организацией исторического материала в летописных сводах, в сводах хронографических и патериках.

Вместе с этим следует отметить, что литературную историю тех или иных повестей, входящих в какой-либо местный свод, ни в коем случае нельзя изучать вне общей литературной истории этого свода. Меняется не одна какая-либо повесть, меняется весь свод в целом, в зависимости от задач, которые ставятся в ту или иную эпоху, в той или иной социальной среде сознательно или стихийно, всему своду в целом. Это положение принципиально важно при публикации повестей, и оно вызывает необходимость при научном издании текстов повестей о Николе Заразском публиковать их все, в том числе и те, которые имеют относительно меньшую ценность.

---

[1] Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных / Сост. И. Добролюбов. Зарайск, 1884, т. 1, с. 163.

[2] Комарович В. Л. Китежская легенда. М.; Л., 1936.

Свод заразских повестей по своему составу весьма разнотипичен и неравноценен: местная легенда сочетается в нем с воинской повестью, литературная переработка эпических сказаний — с типичным рассказом о чуде от иконы. Центральная воинская повесть этого заразского свода, по единодушному мнению исследователей древней русской литературы, принадлежит к лучшим после «Слова о полку Игореве» произведениям древней русской литературы. Последняя из повестей этого цикла, наоборот, — одно из самых трафаретных церковных чудес.

Различно и время создания отдельных повестей. Центральные воинские части этого цикла в основе своей несомненно принадлежат первой половине XIV в., последняя же из повестей относится к середине XVI в.

Точно так же весьма различно и отношение отдельных частей цикла к самой иконе Николы. В Заразске (а впоследствии и в Коломне) были соединены в местный цикл различные по происхождению повести: и те, которые имели узко местное значение, и те, которые имели значение общерусское. Местные интересы сказываются только в церковной части цикла и в самом факте объединения отдельных повестей по «местному» принципу. Первая повесть и последний рассказ о «коломенском чуде» прямо посвящены иконе и ее служителям; воинские же повести — лучшие в этом цикле — имеют к этой иконе весьма отдаленное отношение. Они не могли быть созданы при церкви Николы ее служителями; они только были включены в заразский цикл, переписывались и переделывались в его составе. Именно этим и объясняется то большое общерусское значение этого заразского цикла, которое явственно чувствуется уже в начале XV в. (см. ниже о влиянии этих повестей на московский свод 1418 г.).

Локальный, местный характер цикла повестей о Николе Заразском особенно резко выступает в родословии служителей при церкви Николы, которое читаем во многих списках этого цикла. Это родословие, различно заканчивающееся в различных редакциях цикла, важно также и для определения хронологии отдельных этапов в развитии повестей. Последние его этапы отмечены в родословии как «335 лет по пренесении» иконы, т. е. 1561 г., или «389 лет», как те попы служили «непременно», т. е. 1615 г. Однако после этого родословие служителей Николы Заразского не продолжалось, хотя род Евставия Корсунского отнюдь не иссяк.[3] Объясняется это, несомненно, тем, что цикл повестей о Ни-

[3] «Вероятно, род их (служителей Николы. — *Д. Л.*) продолжался и после того, что видно из синодика Николорадовицкого монастыря (в 60 верстах от Зарайска), составленного в половине XVII в.: „Род протопопа Зарайскаго города Никиты Семенова сына, через Иосифа схимника, протопопа Никиты, монаха Саватия Корсунского“» (Б о ч а р н и к о в С. Зарайск. М., 1865, с. 22—23, примеч. Ср. также: Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии, т. 1, с. 167. И. Добролюбов здесь же, между прочим, отмечает, что последний из перечисленных в родословии служителей — Иван — упомянут в документах под 1560 и 1578 гг.). М. Баранович

коле Заразском во второй половине XVI в. перестает вовсе развиваться как местный цикл и все решительнее вступает на путь общерусского развития. История текста повестей о Николе Заразском в XVII в. свидетельствует не об областном, местном, а об общерусском этапе его развития. Заключительная повесть цикла о Николе Заразском, так называемое «коломенское чудо», относится к событиям 1522 (набег крымцев)—1531 (построение каменной стены в Заразске) годов и связано также с иконою Николы Заразского и с действующими в этом цикле служителями этой иконы. В дальнейшем события Смутного времени затронули и Заразск, и самый культ иконы Николы Заразского, и одного из служителей этой иконы, но в цикле повестей о Николе они не отразились.[4] Перестав дополняться местными легендами, местными произведениями, цикл Николы Заразского в различных переработках начинает дифференцироваться по своему составу: в некоторых переработках выделяются лишь церковные части этого цикла, подвергающиеся дальнейшему оцерковлению, в других переработках выделяются по преимуществу воинские эпизоды, подвергающиеся сближению с национальным эпосом. Оторвавшись от своих «местных» корней и перестав наращиваться дополнительными эпизодами и вставками, текст повестей в то же время обнаруживает в XVII в. удивительную живучесть в различной социальной среде, подвергается множеству переработок, переписывается в большом числе экземпляров и распространяется в различных областях. Он отражает типичную для XVII в. социальную дифференциацию литературы, а также дифференциацию ее на светскую и церковную, при которой одни и те же произведения в светской среде освобождались от элементов церковности, а в церковной среде становились еще более церковными. Особенно обильными были в XVII в. переработки повестей о Николе в духе сближения с фольклором. Важно при этом отметить, что переработки XVII в. текста в духе фольклора основываются в первую очередь на жанровых сближениях литературы устной и письменной: воинские эпизоды повести подвергаются некоторой переработке, сближающей их с былинной традицией, а в плаче Ингоря Ингоревича ощущается воздействие народных причетей.

* * *

В цикле повестей о Николе Заразском, несомненно, чувствуется древняя, весьма близкая по времени возникновения к изображаемым событиям основа. В цикле отображены отдельные исто-

---

утверждает: «. . .и теперь еще жители (Зарайска. — *Д. Л.*) показывают место, называемое Корсаковскою горою, где были его (рода священников корсунских. — *Д. Л.*) жилища» (Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Рязанская губерния / Сост. М. Баранович. СПб., 1860).

[4] К 1608 г. относится украшение иконы Василием Шуйским, к 1610 г. — подвиги протопопа Дмитрия вместе с Пожарским и т. д.

рические факты, в летописи не зарегистрированные. В нем иначе, а частично и полнее, чем в летописи, представлен род рязанских князей. В нем сохранена старая, домонгольская еще, воинская дружинная фразеология (особенно в обращениях рязанского князя Юрия Ингоревича к своей дружине). В похвале доблестям рязанских князей отмечены весьма архаические качества («к боярам ласковы», «на пирование тщивы, до осподарьских потех охочи», «ко греческим царем велику любовь имуща, и дары у них многи взимающа», «а с погаными половцы часто бьяшася за святыа церкви и православную веру», «и ласкою своею многих от неверных царей и детей их и братию к собе приимаста и на веру истиную обращаста»).[5] Следует отметить также неоднократно обращавшую на себя внимание архаическую лексику повести.[6]

В основе своей текст цикла повестей о Николе Заразском независимо от какой-либо из дошедших до нас летописей и дает много отличного от летописей нового материала. Отметим, например, отличающееся от летописного родословие рязанских князей. Попытки разобраться в генеалогии рязанских князей в повестях о Николе Заразском[7] пока что не привели к общепризнанным результатам. Объясняется это, очевидно, тем, что исследователи подходили к сведениям этих повестей без учета их эпического происхождения. Между тем в основе генеалогии рязанских князей в повестях о Николе Заразском можно усматривать характерное для художественной литературы переосмысление родственных отношений, вызванное желанием создать свои, отвечающие литературным требованиям генеалогические комбинации с целью подчеркнуть трагизм событий. Среди сыновей рязанского князя Ингваря Ингоревича летопись называет только Юрия Ингваревича (действующее лицо третьей повести). Восстанавливающий разоренную Рязань князь Ингварь Ингоревич в летописях не известен. Н. М. Карамзин считал Ингваря Ингоревича[8] внуком

---

[5] Имеются в виду аманаты, бравшиеся русскими князьями у половцев. Институт этот с нашествием Батыя исчез.

[6] Не могу, впрочем, согласиться с В. Л. Комаровичем, усматривавшим особый архаизм в слове «насочи» основной редакции *А* (Китежская легенда, с. 67). Слово это действительно встречается в весьма древних памятниках: у Иосифа Флавия (по изд. Istrin V. La prise de Jérusalem de Josèphe le Juif. Paris, 1934, t. 1, p. 228 и 230), в Прологе XIII в. (БАН, 4.9.20, л. 182), в Прологе XIV в. (БАН, 17.11.4, л. 293); однако наряду с этим — в Летописи Авраамки (ПСРЛ, т. 16, с. 190, под 1446 г.), в Псковской судной грамоте (Псковская судная грамота / Новый перевод и коммент. Л. В. Черепнина и А. И. Яковлева. — Исторические записки, 1940, № 6, с. 287), а также в Великих четьях минеях (М., 1904, декабрь, дни 6—17, стб. 1112).

[7] Карамзин Н. М. История Государства Российского. СПб., 1816, т. 3, гл. VIII; Экземплярский А. В. Великие удельные князья Северной Руси. СПб., 1891, т. 2, с. 570—572; Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. СПб., 1858; Пресняков А. Е. Образование великорусского государства. Пг., 1918, с. 225—226.

[8] Карамзин Н. М. История Государства Российского, т. 3, гл. VIII, примеч. 358.

Игоря Глебовича — следовательно, сыном Юрьева брата (то же — Д. Иловайский, А. Экземплярский, А. Пресняков), но в самой повести Ингварь назван не племянником, а братом Юрия (Ингварь находит «матерь свою» Агриппину Ростиславовну, она же, по повести, — и мать Юрия). По повести, к «братии» Юрия Ингоревича, кроме Ингваря, относятся также Давид Муромский и Глеб Коломенский (не известен больше ниоткуда и в древнейшей редакции не встречается), Кир Михайло Пронский (на самом деле двоюродный брат Юрия) и Олег Красный. Последний, по-видимому, в действительности не брат, а племянник Юрия — сын Ингваря, упоминаемый в летописях под 1252 и 1258 гг. Эпизод с Олегом Красным во второй повести носит характер вставки (он вступает в различные отношения с основным текстом в редакциях основной *А* и основной *Б*), сделанной на основании устных легенд, смешавших его с другим племянником Юрия — Романом. На самом деле Олег Ингваревич возвратился из Орды «на свою отчину» в 1252 г. и умер в 1258 г. (см. Лавр., Симеон., Воскрес. и Никон. летописи). Между тем сын Олега Ингваревича Рязанского князь Роман был замучен в Орде в 1270 г., и Симеоновская летопись сравнивает его мучение с мучениями Иакова Перского — того самого святого, житие которого отчасти послужило образцом и для описания мученической кончины Олега Красного в повести. Таким образом, мы наблюдаем в цикле отчетливое стремление сблизить и упростить родственные отношения действующих лиц.

Из других «эпических» неточностей повестей о Николе Заразском назовем и такую: князь Игорь Глебович (сын Глеба Ростиславича Рязанского) назван Игорем Святославичем Черниговским; рязанские князья называются внуками великого князя Святослава Ольговича Черниговского (и Киевского — отца Игоря Святославича). В этом странном искажении генеалогии рязанских князей можно отчасти подозревать какое-то стремление возвести генеалогию рязанских князей к герою «Слова о полку Игореве».

Позднейшие наслоения и вставки в текст повестей разнообразны: они шли и от риторических произведений конца XIV—XV вв., и от местных легенд. Так, например, эпизод с пестуном князя Федора — Апоницей [9] — возможно, местная легенда. Во всяком случае автор брошюры «Чудотворный образ святителя Христова и чудотворца Николая Зарайского» (М., 1860) связывает имя Апоницы с селением «Апоничищи» Зарайского уезда.

Повести о Николе Заразском интересны и в их постоянных взаимодействиях с летописью и с хронографом.

Между прочим, колебания первой повести, описывающей перенос иконы на Рязань, в определении той церкви в Корсуни, в которой крестился Владимир, — то как церкви Иакова, то как

---

[9] В некоторых поздних списках переосмыслен как «Аполоница».

церкви Василия — отражают аналогичные колебания и в летописи. Так, например, по Ипатьевской летописи, Владимир крестился в церкви Софии; по Лаврентьевской — в церкви Василия, по Новгородской I (отражающей древнейшую из дошедших версий Начальной летописи) — в церкви «св. Василиска». Радзивиловская заменяет церковь Василия церковью Богородицы. В Новгородской IV, Софийской I, Воскресенской, Хронографе и других, восходящих к Полихрону Фотия (1423 или 1418 г.), церковь, в которой крестился Владимир, определена как церковь Иакова согласно с житиями Владимира, также называющими церковь Иакова. Летописные определения церкви, где крестился Владимир, как церкви Василиска — весьма возможно, результат ошибочного чтения греческого слова τὸ βασιλικόν (базилика — церковь). Чтение «св. Василия» — может быть, результат дальнейшего искажения. Первоначальным в первой повести о Николе Заразском следует, очевидно, считать наиболее близкий к древнейшей летописи вариант с церковью Василия, так как в летописях этого типа Владимир исцеляется от слепоты — так же как и в повести. В житии же Владимира, в котором он получает крещение в церкви Иакова (отсюда церковь Иакова и в Полихроне Фотия), он исцеляется от «язвы», в повести не упоминаемой. В перемене некоторыми редакциями первой повести церкви Василия на церковь Иакова, несомненно, сказалось знакомство с Русским Хронографом, явственно ощущаемое и в ряде других случаев. В частности, к тому же воздействию Русского Хронографа следует отнести и колебание списков между наименованиями «Корсунь» и «Херсунь». Сербская форма «Херсунь» проникла в некоторые из поздних русских летописей из того же Русского Хронографа, являясь одним из типичных для него сербизмов (ср. также в некоторых списках повести «Светослав»). Специальная «хронографическая» редакция повести имеет еще больше следов влияния Хронографа (ср., например, «на реке на Онозе», Батый — «молнийная стрела», согласно с включенным в Русский Хронограф сербским житием Стефана Лазаревича, составленным в 1431 г.). Требует особого исследования происхождение совпадения второй повести, описывающей разорение Батыем Рязани, с одним из известий наших поздних летописей: в Никоновской и в некоторых других, а также во второй повести о Николе читается одна и та же подробность, в более ранних летописях не встречающаяся, — о выходе рязанских князей на битву с Батыем к окраинам Рязанской земли у Воронежа. Возможность знакомства (и очень раннего) летописцев с циклом повестей о Николе Заразском, во всяком случае, не исключена. В доказательство сошлюсь на те добавления, которые были сделаны в летописной повести о нашествии Тохтамыша на Москву в своде Фотия 1418 г. к предшествующей редакции этой повести, читающейся в своде 1409 г. В этих добавлениях (и только в них, а не в основной части летописной повести) явственно ощущается их зависимость от повестей о Николе как от своего литературного образца.

Вторая повесть о Николе Заразском (список Волоколамск., № 523)	Новгородская IV летопись (ПСРЛ, Л., 1925, т. 4, вып. 2)
. . .яко и самому царю возбоятися. . .	. . .яко и самому царю стужити о сем (с. 332).
. . .тако их бьяше нещадно, яко и мечи притупишася. . .	. . .толико же [сечаху, дондеже] руце их и плещи их измолкоша, сила их изнеможе, сабли их не имуть, острпа их притупишася (с. 333).
И прииде [князь Ингварь] из Чернигова в землю Резанскую во свою отчину, и *видя ея пусту*, и услыша, что братья его все побиены от нечестивого законопреступника царя Батыя, и приде во град Резань и *видя град разорен*, и матерь свою, и снохи своа, и сродник своих, и множество много мертвых лежаща, и град разорен, церкви позжены и все узорочье в казне черниговской и резанской взято. . . (далее плач Ингваря). . . *Кто бо не возплачетца толикиа погибели*? Или *хто не возрыдает о селице народе людей* православных? Или хто не пожалит толико побито великих государей? Или кто не постонет *таковаго пленения*? Князь Ингварь Ингоревич розбирая трупиа мертвых и наиде тело матери своей. . . (далее похороны).	. . . въехаста [князь Дмитрий] в свою отчину, в град Москву, и *видеша град* взят и пленен и огнем пожжен, и святыа церкви *разорены*, а людьи побитых трупьа мертвых бещисла лежащих, и о семь сжалиша си зело, яко и расплакатися има с слезами. *Кто бо не въсплачется таковыа погибели* градныа? Кто не жалуеть толика *народа людей*? Кто не потужить о *селице* множестве крестьян? Кто не сетуеть *си[це]ваго пленениа* и съкрушениа? И повелеша телеса мертвых хоронити (с. 339).
Сии бо град Резань и земля Резанская *изменися доброта ея*, и отиде слава ея, и *не бе в ней ничто благо видети — токмо дым и пепел*, а церкви все погореша, а великая церковь внутрь погоре и почернеша. *Не един бо сий град пленен бысть, но и инии мнози.*	. . . и паки в единомь часе *изменися видение его*, е[г]да взят бысть и посечен и пожжен, и *нечего его видети, развеи токмо земля, и персть, прах, попел*, трупья мертвых многа лежаще, и святыя церкви стояще, аки разорены, аки осиротевше, аки овдовевше (с. 336). *Не токмо же едина Москва взята бысть тогда, но и прочии гради и страны пленени быша* (с. 336—337).

На ту же зависимость добавлений к повести о Тохтамыше от цикла повестей о Николе Заразском указывают и некоторые другие соответствия (в частности, употребление в этих добавлениях слова «узорочие»).

Взаимоотношение повестей о Николе Заразском со «Словом о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского» и с повестью Нестора-Искандера о взятии Царьграда требует внимательного исследования.

Сравнивая схожие между собой плачи Ингоря Ингоревича и вдовы Дмитрия Евдокии можно заметить в основном бо́льшую первоначальность [10] плача Евдокии, к которой лучше подходят

[10] Так указано В. П. Адриановой-Перетц; ср. обратное мнение, впрочем, не подтвержденное доказательствами: Соболевский А. И. К «Слову о полку Игореве». — ИОРЯС, 1929, т. 2, кн. 1, с. 181.

основные мотивы и образы плача, а иногда и грамматические формы (за исключением, впрочем, сравнения Евдокии с трубой «рать поведающей»). Однако, с другой стороны, заключительная в цикле Николы похвала рязанских князей отличается явно большею логичностью и цельностью, чем рассеянные по разным местам те же образы в «Слове о житии». Наконец, отдельные сходные с повестями о Николе места имеются и в других частях «Слова о житии» (не только в плаче Евдокии, и не только в похвальной характеристике Дмитрия).

Ряд общих мест с повестями о Николе Заразском имеется и в повести Нестора-Искандера (в плаче цесаря, в описании приступа — «един бьяшесь с тысящею, а два с тьмою», цесарь — «исполин силою» и др.). Однако и здесь едва ли было бы правильным, как это предполагал акад. А. С. Орлов, усматривать простую зависимость повестей о Николе от повести Нестора-Искандера.[11] Само собой разумеется, что круг литературных связей повестей о Николе, установление которых необходимо для изучения «движения» его текста, далеко не исчерпан вышеприведенными краткими замечаниями. В частности, оставляю за собой право высказаться в будущем и о такой существенной детали, как появление во втором виде основной редакции *Б* сцены торжественного погребения Евпатия и дополнения его имени мало употребительным в Древней Руси отчеством «Львович».

* * *

Предлагаемая разбивка текстов повестей о Николе Заразском на редакции дополняет и развивает классификацию В. Л. Комаровича,[12] предложенную им на основании двенадцати списков. Редакцию «распространенную» мы предпочли называть редакцией основной *А*; редакцию «компилятивную» — редакцией основной *Б*. Последняя может быть прослежена в двух основных видах. Кроме указанных еще В. Л. Комаровичем редакций — редакции хронографической, редакции святцев, редакции особой (в дальнейшем называем ее «стрелецкой») и редакции проложной должны быть указаны: редакция воинская (в двух видах), редакция типа «сказания» (в двух видах), редакция риторическая, редакция церковная и редакция распространенная. Существуют, кроме

---

[11] В частности, акад. А. С. Орлов предлагал видеть заимствование в повести о Николе из повести Нестора-Искандера термина «санчакбей». Отметим, однако, что термин этот встречается только в одной из редакций третьей повести (в основной *Б*) и отражает не столько литературное влияние, сколько непосредственно деловое употребление его в действительности (тюркск. зансак — знамя, флаг; санчакбей — военачальник). Кроме повести Нестора-Искандера, слово «санчакбей» встречается и в других памятниках (см., например: Книга степенная царского родословия. — ПСРЛ, СПб., 1913, т. 21, ч. 2, с. 503).

[12] Комарович В. Л. К литературной истории повести о Николе Зарайском. — ТОДРЛ, М.; Л., 1947, т. 5, с. 57—72.

того, переделки XIX в., которые здесь не рассматриваются. «Краткая» редакция выделена В. Л. Комаровичем ошибочно.

В указанные В. Л. Комаровичем признаки различия между собой двух основных редакций должны быть внесены изменения. Признак первый, по которому в редакции основной *А* Евстафий прибывает в город Ригу, а в основной *Б* — в город Кесь,[13] не может быть принят. Не может быть принят также и признак четырнадцатый, по которому в редакции основной *А* захваченные татарами дружинники Евпатия Коловрата называют себя «храбрами», а не «рабами» князя Юрия Ингоревича: «храбрами» называют себя дружинники Евпатия только в тексте списка БАН, 16.15.8; во всех остальных списках редакции основной *А* дружинники говорят про себя: «раби великого князя Юрья Ингоревича Резанского». Несомненно, однако, что в списке БАН, 16.15.8 отразился древнейший вариант текста (слово «храбр» вышло из употребления уже в XVI в.). Неточно указан В. Л. Комаровичем также признак четвертый: Глеб Коломенский упоминается и в списках компилятивной редакции. Следует вообще отметить, что перечисление участвовавших в бою с Батыем и павших князей, а также их расстановка в этом перечислении сильно колеблются в различных списках и требуют особого изучения. Неточно указан В. Л. Комаровичем и признак восьмой, по которому эпизод о нашедшем тело Федора пестуне Апонице (эта форма имени пестуна Федора встречается в списках чаще, чем указанная В. Л. Комаровичем форма «Аполоница») имеется только в списках редакции основной *Б*. Признак девятый, касающийся прощания перед битвой рязанских князей, относится только к первому виду основной редакции *Б*.

Отличия редакции основной *А* от редакции основной *Б* в главнейшем следующие: 1) в редакции основной *Б* имеется небольшое дидактическое вступление перед рассказом о нашествии Батыя, этого дидактического вступления в редакции основной *А* нет; 2) в редакции основной *А* отказ владимирского князя Юрия Всеволодовича помочь Юрию Ингоревичу предшествует созыву рязанских князей и эпизоду с убиением Батыем князя Федора: в редакции же основной *Б* рязанские князья получают этот отказ после отмеченных событий; 3) в редакции основной *А* отмечено место Батыева стана, куда прибыл Федор: «на реку на Воронеж»; в редакции основной *Б* место Батыева стана остается неизвестным; 4) в редакции основной *Б* Батый тешит приехавших к нему рязанских князей «потехою», чего нет в редакции основной *А*; 5) эпизод с Олегом Красным изложен в редакции основной *А* в иной последовательности, чем в редакции основной *Б*; 6) в пере-

---

[13] Кесь, Кезис-Венден, ныне Цесис. Н. И. Петров в докладе «Сказание о перенесении образа св. Николая Зарайского из Корсуня через Ригу в Зарайск в 1224—25 гг.» (Археологические известия и заметки, издаваемые Московским археологическим обществом, М., 1896, № 9—10, с. 296) неправильно предположил, что Кесь — Икескола. В русских летописях Кесь постоянно — Венден.

числении жертв татарского погрома в редакции основной *А*, в отличие от редакции основной *Б*, названа мать великого князя Юрия Ингоревича — «Агрепена»; 7) в редакции основной *А* Евпатий Коловрат во время разгрома Рязани находится в Чернигове «со князем Ингорем Ингоревичем»; в редакции основной *Б* к этому добавлено: «емля подать государя своего великого князя Георгия Ингоревича»; 8) в редакции основной *А*, в отличие от основной *Б*, точно указано, где настиг Батыя Евпатий Коловрат: «угнаша Батыя в земли суздальстей»; 9) в редакции основной *А* татары наводят на Евпатия Коловрата «множество пороков», а в редакции основной *Б* — «множество саней с нарядом» (или «с народом»); 10) в редакции основной *А* Батый после гибели Коловрата посылает «по мирзы и по князи», а в редакции основной *Б* добавлено — «ординския и по санчакбеи и по паши».

Эти наиболее важные отличия могут быть дополнены рядом других — мелких и текстовых отличий.

Главное отличие первого вида редакции основной *Б* от второго заключается в том, что в этом последнем Евпатию придано отчество «Львович» и дополнительно рассказывается о торжественных похоронах Евпатия в рязанском соборе, причем указывается и точная дата погребения — 11 января. Иначе изложена и вся сцена отправления на битву рязанских князей: более сжато во втором виде, чем в первом (в первом виде, между прочим, князь Юрий Ингоревич кланяется образу Одигитрии, «юже принесе Ефросин иза Святыа горы», нигде более не упоминаемому). Ни первый вид редакции основной *Б*, ни второй ее вид не могут быть признаны древнейшими; в обоих есть черты более первоначальные и черты более новые. Оба эти вида восходят, очевидно, к одному — древнейшему. Во втором виде всюду упоминается Глеб Коломенский, как в основной редакции *А* (с ней же сближает этот вид и ряд других деталей). «Род поповский» во втором виде доведен до 11 колена и помещается обычно после первой повести — в отличие от первого вида редакции основной *Б* и от редакции основной *А*. Второй вид редакции основной *Б* обычно заключается «Коломенским чюдом». В некоторых списках других редакций эта коломенская добавка имеет особую заключительную часть, объясняющую возвращение в Заразск к «старому престолу» образа Николы Заразского и, что особенно интересно, построение в Заразске каменных стен.[14]

К редакциям основным *А* и *Б* (в обоих видах) восходит большинство остальных редакций (кроме, может быть, редакции святцев).

Древнейший список основной редакции *А*:

1) ГБЛ, Волоколамское собр., № 526. Сборник, полууставом

[14] Каменные укрепления в Заразске построены при Василии III в 1531 г. (см.: Карамзин Н. М. История Государства Российского, т. 7, с. 188, примеч. 364).

XVI в.,[15] весь одним почерком, 4°. Л. 229—258 об.: повести без заглавия. Начало: «В лето 6730. Приход из Корсуня чюдотворнаго Николы образа Заразского. Како приде из пременитаго града Херсони в пределы рязанския». Наличествуют три части. «Род поповский» отсутствует.

Другие списки той же редакции.

2) ГБЛ, собр. Погодина, № 1570. Сборник середины XVII в., скорописью, 4°. Л. 1—24 об.

Повести без заглавия. Начало: «В лета 6733 году. Явися святый великий чюдотворец Николае Корсунский в преименитом граде Херсуни служителю своему Остафею имянем». «Род поповский» после второй (воинской) повести.

3) ГБЛ, собр. Румянцева, № 378. Сборник, писан скорописью в 1682 г. Л. 80—104 об.: «. . . та 6733 году. . . приход ис Корсуня гра. . . чюдотворного образа Николина, како приде ис преименитаго града Корсуня» (левый верхний край листа вырван). После второй (воинской) повести — Повесть об убиении Батыя; за ней — «Род поповский».

Два последних списка близки между собой и в некоторых случаях представляют более правильные чтения, чем основной список. Кроме того, для вариантов имеет значение список:

4) БАН, 16.15.8. Сборник, скорописью (разными почерками) второй половины XVII в., 4°. Л. 41 об.—68 об., 74—74 об.: «О принесении чюдотворнаго образа святаго Николая ис Корсуни града в пределы Резанския земли, яже в Росийской области». Текст повести перебит на л. 68 об.—74 Повестью об убиении Батыя. После Повести об убиении Батыя следует «Род поповский».

По-видимому, писец списывал свой текст с весьма ветхого оригинала и при этом многого в нем не понимал. Однако в списке этом сохраняются черты весьма древние.

Известны и следующие списки той же редакции.

5) ГПБ, собр. ОЛДП, Q.235.

Сборник скорописью конца XVII в., 4°. Л. 53—61 об.: «О приходе безбожнаго царя Батыя на Рускую землю». Первая повесть (о переносе иконы) и «Род поповский» отсутствуют. Список этот отражает преимущественный интерес к воинской части цикла, только в нем и представленной и снабженной особым заголовком: «О приходе безбожнаго царя Батыя на Рускую землю». В нем, как и в основном списке этой редакции, имеется эпизод с Апоницей (Волоколамское собр., № 526). Для списка характерны некоторые (очень слабые) изменения в лексике: «не лепо есть нам» (л. 53 об.) см. «не полезно есть нам» в других списках; «урядиша вся полки» (л. 54) вм. «учредиша полки»; битва «велика и преужасна» (л. 54 об.) вм. «зла и ужасна»; «отступника» (л. 57 об.) вм. «отметника» и др. Из других особенностей списка отметим: Евпраксия разбивается о «сырую землю» (л. 54), также и Ингорь

---

[15] Филиграни: сфера (Briquet, № 11211 — 1553 г., № 11210 — 11546 г., № 11216 — 1588 г.).

Ингоревич ударяется «о сырую землю» (л. 58 об.); вместо разорения Батыем трех городов — Пронска, Белаграда и Ижеславца упомянуто только разорение «славнаго града Пронска» (л. 55); рязанский епископ назван «архиепископом» (л. 55; рязанские архиепископы — с 1585 г.); Евпатий назван «некием воеводой» (л. 56); в конце повести упоминается льгота, которую Ингорь Ингоревич дал Рязанской земле на 100 лет (л. 61). В некоторых местах текст явно испорчен; так, например, в эпизоде с Олегом Красным пропущены слова «и хотя его извврачевати от великих ран» (л. 55 об.), в связи с чем обессмысливается текст этого эпизода.

6) БАН, 16.17.21. Сборник скорописью разных почерков и полууставом XVII в., 4°. Л. 173—194: «Приход ис Корсуня чюдотворнаго Николина образа Заразского, како приде ис преименитаго града Корсуня. . .» (л. 178—183 об. и 184—189 перепутаны при переплете: текст с л. 177 об. переходит на л. 184—189, а с л. 189 об. — обратно на л. 178—183 об.). «Род поповский» отсутствует. Заключается текст Повестью об убиении Батыя.[16] Почерк повести — второй четверти XVII в.

Первая дата повести в этом списке не 6730 г., а 6732, в связи с чем пропущено: «в третье лето по Калкском побоище». Из мелких особенностей текста отметим: татары обступают Рязань «а инии с токмочи» (л. 178 об.). Имеются мелкие искажения.

7) ГИМ, Синодальное собр., № 409. Сборник, скорописью конца XVII в., 4°. Описан: Орлов А. С. Исторические и поэтические повести об Азове. М., 1906, с. 3. Л. 97—110 об.: повести без заглавия. Начало: «В лето 6745 12 лета по принесении чюдотворнаго образа Николина ис Корсуни прииде безбожный царь Батый. . .» Первая повесть (о переносе иконы) и «Род поповский» отсутствуют. С л. 107 — Повесть об убиении Батыя.

Список отчасти близок к *П* и *Р*. Имеются ясные искажения текста и поновления. Некоторые варианты сближают список с основной редакцией *Б*: «сказа» (л. 97 об.) вм. «насочи» и «Товрул» вм. «Хозтаврул» (л. 101 об. и след.). Из вариантов отметим некоторые; о приходе Батыя сказано: «и множество с ним татар поганых половец» (л. 97) вм. «со множеством вой татарских»; в молитве Юрия Ингоревича: «буди *полк их* и путь их тма и ползок» (л. 99) вм. «буди путь их тма и ползок»; мать Юрия Ингоревича однажды названа «Аграфена» (л. 99) вм. «Агрепена»; о побитых в Рязани сказано: «и несть бо никому оно тужити, ни отцу по детех, ни детем по матери» (л. 100 об.) вм. «несть бо ту ни стонюща ни плачаща — и ни отцу и матери о чадех, или чадом с отци и о матери»; о Евпатии говорится: «Еупатей же сильной полки проезжая» (л. 101) вм. «Еупатей же силныа полк проезжая»; о захваченных в плен Батыем сказано: «и не могоша их от великих ран

[16] Издание и исследование Повести об убиении Батыя см.: Розанов С. П. Повесть об убиении Батыя. — ИОРЯС, 1916, т. 21, кн. 1, с. 109—142.

излечити» (л. 101 об.) вм. «изнемогших от великих ран»; Евпатия побивают «из седмочисленных пороков» (л. 102) вм. «тмочисленных пороков».

Редакция основная *Б*, первый вид, имеется в следующих списках:

1) ГПБ, собр. Погодина, № 1594. Сборник, 4°, конца XVI — начала XVII в. (филиграни: Briquet, № 12783 — 1564—1569 гг., № 12802 — 1594 г., Каманин, № 155 — 1589—1590 гг., № 52 и № 53 — 1590 г.). Л. 40 об.—63 об.: «Приход чюдотворнаго Николина образа Заразского иже бе изо Корсуни града в пределы Резанские. . .» «Род поповский» — после второй (воинской) повести.

2) ГИМ, собр. Уварова, № 1876. Сборник, скорописью XVII в., 4°. Л. 1—74: повести без заглавия. Начало: «В лето 6733 при великом князе Георгии Всеволодовиче Владимерском и при великом князе Ярославе Всеволодовиче Новъгородъском. . .» «Род поповский» — после второй (воинской) повести. Затем следует Повесть об убиении Батыя (л. 70—74), после чего приписка: «а писан сей Николин приход лета 7122 году».

3) ГПБ, собр. Погодина, № 1442. Хронограф неопределенного состава. Рукопись XVIII в. — продолжение Погодинского хронографа № 1441, полууставом, 2°. Л. 199—208. «Род поповский» — после второй (воинской) повести.

Второй эпизод «Коломенского чуда», легендарно объясняющий возвращение образа Николы Заразского в Заразск и построение каменных стен Заразска в 1531 г., известен в списке неопределенного (неполного) вида:

4) ГИМ, Воскресенское собр., № 211. Сборник конца XVII в., скорописью, 4°. Л. 149—164: «В лета 6733 году. Приход ис Корсуни чюдотворного Николина образа, како прииде ис преименитаго града Херсони в пределы Резанские». Первая повесть (о переносе иконы). Вторая (воинская) повесть и «Род поповский» отсутствуют. Заключается цикл «Коломенским чудом», включающим и второй эпизод.

Кроме того упомянем следующие списки первого вида:

5) ГПБ, собр. Погодина, № 1574. Сборник из 5 рукописей XVII в. Л. 2—17 об. скорописью: «О пленении безбожнаго царя Батыя, егда пленил Резанскую землю». Первая повесть (о переносе иконы) и «Род поповский» отсутствуют. Заключается Повестью об убиении Батыя.

Отметим следующие особенности текста: Батый посылает к рязанским князьям послов с «бездельными грамоты» (л. 2); о рязанском войске сказано: «и едва одолеша их сильные полки *казанские*» (л. 6); плененные ратники Коловрата говорят Батыю: «. . . не подиви царю — не успевали наливати чашу на велику силу татарскую, *что не всякому доставалась*» (л. 8 об.); «И Еупатий же *ис полку с силою* (вм. «исполин силою») наехав на Таврула» (л. 9).

6) ГБЛ, собр. Ундольского, № 761. Сборник, скорописью петровского времени, 4°. Л. 88 об.—100: «Сказание о пришествии

на Рускую землю царя Батыя». Только вторая (воинская) повесть.

7) ГИМ, собр. Барсова, № 940. Рукопись XIX в., полууставом, 4°. «Приход чюдотворнаго Николина образа Зарасскаго, иже бе из Корсуня града в пределы резанские». «Род поповский» после второй (воинской) повести.

Редакция основная *Б*, второй вид, известна в списках:

1) ГПБ, собр. Погодина, № 643. Сборник, полууставом разных почерков, XVI—XVII вв., 8°. Л. 106—160 об. (третья четверть XVI в.): «Приход чюдотворнаго образа Николина из Корсуня града». Филиграни: сфера (наиболее близки: Briquet, № 14009 — 1559 г., Лихачев, № 1839 и № 1840 — 1562 г.), змея (Лихачев, № 1638—1648 — первой половины XVI в.) и перчатка (Лихачев, № 1688—1690 — 1572 г.). «Род поповский» после первой повести (о переносе иконы). В конце «Коломенское чудо».

2) ГПБ, Основное собр., F.I.286. Сборник, полууставом конца XVI или начала XVII в. Л. 158—168: «Чюдо святого Николы о приходе чюдотворнаго его образа от Корсуня в пределы Рязанския». «Род поповский» отсутствует. Без конца; обрывается на плаче Ингваря Ингваревича на словах: «. . . к чему, господине мои, не возрите ко мне и не промолъвите со мною. Уже забыли есте мене».

3) ГИМ, собр. Уварова, № 1823. Сборник из трех рукописей, полууставом XVII в. Л. 37 об.—73: повести о Николе Заразском без заглавия. Начало: «Явися святый великий чюдотворец Николае Зарасский в преименитом граде Корсуне служителю своему Еустафию именем. . .» «Род поповский» отсутствует. Заканчивается на «Коломенском чуде».

4) ГПБ, Соловецкое собр., № 1016 (стар. № 906). Сборник XVII в., составной, 4°. Л. 310—351 (скорописью и полууставом, переходящим в скоропись, второй половины XVII в.): «Принесение чюдотворнаго образа великого чюдотворца Николы Заразскаго из преименитаго града Корсуня». «Род поповский» — после первой повести. Заключается «Коломенским чудом».

5) ГИМ, собр. Барсова, № 1472. Сборник, скорописью XVII в., 4°. Л. 275 об.—309 об.: «Повесть чюдотворнаго образа Николина из Корсуня града». «Род поповский» после первой повести. В конце «Коломенское чудо».

Список неплохой, с немногими искажениями.

6) ГПБ, собр. ОЛДП, F.97. Сборник XVII в. Л. 236—256 (полуустав): повести о Николе Заразском без заглавия. Начало: «. . . растославича. В лето 6733 (приписано на правом поле: «июлия в 12 день») явися святый великий чюдотворец Николае Зарасский. . .» «Род поповский» — после первой повести. Заключается цикл «Коломенским чудом».

Список неисправный, отдельные части спутаны. После первой статьи следует: «в лета 6745 убиен бысть благоверный князь Феодор Юриевичь Рязанский. . .», а на полях: «преступи лист», на следующем листе: «чти» и статья «Прииде безбожный царь Ба-

тый на Русскую землю». На л. 242 «чти назад убиен бысть». Эта статья «убиен бысть» поставлена вперед, так как ею заменен конец первой повести, где говорится о том же «заразе»; этот «зараз» на л. 242 после отметки «чти назади убиен бысть». После статьи «убиен бысть» следует «род служителей» (л. 240 об.). Есть прямые искажения, например: «великий князь Ингварь Ингоревичь поиде ко граду Корсуню, и собра труп брата своего князя Олга Ингоревича Краснаго» (л. 250 об.).

7) БАН, 4.7.3. Сборник из шести различных рукописей (полууставом и скорописью) последней четверти XVII в., 4°. Л. 285—302 (скорописью): «Перенесение чудотворнаго образа великаго чюдотворца Николая Заразскаго». «Род поповский» — после первой повести. Заключается «Коломенским чудом».

Список хороший, хотя есть некоторые искажения: «исполнен силою» (л. 294 об.) вм. «исполин силою»; «крепости изполнена» (л. 294 об.) вм. «крепка исполина»; «с погаными полцы» (л. 300) вм. «с погаными половцы» и др.

8) ГПБ, Соловецкое собр., № 947 (стар. № 837). Сборник разных рукописей, 4°. Л. 298—321 (полууставом конца XVII в.): «Принесение чюдотворнаго образа великого чюдотворца Николы Заразского ис преименитого града Корсуня». «Род поповский» — после первой повести. Текст обрывается на л. 321 об. в конце второй (воинской) повести на словах: «от сея вины зовется Никола Зарайский, понеже благоверная княгиня Еупраксия с сыном Иваном Постником сама себе заразди. Великий же Ингварь Игоревичь. . .». Список близок к № 1016 Соловецкого собр. (стар. № 906), но менее исправен.

9) ГПБ, Основное собр., Q.I.398. Сборник конца XVII в. Л. 83—96 (первая повесть скорописью, остальные полууставом): «В лето 6733 году приход ис Карсуни чюдотворнаго Николина образа Зарайскаго». Обрывается (вследствие утраты листов) на плаче Ингоря Ингоревича на л. 95 об. на словах: «Бысть убо тогда многи туги, и скорби, и слезы, и воздыхания, и страх, и трепет, и всех злых зло находящих на ны грех ради наших. Князь же великий Ингорь Ингоревич. . .» Затем следует на л. 96 текст конца Повести об убиении Батыя со слов: «. . . виша сотворен же бысть медным льянием короля на коне седя. . .» и до конца. «Род поповский» отсутствует.

10) ГПБ, собр. Титова, № 1144. Отдельный список полууставом XVIII в., 4°. Л. 1—50 об.: «О принесении чюдотворнаго образа Николы из града Корсуня во град Зарайск». Вторая часть первой повести (зараз) отсутствует. «Род поповский» отсутствует. Заключается повесть «Коломенским чудом». Вступительная часть, рассказывающая о крещении Владимира в Корсуне, отсутствует. Некоторые из частей имеют особые заголовки: «О Ипатии Коловрате» (л. 18 об.), плач Ингваря Ингоревича носит название «Молитва» (л. 29), «О принесении чюдотворнаго образа града Зараска на Коломну и чюдо бысть от чюдотворныя иконы его» (л. 39 об.).

Хронографическая редакция в целом является переработкой редакции основной *А*. Дополнительно к тем ее отличительным признакам, которые указаны в работе В. Л. Комаровича, отметим: текст хронографической редакции несколько сокращает текст редакции основной *А*; Евстафий является сперва в Ригу, а затем в Кесь; второй части предшествует риторическое вступление, заимствованное из Хронографа редакции 1512 г.; распространено нравоучение по поводу отказа Георгия Всеволодовича Суздальского явиться на помощь рязанским князьям; сцена самоубийства Евпраксии драматизирована несколькими новыми деталями (Евпраксия, ожидая мужа, держит сына «на своих белых руках», «поглядающе ласковаго и любимаго своего супруга», она кончает жизнь самоубийством, узнав, что ее супруг «любви ради ее красоты убиен бысть»); эпизод с Олегом Красным ближе к редакции основной *Б* (более логичной); татары, разорив Рязань, направляются к Коломне; Евпатий назван вельможей «руским», о нем сказано: «бе бо храбр зело», к нему приложен эпитет «львояростный»; плач Ингоря Ингоревича опущен; несколько сокращена заключительная похвала рязанским князьям. Для этой (хронографической) редакции основным является не текст «Русского временника» (или Костромской летописи), составленного в 1680-х гг. в Богоявленском монастыре игуменом Павлом, а текст одного из видов Хронографа (вид этот еще недостаточно изучен), который был использован игуменом Павлом.

Хронографическая редакция известна в списках:

1) БАН, 31.6.27. Хронограф редакции 1599 г., 4°, скоропись и полуустав самого начала XVII в., бумага второй половины XVI в. (Briquet, № 12882 — 1583 г., № 12669 и 12670 — 1546 г., Лихачев, № 4006 — 1581 г.). В Описании рукописного отделения БАН В. И. Срезневского и Ф. И. Покровского (т. 3, вып. 1, с. 5) и в надписи А. А. Шахматова на самой рукописи — на тыльной стороне верхней крышки переплета — дата рукописи: XVI в. По замечанию А. А. Шахматова, в этом хронографе «слиты две редакции хронографа — редакция 1512 года и редакция, предшествовавшая Русскому Временнику, т. е. тот вид хронографа, из которого извлечен этот летописный сборник» (К вопросу о происхождении хронографа. — СОРЯС, 1899, т. 66, № 8, с. 52. Подробное описание рукописи — там же, с. 49—55). Л. 467—468 об.: «О пришествии Николина образа на Резань изс Корсуня»; л. 472—473 об.: «В лето 745 нашествие безбожного царя Батыя на Русскую землю»; л. 474 об.—476 об.: «О Еупатии Коловрате» и «О пришествии князя Ингоря на Рязань». На л. 475 скоропись сменяется полууставом на бумаге с теми же знаками.

2) ГИМ, собр. Уварова, № 1364. «Хронограф Сергея Кубасова», 4°, скорописью XVII в. Л. 71 и след.: «О нашествии на Русь нечестиваго Батыя царя», начало: «Хощу рещи, о друзи, повесть, иже и самех безсловесных может подвигнути на плачь. . .» Вторая часть хронографической редакции.

Краткая хронографическая редакция известна в списке:

1) ГПБ, Основное собр., F.XVII.17. Хронограф неопределенного состава XVII в., но не позже 1661 г. Скоропись.

Редакция стрелецкая, известная в единственном списке, представляющем собою копию со списка 1633 г. стрелецкого головы[17] Н. Л. Анпенкова, является переработкой второго вида редакции основной *Б*. В ней особенно интересны постоянные соотнесения с современностью и рассуждения автора по поводу «неустроения сущих властей» и оборонительных сооружений Русского государства; Евстафий приходит в Коломну, Евпраксия обращается перед самоубийством с речами к сыну и бросается с полатей церковных; Евпатия обступают враги «сенными возами»; и др. Для датировки редакции имеет значение упоминание «нового града Смоленска».

Редакция стрелецкая наличествует в единственном списке:

1) БАН, 38.4.40. Сборник из собрания Ф. М. Плюшкина из различных рукописей (полууставом и скорописью) конца XVII в., 4°. Л. 330—352 об. (скорописью): «Приход чюдотворнаго образа святаго Николы чюдотворца ис Корсуня града в Резанскую землю», с датой — 1633 г. и именем Никиты Анненкова — рязанца, как владельца того оригинала, с которого списывался список, в послесловии.

Редакция типа «сказания» имеет особое заглавие, отличное от других редакций повестей: «Сказание о пришествии скверного и безбожнаго царя Батыя, и како он пленил грады русския и Резанское государство раззорил» (пространный вид редакции) и «Сказание о пришествии на Рускую землю безбожнаго царя Батыя, и как он окоянны разорил Резанское государство» (краткий вид редакции). Редакция представляет собой переработку второй (воинской) повести редакции основной *Б* первого вида. Оба вида редакции довольно сильно различаются между собой, но оба перерабатывают текст своего протографа в одном направлении — подчеркивая воинские и фольклорные эпизоды. Из отличий пространного вида отметим: Евпраксия бросается с терема; в молитве Юрия Рязанского перед битвой вставлен отрывок из молитвы митрополита Илариона («да не когда рекут во языцех: где есть бог их»); Юрий просит прощения у всего народа; описание битвы рязанских князей с войском Батыя дополнено несколькими «воинскими трафаретами»; о нашествии Батыя сказано (сходно с хронографом): «яко некая страшная молния пожигающи и попаляющи»; Евпатий учреждает полки в «день недельный»; на Евпатия наводят «пушки и многия снаряды оружейныя»; Батый отпускает остатки дружины Евпатия со словами: «возмите сего своего храбраго воина для его храбрости. И вас пощадих, идете куда хощете»; в плаче Ингоря Ингоревича имеется обращение

---

[17] Стрельцы были постоянными жителями Заразска. По статистическим сведениям, сохранившимся в «книгах окладных монастырям, церквам и часовням Рязанской епархии, учиненных в 7184 (1676) г.» (выписка из книг напечатана Надеждиным в Журнале Мин-ва внутр. дел, 1848, кн. 3), в нем значилось 476 домов, из которых 25 было стрелецких. Стрельцы обслуживали укрепления, построенные еще в 1531 г.

не только к земле и дубравам, но и к горам, холмам и лугам. В кратком виде Апалица отпущен Батыем; Евпраксия разбивается «о сыру землю»; Юрий Ингоревич обращается к «служивому воинству»; против Юрия выступают «полки турския»; Батыево войско подступает к Рязани «с порохи»; Евпатий собирает 1800 человек, сечет татар «вострым своим мечем», «выскакал против Хостоврула», действует «с товарищи»; Батый, «зря на тело Еупатиево, прослезися» и называет Евпатия «Колобрате»; заканчивается этот вид раньше, чем пространный, — на прочувственных словах Батыя по поводу Евпатия, после чего сказано: «И поеха царь Батый во свояси. Богу слава».

Редакция типа «сказания» известна в списках:

1) ГПБ, Основное собр., Q.XVII.209. Сборник, скорописью XVII в., 4°. Л. 137—149 об.: «Сказание о пришествии сквернаго и безбожнаго царя Батыя, и како он окаянный пленил грады руския и Резанское государство раззорил». В конце (л. 149 об.) тем же почерком: «Справил Ивашко иконник Калашников». Разночтения к этому списку приводятся по рукописи:

2) ГБЛ, собр. Овчинникова, № 712. Сборник полууставом, переходящим в скоропись, XIX в., 4°, миниатюры грубоватой работы в красках на л. 1, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30, 32, 34, 38, 41, 49, 52, 55, 59. Л. 1 об.—24 об.: «Сказание о пришествии сквернаго и безбожнаго царя Батыя и како он окоянный пленил грады руския и резанское государство раззорил».

Сокращенный вид редакции типа «сказания» наличествует в списке:

3) ГПБ, собр. Погодина, № 1936. Сборник, скорописью второй половины XVII в., 4°. Л. 172—186: «Сказания о пришествии на Рускую землю безбожнаго царя Батыя, и как он окояппы разорил Резанское государство».

Оба вида редакции воинской представляют собой аналогичные редакции типа «сказания» переделки основной редакции *А* в виде, близком к Волоколамскому списку, № 526 (есть эпизод с Апоницей, не названным, впрочем, по имени). Используется в этих видах только вторая (воинская) повесть, подвергшаяся некоторой переделке (в первом виде несколько фольклоризуется собственно воинская часть и плач Ингоря). В обоих видах (каждый из них представлен только одним списком) основной текст слегка сокращен, кроме тех частей повести, которые приближают ее к былинам (в них имеются некоторые распространения фольклорного характера). В первой воинской редакции (список Погодинский, № 1606) обращают на себя внимание следующие детали: вместо слова «насочи», которым определяется донос некоего рязанского вельможи на князя Федора в редакции основной *А*, употреблено слово «вложи»; в описании битвы Юрия Ингоревича Рязанского с Батыем добавлено: «и выехоша из Батыева воиска попытатися силныи и храбрыи богатыри против силы резанские», а также: «полки Батыевы проезжая бьяшеся храбро и мужественно и по всем полком подвизащеся резанское господство крепко и мужественно

бьяшеся, изнемогоша, а Батыево войско охраброшася и едва их одолеша силнии полки татарскии»; в описании битвы Евпатия с Хостоврулом вместо слов «соступишася силныя полкы татарскиа» сказано: «*раз*ступишася силныи полки татарския», благодаря чему меняется вся картина битвы, превращенная в единоборство Евпатия с Хостоврулом; убивают Евпатия из «тмочисленных пушек»; Батый посылает «по мурзы, и по князей, по *сановники*» (вм. «по санчакбеи» Волоколамского списка); сожалеющих слов Батыя по Евпатию нет; «Игорь Игоревич», пришедший из Чернигова вместе с Евпатием, бежит «ис полков татарских». Он оплакивает не только братию свою и мать, но и «крепкого и силного Евпатия Коловратова»; в целом плач «Игоря Игоревича» сильно сокращен (главным образом в тех его частях, которые носят книжный характер) и отчасти приближен к народным плачам: земля имеет эпитет «пустешенька» (дважды), дуброва — «зеленая», месяц — «пресветлый» (вм. «красный»); утвердительный оборот «меня единаго оставиша в толице погибели» обращается в более свойственный народным плачам в аналогичных случаях вопросительный: «мене ли единаго оставиша в толице погибели» и др.; заканчивается первый вид на описании похорон Ингоря Ингоревича, Федора Юрьевича, Евпраксии и их сына и на объяснении названия Николы «Зарайского». В отличие от первого вида воинской редакции во втором (представленном единственным списком БАН, 34.8.25) Апоница назван по имени; Евпраксия стоит на «некоем месте высоце»; в перечислении участников рязанской обороны назван Глеб Коломенский; донос «некоего вельможи» определен термином «навади»; текст молитвы Юрия Ингоревича перед выступлением в поход опущен; Евпатий назван «некиим воеводой»; плач Ингоря Ингоревича опущен; последний раздает «малу часть имения» оставшимся людям на поминание матери и братии. Заключительная часть соответствует первой воинской редакции, но с добавлением упоминания «льготы», которую дал «Игорь Игоревич» Рязанской земле на сто лет.

Редакция воинская первого вида имеется в списке:

1) ГПБ, собр. Погодина, № 1606. Сборник последней четверти XVIII в. Описан: Орлов А. С. Исторические и поэтические повести об Азове. М., 1906. Л. 327 об.—337: повести без заглавия. Начало: «В лета 6745, во фторое лето по принесению образа великаго чюдотворца Николы приде безбожный царь Батый».

Редакция воинская второго вида читается в списке:

2) БАН, 34.8.25. Сборник, принадлежавший собранию Головкина, из шести рукописей третьей четверти XVII в. Скорописью. Л. 376—378 об., 372, 372 об., 371, 371 об., 379 (листы при переплете спутаны): повести без заглавия. Начало: «В лето 6745-го, во 12 лето по принесении чюдотворнаго Николина образа ис Корсуня града приде безбожный царь Батый».

Редакция распространенная представляет собою переработку редакции основной *Б* первого вида. Основная часть цикла расширена, конец, наоборот, в частности, плач Ингоря Ингоревича,

сокращен; там же имеются и некоторые перестановки и изменения (введен новый персонаж — сын Юрия Ингоревича — Юрий Юрьевич). Всему циклу придано единство изложения, превращающее его в единую повесть.

Редакция распространенная находится в списке: ГИМ, собр. Черткова, № 313. Сборник XVII—XVIII вв., 4°. Л. 487 об.—495 (полууставом XVIII в.): «Месяца иулия 30 день. Слово о явлении иконы святаго чудотворца Николы, како явися во граде Херсоне священику некоему именем Евстафию». В конце книги на л. 495 более поздним почерком, скорописью: «Сия книга выписана из пролога житий святых и чудеса их московскова купца Алексеевской слободы второй гилди Ивана Тихонова сына Медовщикова» и др.

Редакция риторическая представляет собою позднюю (конца XVII в.) переработку редакции основной *Б*. В ней значительной переработке и распространению подвергся рассказ о убиении князя Федора Батыем. Батый склоняет Федора перейти в магометанство, Федор отклоняет это предложение, обличает Батыя и погибает. Диалог Федора и Батыя происходит через «толка» (толмача). Батый требует выдать ему Евпраксию, так как она «рода есть и крове царския, юже достоит имети мне сущу царю». Собственно воинские части повести сильно сокращены. Ингорь Ингоревич превращен в Юрия Игоревича — «брата великого князя Георгия Игоревича». Отметим также подмену старой Рязани Переяславлем Рязанским (нынешняя Рязань). К этому последнему городу чувствуется особое внимание составителя этой редакции (в частности, отмечено, что Заразск отстоит от Переяславля на 50 верст).

Редакция риторическая известна в списке: ГБЛ, собр. Никифорова, № 501. Сборник разных рукописей скорописью второй половины XVII в., 4°. Л. 72—89: «Сказание известно от древняго списания о принесении многочюдеснаго образа, иже во святых отца нашего Николая архиепископа Мирликийских чюдотворца из греческаго града Корсуня в великую Россию на Рязань в Зараск».

Как явствует из исследования В. Л. Комаровича, а также из приводимого и нами материала, различия в основных редакциях (*А* и *Б*) устанавливаются по преимуществу на основании второй (воинской) повести цикла, поэтому отсутствие этой второй повести делает затруднительным точное определение редакции, во всяком случае в его двух основных редакциях.

К неполным спискам повестей о Николе Заразском без их третьей части принадлежат следующие:

1) ГИМ, собр. Уварова, № 1819. Сборник, скорописью, 1642 г., 4°. Л. 12—24 об.: «Принесение чюдотворнаго образа великого чюдотворца Николы Зараскаго ис преименитаго града Корсуня в Рязаньския пределы». «Род поповский» — после первой повести. Вторая повесть отсутствует. Заключается «Коломенским чудом». После «Коломенского чуда» следует статья «Страдание великого князя Романа Ольговича Рязанского во Орде за веру Христову».

2) БАН, Архангельское собр., № 365. Сборник канонов, слов и сказаний, скорописью XVII в., 8°. Л. 254—258: «Чюдо Николы Заразского». Только первая повесть.

3) ГПБ, Основное собр., Q.XVII.30. Сборник разных почерков второй половины XVII в., 4°. Л. 220—246: «Приход великаго чюдотворнаго образа Николы Заразского, како приидє из преименитаго града Корсуни в пределы Резанския ко князю Федору Юрьевичу Резанскому, во второе лето по Калмыцком побоище». Первая повесть и «Род поповский».

4) ГИМ, собр. Уварова, № 1914. Сборник, скорописью XVII в., 8°. Л. 55—61: «Коломенское чудо» без заглавия. Начало: «Лѣта 7021 пришли крымские люди на Рязанские украины».

5) ГПБ, собр. Колобова, № 333. Сборник конца XVIII в. Л. 59 об.—66 об.: «Приход великаго чудотворнаго образа Николина Зарайского. Како прииде ис преминитаго града Корсуни в пределы рязанския». Первая повесть и «Род поповский».

Редакция святцев известна в списке:

1) ГПБ, собр. Погодина, № 675. Сборник: святцы с житиями, скорописью XVII в. Л. 230 об.—232: «Сказание о чюдотворном образе святого Николы Заразского, еже откуду приде в Резанскую землю и для которые вины Заразский наречется».

2) БАН, 33.13.24. Святцы, 1694 г., 4°. Л. 109 об.—110: «Сказание о чюдотворном образе святаго Николы Заразского, еже откуда прииде в Резанскую землю и для которые вины Заразский наречется».

Проложная редакция впервые помещена во второе издание Пролога: Пролог. М., 1662, под 29 июля, л. 391—391 об.

Из этого и последующих изданий Пролога Повесть о Николе Заразском переписывалась с незначительными изменениями. См., например, списки:

1) БАН, 38.4.40; тот же сборник, в котором находится на л. 330—352 об. так называемая стрелецкая редакция. На л. 196 об.—198 (скорописью конца XVII в.): «Месяца того же в 29 день. Повесть о чюдотворном образе великаго чюдотворца Николы».

2) ГПБ, собр. ПДА, № 280. Сборник XVII—XVIII вв., 4°. Святцы. Л. 147: «Месяца иуниа в 29 день. Повесть о чудотворном образе великаго чюдотворца Николаа, како принесен бысть на Рязань в Заразской».

3) ГПБ, Основное собр., Q.XVII.212. Сборник начала и первой половины XVIII в. нескольких почерков, скорописью, 4°. Святцы. Л. 371 (скорописью начала XVIII в.): «Месяца июлиа в 29 день. Повесть о чудотворном образе великаго чюдотворца Николаа, како принесен бысть на Рязань в Заразской». На л. 370 об. изображение иконы Николы Заразского и подпись: diakoni Wasilii Nesterow.

4) ГБЛ, собр. Ундольского, № 412. Рукопись XIX в. (первой половины). См. ниже в описании списков так называемой церковной редакции. Проложная редакция на л. 14—15: «Месяца июля в 29 день. Повесть о чюдотворном образе великаго чюдотворца

Николы, како принесен бысть на Рязань в Заразской». На поле л. 14 отметка: «из пролога новопечатнаго».

Церковная редакция представляет собой одно из приспособлений повестей о Николе Заразском для нужд богослужения. По словам С. Бочарникова (Зарайск. М., 1865, с. 6, примеч.), «Сказание это (т. е. повести о Николе. — *Д. Л.*) с древних времен читалось и читается до сих пор в Зарайском Николаевском соборе 28 июля у всенощной, под день на память принесения чудотворной иконы». Из этой редакции изъята вся ее «воинская» часть; первая часть, связный и несколько переработанный рассказ о самоубийстве Евпраксии, а также эпизод о «Коломенском чуде» в ней обязательны. Редакция эта имела довольно длительную историю, которая здесь не рассматривается.

Редакция церковная известна нам в следующих списках:

1) ГИМ, собр. Вострякова, № 925. Сборник XVII в., скоропись разных почерков, 4°. Л. 128—137 об.: повести без заглавия. Начало: «В лето 6733-го году, июля в 29 день принесен бысть чюдотворный образ великого чюдотворца Николы в Заразск ис преименитого града Корсуни».

2) БАН, 13.2.23. Сборник из собрания А. И. Яцимирского, почерками (полууставом и скорописью) XVII—XVIII вв., 4°. Л. 65 об.—71 (скорописью последней четверти XVII в.): повести без заглавия. Начало: «В лето 6733 году, июля в 29 день принесен бысть чюдотворный образ великого чюдотворца Николая в Заразск ис преименитаго града Корсуни».

3) ГБЛ, собр. Тихонравова, № 395. Сборник скорописью петровского времени, 4°. Л. 164—169: повести без заглавия. Начало: «В лето 6733 году, июля в 29 день принесен бысть чюдотворный образ великаго чюдотворца Николая в Заразск ис преименитаго града Корсуни».

4) ГИМ, Епархиальное собр., № 690. Сборник, XVIII в., 4°. Л. 123—135 об.: «Повесть о принесении многочудеснаго образа, иже со святых отца нашего Николаа архиепископа Мирликийских чудотворца, из Корсуня града в пределы Рязанския земли во град Зарайск».

5) ГПБ, собр. Погодина, № 1623. Сборник, скорописью XVIII в., в лист. Л. 103—106: повести без заглавия. Начало: «В лето 6733 году 20-му июля в 29 день принесен бысть чюдотворный образ великаго чюдотворца Николы во град Зарасск ис преименитого града Карсуни».

6) Архив ЛОИИ, № 232. Сборник, скорописью конца XVIII в., 4°. Л. 1—5 об.: повести без заглавия. Начало: «Лета от сотворения света 6733, а от воплощения бога слова 1225 года, месяца июлиа в 29 день принесен бысть чудотворный образ великаго святителя Николая во град Зарайск из преименитаго града Корсуня».

7) ГБЛ, собр. Ундольского, № 412. Рукопись XIX в. (первой половины) на 15 л. в отдельном переплете. На обороте верхней крышки переплета надпись рукою Ундольского о том, что она куплена «у Сухаревой башни» 21 ноября 1854 г. Заголовок (л. 1):

«Повесть о принесении чюдотворнаго образа великаго святителя и чюдотворца Николы во град Зарайск из Корсуня града». Заключается рукопись проложной редакцией той же повести на л. 14—15.

8) ГИМ, Епархиальное собр., № 545. Рукопись XIX в., полуустав, 4°. Л. 1 — изображение иконы Николы Зарайского. Л. 2—22: «Повесть о принесении чудотворного образа, великаго святителя и чудотворца Николы во град Зарайск из Корсуня града». Заключается рукопись тропарем Николе чудотворцу (л. 23) и каноном ему же (л. 23 об.), приписанными другим почерком.

Кроме того известны следующие списки повести:

1) ГИМ, собр. Уварова, № 1363. Хронограф редакции 1601 г. (по выкладке в статье об отложении мяс). Скорописью XVII в., в лист. Л. 806—816: «Приход образа Николы Зарайского, како приде в пределы Рязанския ко князю Федору Юрьевичу Рязанскому».

2) ГБЛ, собр. Большакова, № 305, 4°, полуустав начала XVIII в. Сборник описан: Орлов А. С. Исторические и поэтические повести об Азове. М., 1906.

3) ГБЛ, собр. Шибанова, сборник начала XIX в. Л. 128—133.

4) Гослитмузей, № 2975.

Укажем, кроме того, печатные издания повестей:

1) Пролог — все издания начиная со второго — 1662 г., где Повесть о Николе Заразском напечатана впервые.

2) Летописец, напечатанный в Московской Синодальной типографии в 1791 г. (Русский временник, хронографическая редакция).

3) Русский временник, ч. 2. М., 1820 (хронографическая редакция).

4) Сахаров И. Сказания русского народа. 3-е изд. СПб., 1841, т. 1, кн. 4, с. 46—56 (хронографическая редакция).

5) Чудотворный образ Николы Заразского. М., 1860 (пересказ церковной редакции).

6) Ундольский В. Приход чудотворного Николина образа Зарайскаго, иже бе из Корсуня града в пределы Рязанские. — Временник ОИДР, XV. М., 1852, отд. II, с. 11—21 (вторая редакция по списку XVI в.) — по-видимому, собр. Погодина, № 1594, но с некоторыми отличиями (см. ТОДРЛ, М.; Л., 1947, т. 5, с. 57, примеч.).

7) Бочарников С. Зарайск. М., 1865 (пересказ по списку церковной редакции).

8) Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. СПб., 1867, т. 39, с. 77—90 («сводный текст», неоднократно перепечатывавшийся).

9) Зарайский Николаевский собор. Рязань, 1878, с. 65—88: «Повесть о образе Николая Чудотворца» (пересказ церковной редакции). 2-е изд. 1892 г.

10) Добролюбов И. Сказание о перенесении образа св. Николая из Корсуня в Зарайск в 1225 г. М., 1891. Изд. по списку Рязанской Архивной комиссии (церковная редакция).

М. В. Щепкиной любезно указаны мне следующие номера рукописей ГИМ, содержащих повести о Николе Заразском: Барсова, № 940 и № 1472, Черткова, № 313, Вострякова, № 925, Епархиального собр., № 545 и № 690. В. И. Малышеву я обязан указаниями на следующие рукописи: ГБЛ, собр. Овчинникова, № 712; собр. Никифорова, № 501; собр. Шибанова, Гослитмузея, № 2975 и ЛОИИ, № 232. За эти указания приношу М. В. Щепкиной и В. И. Малышеву глубокую благодарность.

К ИСТОРИИ СЛОЖЕНИЯ «ПОВЕСТИ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ»

Как известно, «Повесть о разорении Рязани Батыем» входит в целый цикл рязанских повестей о Николе Заразском.[1] В этом цикле соединены произведения: «Повесть о принесении иконы Николы Заразского из Корсуня», «Род служителей иконы Николы», «Повесть о разорении Рязани Батыем», Похвала роду рязанских князей, так называемое «Коломенское чудо», и часто присоединяемая к этому циклу Повесть об убиении Батыя. Все эти произведения созданы в различное время и различными авторами, но даже сами по себе они не однородны. Неоднородна, в первую очередь, «Повесть о разорении Рязани Батыем».[2] Ясно, что она пережила сложную литературную историю в составе цикла, а, может быть, еще до своего включения в него.

Изучение литературной истории «Повести о разорении Рязани Батыем» сильно затрудняется, однако, тем, что древнейший ее список — не старше XVI в. (ГБЛ, Волоколамское собр., № 523). На помощь приходит, однако, изучение взаимоотношений «Повести о разорении Рязани» с другими произведениями русской литературы: Повесть уже в XIII, XIV и XV вв. оказала влияние на ряд памятников и в свою очередь сама испытала их влияние, а также воздействие идей и стилей, характерных для той или иной эпохи.

Исключительный интерес для выяснения древнейших этапов сложения «Повести о разорении Рязани Батыем» имеет Синодальный список Новгородской I летописи, где под 1238 г. читается рассказ о нашествии монголо-татар на Рязань. Рассказ этот читается в той части Синодального списка, которая в последнем научном его издании, выполненном А. Н. Насоновым под редакцией М. Н. Тихомирова, определена как относящаяся к первой половине XIV в.[3]

Рассказ содержит целый ряд текстуальных совпадений с «Повестью о разорении Рязани Батыем».

Синодальный список Новгородской I летописи	Повесть о разорении Рязани
В то лето придоша иноплеменьници, глаголемии татарове, на землю Рязаньскую, множьство бещисла,	Прииде безбожный царь Батый на Рускую землю со множеством вои татарскими, и ста на реке на Воро-

---

[1] Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском: (тексты). — ТОДРЛ, М.; Л., 1949, т. 7, с. 257—406. В дальнейшем все ссылки на текст «Повести о разорении Рязани» по этому изданию.

[2] Там же, с. 257—264.

[3] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А. Н. Насонова; отв. ред. М. Н. Тихомиров. М.; Л., 1950, с. 5. В дальнейшем все ссылки на Новгородскую I летопись по этому изданию.

акы прузи; и первое пришедше и сташа о Нузле, и взяша ю, и сташа станомь ту. И оттоле послаша послы своя, жену чародеицю и два мужа с нею, к князем рязаньскым, просяче у них десятины во всемь: и в людех, и в князех, и в конех, во всякомь десятое (с. 74).	няже. И посла на Резань к великому князю Инъгоревичю Резанскому послы безделны, просяще десятины во всех во князех, и в людех, и в конех (с. 308).
И рекоша им князи: «Олна нас всех не будать, тоже все то ваше будеть» (т. 74).	Благоверный же князь Федор Юрьевичь посмеяся и рече царю: «Не полезна бо есть нам крестьяном тебе нечестивому царю и безбожну водити жены своя на блуд. Аще нас преодолеешь, то и женами нашими владсти начнеши» (с. 309).
Послаша же рязаньстии князи к Юрью Володимирьскому, просяче помочи, или самому поити. Юрьи же сам не поиде, ни послуша князии рязаньскых молбы, но сам хоте особь брань створити. Но уже бяше божию гневу не противитися, яко речено бысть древле Исусу Наугину богомь; егда веде я на землю обетованую, тогда рече: Аз послю на ня преже вас недоумение, и грозу, и страх, и трепет. Такоже и преже сих отъя господь, у нас силу, а недоумение и грозу, и страх, и трепет вложи в нас за грехы наши (с. 74—75).	И после вскоре во град Владимер к великому князю Юрью ко Всеволодичю Владимерскому, прося помощи у него на безбожного царя Батыя, или бы сам пошол. . . Князь великий Юрьи Всеволодич Владимерской сам не идяше, не послуша совета резанского, хотя сотворити о себе брань з Батыем. Но противу гневу божию хто постоит, страха и трепету сиа вся паиде грех ради наших (с. 310).
Тогда же иноплеменьници погании оступиша Рязань и острогомь оградиша и. . . Татарове же взяша град месяца декабря в 21, а приступили в 16 того же месяца. Такоже избиша князя и княгыню, и мужи и жены и дети, черньца и черноризиць, иерея, овы огнемь, а инех мечемь, поругание черницам и попадьям и добрым женам и девицам пред матерьми и сестрами (с. 75).	И обступиша град Резань, и начаша битися прилежно, и бишася у града пять дней неотступно. . . и взят бысть град Резань месяца декабря в 21 день. И пожегоша весь град и княгиню великую со снохами и с прочими княгинями во церкви соборней мечи изсекоша, иерея и черноризцов до останка изсекоша. . . (с. 313).

Впервые на сходство «Повести о разорении Рязани Батыем» и летописной статьи 1238 г. Новгородской I летописи обратил внимание В. Л. Комарович в статье «Рязанский летописный свод XIII в.».[4] В. Л. Комарович считал, что в различных летописях сохранились остатки рязанского свода князя Ингваря Ингоревича. В частности, он предполагал, что не только рассказ о нашествии Батыя на Рязань в Новгородской I летописи, но и рассказы в Лаврентьевской, Ипатьевской, Троицкой и др. восходят к рязанскому летописанию. Однако следует сказать, что рассказ Новгородской I летописи о нашествии Батыя на Рязань не похож ни на один другой рассказ летописей о нашествии на Рязань,

---

[4] История русской литературы: В 10-ти т. М.; Л., 1945, т. 2, ч. 1, с. 74—77.

кроме тех, которые имеют непосредственную генетическую зависимость от него. Отмечу, в частности, что рассказ Ипатьевской летописи о нашествии татар на Рязанскую землю не имеет ничего общего с рассказом Новгородской I. Некоторое, отдаленное сходство рассказа Лаврентьевской летописи о нашествии на Рязань [5] и Новгородской I решительно разбивается о то до сих пор незамеченное обстоятельство, что в основной своей части это сообщение повторяет слова и выражения Повести временных лет о мучениях, которым русские подвергали греческое население по обе стороны пролива Суд в 941 г. Рассказ Лаврентьевской летописи 1237 г. настолько близок к ее же рассказу 941 г., что даже сохраняет детали, имеющие реальное значение лишь для 941 г.

Лаврентьевская летопись 941 г.	Лаврентьевская летопись 1237 г.
. . . и всю страну Никомидиискую попленивше и Суд весь пожьгоша. Их же емше овех растинаху, другия аки странь поставляюще и стреляху в ня, изимахуть опаки руце съвязывахуть, гвозди железныи посреди главы въбивахуть их. Много же, святых церквии огнем предаша, монастыре и села пожьгоша и именья *немало от обою страну взяша* (вып. 1, стб. 44).	. . . и до Проньска попленивше Рязань весь и пожгоша, и князя их убиша, их же емше овы растинахуть, другыя же стрелами растреляху в ня, а ини опакы руце связывахуть. Много же святых церкви огневи предаша, и манастыре и села пожгоша, именья *не мало обою страну взяша* (вып. 2, стб. 460).

Это «обою страну» могло касаться только пролива Суд, его обеих сторон, но не Рязанской земли.

Ясно, что рассказ Лаврентьевской летописи не мог принадлежать рязанцу. О князе рязанском сказано там как о постороннем: «князя их убиша». Рассказ Троицкой летописи, как и некоторых других, соответствует рассказу Лаврентьевской. Между тем рассказ Новгородской I летописи действительно указывает на рязанца как на своего составителя: «И кто, братье, о сем не поплачется, *кто ся нас остал живых*. . . Да и *мы то видевше*, устрашилися быхом. . .» (с. 75). Косвенно указывает на рязанское происхождение рассказа Новгородской I летописи и то обстоятельство, что Рязань названа в нем просто «град», даты подхода татар к Рязани и взятия города указаны совершенно точно (16 декабря и 21 декабря).

Вся статья 1238 г. в Новгородской I летописи носит компилятивный характер: сперва в ней помещен рязанский рассказ, потом рассказ о взятии Владимира, сходный с Лаврентьевской летописью и восходящий, очевидно, к ростовскому летописанию, затем — выдержка из Поучения о казнях божиих, читающегося в Повести временных лет под 1068 г.

---

[5] ПСРЛ, т. 1. Лаврентьевская летопись, вып. 1. Л., 1926; вып. 2. Л., 1927. В дальнейшем все ссылки по этому изданию.

Рязанское происхождение рассказа в Новгородской I летописи согласуется с тем, что в той же летописи под 1218 г. читается и другой рязанский рассказ: об убийстве рязанскими князьями Глебом и Константином своих родственников. На его рязанское происхождение указывает не только содержание, но и обособленность от остального изложения в Новгородской I летописи, ряд подробностей чисто местных, страстность прямого обращения к одним рязанским князьям с обличением их злодеяний и идеализация других.

Есть основание думать, что перед нами не два случайно и независимо друг от друга попавших в Новгород рязанских рассказа, а остатки рязанской летописи. Об этом свидетельствуют в первом рассказе обещание поведать о смерти князя Ингваря, точность дат, имен, перечислений и пр.

Итак, в Новгородской I летописи сохранились под 1218 и 1238 гг. остатки рязанской, весьма литературно украшенной и полной страстного обличительного пафоса летописи. Теперь обратим внимание на то обстоятельство, что в «Повести о разорении Рязани» также наличествуют остатки летописной формы и летописного стиля: «В лето 6745. . .» (с. 308); «месяца декабря в 21 день. . .» (с. 313); «И бысть радость крестьяном, их же избави бог рукою своею къръпкою от безбожных тотар» (с. 321) и пр.

Нет оснований думать, что рассказ Новгородской I летописи зависит от «Повести о разорении Рязани Батыем». Он отличается от него некоторыми историческими деталями в перечислении имен князей и имеет некоторые живые подробности, которых нет в «Повести о разорении Рязани» (в частности, о татарских послах сообщена любопытная подробность, что среди них была «жена чародеица», сообщается, что татары, обступив Рязань, «острогом оградиша и» и др.).

Можно, скорее всего, думать, что оба повествования — Новгородской I летописи и «Повести о разорении Рязани» — восходят к единому источнику, который в Новгородской I летописи был, возможно, значительно сокращен, а в «Повести о разорении Рязани» расширен вставками. В связи с этим укажем на следующее. Рассказ Новгородской I летописи представляет по своему составу законченное целое. Он оканчивается обычным для такого рода повествований нравоучительным заключением: «И кто, братье, о семь не поплачется, кто ся нас остал живых, како они нужную и горкую смерть подъяша. Да и мы то видевше, устрашилися быхом и грехов своих плакалися с въздыханиемь день и нощь; мы же въздыхаем день и нощь, пекущеся и о имении и о ненависти братьи» (с. 75). После этого следуют слова, указывающие на обращение летописца к другому источнику: «Но на предлежащая възвратимся» (с. 75).

По общему ходу изложения в «Повести о разорении Рязани» далее должен был бы идти рассказ о подвиге Евпатия Коловрата. Но он не нашел в Повести своего отражения, и это не случайно. Не встречается он и во всех тех памятниках конца XIV и XV вв.,

на которые повлияла «Повесть о разорении Рязани». Отсюда можем предполагать, что рассказ о Евпатии — позднейшая вставка, весьма возможно, сделанная на основании фольклорных источников.[6] Не было в «Повести о разорении Рязани» и рассказа о гибели князя Федора, его жены Евпраксии и сына Федора. Он носит вставной характер и дважды нашел отражение в Повести, очевидно, по недосмотру компилятора. Не было и плача Ингваря Ингоревича, так как он создан явно под влиянием позднейшего плача Евдокии из «Слова о житии и преставлении царя русского и великого князя Дмитрия Ивановича». Характер вставки носит и рассказ о гибели Олега Красного.[7] Если мы исключим из «Повести о разорении Рязани» все эти вставки, то получим приблизительно то самое содержание, которое отразилось в рассказе Новгородской I летописи о нашествии Батыя на Рязанскую землю. Различие будет только в именах князей и в изображении их похорон. Очень может быть, что это различие также возникло в результате вставок и изменений в «Повести о разорении Рязани» под влиянием местных памятников: в число убитых составитель позднейшей версии Повести включил всех князей, имена которых он смог прочесть на могильных надписях в Успенском соборе старой Рязани или в рязанском княжеском помяннике.[8]

Итак, по нашим предположениям, в основе «Повести о разорении Рязани Батыем» лежит рассказ рязанской летописи, отразившийся в своей наиболее древней версии в первой половине XIV в. в Синодальном списке Новгородской I летописи под 1238 г. и дополненный впоследствии в Повести в разное время фольклорными данными, данными местных легенд и сведениями, почерпнутыми из эпиграфических памятников.

1963

---

[6] Песня о Евпатии Коловрате. — В кн.: Путилов Б. Н. Русский историко-песенный фольклор XIII—XVI веков. М.; Л., 1960, с. 58—63.

[7] См. об этих вставках: Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском, с. 141.

[8] Воинские повести древней Руси / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1949, с. 141.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА «ПОВЕСТИ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ» В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XV в.

Истинно художественное произведение создает образы, надолго входящие в сознание народа, обладающие особой властностью, создающие прочные представления об эпохе, событиях или явлениях, которые они обобщают. К таким произведениям принадлежит и «Повесть о разорении Рязани Батыем».

Литературная судьба «Повести о разорении Рязани Батыем» весьма примечательна. Возникнув как произведение узкоместное, рязанское, в конце XIII или первой половине XIV в., оно включилось затем в общее развитие русской литературы, навсегда оставшись в ней одним из лучших художественных обобщений трагического для русского народа Батыева нашествия. Образы, символы, отдельные формулы этого произведения отразились в «Повести о нашествии Тохтамыша на Москву», «Слове о житии и преставлении царя русского Дмитрия Ивановича», «Сказании о Мамаевом побоище», «Степенной книге», «Русском временнике», «Повести об Азовском осадном сидении казаков» и др. Они остаются действенными и поныне. Поэтический перевод «Повести о разорении Рязани Батыем» на современный русский язык Ивана Новикова, повесть Д. Яна «Батый», повесть В. Ряховского «Евпатий Коловрат», «Повесть о приходе Батыя на Рязань, о Евпатии Коловрате и князе Игоре Игоревиче» В. Васильева свидетельствуют о художественной действенности этого произведения и для современной советской литературы.

В настоящей статье рассматривается только самый первый этап в литературной истории Повести и ее традиций. В дальнейшем я предполагаю продолжить это рассмотрение.

1

Как известно, древнейший список «Повести о разорении Рязани Батыем» относится к сравнительно позднему времени — к XVI в. (ГБЛ, Волоколамское собр., № 526). Это значительно затрудняет изучение текста повести и реконструкцию ее первоначального вида. Вот почему чрезвычайно существенно выявить отражение повести в древнейших памятниках.

До сих пор не обращало на себя внимания то обстоятельство, что одна из лучших летописных повестей конца XIV или начала XV в. — «Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву», читающаяся в Новгородской IV летописи под 1382 г., содержит ряд реминисценций из «Повести о разорении Рязани Батыем». Приведу эти реминисценции параллельно с текстом «Повести о разорении Рязани».

ТАБЛИЦА СЛИЧЕНИЙ

Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву (редакция Новгородской IV летописи)	Повесть о разорении Рязани Батыем (редакция основная *А*)[1]
1) . . . и гнаша в след его неколико днии. . . и поидоша по дорозе его, с тщаниемь, и постигоша его близ придел Рязаньскиа земля (с. 327; в Софийской I летописи: близ предел рязаньских).[2]	1) . . . и сретоша его близ придел резанских (с. 290). И погнаша во след безбожного царя и едва угнаша его в земли Суздалстей (с. 293).
2) . . . нача сбирати воя и съвокупляти полки своа (с. 328).	2) . . . и начаша совокупляти воинство свое и учредиша (с. 289; в редакции основной *Б*: начаша совокупляти войсво свое и укрепляти, с. 310).
3) . . . безбожнии бо силою разбиша двери церковьныя и сих мечи иссекоша (с. 334).	3) . . . и приидоша в церковь собръную пресвятыа Богородици и великую княгиню Агрепену матерь великаго князя, с снохами и с прочими княгинеми мечи исекоша (с. 292).
4) . . . многи монастыри разориша, и многи церкви раздрушиша; в святых церквах убийство сдеяша, и в священных олтарех кровопролитие сътвориша (с. 334).	4) А храмы божиа разориша, и во святых олтарех много крови пролиаша (с. 229).
5) И бяше дотоле преже видети была Москва град велик, град чюден, град многочловечен, в нем же множество людьи, в нем же множество огосподьства, в нем же множество всякого узорочья; и паки в единомь часе изменися видение его, егда взят бысть и посечен и пожжен, и нечего его видети, развеи токмо земля и персть, прах, попел, трупья мертвых многа лежаще, и святыя церкви стояще аки разорены, аки осиротевше, аки овдовевше (после изложения плача Церкви далее следует): Вси лежать, вси уснуша и почиша, вси посечени быша и изьбьени, усечениемь меча умроша; несть позвонение в колоколы ни в било, несть зовущаго ни текущаго, не слышати в церкви гласа поюща, ни слышати славословиа и хвалословлениа, не бысть в церквах стихословиа и благодарениа; въистинну	5) Сий бо град Резань и земля Резанская изменися доброта ея, и отиде слава ея, и не бе в ней ничто благо видети — токмо дым (и земля — редакция основная *Б*) и пепел, а церкви все погореша, а великая церковь внутрь погоре и почернеша. Не един бо сий град пленен бысть, но и инии мнози. Не бе бо во граде пениа, ни звона, в радости место всегда плач творяще. Князь Ингварь Ингоревич поиде и где побьени быша братья его от нечестиваго царя Батыа: великий князь Юрьи Ингорович Резанской, брат его князь Давид Ингоревич, брат его Всеволод Ингоревичь и многиа князи месныа, и бояре и воеводы, и все воинство, и удалцы и резвецы, узорочие резанское. Лежаша на земли пусте, на траве ковыле, снегом и ледом померзоша, ником брегома. От зверей телеса их снедаема, и от множе-

[1] «Повесть о разорении Рязани Батыем» цит. по: Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском. — ТОДРЛ, Л., 1949, т. 7, с. 257—406. «Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву» цит. по: Новгородская четвертая летопись, вып. 2. ПСРЛ, Л., 1925, т. 4, ч. 1.

[2] В основном списке Новгородской IV летописи стоящих в скобках слов нет; они дополнены по другим спискам. Софийская I летопись цит. по: Софийские летописи. — ПСРЛ, СПб., 1855, т. 6.

суета чловеческаа и бысть мятеж чловеческий; сице же бысть конець Московьскому пленению. Не токмо же едина Москва взята бысть тогда, но и прочии гради и страны плենени быша (с. 336—337).	ства птиц разъстерзаемо. Все бо лежаша, купно умроша, едину чашу пиша смертную (с. 296—297; далее следует плач Ингваря Ингоревича).
6) Кто бо не въсплачется таковыа погибели градныа? Кто не жалуеть толика народа людси? Кто не потужить о селице множестве крестьян? Кто не сетуеть сицеваго плененна и съкрушенна? (с. 338; далее — похороны мертвых).	6) Кто бо не возплачетца толикиа погибели, или хто не возрыдает о селице народе людей православных, или хто не пожалит толико побито великих государей, или хто не постонет таковаго пленения? (с. 296; далее — похороны мертвых).

Итак, связь «Повести о нашествии Тохтамыша» с «Повестью о разорении Рязани Батыем» несомненна. Какая же из этих повестей на какую повлияла?

Бесспорно, что «Повесть о разорении Рязани» древнее конца XIV в., иначе говоря, древнее и «Повести о нашествии Тохтамыша на Москву». Сходные места обеих повестей органически входят в состав «Повести о разорении Рязани», они не могут быть отнесены к элементам только внешнего оформления (в последнем случае можно было бы предполагать, что «Повесть о нашествии Тохтамыша» повлияла только на самое оформление «Повести о разорении Рязани» в конце XIV—начале XV в.).

Непосредственное наблюдение над текстом также с бесспорностью убеждает в том, что «Повесть о разорении Рязани» первична по отношению к «Повести о нашествии Тохтамыша». Текст «Повести о разорении Рязани», за исключением плача Ингваря Ингоревича, не повлиявшего на «Повесть о нашествии Тохтамыша» (о плаче Ингваря Ингоревича см. выше), лишен каких бы то ни было элементов стиля времени второго южнославянского влияния. «Повесть о нашествии Тохтамыша» это влияние испытала и, в частности, одно место из «Повести о разорении Рязани» переработала именно в этом роде.

Мы не случайно выбрали для сличений с «Повестью о разорении Рязани» редакцию «Повести о нашествии Тохтамыша», заключенную в Новгородской IV летописи. Вместе с Софийской I Новгородская IV летопись составляют особую группу летописей, от которой зависят многие другие русские летописи XV и XVI вв. Относительно более древний текст «Повести о нашествии Тохтамыша» читается в Симеоновской летописи и Рогожском летописце, отражающих несколько более ранний этап летописания. И вот зависимость «Повести о нашествии Тохтамыша» в редакции Новгородской IV летописи от «Повести о разорении Рязани» осложняется тем обстоятельством, что более древняя редакция «Повести о нашествии Тохтамыша», читающаяся в Симеоновской летописи и в Рогожском летописце,[3] также уже испытала некоторое (го-

[3] «Повесть о нашествии Тохтамыша» в Симеоновской летописи (ПСРЛ, СПб., 1913, т. 18) почти полностью совпадает с Повестью в Рогожском лето-

раздо меньшее) влияние «Повести о разорении Рязани». За исключением одного места, о котором будет сказано ниже, все реминисценции «Повести о разорении Рязани», имеющиеся в редакции «Повести о нашествии Тохтамыша» Симеоновской летописи и Рогожского летописца, читаются также и в редакции Новгородской IV летописи. Приведу эти реминисценции полностью по Симеоновской летописи:

. . .и гнаша в след его, и переехаша дорогу его на Серначе и поидоша в след его, и постигоша его на Рязани (с. 132; ср. № 1 в таблице сличений).

Людие христиане, сущии в граде затворишася в церквах зборных каменых. Татарове же силою разбиша двери церковныа и сих мечи изсекоша, а другиа оружием до конца смерти предаша, церкви сборныя разграбиша. . . (с. 132, ср. № 3 в таблице сличений).

В церквах же и в олтарех убийство съдеаша и кровопролитья сътвориша окааннии, и святая места погании оскверниша (с. 132, ср. № 4 в таблице сличений).

Отшедшим же татаром и потом не по многех днех князь великий Дмитрий Ивановичь и брат его князь Володимер Андреевичь с своими бояры въехаша в свою очину в град Москву, и видеша град взят и огнем пожжен, и церкви разорены, а людей мертвых множество безчисленое лежащих, и о сем зело съжалишаси, яко расплакатися има (с. 133; далее следует рассказ о похоронах мертвых; ср. № 6 в таблице сличений).

В последнем примере сходство «Повести о нашествии Тохтамыша» с «Повестью о разорении Рязани» полнее, чем в более поздней редакции Новгородской IV летописи. В этой последней летописи заимствование из «Повести о разорении Рязани» продолжается несколько дальше, чем в Симеоновской и в Рогожской. Сокращение заимствования — дело вполне обычное, но дополнение заимствования в новой редакции по старому источнику очень редко и требует объяснений.

Для того чтобы разобраться во взаимоотношении «повести о нашествии Тохтамыша на Москву» в обеих ее основных редакциях с «Повестью о разорении Рязани Батыем», необходимо в первую очередь сличить тексты обеих редакций «Повести о нашествии Тохтамыша» и выяснить, как они относятся друг к другу. Данные этого сличения показывают, что перед нами отнюдь не две самостоятельные повести, как это считалось некоторыми исследователями,[4] а одна повесть, но в двух редакциях. Текст повести в Новгородской IV летописи в три раза превосходит размером текст повести в Симеоновской летописи (и, разумеется, в Рогожском летописце). Но при этом текст повести Новгородской

писце. Незначительные разночтения указаны в издании Рогожского летописца: ПСРЛ, Пг., 1922, т. 15, вып. 1, с. 142—146.

[4] Тихомиров М. Н. Древняя Москва. М., 1947, с. 192, раздел «Повести о Тохтамышевом разорении» (впрочем, термин «повести» употребляется М. Н. Тихомировым условно; в дальнейшем они называются и повестями, и сказаниями).

IV летописи почти целиком сохраняет в своем составе текст повести Симеоновской летописи, которая составляет как бы сюжетный костяк повести в Новгородской IV летописи. При всех иных условиях мы могли бы предположить, что Новгородская IV летопись присоединила к первоначальному рассказу о нашествии Тохтамыша какой-то другой, существовавший отдельно. Однако редакция Новгородской IV летописи не знает дублировок,[5] не знает типичных для всякого рода соединений самостоятельных повествований явлений. Перед нами простое расширение предшествующего текста, выполненное при этом, по-видимому, самим летописцем, дополнившим и развившим от себя предшествующий летописный текст, а не соединившим его с каким-то другим самостоятельно существовавшим произведением о тех же событиях.

В одном случае вставка текста сделана при помощи соединительной фразы («Сим же тако бывающим. . .», с. 332). Иногда вставки искусственно разрывают связный текст. При переделке повести появились и некоторые неполадки. Так, например, в Симеоновской летописи сказано, что Остея убили «пред спы града» (т. е. перед его валами, с. 132), в Новгородской IV малопонятное «спы» заменено на «враты»: Остея убивают «пред враты града» (с. 332). Искажен в Новгородской IV и счет денег, выплаченных князем Дмитрием Ивановичем за уборку трупов. В Симеоновской летописи сказано: «и даваста от 40 мертвець по полтине, а от 80 по рублю» (с. 133), а в Новгородской IV счет иной и неверный: «и даяста от 40 по полтыне, а от 50 по рублю» (с. 338).

Вторичность текста Новгородской IV летописи не подлежит, следовательно, сомнению.

В основном вставки в текст предшествующей редакции (читающейся в Симеоновской летописи) касаются в новой редакции внутренних событий, разразившихся в городе. Любопытно, что описание городских волнений в Москве сделано не без влияния новгородских летописей, где эти описания достигают значительного мастерства и некоторой устойчивости в формулировках.

Идейная сторона переделки «Повести о нашествии Тохтамыша» также не противоречит тому положению, что перед нами

---

[5] В основном списке Новгородской IV летописи князя Остея убивают дважды: один раз — перед городскими воротами, вторично — во время крестного хода, вышедшего навстречу татарам: «прежде всех убьен бысть князь их Остей пред градом» (с. 332). Однако дублировки текста другим рассказом в данном случае определить нельзя; в некоторых других списках слова «всех» нет, и текст следует понять так, что Остей был убит раньше («прежде»). Именно это последнее чтение и следует принять за древнейшее. Такое понимание подтверждается и текстом Софийской I летописи, где, как мы уже сказали, «Повесть о нашествии Тохтамыша» читается в той же редакции, что и в Новгородской IV: «князь Остей преже того убиен бысть пред градом» (Софийские летописи, с. 101). Следовательно, вторичная смерть Остея в некоторых списках Новгородской IV (а от нее и в других поздних летописях, в том числе, например, и в Ермолинской) является результатом простой небрежности переписчиков, а не соединением двух произведений, дающих две разные версии одного и того же события.

не отдельно составленные повести, а обычное летописное повествование, текст самой летописи.

Для идейной стороны переделки «Повести о нашествии Тохтамыша» в Новгородской IV летописи отметим похвалы московским купцам, находившимся во время начала военных действий Тохтамыша в Болгарах. Они названы «доброхотами», «поборниками» земли Русской (с. 328). Именно они предупреждают великого князя о движении татар на Москву (с. 327). В числе лиц, находившихся в Москве во время осады, опять упоминаются они же: «сурожане, суконники и прочьи купци» (с. 329), «добрии люди» (с. 330). Суконник Адам (очевидно, купец, а не ремесленник, поскольку перед этим говорилось о суконниках-купцах) совершает подвиг, пронзив стрелою сердце некоего «нарочитого» и «славного» татарина (с. 332). В числе ограбленных опять-таки упоминаются «купци, яже суть богатии людье» (с. 334; в Софийской I дается разъяснение к этому месту: «сурожани, суконници», с. 102). Сетуя и ужасаясь, как завзятый купец, подсчитывает автор второй редакции «убытки и напасти и про́торы» (с. 338).

Это отношение к московским купцам составляет оригинальную особенность второй редакции повести.[6]

Кроме того, следует отметить, что в дополнениях к повести в Новгородской IV летописи заключаются те же идеи, что и в других местах московского летописания начала XV в.: «не хотяще Тахтамышь, дабы кто принесл весть на Русь о его приходе, того бо ради вси гости рускиа поимани быша и пограблении и удрьжани, дабы не было вести Руси» (с. 327—328); «ведя́ше же рать внезапу, из невести, умением тацемь же злохитриемь, не дающе вести преди себе, да не услышано будеть на Руси устремление его» (с. 327). Ср. в Симеоновской летописи под 1368 г. характеристику Ольгерда: «И ведяше я (рать. — *Д. Л.*) втаю. Обычай бо бе Олгерду: егда куде придяше на войну, тогда убо никому же не ведущу, но ни воином его, еже камо хощеть ити ратью, ни иже иным опришным или внешним или иноземцем или гостем, яко не дасть уведати на кого идеть, да не услышана будеть дума

[6] Речь может идти именно о сочувствии купцам, но отнюдь не восставшему простому народу, как, однако, думает М. Н. Тихомиров. Последний пишет: «Бросается в глаза и явное сочувствие автора к восставшему народу» и отсюда делает вывод, что автор «возможно, даже сам был горожанином» (Тихомиров М. Н. Древняя Москва, с. 194). Между тем вот что пишет автор второй редакции об этих восставших горожанах: «гражаньстии людие възмятошася и всколебашася, яко пьяни» (Новгородская IV летопись, с. 328); «и бывши промежи ими распре велице» (там же); «и въсташа вечем народи мятежници, *недобрии человеци*, людие *крамолници*; хотящих изыти изь града не токмо не пущааху вон изь града, но и грабьляаху; *ни самого митрофолита постыдешася, ни боляр нарочитых не устрашишася, ни устрамишася седины старець многолетных*. . .» и т. д. (там же, с. 329). Даже самые защитные действия простых людей описываются в этой повести с крайним несочувствием: «И паки възлазяще на град, пьяни суще, шатахуся, ругающеся тотаром *образом бестудным*, досажающе и некаа словеса износяще, исполнь укоризны и хулы» (там же, с. 330). Сходный текст и в Ермолинской летописи.

его в ушью иноземцем, да не изыдеть весть си в ту землю, в нюже рать ведяше. И тако воюя, хитростью искрадываше Олгерд, мнози земли поимал и многа места, и грады, и страны попленил; не толма силою, елико умением воеваша» (с. 108). Под 1377 г. летописец отмечает, что мордовские князья тайно подвели па русскую рать царевича Арапшу: «и внезапу из невести ударища на нашу рать в тыл, бьюще и колюще, и секуще без вести» (там же, с. 119). Подобные же рассуждения о тайной рати встречаются и в «Повести об Едигее» 1409 г.: татары «в тайне покрадають нас» (там же, с. 155), «злохитрено мирують с нами» (с. 156) и т. д.

Таким образом, идеи московского летописания, типичные для свода Киприана 1409 г.,[7] отразились главным образом во второй редакции повести, заключенной в Новгородской IV летописи, представляющей последующий этап летописания — свод Фотия 1418 г. Отсюда ясно, что летописец, переделывавший «Повесть о нашествии Тохтамыша», одним из образцов для себя имел предшествующую московскую летопись.

Из других идейных отличий первой редакции «Повести о нашествии Тохтамыша» от второй отметим критическое отношение к великому князю Дмитрию Донскому, осторожно выраженное в первой и несколько смягченное во второй. Это критическое отношение к Дмитрию Донскому в первой редакции «Повести о нашествии Тохтамыша» опять-таки связывается с «Повестью о разорении Рязани».

В самом деле. Последовательность литературных реминисценций из «Повести о разорении Рязани» в «Повести о нашествии Тохтамыша» в основном совпадает с ходом развития «Повести о разорении Рязани». Это объясняется отчасти тем, что сюжет обеих повестей и лежащие в их основе события до некоторой степени сходны. В этой связи важно отметить, что роль Дмитрия Донского в «Повести о нашествии Тохтамыша» по своему положению в ходе событий близка роли Георгия Всеволодовича Владимирского: первый отказывается оборонять Москву при вести о нашествии Тохтамыша, второй — Рязань при вести о нашествии Батыя.

Приведем оба текста, касающиеся этих отказов, параллельно.

Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву (в редакции Симеоновской летописи)	Повесть о разорении Рязани Батыем (в редакции основной *А*)
И прииде въскоре весть на Москву. Князь же великий Дмитрей Ивановичь, то слышав, что сам царь идеть на него с всею силою своею, не ста на бой, ни противу его поднял руки, противу царя Тахтамышя, но поеха в свой град на Кострому (с. 132).	И услыша великий князь Юрьи Ингоревич Резанский приход безбожнаго царя Батыа, и воскоре посла в град Владимер к благоверному к великому князю Георгию Всеволодовичю Владимерскому, прося помощи у него на безбожнаго царя Батыа, или бы сам пошел. Князь

[7] См. о рассуждениях подобного рода в кн.: Лихачев Д. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947, с. 301—303.

великий Георгий Всеволодович Владимръской сам не пошел и на помощь не послал, хотя о себе сам сотворити брань з Батыем (с. 287).

Непосредственных, словесных совпадений между обоими текстами нет, однако общее положение обоих эпизодов в ходе событий сходно, и это говорит о том, что летописец, имевший перед глазами в качестве литературного образца «Повесть о разорении Рязани Батыем», не мог не осознавать получающегося при такого рода общем положении обоих отказов скрытого упрека Дмитрию Донскому. Во второй редакции «Повести о нашествии Тохтамыша» общее отношение к Дмитрию Донскому отнюдь не враждебное, хотя одним из героев, разбившим татар у Коломны, выступает все же не Дмитрий Донской, а Владимир Андреевич Серпуховской, находившийся к концу княжения Дмитрия Донского в размолвке с последним.[8]

Решительно изменено отношение к Дмитрию Донскому в Софийской I летописи. Здесь редакция «Повести о нашествии Тохтамыша на Москву» та же, что и в Новгородской IV летописи, но некоторые изменения существенны в идейном отношении.

В Новгородской IV летописи Дмитрий Донской думает думу с князьями «и с воеводами и з думцами и велможами и с боляри старейшими» (с. 328), а в Софийской I только с князьями (с. 99). Опущен в Софийской I упрек русским князьям в том, что они не хотели «пособляти друг другу, и не изво́лиша помагати брат брату» (с. 328). Опущен упрек Дмитрию в трусости, имевшийся в Новгородской IV (а также, как мы видели, в Симеоновской): «и убояся стати в лице самого царя и не ста на бой противу его, и не подня руки на царя» (с. 328). В отдельных случаях прибавляется титулование Дмитрия Донского: «великий князь» (с. 103). Дважды опущено упоминание о мятеже в городе, хотя описание самого мятежа сохранено. Вместо упоминания в числе убитых «*черных людей*» (с. 333) в Софийской I сказано, что татары убили «бояр и *честных людей*» (с. 101). Вместо «сотвориша вече» (с. 329) говорится «и сташа суймом» (с. 99). Все это — явные идеологические подновления текста. Однако в ряде случаев текст Софийской I сохраняет отдельные более древние чтения. Так, например, плач церкви, неловко разрывающий заимствования из «Повести о разорении Рязани Батыем», в Софийской I отсутствует, и заимствование из «Повести о разорении Рязани» сохраняет свою первоначальную цельность.

Из приведенных материалов Новгородской IV летописи и Софийской I видно, что оба текста «Повести о нашествии Тохтамыша» не зависят друг от друга, а восходят к третьему, сохраняя каждый по-своему этот первоначальный («третий») текст. Этим третьим текстом, учитывая общую генеалогию летописания XIV—

---

[8] Тихомиров М. Н. Древняя Москва, с. 194.

XV вв., мог быть только свод Фотия 1418 г. (по М. Д. Приселкову; по А. А. Шахматову — уже 1423 г.), так как предполагаемый промежуточный свод 1448 г. был новгородским и московские материалы мог почерпнуть только из свода Фотия 1418 г. Что же касается текста повести, читающегося в Симеоновской летописи и Рогожском летописце и, очевидно, бывшего в сгоревшей Троицкой летописи,[9] то в основе его несомненно лежит свод Киприана 1408 г.

Все остальные виды «Повести о нашествии Тохтамыша», читающиеся в других летописях, являются переработками или комбинациями двух первых редакций: основной в своде Киприана 1408 г. и ее распространения в своде Фотия 1418 г.; причем не исключена возможность, что некоторые детали этих архетипных сводов могли сохраниться лучше в других летописях, чем в Симеоновской и Рогожской летописях, с одной стороны, и Новгородской IV и Софийской I — с другой. Полное текстологическое исследование «Повести о нашествии Тохтамыша» — дело будущего. Для цели настоящей статьи достаточно было ограничиться общими данными истории летописания, поскольку мы выяснили, что отдельной «Повести о нашествии Тохтамыша» не существовало и летописцы, описывавшие события 1382 г., не выходили за пределы обычных приемов своей работы, а отчасти и общей направленности изложения.

Итак, «Повесть о разорении Рязани Батыем» была дважды использована в московском летописании первой четверти XV в.

Первый раз она была использована в своде Киприана 1408 г. Это использование сводом Киприана «Повести о разорении Рязани» должно быть сопоставлено с тем обстоятельством, что в том же своде была использована и рязанская княжеская летопись, доходившая в основном до 1402 г.[10] Не исключена возможность, что «Повесть о разорении Рязани» в составе всего цикла о Николе Заразском читалась именно в этой летописи, чем, может быть, объясняются имеющиеся в ней летописные приемы изложения [11] и использование в ней княжеского помянника.[12]

---

[9] В реконструкции текста Троицкой летописи «Повесть о нашествии Тохтамыша» восстановлена по Симеоновской летописи (Приселков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950, с. 422—423).

[10] Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, с. 131—132.

[11] «В лето 6730. . .»; «В лето 6732»; «В лето 6733. . .»; «В лето 6745. Убиен бысть. . .»; «В лето 6745. . .»; «Благоверный во святом крещении Козма сяде на столе отца своего великаго князя Игоря Святославича. И обнови землю Резаньскую, и церкви постави, и манастыри согради, и пришелцы утеши, и люди собра. И бысть радость християном, их же избави бог рукою своею крепкою от безбожнаго зловернаго царя Батыя. А Кир Михайло Всеволодовича Пронского посади на отца его отчине» (Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском, с. 282, 283, 287 и 301).

[12] Лихачев Д. С. Повесть о разорении Рязани Батыем. — В кн.: Воинские повести древней Руси / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1949, с. 141. В этой же статье см. о связи цикла повестей о Николе Заразском с летописанием — новгородским и рязанским.

Вторично «Повесть о разорении Рязани» была привлечена, как мы видели, в своде Фотия 1418 г. Как известно, свод Фотия в значительной мере использовал вторично и с большей полнотой те же источники, которые использовал и свод Киприана.[13] Следовательно, к числу источников (вернее, в данном случае к числу литературных образцов), дважды использованных в московском летописании начала XV в., следует причислить и «Повесть о разорении Рязани Батыем».

Только этим путем и могло создаться такое редкое в истории текстов древнерусских литературных произведений положение, когда произведение на двух ступенях своего развития дважды подверглось влиянию одного и того же произведения, причем так, что имевшееся в первой редакции заимствование было дополнено (как бы наращено) во второй редакции его продолжением по оригиналу, послужившему источником заимствования и для первой редакции.

В событиях Тохтамышева нашествия, как известно, предательскую роль сыграл Олег Рязанский. И этой предательской роли Олега «Повесть о нашествии Тохтамыша» уделяет серьезное внимание, причем во второй редакции большее, чем в первой. Олег показал путь Тохтамышевой рати, указал татарам броды на Оке, и, изгнав Тохтамыша, Дмитрий Донской послал свою рать на Олега, захватил его землю и «сотворил ее пусту». «Пущши ему бысть и тотарьскиа рати» (Новгородская IV, с. 339), — наставительно замечает летописец. Именно на этих словах заканчивается повествование о нашествии Тохтамыша на Москву. Не следует ли литературные реминисценции автора «Повести о нашествии Тохтамыша» в каком-то отношении сопоставить с этим напоминанием Олегу Рязанскому о татарской рати?

2

Отметим, что среди использованных в «Повести о нашествии Тохтамыша» текстов «Повести о разорении Рязани Батыем» отсутствуют две части последней: похвала роду рязанских князей и плач Ингваря Ингоревича, наличествующие в обеих дошедших до нас древнейших редакциях «Повести о разорении Рязани» (в редакции основной *А* и в редакции основной *Б* обоих видов).

Именно эти части «Повести о разорении Рязани Батыем» имеют точки соприкосновения со «Словом о житии и о преставлении

---

[13] В согласии с выводами А. А. Шахматова М. Д. Приселков пишет: «Иных летописных материалов у сводчика 1418 г., против свода 1408 г., мы не видим. Особенно это ясно при изложении событий XIV в. Здесь налицо все те же летописцы, с которыми имел дело и сводчик 1408 г. Правда, материал этих летописцев в новом своде значительно увеличен рядом новых извлечений из них» (Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв., с. 145).

великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго», помещенным в той же Новгородской IV летописи и в ряде других.

Как уже было отмечено А. И. Соболевским [14] и В. П. Адриановой-Перетц,[15] общие места имеют плач Ингваря Ингоревича и плач вдовы Дмитрия Донского Евдокии. Приведем оба плача параллельно.

Плач Евдокии (по Новгородской IV летописи)	Плач Ингваря Ингоревича в «Повести о разорении Рязани» (редакция основная *А*)
Ведев же его княгини мертва, на постели лежаща, въсплакася горкым гласом, огненыа слезы от очию испущающе, утробою распалающе, в перси своя руками бьюще, яко труба рать поведающи, яко ластовица рано шепчющи, и арганы сладковещающи и глаголющи: Како умре живот мой драгий, мене едину вдд[о]вою оставив? Почто аз преже тебе не умрох? Како заиде свет от очию моею? Где отходиши, скровище живота моего? Почто не промолвиши ко мне, утроба моя, к жене своей? Цвете прекрасныи, что рано увядаеши? Виноград многоплодный уже не подает плода сердцу моему и сладости души моей. Чему, господине мой милый, не възозриши на мя? Чему не промолвиши ко мне? Чему не обратишися на постели своей? Ужели мя еси забыл? Что ради не взираеши на мене и на дети мои? Чему им ответа не даси? Кому ли мене приказываеши? Солнце мое, рано заходиши; месяць мой красный, скоро погибаеши; звездо восточная, почто к западу грядеши? Царю мой милый, како прииму тя, како тя обоиму, или како ти послужю? Где, господине, честь и слава твоя, господьство твое? Господин всей земли Руской был еси, ныне мертв лежащи, никим же владееши; многы страны примирил еси, ныне же смертию побежен еси, изменися слава твоя, и зрак лица твоего превратися в истление. Животе мой,	Видя князь Ингварь Ингоревич великую конечную погибель, грех ради наших, и жалостно вozкричаша, яко труба рати глас подавающе, яко сладкий арган вещающи (с. 295—296). И видя князь Ингварь Ингоревич велия трупиа мертвых лежаша, и воскрича горько велием гласом, яко труба распалаяся, и в перьси свои руками биюще, и ударяшеся о земля. Слезы же его от очию, яко поток, течаше и жалосно вещающи: [16] О милая моа братья и господае! Како успе животе мои драгии! Мене единаго оставиша в толице погибели. Про что аз преже вас не умрох? И камо заидесте очию моею, и где отошли есте сокровища живота моего! Про что не промолвите ко мне — брату вашему, цветы прекрасныи, винограде мои несозрелыи? [17] Уже не подасте сладости души моей! Чему, господине, не зрите ко мне — брату вашему, не промолвите со мною? Уже ли забыли есте мене, брата своего, от единаго отца роженаго, и единые утробы честнаго плода матери нашей — великие княгини Агрепены Ростиславне, и единым сосцом воздоеных многоплоднаго винограда? кому приказали есте меня — брата своего? Солнце мое драгое, рано

[14] Соболевский А. И. К «Слову о полку Игореве». — ИпоРЯС, Л., 1929, т. 2, кн. 1, с. 177—182.

[15] Адрианова-Перетц В. П. Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго. — ТОДРЛ, М.; Л., 1947, т. 5, с. 78—81.

[16] Ср. в редакции основной *Б*: «Видя же то князь Ингварь Ингоревич, и возопи горким гласом, велми ревый, слезы от очию изпущающи, яко струю силну, *утробою разпалающи*, в перси руками бьющи и гласом же, яко труба рати повещающим, яко арган слатко вещающе» (с. 317).

[17] В редакции основной *Б*: «многоплодний» (с. 317).

како намилуюся тебе, како повеселуюся с тобою? За многоценныа багряница худыа сиа и бедные ризы приемлиши: не моего наряда одеяние на себе въздеваеши и за царскый венець худым сим платом главу покрываеши, за полату красную гроб сий приимаеши. Свете мой светлый, чему помрачился еси? Гора великая, како погыбаеши? Аще бог услышить молитву твою, помолися о мне, княгини твоей: вкупе жих с тобою, вкупе ныне и умру с тобою; уность не отъиде от нас, а старость не постиже нас; кому приказываеши мене и дети свои? Не много, господине, радовахся с тобою; за веселие печаль и слезы приидоша ми, за утеху и радость сетование и скорбь яви ми ся. Почто родихся и, родився, преже тебе како не умрох, да бых не ведала смерти тво[е]я, а своея погибели? Не слышиши ли, князь, бедных моих словес? Не смилят ли ся моя горькая слезы? Крепко еси, господине мой драгий, уснул: не могу разбудити тебе; с которыя воины еси пришел? Истомилъся еси велми; звери земнии на ложи свои идуть, а птица небесныя ко гнездом своим летять, ты же, господине, от своего дому не красно отходиши. Кому уподоблюся, како ся нареку? Вдова ли ся нареку? Не знаю аз сего; жена ли ся нареку? остала есмь царя. Старыя вдовы, потешайте мене, а младыа вдовы, поплачите со мною: вдовыя бо беда горчае всех людей. Како ся въсплачю или како възглаголю? Великий мой боже, царь царем, заступник ми буди; пречистая госпоже богородице, не остави мене, в время печали моея не забуди мене. . . Слыши, небо, внуши земли! Како въсплевшу ти и како възглаголю о преставлении твоем? От горести душа язык связается, уста заграждаются, гортань премолкает, смысл изменяется, зрак опустевает, крепость изне[мо]гается; аще ли промолчю, нудить мя язык яснее рещи (с. 358—360).

заходящее, месяци красныи, скоро изгибли есте; [18] звезды восточные, почто рано зашли есте? [19] Лежите на земли пусте, ни ким брегома, чести-славы ни от кого приемлемо! Изменися бо слава ваша. Где господство ваше? Многим землям государи были есте, а ныне лежите на земли пусте, зрак лица вашего изменися во истлении. О милая моя братия и дружина ласкова, уже не повеселюся с вами! Свете мои драгии,[20] чему помрачилися есте? Не много нарадовахся с вами![21] Аще услышит бог молитву вашу, то помолитеся о мне, о брате вашем, да вкупе умру с вами. Уже бо за веселием плач и слезы придоша ми, а за утеху и радость сетование и скръбь яви ми ся! Почто аз не преже вас умрох, да бых не видел смерти вашея, а своея погибели. Не слышите ли [22] бедных моих словес жалостно вещающа? О земля, о земля, о дубравы, поплачите со мною! Како нареку день той или како возпишу его — в он же погибе толико господарей и многие узорочье резанское храбрых удальцев. Ни един от них возвратися вспять, но вси равно умроша, едину чашу смертную пиша. Се бо в горести души моея язык мой связается, уста загражаются,[23] зрак опустевает, крепость изнемогает (с. 297—298).

---

[18] В редакции основной *Б*: «месяц мой красный, скоропогибший».

[19] В редакции основной *Б*, дополнительно: «Где, господине, честь и слава ваша?»

[20] В редакции основной *Б*: «Свете мой светлый».

[21] В редакции основной *Б*, дополнительно: «уность бо не отиде от нас, а старость не постиже нас».

[22] В редакции основной *Б*, дополнительно: «господине».

[23] В редакции основной *Б*, дополнительно: «гортань премолкает, смысл изменястца».

А. И. Соболевский, впервые отметивший сходство плача Евдокии и плача Ингваря Ингоревича, счел плач Евдокии переделкой плача Ингваря, не приведя никакой аргументации. Он писал: «С „плачем“ рязанского князя представляет очень много общего „плач“ вдовы Димитрия Донского по умершему муже. Текст „Слова о Димитрии Донском“ приспособлен к московской обстановке; тем не менее одни и те же выражения, фразы в обоих плачах бросаются в глаза. Можно сказать: московский „плач“ — переделка рязанского».[24]

Против этой точки зрения высказалась В. П. Адрианова-Перетц, приведшая и доказательства обратной зависимости, именно: плача Ингваря Ингоревича от плача Евдокии. В. П. Адрианова-Перетц справедливо отмечает, что гиперболическое описание горя [25] отвечает стилистической манере XV в., но маловероятно в памятнике XIII в. Заимствование из плача Евдокии выдают в плаче Ингваря и отдельные неприспособленные к требуемому смыслом двойственному числу выражения — более уместные в плаче Евдокии, чем в плаче Ингваря.[26]

Отметим попутно, что этих несоответствий в числе гораздо больше в редакции основной *Б* «Повести о разорении Рязани», чем в редакции основной *А*. Редакция основная *Б* ближе плачу Евдокии, чем редакция основная *А*, и в ней поэтому больше несообразных со смыслом плача Ингваря отдельных мест: в частности, употребление по отношению ко многим убитым звательного единственного числа «господине» (трижды), единственного числа «месяц мой красный, скоропогибший» (в редакции основной *А* единственное число заменено на множественное: «месяци красныи, скоро изгибли есте»).

Плач Евдокии имеет много параллелей в литературных памятниках XV—XVII вв.[27] Можно было бы предположить, что плач Ингваря Ингоревича восходит не к плачу Евдокии «Слова о житии и о преставлении», а к какому-то другому, неизвестному нам плачу, вероятнее всего, вдовьему, из которого явился и плач Евдокии. Это предположение тем более правдоподобно, что плач Евдокии своими народными элементами резко выделяется в «Слове о житии и о преставлении» и некоторые списки этого «Слова»

---

[24] Соболевский А. И. К «Слову о полку Игореве», с. 181.

[25] В. П. Адрианова-Перетц делает ссылку на следующее место плача Ингваря: «Видя же то князь Ингварь Ингоревич и возопи горьким гласом, велми ревый, слезы от очию испущающи, яко струю сильную, утробою распалающися, в перси руками бьющи и гласом же яко труба рати поведающи, яко орган сладко вещающи» (Адрианова-Перетц В. П. Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Руськаго, с. 94).

[26] «Како успе, животе мой драгий. . . Како заиде, свете очию моею. . . кому приказываеши мя, солнце мое драгое, рано заходящее, месяц мой красный, скоропогибший (в плаче Евдокии «солнце» и «месяц» — два эпитета, с которыми вдова обращается к умершему мужу; здесь они неудачно разделены). . . свете мой светлый, чему помрачилися есте».

[27] Эти соответствия указаны в работе В. П. Адриановой-Перетц (Слово о житии и о преставлении. . .).

(в частности, тот, что находится в составе Никоновской летописи) не имеют плача Евдокии, что как будто бы позволяет предполагать его вставное происхождение.

Тем не менее есть один признак, по которому мы можем безошибочно определить зависимость плача Ингваря именно от плача Евдокии в составе «Слова о житии и о преставлении». В плаче Ингваря имеется одно очень странное место, до сих пор не обращавшее на себя внимания исследователей: Ингварь говорит: «Како нареку день той или како возпишу его» (с. 298). Непонятно, каким образом любители легких атрибуций не приписали авторство всей «Повести о разорении Рязани» князю Ингварю Ингоревичу: он единственный из князей рязанских остался в живых, он от своего лица описывает как очевидец поле, усеянное трупами, он оплакивает рязанских князей, и он же пишет о себе в первом лице «како воспишу», т. е. прямо указывает на себя как на лицо, собирающееся описать события. Дело, однако, объясняется проще: автор плача Ингваря Ингоревича, переделывая плач Евдокии, не знал, где ему остановиться, и, перешагнув через плач, заимствовал часть материала из самого «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича»: «Слыши, небо, внуши земли! Како въспевшу (в Софийской I: «како въспишу») ти како възглаголю о преставлении твоем? От горести душа язык связается, уста заграждаются, гортань премолкает, смысл изменяется, зрак опустевает, крепость изнемогает; аще ли промолчю, нудить мя язык яснее рещи» (с. 360); весь этот текст в «Слове о житии и о преставлении» дается автором от своего собственного лица, а не от лица Евдокии, но автор переделки «Повести о разорении Рязани» этого не заметил и перенес его в плач Ингваря.

Заимствование выдает и особое место, занимаемое плачем Ингваря в «Повести о разорении Рязани Батыем». В редакции основной *Б*, дающей наиболее близкий к плачу Евдокии вариант плача Ингваря, последний выделен даже особым заголовком: «Плачь князя Ингваря Ингоревича о брати побиенных от нечестиваго царя Батыа» (с. 317). Плач разрывает текст повести, имеющей без него более цельное строение. Неловкость вставки видна и потому, что плач Ингваря Ингоревича повторяется дважды (один раз при въезде в Рязань, другой раз — на поле битвы) и каждый раз вводится сходными выражениями, заимствованными из «Слова о житии и о преставлении».

Редакция основная *А*

Видя князь Ингварь Ингоревич великую конечную погибель грех ради наших, и *жалостно возкричаша, яко труба* рати *глас* подавающе, яко сладкий арган вещающи. И от великаго кричаниа, и вопля страшнаго лежаща *на земли*, яко мертв (с. 295—296).

И видя князь Ингварь Ингоревич велия трупиа мертвых лежаша, и *воскрича горько велием гласом, яко труба* распалаяся, и в перьси свои руками бьюще, и ударяшеся *о земли* (с. 297).

* * *

Весьма сложен вопрос взаимоотношений «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» с «Похвалой роду рязанских князей», читающейся в «Повести о разорении Рязани Батыем». Близость «Слова» и «Похвалы» также несомненна.

Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича (в редакции Новгородской IV летописи)

Сии убо князь Дмитрий родися от благоверну родителю и пречестну, сын князя Ивана Ивановича и матери его великой княгини Александры, внук же бысть православнаго князя Ивана Даниловича, събрателя Руской земли, корени святаго и богом насаженаго [саду], отрасль благоплодна и цвет прекрасный, и царя Володимера,новаго Костянтина, крестившаго Рускую землю, сродник же бысть новому чюдотворцю Бориса и Глеба; въспитан же бысть в благочестии и в славе, с всяцем наказанием духовным, и от самех пелен бога възлюби. Отцю же его великому князю Ивану оставльшу житие света сего и приимъшю небесное селение, сии же оставль млад сый, яко лет 9. . . И приимшу ему скипетр държавный земля Руския, настолование земнаго царства, отчину свою великое княжение, по даней ему благодати от бога, чти же и славы, еще млад сы възрастом, но духовных прилежаше делесех, пустошных бесед не творяше, и срамных глагол не любляше, а злонравных человек отвращашеся, а с благыми всегда беседоваше, а божественых писаний всегда с умилением послушаше, а о церквах божиих вельми печашеся, а стражьбу земли Руской мужеством держаше, злобою младенець обреташеся, а умом всегда съвершен бываше, ратным же всегда в бранех страшен бываше, и многи врагы, въстающа на нь, победи, и славный град Москву стенами чюдно огради, и в всем мире славен бысть, яко и кедр в Ливане умножившеся и аки финикс в древесе процвете. . .
И по браце целомудрено живяста, яко златопрьсистый голубь и сладкоглаго-

Похвала роду рязанских князей (редакция основная *А*).

Сии бо государи рода Владимера Святославича — сродника Борису и Глебу, внучата великаго князя Святослава Олговича Черниговьского. Бяше родом христолюбивыи, братолюбивыи, лицем красны, очима светлы, взором грозны, паче меры храбры, сердцем легкы, к бояром ласковы, к приеждим приветливы, к церквам прилежны, на пированье тщывы, до осподарьских потех охочи, ратному делу велми искусны [на недруги вельми храбры, половцам грозны [28]], к братье своей и ко их посолником величавы. Мужествен ум имеяше, в правде-истине пребываста, чистоту душевную и телесную без порока соблюдаста. Святого корени отрасли, и богом насажденаго сада цветы прекрасныи. Воспитани быша в благочестии [милостивы [29]], со всяцем наказании духовнем. От самых пелен бога возлюбили. О церкрах божиих велмы печашеся, пустошных бесед не творяще, срамных [глагол не любяща, злонравных [30]] человек отвращашеся, а со благыми всегда беседоваша, божественых писаниих всегода во умилении послушаше. Ратным во бранех страшенна являшеся, многия враги, востающи на них, побежаша, и во всех странах славна имя имяща. Ко греческим царем велику любовь имуще, и дары у них многи взимаша. А по браце целомудрено живяста, смотряющи своего спасения. В чистой совести, и крепости, и разума предержа земное царство и к небесному

---

[28] Добавлено из редакции основной *Б*.
[29] Добавлено из редакции основной *Б*.
[30] Добавлено из редакции основной *Б*.

ливая ластовица, с умилением смотряху своего спасениа, в чистей съвести, крепостию разума предръжа земное царьство и к небесному присягая, и плоти угодиа не творяху, аки кормьчи крепок противу ветром волны минуя, направляем вышняго промышлением, и яко пророк на стража божиа смотрениа, тако смотряше своего царствиа. . . И се едино повем от житиа его: тело свое чисто съхрани до женитвы, церковь себе съблюде святому духу нескверну, очима зряще чясто к земли, от нея же взят бысть, душю же и ум простираше к небесе, идеже есть лепо ему пребывати; и по браце съвокуплениа тожде тело чисто съблюде, греху же непричастно. . . Царскый убо сан дръжаша, а аггельскы живяше: постом и молитвою по вся нощи стояше. . . а во чернечьскыа ризы по вся дни желаше облещися; по вся часы честь и славу от всего мира приимаше, а крест Христов на раму ношаше; божественыя дни поста в чистоте храпяшеся, а по вся педпля от святых таин приимаше. . . а княжение великое дръжаше отчину свою лет 29 и 6 месяць, и многы труды показа и победы по правоверной вере, яко ни кто же ин. . . бояре своя любите, честь им достойную въздавающи противу служениа их, без воля их ни что же творите; приветливи будите к всем. . . и мужествовах с вами на многы страпы, и противным страшен бых в бранех. . . (с. 351—357).

приближаяся. Плоти угодие не творяще, соблюдающи тело свое по браце [чисто и [31]] греху непричасна. Государьский сан держа, а посту и молитве прилежаста; и кресты на раме своем носяща. И честь и славу от всего мира приимаста, а святыа дни святого поста честно храпяста, а по вся святыа посты причащастася святых пречистых бесмертных таин. И многи труды и победы по правой вере показаста. А с погаными половцы часто бьяшася за святыа церкви, и православную веру. А отчину свою от супостат велми без лености хранящa. А милостину неоскудно даяше, и ласкою своею многих от неверных царей, детей их и братью к себе приимаста, и на веру истинную обращаста (с. 300—301).

Сравнивая «Похвалу» и «Слово», видим, что «Похвала» отличается цельностью изложения, объединена общим ритмом, не содержит элементов «плетения словес», которые временами широко вторгаются в «Слово», логична от начала и до конца. В «Слове» же, в тех его частях, которые сходны с «Похвалой», можно заметить ряд несообразностей. Слова «и царя Володимера, новаго Костянтина, крестившаго Рускую землю» не связаны со сказуемым. Не связаны со сказуемым слова «чти же и славы, еще млад сы възрастом». Неловкость эта произошла, очевидно, от приспособления текста, заимствованного из «Похвалы», к новому содержанию. К несообразностям привело в «Слове» и соединение текста «Похвалы» с витийственными распространениями из «Слова похвального Сергию Радонежскому»: «И по браце целомудрено живяста, яко златопрьсистый голубь и сладкоглаголивая ластовица».[32]

---

[31] Добавлено из редакции основной *Б*.

[32] В «Слове похвальном Сергию»: «злат персидьский голубь и пречюдная ластовица». Указание это см.: Адрианова-Перетц В. П.

Связность текста «Похвалы» явно нарушена в «Слове» введением многочисленных биографических материалов (в таблице сличений они опущены), внесением повторных реминисценций из нее в обращение Дмитрия к боярам, витийственными распространениями и т. д. Трижды, и не совсем логично, говорится в «Слове» в выражениях «Похвалы» о целомудренной жизни Дмитрия в браке. Цельность «Похвалы» нарушается и в других отношениях. Судя по всему, «Похвалу роду рязанских князей» следует признать первичной, а «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» вторичным. При этом «Похвала» была использована в «Слове» наряду с другими сравнительно поздними многочисленными источниками.[33]

Итак, «Повесть о разорении Рязани Батыем» в части, посвященной похвале роду рязанских князей, повлияла на «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича». Оформившись, «Слово», в свою очередь, оказало воздействие на «Повесть о разорении Рязани», дав начало плачу Ингваря Ингоревича.

К сожалению, недостаточная текстологическая изученность «Слова о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» мешает сделать более точные выводы, связать их с конкретными этапами в жизни «Слова».

* * *

Я не рассматриваю в данной статье влияние «Повести о разорении Рязани» на «Сказание о Мамаевом побоище». Это тема особого, будущего исследования.

Приведенные материалы свидетельствуют о той значительной роли, которую играла «Повесть о разорении Рязани Батыем» в литературной деятельности московских книжников и летописцев первой четверти XV в.

Перед нами один из фактов того оживления интереса к родной старине и национальным традициям, которыми в высокой степени характеризуется конец XIV—начало XV в.

Установленные взаимозависимости позволят в будущем при реконструкции текста «Повести о разорении Рязани Батыем» уточнить взаимоотношение редакции основной *А* и редакции основной *Б* этой повести, выбрать более точно варианты и с бо́льшим основанием, чем это можно было сделать раньше, исключить из текста повести плач Ингваря Ингоревича.

1961

Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго, с. 83.

[33] Литературные источники «Слова» указаны в исследовании В. П. Адриановой-Перетц «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русьскаго» (с. 73—96). Несомненно, что если бы имела место обратная зависимость «Похвалы» от «Слова», то в «Похвалу» проникли бы некоторые элементы позднего происхождения.

«ЗАДОНЩИНА» И «ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ»

В литературе о «Задонщине» было высказано предположение, что в этом произведении отсутствуют книжные влияния и что оно целиком обязано своим происхождением фольклору. Эта точка зрения наиболее подробно обоснована А. И. Никифоровым в докторской диссертации «Слово о полку Игореве — былина XII века»[1] и поддержана С. Н. Азбелевым, повторившим многие из материалов, приведенных А. И. Никифоровым. Однако, если А. И. Никифоров не отрицал влияния на «Задонщину» «Слова о полку Игореве», которое он признавал также фольклорным произведением, то С. Н. Азбелев замалчивает влияние «Слова» на «Задонщину», примыкая в этом отношении к точке зрения скептиков на взаимоотношение обоих произведений.[2] Между тем «Задонщина» явно испытала на себе влияние письменных памятников: во-первых, влияние деловых документов, которое чувствуется во всех списках,[3] а во-вторых,влияние «Слова о погибели Русской земли» (что уже отмечалось для списка *К-Б* в литературе) и «Повести о разорении Рязани Батыем», которое до сих пор исследователями отмечено не было.

Влияние «Повести о разорении Рязани Батыем» на «Задонщину» оправдывается в ней словами крымских фрягов, которые говорят в списке *И—1* бегущему к ним Мамаю: «. . .а не быти тебѣ в Батыя ц[а]ря». События рязанского разорения противостоят событиям «Задонщины» и в известной мере аналогичны и параллельны основному противопоставлению «Слово о полку Игореве» — «Задонщина». Однако в литературном отношении «Слово о полку Игореве» и «Повесть о разорении Рязани Батыем» влияют на «Задонщину» различно. «Задонщина» заимствует из «Слова» образы и формулы: всю, так сказать, словесную орнаментику. Из «Повести о разорении Рязани Батыем» «Задонщина» берет главным образом этикетную последовательность повествования и в гораздо меньшей мере следует ее лексике и образам.

---

[1] РО ИРЛИ, р. V, колл. 120, п. 4.

[2] См.: Азбелев С. Н. Куликовская битва в славянском фольклоре. — В кн.: Русский фольклор. М.; Л., 1968, т. 11, с. 78 и след. Ср. также: Азбелев С. Н. Устные героические сказания о Куликовской битве. — В кн.: Современные проблемы фольклора. Вологда, 1971, с. 35—48. С. Н. Азбелев неправомерно отождествляет тех исследователей, которые считали «Задонщину» фольклорным произведением, и тех, кто говорил о влиянии фольклора на «Задонщину», а также фольклорность «Задонщины» с устным происхождением ее списков (в частности, В. Ф. Ржига и В. П. Адрианова-Перетц объясняли неустойчивость текста «Задонщины» в отдельных ее списках тем, что писцы их писали текст по памяти).

[3] См. об этом: Лихачев Д. С. Черты подражательности «Задонщины». — Русская литература, 1964, № 3, с. 87—95. Списки «Задонщины» обозначаются в дальнейшем: *К-Б* — ГПБ, Кирилло-Белозерское собр., № 9/1086; *И-1* — ГИМ, № 2060; *И-2* — ГИМ, № 3045; *У* — ГБЛ, собр. Ундольского, № 632; *С* — ГИМ, Синодальное собр., № 790.

В тех списках «Повести», которые были известны автору «Задонщины», ей предшествовала, по-видимому, «Похвала роду рязанских князей»,[4] элементы которой отразились в начальной части «Задонщины» — в похвале великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Андреевичу.

Обратимся к рассмотрению конкретных примеров влияния «Повести о разорении Рязани Батыем» на «Задонщину».[5]

В начале «Задонщины» видим отдаленно сходные мотивы с «Похвалой роду рязанских князей».

В «Похвале»: «Сии бо государи рода Владимера Святославича — сродника Борису и Глебу, внучата великаго князя Святослава Олговича Черниговьского» (с. 300). В «Задонщине» этому соответствует: «а внуки с[вя]таго великаго кн[я]зя Владимера Киевскаго» (*У*); «правнука с[вя]т[о]го великог[о] кн[я]зя Владимера Киевскаго» (*И-1*).

Фразеология «Похвалы роду рязанских князей» звучит в «Задонщине» и несколько ниже — там, где Андрей Брянский обращается к Дмитрию Волынскому: «. . .сами есмо собе два браты, с[ы]нов есмо Алгыродовы, а внучата есмо Гедымонтавы» (*С*); и там, где Дмитрий Иванович обращается к Владимиру Андреевичу: «. . .сами есми, а внуки великаго кн[я]зя Владимира Киевскаго» (*У*).

Первый эпизод «Повести о разорении Рязани Батыем» (с него и начинается ряд событий, которым она посвящена) — это приход Батыя на р. Воронеж: «. . .прииде безбожный царь Батый на Русскую землю со множество вой татарскыми, и ста на реце на Воронеже близ Рязанскиа земли» (с. 287).

В «Задонщине» этому эпизоду соответствует приход Мамая «на реку на Мечу». В списке *У* этот эпизод отражен в словах русских князей, съехавшихся «к славному граду Москвѣ»: «. . .У Дуная стоят татаровя поганые, и Момай ц[а]рь на реки на Мечи, межу Чюровым и Михаиловым, брѣсти хотят, а предати живот свои нашеи славѢ» (*У*). Ср. в списке *И-1*: «. . .У Дону стоят татарове поганыи Мамаи на рѣчкы на Мечи, хотят брести и живот свои предати нашеи славѣ» (*И-1*). В списке *К-Б* эти слова сокращены: «. . .уже погании татарове. . . стоятъ межю Დономъ и Днѣпромь, на рицѣ на Чечѣ». В списке *С* слова эти переданы полнее: «. . .У Дону великого стоят татарове поганыи цар[ь] Мамои на реце Мечне, межи Чудовым и Михаиловым, хотят брести к нам и предати живот свои на смерть нашеи славе». Затем список повторяется уже в авторском повествовании: «И притѣкоша сѣрые

[4] В списках «Повести о разорении Рязани Батыем» «Похвала роду рязанских князей» располагается различно: либо в начале ее, либо в конце (см. текст: Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском. — ТОДРЛ, М.; Л., 1949, т. 7, с. 257—406).

[5] Тексты «Задонщины» приводятся по изданию их в сб.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.; Л., 1966, с. 535—556 (указывается только шифр списка). Тексты «Повести о разорении Рязани Батыем» приводятся по изданию: Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском. . . (в скобках указываются страницы по этому изданию).

волцы от устъ Дону и Непра и ставши воют на рекѣ, хотят на Мѣчи поступити в Рускую землю» (*У*). Ср. в списке *И-1*: «И притекоша сѣрые волцы от усть Дону и Непра, ставъши воюют на рецы на Мечи, хотят наступати на Рускую землю». Ср. в списке *С*: «Притекоша ярия волцы но вусти Дона и Непра, ставши выют но реце но Мечи, хотят поити на Рускую землю».

Победная часть Куликовской битвы содержит в «Задонщине» реминисценции из рассказа «Повести о разорении Рязани Батыем» о Евпатии Коловрате. Это первое в русской литературе отражение рассказа.

Как в свое время было мною установлено, «Повесть о разорении Рязани Батыем» отразилась в ряде произведений русской литературы конца XIV—начала XV в. — летописном рассказе о нашествии хана Тохтамыша на Москву в 1382 г., в «Слове о царе русском Дмитрии Ивановиче» и др. Но во всех этих произведениях конца XIV—начала XV в. отражалась «Повесть» без рассказа о Евпатии Коловрате, что, возможно, свидетельствовало о его более поздней вставке в «Повесть».[6] Однако в «Задонщине» в повествовании о победе русских имеются реминисценции как раз из рассказа о Евпатии, и это, по-видимому, наиболее раннее свидетельство о наличии этого рассказа в «Повести».

В «Повести о разорении Рязани Батыем» неоднократно говорится об общей смертной чаше, которую призывают друг друга испить русские князья: «Се бо я, брат ваш, напред вас изопью чашу смертную за святыа божиа церкви, и за веру христьянскую, и за очину отца нашего великаго князя Ингоря Святославича» (с. 290); «О братие моя милая! Князь Давид, брат наш, наперед нас чашу испил, а мы ли сея чаши не пьем!» (с. 290); «Вси равно умроша и едину чашу смертную пиша» (с. 291); Олег Ингоревич «испи чашу смертную своею братею ровно» (с. 291); «Все равно умроша и едину чашу смертную пиша» (с. 292) и др. Ср. в «Задонщине» в списке *У* в словах Дмитрия Ивановича, обращенных к Владимиру Андреевичу: «Брате княз[ь] Владимер Андрѣевичь, тут, брате, испити мѣдвяна чара, наеждяем, брате, своими полки силными на рать татаръ поганых».

Далее, в «Повести о разорении Рязани Батыем» говорится о Евпатии: «. . .и собра мало дружины. . . и погнаша во след безбожного царя. . . и внезапу нападоша на станы Батыевы. И начаша сечи без милости, и сметоша яко все [смятошася] полкы татарскыа» (с. 293). В «Задонщине» этому соответствует: «Тогда кн[я]зь великии Дмитреи Ивановичь и брат его кн[я]зь Владимеръ Андрѣевичь полки поганых вспять поворотили и нача ихъ, бусорманов, бити и сечи горазно без милости» (*У*).

В списке *И-1*: «Тогда кн[я]зь великыи поганых назадъ победилъ и поворотил гораздо на нихъ и бьетъ горко, тоску имъ по-

---

[6] См. об этом: Лихачев Д. С. Литературная судьба «Повести о разорении Рязани Батыем» в первой четверти XV века. — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961, с. 9—22.

даваше». В списке *И-2*: «Тогда кн[я]зь вел[и]кии Дмитрии Иванович и брат ег[о] Володимеру Андрѣевич полки поганых вьспят[ь] побѣдих и гораздо на них поворотилъ и нач[а] их бити гораздо, тоску им подаваше».

В списке *С* имеются и другие реминисценции из рассказа о Евпатии Коловрате: «И погнаше руския с[ы]нове воослед поганых татар, и победивше много множества поганых татар. . .». Из той же «Повести» идет, по-видимому, только в этом списке встречающееся слово «удальцы»: «Иныя многия русия вдал[ь]ци, князи, и бояре, и боярския дети. . .». Ср. в «Повести»: «И многие князи месныа, и бояре, воеводи, и все воинство, и удалци и резвецы, узорочие резанское» (с. 297).

В том же рассказе о Евпатии Коловрате имеется следующая фраза: «Еупатии сильныа полкы татарьскыя проеждяя» (с. 293). Этой фразе в «Задонщине» соответствует: «И рече: Брате княз[ь] Владимер Андрѣевичь тут, брате, испити мѣдвяна чара, наеждяем, брате, своими полки сильными на рать татаръ поганых» (*У*).

В рассказе о Евпатии говорится далее: «И начала сечи без милости» (с. 293). Ср. в «Задонщине»: «И нача ихъ бусорманов бити и сечи горазно без милости» (*У*).

Имеет «Задонщина» соответствия и плачу Ингваря Ингоревича в «Повести о разорении Рязани Батыем». В «Повести»: «Великий князь Ингварь Ингоревич возде руце на небо со слезами воззва. . .» (с. 299). Ср. в «Задонщине»: «И помолися б[о]гу и преч[и]стои его м[а]тери и всѣм с[вя]тым его и прослезися горко и утер слезы» (*У*). Имеются соответствия между окончаниями обоих произведений. В «Повести о разорении Рязани»: «Ингварь Ингоревич возде руце на небо со слезами возва, глаголаша: Господи боже мой, на тя уповах, спаси мя. . .» (с. 299). Ср. в «Задонщине»: «Рече княз[ь] великыи: Г[оспод]и б[ож]е мои, на тя уповах, да на постыжус[я] в векъ, на посмѣють ми ся врази мои мнѣ. И помоляс[я] б[о]гу и с[вя]тии б[огороди]ци и всѣмъ с[вя]тымъ, и прослезися горко и утер слезы» (*И-1*).

«Реч[е] кн[я]зь великии Дмитрѣи Иванович: Г[оспод]и б[ож]е мои, на тя уповах, да не постыжус[я] в вѣки, ни да посмѣють ми с[я] врази твои мнѣ. И помоляс[я] б[о]гу и пр[е]ч[и]стѣи его м[а]т[е]ри б[о]жии и всѣмъ с[вя]т[ы]мъ» (*И-2*). Далее, в «Повести о разорении Рязани» читается: «И похраняше князь Ингварь Ингоревич, и поиде ко граду Пронску» (с. 299); «Благоверный во святом крещении Козма сяде на столе отца своего великого князя Ингоря Святославича. И обнови землю Резаньскую, и церкви постави, и монастыри согради, и пришелцы утеши, и люди собра» (с. 301).

В «Задонщине» в окончании списка *У* Дмитрий Иванович говорит: «И поидем, брате, кн[я]зь Владимер Андрѣевич во свою Залескую землю к славному граду Москве и сядем, брате, на своем кн[я]жение, а ч[е]сти есми, брате, добыли и славног[о] имени. Б[о]гу нашему слава» (*У*). Как бы ни был ничтожен сам по себе каждый из приводимых нами примеров влияния «Повести

о разорении Рязани Батыем» на «Задонщину», в своей совокупности они бесспорно свидетельствуют о том, что автор «Задонщины» знал «Повесть». Характерно при этом, что влияние «Повести» сказывается во всех списках «Задонщины», иными словами — оно присутствовало уже в архетипе «Задонщины».

Важно также отметить, что ни один случай этого влияния не имеет каких-либо соответствий в «Слове о полку Игореве». Это с несомненностью доказывает, что «Слово о полку Игореве» предшествовало «Задонщине», а не «Задонщина» — «Слову», ибо невозможно себе представить, чтобы «Слово» в последнем случае могло с такой последовательностью освободиться от всех элементов «Повести о разорении Рязани Батыем». Если же «Задонщина» следовала за «Словом», то одновременно она могла испытать влияние и «Повести о разорении Рязани Батыем», и делопроизводственного языка, а один из ее списков (*К-Б*) — также и «Слова о погибели Русской земли».

Следы знакомства автора «Задонщины» с «Повестью о разорении Рязани Батыем» еще раз доказывают необратимость влияния «Слова о полку Игореве» на «Задонщину».

1978

О НАЗВАНИИ «ЗАДОНЩИНА»

Как известно, слово «Задонщина» имеется только в одном из пяти списков этого произведения — Кирилло-Белозерском, № 9/1086 (ГПБ). Слово это стоит в заголовке: «. . .писание Софониа старца рязанца, благослови отче. Задонщина великого князя господина Димитрия Ивановича и брата его князя Володимера Ондреевича».[1] Как видно из этого заголовка, слово «Задонщина» отнюдь не является «вторым названием этого произведения», как то думает Я. С. Лурье.[2] Оно только находится в составе названия и означает не само произведение, а те события, которым оно посвящено: то, что произошло с князем Дмитрием Ивановичем и «братом его» князем Владимиром Андреевичем «за Доном».

В. П. Адрианова-Перетц обратила внимание, что по своему словообразованию «Задонщина» должна быть связана с имеющимися в той же Кирилло-Белозерской рукописи, но в других ее частях, словами «Мамаевчина», «Задончина», «Задонщина», «Тактамышевщина» (л. 129—129 об.).[3] Я. С. Лурье дополнил эти наблюдения В. П. Адриановой-Перетц следующим примером из другого сборника того же Ефросина (ГПБ, Кирилло-Белозерское собр., № 22): «за Доном Моматяковщина» (л. 164 об.).[4]

Возникает вопрос: является ли это словообразование на *-щина* для обозначения некоторых исторических событий специфической чертой языка Ефросина как редактора переписываемых им текстов?

Для решения этого вопроса интерес представляет следующее явление. Память об исторических событиях, как известно, сохранялась не только в письменном виде, но и в устном.[5] В устной же памяти народа исторические события получали наименования, исследование которых может дать очень интересный материал. В частности, в Рогожском летописце (близком по происхождению к циклу произведений о Куликовской битве) говорится о «рослой ржи» («сию же дороговь неции глаголють: рослую рожь» [6]), о «великом море» («увы мне! Како могу сказати беду ту грозную и тугу страшную, бывшую в великый мор» [7]), о «великом пожаре» («то ти словеть великы пожар, еже от всех святых» [8]), о «Федор-

[1] Симони П. Памятники старинного русского языка и словесности XV—XVIII столетий. Вып. 3. Задонщина. Пг., 1922, с. 19.

[2] Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. — ТОДРЛ, М.; Л., 1961, т. 17, с. 138.

[3] Адрианова-Перетц В. П. Задонщина: Текст и примечания. — ТОДРЛ, М.; Л., 1947, т. 5, с. 196.

[4] Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность. . ., с. 138.

[5] См.: Лихачев Д. Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». — В кн.: Слово о полку Игореве / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. Л., 1950, с. 5—7.

[6] Рогожский летописец (ПСРЛ, т. 15, вып. 1, с. 46).

[7] Там же, с. 76—77.

[8] Там же, с. 80.

чуковой рати» и об «Олгердовой рати».[9] В том же Рогожском летописце говорится «о первой Литовьщине» и «о другой Литовщине».[10] Обе эти «Литовщины» введены в заголовки летописных статей.

Итак, мне представляется, что слово «Задонщина» означает группу исторических событий, связанных с походом Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича «за Дон», и не является «вторым» или «первым» наименованием литературного произведения старца Софония, которое удобнее именовать, согласно другим спискам, «Словом Софония-рязанца о великом князе Дмитрии Ивановиче и брате его Владимире Андреевиче». Слово «Задонщина» представляет собой народное обозначение событий «за Доном» 1380 г. и проникло в Кирилло-Белозерский список потому, что весь этот список представляет собой запись по памяти, сделанную Ефросином — любителем народных произведений.[11]

1964

---

[9] Там же, с. 90.

[10] Там же, с. 88, 94. Ср. другие образования на *-ище* в той же летописи: «боище» (с. 134), «побоище» (с. 135, 139, 140, 152 и др.).

[11] См. о связи текста «Слова Софония-рязанца» в Кирилло-Белозерском списке с устными народными произведениями: Срезневский И. И. Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его Володимера Андреевича. — ИпоРЯС, т. 6, 1858, стб. 339—341; Адрианова-Перетц В. П. Задонщина: (Опыт реконструкции авторского текста). — ТОДРЛ, М.; Л., 1948, т. 6, с. 206; Воинские повести древней Руси / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1949, с. 256; Ржига В. Ф. Слово Софония-рязанца о Куликовской битве (Задонщина) как литературный памятник 80-х годов XIV в. — В кн.: Повести о Куликовской битве. М., 1959, с. 398—400; Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность. . ., с. 164.

ЧЕРТЫ ПОДРАЖАТЕЛЬНОСТИ «ЗАДОНЩИНЫ»
(К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ «ЗАДОНЩИНЫ» К «СЛОВУ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»)

Поэтика подражаний

Вопрос об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве» имеет целый ряд аспектов, каждый из которых в той или иной мере может определить первичный характер «Слова» и вторичный «Задонщины».

Отношения обоих памятников друг к другу могут изучаться с различных точек зрения: историко-литературной, историко-культурной, лингвистической (отдельно — лексика, морфология, синтаксис), текстологической. Но есть один аспект этого изучения, который до сих пор не учитывался, — аспект поэтики.

В данной статье меня интересует отношение «Задонщины» к «Слову о полку Игореве» только с точки зрения поэтики подражаний.

Необходимо условиться, что я в дальнейшем подразумеваю под термином «подражание». Сам по себе этот термин весьма многозначен, объединяет явления разнородные, иногда даже прямо противоположные по своему отношению к произведению, послужившему оригиналом для подражания.[1]

Под подражанием в данной статье, поскольку речь в ней будет идти о древнерусских памятниках определенного типа, я имею в виду такое литературное произведение, которое воспроизводит частично или на протяжении всего своего текста форму, стиль, манеру, способы построения образов, а отчасти и самые эти образы, применяя их к н о в о м у содержанию, к н о в о м у сюжету, к н о в о й теме. Последнее очень важно. Дело в том, что условно можно назвать подражанием и применение старой формы оригинала к близкому содержанию, к однородной теме и сюжету. Так, например, восточные подражатели Гафиза брали не только форму стихов Гафиза, но и их общее содержание, лишь несколько его варьируя. Такие стихи воспринимались как произведение Гафиза же — они как бы продолжали его творчество. Поэтика этих стихов не отличается, по существу, от поэтики произведений Гафиза, и в этом состоит одна из самых больших трудностей, связанных с атрибуцией его стихов. То же самое относится и к «Хайямиаде» — циклам рубаи, написанным неизвестными авторами на темы Омара Хайяма и одновременно подражающим рубаи Хайяма по форме. Трудность определения авторства этих

---

[1] Необходима работа, которая классифицировала бы различные типы литературных подражаний, как это, например, сделано в небольшой, но очень содержательной статье польской исследовательницы Стефании Скварчинской в отношении термина «стилизация» (S k w a r c z y ń s k a St. La stylisation et ça place dans la sience de la littérature. Poetics. Poetyka. Поэтика. Warszawa, 1961, p. 53—70).

стихов та же: они как бы продолжают творчество Хайяма одновременно и по содержанию и по форме.[2]

Под подражаниями в данной статье я, разумеется, не имею в виду и все типы пародии, литературной иронии, литературного гротеска, бурлеска и т. п.[3] Не подходят под интересующий меня тип подражаний и известные пушкинские подражания. Пушкин «строил, — пишет В. В. Виноградов, — новые литературные формы на фундаменте самых разнообразных стилей русской и мировой литературы».[4] «Стили Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова, В. Петрова, Державина, Хвостова; стили Жуковского, Батюшкова, Баратынского, Вяземского, Козлова, Языкова, В. Кюхельбекера, Ден. Давыдова, Дельвига, Гнедича; стили Байрона, Шенье, Горация, Овидия, Вордсворта, Шекспира, Мюссе, Беранже, Данте, Петрарки, Хафиза и других писателей мировой литературы служили ему материалом для *оригинального* (курсив мой. — *Д. Л.*) творчества».[5] «Другими словами: в пушкинских „пародиях" тот или иной литературный стиль не только отражается и воссоздается со всеми его структурными особенностями, но и получает яркий отпечаток художественного стиля самого Пушкина, его творческой индивидуальности с присущими ей формами миропонимания и мироощущения».[6] Следовательно, подражания Пушкина лишь условно могут быть отнесены к подражаниям. Кроме того, в них есть и элемент пародии (впрочем, спор идет о том, следует ли и «Подражание Данту» относить к пародиям), а по содержанию своему они представляют собой в а р и а ц и и на темы и сюжеты тех или иных писателей.[7] Подражания Пушкина в предельно короткой форме стремятся отразить типические черты содержания и формы оригиналов, но при этом сильно перерабатывают их творчески. По существу оригинал является для пушкинских подражаний лишь исходным моментом для вполне самостоятельного творчества.

Таким образом, подражания Пушкина представляют собой совсем иной тип подражаний, который не имеет отношения к рассматриваемым произведениям — «Слову о полку Игореве» и «Задонщине». В этом мы убедимся в дальнейшем.

Никто и никогда не сомневался в том, что «Задонщина» и «Слово о полку Игореве» настолько близки, что они не могли

---

[2] См. подробнее: А л и е в Р. М., О с м а н о в М. Н. Омар Хайям. М., 1959.

[3] Вопрос о литературных пародиях очень сложен. Еще Ник. Остолопов в «Словаре древней и новой поэзии» (СПб., 1821, ч. 2) рассматривал пять видов пародии. Естественно, что ироническое цитирование, частичное изменение произведений с приспособлением их к новой тематике, комическое смещение тематики произведений при сохранении их конструктивных особенностей и пр. — особая тема, которая не должна приниматься во внимание при решении вопроса о серьезной подражательности «Задонщины».

[4] В и н о г р а д о в В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 484.

[5] Там же.

[6] Там же, с. 484—485.

[7] См. об этом там же, с. 487—488.

быть созданы друг без друга. Одно из произведений, хотя бы частично, несомненно подражало другому: слишком близки отдельные образы, выражения, стилистические обороты. И важно, что совпадают не только образы, выражения и обороты, но в ряде случаев и их последовательность. Однако все обсуждавшие до сих пор отношение «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» не обращали внимания на то, что подражание всегда выделяется и отличается от своего оригинала, которому оно следует, рядом общих формальных и структурных черт. Поэтика подражаний мало привлекает к себе внимание исследователей.

Чтобы показать возможности этой темы, несколько забегая вперед, объясню некоторые особенности художественной структуры подражаний, вытекающие из самой их сущности.

Подражание (того типа, о котором я писал выше) применяет с т а р у ю форму оригинала к н о в о м у содержанию. При приспособлении старой формы к новому содержанию происходят однородные для всех подражаний явления деформации и упрощения формы, так как в подражании форма не является результатом решения творческих задач, не определяется целиком содержанием, а накладывается на содержание как внешняя оболочка, применяется извне, наперед задана.

В самом деле, поскольку старая форма как бы накладывается на новое содержание, связь формы и содержания в подражании не органична.

Часто стилистические обороты оригинала механически соединяются в подражании с элементами более привычного его автору стиля. Поэтому подражательное произведение стилистически более или менее неоднородно. Автор подражания использует обычно не все, а только отдельные привлекшие его внимание и запомнившиеся ему элементы формы, значение которых в художественной системе оригинала он не всегда точно понимает и может даже искажать. Отдельные элементы формы, которые не находят себе применения в новом содержании, не переходят в подражание. Сложные образы, особенно тесно связанные с содержанием оригинала, упрощаются, теряют глубину и художественную многозначность.

При переносе элементов формы оригинала в подражание они могут оказаться недостаточно разъединены с содержанием, и отдельные несоответствия новому содержанию могут поэтому проникнуть в подражание. Если между подражанием и оригиналом имеется существенный разрыв во времени и форма оригинала уже «устарела» к моменту создания подражания, то в подражание могут проникнуть из оригинала устарелые формы языка, устарелая лексика, различные другие несоответствия художественной и исторической современности.

Подражание, с одной стороны, облегчается, когда в оригинале есть шаблон, штамп, некоторое «окостенение формы»; с другой стороны, подражание само способствует возникновению штампа, превращает в некий шаблон заимствованную форму,

Создавая свое произведение, подражатель часто пользуется готовым набором стилистических приемов, крупными «стилистическими блоками» сохраняет последовательность в расположении стилистических элементов оригинала. При этом часто самое сочетание этих элементов, уместное в оригинале, неуместно в подражании.

Все эти особенности поэтики подражаний, по-разному проявляющиеся в различные эпохи на различных стадиях историко-литературного процесса, помогают выявить подражание, отличить его от оригинала. А. А. Бестужев писал о подражателях: «. . .как бы сочинитель ни вытерт был подражанием, как бы ни хотел он скрываться умышленно, настоящий цвет его кожи пробьет где-нибудь сквозь заемные белила: где-нибудь он промолвится наречием души. Ловите же его в такие проблески искренности, и с ним вместе вы поймаете целый невод его современников с ракушками и растениями его родины, его поры. Может быть, он вам наговорит с три короба чепухи о том, что было до него и при нем: умейте же из его слов извлечь признание, исповедь, завет того века, того народа».[8]

Возвращаясь к вопросу о взаимоотношении «Задонщины» и «Слова о полку Игореве», мы должны отметить прежде всего следующее. При всех отдельных элементах сходства и даже родства обоих произведений мы заметим существенные различия в употреблении этих элементов. При этом признаки подражательности обильны в «Задонщине» и отсутствуют в «Слове о полку Игореве». Как мы увидим в дальнейшем, они встречаются и в других произведениях, относящихся ко времени создания «Задонщины» и также имеющих элементы подражания; поэтому признаки эти не только типичны для подражаний как таковых, но типичны и для своей эпохи.

Обращу внимание на наиболее существенные признаки подражательности «Задонщины». Заранее сделаю оговорку: я буду говорить только о тех чертах подражательности, которые свойственны всем спискам «Задонщины». Как известно, списки «Задонщины» сильно испорчены, изменены писцами, а некоторые представляют собой только отрывки этого произведения.

Стилистическая неоднородность «Задонщины»

В отличие от «Слова о полку Игореве» «Задонщина» стилистически неоднородна. Три стилистических слоя легко могут быть обнаружены во всех ее списках: 1) стилистический слой, близкий к «Слову о полку Игореве» и буквально повторяющий его отдельные элементы; 2) стилистический слой «делопроизводственного» характера, совершенно чуждый «Слову»; 3) слой (он невелик)

---

[8] Марлинский А. Кавказские очерки. — Библиотека для чтения, 1836, т. 17, с. 215.

фольклорный, связанный с позднемосковским фольклором.[9] Два первых слоя очень характерны для всех списков «Задонщины» и находятся между собой в резком диссонансе. Третий слой близок к первому, и поэтому я ему буду уделять меньшее внимание.

Приведу примеры стилистического диссонанса «Задонщины».

Вступление к «Задонщине» начинается с деловой, летописной информации: «Князь великий Дмитрей Иванович с своим братом с княземъ Владимеромъ Андрѣевичем и своими воеводами были на пиру у Микулы Васильевича» (список *У*).[10] К этому же стилю принадлежит хронологическая справка: «От Калагъския рати до Мамаева побоища лѣт 160» (*И-1*).

Эта деловая конкретизация вторгается и в поэтический стиль, связанный со «Словом»: «О соловей лѣтьняя птица, что бы ты, соловеи, выщекотал великому князю Дмитрию Ивановичю из земли той всеи и дву братов Олгердовичев, Ондреи да брат его Дмитрей Олгердовичев, да Дмитрей Волынскыи. Тѣ бо суть сынове храбрии, кречати в ратномъ времени, ведоми полковидцы (так!), под трубами и под шеломы возлелияны в литовъскои земли» (*И-1*, ср. *К-Б*, *У*, *С*).

Хронологические и церковно-обрядовые уточнения вторгаются в описание выезда в поход Дмитрия Донского: «Солнце ему *на встоцѣ семтября 8 в среду на рожество пресвятыя богородица* ясно свѣтить, путь ему повѣдаеть, Борисъ Глѣбъ молитву творять за сродники свои» (*К-Б*). Ср. в «Слове о полку Игореве» описание выезда князя Игоря Святославича, где такого уточнения нет: «Солнце ему тъмою путь заступаше; нощь стонущи ему грозою птичь убуди».

Ср. вторжение «деловых», летописных хронологических уточнений и в других случаях: «Туто щурове рано въспѣли жалостные пѣсни у Коломны на забралах на воскресение на Акима и Аннинъ день» (*И-1*, ср. *И-2*, *С*).

Летописная конкретизация вторгается в самые неподходящие места текста, в речи действующих лиц, например: «Брате милый, сами есмо собе два браты, сынове есмо велико[го] князя Ивана Данилевалча Каметы, а внучата есмо великого князя Даниля Александровича. А воеводы в нас воставлены крепкия *70 бояринов, а княз белоузерстии Федор Семенович, два брата Олгиродовичи, княз Андреи Бранскый, а княз Дмитрей Волынский, а Тимофей Волоевич, Андреи Серкизовичъ, а Михайла Иванович. У боя нас людей 300 тисещъ кованыя раты*. . .» (*С*, ср. *У* и др.).

Иногда смешение двух стилей — высокого поэтического и делопроизводственно-прозаического — производит в «Задонщине»

[9] Соединение отголосков «старых словес» с деловой речью отмечает и В. П. Адрианова-Перетц (см. ее работу: Задонщина: (опыт реконструкции авторского текста). — ТОДРЛ, М.; Л., 1948, т. 6, с. 213).

[10] Списки «Задонщины» обозначаются в дальнейшем: *К-Б* — ГПБ, Кирилло-Белозерское собр., № 9/1086; *И-1* — ГИМ, № 2060; *И-2* — ГИМ, № 3045; *У* — ГБЛ, собр. Ундольского, № 632; *С* — ГИМ, Синодальное собр., № 790.

прямо-таки комическое впечатление. Так, делопроизводственность проникает даже в плач московских жен. Если в «Слове» жены русских воинов упомянуты в общей массе, как поэтический образ, который должен характеризовать тяжесть утрат («Жены руския въсплакашась, аркучи: „Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати“»), то привыкший к деловой точности и чинопочитанию московской бюрократии XIV—XVI вв. автор «Задонщины» уточняет, кто именно из жен плакал и о ком; это почти официальная реляция о плаче жен — жен официальной московской бюрократии: «Въспѣли бяше птицы жалостные пѣсни, вси въсплакалис[я] к неи болярыни избьенныхъ, воеводины жены: *Микулина жена Василевич*[*а*], да *Марья Дмитриева* рано плакашас[я] у Москвы у брега на забралах, аркучи: „Доне, Доне, быстрая рѣка, прирыла еси горы каменныя, течеши в землю по[ло]вецкую. Прилилѣи моего государя къ мнѣ *Микулу Василевич*[*а*]“. *Тимофѣева жена Волуевич*[*а*] *Федосья* та[ко] плакася аркучи: „Уже веселе понич[е] въ славнѣ гради Москвѣ, уж[е] не вижу своег[о] государя *Тимофея Волуевича* в животѣ“. Да *Ондрѣева жена Марья* да *Михаилова Оксѣнья* рано плакашас[я]: „Се уж[е] нам обема солнце померкне на славнѣ гради Москвѣ“» (*И-1*, ср. *С*, *У*). Это не поэтический плач, а официальное сообщение о плаче (своего рода коммюнике). Поэтический стиль плача резко диссонирует с делопроизводственной точностью.

Типичный московский бюрократизм XIV—XV вв. сказывается не только в стиле, но и в содержании. Например, забота о «местах», о служебном положении. Дмитрий Донской перед выступлением в поход говорит своим боярам: «Туто добудѣте себѣ мѣста и своимъ женам» (*У*, ср. *И-1*, *И-2*, *С*).

Есть и стремление соблюсти официальный этикет. В уста Дмитрию Донскому перед выступлением в поход вкладывается полагающаяся по московскому этикету молитва.

Тот же документально-протокольный характер носит и прямая речь в «Задонщине», однообразно вводимая словами «и рече» с точным поименным перечислением того, кто обращается и к кому, с указанием титулов и отчеств («И реч[е] князь великий Дмитрий Иванович своимъ [бо]яромъ и воеводамъ и дѣтемъ боярыскымъ» — *И-2* и др.), иногда с прибавлением канцелярского словечка «тако» («*Тако* рече князь великыи. . .» — *К-Б*) или сопровождаемая своеобразным заголовком, напоминающим заголовок на документе («Черньца Пересвѣта великому князю Дмитрию Иванович[ю]» — *И-1*).[11] Даже к обычному для «Слова» «аркучи» в «Задонщине» прибавляется канцелярское «тако» («аркут тако» — *У*; «аркучи такъ» — *К-Б*; «а ркуч[и] тако» — *И-2*, и т. д.).

Поскольку тексты «Задонщины» сильно отличаются друг от друга в различных списках, а в отношении текста Кирилло-Бе-

[11] Ср. в берестяных грамотах: «От Кюрьяка къ Вышенѣ» (грамота № 332), «От Мирослава ко Ратмиру» (№ 334), «От Петра ко Кузмѣ» (№ 344), «От Микифора ко тьтоке» (№ 346) и пр.

лозерского списка существует даже мнение, что он представляет собой особую, первоначальную редакцию «Задонщины», естествен вопрос: во всех ли списках наличествует данный признак подражательности? Не только этот признак, но и все остальные признаки подражательности, о которых речь будет в дальнейшем, прочно и равномерно распределяются по всем спискам. Приведу цитаты из Кирилло-Белозерского списка, указывающие на то, что смешение поэтического стиля, близкого «Слову о полку Игореве», с деловым, делопроизводственным типично и для него: 1) «От тоя рати и до Мамаева побоища»; 2) «Се азъ князъ великыи Дмитрии Иванович и братъ его князъ Володимеръ Ондрѣевич» (а далее в резком контрасте с этим деловым стилем: «поостриша сердца свои мужеству. . .» и т. д.); 3) «Тако рече князь великыи Дмитрие Иванович своеи братии русскимь княземь»; 4) «Солнце ему на встоцѣ семтября 8 в среду на рожество пресвятыя богородица ясно свѣтить»; 5) «взопаша избиении от поганыхъ князи великых и бояръ сановных, князя Федора Романовича Бѣлозерскаго и сына его князя Ивана, Микулу Васильевича, Федоръ Мемко, Иванъ Сано, Михаило Вренковъ, Иаковъ Ослебятинъ, Пересвѣтъ чернець и иная многая дружина».

Если мы теперь обратимся к «Слову», то заметим, что «Слово» стилистически однородно, никаких диссонансов такого масштаба в нем нет. Хотя отдельные образы в «Слове» могут быть отмечены как более фольклорные, другие как более книжные (например, в начале «Слова»), однако все это в пределах, не нарушающих художественную структуру.

Теперь спрашивается: что естественнее для подражания — механичность соединения стилистически разнородных явлений или художественная цельность? Если «Слово» подражало «Задонщине», то нужно допустить, что оно брало в «Задонщине» только один стилистический пласт, систематически, без единого отступления, опуская другой.[12]

Подражание может быть стилистически цельно при условии цельности оригинала, либо оно должно целиком перерабатывать старый стиль в новый, т. е. по существу уже не являться подражанием. Последнее не подходит к взаимоотношениям «Слова» и «Задонщины», поскольку в обоих произведениях имеются близкие, почти точно совпадающие куски текста, формулы, образы и т. д.

Невыдержанность, нецельность стиля в подражаниях естественна и постоянна. Напротив, выдержанность стиля подражания при невыдержанности стиля оригинала, служащего образцом для подражания, — явление почти что невозможное. Я, во всяком случае, такого примера привести не могу. Такая выдержанность стиля подражания при невыдержанности стиля оригинала

---

[12] Я не касаюсь здесь и другого вопроса: если «Слово» создано на основе «Задонщины», то тогда надо признавать, что в нем есть заимствования и из других памятников (так, во всяком случае, утверждают все, относящие «Слово» к XVIII в.), и при всем том «Слово» — произведение удивительно цельное.

особенно невозможна в подражании, которое не свободно воспроизводит стиль оригинала, а близко следует отдельным формулам, как бы инкрустируя их в свой текст.

Допустим, что «Задонщина» — произведение не подражательное, а оригинальное и что оно дало основание для создания оригинального стиля «Слова о полку Игореве». В таком случае естественно предположить, что поэтический стиль «Задонщины» создан самим автором «Задонщины». Почему же в таком случае он так плохо его понимал как высокий стиль, что соединил его, и при этом механически, с крайне сниженным стилем деловых документов, летописи, соединил поэзию с бюрократической прозой, на что не решался ни один экспериментатор в мире, разве только в пародиях, в юмористических произведениях?

Если предположить, однако, что оба стиля заимствованы в «Задонщине», но «Задонщина» при этом все же предшествует «Слову», то встает вопрос: откуда мог быть заимствован ее поэтический стиль? Нет произведений, близких по поэтическому стилю к «Задонщине», кроме «Слова о полку Игореве». Правда, в литературе существовало предположение, высказанное в докторской диссертации А. И. Никифорова,[13] что «Задонщина» — записи былин XIV в. (каждый список «Задонщины» он рассматривал как самостоятельный). Это могло бы объяснить высокую часть стиля «Задонщины», если бы подобное предположение было бы хоть сколько-нибудь вероятно.

Крайность точки зрения А. И. Никифорова была, однако, значительно смягчена тем обстоятельством, что он признавал «Задонщину» не просто былинами XIV в., а былинными переделками другой былины, «гениальной» и «непревзойденной», «выходящей за рамки своей эпохи», — «Слова о полку Игореве».

Оппоненты А. И. Никифорова, отдав должное трудолюбию автора, не согласились с его выводом, признать который невозможно не только фольклористу, но и ни одному читателю, сколько-нибудь знающему стиль народной поэзии. За два века до первых записей фольклора запись такого масштаба вообще не могла быть произведена.

Подробно вопрос об отношении «Задонщины» к фольклору был рассмотрен Б. Н. Путиловым.[14] Нет нужды повторять выводы его исследования. Ясно одно: при наличии отдельных фольклорных стилистических оборотов «Задонщина» отнюдь не фольклорное произведение.

Каждый литературовед, внимательно изучавший стиль «Задонщины», должен согласиться с тем, что поэтический стиль ее должен был создать не автор памятника, а кто-то другой, до него. Значит, если бы даже до нас не дошло «Слово о полку Игореве»,

---

[13] Диссертация А. И. Никифорова напечатана не была. См.: Тезисы докторской диссертации А. И. Никифорова «„Слово о полку Игореве" — былина XII века» (26 мая 1941 года). Л., 1941.

[14] Путилов Б. Н. Куликовская битва в фольклоре. — ТОДРЛ, М.; Л., 1961, т. 17, с. 125—129.

мы на основании «Задонщины» должны были предположить о существовании подобного произведения.

Но поэтика подражаний явно сказывается в «Задонщине» и не только в данном случае, т. е. в вопросе о смешении двух стилей.

Однообразие стилистических оборотов «Задонщины»

Подражатель обычно замечает не все элементы стиля оригинала, которому он подражает, а только наиболее бросившиеся ему в глаза и эти привлекшие его внимание элементы повторяет. Поэтому в подражании мы можем встретить по несколько раз одни и те же стилистические приемы.

Именно такого рода повторения видим мы в «Задонщине». Например, в «Слове» говорится о Всеволоде Буй Туре: «Камо, туръ, поскочяше, своимъ златымъ щеломомъ посвѣчивая. . .». В «Задонщине» это место отразилось трижды (цитирую по списку *И-1*): «. . .а в них сияють доспѣхы золочеными»; «а злаченым допѣхомъ посвѣчиваше»; «князь Владимеръ. . . златым шеломом посвѣчиваше».

В «Слове» говорится: «ту ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя». В «Задонщине» (цитирую по списку *У*): «И загремѣли мечьми булатными о шеломы хиновские»; «И гремят мѣчи булатные о шеломы хиновские».

Ср. еще в «Задонщине»: «Ужо бо, брате, стукъ стучить и громъ гремить в славнѣ городѣ Москвѣ. То ти, брате, не стукъ стучить, ни гром гремит, стучить силная рать великаго князя Ивана Дмитриевича, гремять удалци золочеными шеломы, черлеными щиты» (*К-Б*). И опять в том же списке *К-Б*: «Уже бо стукъ стучить и громъ гремить рано пред зорею. То ти не стукъ стучить, ни громь гремит, князь Володимеръ Ондрѣевич ведетъ вои свои сторожевы полкы к быстрому Дону» (ср. другие списки).

Дважды под влиянием одного и того же стилистического элемента «Слова о полку Игореве» в «Задонщине» говорится: «Уж[е], брате, возвеяша силнии вѣтри по морю на усть Дону и Непра, прилѣлѣяшас[я] великиа тучи по морю на рускую землю, из них выступают кровавыя зори, и в нихъ трепещуть силнии молнии» (*И-1* и др.); и еще раз: «Тогда бо силнии тучи съступалис[я] зъмѣсто, силнии молнии, громи гремѣли велицѣ. То ти съступалис[я] рускии сынове с погаными татары за свою обиду, а в них сияють доспѣхы золочеными, гремѣли князи рускиа мечи о шеломы хыновскыа» (*И-1* и др.).

Сравните другие повторения однородных элементов в «Задонщине» (цитирую по списку *И-1*): 1) «испытаем мечевъ своих литовъскых о шеломы татарскыя»; 2) «възгремѣли мечи булатныя о шеломы хиновския»; 3) «гремѣли князи рускиа мечи о шеломы хыновскыа»; 4) «гремят мечи булатныа о шеломы хыновскые»; 5) «Гремят мечи о шеломы хиновъския». Или: 1) «а в них сияють доспѣхы золочеными»; 2) «а злаченым доспѣхомъ посвѣчиваше»;

3) «златым шеломом посвѣчиваше»; 4) «золочеными шеломы освѣтиша». И еще: 1) «хотят наступати на рускую землю»; 2) «поганыи поля наступають»; 3) «поганыя бо поля наша наступают»; 4) «Тогда князь великии поля наступает».

В Кирилло-Белозерском списке, который, как мы уже отметили, некоторые исследователи выделяют среди других, также имеются повторения стилистических оборотов, например: «Господине князь Дмитреи, не ослабляи, уже, господине, поганыя татарове на поля на наши наступають, а вои наши отнимають». Это обращение Владимира Андреевича к Дмитрию Ивановичу перед битвой, а вот речь князей перед походом в том же списке: «господине князь великыи, уже поганыи татарове на поля на наши наступають, а вотчину нашю у нас отнимають». Или: «Тогда соколи и кречати, бѣлозерскыя ястреби борзо за Донъ перелетѣша», и выше в том же списке: «Тогда аки орли слѣтошася со всея полунощныя страны. То ти не орли слѣтошася, съѣхалися всѣ князи. . .».

Изучая стилистические повторения в «Задонщине», мы должны обратить внимание на два обстоятельства: 1) повторения касаются только тех стилистических элементов, которые так или иначе связаны со «Словом», что само по себе свидетельствует о том,что это повторения, типичные для подражаний (подражатель, как я уже сказал, воспроизводя форму оригинала, обращает внимание на наиболее яркие особенности его стиля и вводит их в свое произведение механически, не замечая их повторений); 2) повторения эти не несут художественной функции, напротив, они разрушают художественность произведения, противоречат его замыслу. Отметить это последнее обстоятельство очень важно, так как повторения есть и в «Слове о полку Игореве», но все они несут художественную функцию и могут быть определены терминами поэтики (единоначатия, рефрены и пр.).

Стилистическая бедность «Задонщины»

Стилистически «Задонщина» беднее, чем «Слово». Все поэтические обороты «Задонщины» имеют соответствие в «Слове» и несколько — в фольклоре. С другой стороны, в «Слове» есть очень много стилистических оборотов, однородных со всем строем стиля «Слова», но не находящих прямых соответствий в «Задонщине».

Дело в том, что «Слово» с точки зрения своего содержания вообще сложнее «Задонщины» и соответственно сложности содержания богаче и его стиль.

В самом деле, содержание «Задонщины» — радость по поводу победы, «Слово» же содержит серьезные размышления по поводу поражения, исторические аналогии, историософские размышления и пр.

«Задонщина» — это рассказ о Куликовской битве, о выступлении в поход, о первой половине битвы — неудачной и о второй — удачной. «Слово» несравненно богаче: кроме поражения Игоря

здесь и исторические припоминания, обращения к князьям-современникам, описание бегства Игоря из плена, плач Ярославны, сон Святослава, «золотое слово» и пр. Эти части стилистически оформлены однородно со всем «Словом» — здесь множество отдельных элементов стиля, не отразившихся в «Задонщине».

Кроме общей стилистической бедности «Задонщины» сравнительно со «Словом о полку Игореве» может быть отмечена и бо́льшая бедность отдельных образов «Задонщины» по сравнению с аналогичными, связанными с ними образами «Слова».

Например в «Слове»: «Чръна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна: тугою взыдоша по Руской земли». В «Задонщине» этот образ остался без «всходов»: «Черна земля под копыты, костьми татарскими поля насѣяша, кровью земля пролита» (*И-1*; ср. *У*, *С*); «Тогда поля костьми насѣяны, кровьми полиано» (*К-Б*). Неполностью отразился в «Задонщине» и сложный образ пира-битвы, где храбрые русичи — хозяева, а враги — сваты. Не доведен до конца в «Задонщине» образ битвы-жатвы. Сокращены в «Задонщине» образы плача Ярославны; в плачах жен осталось только обращение к реке (в «Слове» — к Днепру, в «Задонщине» — к Дону и Москве), исчезли обращения к ветру, к солнцу. Нет полета Ярославны зегзицею по Дунаю. И т. д. Обеднение образа в «Задонщине» часто происходит потому, что он изъят из контекста, выхвачена только одна какая-то его часть.

В «Слове» сказано о Всеволоде Буй Туре: «Яръ туре Всеволодѣ! Стоиши на борони, прыщеши на вои стрѣлами, гремлеши о шеломы мечи харалужными! Камо, туръ, поскочяше, своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, тамо лежатъ поганыя головы половецкыя». И это только часть картины, рисующей Всеволода, — его сильный и мужественный образ, выдержанный в героических, гиперболизированных тонах. В «Задонщине» от всего этого осталась только бессмысленная фраза: «Въсталъ уж[е] туръ оборень» (*И-1*) или: «Уже бо ста тур на оборонь» (*У*) и отдельные, перенесенные на Владимира Андреевича, фразы: «Воскликнул княз Володимер Андреевич, а скокаша на конѣ по рати поганых татар, своим конем борздым поеждаючи, золотым поспехом посвечаючи. Гримят мечы булатныя бо шеломы татарския» (*С*). Ясно, что отчетливый образ Всеволода Буй Тура не мог быть воспроизведен в «Слове» из этих разрозненных фраз «Задонщины». Несомненно, имело место обратное: обеднение и «растворение» образа Всеволода в «Задонщине».

Композиционная вторичность «Задонщины»

«Задонщина» содержит соответствия «Слову» не только в стиле, в отдельных формулах, выражениях и образах, но и в последовательности изложения событий.

Оба произведения после вступления, в котором упоминается Боян, переходят к описанию сборов войска и похода. Характери-

стика Игоря Святославича и Всеволода Буй Тура соответствует характеристике Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича. В «Слове» сражений два: первое победоносное, второе, оканчивающееся поражением. В «Задонщине» сражение одно, но в нем два момента: первый неудачен для русских, второй несет победу.

Сон Святослава и его «золотое слово» соответствуют в «Задонщине» увещевательному слову Дмитрия Ивановича и описанию предзнаменований. Плач Ярославны соответствует в «Задонщине» нескольким плачам боярынь по убитым.

Бегство Игоря из плена до известной степени соответствует бегству Мамая, диалог Гзака и Кончака, их досада — досаде татар в «Задонщине» и словам фрягов о Мамае.

Если мы разберем композицию обоих произведений, то заметим, что композиция «Задонщины» значительно менее сложна, чем композиция «Слова». Она не перебита историческими воспоминаниями и лирическими размышлениями. Однако значение общих элементов в композиции обоих произведений различно. В «Слове» каждый элемент композиции тверже и определеннее выполняет свою функцию.

Рассмотрим прежде всего вступление. Вступление в «Слове» — это обычное для приподнятых ораторских, житийных и повествовательных произведений размышление о выборе стилистической манеры, в которой должно вестись все последующее повествование, определение своего отношения к литературной манере предшественника. Такие вступления мы встретим в проповедях Кирилла Туровского,[15] в Хронике Константина Манассии (дважды) [16] и других произведениях.

В связи с этим размышлением в «Слове» следует рассматривать и весь пассаж о Бояне. Автор «Слова» рассуждает: следовать ли ему или не следовать за стилистической манерой старого певца Бояна. Здесь все ясно и художественно целесообразно. В «Задонщине» же появление Бояна не мотивировано. В Кирилло-Белозерском списке, где текст о Бояне сохранился в наибольшей полноте, говорится только следующее: «Поидемъ, брате, в полуночную страну жребии Афетову сына Ноева, от него же родися Русь преславная. Оттоле взыдемь на горы киевьскыя. Первѣе всѣхъ вшедъ восхвалимь вѣщаго го Бояна в городѣ в Киевѣ, гораздо гудца. Тои бо вѣщии Боянъ, воскладая свои златыя персты на живыя струны, пояше славу русскыимь княземь, первому князю Рюрику, Игорю Рюриковичю и Святославу Ярославичю, Ярославу Володимеровичю, восхваляя ихъ пѣсми и гуслеными буиными словесы на русскаго господина князя Дмитриа Ивановича и брата его князя Володимера Ондрѣевича, занеже ихъ было мужество и желание за землю руссьскую и за вѣру християньскую».

---

[15] Еремин И. П. Литературное наследие Кирилла Туровского. — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 15, с. 340, 344.

[16] Cronica lui Constantin Manasses / Text și glosar de Ioan Bogdan. București, 1922, p. 1, 36.

В списке *И-1* самое имя Бояна искажено, но сохранена та же мысль: автор приглашает взойти с ним на горы Киевские, помянуть первые времена и похвалить киевского «гораздаго гудца» «вѣща боинаго» (может быть — «боярина»), который воскладал свои персты на вещие струны и пел славу князьям древним. Похвалы Дмитрию Ивановичу и Владимиру Андреевичу этот «гораздый гудец» в списке *И-1* не поет. В списке *У* мотив выбора стиля дальнейшего повествования как будто бы имеется, хотя и очень неясен (об этом скажу в дальнейшем), но этот мотив выбора стиля полностью отделен от похвалы Бояну, значение которой все же остается непонятным. После предложения составить похвалу Дмитрию Ивановичу и Владимиру Андреевичу идет следующее место: «И рцем таково слово: лудчи бо нам, брате, начяти повѣдати иными словесы от похвальных сихъ и о нынешных повѣстех похвалу великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его князю Владимеру Андрѣевичю, а внуки святаго великаго князя Владимера Киевскаго. Начаша ти повѣдати по дѣлом и по былинам. Не проразимся мыслию, но землями, помянем первых лѣт времена, похвалим вещаннаго боярина, горазна гудца в Киеве. Тот боярин воскладоша горазная своя персты на живыя струны, пояша руским князем славу, первому князю киевскому Игорю Бяриковичю и великому князю Владимеру Всеславьевичю киевскому и великому князю Ярославу Володимеровичю». После этого автор обращается к другому своему предшественнику — Софонию-рязанцу: «Аз же помяну резанца Софония и восхвалю пѣснеми гусленными словесы сего великого князя Дмитрея Ивановича и брата его князя Владимера Андрѣевича. . .».

Совершенно неясным оказывается и все место, где говорится: «*лудчи* бо нам, брате, начяти повѣдати *иными* словесы». «Лудче» чего? И почему слова должны быть «иные» — «иные» по сравнению с какими? То, что ясно в «Слове», в «Задонщине» загадочно и непонятно. Объясняет все только вступительная часть «Слова».

В Синодальном списке похвалы Бояну нет вовсе. Список *И*-2, как известно, без начала. Итак, назначение образа Бояна в «Задонщине» очень неясно, нет и характеристики стиля Бояна, столь выпуклой в «Слове». Перед нами в «Задонщине» не совсем ясные реминисценции «Слова», и только.

В «Слове» имеется, как известно, один плач Ярославны и кратко говорится о плаче русских жен. Композиционная роль этих плачей совершенно четкая. В первом случае большой плач Ярославны предшествует бегству Игоря. Природа как бы откликается на плач Ярославны и помогает Игорю бежать. Сам бог указывает ему путь в Русскую землю смерчами, идущими от моря. Плач же русских жен вставлен в общую картину страданий Русской земли в целом. Ни тот, ни другой плач не повторяют друг друга. Иное в «Задонщине»: там плачет Микулина жена Марья, затем непосредственно после нее — Иванова или Тимофеева жена Федосья, за нею — Андреева жена Марья и Михайлова жена «Оксенья», после —

жены коломенские. Плачи всех этих жен коротки, в целом они повторяют друг друга и сохраняют из плача Ярославны «Слова» только обращения к реке (к Дону и к Москве). Строго связанные в «Слове» с обращением к Днепру обращения Ярославны к солнцу и к ветру в «Задонщине» не отразились. Впечатление от плачей ослаблено «многоголосостью», краткостью их упоминаний и прозаичностью повторений одного и того же. В «Задонщине» плачи как бы соединены с перечислением вдов убитых. Это как бы дополнение к списку павших. Делопроизводственная манера автора «Задонщины» сказывается и здесь.

Все обращения Игоря Святославича к воинам, к князьям, обращения Всеволода Буй Тура и Святослава в «золотом слове» имеют внутреннюю мотивировку. Они вызваны конкретными обстоятельствами. Игорь обращается к своей дружине и к князьям во время солнечного затмения, чтобы поднять их упавший дух. Всеволод Буй Тур обращается к Игорю, который его дожидался, чтобы сообщить ему о своей готовности и о готовности своих воинов. Святослав рассказывает свой сон боярам, чтобы те его разгадали. «Золотое слово» Святослава и обращение к русским князьям имеют целью побудить князей выйти на защиту Русской земли. Обращение к каждому князю в этом «золотом слове» вполне конкретно; в них указывается, почему должен встать князь за родину, напоминается о его силе, храбрости, чести и долге.

Иной характер носят речи князей Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича. Князья русские, уже съехавшись к Дмитрию Ивановичу «на пособь», заверяют его, что выедут с ним против татар (списки *К-Б*, *И-1*, *У*). Затем Дмитрий Иванович обращается к уже собравшимся русским князьям с призывом защищать Русскую землю (списки *К-Б*, *И-1*). Затем обращаются друг к другу Владимир Андреевич и Дмитрий Донской, подбадривая себя выступить против татар, хотя никаких ни внешних, ни психологических препятствий к этому выступлению, казалось бы, уже нет (списки *И-1*, *С*, *У*).

Речи действующих лиц в «Задонщине» — это как бы мысли вслух. Они носят, я бы сказал, условный характер. Это речи, сказанные за автора, чтобы мотивировать поступки действующих лиц или дать комментарий к событиям. Последнее особенно отчетливо выступает в речи татар, которую они как бы коллективно, одновременно произносят, когда бегут с поля битвы: «Туто погании разлучишас[я], раздно побѣгоша неуготованными дорогами в лукомор[ь]е, скрекчюще зубы своими, деручи лица своя, а ркуче: „Уже намъ, брат[и]е, в земли своей не бывати, а дѣтѣй своих не видати, а катунъ своих не трепати, а трепати намъ сырая земля, а цѣловат[и] намъ зелена мурова, а на Рус[ь] нам уже рат[ь]ю не хоживати, а выхода намъ у руских князей не прашивати“» (*И-2*, ср. *У*, *С*).

Такой же характер имеют и речи фрягов, которыми автор «Задонщины» как бы комментирует бегство Мамая (списки *У*, *С*).

Еще одна особенность обращений в «Задонщине». Стиль и характер устного слова в них утрачены. Обращения содержат элементы книжности, невозможные в устных выступлениях. В этом их разительное отличие от прямой речи в «Слове», сохраняющей в строгом соответствии с литературной традицией XI—XIII вв. либо характер воинских речей, либо характер ораторских обращений (в «золотом слове» Святослава), но никогда не включающей книжных элементов.

Хронологическая непоследовательность «Задонщины»

Разительная особенность «Задонщины» — хронологическая непоследовательность. Эта непоследовательность не входит в художественный замысел автора; в крупном плане события развиваются последовательно: сперва сборы войска, затем первая половина сражения — неудачная, после вторая — удачная, победа, затем бегство Мамая. Однако в частных случаях эпизоды никак не следуют друг за другом: они выхвачены, перемешаны, автор переходит от более поздних эпизодов боя к более ранним, возвращается к тем же эпизодам, не выдерживая переходов к следующему. В отдельных случаях изображение событий топчется на месте. Логика повествования нарушается.

Перед нами как бы некоторые пробы, подгонки описания битвы на Дону к стилистическим средствам «Слова» без соблюдения строгого порядка. Так, например, в списке Ундольского князья Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич сперва (еще до своего соединения у Коломны) «уставляют» «храбрыя воеводы в Руской земле», затем поминают прадеда своего Владимира Киевского, затем говорится о разных событиях в Русской земле, после — о новгородцах, собирающихся у святой Софии, затем — о сборах русских князей, говорящих почему-то о том, что татары стоят у Дуная и одновременно — на реке Мечи «межу Чюровым и Михайловым». Затем следует обращение Дмитрия Ивановича к Владимиру Андреевичу и литовским князьям. После передаются слова Андрея Ольгердовича и довольно пространная речь к нему Дмитрия Ивановича, в которой он предупреждает о готовящемся сражении на речке Непрядве «межу Доном и Непром». Снова говорится о том, что татары идут между Доном и Днепром и что серые волки — татары «хотят на Мѣчи поступити в Рускую землю». После лирических излияний следует сообщение о том, что Дмитрий Иванович выступил в поход и одновременно выступает Владимир Андреевич. Приводится новый диалог Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича, в котором они описывают свои войска. Затем говорится о битве, и при этом битва изображается как победа и сообщается о ее всесветной славе. Упоминается, что бились войска с утра и до полудня в субботу на Рождество богородицы. Вслед за этим описанием победы неожиданно говорится о поражении и о потерях русских в первой половине битвы. После этого сообща-

ется об опустошении Рязанской земли, которое произошло значительно раньше, о плаче княгинь, боярынь и воеводских жен по избиенным, приводится и плач коломенских жен. Затем новый неожиданный переход — мысль автора возвращается к теме победы: говорится, что «того же дни в суботу» посекли христиане поганые полки на поле Куликовом, приводятся ободряющие речи Владимира Андреевича и Дмитрия Ивановича. Русские войска наступают, татары бегут и «уже бо ста тур на оборонь» (последняя фраза, варьирующаяся в разных списках, непонятна).

Отсутствие строгой хронологической последовательности и немотивированность переходов от одной темы к другой обращают на себя внимание и в той части «Задонщины», которая сохранилась в Кирилло-Белозерском списке. Так, например, «чюдно стязи стоять у Дону великого» раньше, чем войска выступают к Дону, раньше, чем Владимир Андреевич повел свои сторожевые (передовые) полки к Дону, и раньше, чем вступил Дмитрий Иванович «во свое златое стремя». Приглашение жаворонку воспеть славу Дмитрию Ивановичу и Владимиру Андреевичу предшествует битве. Съехавшиеся к Дмитрию Ивановичу князья говорят ему: «Уже поганыи татарове на поля на наши наступають» — раньше, чем автор сообщает о выступлении Мамая. Весть о битве разносится по «рожнымь землям», «за Волгу к Желѣзным вратомь, к Риму, до Черемис,ы до Чяховъ, до Ляховъ, до Устюга поганыхъ татаръ за дышущеем моремь» раньше, чем кончилась сама битва, — перед эпизодом, в котором Ослябля предсказывает гибель Пересвета в будущем поединке. Сами диалоги и речи князей произносятся не в конкретной обстановке, а как бы вне пространства и времени. Герои обращаются друг к другу разделенные расстоянием. Ясно, что временная последовательность и в Кирилло-Белозерском тексте соблюдается только в самых общих чертах. В основном же и в данном варианте «Задонщины» существует непоследовательность отдельных речей, образов, стилистических формул, определяемая в значительной степени их последовательностью в «Слове».[17]

В самом деле, обратим внимание на следующее. Положение плача жен и вдов в «Задонщине» как бы в середине битвы объясняется несомненно тем, что плач русских жен в «Слове» занимает срединное положение в произведении. «Слава руская» звенит «по всей земли руской» (*И-1*, ср. *К-Б*, *У*, *С*) еще до битвы, так же как и в «Слове», но в «Слове» она относится к Святославу и поме-

[17] Я уже не говорю о таких непоследовательностях в Кирилло-Белозерском списке: счастливые знамения как бы повисают в воздухе, не будучи подкреплены рассказом о конечной победе русских; без рассказа о победе остается немотивированной и слава, которую поет жаворонок. Эта непоследовательность объясняется не «поэтикой подражаний», а тем, очевидно, что «Задонщина» в Кирилло-Белозерском списке, вопреки утверждениям чешского исследователя Я. Фрчека, рассматривавшего ее как особое цельное произведение, дошла до нас без окончания. Но это предмет текстологического исследования списков «Задонщины», а не вопрос поэтики самого произведения.

щена на месте — там, где говорится о его прошлых победах. Отдельные речи Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича также следуют тому порядку изложения, который существует в их образце — в «Слове». Хронологическая путаница с выступлением русских войск и татар (реально, как известно, татары во главе с Мамаем выступили первыми и вызвали этим ответные сборы войска и выступление войска навстречу татарам) объясняется тем, что в «Слове» первыми выступили русские и только в ответ на поход Игоря стали собираться половцы.

Несоответствия новому содержанию в «Задонщине»

Поскольку подражание внешне зависит от оригинала, относящегося к другому времени и посвященного другому содержанию, в нем всегда оказываются различные несоответствия новому содержанию и «остатки» произведения, послужившего оригиналом. Появляются в нем, в том или ином виде, различные несоответствия своему времени: языку, исторической действительности, литературной традиции.

В «Задонщине» таких «остатков» «Слова о полку Игореве» очень много. И немало таких «остатков», которые в «Задонщине» совсем неуместны и могут быть поняты только с помощью «Слова».

Прежде всего, в «Задонщине» (в списке *У*) сохранилось название небольшой реки, на которой происходила битва Игоря Святославича с половцами, — Каялы. Эта река упоминается только в «Слове» и в летописном рассказе Ипатьевской летописи о том же походе Игоря. И это понятно, но в «Задонщине» эта река упомянута без особой связи с содержанием «Задонщины».

Ярославна, как известно, плакала по своему мужу Игорю, находившемуся в плену, молила о его возвращении из плена, просила Днепр прилелеять его к себе: «Възлелѣй, господине, мою ладу къ мнѣ, а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано». В «Задонщине» русские жены плачут в сходных выражениях по убитым, никто из их мужей не попал в плен, и тем не менее до жен доходят «поломянные вѣсти», или «полоняныа» (*И-1*), т. е. вести о плене,[18] а самые жены названы «поломяныя» или «полоняные жены», т. е. жены пленников. Жена Микулы Васильевича, так же как Ярославна просит Днепр, — просит Дон прилелеять к ней ее мужа, хотя муж ее не пленен, как Игорь, а убит, и по Дону нет пути для возвращения в Москву (*И-1*, *И-2*, *У*, *С*). Ясно, что плач Ярославны первичен, а плач вдовы Микулы Васильевича — это неудачная его переделка.

В «Слове» понятны все упоминания рек: Дона, за который, согласно летописи, ходили на половцев русские войска Игоря,

---

[18] Ср. в Псковской I летописи под 1509 г.: «и переняше псковичи полоняную свою весть от Филипа» (известие о захвате в плен посадников псковских и других псковичей) (см.: Псковские летописи. Вып. 1 / Приготовил к печати А. Насонов. М.; Л., 1941, с. 93).

Днепра — центральной водной артерии тогдашней Киевской земли, Дуная, где еще находились в XII в. русские поселения. Но в «Задонщине» настойчивые упоминания Днепра, расположенного в сотнях верст от владений московского князя, и Дуная (в списке *У*) — совершенно непонятны. Они могут быть объяснены только как следы «Слова».

В «Задонщине» московский князь может «веслы Непру запрудити». Это могущество московского князя на Днепре — непонятно. Но оно становится понятным, если вспомнить, что в «Слове» Всеволод Суздальский может «Волгу веслы раскропити», где он действительно одержал победу над волжскими болгарами в 1183 г.

В «Задонщине» татары Мамая идут не от Волги, где находится центр Золотой орды и откуда двигался в действительности на Русь Мамай, а от Черного моря, из пространства между Доном и Днепром: «Уже бо всташа силнии вѣтри с моря, прилелѣяша тучю велику на усть Нѣпра, на русскую землю. Ис тучи выступи кровавыя оболока, а из нихъ пашють синие молньи. Быти стуку и грому велику межю Доном и Нѣпромь, идеть Хинела на русскую землю. Сѣрие волци воють, то ти были не сѣрие волци, придоша поганые татарове, хотять пройти воюючи, взяти всю землю русскую» (*К-Б*, ср. *И-1*, *У*, *С*). Это движение татар от берегов Черного моря, из района между устьями Дона и Днепра, может быть понято только в связи со «Словом» — именно оттуда, от обычного района своих зимних кочевий в XII в., двигались навстречу войску Игоря половцы (ср. в «Слове»: «чръныя тучя съ моря идутъ»; «Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съ моря стрѣлами» и пр.).

Стоит упомянуть и о таком географическом несоответствии в «Задонщине». В «Слове» в обращении Ярославны к Днепру говорится, что он «пробил» каменные горы сквозь землю Половецкую, и Днепр действительно пробивает каменные пороги в том как раз месте, где степные народы чаще всего нападали на русские ладьи. Это было самое опасное место земли Половецкой. В «Задонщине» в плаче русских жен говорится несколько иначе: «Доне, Доне, быстрая река, прирыла еси горы каменныя, течеши в землю по[ло]вецкую» (*И-1* и др.).[19] Но Дон на своем пути не встречает порогов, а любой крутизны правый берег еще не позволяет сказать, что река «прорыла» каменные горы. Каменные были только пороги на Днепре.

В XII в., во времена Игоря Святославича, было естественно сказать о его войске и сподручных князьях, что «хороброе гнездо» Ольговичей не было «обидѣ порождено ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чрьный воронъ, поганый половчине». Игорь Святославич был первым русским князем, попавшим в плен к степным врагам русских. Но то же самое сказать после полуторастолетнего еще

---

[19] В списке *К-Б* несколько иначе: «Доне, Доне, быстрыи Доне, прошелъ еси землю половецкую, пробилъ еси берези хараужныя», но что такое «березн харужныя» или «харалужные» — совершенно неясно: это одно из тех «темных» мест, которыми полны все списки «Задонщины».

не кончившегося чужеземного ига о всех русских князьях было невозможно. Между тем в «Задонщине» великий князь Дмитрий Иванович говорит: «Братия и князи руские, гнѣздо есмя были великаго князя Владимера Киевскаго, не въ обиде есми были по рождению ни ястребу, ни крѣчату, ни черному ворону, ни поганому сему Момаю» (*У*, ср. *К-Б*, *И-1*, *С*).

В «Задонщине» постоянно говорится о «половцах», о «половецком поле» и «половецкой земле». Конечно, в конце XIV—начале XV в. татары отождествлялись с половцами, но тем не менее нельзя не признать, что называние половцев их собственным именем — половцами — более естественно, чем настойчивое именование половцами другого народа — татар.

Дважды повторенный в «Слове» лирический рефрен: «О Русская земле! Уже за шеломянемъ еси» (т. е. «О Русская земля! Уже ты скрылась за холмом!») уместнее в «Слове», чем разрывающая текст «Задонщины» не совсем ясная по смыслу фраза: «. . .земля еси русская, какъ еси была доселева за царемь за Соломоном, так буди и нынѣча за княземъ великим Дмитриемь Ивановичемь» (*К-Б*, ср. *И-1*, *У*, *С*). Даже если принять объяснение А. Мазона, что под Соломоном здесь следует разуметь библейского царя Соломона, якобы бывшего владетеля Русской земли, по «Повести о граде Иерусалиме», текст «Задонщины» и самая логика появления этого места в «Задонщине» без «Слова о полку Игореве» остаются непонятными. В самом деле, в «Слове» говорится об углублении русского войска в степь, затем о грозных приметах несчастья; воспоминание о родине, скрывшейся за пограничным холмом, как бы продолжает эту тревогу, пронизывающую весь рассказ «Слова» в данном месте. Тревога нарастает, приближаются враги, и снова скорбный рефрен раздается в «Слове». В «Задонщине» фраза о Соломоне как бы предсказывает счастливый поворот в судьбе Русской земли: Дмитрий Иванович заступит собой в будущем царя Соломона, но ведь, по «Повести о граде Иерусалиме», имя Соломона отброшено в далекое прошлое, да и Дмитрий находился на великом княжении немало лет. Появление «Соломона» из «шеломяни» может быть объяснено псковской шепелявостью (меной «ш» на «с»), встречающейся в «Слове о полку Игореве» и, очевидно, давшей из «шеломянем» «селомянем», а отсюда и «Соломоном» «Задонщины». Однако никакой шепелявостью нельзя объяснить обратного: мены «с» на «ш», «Соломона» на «шеломя».

Как известно, в «Слове» широко отражено древнерусское двоеверие. Это двоеверие сказывается, в частности, в одушевлении природы. С этой стороны понятна и поникающая от жалости трава, и склоняющиеся в печали деревья («Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось»), но в «Задонщине» все следы язычества и двоеверия вытравлены, и поэтому диссонансом кажется заявление автора о том, что «трава кровю пролита, а древеса к земли тугою преклонышас[я]» (*И-1*, ср. *У*, *С*). Странным остатком двоеверия в «Задонщине» является и «диво», то кличущее под саблями татарскими, то, напротив, как бы находящееся на сто-

роне татар. Это русское слово «диво» — ясный остаток тюркского божества «див», представленного в «Слове».

Можно указать также на такие места в «Задонщине», которые кажутся вполне естественными, но которые никак не могли породить соответствующего им близкого текста «Слова».

Так, например, в «Слове» действительно случавшееся солнечное затмение перед выступлением Игоря в поход служит дурным предзнаменованием: «Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень и поѣха по чистому полю. *Солнце ему тъмою путь заступаше. . .*». В «Задонщине» выступление князя Дмитрия Ивановича в поход описано в сходных выражениях, указывающих на то, что оба описания находятся в текстологической связи, но предзнаменование там счастливое, ведь Куликовская битва была победой: «Тогда же князь великыи Дмитреи Иванович ступи во свое златое стремя, всѣдъ на свои борзыи конь, приимая копие в правую руку. Солнце ему на встоцѣ семтября 8 в среду на рожество пресвятыя богородица *ясно свѣтитъ* . . .» (*К-Б*, ср. *И-1*, *У*, *С*). Какой же текст первоначальнее: тот ли, в котором говорится о солнечном затмении, или тот, в котором солнце ясно светит? Ясно, что тот, в котором нельзя перевернуть самую действительность. Автор «Слова» превзошел бы Исуса Навина, если бы остановил солнце (при этом задним числом!) и устроил точно установленное для 1 мая 1185 г. астрономами [20] затмение солнца, для того чтобы иметь возможность «перевернуть» текст «Задонщины», обратив счастливое предзнаменование Куликовской победы в грозную примету поражения Игоря.

«Задонщина» и подражания ее времени

Подведем итоги рассмотрению «Задонщины» как подражательного произведения. Мы определили выше подражание как произведение, переносящее манеру, стиль, форму оригинала на новое содержание. Тем не менее типы подражаний очень разнообразны.

Автор «Задонщины» не ставил себе целей стилизации своего произведения под свой оригинал. Это не стилизация в целях «испытания мастерства» и не ироническое подражание, созданное в юмористических целях. Такие стилизации и не могли появиться в XV—XVI вв.

Автор «Задонщины», не задумываясь, мозаично, иногда механически применяет отдельные элементы понравившейся ему формы «Слова» к своему собственному произведению. «Задонщина» — это только подражание «Слову», но не стилизация.

Так как автор «Задонщины» не ощущал стиля «Слова», то он и смешивал его со стилем ему привычным — деловым московским.

---

[20] См.: Степанов Н. Таблица для решения летописных «задач на время». — ИОРЯС, 1909, т. 13, кн. 2, с. 127—128; Святский О. Астрономические явления в русских летописях с научно-критической точки зрения. — ИОРЯС, 1915, т. 20, кн. 1, с. 111—112.

Это происходило отчасти и вследствие непонимания автором «Задонщины» стиля своего оригинала. Поэтому под его пером получилось произведение смешанного стиля, непоследовательное в изложении событий и не очень искусное. Как образец «Слово» использовалось в «Задонщине» главным образом для поэтических инкрустаций, для украшения собственного произведения: приблизительно так, как использовались во времена упадка культуры античные колонны, капители, барельефы — не соизмеряясь с масштабами и планом здания, с его пропорциями и общим замыслом.

Если мы вычеркнем из «Задонщины» все заимствования из «Слова», то в ней не останется ни одного стилистически близкого «Слову» элемента. Стилистическая близость «Задонщины» к «Слову» полностью исчерпывается в ней механическими заимствованиями из «Слова». Но если мы вычеркнем в «Слове» все то, что совпадает в нем с «Задонщиной», то останется гораздо бо́льшая часть, близкая поэтическому слою «Задонщины». Следовательно, с точки зрения стилистической просто «перевернуть» отношения «Задонщины» к «Слову» нельзя. Если подозревать, что «Слово» зависит от «Задонщины», то зависимость эта должна оказаться совершенно другого типа, чем зависимость «Задонщины» от «Слова». Какой же тип зависимости больше соответствует историко-литературным явлениям своего времени? Посмотрим прежде всего, какие стилистические зависимости одного произведения от другого существовали в эпоху «Задонщины».

Подражания того же типа, что «Задонщина», типичны для конца XIV и XV вв. При всей необычности стилистического строя «Задонщины» для конца XIV—XV вв. подражательность ее и самый характер этой подражательности отнюдь не занимают одинокого положения.

Так, например, С. К. Шамбинаго вслед за С. М. Соловьевым и И. Назаровым отметил влияние «Жития Александра Невского» на «Летописную повесть о Мамаевом побоище». Это влияние, как указал С. К. Шамбинаго, заключается в заимствовании из Жития стилистических формул, отдельных выражений и самого плана летописной повести,[21] но летописная повесть мешает отдельные стилистические формулы Жития с заимствованиями из Синодика,[22] вследствие чего стиль летописной повести лишен единства, присущего «Житию Александра Невского».

Тому же «Житию Александра Невского» подражает и автор «Слова о житии и о преставлении Дмитрия Ивановича, царя руського», как это отметил еще В. О. Ключевский,[23] но соединяет

[21] Шамбинаго С. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906, с. 60—71. В рецензии на книгу С. К. Шамбинаго А. А. Шахматов возражает против того, что составитель летописной повести использовал именно вторую редакцию Жития, как это утверждает С. К. Шамбинаго (см.: Отчет о двенадцатом присуждении премий митрополита Макария. СПб., 1910, с. 122).

[22] Шамбинаго С. Повести о Мамаевом побоище, с. 72—73.

[23] Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871, с. 169.

заимствование из него с формулами других домонгольских памятников.

Житие Федора Черного (Ярославского), написанное в конце XV в., заключает в своем предисловии подражание «Слову о погибели Русской земли»: «О светлая и пресветлая Русская земле и преукрашенная многими рѣками и разноличными птицами и звѣрми и всякою различною тварию. . . наполнив ю велицими грады и домы церковными. . .»[24]

Аналогичные заимствования поэтических формул видим мы и в других произведениях конца XIV—XV вв. Так, например, летописный рассказ о разорении Москвы Тохтамышем (читается в ряде летописей под 1382 г.)[25] заимствует многие поэтические обороты из «Повести о разорении Рязани Батыем». Характерно, что в летописном рассказе о разорении Москвы Тохтамышем сказываются те же элементы поэтики механических, не стилизационных подражаний, что и в «Задонщине»: заимствованные поэтические обороты своеобразно инкрустируются в точное и отнюдь не поэтическое изложение летописи; отдельные полюбившиеся заимствования употребляются по нескольку раз. «Волости и села жгуще и воюющи ихъ, и народъ крестьяньский сѣкуще и всяческы и убивающе, а прочая люди в полонъ емлюще» (с. 330). И далее снова: «. . .и волости повоеваша, и села пожгоша, а монастыри пограбиша, а крестьянъ посѣкоша, а иныхъ в полонъ поведоша» (с. 337). Или: «. . .и взя землю Рязаньскую и огнемь пожже и, и люди посѣче, а инии разбѣгошася; а полона повѣде в орду бесщисленое множество» (с. 337—338). И далее снова: «. . .колико волости повоеваша, колико огнемь пожгоша, колико мечемъ посѣкоша, и елико в полонъ повѣдоша» (с. 338). Или: «. . .а землю его до останка взяша и пусту сътвориша» (с. 338). И далее снова: «. . .а землю его до останка взяша и пусту сътвориша» (с. 338—339).

Все приведенные повторения являются заимствованиями из «Повести о разорении Рязани Батыем».

Характерно также аналогичное «Задонщине» соединение поэтических заимствований с деловитостью летописного стиля. Так, после поэтического плача о разоренной Москве, представляющего собой заимствование из «Повести о разорении Рязани Батыем», автор начинает по-купечески (повесть о нашествии Тохтамыша вообще сочувствует купцам) исчислять «убытки» и «проторы». За погребение мертвых, пишет он, давали «отъ 40 до полтынѣ, а отъ 50 по рублю; и съчтоша: всего того дано бысть отъ погрѣбания мертвыхъ 300 рублевъ» (с. 338). Общие же «убытки» были следующие: «. . .и аще бы мощно было ти вси убытки и напасти и про-

---

[24] Там же, с. 173. Ср. в «Слове о погибели»: «О свѣтло свѣтлая и украсно украшена земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми, удивлена еси рѣками. . . звѣрьми различными, птицами бещислеными, городы великыми, селы дивными, винограды обителными, домы церковьными. . .» (список Псково-Печерский).

[25] В дальнейшем цитирую его по Новгородской IV летописи: ПСРЛ, 1925, т. 4, ч. 1, вып. 2, с. 326—339 (ссылки приводятся в тексте).

торы исчитати, убо не смѣю рещи, мню, яко тысяща тысящь рублевъ не иметь числа» (с. 338).

К началу XV в. относится «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго», в котором имеется много вкраплений из «Похвалы роду рязанских князей». Все они того же свойства, что и вкрапления в «Задонщине» из «Слова о полку Игореве». Сравнивая «Похвалу» и «Слово о житии», мы видим, что «Похвала» отличается большей цельностью стиля, объединена общим ритмом. «Слово о житии» же содержит соединение заимствований из «Похвалы» с чуждым последней стилем «плетения словес». Кроме того, в «Слове о житии» имеется ряд грамматических и стилистических несообразностей, явившихся результатом механического переноса из «Похвалы» отдельных стилистических формул.[26] Очень важно отметить, что и в «Слове о житии» мы можем наблюдать ту же типичную для подражаний черту, что и в «Задонщине»: повторения заимствованных элементов. Так, в «Похвале» имеется следующая фраза: «Ратным же во бранех страшни являшеся и многи враги, востающи на нь, победиша».[27] Ср. в «Слове о житии»: «. . .ратнымъ же всегда въ бранехъ страшенъ биваше, и многи врагы, въстающа на нь, побѣди»; [28] «. . .и мужествовахъ с вами на многы страны, и противнымъ страшенъ быхъ въ бранехъ».[29] Или в «Похвале»: «И по браце целомудренно живяста. . . соблюдающи тело свое по браце чисто»,[30] а в «Слове о житии»: «и по брацѣ целомудрено живяста»; [31] «тѣло свое чисто съхрани до женитвы»; [32] «и по брацѣ съвокуплениа тожде тѣло чисто съблюде, грѣху же непричастно»; [33] «подружие имяше, и в цѣломудрии живяста»; [34] «преже приближенья браку чистоту съхранившимь».[35]

Отдельные однообразные обороты, заимствованные из «Похвалы», встречаются на протяжении всего «Слова о житии». Так, например, в «Похвале» есть выражение «а по вся святыа посты причастастася»; [36] это выражение много раз варьируется в «Слове о житии»: «по вся нощи», «по вся дни», «по вся часы», «по вся недиля» и пр.[37]

«Слово о житии» принадлежит к числу неполных подражаний. Кроме следования «Похвале роду рязанских князей» в ней имеются

---

[26] См.: Лихачев Д. С. Литературная судьба «Повести о разорении Рязани Батыем» в первой четверти XV в. — См. с. 278-280 наст. изд.

[27] Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском. — ТОДРЛ, М.; Л., 1949, т. 7, с. 320.

[28] Новгородская IV летопись, с. 352.

[29] Там же, с. 357.

[30] Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском, с. 321.

[31] Новгородская IV летопись, с. 352.

[32] Там же, с. 355.

[33] Там же.

[34] Там же, с. 362.

[35] Там же, с. 364.

[36] Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском, с. 321.

[37] Новгородская IV летопись, с. 356 и др.

и другие заимствования и инкрустации, например из «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона,[38] однако в целом тип подражания, как бы инкрустирующего «поэтизмы» и стилистические формулы из своего образца при общем следовании плану образца, и в данном случае близок «Задонщине».

Характерно, что «Задонщина» в XV и XVI вв. в свою очередь породила подражания и эти подражания опять-таки оказались того же типа, что и сама «Задонщина», — инкрустирующими поэтические элементы в инородный текст, соединяющими разные стили. Это подражания, но не стилизации. Я имею в виду различные редакции «Сказания о Мамаевом побоище» и рассказ псковской летописи о битве на Орше 1514 г.[39]

Следовательно, характер подражательности «Задонщины» типичен для своего времени.

Для поэтики подражаний свойственно и еще одно явление, на котором я не останавливался выше. Обычно объектом подражания (как в новой литературе, так и в древней) избирается произведение с яркой стилистической характерностью, произведение своеобразное.

Это обстоятельство подтверждается и приведенными примерами. Объектами подражаний в конце XIV—XV вв. служат «Житие Александра Невского», «Слово о законе и благодати» Илариона, «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Похвала роду рязанских князей». Яркое и последовательное в своем стиле «Слово о полку Игореве» послужило основой для произведения менее последовательного и более во всех отношениях бледного — «Задонщины». Это естественно. Обратное было бы исключением. Представить себе, что богатое и последовательное в стилистическом отношении «Слово» является подражанием более бедной и стилистически неоднородной «Задонщине», невозможно.[40]

Вместе с тем необходимо отметить, что подражательность «Задонщины» типична не только для литературы своего времени, но и для всей русской культуры конца XIV—начала XV в. Литература конца XIV—XV вв. обращается за образцами к литературе времени до татаро-монгольского нашествия — к своей «античности». В этой связи понятно и обращение автора «Задонщины» к «Слову о полку Игореве».

В эту эпоху, как известно, идет грандиозная восстановительная работа, стремящаяся возродить русскую культуру периода

---

[38] См. об этом в статье А. В. Соловьева «Епифаний Премудрый как автор „Слова о житии и преставлении великаго князя Дмитрия Ивановича, царя руськаго“» (ТОДРЛ, М.; Л., 1961, т. 17, с. 100—102).

[39] Псковские летописи. М.; Л., 1941, вып. 1, с. 98.

[40] Сильнейшее произведение, произведение, стилистически яркое и своеобразное, служит обычно оригиналом для произведения более бледного. В отношении своих подражаний «Задонщина» — произведение, конечно, более стилистически яркое и своеобразное, но по отношению к «Слову о полку Игореве» оно бледное: оно светит отраженным светом.

независимости Руси, домонгольскую культуру. Это одно из явлений русской культуры, типичных для времени после Куликовской победы.

Восстанавливаются стенные росписи (в них принимает участие Андрей Рублев), восстанавливаются храмы XI—XII вв. (во Владимире, в Твери, в Новгороде и пр.), в фольклоре, в былинах воспевается время богатырства киевского и князя Владимира, в литературе создаются новые редакции старых произведений (Повести временных лет, Киево-Печерского патерика и пр.) и возникают многочисленные частичные подражания памятникам XI—XIII вв.

То, что автор «Задонщины» пользовался книжным образцом, указано в самом тексте «Задонщины»: «Преже воcписах жалость земли Руские и прочее, от книг приводя» (*У*). В другом месте автор «Задонщины» пишет: «составим слово к слову». Возможно, что и здесь имеется в виду книжное произведение, называемое «Словом». Сама «Задонщина» называлась также «словом»: «Слово о великом князе Дмитрее Ивановиче и о брате его князе Владимере Андрѣевиче» (*У*).

Подражания и стилизация в историко-литературном процессе

Итак, «Задонщина» как подражание «Слову о полку Игореве» закономерно входит в литературный процесс и находит свое место в историко-культурных явлениях конца XIV—XV вв., когда мысль обращалась ко времени независимости и происходило своеобразное возрождение идейных и культурных традиций домонгольской Руси.

Сейчас я бы хотел обратить внимание еще на один аспект разбираемого вопроса. Выше я говорил о явлениях подражания, но совершенно не употреблял термина «стилизация». Явления подражания и явления стилизации — это не одно и то же. Стилизация неизвестна древнерусской литературе. В «Задонщине» нет элементов стилизации. Объясню, в чем тут дело.

Стилизация предполагает в стилизаторе тонкое чувство стиля, умение самостоятельно творить в стиле оригинала, соблюдать единство избранного стиля. В подражаниях конца XIV—XV вв. этого нет. Они строятся на отдельных заимствованиях, на выборках стилистических формул, на переделке отдельных заимствований и приспособлении их к новому содержанию. Ни одно из рассмотренных выше подражаний не в состоянии соблюсти единство заимствованного стиля. Заимствуется не стиль, а стилистические формулы и приемы. Эти стилистические формулы и приемы являются только элементами стиля произведения оригинала, которые вступают в механическое соединение с элементами других стилей. Тип подражаний конца XIV—XV вв. мозаичен.

Вопрос о появлении стилизаций в русской литературе — это вопрос историко-литературный, очень сложный и мало разработанный. Он требует строго исторического подхода. Стилизации в рус-

ской литературе начинают появляться только в новое время — тогда, когда возникает сознание индивидуального стиля писателя и сознание исторических стилей прошлого. В древней русской литературе были индивидуальные стили (у Владимира Мономаха, Максима Грека, Грозного и др.), но безусловно не было сознания индивидуального стиля в той его форме, в какой это сознание присуще новому времени. Не было и сознания исторической изменяемости стилей литературы. И это обстоятельство исключало возможность появления полноценных стилизаций. Были лишь подражания того типа, о котором я писал выше, но не могло быть архаизаций или стилизационных подделок.

Когда же появились или сделались возможными в русской литературе стилизации произведений древнерусской литературы и фольклора: стилизации под летописный стиль, под стили древнерусской ораторской прозы, под былины, исторические песни и пр.?

Вопрос этот очень важен и для подтверждения подлинности «Слова о полку Игореве». Выше мы уже исключили возможность видеть в «Слове о полку Игореве» подражание «Задонщине». «Слово» не может быть подражанием «Задонщине». Всеми признаками подражательности в ее типической для древнерусской литературы форме обладает не «Слово», а «Задонщина».

Если все же попытаться «перевернуть» зависимость и, закрыв глаза на все многочисленные противопоказания, признать «Слово» подражанием «Задонщине», то с точки зрения поэтики мы прежде всего вынуждены будем констатировать, что имеем дело в «Слове» с весьма странным типом подражания: с одной стороны, «Слово» мозаично и механически заимствует отдельные пассажи из «Задонщины» по типу древнерусских подражаний, но, с другой стороны, выступает не только как подражание древнерусского типа, но и как подражание стилизационное, соблюдающее органическую цельность стиля.

Итак, когда же стали в русской литературе возможны стилизации? Обратимся к концу XVIII в. — ко времени, когда было найдено «Слово о полку Игореве».

Обычно скептики сопоставляют «Слово» с известной чешской подделкой XIX в. — так называемой Краледворской рукописью: случай, мол, аналогичный. Это сопоставление грешит антиисторичностью. Краледворская рукопись создана совершенно в другое время — в середине первой трети XIX в., в обстановке позднего романтизма, в особых условиях борьбы чешских ученых за национальную культуру. Краледворская рукопись создана в то время, когда были представления о древнечешском языке, об исторической изменяемости стиля, литературы и т. д.

«Слово о полку Игореве» было открыто в обстановке, когда во множестве собирались и открывались и другие исторические документы, издавались памятники русской истории. Но все эти памятники ценились прежде всего как исторические источники, а не как литературные памятники. С точки зрения вкусов классицизма они не представляли собой эстетической ценности, и пред-

романтические настроения, начавшие овладевать обществом, не успели еще многое здесь изменить. Исторические темы вошли в литературу, но они подносились читателю в антиисторическом духе патетической декламации. Эти декламации на исторические темы никогда не стилизовались под старинную или народную речь.

Хорошую характеристику разработке в литературе конца XVIII в. исторической темы дает В. В. Виноградов: «Обращаясь к историческим темам, русские авторы XVIII века писали на самом деле авантюрные и философические романы, иногда с явным публицистическим уклоном в сторону современности, в сторону тенденциозного отражения мыслей и настроений текущего политического момента (ср. «Нума», «Кадм и Гармония», «Полидор» Хераскова). „Привлекательности баснословия" и „вымыслы" торжествовали над историческим правдоподобием. Херасков, П. Зарьин (автор «Приключений Клеандра, храбраго царевича Лакедемонского»), Пракудин (автор «Валерии»), Ф. Эмин и др., при всем различии их стилей, были одинаково далеки от стремления с помощью словесно-художественных средств — хотя бы и современной литературной речи — создать исторический, этнографический или местный колорит изображаемых событий. Попытки освещения восточнославянской богатырской старины у М. Чулкова в его „Русских сказках" (1780) и „Славянских сказках" («Пересмешник» — 1766 г.), а также у М. Попова в „Славянских древностях" (1770), в „Вечерних часах, или Древних сказках славян древлянских" В. Левшина (1787) и некоторых других сочинениях второй половины XVIII в. были также полны традиционных ситуаций и стилистических форм героических поэм и рыцарских романов эпохи классицизма».[41]

Только в начале XIX в. появляются исторические произведения, черпавшие сюжеты из летописей, — сюжеты, но еще не стиль!

Не могло быть в конце XVIII в. и подражаний народной поэзии. В конце XVIII и в начале XIX в. фольклор воспринимался как нечто принадлежащее к низшему роду искусства. Фольклорные мотивы могли быть введены в сатиру, в комедию, в дружеские и шутливые песни. Народные поговорки и пословицы использовал «Письмовник» Курганова. Фольклорный язык отождествлялся с простонародным. Однако «Слово» по своей теме относится к «высокой» литературе. Оно принадлежит к высоким жанрам в той иерархии литературных жанров, которые зафиксировал Ломоносов. В «Слове» изображены «геройство и высокие мысли». Оно могло восприниматься только как героическая поэма, как «песнь» и именно так было воспринято современниками (см. заглавие, данное «Слову» его первыми издателями: «Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича»). Следовательно, обращение к народной поэзии в «Слове» было необычным и непонятным. Народность «Слова», его связь

---

[41] Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959, с. 516—517.

с народной поэзией до Пушкина и Максимовича совершенно не воспринималась и не могла быть поэтому и введена в него воображаемым автором XVIII в.

Как понимался фольклор в конце XVIII в., отчетливо видно по обращению к фольклору в произведениях Чулкова, Попова, Левшина. Прежде всего они вводили в литературу пословицы, новеллистические сказки, анекдоты, песни. Во всех сборниках фольклорного материала конца XVIII в. фольклор был перемешан с нефольклорного происхождения произведениями. Вот что пишет, например, М. К. Азадовский о сборниках Левшина: «Материал левшинских сборников показывает, что автор их очень хорошо был знаком с устной поэзией; он, несомненно, знал подлинные народные былины, знал и сказки, но пользовался он этим совершенно своеобразно. Конечно, нет и речи о точной передаче народных памятников; Левшин свободно обращается с ними, соединяет разные сюжеты, соединяет сказку с былиной, подчиняя все в целом стилю западного рыцарского авантюрного романа. В его сказках встречаются и Василий Богуславич, и Добрыня Никитич, и Алеша Попович, и Чурила, и другие богатыри, однако, кроме имен, в них нет ничего от русского эпоса».[42] Иными словами, это отношение прямо противоположно отношению к фольклору «Слова о полку Игореве», где нет фольклорных имен, но есть тонкое понимание стиля фольклора как возвышенного, где есть фольклорные образы, эпитеты, метафоры, отрицательный параллелизм, фольклорное отношение к природе — одним словом, все то, что было открыто в фольклоре через несколько десятилетий.

Характерно, что даже ранний Пушкин в своих первых произведениях недалеко ушел от этого левшинского понимания фольклора. Именно к Левшину обратился Пушкин, когда задумал свою первую поэму «Руслан и Людмила».[43]

Настороженное отношение к фольклору было особенно характерно для просветителей XVIII в., для писателей, находившихся на прогрессивных позициях. М. К. Азадовский пишет: «Произведения народного творчества в их (просветителей. — *Д. Л.*) представлении неразрывно связаны с народным суеверием, народными предрассудками; борьба с последними включала поэтому в свою орбиту народное творчество целиком. Борьба за прогресс и культуру кажется несовместимой с пристрастием к тому, что так или иначе органически связано с некультурными массами. Народные песни, сказки, обряды в глазах просветителей являлись проявлениями народного бескультурья и невежества, а потому вызывали отрицательное или, во всяком случае, холодное отношение. Такое понимание характерно не только для русского просветительства; оно характерно для всего рационалистического просветительства

---

[42] Азадовский М. История русской фольклористики. М., 1958, с. 67.

[43] Сиповский В. В. «Руслан и Людмила»: (к литературной истории поэмы). — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1906, вып. 4, с. 59—84.

в целом. У нас такие воззрения в той или иной степени разделяли Татищев, Болтин, Державин, Фонвизин, отчасти Ломоносов, Батюшков и многие другие вплоть до позднейших западников и радикалов. . .».[44]

Вот почему народно-песенные основы «Слова» были совершенно не поняты ни его первыми издателями, ни первыми исследователями. Первыми, кто оценил, увидел и открыл народно-поэтические элементы «Слова», были Пушкин (и то только в 30-е гг. XIX в.) и М. А. Максимович. Но и они обратили внимание далеко не на все народно-поэтические элементы «Слова».

В «Слове» нашли то, чего в нем не было, — оссианизм, указав на такие элементы этого якобы «оссианизма», которые впоследствии все обнаружились в открытой в 1852 г. «Задонщине» (элегический тон, слезы одного из героев-князей, вещая птица — «див», зловещие приметы и пр.). Это и понятно: открыть можно знакомое, но нельзя открыть то, что еще никем в те времена не замечалось и для обнаружения чего не было достаточно оснований.

* * *

Итак, «Задонщина» представляет собой вполне типичное для конца XIV—начала XV в. подражание произведению эпохи независимости Руси. Оно относится к периоду, когда русская литература начинала медленно возрождаться после застоя, вызванного полуторавековым чужеземным игом. Произведения этого времени обращаются как к своим образцам к лучшим памятникам эпохи расцвета и независимости Руси. Но это обращение своеобразно: из старых произведений извлекаются образы, обороты речи, формулы, которые затем инкрустируются в сочинения, посвященные современности. Так поступали средневековые строители, извлекавшие детали античных зданий из руин, чтобы украсить ими собственные постройки. При этом чувство старого стиля отсутствовало, и поэтому возникали диспропорции и смешения стилей.

Если бы даже до нас не дошло «Слово о полку Игореве», мы должны были бы предположить его существование, анализируя стилистический строй «Задонщины».

Теперь предположим на мгновение, что не «Задонщина» подражала «Слову», но «Слово» — подражание «Задонщине». В таком случае оно явилось бы подражанием стилизационным, возникшим в эпоху, которая не знала стилизаций древнерусских памятников и народных произведений. Но это стилизационное подражание должно было бы к тому же обладать качествами, которыми не обладает ни одно из известных стилизационных подражаний вообще. Оно подражает не литературному произведению, а только одному из пластов его стиля. Автор «Слова», живи он в XVIII в., должен был бы исключить из своего подражания слой деловой прозы

[44] Азадовский М. История русской фольклористики, с. 80—81.

и целиком переработать слой народно-поэтический. Это был бы самый сложный тип стилизации, созданный при этом в эпоху, не знавшую стилизации под старину.

Сложность стилизационной работы мнимого автора XVIII в. усугублялась еще и тем, что он должен был бы бережно сохранить в своем произведении весь текст «Задонщины», связанный с тем стилистическим слоем, которому он подражал. Заимствуя текст этого слоя, он мало нарушал его словесную форму, но искусно развивал свои механические заимствования, присоединяя к ним однородные в стилистическом отношении куски текста, прочно сливая их в единый, однородный стилистический монолит.

Мало этого, он должен был, не выбрасывая из «Задонщины» ни одного стилистически близкого к нему куска текста, так применить их к событиям «Слова», чтобы создать правильную хронологическую последовательность, исправив все непоследовательности «Задонщины». Он должен был, бережно сохраняя текст «Задонщины», избавиться от всех ее несообразностей, географических и исторических неточностей. Он должен был избавиться от многочисленных повторений «Задонщины». И проведя такую работу, он должен был органически слить стиль заимствований из «Задонщины» с народно-поэтическими элементами своего произведения.

Ясно, что такого рода стилизационная работа совершенно невозможна не только для конца XVIII в., не знающего еще стилизаций, но и когда бы то ни было вообще.

1964

ЛЕТОПИСНЫЕ ИЗВЕСТИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ПОПОВИЧЕ

В XV в., как и в XI, летопись входит в тесное соприкосновение с народными, устными произведениями.

Особенный интерес представляют собою в поздних русских летописях упоминания о герое русского былевого эпоса — Александре Поповиче. Летописные известия об Александре Поповиче не раз привлекались исследователями русского былевого эпоса для выяснения истории былин об Алеше Поповиче. Отождествление этого летописного Александра Поповича и былинного Алеши Поповича принадлежит Л. Н. Майкову. Оно было поддержано В. Ф. Миллером и с тех пор не вызывало сомнений: вопрос этот может считаться решенным.

Все исследователи русского эпоса пользовались, однако, русскими летописями как безусловно достоверными историческими свидетельствами действительного существования Александра Поповича. Несмотря на то что известия об Александре Поповиче встречаются исключительно в поздних списках русских летописей — в Новгородской IV, в Софийских I и II, в Воскресенской летописи, в Ростовской архивной, в Академической Суздальской, в Тверском сборнике, в Ермолинской летописи, в Типографской, в Рогожском летописце, в Хронографе 1512 г. и др., никто из исследователей эпоса не считался с историей летописания и в упоминании об участии Александра Поповича в битве на Калке под 1224 г. видели отражение реального исторического факта, из которого впоследствии развились былины об Александре Поповиче. Костомаров, О. Миллер, Халанский, Квашнин-Самарин, Хаткевич — с оговорками, — а Вс. Миллер и другие — без оговорок — находили возможным считать доказанным историческое участие Александра Поповича в битве при Калке. «Должно признать потому, — писал Вс. Миллер, — за преданием об Александре историческую основу и думать, что сказания о нем возникли историческим путем и личность его историческая».[1] Больше того, некритически объединяя в летописи наслоения различных эпох и безусловно доверяя тексту каждого летописного списка, Вс. Миллер считал исторически точными упоминания таких поздних летописей, как Никоновская, Якимовская, Тверской сборник и других, как известно, обильно пользовавшихся произведениями народной словесности. Между тем история летописания сделала в последние десятилетия настолько большие шаги вперед, что в настоящее время имеется широкая возможность критически разобраться в различных известиях летописей об Александре Поповиче и попытаться восстановить их происхождение и историю: явились ли упоминания об Александре Поповиче отражением исторической действительности или позднейших былин? Напом-

---

[1] Миллер Вс. Очерки русской народной словесности. М.; Л., 1924, т. 3, с. 180—181.

ним, что в литературе о летописании по поводу отражения былин в летописях имелся уже ряд важных соображений, игнорировавшихся до сих пор при изучении истории русского эпоса.[2] Обратимся к упоминаниям об участии Александра Поповича в Калкской битве.

1

Грозные события Калкской битвы получили отражение в русской книжности в современных почти им записях русских летописей. Три древнейших русских летописных списка — Новгородская I летопись в Синодальном харатейном списке XIV в.,[3] Лаврентьевский список 1377 г. и Ипатьевский список начала XV в. включили в свой состав подробные повести о событиях этой несчастной для русских битвы. Повести эти, несмотря на всю их важность для истории русской литературы и по значительности своего содержания и по величине того влияния, которое было ими оказано на последующую русскую историческую литературу, остались не изученными историками русской литературы. Поэтому позволю себе остановиться на них несколько подробнее.

Особенно ценен рассказ Лаврентьевской летописи, представляющий собою ростовскую обработку первоначально южнорусского известия. Напомним одновременно, что в известиях других летописей и в некоторых былинах Александр Попович является ростовским богатырем, и поэтому естественно искать первоначальное упоминание о нем именно в ростовских летописях.

Ростовское летописание (как это устанавливается работами М. Д. Приселкова)[4] возникло при сыне Всеволода Большое Гнездо, Константине, который начал его в 1206 г. в Новгороде как личное летописание, а с 1207 г., став ростовским князем, продолжал его как летописание собственно ростовское.[5] После смерти Константина в 1218 г. оно продолжалось его сыновьями и непосредственно выполнялось ростовской епископской кафедрой.

---

[2] Работа А. А. Шахматова «Общерусские летописные своды XIV—XV вв.», где были высказаны эти соображения, появилась в 1901 г. (ЖМНП, 1901, кн. 11, с. 52—80). Работа же Вс. Миллера «Очерки русской народной словесности» была им закончена в июле 1912 г., а напечатана в 1924 г. Выводы А. А. Шахматова Вс. Миллером не приняты во внимание.

[3] По определению А. И. Соболевского. По определению же П. И. Савваитова, первый почерк, обнимающий древнейшие события до 1200 г., относится к самому началу XIII столетия, второй до 1234 г. — к первой половине того же столетия, третий по 1333 г. — к первой же половине XIV столетия (Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 1888, с. VI). К XIV в. склоняется А. А. Шахматов (Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.; Л., 1938, с. 128).

[4] Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, с. 87 и след. Ср. также специальное исследование: Приселков М. Д. Лаврентьевская летопись: (история текста). — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1939. Сер. ист. наук, вып. 2, с. 76—142.

[5] Ср. записи 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217 и 1218 гг.

В статьях 1218—1239 гг. ростовское летописание пристально следит за судьбою старшего сына Константина Всеволодовича — Василька. Описание смерти Василька Константиновича под 1239 г. заканчивается похвалой ему, выдержанной в панегирическом стиле. Летописец-ростовец изображает Василька Константиновича почти святым — мучеником за веру.

Включенный в эту дошедшую до нас ростовскую летопись рассказ о Калкской битве носит явный отпечаток того же придворного летописания этого ростовского князя Василька Константиновича. В этом ростовском рассказе о Калкской битве дважды с сочувствием упоминается ростовский князь Василько. В первый раз после слов о том, что Мстислав Киевский выступил против татар со всеми прочими русскими князьями, ростовский летописец прибавил: «и послашася в Володимерь к великому князю Юргю, сыну Всеволожю, прося помочи у него, он же посла к ним благочестивого князя Василька сыновца своего Костянтиновича с Ростовци, и не утяну Василко прити к ним в Русь».[6] Вторично упомянул Василька Константиновича ростовский летописец после описания страшного поражения русских, заключив его бестактным выражением радости по поводу возвращения в Ростов Василька, не успевшего принять участие в битве: «. . .се же слышав Василко приключьшееся в Руси, возвратися от Чернигова схранен богомь и силою креста честного и молитвою отца своего Костянтина и стрыя своего Георгия. И вниде в свои Ростов, славя бога и святую богородицю».[7] Вторично необычайную радость высказывает летописец-ростовец после рассказа о страшном разгроме Владимирско-Суздальской земли — в перечислении оставшихся в живых русских князей: «. . . сдея господь спасение велико князем нашим, избавил есть от врагов наших. . .» и т. д.[8]

На основании вышеизложенного можно думать, что рассказ о Калкской битве, ныне читаемый в Лаврентьевской летописи, принадлежит официальной ростовской летописи.

Однако составитель ростовской летописи XIII в. не сам составил повесть о Калкской битве, а лишь обработал ее, упомянув о Васильке и основательно сократив. В руках у ее составителя была Владимирская великокняжеская летопись 1228 г. В ней уже имелось описание Калкской битвы, более подробное, чем то, которое сохранилось сейчас в Лаврентьевском списке. Как можно думать сейчас, принимая во внимание общую историю владимирско-суздальского летописания, рассказ о Калкской битве был включен во владимирский свод 1228 г. из Летописца Переяславля Южного (или Русского). К этому летописанию, как известно,[9] восходили все южнорусские известия Владимирского великокняжеского летописания (в 1177 г. во Владимире был использован

[6] Лаврентьевская летопись. — ПСРЛ, Л., 1927, т. 1, вып. 2, стб. 446.
[7] Там же, стб. 447.
[8] Там же, стб. 469.
[9] Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв., с. 64 и след.

епископский летописец Переяславля Русского, в 1193 г. — княжеский летописец Переяславля Русского; в 1212 г. был вновь привлечен к составлению владимирского свода княжеский летописец Переяславля Русского; наконец, в 1228 г. были в четвертый раз использованы летописные источники Переяславля Русского). В числе этих южных переяславских летописных известий, перенесенных во владимирский свод 1228 г., читалась и известная повесть о Калкской битве, составленная, следовательно, между 1223 и 1228 гг. — сразу же после событий на Калке.

Эта повесть, перенесенная вместе с рядом других южнорусских известий из переяславского летописания в состав Владимирского великокняжеского свода 1228 г., через десять лет подверглась сокращению и незначительным дополнениям при включении в ростовскую летопись. В этом исправленном ростовским летописцем виде повесть о Калкской битве читается теперь в составе Лаврентьевской летописи.

Таким образом, в Лаврентьевской летописи за годы 1207—1239 идут ростовские летописные записи, несущие в себе типические черты ростовского летописания, и под 1224 г. ростовская версия повести о Калкской битве.

И вот, вопреки утверждениям историков былевого эпоса, что первые известия об Александре Поповиче должны были сохраниться именно в ростовском летописании (Александр Попович — ростовец), никаких упоминаний в этой древнейшей ростовской летописи о ростовском «храбре» Александре Поповиче нет. Наоборот, бестактный восторг летописца вызван именно отсутствием ростовцев в этой битве.

Впоследствии ростовское летописание неоднократно привлекалось при составлении московских общерусских сводов XV в. Ростовское летописание усвоили свод Киприана, Владимирский Полихрон Фотия и др. Те ростовские летописи, которые были использованы в позднейших общерусских летописных сводах XV и XVI вв., дают самые ничтожные по размерам записи, главным образом, о смерти или вступлении на кафедру ростовских епископов. Епископский летописец Ростова, использованный в своде Киприана, по-видимому, начинал свои записи только с XIV в. Можно поэтому думать, что в XV в. в Ростове не было никаких летописных записей от XIII в. Это подтверждается тем, что ростовские летописи XV и XVI вв. для изложения событий русской истории до XIV в. обычно пользовались общерусскими московскими сводами XV и XVI вв.[10]

---

[10] Так, например, Тихоновская редакция Ростовского владычнего свода, доведенная до 1484 г. и отразившаяся в Типографской летописи (в частности в ее списках: ГИМ, Синодальное собр., № 789 и ГПБ, F.IV.218), использовала в известиях XIII в. Московский великокняжеский свод в редакции 1479 г. и дополнительный свод, близкий к Лаврентьевской. Многие известия явно ростовского происхождения оказываются заимствованными из этого последнего источника (см.: Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв., с. 150 и предш.).

Можно считать, что ростовское летописание в достаточной мере изучено в настоящее время (изучен ростовский свод XV в., отразившийся в составе Ермолинской, Уваровского списка XVI в., № 188, Кирилло-Белозерского списка XVII в., № 454, хранящегося в архиве Археографической комиссии; изучена Тихоновская редакция ростовского владычного свода, отразившегося в Типографской летописи, в летописи Толстовского собрания ГПБ, F.IV, № 218 и др.).

Никаких упоминаний в нем Александра Поповича не встречается, и предполагать наличие в XV в. каких-то не дошедших до нас ростовских летописных записей XIII в. нет оснований. Нет оснований потому, что ростовское летописание, отразившись в XV в. в известии о Калкской битве, неизбежно дало бы себя знать и в других известиях летописей XV в., а этого нет. Во-вторых, нет оснований предполагать наличие особого не сохранившегося ростовского летописания XIII в. еще и потому, что ростовское летописание XIII в. в своей официальной версии как раз дошло до нас (как это выяснено выше, — в Лаврентьевской летописи). Летописание же в XIII в., как и в XII, и в XIV, и в XV вв., было только официальным и не могло в качестве такового дублироваться (два возможных центра официального ростовского летописания — двор епископа и двор князя — оба представлены в той ростовской летописи, которая вошла в состав Лаврентьевской).

Таким образом, рушится основное утверждение исследователей истории русского эпоса (в частности Вс. Миллера), что упоминание Александра Поповича как героя Калкской битвы, имеющееся в летописных списках XV и XVI вв., восходит к записям ростовской летописи, современным событиям. Как раз ростовская летопись их и не имеет.

2

Труднее установить происхождение рассказа о Калкской битве, имеющегося в Синодальном списке Новгородской I летописи. Синодальный список Новгородской I летописи за первую половину XIII в. крайне небогат известиями, выходящими за пределы узко новгородских. Тем поразительнее полное тождество в нем рассказа о Калкской битве в первой своей части (в которой делаются различные предположения о происхождении татар) с рассказом Лаврентьевской летописи. Однако следы ростовской обработки рассказа о Калкской битве (например, известия о судьбе ростовского князя Василька Константиновича), наличествующие в Лаврентьевской летописи, здесь в Синодальном списке Новгородской I летописи отсутствуют. Следовательно, рассказ о Калкской битве включен в состав Новгородской летописи не из ростовской летописи.

Вместе с тем в соседних статьях Новгородской I летописи в Синодальном списке отсутствуют полностью какие бы то ни было владимирско-суздальские известия, и это делает весьма

маловероятным предположение, что рассказ о Калкской битве включен в нее из какой-то владимирской великокняжеской летописи.

Однако в составе Новгородской I летописи по Синодальному списку встречаются южнорусские и рязанские известия.[11] Эти южнорусские известия близки к соответствующим известиям Лаврентьевской летописи, и это делает весьма вероятным предположение, что рассказ Синодального списка Новгородской I летописи заимствован из того же южнорусского источника, из которого черпал свои южнорусские известия и владимирский летописец, т. е. из летописи Переяславля Русского. Это заимствование могло быть непосредственным либо опосредствованным какой-нибудь обработкой летописца Переяславля Русского — например Рязанской (существование такой рязанской обработки южнорусских известий подтверждается некоторыми летописными статьями Синодального списка; в существо этого вопроса в данной работе не входим).[12] Как бы, однако, ни рассматривать вопрос о происхождении статьи о Калкской битве в Новгородской I летописи, перед нами несомненно рассказ гораздо более полный и лучше сохранившийся, чем подвергшийся значительному сокращению в Ростове рассказ Лаврентьевской летописи. В Новгородской I летописи по Синодальному списку мы имеем, следовательно, наиболее полную и точную передачу впечатлений южнорусского летописца, работавшего между 1223 и 1228 гг., от катастрофических событий битвы на Калке.

Следует особенно подчеркнуть, что этот рассказ о Калкской битве отразил общенародные, ходячие представления того времени о надвинувшейся на Русь катастрофе. Рассказ этот пришелся по вкусу в различных областях Руси в тот период, когда, казалось бы, летописание каждой русской области развивалось уже вполне обособленно, когда книжные связи между отдельными княжествами были прерваны и каждая область замыкалась в местных интересах. Народный интерес к этому рассказу о Калкской битве выразился не только в том, что статья эта попала в летописание четырех русских княжеств и областей (Переяславля Русского, Владимира, Ростова и Новгорода), но и в том еще, что в виде каких-то ходячих, очевидно, устных, отголосков она достигла и летописей западноевропейских. Цезарий Гейстербахский в 47-й главе X книги своей хроники пишет о Калкской битве в форме более или менее сходной с формой русских летописей: «В прошед-

[11] Ср. известия под 1209, 1218, 1299 гг.

[12] Вопрос о рязанской летописи подробно изучался В. Л. Комаровичем. В частной беседе В. Л. Комарович говорил мне о том, что все те известия, которые, по мнению А. А. Шахматова, восходят в Синодальном списке к Владимирскому Полихрону XIV в., на самом деле являются рязанскими. Действительно, под 1210 г. рассказывается о походе Всеволода Большое Гнездо на Рязань (в Лаврентьевской под 1207 г.), под 1218 г. — о убиении Глебом и Константином рязанскими своих братьев (в Лаврентьевской под 1217 г.). Остальные касались Рязани: 1224 г. — Калкская битва, 1230 г. — землетрясение, 1236 г. — пленение татарами Болгарской земли.

шем году еще какой-то народ вошел во владения Руссов и истребил там весь народ унский: нам неизвестно, что это за народ, откуда идет и куда стремится»;[13] ср. в Новгородской I по Синодальному списку: «Том же лете, по грехом нашим, придоша языци незнаеми, их же добре никто же не весть, кто суть и отколе изъидоша, и что язык их, и котораго племене суть, и что вера их. . .». «Бог един весть, кто суть и отколе изъидоша. . . мы же их не вемы, кто суть. . .» «. . .и не съведаем откуду суть пришли, и где ся деша опять; бог весть, отколе приде на нас, за грехы наша».[14]

Итак, Синодальный список Новгородской I летописи сохранил в наиболее полном виде популярный южнорусский рассказ о Калкской битве, составленный почти сразу же после поражения русских в период между 1223 и 1228 гг. Но и в этом наиболее полном рассказе, составленном современником битвы на Калке, известие о гибели Александра Поповича также отсутствует.

3

Один из самых обстоятельных рассказов о Калкской битве, чрезвычайно ценный своею точностью, заключен в Ипатьевском списке XIV в. Рассказ этот составлен участником битвы, что доказывается словами: «вся нам (разрядка моя. — *Д. Л.*) по суху же Днепр перешедшим».[15] Рассказ о Калкской битве внесен в Ипатьевский список в составе свода Юрия Львовича Галицкого начала XIV в. В свод Юрия Львовича этот рассказ оказался внесенным из Галицкой летописи. Соответственно своему галицкому происхождению рассказ о Калкской битве отмечает участие в битве галицкого князя Даниила.

Однако свод Юрия Львовича Галицкого, легший в основание Ипатьевской летописи, привлек в свой состав какой-то из ростово-суздальских сводов XIII в.[16] Отсюда могло явиться упоминание в рассказе о Калкской битве Василька Константиновича, к которому, как мы видели выше, был особенно внимателен ростовский летописец. Это упоминание сделано в такой форме, которая явно свидетельствует о его вставном характере; после известия о совете в Киеве русских князей и о крещении половецкого князя Басты идут слова: «Василька же не бе, бе бо в Володимере млад». Упоминание об отсутствии Василька становится понятным только в связи с известием ростовской летописи о том, что князь Юрий Всеволодович послал Мстиславу Василька, который, однако, не

---

[13] Учен. зап. Академии Наук по I и III отд., СПб., 1854, т. 2, с. 760.

[14] Цитирую по Синодальному списку Новгородской I летописи по изд. 1888 г.

[15] Ипатьевская летопись. — ПСРЛ, СПб., 1908, т. 2, стб. 741.

[16] См. об этом: Приселков М. Д. 1) Летописание Западной Украины и Белоруссии. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1941, № 67, Сер. ист. наук, вып. 7, с. 16; 2) История русского летописания XI—XV вв., с. 47 и др.

успел прибыть вовремя и вернулся обратно в Ростов, «славя бога и святую богородицю».[17]

Подчеркиваю, что и в этом рассказе о Калкской битве, составленном очевидцем и отразившем на себе влияние ростовской летописи, каких-либо упоминаний о ростовском герое Александре Поповиче также нет.

Наконец, после введения А. А. Шахматовым в научный оборот так называемой Симеоновской летописи можно с достоверностью утверждать отсутствие упоминаний об Александре Поповиче и в московской летописи вплоть до начала XV в. В пределах от 1177 по 1390 г. Симеоновская летопись, как это убедительно показано А. А. Шахматовым, целиком совпадает с текстом сгоревшей Троицкой летописи, представлявшей собой почти точную копию Московского свода митрополита Киприана (по М. Д. Приселкову — 1408 г., по моим соображениям — 1409 г.). Нет оснований утверждать, что Московский свод Киприана сокращал предшествующее ему летописание; тем самым отсутствие упоминаний об Александре Поповиче в основном русле русского летописания вплоть до начала XV в. становится достоверным фактом.

Отметим, кроме того, что и самое реальное участие ростовских «храбров» в Калкской битве исторически мало вероятно, так как известно, что ростовский князь Василько Константинович с дружиной прибыть к месту сбора русских войск перед Калкской битвой опоздал и вернулся назад в Ростов.

4

Итак, ни древнейшие списки русских летописей — Лаврентьевский, Синодальный, Новгородский I, Ипатьевский, оставившие нам полные и современные описания Калкской битвы, — ни иные летописные своды, вплоть до XV в., не сохранили нам никаких упоминаний ростовского «храбра» Александра Поповича как участника битвы на Калке.

Никаких других описаний Калкской битвы в позднейших сводах (XV и XVI вв.), которые могли бы восходить к XIII в., не сохранилось, и предполагать их нет оснований, так как новый летописный источник, если бы отразился в рассказе о Калкской битве, неизбежно должен был бы дать себя почувствовать и в других частях летописи.

Таким образом, обозрение летописных известий о Калкской битве, восходящих к XIII в., приводит к убеждению, что упоминание гибели Александра Поповича и его 70 «храбрых» в битве на Калке не может восходить ни к ростовским записям XIII в., ни

[17] Лаврентьевская летопись. — ПСРЛ, т. 1, вып. 2, стб. 447.

к каким-либо вообще современным записям XIII в. Следовательно, рушится предположение Н. Дашкевича, ставшее затем одним из основных положений истории русского героического эпоса: «Александр как ростовец был особенно дорог своим землякам, и упоминание о нем могло войти раньше всего в ростовскую летопись».[18]

Однако, как было уже упомянуто выше, позднейшие общерусские летописные своды XV и XVI вв. имеют краткую вставку о гибели в Калкской битве Александра Поповича и 70 русских «хробров».[19] Откуда могло появиться это сообщение? Время появления его неоспоримо установлено А. А. Шахматовым: вставка о гибели «храбров» была первоначально сделана во Владимирский Полихрон Фотия 1423 г. (по М. Д. Приселкову — 1418 г.), откуда перешла в Хронограф 1442 г., с одной стороны, и в свод 1448 г. (т. е. в Новгородско-Софийский свод 30-х гг. XV в.) — с другой. Из последнего эта вставка перешла в большинство летописей второй половины XV и XVI вв.

Следует обратить внимание на то, что пространное описание Калкской битвы, встречаемое в летописях, вышедших из Владимирского Полихрона Фотия, является компиляцией тех, в основном двух, описаний Калкской битвы (Переяславля Русского и Галицкого), которые дошли до нас в составе Синодального списка Новгородской I летописи, Лаврентьевской и Ипатьевской. Никаких новых данных о Калкской битве за исключением краткого упоминания о гибели «храбрых» в этих поздних общерусских летописных сводах нет.

Самая вставка о гибели Александра Поповича и его «храбрых» несколько варьируется в летописях. Так, например, несколько колеблется число погибших с Александром Поповичем «храбрых»: 70, 72 и 10. Колебание это не свидетельствует о каких-либо новых данных у летописцев, а исключительно зависит от их собственных домыслов. Так, например, в Софийской I сообщается о том, что Александр Попович был убит с 10 «храбрами». Объясняется это тем, что летописец не понял сообщения предшествующей летописи: «А иного воя когождо десятыи прииде», встретившегося ему после известия об убийстве 6 русских князей «Мьстислава Яневьскаго, Изяслава Инговерьскаго, Святослава Шумьскаго, Мьстислава Черниговьскаго с сыном, Юрия Несвежескаго». Решив, что перед ним известие о гибели 6 русских богатырей, каждого из которых сопровождало 10 «храбров», летописец вычел из общего числа 70 «храбров» этих 60 «храбров», сопровождавших, по его мнению, князей, и оставшееся количество (10) отвел на долю Александра Поповича (такого рода вычисления обычны

---

[18] Дашкевич Н. К вопросу о происхождении былин об Алеше Поповиче и о том, как перевелись богатыри на св. Руси. — Унив. известия, Киев, 1883, № 3, с. 169. См.: Миллер Вс. Очерки русской народной словесности. М., 1910, т. 2, с. 32 и след.; 1924, т. 3, с. 76 и след.

[19] Шахматов А. А. Общерусские летописные своды XIV и XV вв. — ЖМНП, 1901, ноябрь, с. 73 и след.

в русской летописи; особенно часты хронологические вычисления).[20]

В Никоновской летописи, помимо гибели Александра Поповича и его 70 «храбров», упоминается еще и гибель слуги Александра Поповича — Торопа и Добрыни Рязанича. . ., Златого Пояса.[21] Надо думать, что эта прибавка сделана не составителем Никоновской летописи, а несколько раньше, в XVI в., так как именно этих богатырей учитывает, очевидно, Тверской сборник, упоминая в предисловии к летописной статье 1237 г. о гибели Александра Поповича и его 72 «храбрых» (к вопросу о слуге Александра Поповича Торопе и Добрыне Рязаниче Златом Поясе мы еще вернемся). Итак, вставку о гибели богатырей в рассказ Владимирского Полихрона Фотия 1418 или 1423 г. можно без особых натяжек предполагать сделанной в следующей форме: «И Олександр Поповичь ту же убиен бысть с инеми семиюдесять храбрых». Все остальные отклонения от этого известия можно считать позднейшими.

На основании каких данных была сделана в Полихроне Фотия вставка о гибели на Калке Александра Поповича и иных 70 «храбрых»? Ответ на этот вопрос кроется, как нам кажется, в самом характере летописного свода Фотия.

Владимирский Полихрон Фотия был по существу первым настоящим общерусским сводом, стремившимся возможно шире охватить события русской истории и вместе с тем установить на них не узко областную точку зрения, а общерусскую, связанную с сочувствием демократическим слоям населения Руси. Составитель Владимирского Полихрона Фотия не хотел упустить ничего из того исторического материала, который можно было найти в первой половине XV в. по городам и монастырям Руси.

В свод Фотия, помимо областных летописей, уже имевшихся к тому времени в Москве, были привлечены также и памятники внелетописного происхождения: повести, сказания, жития, грамоты, послания, юридические акты, Русская Правда, церковно-законодательные памятники и т. д. Для Владимирского Полихрона Фотия был составлен перечень иерархов русской церкви (см. список иерархов в Новгородской IV, оканчивавшийся Фотием, и Комиссионный список Новгородской I, окончившийся Герасимом; в осложненном виде перешел в Симеоновскую и Никоновскую). Для Владимирского же Полихрона был составлен список русских городов дальних и ближних (сохранился в Новгородской IV и при Комиссионном списке Новгородской I; перешел в Воскресенскую и Никоновскую). Здесь же во Владимирском Полихроне читался перечень епископий и родословия московских вели-

---

[20] Шахматов А. А. Хронология древнейших русских летописных сводов. — ЖМНП, 1897, апрель, с. 463—482.

[21] Прозвище «Золотой Пояс» (Добрыни, Тимони) до сих пор не подвергалось объяснению. В связи с этим интересно сведение о «золотых поясах», приводимое А. И. Никитским: «. . .знатнейшие русские купцы в немецких известиях являются под названием „золотых поясов“» (История экономического быта Великого Новгорода. М., 1893, с. 95).

ких князей. «Быть может, Полихрон не ограничивался родословием одних московских великих князей, — писал А. А. Шахматов, — а давал также сведения о других русских князьях: Смоленских (ср. краткий перечень их в Воскресенской летописи, VII, 239), Рязанских (ср. там же, VII, 241), Тверских (там же, VII, 245), Литовских (там же, VII, 253), Суздальских (ср. краткий перечень их в Комиссионном списке Новгородской первой, 437) и др.».[22]

Весь этот материал знаменовал собою отказ от узкомосковской точки зрения на события русской истории, доминировавшей в предшествующих московских летописных сводах.

Все обидные для самолюбия суздальцев, тверичей, новгородцев и других места были во Владимирском Полихроне тщательно уничтожены. Из состава московской летописи «опускается, с одной стороны, не мало известий семейного характера княжеского московского дома, а, с другой стороны, все те случаи московского толкования хода борьбы Москвы с соперничающими с нею центрами, что так охотно и упорно сохранял сводчик 1408 г. (свода Киприана. — *Д. Л.*). Для примера достаточно будет сослаться на запись в своде 1418 г. (под 1355 г.) о смерти суздальского князя Константина Васильевича, где выразительно добавлено против свода 1408 г.: „честно боронив свою отчину от силнее себя князей", под которыми разумелись, конечно, московские Даниловичи; равно как и на запись о вступлении на владимирское великое княжение Дмитрия Константиновича суздальского (под 6868 г.): „Ходир царь дал великое княжение Дмитрею суждальскому, а князем русским комуждо отчину свою", т. е. здесь опущены ядовитые слова свода 1408 г.: „а не по отчине, а не по дедине"».[23] Бесстрастно изображается во Владимирском Полихроне и московско-тверская борьба за великое княжение в начале XIV в. Не ограничиваясь этим удалением следов московского пристрастия предшествующих сводов, Владимирский Полихрон Фотия подчеркивает значение демократических слоев населения. Характерна в этом отношении переделка, которой подвергся в нем рассказ об осаде Москвы Тохтамышем (1382 г.). В отличие от рассказа предшествующего свода Киприана здесь в своде Фотия инициатива в обороне родного города, его доблестная защита принадлежат самим горожанам.

Вот в связи с этим желанием составителя Владимирского Полихрона Фотия исчерпывающе охватить данные русской истории, привлечь областные материалы, подчеркнуть значение народных масс в обороне родины летописец и решил, по нашему мнению, включить в рассказ о Калкской битве сведения о русских богатырях на основании каких-то народных эпических сказаний или

---

[22] Шахматов А. А. Общерусские летописные своды XIV—XV вв., с. 62.

[23] Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв., с. 146.

песен о них. Однако, критически относясь к народным сказаниям как к историческому источнику, он не привел из них никаких новых данных о Калкской битве, сохранив лишь имена погибших, сообщив их после перечисления погибших на Калке русских князей. Иного объяснения этой вставки мы не видим.

Составитель Владимирского Полихрона включил в рассказ о битве на Калке упоминание о местном ростовском богатыре Александре Поповиче, подобно тому как он включал в свой летописный свод местные летописные записи. Однако составитель Полихрона Фотия включил Александра Поповича в состав своего свода как общерусского героя, а не ростовского. В битве при Калке Александр Попович принимал участие как герой общерусский, и именно это обстоятельство делало настоятельно необходимым внесение упоминания о нем в первый по существу общерусский же летописный свод, пропагандировавший идею общерусского единства.

Таким образом, составитель Владимирского Полихрона Фотия знал Александра Поповича уже как общерусского «храбра», погибшего вместе с остальными русскими «храбрами» в битве на Калке. Однако в том же XV в., а возможно и раньше, существовали какие-то народные произведения, где Александр Попович выступал еще как «храбр» ростовский. Свидетельства существования таких преданий или песен сохранились в поздних русских летописях XVI в.

Существование этих народных преданий об Александре Поповиче как нельзя лучше подтверждает и высказанную выше мысль о том, что известие о гибели Александра Поповича в битве на Калке восходит не к современным битве летописным записям, а к тем же народным преданиям.

Анализируя произведения народной словесности, отразившиеся в составе Полихрона Фотия, А. А. Шахматов считает возможным относить к нему не только бесспорно читавшееся в нем известие об участии «храбров» в Калкской битве, но и все былинные известия, читающиеся ныне в Тверском сборнике и в Никоновской летописи.[24] Правда, это отнесение всех известий, проникших в летопись из фольклора, к Владимирскому Полихрону Фотия, который их якобы впервые соединил в своем составе, сделано А. А. Шахматовым предположительно, без приведения особых доказательств. Однако все же А. А. Шахматов уделяет этому вопросу большое внимание и придает ему серьезное значение в характеристике Полихрона Фотия.

Не можем не видеть, однако, ошибочности такого отнесения всех поздних летописных эпических упоминаний к Полихрону Фотия как их первоисточнику. В самом деле, ограничиваясь пока что только летописными известиями об Александре Поповиче, отметим их разноречивость, которая указывает на то, что в лето-

---

[24] См.: Шахматов А. А. Общерусские летописные своды XIV и XV вв., с. 73—77.

писях отразились различные, разновременные произведения. Александр Попович то участник Липицкой битвы как сторонник ростовского князя Константина Всеволодовича, то участник Калкской битвы на службе у киевского князя Мстислава Романовича, то борется с Володарем и половцами при Мономахе, то выступает совместно с богатырем Владимира I Святославича — Яном Усмошвецом против половцев.

Ясно, что один и тот же летописец, будь это составитель Полихрона Фотия или кто-либо другой, не мог включить в свой свод столь разноречивые известия об одном и том же лице, жизнь которого относится то к XI в., то к XIII в. К тому же самое именование Александра Поповича «богатырем» в Никоновской летописи более позднее сравнительно с именованием его «храбром» в Тверском сборнике и в Полихроне Фотия. Остается предположить, что разные летописцы в разное время отразили в своих сводах различные произведения об одном и том же герое русского былевого эпоса — Александре Поповиче.

Попробуем рассмотреть эти летописные известия с точки зрения их содержания.

В Тверской летописи 1534 г., иначе называемой Тверским сборником, в текст повести о Калкской битве, в целом восходящей к Софийской I летописи, вставлен подробный рассказ о подвигах ростовского «храбра» Александра Поповича. Изложив в повести о Калкской битве обычные в начале ее рассуждения о зловещем появлении неведомого народа (до слов: «. . .бог же весть един, кто суть и отколе изыидоша, премудрии мужи ведят я добре, кто книгы разумеет; мы же их не вемы кто суть, но зде написахом о них памяти ради рускых князь и беды яже бысть от них»), летописец внес от себя небольшое рассуждение о причинах поражения русских. Рассуждение это замечательно своею антикняжескою точкою зрения на грозные события Калкского побоища: «. . .но не сих же ради сие случися, но гордости ради и величаниа Рускых князь попусти бог сему быти. Беша бо князи храбры мнози, и высокоумны, и мнящеся своею храбростию съделовающе; имеяхут же и дружину многу и храбру, и тою величающеся. . .».[25] В подтверждение этого своего соображения летописец берется привести соответствующий рассказ: «. . .от них же о едином въспомянем зде, *описаниа налезше*». Далее летописец приводит это «описание» и в дальнейшем, как это мы увидим ниже, еще раз подтверждает фактами изложенную выше мысль о гордости и «высокоумии» русских князей, опираясь при этом уже на чисто устный источник («глаголют бо»). Таким образом, письменный источник («описание») дополняется затем устным («глаголют бо»), но оба — и письменный, и устный — отличаются цельностью точки зрения и сюжетной связностью рассказа: устный источник как бы продолжает рассказ письменного.

---

[25] Здесь и ниже цитирую: Летописный сборник, именуемый Тверской летописью. — ПСРЛ, СПб., 1863, т. 15.

«Бе некто от Ростовскых житель Александрь, глаголемый Поповичь, и слуга бе у него именемь Торопъ. . .» [26] — так начинается «описание», явно определяя тем главного героя своего повествования — ростовского «жителя» Александра Поповича. Повествование «описания» не отличается детальностью. Александр служил первоначально великому князю Всеволоду Юрьевичу (Большое Гнездо). Когда же Всеволод Юрьевич отдал Ростов своему сыну князю Константину, Александр стал служить последнему в Ростове.

На службе у Константина Александр Попович совершает ряд богатырских подвигов, защищая свой родной город Ростов — не от общерусских врагов, а от посяганий соседних князей. Эти подвиги Александра Поповича рисуются в «описании» на исторической канве того времени в узко местных чертах ростовского патриотизма.

Перед смертью своего отца Всеволода Константин не захотел уехать из Ростова во Владимир, «но у пречистиа Ростовскиа и чюдотворцевь излюбы жити» и задумал перенести «стол великого княжения» из Владимира в Ростов «и прошаше Володимера к Ростову, а не Ростова к Володимерю». Дорожа первенством Владимира, Всеволод дал великое княжение не старшему сыну Константину, желавшему перенести великое княжение в Ростов, а младшему — Юрию. Это распоряжение Всеволода явилось причиной вражды между братьями после его смерти. «Описание» рассказывает, что Юрий «воздвиг» на своего брата Константина «многие брани», намереваясь согнать его и из Ростова. Уже из этого приступа к описанию подвигов Александра Поповича чувствуется резко проведенная ростовская точка зрения на историю борьбы за наследие Всеволода.

Дальнейший рассказ о подвигах Александра Поповича включает в себя четыре эпизода.

Когда Юрий подошел к Ростову с ратию, Константин отошел к Костроме «и тоа съжже»; князь Юрий стал под Ростовом в Пужбале, войско же Юрия стало за две версты от Ростова по реке Ишне. В отсутствие Константина и ростовской дружины Александр Попович обороняет родной город. «Александр же, выходя, многы люди великого князя Юриа избиваше, ихже костей накладены могыли великы и доныне на реце Ишне, а инии по ону страну реки Усии, много бо людей бяше с великым княземь Юриемь; а инии побиени от Александра же под Угодичами, на Узе, те бо храбрии выскочивше на кою либо страну обороняху град Ростов молитвами пречистыа». Под «храбрыми» «описание», очевидно, разумеет Александра Поповича и слугу его Торопа. Дружину «описание» не упоминает; очевидно, Александр Попович один со своим

---

[26] Имя Торопа сохранилось в позднейших записях былин как имя слуги Алеши Поповича (Русские былины старой и новой записи / Под ред. Н. С. Тихонравова и В. Ф. Миллера. М., 1894, с. 60) и Добрыни (см.: Миллер В. К былине о Калкском побоище. — ИОРЯС, СПб., 1902, т. 7, кн. 2, с. 28).

слугою обороняет Ростов, лично совершая какие-то богатырские подвиги, свидетельством чего «и до ныне» стоят великие могилы, полно наложенные костьми врагов.

После этого Юрий «многажды» приходил к Ростову на «братне достояние», но каждый раз с позором возвращался назад. Однажды Константин вышел из Ростова против Юрия, и был бой «за Юриевым на реце Гзе». Ростовцы во главе с Константином снова победили «молитвами пречистыа, своею правдою и теми же храбрыми — Александром с слугою Торопом; ту же бе и Тимоня Золотой пояс». В стане Юрия также был свой «храбрый» — Юрята.

Можно предполагать, что между Александром Поповичем и Юрятой произошел поединок, так как Юрята был убит в битве к великой печали Юрия, который затем не мог простить этого Александру Поповичу, хотя и примирился после своего поражения с братом Константином.

Затем «описание» переходит к рассказу о третьем по счету подвиге Александра Поповича. «Потом прииде», — рассказывается в «описании», — на Ярослава Переяславского Мстислав Мстиславич, тесть его, и иные князья вместе с Константином Всеволодовичем. За Ярослава вступился брат его Юрий. Произошла битва (на Липице). Полки великого князя Юрия были разбиты, убит был и сам «храбрый и безумный боярин Ратибор», похвалявшийся закидать противников седлами. Затем следует краткое описание последующих событий.

Как показывает сличение летописного рассказа о Липицкой битве под 1216 г. и «описания» (под 1224 г.), последнее значительно сокращает летописный рассказ, о многом говоря как об общеизвестных фактах. Однако одновременно «описание» сообщает и некоторые новые данные, отсутствующие в летописном рассказе 1216 г. Так, например, боярин, выступавший на пиру у Юрия за продолжение борьбы, назван Ратибором, тогда как боярин, выступивший за заключение мира, носит имя Творимира; их именам придан, таким образом, назидательный, символический смысл.

Четвертый эпизод рассказывает об отъезде «храбрых» из Ростова на службу к киевскому князю. В 1218 г. Константин Всеволодович умер, и великое княжение отошло к Юрию. Опасаясь мщения Юрия за убийство любимого «храбра» последнего — Юряты, боярина Ратибора «и инех мнозех от дружины» Юрия, Александр Попович посылает своего слугу в различные русские княжества и созывает к себе в город на совет всех «храбрых». Город этот (замок Александра Поповича) был «обрыт» над Гремячим колодцем на реке Где — «иже и ныне той соп стоит пуст». Съехавшиеся «храбры» совещаются между собою. Если им оставаться служить по разным княжениям, то быть им перебитыми, так как у князей на Руси «велико неустроение и части боеве». «Храбрые» условливаются («кладут ряд») ехать служить единому общерусскому князю — в «мать городам русским» — Киев. В Киеве, рассказывает «описание», княжил в это время великий князь «Мьстиславь храбрый Романовичь Смоленского». «Храбрые» били челом киев-

скому князю. Поступившими к нему на службу русскими «храбрами» Мстислав Романович «велми гордяшеся и хваляшеся». Здесь летописец заключает свое заимствование из «описания» следующими словами: «донележе сиа злоба о ней же повесть предлежит».

Затем летописец возобновляет заимствование из Софийской I летописи, причем в своем месте упоминает о гибели Александра Поповича «с инеми седмьдесятию храбрых», как это было принято в летописях, восходящих к Владимирскому Полихрону Фотия. Однако в конце повествования после слов: «единь бог весть откуду приведе за грехы наша» составитель Тверского сборника вновь отступает от традиционного летописного рассказа о Калкской битве, вспоминая свое утверждение о том, что поражение на Калке явилось следствием похвальбы и гордости великого князя киевского Мстислава Романовича. Очевидно, что летописец возвращается вновь к своему «описанию»: «...и за похвалу и гордость великого князя Мьстислава Романовича. Глаголють бо яко прииде слух про сих татар, яко многы земли пленуют, а приближаются Руским странам, исповедаша ему (т. е. Мстиславу) о них; он же отрече: „Дондеже есмь на Киеве, то по Яико, и по Понтийское море, и по реку Дунай сабле не махивати“». Можно предполагать, что бахвальство Мстислава, как это видно и из предшествующего «описания», объяснялось уверенностью его в могуществе своей дружины «храбрых» во главе с Александром Поповичем.

Откуда взял составитель Тверского сборника свое «описание»: внесено ли оно им впервые в летопись или уже читалось и до него в составе летописных сборников, легших в основание Тверской летописи 1534 г.? А. А. Шахматов предполагает,[27] что «описание» занесено в летопись составителем Владимирского Полихрона Фотия, но впоследствии было сокращено во всех летописях, восходящих к Полихрону, кроме Тверского сборника. Против этого говорит то, что часть «описания» в Тверском сборнике читается в полном виде, а часть в обычном сокращении («и Александр Попович ту убиен бысть с инеми седмьдесятию храбрых»), что предполагало бы двойное использование в Тверском сборнике Владимирского Полихрона Фотия — в традиционно-сокращенном виде и в полном, нигде более не сохранившемся; но это противоречит истории создания Тверского сборника в том ее виде, как она воссоздана самим же А. А. Шахматовым.

«Описание» в своем полном виде, очевидно, также рассказывало о гибели Александра Поповича и его «храбрых» при реке Калке. Заключаем об этом из предисловия к рассказу 1237 г., явно принадлежащего составителю Тверского сборника: «О пленении Рускыа земля от Батия». Автор этого предисловия дважды упоминает о гибели на Калке Александра Поповича и 72 «храбрых», причем в первом случае в такой форме, как будто бы история этой гибели была изложена выше: «на восточней стране» стало

---

[27] Шахматов А. А. Общерусские летописные своды XIV—XV вв., с. 74.

известно о гибели русских князей и «храбрых» в Калкской битве: «. . .и побеждение Руских князей прослу, и храбрых онех 72 избиение ведомо тамо бысть. . .». Несколько ниже снова говорится о гибели на Калке 72 «храбрых»: «. . .но Киевьстии людие на Калках с великым княземь Мьстиславом Роман[ов]ичом, и с инеми 10-ю князи и с 72-ю храбрыми костию тамо падоша». Это число павших «храбрых» — 72 — явно расходится с общераспространенным известием летописных сводов, восходящих к Владимирскому Полихрону Фотия, где указано помимо Александра Поповича всего лишь 70. Ясно, что «описание» говорило о гибели в Калкской битве не одного ростовского богатыря (как во Владимирском Полихроне), а двух — Александра Поповича и Тимони Золотого Пояса, неоднократно упоминавшихся перед тем в «описании». Составитель предисловия явно имел в виду текст «описания», а не текст обычного известия сводов, восходящих к Владимирскому Полихрону. Отсюда делаем вывод, что в тексте «описания» имелось указание на иное число «храбрых», чем во Владимирском Полихроне, и, следовательно, известие Владимирского Полихрона Фотия не могло опираться на текст «описания», как предполагает А. А. Шахматов, а имело самостоятельный источник. Вместе с тем возрастает наша уверенность в том, что «описание» впервые включено в летопись составителем Тверского сборника и что слова «описаниа налезше» принадлежат именно ему.

Исследованием А. А. Шахматова установлено, что Тверской сборник в части от 1078 до 1255 гг. представляет собою соединение Новгородской I летописи с сокращенною редакцией Владимирского Полихрона. Если «описание» отсутствовало во Владимирском Полихроне Фотия, а его не было и в Новгородской I летописи, то, следовательно, ясно, что оно внесено в текст Тверского сборника составителем последнего. Это подтверждается и тем обстоятельством, что составитель Тверского сборника называет себя «ростовским селянином»: [28] «описание» явно носит ростовский характер и тесно связано с местными ростовскими урочищами,[29] от которых не может быть отделено.[30]

Сделанные выше предположения подтверждаются найденным нами в Хронографе (ГПБ, F.XVII.17, XVII в. — не позже 1661 г.) вариантом той же повести об Александре Поповиче. Приводим весь текст этой повести целиком, несколько упрощая орфографию.

---

[28] ПСРЛ, СПб., 1863, т. 15, с. V.

[29] «Их же костей накладены могыли великы и доныне на реце Ишне, а инии по ону страну реки Усии»; «съзывает их к себе к город обрыт под Гремячим колодязем на реце Где, иже и ныне той соп стоит пуст».

[30] А. А. Шахматов предполагает, что упоминание этих урочищ могло быть позднейшей вставкой. (Общерусские летописные своды, с. 75). Однако упоминания эти точно согласуются со всеми подробными географическими данными «описания» и не могут быть из него выделены без искусственной ломки текста.

«Ведомо ж да будет, яко Алексанъдръ храбрый глаголемый Поповичь от ростовских житель и слуга у него именем Тороп, прочих же храбрых того же града 70.

И внегда бысть брань князю Костянтину Всеволодовичю ростовскому с меншим братом своим Юрьем Всеволодовичем владимерском о княжении и мнози бои быша межи ими, той же Александр храбръствуя выезжая из Ростова князь юрьевых вой побиваше, их же побитых от него около Ростова на реце Ишне и под Угодичами на лугу мпоги ямы костей накладены. С ним же храбръствуя и Тиманя Златый Пояс. На иных же боех той же Александр с теми храбрыми и Юряту храброго уби и Ратибора храброго, иже хотяше седлы войско Костянтиново (войско) наметати хваляся, уби. Князю Юрью ж Владимерскому о брате и о рати зело печально бысть сердце храбрости их ради. Вскоре же князя Костянтина ростовского бог отдели века сего, отиде к богу, и ростовское княжение достася князю Юрью ко граду Владимеру. Той же Александр совет сотвори с прежреченными своими храбрыми, бояся служити князю Юрью — аще мщение сотворит, еже на боех ему сопротивни быша; аще разъедемся по разным княжениям, то сами меж себя побиемся и неволею, понеже меж князей несогласие. И тако здумавше, отъехаша служити в Киев. Лутче, рече, есть нам вместе служити матери градовом в Киеве великому князю Мстиславу Романовичю Храброму. Той же великий князь Мстислав Романовичь о всех храбрых хваляшесь в гордости своей: ужь слух дохождаше русским князем, яко безбожнии татарове многи страны попленища: ясы, обези, касоги и безбожных половец множество избиша, и проидоша землю их, избивающе их гневом божиим, зане милостивый бог мстя им кров християнскую, хотя их окаянных половъцев погубити. И прогониша тии татаровя половцев до реки Днепра. Князь же Мстислав рече гордяся надеяся на своих храбрых, их же преж рекохом. „Донележе, — рече, — аз есмь на Киеве, то по реку Яик и по море Понтийское и по реку Дунай не махивати сабли“. Сего ради и с храбрыми своими купно погибе, хотя помогати половцам от татар и своя вся и сам с ними погибе, яко же писано есть в Калкском побоище» (л. 337 об.—338 об.).

Приведенный текст отнюдь не восходит к Тверскому сборнику. Во-первых, содержащий его Хронограф никогда в других случаях к Тверскому сборнику не обращается. Во-вторых, в тексте этой краткой повести имеются детали, которых нет в «описании» Тверского сборника.

Например, в начале повести сказано, что у Александра Поповича «прочих же храбрых того же града 70». Тем самым объясняется, с какими «храбрыми» совещается Александр Попович после смерти Константина Всеволодовича ростовского. Объясняется и то, с какими «храбрами» погиб Александр в Калкской битве: это «храбры» ростовские — Александровы. Не забыто в краткой редакции убийство Александром Поповичем Ратибора храброго, чем объясняется неясное замечание «описания» о том, что Александр

Попович боялся мести Юрия Всеволодовича «Юряты ради, и Ратибора». Имеются и расхождения с «описанием». В последнем Александр Попович выезжал для подвигов из острога на реке Ишне, а в кратком варианте он выезжает «храбрствуя» непосредственно из Ростова. Таким образом, и «описание», и краткий вариант повести об Александре Поповиче восходят оба вместе к какой-то более подробной повести об Александре Поповиче, не зависимой ни от какой летописи.

Краткий вариант целиком подтверждает высказанное выше предположение, что отрывок о похвальбе Мстислава Храброго относится к «описанию», что это «бахвальство» Мстислава объяснялось именно службой у него Александра Поповича и его 70 «храбрых» и что результатом этой похвальбы и явилась гибель их всех.

Между прочим, А. А. Шахматов, изучая Рогожский летописец, пришел к выводу, на основании совсем других соображений, о существовании отдельной от летописи ростовской повести о Калкском побоище, которая затем в отрывках была включена под 1224 г. в Тверской сборник. Существованием такой отдельной повести А. А. Шахматов объяснял то обстоятельство, что известная хронологическая выкладка, читающаяся в Софийской I, Новгородской IV и других летописях под 6395 г., в Рогожском летописце оказалась перенесенной под 6732 г. — год Калкской битвы.[31] А. А. Шахматов предположил, что эта самая выкладка читалась и в особой ростовской повести о Калкской битве, откуда была перенесена в ростовскую летопись вместе с повестью и перешла в некоторые из сводов, пользовавшихся этой ростовской летописью.

Однако наш текст краткой повести об Александре Поповиче этого предположения А. А. Шахматова не подтверждает. Следов хронологической выкладки в ней нет, как нет и в «описании». Напомним, что вставка кусков из «описания» сделана не в ростовскую летопись, откуда она перешла в Тверской сборник, а самим составителем Тверского сборника — «ростовским жителем»[32] в 1534 г. Из какой-то ближе нам неизвестной поздней ростовской летописи могла быть перенесена только та краткая повесть о Калкской битве, где имелось лишь простое упоминание о гибели Александра Поповича и его 70 «храбрых», заимствованное в поздних ростовских летописях из свода Фотия.[33] Именно этим путем можно объяснить ее появление в Новгородско-Софийском своде 30-х гг. XV в.

---

[31] Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. Л., 1938, с. 368 и след.

[32] См.: ПСРЛ, т. 15, с. V: «Не бо бех Кианинь родом, ни Новаграда, ни Владимера, но от веси Ростовскых областей».

[33] Поздние ростовские летописи (XV—XVI вв.) в основном продолжают московскую линию летописания, почти не будучи связаны с местной летописной традицией XII—XIII вв.

5

Итак, перед нами ощутимый след народных произведений об Александре Поповиче, слуге его Торопе и о Тимоне Златом Поясе. Отголоски этих устных преданий не составляют единого целого: они вошли в письменность в разное время и затем из разных источников перешли в Тверской сборник.

Вглядываясь глубже в эпизоды героических подвигов Александра Поповича, можно заметить, что первые три из них тесно связаны между собою защитой Ростова, четвертый же эпизод находится с ними в некотором противоречии и более или менее обособлен.

Три первых эпизода связаны с защитой Александром Поповичем своего родного города Ростова от соседнего русского князя Юрия. Александр Попович верен своему городу и сюзерену даже тогда, когда князь Константин покидает его. Успехи Александра Поповича при защите своего города объясняются заступничеством патрональной святыни Ростова — «Пречистой». Патрон Ростова — «Пречистая» — не отпускает от себя ростовского князя Константина и помогает Александру Поповичу при защите Ростова. Народные предания о первых трех подвигах Александра Поповича объединены общей тенденцией местного ростовского патриотизма и феодальной идеологии. Память о нем как о ростовском герое, «жителе» Ростова сохраняется именно в Ростовском крае, тесно связана с определенными урочищами. Это предания местные, топографически приуроченные, что составляет характерную черту эпических преданий раннего средневековья.[34] В современном эпосе воспоминание о ростовском происхождении Александра Поповича сохранилось в былине «Алеша Попович» в сборнике Кирши Данилова (№ XIX). Алеша назван в ней сыном старого соборного попа ростовского. Он выезжает вместе с Екимом Ивановичем «из славного Ростова, красна города».

То же ростовское происхождение Алеши обычно указывается в былинах «Алеша и Тугарин».[35] Былина начинается описанием выезда Алеши Поповича из Ростова вместе со своим слугою Екимом Ивановичем (иногда: Васильюшкой, Акимом, Якишей, Якимом, Марышкой Парановым сыном). Иногда город, из которого выезжает Алеша, не назван, но всегда почти есть указания на то, что Алеша — сын ростовского соборного попа. Между тем собственно ростовские подвиги Александра Поповича как участника Липицкой битвы и борьбы за наследство Всеволода в современных

---

[34] Топографическое приурочение имеют все устные предания, вошедшие в Повесть временных лет.

[35] Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. М., 1910, № 20; Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. 3-е изд. М.; Л., 1938, № 99; Беломорские былины, записанные А. Марковым. М., 1901, № 47; Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899—1901 гг. СПб., 1910, № 43, 50, 212, 334; Ончуков Н. Печерские былины. СПб., 1904, № 64, 85, и др.

былинах не сохранились. Однако четвертый эпизод — прибытие Александра Поповича в Киев, — отраженный современными былинами довольно ясно, во многих отношениях типичен для былинного творчества и, очевидно, более позднего происхождения. Эпизод этот утратил свои местные ростовские черты. В нем уже нет типической черты раннего, древнейшего этапа в развитии исторического предания — местной приуроченности (ссылок на урочища, рвы, могилы, с которыми связана обычно память о герое в древнейшем периоде). В нем нет также упоминаний о покровительнице Ростова — «Пречистой» и не ощущается ростовский местный патриотизм. Александр Попович как бы отрекается от своего прошлого. Собранные им «храбрые» отказываются служить «по разным княжениям». Отказывается служить родному Ростову и Александр Попович. Мотив отказа характерен: Александр и русские «храбрые» не хотят более принимать участия в междоусобиях князей, «храбрые» объединяются, чтобы никогда больше не враждовать между собою. Иначе они «имут перебитися», как перебил в свое время сам Александр Попович «храбрых» Юрия Всеволодовича. «Храбрые» решаются служить не местным князьям, а «единому великому князю в матери градовом Киеве». В этом решении «храбрых» отказаться от служения местным князьям, объединиться и служить общерусскому делу, переехав к великому князю киевскому как представителю общих интересов русского народа, совершенно отчетливо сформулирована идея общерусского единства, идея необходимости единения, преодолевается та самая идеология феодализма, которой служил сам Александр Попович в предшествующих трех эпизодах.

Итак, перед нами два этапа в развитии былевого эпоса об Александре Поповиче: в первом из них Александр Попович является ростовским героем начала XIII в., во втором — он герой общерусский, находящийся на службе у киевского князя Мстислава Романовича Храброго.

О последующих двух этапах, в которых Александр Попович оказывается богатырем у Владимира Мономаха, а затем и у Владимира I Святославича, дает представление более поздняя Никоновская летопись.

6

В Никоновской летописи, а также отчасти в Степенной книге имеется ряд записей о подвигах Александра Поповича, переводящих сюжет на два с лишним века назад — ко времени княжения Владимира I Святославича.

«В лето 6508 (1000 г.). Прииде Володарь с Половцы к Киеву, забыв благодеяниа господина своего князя Владимера, демоном научен. Володимеру же тогда в Переславце на Дунаи, и бысть смятение велие в Киеве, и изыде нощию во сретение им Александр Поповичь, и уби Володаря, и брата его и иных множество Половец изби, а иных в поле прогна. И се слышав, Володимер возрадовася

зело, и възложи на нь гривну злату, и сотвори й вельможа в полате своей».[36]

Под следующим годом (6509=1001 г.) Александр Попович упоминается в летописной статье, имеющей особый заголовок: «Богатыри». «Александр Поповичь и Ян Усмошвець, убивый Печенежьскаго богатыря, избиша множество Печенег, и князя их Родмана и с трема сыны его в Киев к Володимеру приведоша. Володимер же сътвори празднование светло, и милостыню многу раздаде по церквам, и по монастырем, и убогим и нищим, и по улицам болным и клосным великиа кади и бочки меду и квасу, и перевары и вина поставляше, и мяса, и рыбы, и всякое овощие, что кто требоваше, и ядяше».

Третье известие об Александре Поповиче заключено в Никоновской летописи под 6512 (1004) г.: «Идоша Печенези на Белъград; Володимер же посла на них Александра Поповича и Яна Усмошвеца с многими силами. Печенези же слышавше, побегоша в поле».

Все три известия Никоновской летописи рисуют Александра Поповича ревностным защитником Киева, как предшествующие известия Тверского сборника рисовали его защитником Ростова. Врагами родного города Александра Поповича являются на этот раз не русские князья соседних областей, а общерусский враг: степные народы — печенеги и половцы. Перед нами, следовательно, тот же общерусский герой Александр Попович, который принимал участие и в Калкской битве. Замечательно при этом, что Александр Попович под 6509 г. включен в рассказ под заголовком «Богатыри». Этот термин впервые здесь употреблен в отношении Александра Поповича, до того носившего название «храброго». Александр Попович находится на службе у традиционного эпического князя Владимира, изображенного притом в традиционных же чертах эпической поэзии — как пиролюбец и щедрый князь.

Перед нами несомненное отражение народного эпоса, при этом не одинокое в Никоновской летописи.[37] Княжение Владимира I окружено в Никоновской летописи целым роем богатырских имен. Известиями о них, так же как и известиями об Александре Поповиче, заполнены пустые годы княжения Владимира предшествующего летописания. Под 6508 (1000) г. сообщается о смерти богатыря Рагдая Удалого: «. . .того же лета преставися Рагдай Удалой, яко наезжаше сей на триста воин, и плакася о нем Володимер, и погребе его с отцем своим митрополитом Леонтом».

Под 1004 г. Никоновская летопись сообщила об отравлении Андриха Добрянкова «храбраго»: «Того же лета Андриха Добрянкова храброго отравою смертною окормиша свои слуги». Под 1008 г. опять-таки на основании каких-то фольклорных источников включен рассказ о поимке некоею «хитростью» «славного раз-

[36] Здесь и ниже Никоновскую летопись цитирую по: Летописный сборник, именуемый Патриаршею, или Никоновскою, летописью. — ПСРЛ, СПб., 1862, т. 9.

[37] Эпические черты в известиях Никоновской летописи об Александре Поповиче выяснены в исследованиях Костомарова, Дашкевича, Халанского.

бойника, нарицаемаго Могута», отдаленно напоминающего Соловья-разбойника. Приведенный ко двору Владимира, этот Могута встал перед Владимиром, «въскрича зело, и многы слезы испущая из очию», заклялся не заниматься разбоем. Свое обещание Могута свято затем хранил, вел примерный образ жизни в доме митрополита и, провидев свою смерть подобно святым, умер в раскаянии.

Изображение самого Владимира также подвергнуто в Никоновской летописи основательному пересмотру с точки зрения фольклорных данных. Четырежды рассказывается в ней о пирах Владимира, тогда как в предшествующем летописании о них упоминалось всего однажды.

Нельзя, однако, считать, что все внесенные в Никоновскую летопись сведения о богатырях безусловно обязаны своим происхождением русскому эпосу. Кое в чем мы должны предположить и вымысел самого составителя Никоновской летописи. Так, например, не поняв под 1002 г. известия о смерти матери Владимира I Святославича — Мальфреди и приняв ее имя за мужское, составитель Никоновской летописи исказил сообщение предшествующей летописи, превратив Мальфредь в богатыря: «преставися Малъвред силный». Однако эта ошибка составителя Никоновской летописи характерна. Очевидно, в середине XVI в. время Владимира в достаточной мере определилось как время богатырства киевского, и летописец испытывал серьезное желание дать этому соответствующее отражение в летописи, заполнив сведениями о богатырях пустые годы княжения Владимира и видя богатырей в неразъясненных в летописи именах Владимирова времени. Такие же прибавления «храбрый», «сильный», «богатырь»[38] к историческим именам можно встретить в Никоновской летописи во многих известиях последующих лет.

Когда могли проникнуть в летопись эти фольклорные данные о богатырях Владимира? Все ли они внесены в летопись составителем Никоновской летописи или кем-либо из его предшественников? Судя по отсутствию данных об этих богатырях в таких летописях, как Воскресенская, московский княжеский свод 1479 г., и наличию некоторых из них в Степенной книге, предполагаем, что они были внесены в летопись не ранее конца XV в. и не позднее 50-х гг. XVI в. (времени составления Степенной книги).

Однако, когда бы ни были внесены в летопись известия об Александре Поповиче 1000, 1001 и 1004 гг., сами по себе они резко различны по своему происхождению. В самом деле, запись 1000 г. о борьбе Александра Поповича с половцами, приведенными к Киеву Володарем, довольно точно передает, очевидно в самом общем виде, содержание былины. Между тем половцы не могли

---

[38] О сравнительно позднем употреблении слова «богатырь» см.: Дашкевич Н. К вопросу о происхождении былин о Алеше Поповиче. . ., с. 168 и 169.

появиться под стенами Киева при Владимире I: их еще не было в южнорусских степях; они появились в конце XI в. Володарь, о котором идет речь в Никоновской летописи (Володарь Ростиславич), действительно подступал к Киеву и при этом именно с половцами, но не в 1000 г., а в 1110 г. при Владимире Мономахе.[39] Таким образом, перед нами яркое свидетельство существования такого этапа в развитии былин об Александре Поповиче, когда он являлся богатырем не Владимира I, а Владимира Мономаха. Этап этот засвидетельствован и записями былин об Алеше Поповиче и Тугарине Змеевиче. В последнем не без основания видят историческое лицо времени Владимира Мономаха — Тугорхана, подступавшего к Киеву в 1096 г. и неоднократно разорявшего Русскую землю в последней четверти XI в.[40]

Все вышеизложенное позволяет думать, что уже в XVI в. Александр Попович являлся богатырем эпохи Владимира I Святославича, пройдя этап своего служения при дворе Владимира Мономаха. Два последующих рассказа Никоновской летописи о подвигах Александра Поповича несомненно относятся ко времени Владимира I Святославича. В них Александр Попович выступает совместно с историческим лицом конца X—начала XI в. — Яном Усмошвецом [41] и действует против печенегов, сведения о которых исчезают в летописи ко времени Владимира Мономаха.

Итак, Никоновская летопись дает нам представление еще о двух последующих этапах развития эпоса об Александре Поповиче: в первом из них Александр Попович служит Владимиру Мономаху, во втором — Владимиру I Святославичу. В обоих этих случаях Александр Попович тесно связан с историческими событиями времени Владимира I и Владимира Мономаха; это заставляет думать, что имя его заместило в сказаниях имена каких-то более древних богатырей.

7

Обратим внимание на замечательные особенности рассказа о битве на Липице в Никоновской летописи. В последней имеется ряд дополнений, не находящих себе параллелей в других летописях.

Прежде всего, в перечислении сил Константина Всеволодовича Ростовского перед битвою на Липице упомянуто: «. . . с ним же бе и два храбра, Добрыня Златый пояс да Александр Попович

---

[39] Миллер Вс. Очерки русской народной словесности, т. 2, с. 109 и след.

[40] Там же, с. 113 и след. (см. Лаврентьевскую летопись под 1096 г.).

[41] Возможно, что имя Яна Усмошвеца выдумано летописцем, как предполагает Н. И. Костомаров (Предания первоначальной русской летописи в соображениях с русскими народными преданиями в песнях, сказках и обычаях. — Костомаров Н. И. Собрание сочинений. СПб., 1905, т. 13, кн. 5, с. 391). Однако самые факты, связанные с ним (единоборство с печенежином), отмечены еще в Повести временных лет.

с своим слугою с Торопом, славныа[42] богатыри». В Тверском сборнике в другом контексте при перечислении убитых упомянуто: «. . . у князя же у Константина тогда бяше в полку два человека храбрых, Олешка Поповничь и человек его Торопь, и Тимоня Золотой пояс». Однако известие Тверского сборника и известие Никоновской летописи не могут быть поставлены в генетическую связь: они различны по месту своего нахождения в рассказе о Липицкой битве, различны по форме и по существу. В Тверском сборнике упомянуты «Олешка Поповничь и *человек* его Торопь» и «*Тимоня* Золотой Пояс»; в Никоновской же летописи на первое место поставлен *Добрыня* Златый пояс; Александр Попович выступает с «слугою» своим Торопом, и все вместе названы «славными богатырями». Ясно, что известия Никоновской летописи самостоятельны по происхождению.

Значительно распространено заявление Ярослава Всеволодовича вторгшимся войскам противников. В Новгородской IV летописи оно чрезвычайно лаконично: «. . . мира не хочю, а мужи у мене; а далече есте шли, и вышли есте аки рыбы на сухо». В Никоновской летописи особенно развита последняя, образная, часть этого обращения: «. . . мира не хощу, и гостей не отдам, и что взях, то у меня, и еще хощу имати и новгородцев всех казнити; но убо и сего не весте от великиа вашиа глупости, яко далече есте зашли, яко овцы ко лвом, яко теленки к медведем, яко свиньи на поле, яко рыбы на сухо». В Никоновской летописи подчеркнуты резкость и самонадеянность ответа Ярослава; народная поговорка «яко рыбы на сухо» развита дальнейшими сравнениями, приведенными в ту же поговорочную форму.

Чрезвычайный интерес представляют те изменения, расширения и та драматизация, которые приданы эпизоду с предупреждением Юрия Всеволодовича на пиру некиим боярином. Юрий и Ярослав Всеволодовичи устраивают перед битвой пиршество. Никоновский летописный свод подчеркивает самонадеянность князей, их уверенность в победе: «. . . и приидоша в ярость велию надеющеся на многое воинство, понеже много воиньства собраша, и сице ярящеся, начаша пиры творити в шатрех своих з боары своими». В отличие от рассказа предшествующих летописей в Никоновской князья спрашивают во время пира всех «по единому», как сходиться на бой с вторгшимися во Владимиро-Суздальскую землю войсками. Очередь дошла и до старого боярина Андрея Станиславича, которого все считали выжившим из ума от старости («яко от старости и мало смыслить»), а поэтому спрашивавшие его — «не прилежно вопрошаху его». Андрей Станиславич произносит длинную речь, в которой просит извинить его за то, что скажет, может быть, не так, как следует («яз стар и мало смыслю уже»), а затем предлагает заключить мир, отдать старейшинство

[42] Здесь слово «славныа» употреблено в значении «славящиеся» — «хорошо известные», что вполне оправдывается устно-былинным происхождением этих упоминаний (см.: Срезневский И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1912, т. 3, с. 408).

Константину, отпустить новгородцев «и чюжих не возхищати» — блюсти только принадлежащее себе. В заключении своей речи Андрей Станиславич призывает князей не кичиться обилием своего войска: «. . . о сем убо не зрите, яко мало их есть воинство, а вашего воинства много и безчислено, но убо не забывайте, яко Ростиславле племя князи мудры и храбры, а Новогородци, и Псковичи, и Смолняне усердии суть к бою, а самого князя Мстислава Мстиславичя и сами весте, каков есть, и яко от бога дана ему храбрость паче всех». Самое замечательное в речи этого боярина Андрея Станиславича — это напоминание Юрию и Ярославу о богатырях Константина: «. . . и есть у него мужи храбри зело и велици богатыри, яко лвы и яко медведи,[43] не слышат бо на себе ран. . . и храбрых ныне не веси у него Александра Поповичя и слугу его Торопа, и Добрыню Рязаничя Златаго поаса и Нефедья Дикуна».

Эта пространная речь Андрея Станиславича находит себе некоторую параллель в выступлении на пиру боярина Творимира в предшествующих летописных описаниях битвы на Липице. Однако в Никоновской летописи резче подчеркнута ярость Юрия,[44] и успокаивающие речи бояр [45] присочинены вновь. Выступление боярина, похвалившегося закидать седлами врагов, развито: боярин обещает не только закидать седлами врагов, но и кулаками побить их, даже если на помощь им придет «вся земля Половецкая».

Весь этот эпизод не может считаться только результатом развития предшествующего летописного рассказа о похвальбе братьев-князей суздальцев на пиру перед битвой на Липице. Если бы это было так, нам была бы непонятна необходимость заменить боярина Творимира боярином Андреем Станиславичем [46] и добавить ряд явно эпических подробностей: на пиру все присутствующие по очереди высказываются о предстоящей битве, доходит очередь до глубокого старца, которого все считают выжившим из ума, ему «с небрежением» предлагают высказаться, но он мужественно говорит правду в лицо, чем вызывает гнев князя.

---

[43] Ср. выше добавление в речи князя Ярослава: «. . .но убо и сего не весте от великиа вашиа глупости, яко далече есте зашли, яко овцы ко *лвом*, яко теленки к *медведем*. . .».

[44] «О сем зело разъярися и разсверене, и начя сюду и сюду метатися, яко зело не люба бысть ему речь сиа».

[45] «Что, княже, о сем скорьбиши; не веси ли, яко без ума есть сей от старости, не весть, что глаголеть».

[46] Возможно, что в первоначальном рассказе о Липицкой битве в своде 1448 г. имя боярина Творимира не читалось. Летописец мог принять за него слова, сохранившиеся ныне в Софийской I летописи, с которыми боярин обращается к суздальцам: «Твори мир, князь Юрьи и Ярослав» (Софийская I летопись. — ПСРЛ, 2-е изд., Л., 1925, т. 5, с. 195). Однако могло быть и обратное, т. е. имя боярина Творимира было воспринято составителем Софийской летописи как обращение к князьям. За последнее говорит несогласованность формы единственного числа «твори» с обращением к двум князьям (Юрию и Ярославу), требовавшим множественного числа.

Самое существенное, однако, что на этом эпизод не кончается. В момент ночного «пополоха» в лагере суздальцев, вызванного шумом в расположении противников, старец вновь является перед суздальскими князьями и насмешливо успокаивает их: «Ничто же видев, почто хощете бежати? Не рех ли аз вам безумнем, яко лутчи вам миритися, се бо ни единаго мертваго ни кроваваго видесте, и тако усьтрашистеся и на бежание уклонистеся; егда же увидите вящша сего сотворшася над вами, что тогда не постражете». И на этот раз суздальцы не внимают увещаниям старца, отсылая его от себя прочь «безчестна». Происходит битва, в ней на стороне противников Юрия и Ярослава принимает участие Александр Попович, о котором предупреждал суздальцев старец, и суздальцы разбиты.

Природа не сочувственно относится к братоубийственной вражде; перед битвой: «. . . въста ветр, и прииде облак, и биаше гром безпрестани, и млъниа сожигающи страшно, и бысть страх на всех, и стоаху много, ни сии ни они друг на друга не поступающе, ни мира хотяще: разсверепишася бо яко звери».

Наконец, в описании самой битвы введен новый эпизод встречи в бою Мстислава Мстиславича с Александром Поповичем. Мстислав Удалой трижды проехал с топором в руке через полки суздальцев. Встреченный им Александр Попович не узнает его: «И прииде на него Александр Поповичь, имеа мечь наг, хотя разсещи его: бе бо силен и славен богатырь. Он же возопи глаголя: „Яко аз есмь князь Мстислав Мстиславичь Новогородцкий"; он же уставися, и тако спасе его бог от смерти. И рече ему Александр Поповичь: „Княже! Ты не дерзай, но стой и смотри; егда убо ты, глава, убиен будеши, и что суть иныя, и камо ся им дети?"»[47] Произнесенное Александром Поповичем наставление не лишено интереса для выяснения хронологии создания этого сюжета: в нем отразились военные воззрения XV—XVI вв., согласно которым предводитель войска не должен принимать личного участия в боевых схватках, чтобы не подвергать своей жизни опасности: «. . . егда убо ты, глава, убиен будеши, и что суть иныя и камо ся им дети?». В XII и в начале XIV в. князья еще принимали личное участие в битве, но уже Дмитрий Донской отдал в битве свой шлем похожему на него по виду воину.[48] Таким образом, в эпизоде этом сочетаются реальный исторический факт

---

[47] См. об этом: М и л л е р Вс. Очерки русской народной словесности, т. 2, с. 78 и след.

[48] Ср. в Сказании о Мамаевом побоище: когда Дмитрий захотел сам биться в полку, «мнози жо рустии богатыри (!) удръжавше его възбраняше ему ркуще не подобает тебе, великому князю, самому в полку битися, тобе подобает особе стояти и нас разсмотряти, пред ким нам явитися, егда посетит тебе бог, великаго князя, государя, милостию своею, то время чести, по чему разумети, кому даровати достойныя чести. Мы же готови есмя вси главы своя скласти днесь за тебе, великого князя. Тебе же, великому государю, подобает раб своих разсмотрити, елико ти послужим головами своими, памяти творити» (ркп. XVI в.; Сказание о Мамаевом побоище / Изд. С. К. Шамбинаго. СПб., 1907, с. 41).

личного участия Мстислава Удалого в рукопашных схватках и позднейшее воззрение на недопустимость этого в битве («наставление» Александра Поповича).

Заслуживает внимания также изменение в Никоновской летописи имен убитых в Липицкой битве воинов Мстислава: Дмитр Плесковитин назван «Псковитин Дмитрий Желтый»; «Онтон» котельник назван «Антоний, глаголемый Черный», убитому в битве Ивану Поповичу придан в Никоновской летописи слуга — Нестер. Все они названы в Никоновской летописи «вельми храбрыми и сильными», что является в этой летописи обычными эпитетами богатырей. О смерти их «плакася. . . намного князь Мстислав Мстиславичь».

Не может быть сомнения в том, что все эти добавления и изменения в Никоновской летописи в описании Липицкой битвы возникли под влиянием каких-то фольклорных сказаний. Внимательное рассмотрение этих дополнений убеждает нас в том, что все они сделаны на основании каких-то местных ростовских сказаний о Липицкой битве, сочувственно относящихся к ростовскому князю Константину и его союзникам.

Можно думать, что эти дополнения внесены в рассказ о Липицкой битве не составителем Никоновской летописи, а кем-то из его предшественников. Предполагаем, что уже составитель более ранней Воскресенской летописи был знаком с кое-какими из этих дополнений. Так, например, Новгородско-Софийский свод 30-х гг. XV в. называет четырех убитых в битве новгородцев. Это число постоянно указывается в летописях XV в. Однако в Воскресенской летописи указано пять убитых новгородцев. Предполагаем, что Воскресенская летопись имела в виду слугу Ивана Поповича — Нестера, указанного дополнительно в Никоновской летописи.

Затем нельзя не обратить внимания на многозначительное расхождение Тверской и Никоновской летописей в имени второго ростовского богатыря, сражающегося вместе с Александром Поповичем. Вместо Тимони Златого пояса Тверского сборника в Никоновской летописи в Липицкой битве участвует Добрыня Золотой пояс. Это расхождение перекидывается и на рассказ о Калкской битве: в Тверском сборнике вместе с Александром Поповичем погибает Тимоня Златой пояс, в Никоновской — Добрыня Золотой пояс.

Тесная связь, которая существует между фольклорными дополнениями в Никоновской летописи к повести о Липицкой битве и самой повестью, говорит о том, что и повесть и народное предание о Липицкой битве расходились не существенно или вовсе не расходились. Это-то и позволило не добавлять новые эпизоды, а развивать старые на основе фольклорных данных.

Заслуживает внимания, что в Новгородско-Софийском своде 30-х гг. XV в. рассказ о Липицкой битве оказался сильно расширенным сравнительно с рассказами Лаврентьевской и Новгородской I летописи. Высказываем предположение, что эти расши-

рения также были сделаны за счет фольклорного материала. В Новгородско-Софийском своде рассказ о Липицкой битве оказался дополненным эпизодом с пиром у Юрия и Ярослава, где похвальба братьев суздальцев и боярина Ратибора, а также разумное предостережение Творимира явно вызывают фольклорные ассоциации.[49] А во-вторых, рассказ о Липицкой битве оказался дополненным эпизодами с комическим бегством Юрия и Ярослава. Юрий в одной нижней («первой») сорочке прискакал во Владимир на четвертом коне, загнав по дороге трех. Его приняли издалека за гонца, везущего весть о победе, и обрадовались: «Наши одолевают», но Юрий, прибежав один, «нача ездити около града, глаголя: „Твердите город“», и «быть в веселия место плачь».[50] Брат его Ярослав прискакал в Переяславль на пятом коне, загнав по дороге четырех. Повторность этого эпизода с загнанными конями заставляет предполагать в основе фольклорный элемент. Самый эпизод, где изображается радость горожан, принявших Юрия за гонца с известием о победе, напоминает известный былинный эпизод, в котором дочери Соловья-разбойника принимают Илью, везущего Соловья, за своего отца, везущего связанного Илью.

— Едет-то наш батюшко чистым полем,
А сидит-то на добром кони,
Да везет ён мужичищо деревенщину,
Да у правого стремени прикована.[51]

Таким образом, рассмотрение рассказа о Липицкой битве в Никоновской летописи заставляет предполагать наличие богатого фольклорного материала и в XV и в XVII вв. об этой значительной в истории Ростово-Суздальской земли битве. Александр Попович был одним из главных героев борьбы за наследство Всеволода Большое Гнездо. Рассказы о событиях, в которых он принял участие, густо осели в различных летописных сводах XV и XVI вв. Были ли это прозаические предания или исторические песни — решить трудно.

Все вышеизложенное дает нам право на основании летописных данных следующим образом восстанавливать историю былинных

[49] Вопрос о зависимости мотива неудачной похвальбы в былинах о Калкском побоище, Мамае и Калине от летописного рассказа (из свода 1448 г.) о похвальбе перед Липицкой битвой братьев князей суздальцев и боярина Ратибора подробно рассмотрен Вс. Миллером (Очерки русской народной словесности, т. 2, с. 69—86). Однако зависимость эту можно рассматривать и иначе, чем это сделано Вс. Миллером. История создания летописной повести о Липицкой битве позволяет думать, что в рассказ Новгородско-Софийского свода 30-х гг. XV в. проникло народное историческое предание (в Лаврентьевской летописи и в Новгородской I по Синодальному списку эпические подробности этого рассказа отсутствуют).

[50] Софийская I летопись. — ПСРЛ, т. 5, с. 199.

[51] Онежские былины. . ., № 74.

сюжетов об Александре Поповиче. Первоначально Александр Попович — один из «храбров» Всеволода Большое Гнездо, житель Ростова, служащий затем сыну Всеволода Константину. Боевые подвиги Александра связаны с борьбой за наследство Всеволода между его сыновьями; он — главный герой Липицкой битвы. Сказания о нем тесно связаны с урочищами Ростова, и распространение их, очевидно, не выходило за пределы Ростово-Суздальской земли.

С ослаблением центробежных областнических тенденций в конце XIV—начале XV в., с ростом сознания общерусского единства Александр Попович теряет черты узко местного ростовского героя и становится героем общерусским. Параллельно реальному политическому объединению русских земель создаются произведения, объединяющие русских богатырей, начинающих служить общерусским интересам. Создается сюжет об отъезде из Ростова Александра Поповича во главе других русских «храбров», отказывающихся от служения местным князьям. Александр Попович приезжает в Киев — «мать русских городов» и служит «единому» русскому князю Мстиславу Романовичу.

Подчеркну чрезвычайную важность именно этого четвертого эпизода «описания» для понимания исторической концепции русского былевого эпоса. Здесь с полной ясностью раскрыты причины типического для русских былинных сюжетов переезда местного богатыря в Киев. В Киев приезжают Александр Попович и Еким Иванович из Ростова,[52] Илья Муромец из Мурома, Добрыня из Рязани, Дюк Степанович из Волынца Галича. Приезжают в Киев и Чурила, и Никита Залешанин и другие. В некоторых из этих былин говорится о том, что богатырь приезжает, заслышав о нависшей над Киевом беде,[53] но только в Тверском сборнике дано этому переезду реальное объяснение: это отказ богатыря от служения местным интересам феодала ради служения родине. Киев и киевский князь выступают в данном случае как бы символами общерусского единства; киевский князь прямо назван «единым» князем. Замечательно также, что богатыри переезжают в Киев не в одиночку, а по общему сговору, сотворив совет, также в известной мере типичный для эпических песен.[54] Ближе всего к этому мотиву стоит мотив совещания казаков перед походом в исторических песнях о Ермаке, но и мотив богатыря на распутье также весьма близок разбираемому положению. Сборник Кирши Данилова дает сюжет с весьма близкой ситуацией. Выехавшие из Ростова богатыри Александр Попович и Еким Иванович оказываются на распутье. Три дороги ведут в различные русские города: в Муром, в Чернигов и в Киев. Еким Иванович обращается с вопросом

[52] Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот. А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. М.; Л., 1958, № XIX.

[53] Русские былины старой и новой записи, № 99.

[54] Ср. исторические песни о Ермаке: совет перед отправлением казаков в Сибирь (ср. запись этой исторической песни в Строгановской летописи: Сибирские летописи. СПб., 1907, с. 55 и след.).

к Алеше Поповичу: «По какой дороге ехать?» Александр Попович избирает путь на Киев: «Говорил ему Алеша Попович млад: „Лучше нам ехать ко городу, ко Киеву, ко ласкову князю Владимиру“».[55]

В былинах «Алеша и Тугарин» иногда вместо Мурома, Чернигова и Киева фигурируют другие города: Чернигов, Тобольск, Киев;[56] Кремлев, Чернигов, Киев;[57] Киев, Новгород, Чернигов;[58] Суздаль, Чернигов, Киев.[59] Однако одна из дорог всегда ведет в Киев, и именно в Киев едут товарищи, посоветовавшись между собою.[60]

Мотивировка этого выбора Киева отсутствует в былине либо она случайна и варьируется, но зато она совершенно твердо указана в Тверском сборнике, несомненно отразившем народные предания или песни об Александре Поповиче XV—XVI вв. Эта мотивировка замечательна своею исторической сознательностью. Идея необходимости объединения Руси и служения общерусским интересам выражена в ней совершенно отчетливо.

Естественно думать, что Александр Попович как местный герой предшествует Александру Поповичу как герою общерусскому. Подобно тому как исторически областнические тенденции предшествовали тенденциям объединительным, и в эпосе местные предания иногда предшествовали преданиям общерусским. Эта хронологическая последовательность подчеркнута в самом развитии рассказа Тверского сборника, где Александр Попович из героя местного становится героем общерусским, а не наоборот. Новый сюжет переезда героя в иную местность мог создаться только для объяснения новой же ситуации, а отнюдь не старой.

Надо думать, что эти объединительные тенденции в русском былевом эпосе совпали с объединительными тенденциями в русской государственной жизни или несколько им предшествовали. Признание этого заставляет нас предположить, что четвертый эпизод — переезд Александра Поповича к киевскому князю и гибель его вместе с остальными русскими «храбрами» за общерусское дело — возник не раньше конца XIV столетия. Это объясняет нам, с другой стороны, и самый факт включения во Владимирский Полихрон Фотия начала XV в. известия о гибели на Калке Александра Поповича и его 70 «храбрых».

В известии Владимирского Полихрона Фотия (1418 или 1423 г.) о смерти Александра Поповича и «инех» 70 «храбрых» можно видеть древнейшее отражение в средневековой письменности эпи-

---

[55] Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым, № XIX. Отождествление этого былинного эпизода с эпизодом Тверского сборника сделано Дашкевичем, повторено Халанским и др.

[56] Архангельские былины. . ., № 43.

[57] Там же, № 212.

[58] Ончуков Н. Печерские былины, № 64.

[59] Там же, № 85.

[60] Отъезд Александра Поповича в Киев по «описанию» Тверского сборника и начало былин об Алеше и Тугарине приведены в связь еще Дашкевичем, а затем Халанским.

ческого сюжета о гибели богатырей. Былины эти, таким образом, не «завершают собою» круг южнорусских былин,[61] а начинают их. Это один из древнейших эпических сюжетов, рисующих объединение богатырей (объединение, правда, перед лицом смерти, гибели за общерусское дело).

Недовольство усобицами князей в конце XIV—начале XV в. отразилось в резко отрицательном изображении Мстислава Романовича Киевского (Тверской сборник). Однако рост политического значения княжеской власти в XIV и XV вв., выдающаяся роль московских великих князей в политическом объединении Руси привели к переосмыслению личности князя в былинных сюжетах. Соответственно этому в былинных сюжетах об Александре Поповиче место ничтожного князя киевского Мстислава Романовича занимает идеализированный русской летописью, книжностью и народом в целом Владимир Мономах — родоначальник московских великих князей. Александр Попович на службе у Владимира Мономаха удачно обороняет Киев от половцев.

Последний этап, засвидетельствованный летописью, застает Александра Поповича при главном притягательном центре Киевской Руси — Владимире I Святославиче, совместно с другими русскими богатырями защищающим Киев от печенегов. К 1550-м гг. (время составления Никоновской летописи) этот цикл развития былинных сюжетов об Александре Поповиче может считаться завершенным.

Таким образом, исторические предания об Александре Поповиче и по характеру своей распространенности, и по характеру своих сюжетов развиваются от узко местного эпоса к общерусскому. Местные сказания, приуроченные к определенным урочищам, превращаются в общерусские героические сюжеты с весьма обобщенным содержанием. Развитие былинных сюжетов об Александре Поповиче идет параллельно развитию и росту общенародного самосознания.

История сюжетосложения былин об Александре Поповиче наглядно убеждает в том, что процесс циклизации былинных сюжетов вокруг Киева и князя Владимира отнюдь не во всех случаях являлся механическим процессом, подчиненным «бессознательным законам народной памяти».

С точки зрения исторической школы развитие былинных сюжетов представляет собою историю постепенного потухания и сглаживания лежащего в их основе живого, многообразного и полноценного исторического факта. Поэтому историческая школа в изучении былин (Вс. Миллер, Н. Дашкевич, А. Лобода, А. Марков, Б. Соколов и др.) ставила себе целью связать русские былины с подлинными историческими фактами, с определенными историческими лицами. Вся последующая история былинных сюжетов, в том числе и циклизация их вокруг Киева, рассматривается

---

[61] Так утверждал М. Н. Сперанский (Русская устная словесность. СПб., 1917, с. 271).

исторической школой как постепенное обесценивание этого основного исторического ядра.

Такая точка зрения на постепенное угасание исторической правды, исторической памяти народа отнюдь не случайна. Она лежит в непосредственной связи с глубоко неверным утверждением Вс. Миллера об аристократическом происхождении русских былин и постепенном спаде их художественной ценности по мере их нисхождения в народ.

Анализ исторического развития сюжетов об Александре Поповиче, поскольку оно отразилось в летописи, заставляет говорить об обратном: не о ниспадающей линии развития эпоса, но о восходящей. Возникнув на основе местного исторического припоминания, сюжет героических былин об Александре Поповиче постепенно поднимается до обобщающих представлений об историческом развитии родины и выходит за пределы своей местности, становясь достоянием всего народа. Это объясняется в первую очередь тем, что развитие эпоса об Александре Поповиче было тесным образом связано с историческими воззрениями народа.

И эти исторические воззрения, с наибольшей яркостью отразившиеся в былинах, должны быть подвергнуты изучению. Надо уяснить себе, когда и при каких обстоятельствах создалась историческая концепция русского эпоса. Она отнюдь не случайна. Народ активно воспринимал события своего времени. Ее создание диктовалось исторической необходимостью; она представляла собою живой отклик народа на судьбы своей родины.

История сюжетосложения былин об Александре Поповиче, история постепенного вхождения их в киевский цикл наглядно показывают, что в киевском цикле отразилась прежде всего идея единства Руси, единства русского народа. И князь Владимир, и Киев являются в нем символами русского единства и русской независимости.

Такой взгляд на Киев и на князя Владимира I Святославича является чрезвычайно распространенным взглядом для конца XIV—XV вв. Он проявляется в летописи, в политике, даже в живописи и в архитектуре, подражающих формам и сюжетам домонгольской Руси.

«Чем могла заслужить благодарное воспоминание в народе Киевская Русь со своей неурядицей, вечной усобицей князей и нападениями степных поганых?»[62] — спрашивает Ключевский и отвечает: «Историческая эпоха, в делах которой весь народ принимал участие и через это участие почувствовал себя чем-то цельным, делающим общее дело, всегда особенно глубоко врезывается в народную память».[63] «Последующие поколения вспоминали о Киевской Руси как о колыбели русской народности».[64]

Представление о единстве Руси в эпосе, выражавшееся в идеализации Киева и ее князя Владимира, развивалось параллельно

[62] Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1937, т. 1, с. 204.
[63] Там же, с. 205.
[64] Там же.

реальному объединению русского народа, собираемого властной рукой московского великого князя.

Весьма возможно, что киевская циклизация, зародившаяся еще в XI в.,[65] вторым своим кульминационным пунктом имела XV в., эпоху образования русского централизованного государства. Вот почему и Александр Попович, став в XV в. общерусским героем, начинает впервые упоминаться в общерусских летописных сводах также в XV в. — в самый разгар эпохи трудного становления русского государства.

Мы не распространяем историю сюжетов об Александре Поповиче на историю всего русского эпоса. Возможно, что история других сюжетов покажет и иной путь циклизации эпоса. Однако даже если история приурочения сюжетов об Александре Поповиче ко времени Владимира I стоит одиноко в истории былевых сюжетов, она отнюдь не должна быть признана случайной и в своем роде незакономерной.

9

Чем шире были задачи, которые ставил себе летописец, тем чаще прибегал он к показаниям народного исторического предания. Эти данные исторической памяти народа внедрялись в летопись каждый раз, когда летопись отражала общенародные интересы; так было в XI в., так было и в XV в. Между тем отношение летописца к фольклору в XI и в XV вв. было глубоко различным. В XI в. фольклор оказывал воздействие и на самую форму летописных записей, имел существенное значение в формировании летописного жанра; в XV в. исторические песни входили в летопись своими сюжетами, темами, упоминаниями и идейным содержанием, однако следов воздействия фольклорной формы на форму летописания в позднем летописании мы не находим.

Весьма возможно, что такая разница воздействий фольклора на летопись в XI и в XV вв. объясняется отличием той стадии развития, в которой находились и летопись и эпос в XV в., от их взаимоотношения в XI в. В XI в. не было устоявшейся формы летописания: фольклор и воздействовал на нее в этой, наименее устойчивой ее части. В XV в. форма летописи устоялась; устоялась как вполне отличная, своеобразная, возможно стиховая, и форма эпоса, которая, следовательно, не могла воздействовать на чуждую ей, глубоко отличную летописную форму. С другой стороны, в XV в. эпос формировался под влиянием тех же объединительных идей, которые были движущей силой всей русской жизни XV—XVI вв.

Любопытна также и другая черта в этом использовании фольклора в летописи. В XI в. эпические предания были в большинстве

[65] Один из признаков начавшейся в XI в. циклизации вокруг Владимира I Святославича видим в сказании о кожемяке, где основание города Переяславля Южного перенесено во Владимирово княжение (на самом деле Переяславль Южный упоминается еще в договоре с греками 911 г.).

случаев приурочены к определенным местностям: к урочищам, рвам, могилам и т. д. Эта местная приуроченность еще ощущается в «описании» Тверского сборника, где Александр Попович выступает как местный герой и где есть ссылки на насыпи, могилы и т. д. В последующих этапах развития эпоса об Александре Поповиче этих ссылок уже нет: местные воспоминания превратились в общерусский эпос. И любопытно, что летопись XV—XVI вв. почти не обращается к свидетельству местных памятников, как она постоянно обращалась к ним в XI в.

Вхождение фольклора в летопись совершается тем легче, чем ближе описываемые в летописи исторические факты к повествованию исторического предания или песни. С этой точки зрения нельзя не обратить внимания на то, что древнейшие предания об Александре Поповиче ставят его в исторически точную ситуацию (князь Константин Всеволодович и его враги, князь Мстислав Романович Храбрый, Липицкая битва, точная местная приуроченность отдельных событий и т. д.). Поэтому-то этот древнейший этап сказаний об Александре Поповиче отразился в летописи гораздо ярче, чем позднейший, где действие более обобщено, рассказано суммарно и где не точно различаются даже события княжения Владимира Всеволодовича и события времени Владимира Святославича.

Но самым знаменательным фактом является в значительной мере общая судьба в XV—XVI вв. некоторых «устных летописей» (былин) и летописей письменных: и те и другие из местных становятся общерусскими, объединяются в общерусские циклы и своды, опираясь на наследие Киева (в летописи на основе Повести временных лет). Реальное основание этой общей судьбы некоторых памятников устного эпоса и летописи в XV—XVI вв. — объединение в единое общерусское централизованное государство местных русских княжеств. Эпос отражает реально совершающиеся исторические процессы не в частных «исторических реминисценциях», но в общем своем движении от узко местного к общерусскому.

Что же касается вопроса о том, какое историческое лицо явилось прототипом для былинного Александра Поповича, то старшие летописи не дают никаких оснований для ответа на этот вопрос. Поздние летописи включают рассказы об Александре Поповиче, почерпнутые из былин, а не из действительности, и отражают лишь важные для нас факты истории сюжетосложения былин об Александре Поповиче.

1949

ДРЕВНЕЙШЕЕ РУССКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СКОМОРОХА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИСТОРИИ СКОМОРОШЕСТВА

Ю. Н. Дмитриев опубликовал древнейшее русское изображение скомороха в статье «Мелетовские фрески и их значение для истории древнерусской литературы».[1] Изображение составляет часть фресковой росписи Мелетовской церкви. Сама Мелетовская церковь построена в 1461—1462 гг.; роспись ее точно датируется 1465 г. по сообщению летописи[2] и надписи в самой церкви. Известны и имена старост, повелением которых были сделаны росписи, — это посадники Путков и Я. И. Кротов. Изображение скомороха помещено в среднем отделении западной части. Оно составляет часть композиции, главным действующим лицом которой является богоматерь. Единственным признаком, по которому определялось, что перед нами скоморох, до сих пор была только надпись, так как сюжет композиции был неизвестен, а само изображение не давало веских оснований для такого определения. Изображение могло быть принято и за изображение царя Давида: настолько торжествен и величествен вид этого неизвестного музыканта, сидящего на высоком и роскошном троне и играющего на смычковом инструменте сложной формы.[3] Надпись читается, по мнению Ю. Н. Дмитриева, следующим образом: ан҃гъ скоморох. Прочтение первой части этой надписи (имени скомороха), как мы увидим в дальнейшем, спорно, но вторая часть ее — «скоморох» — сомнений не вызывает.

Вся композиция в целом, в которую включено изображение неизвестного скомороха, описывается Ю. Н. Дмитриевым следующим образом: «Вверху ее (композиции. — *Д. Л.*) изображено ложе с лежащей женщиной. На женщине белая рубашка с короткими рукавами; одеяло с шитой каймой не покрывает всего тела, но оставляет открытыми обнаженные ноги и подол рубашки. Позади ложа стоит богоматерь, склоненная к лежащей; левая рука богоматери поднесена к груди, тогда как положение правой неясно, быть может, ее не было видно. Скорбная поза этой фигуры очень выразительна. Внизу представлено следующее: в середине сидит музыкант, играющий на смычковом инструменте, слева (считая от зрителя) — толпа, состоящая из мужчин и женщин, справа — пляшущая женщина. Итак, изображены два эпизода

---

[1] ТОДРЛ, М.; Л., 1951, т. 8, с. 403—412. Отметим, что изображение скоморохов в киевской Софии не может считаться изображением русских скоморохов: здесь изображены увеселения императорского двора в Константинополе.

[2] Псковские летописи / Под ред. А. Н. Насонова. М.; Л., 1941, вып. 1, с. 71.

[3] По-видимому, это гудок — инструмент, напоминающий скрипку, на котором играли, держа его вертикально за гриф.

какого-то рассказа: сцена празднества, веселия, пляски, относящаяся, надо полагать, к началу рассказа, и последующая сцена исцеления или явления богоматери некоей женщине. Надписей, поясняющих изображение, не сохранилось, за исключением двух слов, отнесенных к одному из персонажей. . .

Художник, изображая бытовую сцену, сцену празднества, пляски, с особым интересом отнесся к музыканту. Он выделил последнего композиционно, сделал его фигуру центральной, посадил очень торжественно на седалище, напоминающее престол, т. е. представил этого музыканта сходно, например, с царем Давидом. . . По сторонам его головы сохранилась надпись, состоящая из двух слов и поясняющая, кто здесь изображен. Слева стоит слово „Антъ“ — это имя или часть имени музыканта, справа написано „скоморох“».[4]

Описав затем подробно фигуру скомороха, его шляпу, прическу, одежду, седалище, инструмент, на котором он играет, и подчеркнув вероятность русского происхождения всех деталей, Ю. Н. Дмитриев заключает свою статью следующим замечанием: «Сюжеты этих изображений. . . остаются автору настоящей заметки неизвестными. Но несомненно то, что они заимствованы не из обычного для росписи храма источника. . .

Насколько автор настоящей заметки осведомлен, в памятниках русской письменности XV в., а также в более поздних неизвестны легенды, воспроизведенные в мелетовской росписи. Вместе с тем, для того чтобы попасть на стены псковского храма, они должны были приобрести некоторую популярность в местной среде. Если это так, то фрески Мелетова приобретают важное значение для истории псковской литературы, еще мало изученной».[5]

В настоящее время мы можем установить источник сюжета мелетовской композиции: это рассказ «О некоем скомрасе, хулившем пречистую богородицу». Приведу этот рассказ по старейшей рукописи «Лимониса», хранящейся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина:

«Илию града Ливанисий Фуничьскыя град есть. В нем же скомрах беаше некто именем Анн, и на всех игрищах святою богородицею ругаяся, хулящею. И явися ему святая богородица, глаголющи: „Что ти зло створих, яко при селице народе повлачи мя, зле глаголеши?“. Он же встав не токмо управися, но паче хулу вещаше. Пакы же явися ему святая богородице, увещавающи и глаголющи: „Не мою тако врежаеши душю, но свою“. Сь же пакы злее хуляше и она пакы третицею явися ему, тоже вещающи и глаголющи, и, яко же не исправися, но паче множае хуляше, в един день полудне, яко же лежаше, явился ему и ничто же рече токмо перъстомь своимь пачерте обе руце и обе нозе. И взъбудився обретеся отсечене имея руце и нозе обе, и труп лежаше. В сих же

---

[4] Дмитриев Ю. Н. Мелетовские фрески и их значение для истории древнерусской литературы. — ТОДРЛ, М.; Л., 1951, т. 8, с. 409—410.
[5] Там же, с. 412.

злобивый исповедаше всем о себе яве себе творя, яже в похулениях своих пострадала и яже человеколюбия деля».[6]

Отождествить сюжет мелетовской композиции и сюжет «Лимониса» помогают следующие детали. У ложа в мелетовской композиции изображена богоматерь. Лежащая фигура с обнаженными руками и ногами — деталь, указывающая, что именно ноги и руки поражены какой-то болезнью. Скоморох имеет краткое имя, состоящее и на фреске, и в рассказе «Лимониса» из равного количества букв и одинаково начинающееся на «А». Противоречит этому отождествлению то обстоятельство, что на ложе, по определению Ю. Н. Дмитриева, изображена лежащая женщина. Но позволительно усомниться в правильности этого определения. Ведь одежд лежащей на фреске не видно, а безбородость и безусость лица отличает и скомороха на главном изображении.

В приведенном рассказе «Лимониса» имя скомороха отличается от имени скомороха на фреске: в «Лимонисе» — «Аннъ», на фреске — «Антъ». Однако имя скомороха в списках вообще неустойчиво. В болгарской рукописи Библиотеки имени Коларова (№ 694 (63), XVIII в.) в том же рассказе имя скомороха читается «Аинъ». В «Великих четьих минеях» митрополита Макария под 30 июля приведен тот же рассказ, но здесь имя скомороха «Гоино». Что же касается мелетовской фрески, то возможно, что здесь имя скомороха к тому же прочитано не совсем правильно. Приложенное к статье воспроизведение надписи имеет явные признаки ретуши. В подлинной надписи я не заметил титла над именем скомороха. Кроме того, последняя буква может быть прочитана как «Т» и как «Р».

Сюжеты мелетовских фресок в целом традиционны. Сюжет со скоморохом составляет исключение. Думается, что редкий рассказ из «Лимониса» попал в мелетовские фрески далеко не случайно. Ю. Н. Дмитриев отметил в этом изображении скомороха многочисленные детали, особенно в изображении одежд и смычкового инструмента, указывающие на то, что художник воспроизводил отнюдь не традиционное изображение, а имел в виду русского скомороха.[7] В дополнение к наблюдениям Ю. Н. Дмитриева приведу и такое соображение. В изображении редких сюжетов, носивших характер притч, русские росписи вообще допускали

---

[6] ГБЛ, собр. Троице-Сергиевой лавры, ф. 304, № 37, л. 181—185 об.

[7] «Скоморох представлен молодым, почти юношей, что соответствует наименованию „веселые молодцы", которое дают скоморохам былины. У него длинные волосы, пышно лежащие на голове, — обычная манера изображения мужской прически в русском искусстве XIV—XV вв. Одет он в длинную, подпоясанную рубашку, с круглым вырезом у ворота, узкие штаны и высокие сапоги, т. е. в типичную русскую одежду, распространенную среди различных общественных слоев и хорошо известную по миниатюрам. . . Что касается смычкового инструмента, на котором играет скоморох, то он изображен с примечательными подробностями. . . Если бы автор фрески срисовал незнакомый ему инструмент с какого-либо изображения, он никогда не передал бы перечисленные подробности с подобной точностью. . .» (Дмитриев Ю. Н. Мелетовские фрески. . ., с. 410—412).

перенесение их в русскую обстановку. Так, например, в росписях 1363 г. погибшей Волотовской церкви близ Новгорода имелась композиция на сюжет рассказа, встречающегося в сборниках вместе с интересующим нас сюжетом мелетовской росписи.[8] Это рассказ «О игумене, его же искуси Христос во образе нищего».[9] Здесь Христос изображен был с сумой в образе русского нищего, а фигуры игумена и пирующих богатых — в современных росписям русских одеждах.[10]

Перенесение сюжета рассказа в росписях в русскую обстановку — явление вполне сознательное. Оно усиливало их назидательность. Какое же назидание преподносил зрителям художник в данном случае? Для этого нам необходимо обратиться к содержанию сборника «Лимонис».

Единственное исследование «Лимониса» мы находим в труде И. М. Смирнова «Синайский патерик в древнеславянском переводе».[11] Согласно И. М. Смирнову, «Лимонис» — это сборник, возникший в Болгарии в эпоху царства Самуила (969—1018 гг.). Основной материал для «Лимониса» был взят из патериков Синайского[12] и Египетского. Возник этот сборник в связи с борьбой с богомильством.[13] В «Лимонисе», как установил И. М. Смирнов, были собраны многочисленные рассказы, подтверждающие ортодоксально-православную точку зрения на различные вопросы, в том числе на вопрос «о богоматернем достоинстве пресвятой девы Марии, помогающей обращающимся к ней с верою в ее за-

---

[8] Ср., например, сборник № 694 (63) Народной библиотеки им. В. Коларова в Софии, написанный русской скорописью XVIII в.; на с. 105: «Слово от „Лимониса“ о некоем скомрасе, хулившем пречистую богородицу», а на с. 95: «Слово о некоем игумене, его же искуси Христос в образе нищаго».

[9] Рассказ опубликован А. И. Пономаревым в кн.: Памятники древнерусской церковно-учительской литературы. Вып. II. Славяно-русский пролог, часть первая, сентябрь—декабрь. СПб., 1896.

[10] О композиции Волотовской церкви на тему «О игумене, его же искуси Христос» см.: Покровский Н. В. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. — Труды седьмого археологического съезда в Ярославле 1887 г., М., 1890, т. 1, с. 199—200; см. Памятники древнерусского искусства. СПб., 1912, вып. 4, с. 21—22; Айналов Д. В. Византийская живопись XIV столетия. Пг., 1917, с. 141—145; Порфиридов Н. Г. Живопись Волотова. — В кн.: Новгородский исторический сборник. Новгород, 1940, вып. 7, с. 60; Лазарев В. Н. Искусство Новгорода. М.; Л., 1947, с. 81—82 (воспроизведение сцены пира на табл. 66); Алпатов М. В. Фрески храма Успения на Волотовом поле. — В кн.: Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР / Под ред. И. Грабаря. М.; Л., 1948, с. 118—121.

[11] Смирнов И. М. Синайский патерик в древнеславянском переводе. Сергиев-Посад, 1917 (Исследование в 2 частях: I. Греческий оригинал патерика со стороны своего текста; ч. II. Обзор рукописи славянского перевода патерика и сравнительный анализ их текста).

[12] В составе «Синайского патерика» рассказ «О некоем скоморохе» был включен в «Великие четьи минеи» митрополита Макария под 30 июля, см.: Подробное оглавление Великих четьих миней всероссийского митрополита Макария, хранящихся в Московской патриаршей (ныне Синодальной) библиотеке. М., 1892, с. 255.

[13] Смирнов И. М. Синайский патерик. . ., с. 236—248.

ступничество; ее хулители наказываются, как здесь, так и в будущей жизни».[14]

Поскольку новгородско-псковские ереси XIV—XVI вв. были близки к богомильству, интерес к «Лимонису» и его сюжетам не может быть случайностью. Выбор же данного сюжета из «Лимониса» для включения в роспись храма особенно показателен. Очевидно, что не только в XVI—XVII вв., но и в середине XV в. скоморохи представляли опасность для церкви и отличались вольнодумными настроениями.

Скоморох, хулящий богоматерь, очевидно, в песнях, под аккомпанемент смычкового инструмента, — факт примечательный даже для Пскова XV в.

1964

---

[14] Там же, с. 237.

О РУССКОЙ ЛЕТОПИСИ, НАХОДИВШЕЙСЯ В ОДНОМ СБОРНИКЕ СО «СЛОВОМ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Академик С. П. Обнорский высказал предположение о новгородском происхождении рукописи «Слова о полку Игореве».[1] В связи с этим не лишним будет заметить, что та русская летопись, которая находилась в одном сборнике со «Словом о полку Игореве», была, по-видимому, летописью новгородской.

В самом деле, в предисловии к первому изданию «Слова о полку Игореве» в перечислении статей сборника вторым номером отмечен «Временникъ, еже нарицается лѣтописанiе Русскихъ Князей и земля Рускыя».[2]

Из всех известных русских летописей такое название имеют только списки Новгородской I летописи младшего извода. Начало Новгородской I летописи сохранилось в Толстовском списке ГПБ (F. б. о. VI, № 223). Ее название в этом списке — «Временникъ, еже есть нарицается лѣтописанiе князей князь [3] и земля руския. . .». Начало другого списка этой летописи — Академического, поступившего в БАН в 1783 г. от В. Н. Татищева (шифр 17.8.36), ныне утрачено, и летопись начинается прямо с половины фразы в статье 945 г. Однако во времена В. Н. Татищева она сохраняла еще свои первые листы, и в 8-й главе «Истории российской» В. Н. Татищева имеются краткие сведения о ней и приведено ее заглавие: «Времянникъ, иже наречется лѣтописание русскихъ князей и земля русская». Это название еще ближе к тому названию русской летописи, которое имелось в оглавлении сборника «Слова о полку Игореве», однако форма последнего — «еже. . . нарицается. . .» — более близка к Толстовскому списку. Так же как в Академическом (татищевском) читается это название и в Воронцовском списке, поступившем в БАН (шифр 31.7.31) в 1920 г.: «Временникъ, еже нарѣчается лѣтописание рускихъ князей и земля руская». Сходные строки читаются и в других редакциях новгородских и московских летописей, зависящих от Новгородской I младшего извода (в Новгородских IV и V и в Софийских), но, во-первых, всюду с добавлением слова «Софийский» («Съфеiскии Временник, еже нарѣчается. . .» и т. п.) и, во-вторых, не в начале текста, как его заглавие, а в середине. Отсюда ясно, что летопись, читавшаяся в одном сборнике со «Словом о полку Игореве», была, вероятнее всего, Новгородской I младшего извода.

---

[1] Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л., 1946, с. 136, 143—145.

[2] Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя новагорода-северского Игоря Святославича. М., 1800, с. VII.

[3] В издании «Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку» (СПб., 1888), где список этот издан, пропущено слово «князь».

Просматривая варианты по спискам Новгородской I летописи младшего извода к Синодальному списку той же летописи, легко заметить, что составитель протографа Новгородской I летописи младшего извода, в общем довольно строго следовавший старшему изводу, отклонялся от своего оригинала главным образом в сторону некоторой большей литературности изложения. По опискам и некоторым добавлениям в тексте можно видеть, что он был начитанным и образованным человеком. Так, например, под 1255 г. летописец невольно обнаружил свое знакомство со «Сказанием о Мамаевом побоище»; в тексте «и идущю Олександру с многыми полкы і с Новоторжьци, срѣте и Ратишка с перевѣтомъ» летописец принял последнее слово за имя героя Сказания инока-богатыря и написал «Пересвѣтомъ». В другом случае (под 1316 г.) летописец — составитель протографа Новгородской I младшего извода — сделал ссылку на «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия. К рассказу старшего извода Новгородской I летописи о голоде в новгородском войске он добавил: «якоже древле Иерусалимлянѣ, внегда предасть я (в Акад. и Толст. — а) богъ в руцѣ царю римьскому Титу».[4]

К числу чисто литературных припоминаний летописца следует также отнести и известие младшего извода Новгородской I летописи об основании Шкилом или Щилом в 1310 г. Покровского монастыря на Дубенке. Известие это приводило в смущение всех занимавшихся «Повестью о посаднике Щиле» и не рассматривавших специально вопроса о появлении этого известия в новгородских летописях.[5] Исследователи исходили из него как из исторически достоверного. Между тем древнейший — Синодальный — список не имеет под 1310 г. сведений о Щиле и о построении монастыря; наоборот, в нем говорится о построении каменной церкви, что отчасти свидетельствует о том, что монастырь на Дубенке в 1310 г. уже существовал (в Новгороде каменные церкви строились обычно на месте деревянных [6]). Между тем Новгородская I летопись младшего извода добавляет к тексту Синодального списка «поставиша церковь на Дубенке Покров святыя богородица, стяжением роба божия Олония мниха» следующие слова: «нарицаемого Шкила и бысть монастырь, христианом прибежище». И в данном случае мы имеем, следовательно, литературную реминисценцию автора младшего извода Новгородской I летописи.

---

[4] Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 1888, с. 317.

[5] Исторический и хронологический опыт о посадниках новгородских. М., 1821; Памятники старинной русской литературы. СПб., 1860, вып. 1; Петухов Е. В. Очерки из литературной истории Синодика. — ОЛДП. 1895, № 108; Витт А. де. Повесть о новгородском посаднике Щиле. — ИОРЯС, 1913, т. 18, кн. 2, с. 88—115; Еремин И. П. Из истории старинной русской повести. Повесть о посаднике Щиле. — Труды Комиссии по древнерусской литературе, Л., 1932, вып. 1, с. 59—151.

[6] Передольский В. С. Новгородские древности: Записка для местных изысканий. Новгород, 1898, с. 91. Тем самым становится вероятным отнесение исторических событий повести к Иоанну I.

Замечательно, что в одном случае мы можем подозревать знакомство составителя протографа младшего извода Новгородской I летописи со «Словом о полку Игореве». Дело в том, что новгородский наместник в Пскове Вячеслав наделен в младшем изводе Новгородской I летописи отчеством «Гориславич». В Синодальном списке читается: «они же въгонивше въ Пльсковъ, яша Вячеслава, и бивъше его оковаша и»; в тексте Комиссионного списка после имени Вячеслава добавлено «Горислалица», а в списках Академическом и Толстовском — «Гориславича». До сих пор в исследовательской литературе о «Слове о полку Игореве» к отчеству Олега «Гориславича» было приведено лишь две параллели: одна (указана Д. Дубенским) в Лаврентьевской летописи под 1228 г. в прозвище Рогнеды, жены Владимира Святославича, — «Горислава» и другая (указана Н. Тихонравовым) в «Молении» Даниила Заточника в известной сентенции: «кому ти есть Переславль, а мне Гореславль». Параллель Новгородской I летописи младшего извода несомненно ближе к «Слову о полку Игореве».

Вставка в начале XV в. (время составления протографа младшего извода Новгородской I летописи) иронического отчества «Гориславичь» могла быть вызвана литературными реминисценциями летописца, сравнившего Вячеслава с Олегом Святославичем «Слова о полку Игореве»: и тут и там оба героя, несчастные лично, были вместе с тем причиной междоусобиц.

В 1232 г. в отсутствие в Новгороде князя Ярослава (отца Александра Невского), воевавшего в Черниговском княжестве, псковичи и явившиеся в Псков новгородцы — противники Ярослава — схватили Ярославова наместника Вячеслава, избили его и заключили в оковы. Волнения были настолько велики, что перекинулись в самый Новгород. Ярослав вернулся и велел схватить псковичей, бывших в Новгороде, и посадить их на Городище, а затем послал сказать в Псков, что он будет держать псковичей до тех пор, пока в Пскове не освободят Вячеслава и не изгонят его противников — новгородцев. Псковичи не послушались слова Ярослава, и вражда продолжалась все лето. Ярослав прекратил торговлю с Псковом и отказался выпустить семьи своих противников-новгородцев. Псковичи выпустили Вячеслава, вражда из-за которого дорого обошлась и новгородцам и псковичам, но розмирье Новгорода и Пскова продолжалось до зимы.

Нам кажется, что отчество «Гориславич», прибавленное к имени Вячеслава — главного героя новгородско-псковской Смуты 1232 г., — такая же литературная реминисценция «Слова», как и известное место в послесловии псковского Апостола 1307 г.: «. . . при сихъ князехъ сѣяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша, въ князѣхъ которы и вѣци скоротишася человекомъ».

1947

КАНОН И МОЛИТВА АНГЕЛУ ГРОЗНОМУ ВОЕВОДЕ ПАРФЕНИЯ УРОДИВОГО
(ИВАНА ГРОЗНОГО)

В 1878 г. в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских» при Московском университете издатель этого журнала Андрей Попов поместил найденный им текст «Ответа царя Иоанна Васильевича Грозного» члену Общины Чешских и Моравских братьев Яну Роките. До того был известен только латинский перевод этого «Ответа», изданный в 1582 г. Иоанном Ласицким в сборнике «De Russorum, Moscovitarum et Tartarorum religione. . .». Где нашел Андрей Попов свою рукопись, имелось ли в ней что-либо еще, принадлежащее перу царя Ивана Грозного, осталось неизвестным. Неизвестно и нынешнее место хранения рукописи. Андрей Попов отмечал в «Предуведомлении», что правописание рукописи «довольно небрежное, встречаются описки, недосмотры, — видимо, что писец мало сознавал важность списываемого им». По словам Попова, рукопись «писана в конце XVI в., полууставом, в 4 °».

В своем издании А. Попов, по-видимому, исправил, не оговорив, большинство замеченных им в списке «описок» и «недосмотров». Сейчас в его издании их сравнительно мало.

Списки «Ответа царя Иоанна Васильевича Яну Роките» встречаются крайне редко. Н. А. Казакова указала мне на список в сборнике ГПБ, Погодинского собр., № 1597. Здесь после выписки о втором браке Василия III идет Речь Ивана IV к Максиму Греку. Эта речь к Максиму Греку на самом деле является «Ответом царя Иоанна Васильевича Яну Роките»: Максим Грек в заглавии назван ошибочно.[1]

Через восемь лет после публикации А. Попова, в 1886 г., известный знаток древнерусской письменности архимандрит Леонид издал в «Памятниках древней письменности и искусства» «Послание к неизвестному против люторов. Творение Парфения Уродивого» по рукописи № 423 библиотеки Уварова, бывш. Царского (теперь — ГИМ).

Архимандрит Леонид предположил, что Парфений — суздалец и жил в первой половине XVI в., точнее до 1560 г.[2] Это свое предположение Леонид основывал на том, что произведение Парфения Уродивого — Канон Ангелу Грозному, о котором пойдет речь в дальнейшем, — помещено в одной рукописи Следованной псалтыри XVII в.: «между канонами суздальским святым, творение „Григория инока“ Суздальского Спасо-Евфимиевского мона-

[1] О сборнике Погодинского собр., № 1597, содержащем различные материалы о Максиме Греке, см.: Чернов С. Н. К ученым несогласиям о суде над Максимом Греком: Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пг., 1922, с. 48—71.

[2] Послание к неизвестному против люторов. Творение Парфения Уродивого / Сообщил архимандрит Леонид. СПб , 1886, с. V—VI.

стыря». Таким образом, основания, по которым Парфений был объявлен суздальцем, жившим в первой половине XVI в., вполне эфемерны.

Возвращаясь к изданному архимандритом Леонидом «Посланию к неизвестному против люторов», следует обратить внимание на следующее. Архимандрит Леонид не заметил, что изданное им «Послание» заключает в основном тот же текст, что и «Ответ царя Иоанна Васильевича Грозного Яну Роките». Различие только в том, что в последнем отброшена заключительная часть и в названии всего сочинения, а также отдельных его частей убраны прямые и косвенные указания на авторство царя: «ответ государев», «второе мое слово», «3 слово мое», «4 убо мое слово» и пр.

На тождественность «Ответа» и «Послания» обратил внимание в 1911 г. А. И. Шляпкин, и он же на этом основании сделал предположение, что Парфений Уродивый — псевдоним Ивана Грозного. В своей статье «Ермолай Прегрешный, новый писатель эпохи Грозного» А. И. Шляпкин делает следующее предположение: «Позволяю кстати сообщить заметку о литературной деятельности и самого царя Ивана Васильевича, о которой у нас, кроме исследования И. Н. Жданова (Сочинения, т. 1, с. 81—170), нет специальной работы. В Памятниках древней письменности ОЛДП за 1886 г. напечатано было по рукописи Царского № 423 покойным архимандритом Леонидом (Кавелиным) „Послание к неизвестному против люторов — творение Парфения Уродивого". При ближайшем знакомстве с ним я увидел, что это не что иное, как ответ царя Иоанна Васильевича Грозного Яну Роките (первые 12 слов Грозного). Парфению Уродивому принадлежит еще „Канон св. архангелу Михаилу, грозному воеводе, хранителю души и тела, всем человеком посылаемому от Вседержителя бога по вся души человеческие душу возвести к Господу, а тело земли предати. Ты же, человече, не забывай смертного часа, по вся дни пой канон сей", что уже отметил архимандрит Леонид (1, с. 1). Отсюда можно сделать вывод, что Парфений Уродивый — псевдоним И. Грозного, иронически называвшего себя девственником (παρθένιος). Принадлежность царю канона св. арх. Михаилу будет соответствовать авторству Грозного в послании-молитве к мощам Михаила Черниговского и боярина Федора и в стихирах Владимирской иконе Божией Матери, св. Петру митрополиту и Даниилу Переяславскому (архим. Леонид. Стихиры, положенные на крюковые ноты. Творение царя Иоанна, деспота российского. Изд. ОЛДП, СПб., 1886; Жданов И. Н. Сочинения, т. 1, с. 83), уже несомненно ему принадлежащих».[3]

Конечно, одного совпадения текста «Ответа царя Яну Роките» с «Посланием к неизвестному против люторов Парфения Уродивого» еще недостаточно, чтобы отождествить Ивана Грозного с Парфением, тем более что текст Парфения сокращен сравни-

---

[3] См. сборник: Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911, с. 554—555.

тельно с «Ответом царя». Поэтому следует рассмотреть и другие текстологические возможности: 1) Иван Грозный воспользовался текстом Парфения, дописав конец и вставив указания на свое авторство; 2) некий Парфений Уродивый (не царь Иван Васильевич) воспользовался «Ответом царя Яну Роките» и выдал царское сочинение за свое, несколько его сократив.

Первый вариант невозможен, так как в «Послании Парфения Уродивого» имеются характерные для Грозного полемические обороты: «А что писал еси о латынской церкве, и аз о том глаголати не хощу, понеже яко латына прелесть, тако и вы тьма. . .»;[4] «А что еси писал о Люторе, како он во учении вашем будто ся справедливо рассказует, и о том много обличихом выше сего, яко вся развращенна. . .»;[5] «Яко же убо выше сего много о том писах ти. . .»;[6] «. . .и аз о том глаголати не хощу. . . и о том сами ведаете».[7] Ср. в Послании Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь характерный для Грозного оборот: «А нам к вам больши того писати невозможно, да и писати нечего. . . Сами ведаете».[8] В «Послании к неизвестному Парфения Уродивого» встречаются и такие обороты: «А что писал еси о посте, и ты лжешь, а не истинствуешь. . .».[9] Ср. в Послании Грозного к Сигизмунду II: «А что писал еси. . . ино твое писанье много отстоит от истинны. . .».[10] Многократно встречаются в «Послании к неизвестному» и обороты, начинающиеся со слов «видиши ли, яко. . .».[11] Характерно также для Грозного издевательство над именем противника. Ср. в «Послании к неизвестному»: «. . .во истину бо Лютор, иже лют глаголется»,[12] и в Послании Грозного к Полубенскому: «А пишешься Палемонова роду, ино то палаумова роду. . .».[13] Наконец, Парфений, как и Грозный, прибегает и к простой брани: «Аще ли же разрушаеши, не токмо козлище еси, но и хищник, волк, и тать, разбойник».[14]

Кроме того, в одном случае в «Послании Парфения» осталось указание на царское происхождение автора. Парфений пишет от первого лица: «А что еси писал о русской вере, ино как бы прос(вя)тил *прародителя нашего* благочестиваго великаго князя Владимира, нареченнаго во святом крещении Василия».[15] Это место одинаково читается и в «Послании Парфения» и в «Ответе

---

[4] Послание к неизвестному. . ., с. 26.
[5] Там же, с. 27.
[6] Там же, с. 35.
[7] Там же, с. 44.
[8] Послания Ивана Грозного / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1951, с. 192.
[9] Послание к неизвестному. . ., с. 27.
[10] Послания Ивана Грозного, с. 261.
[11] Послание к неизвестному. . ., с. 11, 13, 17, 24, 25 и др.
[12] Там же, с. 2.
[13] Послания Ивана Грозного, с. 203.
[14] Послание к неизвестному. . ., с. 30.
[15] Там же, с. 25.

царя». Из этого видно, что «Ответ царя» не мог быть переделан из «Послания Парфения».

Разберем теперь вторую из возможностей: некий Парфений Уродивый воспользовался «Ответом царя».

Однако здесь надо обратить внимание на то, что произведение Парфения не имеет никаких новых элементов. Это только сокращенный ответ Грозного Роките. Кто же из живых людей мог решиться на прямое присвоение текста Ивана Грозного? Ясно, что под именем Парфения Уродивого может скрываться только сам Иван Грозный. Однако встает вопрос: почему же понадобилось Грозному укрыться под придуманным именем Парфения Уродивого? [16]

Напрашивается желание искать ответ на этот вопрос в самом содержании отброшенной части. Что же это за часть? В ней Грозный обвиняет последователей Лютера в допущении многоженства. Грозный выступает с крайним раздражением против тех, кто женится после смерти жены. Ответ Яну Роките датируется 1570 г.[17] К этому времени Грозный был уже женат три раза. В апреле же 1572 г. собрался церковный собор, разрешивший Грозному четвертый брак, но наложивший на царя епитимию и указавший на непозволительность кому-либо из подданных царя поступать по его примеру. В соборном определении от 29 апреля 1572 г. о четвертом браке царя Иоанна Васильевича сказано, что Иван на соборе «извещался и прощения просил, и бил челом и молил о прощении и о разрешении и обличении четвертого брака сочетания». Собор разрешил Ивану четвертый брак, но наложил епитимию и указал, чтобы никто из «прочих человек от мирских царьскаго синглита и до простых» никак не дерзали на четвертый брак под угрозой «пригрозного» проклятия.[18]

Естественно, что в условиях этого церковного осуждения многоженства царя выступать самому царю против многоженства было неудобно.

Как известно, Грозный считал нужным распространять свои сочинения «во все его Российское царство».[19] Поэтому «Ответ царя Яну Роките» Грозный также стал распространять, но убрал всю ту часть, где он выступал против многоженства, а сам себя насмешливо называл «Парфением», т. е. девственником. Впоследствии Грозный, отбросив все церковные запрещения, был женат по крайней мере еще два раза.

Литературный маскарад был вполне в духе Грозного. Вспомним его челобитные, которые заключались униженными самопрозва-

[16] Именем знаменитого писателя (например, Иоанна Златоуста) в Древней Руси иногда подписывались сочинения менее известных авторов, чтобы придать этим сочинениям больший авторитет. Однако никаких других писателей или святых с именем Парфения Уродивого мне неизвестно.

[17] Ян Рокита был в Москве весной 1570 г. в свите польских послов Кротошевского и Теплюта.

[18] Акты археографической экспедиции. СПб., 1836, т. 1, с. 229—331.

[19] Лурье Я. С. Был ли Иван IV писателем? — ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 15, с. 507.

ниями: «Иванец Васильев со своими детишками с Иванцем да с Федорцем челом бьет». Вспомним также его послания от имени бояр.[20]

Под именем Парфения Уродивого Грозный написал еще Канон Ангелу Грозному воеводе. Канон этот довольно часто встречается в списках, отмечается в описаниях рукописей, но до сих пор не был издан и изучен. Принадлежность Ивану Грозному Канона Ангелу Грозному воеводе основывается не только на том, что он надписан тем же именем Парфения Уродивого, что и «Послание к неизвестному против люторов». Обращает на себя внимание характерность для Грозного стиля, отдельных выражений, тем и настроения.

Канон формально построен по традиционной схеме — 9 песнопений (ирмосов и тропарей). Темы песнопений указаны правильно. Как и полагается, Канон заканчивается славословием богоматери, но это только формально. На самом деле Канон посвящен всего одной теме — смерти. Ангел восхваляется т о л ь к о как ангел смерти. Настроение страха пронизывает Канон от начала и до конца. Сравнительно с известными стихирами Грозного Канон Ангелу Грозному воеводе отступает от традиционной формы. Канон подчеркивает страх, внушаемый ангелом: «грозный и смертоносный ангел», «страшный посланниче», «великий хитрец», «страшный воин», «святый ангеле огнеобразный» и т. д. О себе автор Канона говорит так: «злосмрадный», «окаянный», «и мене помилуй, грешнаго и окаянного», «душу мою, наполненную смрадом» и пр.

Наконец, имеется одно место в Каноне (только в двух списках — ИРЛИ, Карельское собр., № 2 и ГБЛ, ф. 304, № 287), которое свидетельствует, что писавший — лицо весьма значительное: «О люди благочестии и *вси племена земстия*, егда видите мое смертное тело на земли повержено и вонею греховною объято,— помолитеся ко ангелу смертоносному о мне. . .». Ясно, что здесь пишет не обычный человек.

Правда, в Каноне имя молящегося всюду изъято и заменено на «имрек», но, как мы уже отмечали, изъяты указания на Грозного и в другом произведении Парфения Уродивого — «Послании к неизвестному». Грозный ничего не писал от имени Парфения, он только скрывал под этим именем уже написанное. Что Грозный был автором церковных служб, это хорошо известно. Архимандрит Леонид в 1886 г. издал «Стихиры, положенные на крюковые ноты. Творение царя Иоанна, деспота российского» (Памятники древней письменности, ОЛДП, LXIII). Эти стихиры вполне традиционны, поэтому нет ничего удивительного, что они надписаны именем царя. Напротив, Канон Ангелу Грозному воеводе написан в типичной для Грозного манере, выражает его интимные настроения: его ожидание и страх смерти, поэтому распространять их с именем царя было также неудобно. Известно, что Грозный пел церковные

---

[20] Послания Ивана Грозного, с. 195, 239.

службы. Архимандрит Леонид упоминает, что в Никитском монастыре в Переяславле Залесском на южной стороне паперти собора в его время была плита белого камня с надписью об освящении собора в 1564 г. московским митрополитом Афанасием. В надписи, между прочим, было сказано: «Благочестивый государь. . . всенощное бдение слушал и первую статию сам царь чел и божественную литургию слушал, и красным пением с своею станицею, сам же государь пел на заутрени и на литургии».[21]

Из изложенного ясно, что Канон Ангелу Грозному воеводе, надписанный именем Парфения Уродивого, также принадлежит Грозному. Причем это новое произведение Грозного в еще большей мере укрепляет мысль, что имя Парфения придумано самим Грозным и скрывает те его произведения, которые ему по каким-либо соображениям не хотелось публично признавать своими.

В одном списке (БАН, 33.3.20) после Канона Парфения Уродивого следует текст Молитвы к Иисусу Христу и архангелу Михаилу. Эта Молитва не надписана именем Парфения, но с Каноном она составляет одно традиционное целое (каноны обычно заключались молитвами) и сходна с ним по стилю и по теме. Грозный (вернее Парфений) просит архангела Михаила изъять его из рук врагов, «запретить» всем, борющимся с ним врагам, просит спасти его «на распутиях, на реках, и в пустынях, в ратех, в царех, и в князех, в вельможах, и в людех, и во всякой власти, и от всякоя притчи, и от диявола». Он просит спасти его «от очию злых человек и от напрасныя смерти». И наконец, что самое важное для атрибуции, обращается к своим святым покровителям. Кто же эти покровители? Это Иоанн Креститель — ангел Грозного (Иоанн Лествичник был ангелом его сына царевича — Ивана Ивановича), пророк Илья, Никола Чудотворец и Евпатий.

Позволю себе привести справку, полученную мною от известного искусствоведа и вещеведа Т. В. Николаевой: «Что же касается Иоанна Предтечи, Николы и Никиты, то их изображения на вещах Ивана Грозного являются обычными. Вместе с ними изображаются еще Анастасия, царь Константин и царица Елена, Симеон Богоприимец и патроны сыновей Грозного — Иоанн Лествичник и Федор Стратилат. Вещи Ивана Грозного или членов его семьи с изображениями патрональных святых следующие.

1) Икона „Богоматерь Одигитрия" 1560 г., в золотом окладе с черневыми изображениями святых на золотых дробницах (Иоанна Предтечи, Николы, Анастасии и др.). Хранится в Оружейной палате. См.: Государственная Оружейная палата Московского кремля. М., 1954, с. 186 и 194.

2) Икона „Спас Вседержитель" XVI в., в серебряном чеканном окладе с гравированными дробницами. Изображены: Иоанн Предтеча, Владимир, Борис и Глеб и др. Хранится в Оружейной

[21] Стихиры, положенные на крюковые ноты. Творение царя Иоанна, деспота российского / Сообщил арх. Леонид. — ПДП, СПб., 1886, вып. 63, с. III.

палате. Происходит из Покровского монастыря в Суздале. Издана: Георгиевский В. Г. Памятники старинного русского искусства Суздальского музея. М., 1927; а также: Государственная Оружейная палата Московского кремля. М., 1969, № 71.

3) Оклад Евангелия 1568 г., сделанный по образцу Евангелия Федора Кошки. На окладе помещены: Иоанн Предтеча в деисусе, Никита Переяславский, Владимир с Борисом и Глебом, Анастасия, Симеон Богоприимец, преподобный Сергий и Никола. См.: Государственная Оружейная палата Московского кремля. М., 1969, № 65.

4) Икона „Кирилл Белозерский". Сер. XVI в. Из собрания Троице-Сергиевой лавры (Загорский музей, инв. № 8/4942). На чеканном серебряном окладе помещены гравированные изображения святых: Иоанн Лествичник, Ульяния, св. Василий (по-видимому, Парийский), Анастасия. Точных данных о принадлежности этой иконы нет, но изображения святых связаны, несомненно, с семьей Грозного (только Ульяния — это имя не «лекарицы», как мы предполагали, а жены брата Ивана Грозного Юрия).

5) Икона „Никола Бородинский". Сер. XVI в. Из собрания Троице-Сергиевой лавры (Загорский музей, инв. № 2719). На роскошном серебряном с золотыми дробницами окладе, выполненном чеканкой, чернью, сканью и эмалью, помещены на цате изображения Богоматери Знамения, Иоанна Предтечи и Николы, а на поле оклада, на киотчатых дробницах, гравировкой с чернью по золоту изображены: архангел Михаил, архангел Гавриил, Василий Великий, Анастасия, преподобный Иоанн, святой Мина, святая Ульяния. См.: Лихачев Н. П. Материалы для истории русского иконописания. Атлас снимков. СПб., 1906, ч. 2, табл. CCXCVIII, рис. 559.

6) Икона „Никола" с приписными святыми: Троица, мученик Георгий, мученик Дмитрий, апостол Петр, апостол Павел, Василий Великий, Иоанн Креститель, Федор Стратилат, мученица Ирина, Григорий Богослов, Тихон Чудотворец, Иоанн Златоуст, преподобная Федосия, мученик Никита, Мина, апостол Яков, Евдокия, преподобный Кирилл, Леонтий Ростовский, преподобный Андроник. 1592 г. Икона принадлежала царю Федору Иоанновичу и была, по-видимому, написана в Троице-Сергиевом монастыре (Загорский музей, инв. № 5605)».

Если Грозный принял имя Парфения Уродивого для «Послания к неизвестному против люторов» после собора 1572 г., то надо думать, что и другое свое сочинение — Канон Ангелу Грозному воеводе — Иван Грозный написал под именем того же Парфения вскоре же. Вряд ли нужно предполагать, что Грозный писал Канон Ангелу Грозному в начале 80-х гг., когда раскаяние в совершенных убийствах и страх смерти достигли у него апогея. Временем написания Канона и Молитвы мог быть тот же 1572 или 1573 год. В 1571 и 1572 гг. Иван ходил на Новгород. Р. Г. Скрынников пишет: «После новгородского разгрома в зем-

щине много толковали о том, что бог покарал Ивана неизлечимой болезнью».[22] В своем «Временнике» Иван Тимофеев пишет, что после похода на Новгород бог «болети неисцелно ему сотвори».[23] В мае 1572 г. Грозный просил английского посла об убежище в Англии. К 1572 г. обычно относится и «Завещание» Грозного, также отражающее его страх смерти.[24]

Теперь перед нами самый интересный вопрос: кто тот Ангел Грозный воевода, которому молится Грозный и которого он ожидает в свой смертный час?

Во всех описаниях рукописей, где упомянут Канон Ангелу Грозному воеводе, говорится, что это архангел Михаил. И описывающие безусловно правы. Архангел Михаил — предводитель небесных сил. Он победитель сатаны. Он проводит человеческую душу через загробные мытарства.

В своем исследовании «Культ святого Михаила» О. А. Добиаш-Рождественская приводит материалы, устанавливающие представления об архангеле Михаиле как об ангеле смерти. Она пишет, что Михаил на Западе — «борец за душу, водитель душ, может быть, прямо смертный ангел».[25] К нему направлялись молитвы за усопших и ему часто посвящались кладбищенские церкви.

Причина, по которой Грозный обращается в Каноне к архангелу Михаилу в своем паническом страхе смерти, вполне ясна. Архангел Михаил — не только ангел смерти, приходящий за душою умершего и проводящий ее в «горний Иерусалим», это также и тот ангел, во имя которого была построена царская усыпальница в Московском Кремле, где предстояло лечь и самому Иоанну Грозному, — Архангельский собор. Архангел Михаил действительно считается предводителем небесных сил, однако все ж таки в Каноне он не назван по имени. По имени архангел Михаил назван только в Молитве. Важно, что в Послании Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь, относящемся приблизительно к тому же времени, что и Канон и Молитва, — к 1573 г., имеется тот же мотив обращения к ангелу смерти. И опять-таки ангел смерти не называется по имени.

Говоря в своем Послании в Кирилло-Белозерский монастырь о последнем часе, предстоящем каждому человеку, Грозный восклицает: «Предстанет бо ти напрасно все пагубство, и люта, яко же буря, приидет ангел немилостив, отводя с нуждею, влекий душу

---

[22] Скрынников Р. Г. Опричный террор. Л., 1969, с. 161.

[23] Временник Ивана Тимофеева / Подгот. к печати, пер. и коммент. О. А. Державиной. М.; Л., 1951, с. 14.

[24] Грозный пишет в своем «Завещании», что тело его «изнеможе, болезнует дух, струпи телесна и душевна умножишася, и не сущу врачу, исцеляющему мя, ждах, иже со мной поскорбит, и не бе, утешающих не обретох. . .» (Послания Ивана Грозного, с. 524). Во вступительной части его «Завещания» развернута потрясающая картина сомнений, самоуничижения, раскаяния и тревожного ожидания смерти.

[25] Добиаш-Рождественская О. А. Культ святого Михаила. Пг., 1917, с. 361 (гектографированное издание).

твою, связану грехми, часто обращающуюся к здешним и рыдающу без гласа. . .».[26]

В тираде, обращенной в Послании в Кирилло-Белозерский монастырь к ангелу смерти, есть те же типичные и для Канона мотивы: 1) ангел назван «немилостивым» (ср. в Каноне — «твоея нещадости»); 2) страх смерти («смутися сердце мое исхода ради, и страх смертный нападе на мя, боязнь и трепет Страшнаго судища прииде на мя. . .»); 3) боязнь умереть без покаяния («аще восхищен будеши преже покаяния. . .»); 4) боязнь одиночества в час смерти («ей, поистине, нощь глубока тогда, и болезнь тяжка, и помагаяй несть»); 5) мотив долгого пути к небесному Иерусалиму («течение к Иерусалиму. . .»).[27]

Резюмируя свое историческое вступление к исследованию о святом Михаиле, О. А. Добиаш-Рождественская между прочим пишет: «Михаил, несомненно, светлое божество, борец за доброе начало. Но все-таки это борец карающий, грозный ангел. И его воинственность, и его связь с „древним змием“, по понятному психологическому уклону, отбрасывает зловещую тень на его светлый облик, дает ему характер христианского Сатаны».[28] А заключая всю книгу, О. А. Добиаш-Рождественская отмечает: «Он (Михаил. — *Д. Л.*) почти на границе добра и зла. Борясь за добро, он часто бывает яростен; иногда он бесцельно жесток. Он карает, убивает, сечет розгами, уносит смерчем, ударяет молнией. Это гневный бог и святой сатана. Его больше боятся и чтут, чем любят. Элемент добродушия почти отсутствует в его легенде».[29]

Черты жестокости, воинственности, грозности необычайно сгущены в Каноне Парфения Уродивого и его Молитве. Многократно повторяется, что ангел — «грозный воевода», что «возхождение» его за душой умирающего «грозно». Грозный говорит о нем: «несть сильнее тебя и крепчайши во брани». Он просит «весело» взглянуть на него: «да не ужаснуся твоего зрака». Ангел у Грозного «смертоносный», «страшный воин», «грозный посланниче». Он говорит о нем как о воителе: «Скоро пленяеши и не замедлиши николе же. Всюду готов стоиши, и храбруеши, и зла не убоишися, ни стара отриеши, ни млада отступиши»; «Великий мудрый хитрец, никто же может твоея хитрости разумети, дабы скрылся от твоея нещадости». Грозный просит Ангела: «Мудрый ангеле и светлый, просвети ми мрачную мою душу своим светлым пришествием, да во свете теку во след тебе». Восхваляя Ангела Грозного воеводу, Грозный называет его «мудрым оружником и грозным полчеником и победителем вражиимь силам». В Молитве к архангелу Михаилу Грозный просит его : «Запрети всем врагом

---

[26] Послания Ивана Грозного, с. 171.

[27] Там же, с. 168 и 171 (совпадение мотивов в Каноне и в Послании в Кирилло-Белозерский монастырь лишний раз доказывает принадлежность первого перу Грозного).

[28] Добиаш-Рождественская О. А. Культ святого Михаила, с. 46.

[29] Там же, с. 392.

борющимся со мною. Сотвори их яко овец, и сокруши их яко прах пред лицем ветру»; он просит соблюсти его «от очию злых человек».

Если вспомнить, что Грозный, прежде чем обнародовать свой «ответ» Яну Роките под именем Парфения Уродивого, сильно урезал его конец и все-таки скрылся за псевдонимом, то не следует ли предполагать, что и здесь, в Каноне и Молитве Ангелу Грозному, была проделана так же вивисекция, и все-таки, в отличие от традиционных стихир, Грозный не решился обнародовать их под своим именем.

Не потому ли в Каноне Грозному воеводе нет имени Михаила, что черты жестокости «ангела грозного воеводы» необычайно сгущены в Каноне и Грозный сознавал его не совсем христианский характер. Как раз в это время Грозный выворачивал христианский культ наизнанку. В 1570 г. был умерщвлен митрополит Филипп. Поход Грозного на Новгород и Псков носил ярко выраженный антицерковный характер. Затворившись в паническом ужасе в Александрийской слободе [30] со своими опричниками, он переоделся с ними в монашеское платье, но не стал монахом. В своем Послании в Кирилло-Белозерский монастырь он писал: «И мне мнится, окаянному, яко исполу есмь чернец. . .».

На свадьбе царской племянницы Марии Владимировны Старицкой в Новгороде гости плясали под напев символа веры св. Афанасия. Царь плясал со всеми и отбивал такт жезлом, которым впоследствии убил своего сына Ивана, по головам пляшущих молодых иноков.[31]

Пискаревский летописец сообщает об одном пире, на котором присутствующие «почали прохлажатися и всяким глумлением глумитися: овии стихи пояше (под «стихами» разумеются молитвы, церковные песнопения. — *Д. Л.*), а овии песни воспевати».[32]

---

[30] Исследователь опричнины Р. Г. Скрынников пишет: «По мере нарастания террора все большее значение в политической жизни государства приобретал новый важный элемент — всеобщий страх и подозрительность. Жертвою страха стал и сам Грозный. На протяжении всей опричнины он жил затворником в Слободе под надежной охраной и никуда не выезжал иначе, как в сопровождении многих сотен вооруженных до зубов преторианцев. Постоянно опасаясь заговоров и покушений, царь перестал доверять даже ближайшей родне и друзьям. Новые сподвижники Ивана старательно поддерживали в нем его подозрения. В пору кровавых оргий опричнины царь действует как человек, ослепленный страхом. Как заметил однажды Энгельс, эпоху террора нельзя отождествлять с господством людей, внушающих ужас. „Напротив того, это господство людей, которые сами напуганы. Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершенные для собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх“» (Скрынников Р. Г. Опричный террор, с. 160; цитата из письма Ф. Энгельса к К. Марксу от 4 сентября 1870 г., см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 33, с. 45).

[31] Чумиков А. Осада Ревеля. — ЧОИДР, 1891, кн. 2, отд. IV, с. 32.

[32] Пискаревский летописец / Подгот. текста, вводная статья, примеч. и указатель О. А. Яковлевой. — В кн.: Материалы по истории СССР. М., 1955, т. 2, с. 85.

Искажения и глумления над христианским культом были типичны для Грозного. Демонстративно выставляя свою ортодоксальность во всех официальных случаях, он вместе с тем был склонен к кощунству, к высмеиванию этого же культа, к различного рода нарушениям религиозных запретов.

Канон Ангелу Грозному воеводе и Молитва к архангелу Михаилу были вполне серьезны, в них не было элементов глумления над религией, но тем не менее сам объект молитвы приобретал не «исполу» христианские, а «исполу» антихристианские черты и поэтому не мог быть назван по имени. Образ Ангела Грозного воеводы соединился в сознании Ивана Грозного с образом тех «лютых ангелов», которые, по средневековым представлениям, ведали загробными мучениями грешников.[33] Больная совесть Грозного заставляла его думать о смерти и о загробных мучениях.

* * *

Текст Канона издается по небольшой рукописи XVII в.,[34] открывающей собой известный сборник № 2 из Карельского собрания ИРЛИ, по которому В. И. Малышевым был издан новый текст «Моления» Даниила Заточника.[35]

Канон Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого нередко встречается в рукописях. Леонид указывает, например, следующие списки Троице-Сергиевой лавры: канонники № 280 (конца XVI—начала XVII в.), 284 (XVII в.), 287 (XVII в.), 293 (XVII в.) и др.[36] Нами для вариантов избраны тексты в сборнике канонов БАН, 33.3.20 середины XVII в., в 16-ю долю, на л. 213 об.—227 (обозначаем — *А*). По этому же списку издается текст Молитвы Иисусу Христу и архангелу Михаилу. Для вариантов избрана также рукопись канонника Архива Синода № 436 (610) (обозначаем — *С*). В. Н. Перетц относил этот список к концу XVI в. и снял с него копию, использованную нами с любезного согласия В. П. Адриановой-Перетц. В том же Архиве Синода Канон Ангелу Грозному имеется и в канонник № 460 XVII в. Текст Канона и Молитвы публикуется по правилам, принятым в ТОДРЛ.

Канон (и последующий за ним кондак) заключает в себе отметки о песнопениях «Слава Отцу и Сыну. . .» и «И ныне и

---

[33] Ср. в сербском списке «Повести об Акире Премудром», изданном В. Ягичем: «Сину мои Анадане, — говорит Акир, — правдан' судие буди, да до старости почтен будеш и твое душа проиде от земле до небес и не примут е на вратех митарских люти ангели» (Prilozi k historiji knjiźevnosti naroda hrvatskoga i srbskoga / Isd. V. Jagić. Zagreb, 1869, с. 76). Источник указан мне Н. С. Демковой.

[34] Сохранившиеся части водяного знака — по-видимому, изображение орла в картуше.

[35] М а л ы ш е в В. И. Новый список Даниила Заточника. — ТОДРЛ, М.; Л., 1948, т. 6, с. 193—200. Здесь же подробное описание сборника.

[36] См.: Описание славянских рукописей Библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1878, ч. 2, с. 54, 60, 66, 72 и 106.

присно. . .». В списке Пушкинского Дома эти отметки сделаны на полях рукописи. В нашем издании мы помещаем их в особом, верхнем этаже примечаний и отмечаем буквами. В других списках эти отметки внесены в строку.

Канон Ангелу Грозному воеводе

л. 4 Капун [1] ангелу грозному, и [2]воеводе, и[2] хранителю всех человек, [3]от Вседержителя бога посланному[3] по вся душа человеческая.[4] Ты же, человече, не забывай часа смертного: пой по вся дни канун[5] сей творение [6]Уродиваго Парфения.[6]

По утреннем пении глаголи:[7] «Молитвами[8] святых отец наших [9]Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас. Аминь»,[9] «Царю[10] Небесный», «Трисвятое» и по «Отче наш» — «Господи помилуй» 12, «Слава», «И ныне», «Приидите поклонимся» 3, [11]та же[11] псалом 50, «Помилуй мя боже», та же канун глас 6, песнь 1, ирмос «Яко по суху».[12] Запев:[13] «Святый ангеле, грозный воевода,[14] моли бога о нас».[15]//

л. 4 об. Прежде [16]страшнаго и грознаго[16] твоего,[17] ангеле,[18] пришествия[19] умоли[20] о мне грешнем [21]о рабе твоем[21] имрек. Возвести[22] ми конец мой,[23] да покаюся дел своих злых, да отрину от себе бремя греховное. Далече ми с[24] тобою путешествати. Страшный и грозный ангеле, не устраши мене маломощнаго. Дай ми, ангеле, смиренное[25] свое пришествие и красное[26] хождение,[27] и велми ся тебе возрадую. Напой мя, ангеле, чашею спасения.[а]

Святый ангеле, да мя напоиши чашею спасения и весело[28] теку во след твоему[29] хождению[30] и молюся — не остави мене сира.[б]

Рождьшия[31] ти[32] царя вышним силам, пресвятая[33] царица,
л. 5 ты бо еси милостива, може// ши бо облехчити мое бремя [34]греховное, тяшкое.[34]

Песнь 3, ирмос «Несте[35] свята, яко же ты, [36]Господи боже».[36]

Святый ангеле Христов,[37] грозный воевода, помилуй мя грешнаго раба своего имрек. Егда приидет время твоего прихода, святый ангеле, по мене грешнаго имрек разлучити мою душу от

[а]*На полях против последних слов*: Слава. [б]*На полях*: И ныне.

[1]*Доб.* святому *С*. [2-2]*Нет АС*. [3-3]посланному от бога вседержителя *А*. [4]*Доб.* душу возвести ко господу, а тело земле отдати *А*; душу бо возвести к богу, а тело персти отдати *С*. [5]*Доб.* ангелу грозному *А*. [6-6]Парфения Уродиваго *С*. [7]*Доб.* сице *С*. [8]за молитв *АС*. [9-9]*Нет С*. [10]Та ж царю *С*. [11-11]*Нет АС*. [12]*Доб.* ходив ииль *А*; ходив *С*. [12-15]*Нет С*. [13]припев *А*. [14-15]помилуй мя грешнаго *А*. [16-16]грознаго и страшнаго *АС*. [17]*Далее ошибочно в ркп.* при *и в А*. [18]Со аггелы *А*; аггела *С*. [19]с пришествия *С*. [20]умолися *А*; умилися *С*. [21-21]*Нет АС*. [22]*С полуслова* Возве *в А начинается пропуск; возобновляется текст — см. примеч. 38*. [23]*Доб.* имрек *С*. [24]*В ркп.* з *С*. [25]смирение *С*. [26]красно *С*. [27]вхождение *С*. [28]весел *А*. [29]твоею *С*. [30]вхождению *С*. [31]*В ркп.* рождешия; рождьшия *С*. [32]тя *С*. [33]пречистая *С*. [34-34]тяжкое, греховное *С*. [35]несть *С*. [36-36]*Нет С*. [37]*Нет С*.

убогаго[38] ми[39] телеси,[40]—[41]вниди с тихостию,[42] да с радостию усрящу тя честно.

Молю ти ся, святый ангеле, яви ми свой светлый зрак[43] и весело возри на мя окаяннаго, да не устрашит мене приход твой святый,[44] да уготоваюся[45] на сретение тебе честно.[46]

Святый ангеле, [47]посланиче божий,[47] дажь[48] ми, // ангеле,[49] час покаятися[50] согрешении[51] и[52] отринути [53]от себе бремя тяшкое.[54] Далече ми тещи во[55] след тебе.[В] *л. 5 об.*

Святый ангеле,[56] не имам иного разве тебе заступника[57] скора. Помилуй[58] грешнаго [59]раба своего[59] имрек и[60] приведи душу мою ко[61] владычицы.[62] Та бо есть милостива отпущати[63] грешным[64] согрешения.

Песнь 4, ирмос — «Христос мне».[65]

Молю ти ся, страшный и грозный посланниче[66] вышняго царя, воевода, — весело[67] возриши[68] на мя окаяннаго, да не ужаснуся твоего зрака и весело с тобою путешествую.[69]

Плчася и[70] вопию, воевода [71]небесного царя.[71] Грозно[72] вохожден // ние[73] твое,[74] да не вскоре разтлише[75] мене грешнаго, но[76] весело и тихо напой мене[77] смертною чашею.[Г] *л. 6*

От сердца [78]вопию ти,[78]грозный [79]воевода и[79] воине царя царствующим, несть[80] силнее тебя[81] и крепчайши[82] во брани,[83] и [84]умиленна в смерти,[84] и пряма[85] во исправлении. [86]Исправи душу мою на путь вечен.[Д, 86]

Госпоже [87]богородице, дево,[87] рожшия[88] царя небеснаго, мсертоноснаго[89] часа[90] не минухся, избави душу раба своего имрек[91] от сети ловящих.

Песнь 5, ирмос — «Божиим».[92]

О [93]сродници[94] мои, егда видите мене от вас разлучена,[95] и зрак лица моего изменихся,[96] и гробу предаюся, и [97]ко Су // дии[97] влеком буду, — [98]и молитеся[98] о мне святому[99] ангелу,[100] да ведет [II, 1] душу мою в место покойно. *л. 6 об.*

[В]*На полях* И ныне. [Г]*На полях* Слава. [Д]*На полях* И ныне.

[38]*С полуслова* гаго *возобновляется А*. [39]*Нет С*. [40]тела *АС*. [41]*Нет С*. [42]тихостью *А*. [43]*В С сначала написано* приход *вместо* зрак, *но зачеркнуто киноварью*. [44]светлый *А*. [45]уготовлю *А*. [46]*Доб.* слава *АС*. [47-47]божий посланный *А*; божий посланниче *С*. [48]дай *АС*. [49]*Нет АС*. [50]*Доб.* о *А*. [51]*Доб.* своем *А*. [52]*Нет С*. [53-54]*Нет АС*. [54]*Доб.* греховное *А*. [55]в *С*. [56]*Доб.* Господень *А*. [57]спутника *АС*. [58]*Доб.* мя *С*. [59-59]*Нет АС*. [60]*Нет АС*. [61]к *С*. [62]богородице *А*; богородицы *С*. [63]отпущает *А*. [64]грешником *С*. [65]*Доб.* сила *АС*. [66]посланный *А*. [67]да весело *АС*. [68]возри *С*. [69]путьшествую *С*. [70]*Нет АС*. [71-71]царя небеснаго *АС*. [72]грозное *А*. [73]хождение *АС*. [74]*Нет А*. [75]растай *АС*. [76]*Нет АС*. [77]мя *АС*. [78-78]вопиюще: О! *С*. [79-79]*Нет АС*. [80]*Доб.* иного *А*. [81]тебе *АС*. [82]крепка *А*; крепкаго *С*. [83]бранех *АС*. [84-84]смыслена в мудрости *А*; смыслена в смерти *С*. [85]права *А*. [86-86]управи путь мой *А*; исправи путь мой *С*. [87-87]дево богородице владычице *АС*. [88]рождьшия *С*. [89]смертоносна *А*. [90]ангела *А*. [91]*Нет АС*. [92]*Доб.* светом ти *А*; светом ти блаже *С*. [93-94]сродницы *С*. [95]разлучаема *А*. [96]изменися *АС*. [97-97]к суду *С*. [98-98]помолитеся *А*; молите *С*. [99]грозному *А*; *нет С*. [100]аггела *С*.

[II, 1]проводит *А*.

О друзи мои любезнии, егда видите мене от вас разлученна и земли предаема, — помолитеся о мне грешнем[2] ко святому ангелу, да проводит душу мою вся[3] двадесят мытарств и измет[4] от всех погибелей.[е]

Людие[5] божии, благочестнии и[6] вся[7] племена земьстии,[8] егда видите[9] смертоное[10] тело на земли повержено и вонею объято[11] — помолитеся[12] ко[13] ангелу смертоносному [14]о мне,[14] да ведет[15] душу мою в тихое[16] пристанище.[ж,17]

[18]Пресвятая дево[18] богородице, владычице, ты веси немощь
л. 7 земных[19] человек. Вскоре разоряетца естество // плоти нашей.[20] Ты,[21] госпоже, буди нам[22] заступница.

Песнь 6, ирмос — «Житейскаго».[23]

От бога посланнаго[24] страшнаго[25] воина, царем, и князем, и архиереем,[26] и [27]всем людем[27] великое[28] изменение от суетнаго [29]века сего,[29] в напастех пребывающих и в скорбех тружающих[30] сущи[31] верных.[з, 32]

Святый ангеле,[33] от всех нас на земли живущих дань[34] свою приимеши[35] от бога повеленную ти, егда приидеши[36] и неси в сокровище света.[и]

[37]Святый ангеле, грозный посланниче, и мене избави от суетнаго жилища сего.[к, 37]

О царице владычице,[38] сирым питателница[39] и[40] обидимым
л. 7 об. [41]заступнице и бедным[42] помощница, [43] // болным надеяние[44] и всем[45] грешным оцыщение, и мне грешному имрек буди ми[46] помощница[47] и помилуй мя.

Кондак,[48] глас 5.

Небеснаго царя воевода и предстатель престолу божию и творитель[49] воли господни и совершитель[50] заповедей[51] его, не лишиши[52] ся славы[53] велелепныя [54]и прославишися, скоро пленяеши и не замедлиши николи же.[54] Всюду готов стоиши, и[55] храб-

---

[е]*На полях* Слава. [ж]*На полях* И ныне. [з]*На полях* Слава 2. [и]*На полях* Слава 1. [к]*На полях* И ныне.

[2]*Нет АС.* [3]*Нет С.* [4]*Доб.* й *А*; ю *С.* [5]О, людие *С.* [6]*Нет С.* [7]всп *АС.* [8]земная *С.* [9]види *А.* [10]*Так в С*; *в ркп.* смертоносное; мое *А.* [11]*Испр.*; *в ркп.* объяся; объято греховною *АС.* [12]*Доб.* о мне *А*; молитеся о мне *С.* [13]*Нет С.* [14-14]*Нет АС.* [15]приведет *С.* [16]тихо *АС.* [14-17]*В ркп. доб.* невлаемо; *в АС этого нет.* [18-18]пречистая *АС.* [19]земнородных *АС.* [20]нашея *АС.* [21]ты же *С.* [22]мне *АС.* [23]*Доб.* моря *АС.* [24]*В ркп. доб.* и. [25]*Нет С.* [26]архпереом *АС.* [27-27]всякому дыханию *АС.* [28]велико *АС.* [29-29]сего света *А*; сего века *С.* [30]тружающихся *АС.* [31]сучных *А*; сущих *С.* [32]вечных *А.* [33]*Доб.* посланный и мене избави от суетнаго жилища, Святый аггеле господень *А*; посланный, и мене избави суетнаго жилища. Святый аггеле *С.* [34]*В ркп.* да. [35]приемлиши *С.* [35-36]*Доб. по АС, в ркп. пропуск.* [37-37]*Нет АС.* [38]богородице *С.* [39]питателнице *АС.* [40]*Нет АС.* [41-42]*В ркп. нет*; *доб. по АС.* [43-44]*В ркп. нет*; *доб. по А.* [45]*Нет АС.* [46]*Нет АС.* [47]помощник *А*; помощнице *С.* [48] *Доб.* аггелу *АС.* [49]*Так в АС*; *в ркп.* сотворитель. [50]свершитель *А.* [51]заповедем *А*; заповеди *С.* [52]лиши *А.* [53]*В ркп. нет*; *доб. по АС.* [54-54]*В ркп.* его и незамлеши никому же; *испр. по А*; *в С* скоро пленяеши, и не замедли николи же. [55]*Нет АС.*

руеши, и[56] зла не убоишися,[57] ни стара отриеши,[58] ни млада отступиши.[59] Вся имеши[60] и ведеши в место покойно. И мене помилуй грешнаго и окаяннаго[61] имрек, да поем[62] ти аллилуйя. //

Песнь 7, ирмос — «Хладодавиц».[63] л. 8

Великий,[64] мудрый хитрец, никто же может твоея хитрости разумети, дабы скрылся от твоея нещадости. Святый ангеле, умилися о мне [65]грешнем и[65] окаяннем.

[66]Мудрый ангеле и светлый,[66] просвети ми[67] мрачную мою[68] душу своим светлым пришествием, да во свете теку во след тебе.

Святый ангеле,[69] радуюся душою[70] и [71] трепещу[72] рукою и показуя людем час разлучения[73] души моей грешней[74] от убогаго ми[75] телеси.[76] Святый аньгеле, [77]помолися о мне грешнем.[л,77] //

Пресвятая[78] богородице, владычице, помилуй[79] грешнаго в час л. 8 об. разлучения. Святый ангеле, страшный посланниче, изми душу мою от сети ловящих.

Песнь 8, ирмос — «Ис пламени».[80]

Царю[81] небесному,[82] слава нетленному[83] и непроходимая[84] сотворшему[85] чины[86] ангелския,[87] такова [88]страшна и грозна[88] смертоносна[89] ангела. Хвалите, пойте и превозносите его во веки.

Царя небеснаго слуга и предстатель престолу божию,[90] святый ангеле, смерть принося нам[91] измени[92] нас добротою[93] зда// л. 9 ния твоего[94] и[95] приведи нас к свету светлейшему[96] судии. Хвалите,[97] пойте и превозносите его во веки.[98]

Царю небесному, богу нашему угождаеши,[99] славы не отпадаеши, и заповеди его не преступаеши, и [100] волю его твориши, и[III,1] в любви пребываеши. Ангела тя свята хвалим, поем[2] и превозносим его во веки.[м]

Царице, владычице, рожшия[3] и[4] вышним силам и[5] земным бога и господа,[6] спасителя от находящих ны бед, молися богу,[7] да помилует[8] ны в день судный. Господа пойте и превозносите его во веки. //

Песнь 9, ирмос — «Бога человеком».[9] л. 9 об.

[л] *На полях* И ныне. [м] *На полях* И ныне.

[56] *Нет АС.* [57] боишися *А.* [58] отрешаеши *А*; отреешн *С.* [59] отступаеши *А.* [60] поемлеши *А*; поимеши *С.* [61] *Доб.* раба твоего *А*; *нет С.* [62] пою *АС.* [63] Хладодавцу убо пещь *А*; Хладодавицу убо пещь *С.* [64] *Доб.* и *АС.* [65–65] *Нет АС.* [66–66] Мудр сын светлый и светилниче *А*; мудр сый светлый светилник *С.* [67] *Испр.*; *в ркп. на поле*; *в тексте* мя. [68] *Нет АС.* [69] господень *А.* [70] душею *С.* [71] *Нет С.* [72] трепеща *А.* [73] *Доб.* моего *А*; своего *С.* [74] грешной *АС.* [75] *Нет С.* [76] тела *АС.* [77–77] помози ми грешному *АС.* [78] Пречистая *С.* [79] *Доб.* мя *АС.* [80] *Доб.* святым росу источи *А*; святым *С.* [81] царя *АС.* [82] небеснаго *АС.* [83] нетленная *АС.* [84] непроходима *А.* [85] сотворша *А.* [86] мучения *А.* [87] архаггельскии стоя *А*; архаггельскии святая *С.* [88–88] грозна и страшна *А.* [89] *Так А*; *в ркп.* смртосносна; *в С.* смертьносна. [90] *Отсюда пропуск в А до сноски III, 6.* [91] *Доб.* и *С.* [92] *В ркп.* измене; *испр. по С.* [93] доброты *С.* [94] сего *С.* [95] *Нет С.* [96] *Доб.* и праведному *С.* [97] *Доб.* и *С.* [98] векы Слава *С.* [99] *Доб.* и *С.* [100] *Нет С.*

[III,1] *Нет С.* [2] *Доб.* же *С.* [3] рождьши *С.* [4] *Нет С.* [5] *Нет С.* [6] *Доб.* и *АС.* [7] богородице *С.* [8] помилуе *С.* [9] не удобь видети. Бога человеком не удобь видети *А*; не удобь видети *С.*

Осквернивше[10] душу злыми похотми и[11] теплыми слезами не омывше и[12] милостынею не очистивше, страшнаго[13] посланника не поминающе, мы же тя, ангеле, [14]по достоянию[14] величаем.

Бога нам поведаеши, святый ангеле, и душу мою [15]окаянную ис тела изимаеши,[15] и [16]плоть разтлиши[16] и гробу предаеши, молим[17] ти ся, святый ангеле, изми душу мою от сети ловящих, [18]тя величаем.[н, 18]

От бога посланному, всех ангел пристрашен[19] еси, святый ангеле, [л. 10] не устраши мою душу убогую, напол/ нену злосмрадия, и[20] очисти,[21] и [22]престави ю[22] престолу божию непорочну. Тя величаем.[о]

О богоматерь[23] Пречистая,[24] вся спасаеши и милуеши, такожде[25] помилуй мене [26]грешнаго и[26] злосмраднаго [27]в час[27] разлучения и в муку посланному.[28] Тогда же ми[29] помози, [30]и огня[30] изхити мя[30а] и от муки избави мя. Тя величаем.

[31]Та же[31] «Достойно есть», [32]яко и[32] «Тресвятае»,[33] и по «Отче наш» тропарь глас 5.

Небесных[34] сил избраннаго[35] воеводу, от бога посланнаго мудраго [л. 10 об.] оружника и грознаго полченина[36] и победи//теля вражиимь[37] силам, святого[38] ангела,[39] поюще, хвалим. [40]Смертию[41] нас назирает,[42] и[43] от суеты мира избавляет, и на суд праведни[44] ко Христу представляет,[45] и от вечных мук избавляет.[46]

[47]«Слава», «И ныне».[47]

Упование наше, богородице, крепкая помощнице скорбящим, и[48] от смерти изимаеши и от муки избавляеши,[49] комуждо по достоянию благодати[50] даеши.[51]

Та же, и отпуст. «Чеснейшу херувим», «Слава», «И ныне», «Господи помилуй» 2, «Господи благослови».

Конец всем благим. Слава свершителю богу. Аминь.

(*ИРЛИ, Карельское собр., № 2, л. 4—10 об.*).

[н]*На полях* Слава. [о]*На полях* И ныне.

[10]Оскверниву *А*; Оскверниви *С*. [11]*Нет АС*. [12]*Нет АС*. [13]*Далее в ркп.* ангела а; *исключено согласно АС*. [14-14]*Нет АС*. [15-15]изимаеши ис тела *А*. [16-16]и тело разтлеваеши *А*; тело растлеваеши *С*. [17]молю *АС*. [18-18]*Нет А*. [19]пристрашне *А*; престрашнее *С*. [20]*Нет С*. [21]*Доб.* ю. *А*. [22-22]представ *А*. [23]*В ркп.* божия милости; *испр. по АС*. [24]*Доб.* и святая *А*. [25]тако же *С*. [26-26]*Нет АС*. [27-27]от враг *А*. [28]посланнаго *А*. [29]*Доб.* богородице *АС*. [30-30]*В ркп.* от огня; *испр. по АС*. [30а]*Нет АС*. [31-31]Пь сем. *А*. [32-32]*Нет АС*. [33]Тресвятое *АС*. [34]От небесных *АС*. [35]*Доб.* тя *А*. [36]полчанина *АС*. [37]вражиям *С*. [38]святый *А*; свята *С*. [39]аггеле *А*. [40-42]смертнаго назидает *А*. [41]Смерть *С*. [42]назидает *С*. [43]*Нет С*. [44]праведныя *А*; праведный *С*; *в ркп. далее зачеркнуто* приво. [45]*В ркп.* представля; *испр. по АС*. [46]*Доб.* ны да поем ему аллилуия *АС*. [47-47]*Нет С*. [48]*Нет АС*. [49]*Доб.* и *А*. [50]благодать *АС*. [51]*На этом кончается список С. В списке А доб.* тя величаемь. *Далее в списке А следует «Молитва к господу нашему Исусу Христу, ко святому архаггелу Михайлу», по-видимому, также принадлежащая Парфению Уродивому.*

Молитва к господу нашему Исусу Христу, ко святому архаггелу Михайлу

Господи Исусе Христе сыне Божий, великий царю безначалный и невидимый и несозданный, седяй на престоле со Отцемь и со Святым Духом, приемля славу от небесных сил, посли архаггела своего Михайла на помощь рабу своему имрек, изъяти мя из руки враг моих. О великий Михайле архаггеле, демоном прогонителю! Господи Исусе Христе, излей миро, яко благ и человеколюбец, на раба твоего имрек, и запрети всем врагом, борющимся со мною. Сотвори их яко овец, и сокруши их яко прах пред лицем ветру. О великий Михайле архаггеле, шестокрилатых первый князь и воевода небесных сил, херувим и серафим, и всех аггел. О чюдный архистратиже страшный Михайле архаггеле, хранителю неизреченных таин, егда услышиши глас раба Божия имрек, призывающаго тя на помощь, Михайле архаггеле, услыши и ускори на помощь мою и прожени от мене вся противныя нечистыя духи, силою святого твоего духа, молитвами святых апостол и святых пророк, святых святитель и святых мученик и святых пустынник, святых безмездник и святых столпник, святых мучениц и всех святых праведник, угодивших от века Христу молитвами их — соблюди раба Божия в бедах и в скорбех и в печалех, на распутиях, на реках, и в пустынях, в ратех, в царех, и в князех, в вельможах, и в людех, и во всякой власти, и от всякой притчи, и от диявола. Господи, Исусе Христе, избави и великий Михайле архаггеле, соблюди раба Божия имрек от очию злых человек и от напрасныя смерти, и от всякого зла, молитвами Пресвятыя Владычица нашея Богородица и приснодевы Мария и святого пророка и предотечи крестителя Господня Иоанна и святого пророка Илии и святого отца нашего Николы Чюдотворца, и святых мученик Никиты и Еупатия, и всех святых Твоих молитвами, ныне и присно и во веки веком, аминь.

(*БАН*, *33.3.20*, *л. 227—231 об.*).

1972

ВОЗМОЖНЫЙ СЛУЧАЙ СКРЫТОЙ ПОЛЕМИКИ ФОЛЬКЛОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ С КНИЖНЫМ

Былина «Вавило и скоморохи», известная в единственной записи А. Д. Григорьева от М. Д. Кривополеновой,[1] принадлежит к замечательнейшим явлениям русского эпоса. В ней отразился народный взгляд на искусство. Сюжет этой былины, как известно, следующий: крестьянин Вавила, бросив свое крестьянское хозяйство, присоединяется к бродячим скоморохам, которые идут против какого-то враждебного государства — «Инишного царства». Царством этим запуганы все встречные, предупреждающие скоморохов об их неизбежной гибели. Но скоморохи — святые (это подчеркивается в былине пять раз), они творят чудеса своим искусством и в конце концов побеждают «Инишное царство».

Исследователь этой былины А. А. Морозов справедливо замечает, что в этом подчеркивании святости скоморохов есть полемическое противопоставление народного взгляда на гонимое государством искусство скоморохов официальной точке зрения.[2]

В этой связи представляет интерес переводная статья «О скомрасе Вавиле», изредка встречающаяся в древнерусских сборниках.[3] Несложное содержание этой статьи сводится к тому, что скоморох Вавила из «града Тарса» вел распутный образ жизни, но, попав в церковь и прослушав евангельское чтение, мгновенно раскаялся, роздал свое имущество двум своим женам и, приняв монашество, затворился в столпе. Умиленные жены последовали примеру мужа, раздав все свое имущество нищим.

Возможно, что, объявляя скоморохов святыми, былина косвенно полемизировала не только в целом с официальной точкой зрения на скоморохов, но и конкретно с данной книжной статьей, чем и объясняется совпадение имен обоих скоморохов.

В одном случае крестьянин Вавила становится скоморохом и, тем самым, святым — в другом скоморох Вавила становится святым, отказавшись от скоморошества и затворившись в столп.

Если эта скрытая полемика действительно имела место, то она раскрывает перед нами еще одну сторону взаимоотношения книжности и фольклора, взаимоотношения, до сих пор рассматривавшегося только с точки зрения влияний: книжного произведения на фольклорное или фольклора на книжное произведение.

1959

---

[1] Григорьев А. Д. Архангельские былины. М., 1904, т. 1, № 85 (№ 121).

[2] Морозов А. А. М. Д. Кривополенова и наследие скоморохов. — В кн.: Кривополенова М. Д. Былины, скоморошины, сказки. Архангельск, 1950, с. 131—134.

[3] См., например, рукопись ГПБ, собр. Титова, № 499, л. 16 об.—17 об. Этот сборник XIX в. составлен из произведений, переписанных с более старых протографов. Оригинал данной статьи (судя по языку) не моложе XVI в.

«СТИХ О ЖИЗНИ ПАТРИАРШИХ ПЕВЧИХ»
(ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ САТИРА КОНЦА XVII в.)

Впервые публикуемый ниже «Стих о жизни патриарших певчих» находится в сборнике ГПБ, собр. ОЛДП, Q. CCCCXC, л. 124 об.—126. Сборник разных почерков конца XVII—начала XVIII в. Тем же почерком, что и наш «Стих», писаны в сборнике на бумаге конца XVII в. следующие произведения: л. 122 — стих «Плач богородицы при кресте» (начало: «Уже тя лишаюся, уже тя лишаюсь сладкое чадо»); л. 123 — стих «О страшном суде» (начало: «Страшный день помышляю, окаянный! Трепещу страхом грехми, окаянный»); л. 126— «Стих покаянный усердно внимающим» (начало: «Есть прелесть в свете, что в полном цвети, ты, ту остани»); л. 129 — стих «Обаче всуе мятется всяк человек, понеже краткий его на свете век»; л. 130 — стихи «Како подобает чтить образ пречистой богоматери Одигитрии»; л. 132 — «Повесть зело страшна ко брадобрителем» (начало: «Срамно бо есть блуднице о целомудрии беседовати». Конца нет); л. 134 — окончание статьи о значении восковой свечи; л. 134 — стих «О девстве и чистоте» (начало: «Неизглаголанного девства чистота, смиренным мудрости истина!»); л. 134 — стих о пустыне: «О прекрасная пустыня, прими мя в свои частвины».

Название «Стих о жизни патриарших певчих» принадлежит неизвестному составителю оглавления сборника; оглавление это писано почерком XIX столетия на особо приплетенных листах в конце сборника.

Судя по тому, что в стихе упоминается монастырское подворье, он не мог быть составлен ранее 1684 г., когда часть патриарших певчих была поселена в Москве на земле, прирезанной от соседнего подворья Троице-Сергиева монастыря.[1] Поселенные здесь младшие певчие испытывали значительные неудобства, что и отразилось в названии его, в словах: «монастыря подворье, о чем непокорье». Рукопись не представляет собой авторского текста: это копия с оригинала, написанного ранее (ср. описки переписчика: «непоморье» вместо «непокорье», «аа некуды глядети» вместо «а некуды глядети», «не не судки», «да под плѣ (?) ложися» и др.). Самый список вместе с переписанными в нем произведениями принадлежит началу XVIII в. Этим определяется крайняя дата написания произведения (название «патриаршие» певчие не может служить основанием для датировки, так как хор патриарших певчих существовал и после уничтожения патриаршества в России).

Патриаршие певчие разделялись на дияков и поддияков. Все певчие дияки и поддияки разделялись на больших, или возраст-

---

[1] Разумовский Д. В. Патриаршие певчие диаки и поддиаки и государевы певчие диаки. М., 1895, с. 27.

ных, и малых, или недоростков, и получали различное содержание. Автор стиха, по-видимому, принадлежал к малым недоростковым певчим, которые получали меньшее содержание сравнительно с возрастными и не имели добавок на семью. Особенно тяжело было положение малых недоростковых певчих в шестой и седьмой станицах (все дияки и поддияки разделялись на семь станиц), куда помещали новоприбылых.[2]

В «Стихе о жизни патриарших певчих» с особенной резкостью заявлен протест («непокорье») против социальной несправедливости. Тяжелая жизнь певчих — лишь пример общей социальной несправедливости разделения людей на бедных и богатых. Обращает на себя внимание особенно следующее утверждение автора: «овии трудишася, овии в труд их внидоша». Автор, очевидно, сознает, что источник богатства — труд, и отмечает присвоение результатов труда богатыми, «входящими в труд» бедных.

Автор стиха — человек начитанный. Могут быть отмечены отдельные книжные выражения («забвение на всех хвалится», «и некие в настоящее время гонят носящих бремя»). Украинизмы очень редки («воспеваки»). В целом это произведение народное, писанное обычным для сатирической литературы раешным стихом (ср. «Сказание о попе Савве», «Сказание о куре и лисице» и др.).

В стихе рассыпано множество бытовых реалий: хлебня, в которой работали «спеваки», «чепь», на которую сажали провинившихся,[3] ворота, которые запирали на ночь, и т. д. Свидетельство стиха, что в церкви патриарших певчих одевали, как «маковые цветы», зарегистрировано документами. Д. В. Разумовский пишет: «При отправлении своей прямой обязанности в храме, при служении патриаршем, певчие диаки и поддиаки патриарха постоянно облачались в стихари то золотые, то серебряные белые, то черные, смотря по степени и значению духовного торжества. При поставлении царя Феодора Алексеевича на царство (1676) патриаршие певчие диаки и поддиаки были в золотых стихарях. Стихари надевали даже и малые поддиаки, как это обыкновенно бывало в неделю цветоносия, когда малые певчие стояли в санях при украшенной вербе и пели стихиры. Церковное облачение патриарших певчих диаков и поддиаков было столь обыкновенным явлением, что сохранившиеся современные записи упоминают о пении без облачения как о явлении необычном. Так, например, было в 1686 и 1695 гг. В обыкновенное же, неслужебное, время одежда патриарших певчих диаков и поддиаков нисколько не отличалась от одежды современных диаконов. Она состояла из рясы и подрясника, перетянутого поясом. Все это было сукон-

---

[2] Там же, с. 20—21.

[3] «Хлебня» и «чепь» в тех же значениях фигурируют также в «Сказании о попе Савве» (см.: Адрианова-Перетц В. П. Русская демократическая сатира XVII в. М.; Л., 1954, с. 70—72).

ное».[4] Красные («маковые») стихари специально упоминаются в записной книге Патриарших выходов под 1656 г.[5]

Неясно, о каких поляках идет речь в сентенции: «Горе вам, бедныя воспеваки, тако вам говорят поляки». Неясно также, почему следствием опоздания в пении было поспевание к стулу («будет к началу не спел, ино к стулу поспел»).

Приводим текст.

Монастыря подворье, о чем непокорье.[а]
Монастырь бо невелик, да звон добре велик.
Чернецы бы и умны, но да нравы дурны.
На чеп сажают, да долго не спущают.
А се хлебня темна и сажа добре черна,
и всех морает, а света не имеет.
Поглядел бы немножко, да се одно окошко,
нужно седети, а[б] некуды глядети.
И добро бы место, да марает тесто.
Аще и вера не велика, только чепь велика,
взором и не светла, но довесом тяжела.
Мошно бы двум седети, а не хочется и глядети.
Побыть бы мошно, да на сердцы тошно.
И жить есть где, да. . . . . . негде.
Аще и есть где, да сести нельзе:
стул будет увалять и ноги обе переморат.
Есть ли стул обтирать, то и ноги обтирать.
Аще в хлебню тако внити, то всех разгонити,
срама не избыти, а людей насмешити.
Горе вам, бедныя воспеваки, — тако вам говорят поляки.
Як же кто поет на глас, тот носит атлас.
Патриаршим воспевакам як дуракам
велят им петь гладко, а поят и кормят их гадко.
Слышати пение любять, а доброе все сами лупят.
В чин малых побрали, а под старость их всех попрали:
пока есть глас, то и ходит по нас,
як же стал глас нехорош, то и поди куды хош.
Пел бы дондеже есть, да нечево стало есть.
В церкви что макови цвети, а дома нечево и въздети,
а вспеваки же за вся глядят.
Люди все в дорога́х, а вспевака в дуроках.
Честь ум рождает, а убожество и старой растяряет.
Сердцу веселящуся и лицу цветящуся.
Аще кто богат, тот везде рогат.
Есть бы кому не денги и всяк будет в полденги.
Напереди рече иная, возвратимся да вспевакам умилимся.
Будет к началу не спел, ино к стулу поспел.

[а] *В ркп.* непоморье. [б] *В ркп.* аа.

[4] Разумовский Д. В. Патриаршие певчие диаки. . ., с. 24—25.

[5] Дубровский Н. Патриаршие выходы. М., 1869, с. 12.

Проспися да протрезвися да под плѣ (клеть?) ложися,
или проседися да прослезися, а дамой не торопися.
К ночи врата запирают, а днем с чепи не спущают.
Испил бы винца да запил бы пивца.
Чеп бы скинул да под лавку кинул.
Ушел бы домов да живот незамог.
Перелез бы чърез забор, ино скажут — тот вор.
Аще ли в чеп сажати да надобно и разсуждати,
что не за все бы на чеп сажати.
Когда смеемся, тогда люди видят:
не разумеет богатый убогому, так же и сытый голодному,
а здравый больным — только бедным одным.
Забвение на всех хвалится, а скупый умрет — звалится.
Лег бы поспати, да не умел встати.
Скупый денги бережет, а по смерти всяк его кленет.
Живучи много собирал, а умерши конечно пропал.
Скупыя спят не не судки, ано дух вон, что из дудки.
Аще кто милует убога, тот любит бога.
Есть ли не милует убога, воистинну сей не любит бога.
Чюжые кровлю кроют, а свои голосом воют.
На что драгие вещи любить, когда не умеем их хранить.
И некие в настоящее время гонят носящих бремя.
Овому честь бог дарует, овии искупают,
овии трудишася, овии в труд их внидоша.
Овии скачют, овии же плачют.
Инии веселяшеся, инии ж всегда слезящеся.
Почто писать много, что от бедных не любят никого.
Лучше того любять, кого деньги лупят.
Что с убогова взяти — прикажи его сковати.

1958

ПЛАЧ О РЕКЕ НАРОВЕ 1665 г.

В Рукописном отделении БАН хранится рукопись № 32.5.7, весьма любопытная по обстоятельствам своего составления. В печатные описания рукописных собраний БАН рукопись эта не вошла, хотя часть материалов из нее (указы шведских королей Карла X и Карла XI) и была в свое время опубликована в издании «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею при имп. Академии Наук» (СПб., 1836, т. 4).[1]

Как явствует из записей и дат в самой рукописи, она писана в Стокгольме в 1665 г. жителем Ругодива Леонтием Петровичем Белоусом. Почерк рукописи — белорусская скоропись XVII в. В языке часты белорусизмы и украинизмы. Украинизмы для белорусских грамотных людей XVII в. — вообще явление характерное,[2] в связи с притоком в Белоруссию украинских ученых и грамотных людей, белорусизмы же, по-видимому, составляют для Белоуса явление, определяющее его национальность. Приведу примеры характерных для рукописи языковых явлений. Отвердение *ч* — про*тш*ая (л. 2), про*тш*их (л. 2), с про*тш*им (л. 2), пору*тш*ики (л. 44), наро*тш*ито (л. 36 об.). Отвердение некоторых конечных согласных — червъ (л. 2), крепостъ (л. 89 об.), естъ (л. 1 об., л. 2). Смешение *и* и *е* — ж*и*нами (л. 1 об.), возл*и* (л. 36); смешение *е* и *я* — мѣс*е*ца (л. 1 об.), нелз*е* (л. 36), *е* в окончании глаголов третьего лица ед. и мн. числа: сталос*е* (л. 1 об.), явилос*е* (л. 1 об.), ест*е* (л. 1 об.), укоренилос*е* (л. 1 об.), славилос*е* (89 об.), срамляютс*е* (л. 89 об.). Белорусизмы и украинизмы характерны также и для лексики рукописи — *не пшевал* (л. 1 об.), *дружебне б жити* (л. 1 об.), *ще* еще (л. 1 об., л. 89 об.) и др.

Любопытной чертой сборника является также наличие в нем арабских цифр (наряду с церковно-славянскими буквенными) и летосчисления «от рождества Христова» (наряду с летосчислением «от сотворения мира»).

Всего в рукописи 90 листов in folio. Л. 3—7, 9—19, 22—23, 28—31, 33—34, 38—39, 46—75, 76—79, 82—85 и 87—88 — чистые. Л. 62—70 порваны. Между л. 75—76 часть листов вырвана. Переплет рукописи кожаный, на деревянной основе, шведской работы. Задняя доска переплета сломана. На наружной верхней части переплета масляными красками изображен герб шведского короля. Над гербом полустершаяся трудно разбираемая русская надпись масляными красками. К переплету (обычному в Швеции — без застежек) грубо приделаны завязки, которые должны были, очевидно, заменить русские застежки.

---

[1] С. 112—113 и 183—185.

[2] Карский Е. Ф. К истории белорусского языка в XVII столетии. — ИпоРЯС, Л., 1930, т. 3, кн. 1, с. 55—74.

Рукопись украшена большим количеством заставок и инициалов. Выполнены эти заставки и инициалы золотом, чернилами и грубыми красками: частью (в начале) краски эти разведены на масле (на бумаге следы растекшегося масла; Белоус, очевидно, не знал, как и все русские в XVII в., употребления масляных красок); затем те же грубые краски (особенно часто употребление плохо растертой красной краски) разведены на клею или воде. Обильно применено золото. В самой технике рисунка заметна умелость привыкшего к русскому заставочному материалу мастера. Заставки, инициалы и копии шведских печатей имеются на л. 21—21 об. (7), на л. 24—27 (29), 32—32 об. (4), 35—37 (8), 40—41 (10). Всего 58 изображений. На л. 20 изображен шведский герб (такой же, как и на переплете). На л. 80 изображена «София Премудрость божия».

На последнем — 90-м листе запись Белоуса о смерти его отца — Петра Павлова Белоуса — 19 января 1666 г. На этом же листе запись Ротьки Григорьева сына Рохнова о принадлежности книги Яргину. На л. 1 более поздняя надпись о принадлежности книги Федору Иванову. На л. 8, 76, 86 об. и 89 — различные малозначащие позднейшие записи.

По содержанию рукопись представляет собою в основном собрание копий со шведских королевских указов, касающихся русских жителей Нарвы и Ивангорода. Частично указы эти даны в ответ на различные челобитья русских жителей тех же городов. Все копии писаны рукою самого Белоуса, воспроизводят подписи под указами и печати. Большинство инициалов и заставок также, очевидно, являются имитацией тех заставок и инициалов, которые имелись в подлинниках королевских указов. Как явствует из приводимых ниже вступительных статей сборника, свое собрание Белоус выполнил в Стокгольме для своего друга Яргина, после свидания с ним, очевидно, в помощь ему и другим жителям Нарвы и Ивангорода. Один из указов касается самого Яргина (л. 42 об.).

Содержание сборника таково.

Предисловие

Ныне, господин, тое сталосе по любови от отца и господа нашего Исуса Христа, благоизволением, по его милости. И то зде явилосе межи нашей любови Яргина з Белоусом. Да хотя и не пшевал Яргин прияти — ино в велелепоту устроилос таковскою вещею, да и дружеством совокупилися, ще жинами и ест друзи. Да и то лежит не токмо межи нами, но бы да и так и в корене укоренилосе в наших наследниках: дружебно бы жити праведным и истинным союзом. Совершеннаго деяния нечто всесилный своим изволением и устройством дополнит. Да для любови Белоусов не отказал и Ергину дружебную титлу ему положил на бумаги. И послано, что есте писано в Стокхолъме

в ҂з. р҃. о҃. д҃. году ноября месеца к҃. и҃. д.
а҃. х҃. ѯ҃. є҃.

1665.

Приветствие к сротству, речю по разорению принатши с любовию и говорит те речи

О, мой государь, из ложе отца нашего от честнаго корени возрастет цвет или крин ветвие утрудися, но не до конца воздаите вышнему обеты наша, да не во искушение поработают чада отец их. Сладостно зрю лице твое, аки винограт во время приятия гроздия. Вино из растена сытища шели (?) их. Мы же радуемся о видении лица, сладчая аки приемца по истинне, злата чиста честнее или бисера от камени многоценна или от Аравии принисе, или виноград от Египта, или сынове чудных. Не потрудися, да и здравствую тя и протшая с вами.

Приветствие к другу

Друга моего обозрех и сердцем увеселихся. О рехи разума окруженныя стены тверды, любовию убо умудрихся и союза еще тверда, аки черв адаманта не коснется зане укрепися твердыня, его, от вышняго все ест создано, о истинне не молчит, а наученным разума воздает правду. Кто ли взыде от леторасли, но любовию свяжем протших, потом мир ти и зравствую с протшим.

(л. 20) Полный титул шведского короля Карла XI.

(л. 21) «Королевского величества милостивои указ на те стати, которые Ругодивские приграды торговые люди греческои веры покорно есть бьют челом. Дано в Стокхольме, ноября вь 20 день, лета 1654, 163 году». Следует текст указа короля Карла X: напечатан в «Актах, собранных в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею при имп. Академии Наук», 1645—1700 (т. 4, с. 112—113).

(л. 24) Указ Карла XI Ругодивскому генерал-губернатору по челобитью русских людей посада Ругодива, 4 июля 1662 г. Напечатан там же, с. 183—185.

(л. 35 об.) Грамота Карла XI «к суперденту» по челобитью Ругодивских русских жителей, 4 июля 1662 г.

(л. 36) Грамота Карла XI генерал-губернатору Торудаю по челобитью Ивангородских русских людей, 1 августа 1662 г.

(л. 36 об.) «Список с чолобитной» Карлу XI Белоусова и Жданова от Ивангородских русских жителей о том, в основном, чтобы их не выселяли из Ивангорода на пристань за деревню Юлду.

(л. 40) «Привилея» Карла XI Ивангородским русским жителям, 29 ноября 1664 г., указывающая генерал-губернатору избрать для поселений ивангородцев иное место.

(л. 41 об.) Грамота Карла XI Ивангородскому генерал-губернатору, 29 ноября 1664 г.

(л. 42 об.) Указ Карла XI по спорному делу о наследстве Петра Китаева между Федором Ергиным и Кондратьем Тимофеевым, 29 ноября 1664 г.

(л. 45) Грамота Карла XI генерал-губернатору Бентгорну по иску Ергина в Каплиной кобале, 2 декабря 1665 г.

(л. 80 об.) Два тропаря и два кондака св. Софии Премудрости божьей.

(л. 89 об.) Стих, обращенный к реке Нарове; привожу его полностью, сохраняя разбивку на строки оригинала.

О плач Наровеск

О преславная Нарова, почитаема ото всей населной братии нашей
И славиласе ими зело и славити ся имущей.
О преславная Нарова, от твоего недра изято бе страшнаго бога
Изволением на пищу плоти человечестей.
О преславная Нарова, имя твое Нравленное, от езера исходимое
И до моря врыскаючи, смещаяся недра твое, племя мое.
О преславная Нарова, аще забудем тебя, егда изведени
С плачем и воплем многим, их срамляютсе суседи наши зрети
Ны в толиком смирении и бесъчестьи и срамоте.
О преславная Нарова, тебе страшный бог увеличил богатством недр и плоти нашей и к воспитанию царем и владыкам богатым
и малым всем удоволися.
О преславная Нарова, слава твоя помолчала. В недре твоем уселися населницы, нищетуют нищетующе с погибелью.
О преславная Нарова, струя твоя яснейшая, по ней же поползая жен плачивыя сетующе в погибели велицей, назирающе мужа, от нея же разлучися з бесчестием.
О преславная Нарова, возвеличим господа с нами, ибо той содетел наш и крепост и сила и слава наша и величество и избавление
и наставник и похвала и содержител, слава тебе.
О преславная Нарова, свидетеля тя имеем. Но господь наказа мя разумети свое величество. Хвалю тя безначалный боже.

Как видно из приведенного материала, составитель сборника — автор «стиха» о реке Нарове — Леонтий Белоус, человек белорусской культуры, не очень талантлив и самостоятелен в своем произведении. Его «Предисловие», «Приветствие к другу» и самый плач о реке Нарове написаны в витийственной манере. Плач многими чертами напоминает по форме акафист. Применение церковно-

богослужебной формы к светскому содержанию — явление типичное для XVII в. (превращение жития в светскую автобиографию, превращение сказаний о чудесах от икон в произведения светско-повествовательного типа и т. д.).

Значение и плача, и сборника в целом в том, что он отражает литературную культуру тех областей Русского государства, которые почти на столетие оказались оторваны от него и тем не менее сохраняли с ним живую идейную связь. Сборник отражает психологию русского человека, оказавшегося в обстановке непрерывной борьбы с давлением иностранного государства, но сохраняющего живое чувство любви к родине, тоску по оставленным местам, жалость к своим страдающим соотечественникам, стремление им помочь. Чувства этого человека тем более показательны, что почти одновременно с ним (через три года — в 1668 г.) в Стокгольме появился Котошихин, также писавший там записку, но не для своих соотечественников, а для их врагов.

Об этих русских, живших во временно отошедших к Швеции местах, мы имеем, кроме рукописи Белоуса, только одно свидетельство — свидетельство Олеария. Олеарий описал Нарву при своем проезде через нее в 1633 г. Он был в русской части Нарвы, т. е. в Ивангороде, и наблюдал там плач русских женщин по покойным. Как и Белоус, Олеарий отмечает, что плачущие русские женщины ползали на коленях или даже просто лежали на земле.[3] Олеарий, между прочим, познакомился в Нарве с некиим русским по имени Филипп (фамилию его Олеарий не называет). Русский этот поразил Олеария своими свободными взглядами на посты, иконы и вообще обрядовую сторону у православных.

Притеснения, которым подвергались русские в Нарве и Ивангороде за это время, свидетельствуются различными источниками. Карл X, вступив на шведский престол в 1654 г., поспешил выдать грамоту нарвским жителям, подтверждавшую привилегии, полученные ими от его предшественников. Выдал он и особую грамоту ругодивским торговым людям православного исповедания (от 20 ноября 1654 г.), в которой, между прочим, дозволялось им выписать из Киева дьякона для освящения церквей и разрешалось какое-то судебное дело (эту последнюю грамоту приводит Белоус — л. 21). Однако впоследствии притеснения русских только усиливались. Положение русских было особенно тяжелым из-за враждебных отношений к русским нарвских «боргаров» (бюргеров). Налоги на русских были так велики,[4] что русские покидали свои дома и уходили из города. Нарвский городской совет издал даже 23 октября 1665 г. распоряжение об осмотре Ивангородского форштадта и о конфискации домов тех жителей, которые оставили их

---

[3] Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем посольства Адамом Олеарием / Пер. П. Барсова. М., 1870, с. 16 и след.

[4] Hansen H. Geschichte der Stadt Narva. Dorpat, 1858, S. 103—106, 109. См. также: Петров А. В. Город Нарва, его прошлое и достопримечательности. СПб., 1901, с. 162 и след.

на произвол судьбы и ушли из города. Известны случаи и принудительного выселения русских жителей. В 1674 г. состоялся указ о выселении русских жителей из Ивангорода. Русским купцам предписывалось переселиться в Нарву с тем, чтобы построить там каменные дома (предложение для разоренных русских купцов явно неосуществимое). Тех же, кто этого сделать не сможет, предписывалось выселить в Копорье. Об одном из таких выселений и говорит Леонтий Белоус в своем плаче о реке Нарове. Можно установить точно, о каком именно выселении говорит Белоус: на л. 36 об. рукописи читается список с «чолобитной», которую Белоус и Жданов подавали в 1664 г. Карлу XI с просьбой не выселять русских жителей Ивангорода на «место пусто возли воды», где грузят суда, за деревню Юлду. На место это, писали Белоус и Жданов, «отнють ни коим обычаем нелзе уселитесе». Выселение русских из Ивангорода, несмотря на челобитную Белоуса и Жданова, однако, продолжалось. Ответом на нее явился лишь указ Карла XI нарвскому генерал-губернатору избрать для выселения русских иное место (л. 40 рукописи).

1948

ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО XVII в.

Наиболее ранняя из известных в русской литературе любовных переписок опубликована В. Г. Гейманом в статье «Billet doux подьячего Приказной избы города Тотьмы Арефы Малевинского сестре тотемского дьякона девке Аннице, писанные в 1686 году» (журнал «Начала», 1921, № 1). Значительный литературный интерес представляет также стихотворное любовное послание, опубликованное академиком Л. Н. Майковым в «Очерках из истории русской литературы XVII и XVIII столетий» (СПб., 1889, с. 230). Послание это относится к 1698 г., т. е. уже к петровскому времени, и принадлежит обруселому «немцу» — жителю Немецкой слободы Федору Дею, что позволяло некоторым исследователям подозревать в нем если не перевод, то во всяком случае явление не русское и делать выводы об иноземном происхождении самого стиля первых русских стихотворных посланий (любовные записки более ранние — Арефы Малевинского — лишены какой бы то ни было литературности). Публикуемый ниже образец любовного письма находится в сборнике ГПБ, собр. Титова, № 1121, составленном не позднее 1669 г. (см. дату на л. 218). Вслед за образцом любовного послания (на л. 303) помещен примерный текст другого послания — «добродею моему».

Любовное письмо из сборника собр. Титова, № 1121 имеет некоторое сходство с опубликованным Л. Н. Майковым, но соединяет новую «галантность» со старой библейской образностью. Можно без труда заметить, что автор письма пытался выдержать стихотворную форму. В первом письме она удалась ему лучше. Публикую оба письма с разбивкой на стихотворные строки и с упрощением орфографии:

1

Море мысленное всегда волнуется,
и от волн его корабли сокрушаются.
Темность облачна закрывает свет сердечный,
разлучение же от тебя наносит мрак вечный.
Огнены столп пути к тебе не являет,
фараону подобно яко в море потопляет.
Аще не приидеши ко мне в приятности,
не могу стерпети великия печалности.

2

Приникшему в зерцало жизненое,
а возлюбившему житие трезвенное,
добродею моему имяреку радоватися.

Имярек челом бьет.
Еще молю не лиши мене от желания моего
и соверши правду обещания своего.
Есть ли оного тружающегося твоим ходатайством,
есть ли будет и ты отпиши ко мне противо сего писания
своея десницы начертание.

Вслед за образцом послания «к добродею моему» помещена выписка из конца прощальной грамоты митрополита Киприана, привлекшая переписчика своим философским содержанием. Выписка эта озаглавлена: «Киприяна митрополита в конце грамоты прощальные философски написано». Перед нами, следовательно, нечто вроде небольшого письмовника, в котором образец любовного письма занимает первое место.

1948.

ШАХМАТОВ — ТЕКСТОЛОГ

А. А. Шахматов принадлежал к тому сейчас уже редко встречаемому типу создателей крупнейших научных школ, представители которого руководили наукой без гувернерства, без назидательных статей и без громких методологических деклараций. Ученые эти создавали свои научные школы непосредственным примером своих исследований, а не нравоучениями.

Рассказывают про одного из таких ученых, как он, сидя в саду с одним из своих учеников, провел на песке палочкой черту и спросил: «Как показать, что эта черточка коротка, не зачеркивая ее и никак ее не задевая?». Затем он нарисовал рядом на песке длинную черту (длиннее первой) и сказал: «Только так!»

Все текстологические работы Шахматова были такими длинными чертами рядом с короткими черточками его предшественников и современников.

Возражая С. Шамбинаго (по поводу его исследования повестей о Мамаевом побоище) или Ив. Тихомирову (по поводу его исследований русского летописания), Шахматов создавал собственные исследования на те же темы. Он был независим от своих предшественников именно потому, что ни от кого не «отталкивался» и никому не противопоставлял своих взглядов. Но это противопоставление обязаны сделать за него мы сами.

Какими были текстологические приемы изучения до Шахматова и какими они стали после него? Я не хочу повторять то, что много раз уже было написано по этому вопросу. Суммирую лишь главные выводы.

1. Предшественники Шахматова сперва издавали старые тексты, а потом изучали их по собственным изданиям.

2. Предшественники Шахматова, выбирая в подлинных текстах так называемые лучшие чтения, создавали на основе этих произвольно выбранных чтений так называемые сводные тексты и реконструкции, своеобразные мозаики, а затем оперировали с этими созданиями своего воображения как с подлинными текстами, изучали их воображаемые соотношения, создавали новые и новые гипотезы, строили догадки и предположения по истории текста, подтягивали материал под заранее созданные концепции.

Шахматов перевернул в своих исследованиях эти приемы работы. Он сначала изучал тексты, их взаимоотношения, устанавливал их происхождение и только затем издавал. Он пользовался реконструкциями только как конечными выводами исследования, для придания им наглядности, но никогда не создавал реконструкций как основы для последующих изысканий. А. А. Шахматов видел в реставрированных им текстах лишь иллюстрацию к выводам, своеобразные «материализованные обобщения», последнее и самое веское обоснование возможности своих выводов. Он решительно высказывался против некритического использования реставрированных им текстов в качестве перво-

источников. В рецензии на работу М. Д. Приселкова «Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.», в целом оценивавшуюся им чрезвычайно высоко, А. А. Шахматов писал: «Автор должен был бы стать в теснейшую и непосредственную связь с основным для него источником — русской летописью; между тем он поставил между этим источником и собой мое исследование о древнейших русских летописных сводах. М. Д. Приселков идет при этом так далеко, что редко ссылается на Лаврентьевский и Ипатьевский списки, излагая события X—XI вв.; летописные тексты приводятся им по моему предположительному (разрядка моя. — *Д. Л.*) чтению (например, с. 56, 66)».[1]

3. В отличие от своих предшественников, пользовавшихся выборочным анализом текста — по отдельным, изъятым из контекста эпизодам, Шахматов анализировал текст как целое, характеризовал текст в единстве его изменений. Анализ текста по «эпизодам», изолированным и независимым друг от друга, не применялся Шахматовым. Отдельные обнаруженные им изменения текста он всегда соотносил между собой и устанавливал пласты этих изменений, располагая их затем в историческом порядке. Иными словами, текст во всех своих исторических изменениях был для Шахматова единым целым, и он полагал, что и меняется он как целое.

4. Другой чрезвычайно важной особенностью Шахматова как текстолога было его стремление как можно шире охватить весь смежный материал. Для Шахматова текст никогда не был замкнут в самом себе. Он изучал текст в составе сборников, в составе архивов, в составе всего движения литературы. За текстом он всегда стремился увидеть всю письменную культуру народа, «среду», как он ее называл.

5. Еще одна особенность текстологических исследований Шахматова: он стремился не только констатировать движение текста, но и объяснять это движение. Для него не существовало факта самого по себе. Чтобы определить факт, надо его понять. Внешне сходные текстологические явления, имеющие и различные объяснения, — это различные же явления.

6. Объяснение движения текста Шахматов искал вне текста: в создателях текста, в их политических идеях, в их воззрениях на мир, в их способах работы и т. д. Шахматов искал в текстах прежде всего отражение сознательной, целеустремленной деятельности человека и только тогда, когда не было возможности найти в том или ином изменении текста проявлений этой сознательности, объяснял изменения текста ошибками переписчиков, случайными утратами и т. п. Этим он также резко отличался от тех своих предшественников, которые в тексте видели в первую очередь бессознательные изменения текста, ошибки, искажения и

---

[1] Шахматов А. А. Заметки о древнейшей русской церковной жизни. — Научно-исторический журнал, 1914, № 4, с. 45.

стремились этим объяснить «движение текста». Принцип примата сознательных изменений текста над бессознательными был крупнейшим завоеванием Шахматова как текстолога.

Я не останавливаюсь на других особенностях текстологических исследований Шахматова: все они составляют стройную методическую систему, и мне уже неоднократно приходилось писать о ней.

Сегодня я остановлюсь на одном вопросе — чрезвычайно важном: какие особенности Шахматова как ученого позволили ему сохранить такое длительное влияние на нашу науку? Почему текстологические принципы Шахматова смогли иметь такое важное значение и для нашего времени?

Шахматова мы признаем основателем современной текстологии, но, странное дело, самый термин «текстология» был изобретен уже после его смерти. Даже термин «критика текста», употреблявшийся до термина «текстология», ни разу не был применен Шахматовым в его работах.

Историки признают Шахматова крупнейшим источниковедом, но термин «источниковедение», уже существовавший в его время, никогда также не употреблялся Шахматовым. Даже термин «источник» отсутствует в его работах.

Время воздало по заслугам Шахматову: он был назван и текстологом и источниковедом, как были названы и созданные им науки — текстология и источниковедение — другими, не им самим.

Сила воздействия Шахматова на современную филологическую и историческую науки не уменьшалась от того, что он не позаботился назвать то, что он делал и чем занимался.

Я не сторонник того, чтобы ученый никогда прямо не выражал своих взглядов на принципы научной работы. Такая точка зрения мне чужда, и она говорила бы только о моей собственной непоследовательности — особенно в данном выступлении, посвященном принципам текстологических исследований Шахматова.

Однако в исторических условиях, в которых жил и работал Шахматов в обстановке науки конца XIX и начала XX в., такая воздержанность Шахматова несомненно сыграла огромную роль в его росте как ученого и позволила ему в известной мере подняться над ограниченностью науки своего времени: потому что, не декларируя принципов своих исследований, он был внутренне свободен в них. В работах о Шахматове не раз говорилось, что он обладал редкой для ученого способностью отказываться от своих выводов, когда новые исследования открывали перед ним новые перспективы.

Ни разу, однако, не отмечалось, что методические приемы исследований Шахматова также менялись по мере вовлечения им в круг своих интересов все нового и нового материала. Совершенствуя приемы своих исследований, Шахматову не приходилось отказываться от каких-то ранее сформулированных принципов. Он был внутренне свободен и независим. Именно поэтому, дума-

ется, его методы, возникшие на основе чисто рабочего опыта ученого, а не на основе навязываемой этому опыту концепции, сохранили свою силу и для нас.

Именно поэтому от Шахматова ведет свое начало и современная текстология. Тесная зависимость его методики от материала самого исследования позволила ему приходить к объективным выводам и постепенно создать объективную методику текстологических исследований.

Кратко остановимся на эволюции текстологической методики Шахматова.

Замечательной особенностью текстологических исследований Шахматова было и то, что они лишь в самом начале были узко текстологическими.

Первые работы Шахматова по русскому летописанию ограничивались по преимуществу изучением самого текста, но постепенно исследования Шахматова по летописанию к чисто текстологическим наблюдениям присоединяют наблюдения все более и более широкого круга: он привлекает не только другие памятники — жития, документы, проповеди, но стремится объяснить историю текста явлениями истории общественной (по преимуществу политической) мысли, историей отдельных русских княжеств, наблюдениями над психологией создателей текста и т. д. Так, в работе 1897 г. «Киево-Печерский патерик и Печерская летопись»[2] А. А. Шахматов изучил историю взаимоотношений князя Изяслава Мстиславича с Киево-Печерским монастырем, что позволило объяснить историю текста в связи с политическими идеями того времени. Именно в этой своей работе А. А. Шахматов впервые стал на путь исторического анализа летописи, так блестяще развернутого им впоследствии. История летописания в предшествующих исследованиях А. А. Шахматова еще не была конкретизирована историческими данными, не рассматривалась как отражение политической борьбы своего времени. Это была история текста по преимуществу. Отныне же содержание летописных сводов и их политические тенденции все более и более привлекают внимание А. А. Шахматова.

В 1900—1901 гг. Шахматов опубликовал обширное исследование «Общерусские летописные своды XIV и XV вв.».[3] Это исследование имеет исключительное значение не только по своим выводам, позволившим внести предварительную ясность в обширное позднее русское летописание, но также и по своему методу: в нем А. А. Шахматов впервые прочно стал на почву историко-критического изучения летописания. Особое значение в работе Шахматова «Общерусские летописные своды XIV и XV вв.» имел блестящий анализ политической обстановки XIV—XV вв., показавший, что составление свода, с таким размахом общерусских сведений и

---

[2] ИОРЯС, 1897, т. 2, кн. 3, с. 795—844.

[3] ЖМНП, 1900, сентябрь, с. 90—176, ноябрь, с. 136—200; 1901, ноябрь, с. 52—80.

такой независимостью по отношению к московской великокняжеской власти, могло быть делом только митрополита всея Руси, которому одному было под силу собрать летописи из различных городов и который ясно сознавал единство русской митрополии. Анализ политической позиции Фотия по отношению к Литве и выяснение отражения этой позиции позволили А. А. Шахматову отнести составление Владимирского Полихрона к митрополичьей канцелярии Фотия.

Чрезвычайно любопытно, что тогда как изучение позднейших летописных сводов прочно стало уже в это время у Шахматова на общеисторическую почву, изучение древнейшего летописания все еще оставалось узко текстологическим. В этом факте сказывается зависимость методики работы Шахматова от самого материала исследования. Конкретные связи древнейшего летописания с исторической обстановкой труднее поддавались изучению, чем связи с исторической действительностью позднего летописания. Лишь несколько лет спустя и под влиянием результатов своего исследования поздних летописей Шахматов обращается к изучению древнейшего летописания как исторического явления и дает поразительное по глубине исследование Повести временных лет, явившееся по существу своеобразной историей Киевской Руси. Я имею в виду вышедший в 1908 г. обширный (около 40 печатных листов) труд Шахматова «Разыскания о древнейших русских летописных сводах», посвященный пересмотру и подведению итогов его многочисленных работ по древнейшему летописанию за время с 1901 по 1908 г.

Разнообразие материала, привлеченного в этом труде А. А. Шахматовым для решения вопросов древнейшего летописания, исключительно велико. Помимо исследования данных всех многочисленных списков Повести временных лет, А. А. Шахматов опирается на показания «Памяти и похвалы Владимиру мниха Иакова», сказаний о Борисе и Глебе (Несторово чтение о Борисе и Глебе, службы им же, данные Паремийника и др.), жития княгини Ольги, князя Владимира, поучения Феодосия Печерского, Historia polonica Длугоша, Синопсиса, произведений Илариона, Киево-Печерского патерика, русского былевого эпоса, византийских писателей (Константина Багрянородного, Льва Диакона, Малалы, Амартола), Плигинского сборника, отдельных статей Пролога, Русской Правды, Толковой Палеи и т. д. Подчеркну, что А. А. Шахматов не ограничился в «Разысканиях» при анализе столь разнообразного материала только текстологическими наблюдениями, хотя остротой чисто текстологического анализа «Разыскания» превосходят многие из его предшествующих работ. А. А. Шахматов дал блестящий анализ исторической достоверности различных летописных и внелетописных сведений, дал исключительно тонкую характеристику политических идей, отразившихся в летописных сводах, по-новому осветил всю русскую историю IX—начала XII в. Так, глава XIV «Разысканий» — «Мистиша Свенельдич и сказочные предки Владимира Святославича»

дала новый, чрезвычайно ценный материал для суждения о дофеодальных междукняжеских отношениях Киевской Руси. Глава V «Летописное сказание о Владимире и его крещении» по-новому осветила вопрос о крещении Владимира и т. д.

Каждый из определенных А. А. Шахматовым древнейших сводов получил яркую характеристику в свете политической борьбы своего времени, причем эта политическая борьба всегда имеет у него свежую и оригинальную трактовку. Так, состав и тенденции Древнейшего свода 1039 г. А. А. Шахматов определял политическими идеями борьбы за национальную русскую церковь.

Свод 1039 г., возникший по инициативе митрополичьей кафедры, основанной в Киеве в 1038 г., пропагандировал идею превосходства христианской Руси над языческой и прославлял деятельность Ярослава.

В печерских сводах 1073 и 1095 гг. отразилось политическое направление Киево-Печерского монастыря, оппозиционного по отношению к княжеской власти. В своде 1073 г. А. А. Шахматов показывает отражение политических убеждений Никона Великого, дважды бежавшего в Тмутаракань от княжеского гнева. А. А. Шахматов вскрывает центральную идею свода 1073 г.: идею единства княжеского рода на основе старейшинства киевского князя среди братьев — русских князей.

В своде 1095 г. А. А. Шахматов раскрывает резкую критику социальной политики князей; показывает и внутреннюю подоплеку этой критики: вражду игумена Киево-Печерского монастыря Иоанна с князем Святополком Изяславичем. А. А. Шахматов анализирует политическую работу составителя Начального свода 1095 г., стремившегося согласовать противоречивые новгородские и киевские известия, разногласия в сведениях о крещении Владимира, о начале христианства на Руси, об организации церковной иерархии и др.

Таким образом, история текста Повести временных лет сопровождается у А. А. Шахматова глубоким историческим анализом, вскрывающим причины тех или иных изменений в летописи, рост политического самосознания летописцев. Она сопровождается и глубоким историко-литературным анализом памятников.

Необходимо отметить, что чисто текстологическое изучение летописных списков всегда оставалось основой обобщающих работ А. А. Шахматова по летописанию. Историко-критическому изучению памятника летописания всегда предшествовало у него точное восстановление истории самого текста. Поэтому, с годами все более и более придавая значение историческому анализу летописания, А. А. Шахматов отнюдь не ослаблял своей работы текстолога. Это особенно ясно из его черновой работы, посмертно изданной в 1938 г. под названием «Обозрение русских летописных сводов XIV—XV вв.». Но наряду с чисто текстологическим анализом и в тесном взаимоотношении с ним в работах Шахматова все более и более возрастал удельный вес филологического, историко-литературного и исторического исследования. Замечательно,

что А. А. Шахматов чем далее, тем более разрывал ограниченность текстологических исследований, органически соединяя исследования текста с изучениями историко-литературными, историческими, с исследованиями общественной мысли и фольклора.

Шахматов становился филологом в широком смысле этого слова и по существу переставал быть текстологом. Потому он и стал основателем современной текстологии. Он умел подниматься над своей наукой и потому мог ее поднимать за собой.

В своем отзыве на книгу С. К. Шамбинаго «Повести о Мамаевом побоище» А. А. Шахматов писал, что «опасно сводить историко-литературные исследования над памятниками живого творчества к сухому анализу текстов».[4] Далее он отмечал, что С. К. Шамбинаго «отдал свой добросовестный труд изучению текста этих редакций (летописной повести Сказание о Мамаевом побоище. — *Д. Л.*), но упустил при этом самое важное — изучение условий, при которых появлялся тот или иной текст».[5]

Шахматов поднял изучение текста на новую высоту тем, что увидел в изменениях текста производное деятельности человеческого общества: истории, общественной мысли, политических идей, психологии авторов, редакторов и переписчиков. Текст перестал для него быть самодовлеющим явлением. Он занялся изучением «условий, при которых появлялся тот или иной текст». То обстоятельство, что Шахматов не объявлял свои работы исследованиями текста, свои занятия критикой текста, дало ему возможность не замыкаться в кругу узко текстологических вопросов. Исследования текста чем дальше, тем больше становились для него исследованиями широко историко-литературными.

Как текстолог Шахматов был филолог и историк литературы, как историк литературы он был историк, а как историк он был ученый, стремящийся только к объективной истине, свободной от ограниченности рамками мировоззренческих и общеметодологических деклараций своего времени.

Конечно, Шахматову не удалось вырваться из плена своих идеалистических воззрений. Историк Шахматов не видел классовых основ анализируемых им идеологий. На это мне уже приходилось указывать. Историк литературы Шахматов не видел изменений в области истории жанров. Для него, например, летопись как жанр не изменялась. Он не замечал изменений в способах работы летописцев, в литературных приемах их труда и т. п.

Внести уточнения в эти представления Шахматова и в связанные с ними приемы работы над текстами еще предстоит будущим исследователям.

Важно, однако, что он не видел различий в научных дисциплинах, добывающих материал и исследующих материал, анализирующих материал и обобщающих.

---

[4] Шахматов А. А. Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго «Повести о Мамаевом побоище». СПб., 1910, с. 79 (1).

[5] Там же, с. 82 (4).

Это разделение наук на вспомогательные и основные может быть признано окончательно устарелым. К этому идет современная наука. Нельзя строить обобщения, не исходя непосредственно из источников.

Шахматов как текстолог был замечателен тем, что он никогда не ограничивался изучением текста самого по себе. И с этой точки зрения то обстоятельство, что Шахматов никогда не объявлял свои исследования текста критикой текста, а свои исследования источников источниковедческими штудиями, не должно рассматриваться только как проявление скромности ученого. Это было явление принципиальное и чрезвычайно важное. Он создал современную текстологию и историческое источниковедение именно потому, что сумел в собственных работах практически победить ограниченность и замкнутость так называемой критики текста, заменив ее филологическим изучением памятников. Для него связь наук была чем-то гораздо более реальным, чем их отграниченность и ограниченность. И в этом смысле мы можем сказать, что Шахматов не был текстологом и не был источниковедом. Он был филологом и историком — историком в самом широком и принципиальном смысле этого слова.

Раньше чем кто-либо другой Шахматов почувствовал и практически осуществил ту связь различных научных дисциплин, которая является характерной чертой развития всей современной науки вообще. Так получилось потому, что гениальная практика его исследований смогла намного опередить теоретическую ограниченность его времени.

1964

ПРИМЕЧАНИЯ

I. Обобщения

С. 7—56. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. — Публикуется по кн.: Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике: Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов. М., 1960, с. 95—151.

С. 57—78. Система литературных жанров Древней Руси. — Публикуется по кн.: Славянские литературы: V Международный съезд славистов (София, сент. 1963 г.). Доклады советской делегации. М., 1963, с. 47—70.

С. 79—95. Зарождение и развитие жанров древнерусской литературы. — Публикуется по кн.: Славянские литературы: VII Международный съезд славистов (Варшава, авг. 1973 г.). Доклады советской делегации. М., 1973, с. 160—177.

С. 96—112. Предпосылки возникновения жанра романа в русской литературе. — Публикуется по кн.: История русского романа. М.; Л., 1962, т. 1, с. 26—39.

II. Изучения

С. 113—136. «Устные летописи» в составе Повести временных лет. — Публикуется по кн.: Исторические записки. М., 1945, т. 17, с. 201—224.

С. 137—139. «Шестоднев» Иоанна Экзарха и «Поучение» Владимира Мономаха. — Публикуется по кн.: Вопросы теории и истории языка. Л., 1963, с. 187—190.

С. 140—153. Русский посольский обычай XI—XIII вв. — Публикуется по кн.: Исторические записки. М., 1946, т. 18, с. 42—55.

С. 154—184. «Софийский временник» и новгородский политический переворот 1136 г. — Публикуется по кн.: Исторические записки. М., 1948, т. 25, с. 240—265.

С. 185—200. Социальные основы стиля «Моления» Даниила Заточника. — Публикуется по кн.: ТОДРЛ, М.; Л., 1954, т. 10, с. 106—119. (Приложение к статье в данном издании опущено. — *Ред.*).

С. 201—225. Галицкая литературная традиция в житии Александра Невского. — Публикуется по кн.: ТОДРЛ, М.; Л., 1947, т. 5, с. 36—56.

С. 226—229. «Слово о погибели Русской земли» и «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского. — Публикуется по кн.: Русско-европейские литературные связи: Сб. статей к 70-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева. М.; Л., 1966, с. 92—96.

С. 230—232. К вопросу о судьбе рукописи Изборника 1073 г. в XIV в. — Публикуется по кн.: Русско-болгарские фольклорные и литературные связи. Л., 1976, № 1, с. 42—44.

С. 233—234. Повесть «О взятии града Торжьку» и древнерусский перевод «Истории Иудейской войны». — Публикуется по кн.: Serta Slavica: In memoriam A. Schmaus. München, 1971, s. 455—457.

С. 235—258. Повести о Николе Заразском. — Публикуется по кн.: ТОДРЛ, М.; Л., 1949, т. 7, с. 257—406. (Тексты в нашем издании не публикуются. — *Ред.*).

С. 259—263. К истории сложения «Повести о разорении Рязани Батыем». — Публикуется по кн.: Археографический ежегодник за 1962 г. М., 1963, с. 48—51.

С. 264—280. Литературная судьба «Повести о разорении Рязани Батыем» в первой четверти XV в. — Публикуется по кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961, с. 9—24.

С. 281—285. «Задонщина» и «Повесть о разорении Рязани Батыем». — Публикуется по кн.: Древняя Русь и славяне. М., 1978, с. 366—370.

С. 286—287. О названии «Задонщина». — Публикуется по кн.: Исследования по отечественному источниковедению: Сб. статей, посвященных 75-летию профессора С. Н. Валка. М.; Л., 1964, с. 474—475.

С. 288—317. Черты подражательности «Задонщины»: (К вопросу об отношении «Задонщины» к «Слову о полку Игореве»). — Публикуется по: Русская литература, 1964, № 3, с. 84—107.

С. 318—352. Летописные известия об Александре Поповиче. — Публикуется по кн.: ТОДРЛ, М.; Л., 1949, т. 7, с. 11—51.

С. 353—357. Древнейшее русское изображение скомороха и его значение для истории скоморошества. — Публикуется по кн.: Проблемы сравнительной филологии: Сб. статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунского. М., 1964, с. 462—466.

С. 358—360. О русской летописи, находившейся в одном сборнике со «Словом о полку Игореве». — Публикуется по кн.: ТОДРЛ, М.; Л., 1947, т. 5, с. 139—141.

С. 361—377. Канон и Молитва Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого (Ивана Грозного). — Публикуется по кн.: Рукописное наследие древней Руси: По материалам Пушкинского Дома. Л., 1972, с. 10—27.

С. 378. Возможный случай скрытой полемики фольклорного произведения с книжным. — Публикуется по кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. М.; Л., 1959, с. 335—336.

С. 379—382. «Стих о жизни патриарших певчих»: (Демократическая сатира конца XVII в.). — Публикуется по кн.: ТОДРЛ, М.; Л., 1958, т. 14, с. 423—426.

С. 383—388. Плач о реке Нарове 1665 г. — Публикуется по кн.: ТОДРЛ, М.; Л., 1948, т. 6, с. 333—338.

С. 389—390. Любовное письмо XVII в. — Публикуется по кн.: Учен. зап. Гос. педагогич. ин-та им. А. И. Герцена, 1948, т. 67. Кафедра русской литературы, с. 38—39.

С. 391—398. Шахматов — текстолог. — Публикуется по: Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, 1964, т. 23, вып. 6, с. 481—486.

СПИСОК МОНОГРАФИЙ Д. С. ЛИХАЧЕВА ПО ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ*

Оборона древнерусских городов. Л.: ОГИЗ: Госполитиздат, 1942 (Совместно с М. А. Тихановой). 104 с.

Национальное самосознание древней Руси: Очерки из области русской литературы XI—XVII вв. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1945. 119 с.

Фототипическое переиздание: The Hague; Paris: Mouton, 1969. 120 с. Новгород Великий: Очерк истории культуры Новгорода XI—XVII вв. Л.: Госполитиздат, 1945. 103 с.

То же: М.: Советская Россия, 1959. 104 с.

Культура Руси эпохи образования Русского национального государства: (конец XIV—начало XVI в.). [Л.]: ОГИЗ: Госполитиздат, 1946. 160 с.

Фототипическое переиздание: The Hague; Paris: Mouton, 1967. 160 с.

Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1947. 499 с.

Фототипическое переиздание: The Hague: Europa Printing, 1966. 507 с.

Повесть временных лет. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1950, ч. 1—2. (Сер. «Лит. памятники») (Перевод совместно с Б. А. Романовым). 495, 554 с.

Возникновение русской литературы. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1952. 240 с.

Человек в литературе древней Руси. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1958. 186 с.

То же: М.: Наука, 1970. 180 с.; то же на чешском языке: Praha: Odeon, 1974. 190 с.; на немецком языке: Dresden: VEB Verl. der Kunst, 1975. 262 S.

Культура русского народа X—XVII вв. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1961. 120 с.

Текстология: На материале русской литературы X—XVII вв. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1962. 605 с.

То же: 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Наука, 1983. 640 с. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого: (конец XIV—начало XV в.). М.; Л.: Наука, 1962. 172 с.

То же на немецком языке: Dresden: VEB Verl. der Kunst, 1962. 184 S.; на венгерском языке: Budapest: Gondolat, 1971. l. 200; на румынском языке: București: Ed. Meridiane, 1975. 299 p.

Текстология: Краткий очерк. М.; Л.: Наука, 1964. 102 с.

То же на сербо-хорватском языке: Београд: Научна книга, 1966. 78 с.

Поэтика древнерусской литературы. Л.: Наука, 1967. 372 с.

---

* Составлено М. А. Салминой.

Библиографию работ Д. С. Лихачева по «Слову о полку Игореве» см.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд., доп. Л., 1985, с. 337—346. См. также: 1-е изд. Л., 1978, с. 343—350.

То же: 2-е изд., доп. Л.: Художественная литература, 1971. 414 с. 3-е изд., доп. М.: Наука, 1979. 352 с.; на сербо-хорватском языке: Београд: Српска књиж. задруга, 1972. 454 с.; на чешском языке: Praha: Odeon, 1975. 352 с.; на польском языке: Warszawa: Państw. Wyd. Naukowe, 1981. 381 s.

Nach dem Formalismus Aufsätze zur russischen Literaturtheorie: Aus dem russischen übersetzt herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von A. Kaempfe. München: Hanser Verl., 1968 (Reihe Hanser, 4). 116 S.

Художественное наследие древней Руси и современность. Л.: Наука, 1971 (Совместно с В. Д. Лихачевой). 120 с.

То же на польском языке: Warszawa: Inst. Wyd. «Pax», 1977. 140 s.

Развитие русской литературы X—XVII вв.: Эпохи и стили. Л.: Наука, 1973.

То же на немецком языке: Berlin: Acad.-Verl., 1977. 246 S.

Великое наследие: Классические произведения литературы древней Руси. М.: Современник, 1975 (Сер. «Любителям российской словесности»). 368 с.

То же: 2-е изд., доп. М.: Современник, 1980. 412 с.; то же на английском языке: Moscow: Progress Publ., 1981. 352 p. K pramenům ruského realismu. Praha: Lidové nakl., 1975. 296 s.

«Смеховой мир» древней Руси. Л.: Наука, 1976 (Совместно с А. М. Панченко) (Сер. «Из истории мировой культуры»). 204 с.

То же на чешском языке: Praha: Odeon., 1984. 220 s.; 2-е изд.: Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984 (Совместно с А. М. Панченко и Н. В. Понырко). 295 с.

Голямият свет на руската литература: Изследования и статьи / Сост. и ред. П. Динеков. София: Наука и изкуство, 1976. 672 с.

БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ Д. С. ЛИХАЧЕВА

1. Дмитрий Сергеевич Лихачев / Вступ. ст. В. П. Адриановой-Перетц; Библиография сост. Г. Н. Финашиной и М. А. Салминой. М.: Наука, 1966 (Мат. биобиблиографии ученых СССР. Сер. литературы и языка, вып. 7). 104 с.

2. Список печатных трудов академика Дмитрия Сергеевича Лихачева за 1966—1975 гг. / Сост. М. А. Салмина. — В кн.: Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М.: Наука, 1976, с. 432—453.

3. Дмитрий Сергеевич Лихачев. 2-е изд., доп. / Вступ. ст. В. П. Адриановой-Перетц и М. А. Салминой; Библиография сост. М. А. Салминой и Г. Н. Финашиной. М.: Наука, 1977 (Мат. биобиблиографии ученых СССР. Сер. литературы и языка, вып. 11). 160 с.

4. Список печатных трудов академика Д. С. Лихачева за 1977—1981 гг./ Сост. М. А. Салмина. — В кн.: Археографический ежегодник за 1981 г. М.: Наука, 1982, с. 326—382.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БАН — Библиотека Академии наук СССР (Ленинград).
ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).
ГИМ — Государственный Исторический музей (Москва).
ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.
ИОЛЯ — Известия Отделения литературы и языка Академии наук СССР.
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук СССР.
ИпоРЯС— Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР.
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).
ЛОИИ — Ленинградское отделение Института истории Академии наук СССР.
МДА — Московская духовная академия.
ОИДР — Общество истории и древностей российских.
ПДП — Памятники древней письменности.
ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РИБ — Русская историческая библиотека.
СПб.ДА — Санктпетербургская духовная академия.
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Дмитрий Сергеевич

Лихачев

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом) Академии наук СССР

Редактор издательства *Н. А. Ивановская*
Художник *О. М. Разулевич*
Технический редактор *И. М. Кашеварова*
Корректоры *А. З. Лакомская, Г. А. Лебедева,*
Л. Б. Наместникова и *К. С. Фридлянд*

ИБ № 21420

Сдано в набор 30.05.86. Подписано к печати 28.10.86. М-22757. Формат 60×90[1]/16. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 25.5. Усл. кр.-отт. 25.5. Уч.-изд. л. 28.78. Тираж 25000 (2 завод 5001—25000). Тип. зак. № 481. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука». Ленинградское отделение.
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская лин., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
(ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

в 1987 году выходит
трехтомник «Избранных работ»
академика Д. С. ЛИХАЧЕВА

Том первый: О себе
Развитие русской литературы X—XVII вв.
Поэтика древнерусской литературы

Том второй: Великое наследие
Смеховой мир Древней Руси
Заметки о русском

Том третий: Человек в литературе Древней Руси
О «Слове о полку Игореве»
Литература — реальность — литература
О садах